
МУЖЧИНА

ВО ЦВЕТЕ

ЛЕТ

ЗИГМУНД

СКУИНЬ

МЕМУАРЫ

МОЛОДОГО

ЧЕЛОВЕКА



ЗИГМУНД СКУИНЬ

**МУЖЧИНА
ВО ЦВЕТЕ
ЛЕТ**

**МЕМУАРЫ
МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА**

РОМАНЫ

Перевод с латышского
Сергея Цебаковского



Москва
Советский писатель
1991

ББК 84 Лат 7

С 46

Художник Эрнест Аронов

Скуинь 3.

С 46 Мужчина во цвете лет. Мемуары молодого человека: Романы. Пер. с латыш.— М.: Советский писатель, 1991.— 560 с.

ISBN 5-265-01371-7

В романе «Мужчина в расцвете лет» известный инженер-изобретатель предпринимает «фаустовскую попытку» прожить вторую жизнь — начать все сначала: любовь, семью... Поток событий обрушивается на молодого человека, пытающегося в романе «Мемуары молодого человека» осмыслить мир и самого себя.

Романы народного писателя Латвии Зигмунда Скуиня отличаются изяществом письма, увлекательным сюжетом, им свойственно серьезное осмысление народной жизни, острых социальных проблем.

С $\frac{4702370201-242}{083(02)-91}$ 309—90

ББК 84 Лат 7

ISBN 5-265-01371-7

© Перевод на русский язык.
Издательство «Советский
писатель», 1991

МУЖЧИНА ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ

РОМАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не стоило и глаза поднимать к настенным круглым часам, чтобы убедиться, что стрелки, вытянувшись в струнку, вот-вот, словно яблоко, рассекут день пополам. Все, кто находился в комнате, с нетерпением ожидали конца работы. Шесть часов вечера, он это чувствовал, угадывал по множеству мелких, но совершенно безошибочных примет. Людей не занимали больше графики, схемы, узлы. Послеобеденное сонливое затишье давно уже сменилось все нараставшим оживлением. Лилия красила губы, взбивала парик, Юзефа копалась в портфеле, Пушкунг, сплетя на затылке пальцы, занимался йогой, или, как он выражался, вентилировал легкие. Жанна успела улетучиться, после работы ей предстояло мчаться в детский сад за сыном куда-то на другой конец города. Вся жизнь ее была сплошная спешка, после обеда даже пальто не вешала, пристраивала за своим кульманом.

Он не торопился вставать из-за стола, выжидал, чтобы схлынула толчея. В коридоре хлопали двери, звенели голоса, стучали каблуки, людской поток катился вниз по лестнице.

Он — в общем-то это я сам, Альфред Турлав, инженер, начальник КБТ* — конструкторского бюро телефонии. Сорока шести лет. С солидным стажем супружеской жизни, исчисляемой двумя десятилетиями. Отец взрослой дочери. Лучше меня никто не расскажет, что со мной тогда произошло.

Итак, Альфред Турлав еще некоторое время рассеянно листал различные инструкции, приказы, предписания. Бумажек на его столе всегда хватало — большого и малого формата, стопками и порознь, совсем свежих, хрустящих и помятых, пожелтевших, с загнутыми уголками, — каждый день над ним шелестел бумажный листопад, иногда даже казалось, он сидит не за столом, а перед огромным бумажным ворохом.

Наконец и он поднялся, взял с вешалки пальто и в нише перед зеркалом — как обычно — увидел Майю Суну.

— Опять мы покидаем корабль последними, — обронил он, стряхнув с пиджака крошки ластика.

— Вам это положено по чину, ведь вы капитан.

Всякий раз, когда он с ней заговаривал, Майя заметно терялась. Улыбалась с таким видом, будто у нее сломался передний зуб, хотя зубы все были на месте, белые, ровные, один к одному. Да и вся она без изъяна, сплошное совершенство. Как обычно, он подал ей пальто. И в том, как она завела руки за спину, было столько молодости, может, чуточку жеманства и что-то еще от балета.

— Не слишком ли легкое у вас пальтецо? — спросил он.

— Ой нет. Я привыкла.

Почему-то он подумал, что сейчас Майя заговорит о себе. Такое желание как будто промелькнуло у нее на лице. Но больше она ничего не сказала.

— Смотрите же берегите себя! План по болезням у нас в бюро уже выполнен.

По-прежнему смущенно улыбаясь и в то же время глядя на него с вызывающей прямоотой, она кивнула. И опять в глазах ее заискрилось желание что-то прибавить или пояснить. Однако и на сей раз Майя промолчала. Возможно, оттого, что, поправляя прическу, держала в зубах заколки.

И чего я всякий раз дожидаясь, пока она оденется. В конце концов, мы ведь не в театре...

Сделав серьезную мину, он уж было собрался уйти, но глаза их снова встретились в зеркале. Майя повязала пестренький шарф и теперь теребила узел, который не получался так, как нужно. Майя спокойно ответила на его взгляд — бровью не повела. Возилась со своим шарфиком, и все. Но ему казалось, он слышит насмешливый ее голос: «Вы правы, товарищ начальник, вы абсолютно правы».

Послушай, Альфред Турлав, что с тобой, ты ведешь себя как мальчишка! Вот он, результат сегодняшней проработки на месткомое твоего приятеля Стурита. Еще несколько таких заседаний, и ты, мой милый, сам заговоришь голосом внуха.

Майя все еще возилась с шарфом, обстоятельно, не

торопясь, как рыбак с наживкой. Что делать, это у женщин в крови.

Уже подойдя к двери, он вспомнил, что забыл захватить расчетные таблицы. Да и шкаф не мешало бы проверить — вдруг забыл запереть.

На продутый порывистым ветром заводской двор они вышли вместе. На лету посверкивали капли дождя. Он с наслаждением глотнул свежего воздуха. Пахло поздней осенью, прелыми листьями, мокрым асфальтом, землей. Запах тот отозвался в памяти детством. Бывало, осенью, возвращаясь домой из школы, они, мальчишки, отправлялись в набеги за каштанами. Темнело рано, мокрый тротуар покачивался в зыбком свете фонарей, они швыряли в высокие кроны камни и палки, а сверху, с отскоком, разлетаясь во все стороны, сыпались каштаны. Кругом сбитая листва, ершистые зеленые корки и маслянистые коричневые ядра. Сами они весело галдели, прыгали, смеялись, их пальцы, их щеки, подошвы ботинок пахли осенью, палой листвой, мокрым асфальтом, землей...

Вам никогда не приходилось бывать во дворе «Электрона»? То, что можете увидеть снаружи, проезжая мимо на машине или троллейбусе, это сущие пустяки: несколько цехов с высоко поднятыми крышами да трехногую водонапорную башню под шаровидным колпаком. Заводская территория куда внушительней, с годами разрасталась, вширь и вглубь, вбирала в себя более мелкие предприятия, захватывала близлежащие дома, сады, даже улицы. Возведенные в разное время постройки, образчики чуть ли не всех направлений градостроительства двадцатого века, стояли беспорядочно и скученно. Старый город, а по соседству новые кварталы; из парадного центра вы попадали в «шанхай»; и вот она, казалось бы, граница заводской территории, но тут же, за углом, распахнется перед вами новая производственная панорама. Идиллические островки зелени, скверики с фонтанами уживались бок о бок с металлическими цистернами, асфальтовую гладь прорезали стальные пути, вблизи гранитного монумента змеились зачехленные трубопроводы. Впрочем, что говорить, романтические с виду фонтанчики не имеют ничего общего с дворцовыми водометами хана Гирея, у них более прозаическое назначение — система охлаждения.

Шел дождь, но говорливый людской поток, про-

двигаясь к воротам, казался беспечным и праздничным. Влажный асфальт отражал светящиеся окна, замысловатую вязь неоновых огней.

— Смотрите, а вы-то и вовсе без пальто,— сказала она, когда проходили мимо стенда «Лучшие люди предприятия». Фотографии вывесили к Майскому празднику, сильно увеличенные лица под стеклом и сеткой дождевых капель глядели по-летнему легкомысленно.

— Мы друг другу не мешаем,— отмахнулся он.— Каждый сам по себе.

— Я где-то читала, готтентоты свято верят, будто все, что испытывает изображение, переходит на оригинал. Вы никогда не болеете?

— Времени нет.

— А мне иногда так хочется побездельничать, хорошенько отоспаться, дать мамочке меня побаловать. Особенно в хмурые утра тяжело вставать. А вам?

— У меня есть знакомый, наловчился спать с открытыми глазами. Никто не знает, когда он спит, когда бодрствует.

Вышли на улицу, остановились. Ветер подхватил ее длинные волосы, Майя старалась их придержать. Ему понадобилось закурить, искал по карманам зажигалку.

— Ну, вы куда? — спросил, как обычно.

— Домой,— ответила она.

— Тогда до завтра.

— До завтра.

— Не забудьте о своем обещании.

— Это о каком же? Ах да — не заболеть! Предостерегающий ваш перст мне будет сниться.

Перекинулись еще двумя-тремя фразами и разошлись каждый в свою сторону. Как обычно. Немного отойдя, он обернулся: красная шляпка Майи поплавром плыла поверх толпы. А ведь правда — поплавок. Непонятно и странно: такая девушка, а до сих пор не замужем. Никто ее никогда не встречает, не провожает. Сколько ей — двадцать семь или восемь? Наверяд ли больше. Однако не так уж далеко и до старой девы. Черт побери, куда смотрят мужчины.

В тех случаях, когда у Турлава не стоял за воротами его «Москвич», он добирался до дома пешком. Он позволял себе такую роскошь — на шестьдесят минут в сутки, отключившись от дел, шагать и думать, не спеша, не напрягаясь, иной раз и вовсе о пустяках, да, он позволял себе эту маленькую радость,— как Пуш-

кунг вентилировал легкие, так он проветривал себе мозги. А возвращаясь домой на машине, нередко делал круг — к озеру Балтэзер, к Малой Югле, а то и к Гае. Море его не очень-то прельщало, назойливый шум прибоя скорее возбуждал, чем успокаивал.

В последнее время машина все чаще оставалась дома, — хотелось пройтись, поразмяться. Он приближался к тому возрасту, когда исподволь приходит умеренность. Орбита, в которой он вращался, все больше сужалась. Конечно, можно было подыскать для этого и более благозвучное слово: сосредоточенность, целенаправленность. Без большой ошибки на недели, даже на месяцы вперед он мог предсказать, чем будет занят тогда-то и во столько-то, с какими людьми встретится, о чем станет с ними говорить, как поступит при тех или иных обстоятельствах. Появилось желание поболтать с приятелем — изволь довольствоваться телефоном. Увлечение хоккеем удовлетворялось сводками спортивных новостей. Нет, не совсем он задубел, по утрам еще бегал, делал зарядку, зимой по субботам и воскресеньям становился на лыжи, летом плавал, сидел на веслах. Но побудительные причины теперь были другие, обретали откровенно практический смысл — не отяжелеть бы, не расползтись, не расслабиться. Жирок человеку все равно что ржавчина железу, запустил — и пиши пропало.

Хлынул настоящий ливень. Турлава это особенно не расстроило, он только прибавил шагу. Расцвеченный огнями асфальт закипел, дождь сек в спину и в грудь, струился по щекам, стекал за воротник. Улица, воздух, земля — сплошное движение. Довольно бестолковое движение, хаотичное, но понемногу воды находили русла, собирались, дробились, отводились. Великий момент перемещений и брожения. Все клокотало, стремились куда-то. Водосточные трубы взхлеб глотали низвергавшиеся в них потоки, троллейбусы, автобусы, распираемые от обилия пассажиров, едва волокли свои грузные туши. Люди штурмовали магазины, толкались у прилавков, толпились у стендов. Громыхали кассы, разносились аппетитные запахи.

В гастрономе все еще продавали апельсины. Огромные витрины, будто в ряд поставленные телевизоры, демонстрировали решающие бои за витамины — ящики проворно опустошались. Женская половина КБ телефонии предусмотрительно запаслась дефицитным то-

варом еще в рабочее время. Этот народ обладал удивительной сноровкой выбираться за пределы заводской территории. Турлав вел ожесточенную борьбу с меркантильными набегами,— впрочем, старался шума не поднимать, коль скоро отлучки были кратковременны и серьезного ущерба работе не причиняли.

Ну и ну, он глазам отказывался верить, когда в толчее, среди охотников за апельсинами, увидел и Стурита. Стоило на него поглядеть час-другой назад, на заседании месткома, и невольно закрадывалась мысль, что много он не надышит, не дай бог, упадет и развалится, хоть «скорую помощь» вызывай. Но вот уж по очередям толкается. Интересно, какой из своих дам вознамерился сделать подношение.

Турлав хмыкнул про себя. А час тому назад все представлялось в трагическом свете. Хотя и с привкусом комедии. О такого рода разбирательствах еще лет десять — пятнадцать тому назад в газетах и журналах писали, что называется, на полном серьезе, в последнее время — больше с усмешкой. И вот пожалуйста, у самих на предприятии разбирается персональное дело: инженер Стурит на виду у всего коллектива вступил в связь со своей подчиненной, работа, понятно, страдает...

Турлав помнил Стурита по университету, они были одноклассники. Тихий, вежливый, тактичный,— один из тех, у кого отсутствие таланта удачно возмещалось упорством и терпением. Турлаву довелось даже на свадьбе погулять у Стурита, еще в студенческие годы,— в Кулдиге или Айзпите,— пиршество получилось на славу, пиво пили бочками, в пустом сарае были накрыты столы, а ночью палили ракеты. Позже они отдалились друг от друга, хотя работали в одном здании. (Как поживаешь, отлично, жена здорова, все в порядке, ну, передавай привет.) Стурит на семейную жизнь никогда не сетовал, разве так, к слову, да и то в рамках приличия. Не мог нахвалиться своими дочерьми. В последнее время Стурит, правда, что-то сдал, погрузился, начал в весе терять, только сразу ведь не догадаешься, в чем дело. И вот Турлаву поневоле пришлось проникнуть в альковные тайны Стурита. Да и Стуриту присутствие Турлава на заседании месткома не могло доставить радости. Он потел, утирал лоб ладонью, отворачивался, глядел под ноги. Турлав отмалчивался. Непомерное возмущение особы,

председательницы заседания, казалось ему немного комичным, но факты налицо, крыть нечем. Стурита он совершенно не понимал — тоже мне донжуан!

Однако, приметив Стурита в очереди за апельсинами, он даже обрадовался: надо как-то приглушить, рассеять неприятные воспоминания. Эх, Стурит, голова твоя садовая, вот какой ты недотепа, да уж ладно, чего там, хорошо хоть, все обошлось...

Они взглянули друг на друга с принужденной, деланной веселостью.

— Жаль, не подошел чуть пораньше,— сказал Стурит.

— Мои не любители апельсинов,— ответил Турлав.

— Домой?

— Домой.

— Вон как дождик припустил.

— А уж пора бы и морозцу ударить.

Стурита никак не назовешь видным мужчиной. Впалая грудь, сутулые плечи, шея худая, жилистая. И одевался как-то странно, одежда висела на нем и топорщилась, брюки болтались.

— Посмотрел вчера на ваш хваленый автомат,— сказал Турлав. Эта тема представлялась не столь опасной. Обычные вопросы о том, как поживают дочери, могли бы показаться двусмысленными.

— Ну-ну, что скажешь?

— Удивляюсь я вам. Детали из него сыплются как из худого мешка. И потом — столько топорной работы!

— Вконец нас замучил. Хотим, чтобы сам раскладывал детали.

— Скорость бы немного снизить.

— Да уж придется еще повозиться.

Стурит тяжело вздохнул, поморгал воспаленными глазами. Взгляд тусклый, померкший.

А подружка у него, должно быть, молодая, хорошенькая, подумал Турлав. Мысль явилась и прошла. Стурита в роли любовника он себе не представлял. Как не мог себе представить мирно дремлющего крокодила в зоологическом саду в роли дерзкого налетчика. Что ни говори, про себя решил Турлав, а на счастливого человека он не похож. Даже на беззаботного.

В одной руке у Стурита портфель, в другой сетка с апельсинами, с морковью, еще какой-то снедью.

— Ну, я пошел,— сказал Стурит, приподняв обе занятые руки.

Турлав кивнул.

— Старшая дочь в вечерней школе учится, днем — на работе, младшая из школы прибежит, сразу за пианино. Так что магазины в основном на мне.

— Понятно.

— Еще в больницу бы поспеть. Поздновато, да если хорошенько попросить сестру, так пропустит.

— Конечно.

— К матери. Третий месяц лежит. Операцию надо бы, а нельзя. Плохой состав крови, гемоглобина тридцать семь.— Стурит опять поморгал глазами, на его жилистой шее дрогнул кадык.— Так-то вот, приятель, такая жизнь.

— Да, пестрая.

— Ну, будь здоров.

— До завтра.

Остановка была как раз напротив магазина. Кажется, Стуриту ни за что не втиснуться в переполненный троллейбус, столько желающих толпилось на тротуаре. Так нет же, Стурит изловчился, вклинился в самую гущу, вошел, как иголка в клубок ниток, лишь полы плаща остались за дверью.

Турлав поднял воротник — холодно что-то. Разговор со Стуритом произвел на него странное впечатление — как будто он обнаружил серьезный пробел в своем умении разбираться в людях. О похождениях Стурита он даже не догадывался — разве это не пробел? И вокруг этого пробела теперь вертелись его мысли, он снова и снова возвращался к тому, что Стурита не понимает, но дальше дело не шло, мысли кружились, как пена в водовороте. Если у Стурита, как утверждали, действительно была любовница, — сам Стурит того не отрицал и не подтверждал, — навряд ли это какая-нибудь интрижка, не радость даже, не развлечение, пожалуй, наоборот, что-то тяжелое, серьезное, скорее беда, чем порок. Конченный человек, сразу видно.

Какая-то женщина оглянулась на него. С детских лет водилась за ним привычка разговаривать с самим собой.

Ярко освещенный торговый квартал остался позади, заасфальтированный тротуар, широкий и многолюдный, перешел в узкую панель из цементных плит, она тянулась вдоль небольших и покрупнее домиков, дремотных садов, покосившихся заборов. Обочина главной городской магистрали, еще совсем не-

давно глухая окраина с собачьим лаем, петушиными песнями, весенним цветением вишен и яблонь, с цветочными клумбами, с аккуратными поленницами, с дремлющими кошками на крышах гаражей — словом, настоящее предместье. Лишь в самое последнее время, словно большие корабли, подошли сюда и бросили якорь пяти-, шести- и даже девятиэтажные дома.

Между шоссе и тротуаром блестели мокрые стволы оголенных лип. Турлав шагал пружинистой походкой. «Споспешествуй мне, господи, пронести сосуд скудельный плоти», как когда-то писал старина Фирекер. Уж если ходьба, так в хорошем темпе, чтобы застоявшиеся мускулы получили нагрузку, чтобы кровь разошлась, чтобы глубже дышалось. Шагов сто в минуту, это значит — километр за десять, шесть километров в час. О своем «скудельном сосуде» у него не было оснований беспокоиться. Иной раз где-то покалывало, что-то побаливало, не без этого, однако ничего серьезного. Миндалины ему не удаляли, слепая кишка тоже на месте. Бессонница не мучила, на аппетит не жаловался. Взбежать на пятый этаж даже с чемоданом для него было пустяком. Всякое физическое усилие доставляло ему почти наслаждение. Что говорить, он с удовольствием носил свое тело. В самом деле, грех жаловаться.

И все же предупреждение он получил еще несколько лет назад, ранней весной, когда работал над координатными системами. К полуночи заснул рядом с женой в прекрасном настроении, приятно усталый, провалился в сон, как камень в воду канул, а потом ни с того ни с сего проснулся, сам не понимая зачем, но отчетливо сознавая, что немедленно надо встать, что лежать нельзя. Захотелось подбежать к выключателю, зажечь свет. Такое ощущение пришло еще во сне. В томительной тишине, отдававшейся в ушах напряженным тиканьем часов, он почувствовал, вернее слышал, что сердце стучит все быстрее, все громче, хотя не было для этого никакой причины, совершенно никакой. Дыхание пресеклось, прошиб холодный пот. Сейчас что-то должно произойти, все быстрее стучало сердце, все громче. И впервые пришла к нему мысль: то, что сейчас должно произойти, может оказаться его смертью. Прежде он и мысли не допускал, что слово «смерть» имеет к нему какое-то отношение. Он верил в то, что молод, он чувствовал себя молодым, все его

считали молодым, называли молодым, все его помыслы обретались в будущем — завтра, послезавтра, на будущий год, через десять лет. Он еще только собирался по-настоящему жить. Рассудком-то он сознавал, что есть предел, но предел этот был где-то там вдали, как морской горизонт, который всегда отдалается ровно настолько, насколько к нему приближаешься.

Приехала «скорая помощь». Врач сделал укол, приступ прошел. Диагноз звучал так: переутомление, спазмы мышц артериальных сосудов на почве невроза. Вскоре он оправился, первые страхи забылись. И все же тот случай развеял розовый сон о нескончаемой молодости.

О смерти он думал редко, без особых эмоций и зримых образов. Смерть его не интересовала, а то, что его не интересовало, мало и занимало его. И все же такая возможность оставалась. Теперь он знал о ней, и с ней, с этой возможностью, приходилось считаться. Иной раз, работая над каким-нибудь проектом, он ни с того ни с сего вдруг начинал писать на оборотной стороне пространное пояснение, пытаясь самого себя уверить, что все это просто так, чтобы не забылось, в действительности он это делал затем, чтобы ключ от проекта хранился не только у него. В сберегательной кассе он выписал доверенность на имя жены, в ящике письменного стола хранился страховой полис на вполне приличную сумму.

Так вот, со «скудельным сосудом» все было в порядке. Люди посторонние давали ему сорок, не больше. После того единственного раза незримая тень не подавала о себе вестей. Впрочем, однажды, дождливым апрельским вечером, на Псковском шоссе на короткий миг, под нещадный скрип тормозов, ему померещилось, будто опять она здесь, мелькнула за ветровым стеклом. К счастью, тормоза отлажены были превосходно, со слабыми тормозами он ездить не любил. А может, еще и той ночью на Даугаве, когда стала спускать надувная лодка. На нем тогда было столько одежды, резиновые сапоги. Предупреждали ведь, чтобы не вздумал плыть ночью один. Но не в его правилах было следовать добрым советам. У добрых советов ничтожный коэффициент полезного действия, обычно они поверхностны, с неоправданно завышенным запасом прочности. Да и тогда прав-то все же оказался он, а не его добрые советчики.

До дома оставалось минут десять ходу. По обе стороны дороги возвышались белые березы. И дома тут по большей части были новые. Послевоенная Рига индивидуальных застройщиков — ухоженная, прибранная, уютная. Не от нужды единой иметь кров над головой росла она, но росла и на радости строить своими руками, росла на страхах выходцев из деревни, бывших крестьян, оказаться в полном окружении камней.

Лет двадцать тому назад, вскоре после женитьбы, они с Ливией пытались приискать себе жилье. Совсем отчаялись после ряда бесплодных попыток и тут неожиданно получили обнадеживающую весть: родственница Ливии по бабушкиной линии, оперная певица Вилде-Межниеце, после долгих лет покидала сцену, намереваясь впредь посвятить себя исключительно цветоводству. Посему свою городскую квартиру она обменяла на особняк с садом и подыскивала «надежного человека для мелких домашних дел, присутствие которого служило бы также порукой безопасности для хозяйки в месте тихом и нелюдном».

Действительно, в то время место здесь было тихое и нелюдное. Когда он впервые увидел высокий каменный забор и дом в окружении тесно посаженной туи, Турлав еще подумал: вот подходящее место для какой-нибудь истории с Шерлоком Холмсом! Прямо к забору подступал лес. Задуманный в английском стиле двухэтажный особняк строился в тридцатые годы, вид он имел довольно запущенный. Железная калитка оказалась запертой, с каменного столба на него щерилась львиная морда, кнопка звонка находилась в разинутой львиной пасти. Турлав уж было решил, что звонок не работает, когда колыхнулись занавески в одном из окон верхнего этажа. Все же он был замечен, и не просто так, а посредством позолоченного театрального бинокля. Немного погода мелькнувшая в окне голова — теперь уже в сочетании с небольшим подвижным телом — предстала перед ним. Волосы, собранные в распадающийся пучок, обрамляли наспех припудренное, веснушчатое личико, на котором с удивительным, почти девичьим задором поблескивали чуть косящие черные глаза с перчинками зрачков.

Певицу ему довелось видеть только на сцене да еще на мутноватых стародавних фотографиях. Казалось бы, женщина, стоявшая перед ним, никак не

могла быть той известной солисткой оперы; впрочем, твердой уверенности в том не было.

— Моя фамилия Турлав. Альфред Турлав, — сказал он тогда, стараясь придать своим словам вес и достоинство. Положение было довольно дурацкое. С громким лаем, скаля зубы, вокруг него крутился рыжий пес.

— О-о-о, — радостно воскликнула женщина, подталкивая его в холл, — сейчас доложу о вас. Муха! Да уймешься ты наконец! Совсем с тобой нет сладу! Так как вы сказали, ваша фамилия — Турлав?

— Альфред Турлав.

— Это надо ж, стыд и срам. Фу, Муха, фу! А я — Тита Салиня. Вы, должно быть, меня не знаете. Ты просто невежа, фу!

Наконец упрятав Муху за одну из дверей, Тита, приподняв подол платья, взбежала вверх по наводщенной дубовой лестнице.

На верхней площадке появилась особа среднего роста с замысловатой прической. Теперь уж не оставалось сомнений, что это и есть Вилде-Межнице собственная персона. На него был устремлен изучающий, несколько даже удивленный взгляд. Само лицо пребывало как бы вне времени и пространства — лицо неопределенного возраста, будто бы знакомое и вместе с тем чужое. Потом он сообразил, что такое впечатление возникало от густого слоя грима, который старая дама накладывала и в обычные дни, убираясь столь же тщательно для встречи ненароком заглянувшего родственника, как и для многолюдного театрального зала. Без грима мир был невыносим. Грим для нее был то же самое, что скорлупа для рака. И кожа и панцирь одновременно.

Ему показалось, что сейчас грянет музыка и она запоет: поднялся занавес, пахнуло сценой, музыканты поверх пюпитров внимательно следят за дирижером, лишь его палочка пока еще сдерживает звуки, целое море звуков... Это казалось вполне естественным. Куда естественней, чем, скажем, предположение, будто она вышла поговорить с ним о квартире.

— Что вам угодно?

Спустившись на несколько ступенек, она остановилась. Такую мизансцену он где-то уже видел: вас как бы встречают, держа, однако, на расстоянии. Слова были сказаны негромко, но с такой чеканной дик-

цией, что их, наверно, можно было расслышать и на улице.

— Молодой человек, я обращаюсь к вам!

Это помогло ему спуститься с облаков на землю. Он пришел в себя.

— Я по поводу квартиры,— сказал он.— Моя жена говорила с вами по телефону. Ливия Вилде...

Упоминание имени Ливии ничуть не изменило выражения ее лица. Будто не слышала.

— Мне нужен ремонтоспособный истопник. Котел, как мне объяснили, высшего качества, сделан в Швеции, только лопнуло несколько труб.

Поворот к технике придал ему смелости. Вилде-Межниеце как знаток центрального отопления его ничуть не смущала.

— Надо будет посмотреть,— сказал он.

— А вы, простите, по этой части? У вас есть рекомендация?

— У меня есть диплом.

— Диплом истопника?

— Нет,— обронил он небрежно, как обычно выбрасывают козырь,— диплом инженера.

Она помолчала, позволив ему насладиться своими словами.

— Понимаю. Значит, практики у вас нет...

Такого поворота он не ожидал. Она конечно же заметила. И, возможно, это в какой-то мере ее успокоило — прерванную фразу она закончила потеплевшим голосом:

— ...и слава богу. Сегодня утром были двое «с практикой». Жуткие типы, небритые. Вы хоть внешне вполне благопристойны.

— Будьте покойны, топить я умею,— оправившись от смущения, соврал он, глядя ей прямо в глаза.— Дело нехитрое.

— И пустить в дом людей, от которых потом не избавиться, тоже дело нехитрое. Хорошенькая жизнь, когда вам постоянно мозолит глаза какой-нибудь пьянчужка.

Он не знал, как себя вести. При всем уважении и почтении к примадонне ему хотелось сказать ей что-нибудь колкое. Не столько слова, сколько ее небрежная манера разговаривать задевала самолюбие.

— Вам требуется справка о том, что я не пьяница?

— Вы не пьяница. Это по лицу видно. Пьяницы краснеют от злости, а вы еще способны покраснеть от смущения.

— Вы очень любезны. Мне все ясно. Разрешите откланяться.

— Да.— Унизанная перстнями, ухоженная рука Вилде-Межнице приподнялась в величавом жесте.— Можете идти. Вы приняты с испытательным сроком на месяц. Пока без прописки.

И вот по сей день они проживали в доме Вилде-Межнице. И по сей день он считался истопником. Время от времени старая дама призывала его к себе и давала указание сменить пробки на электрическом щитке или что-то в этом роде. К празднику он всегда получал от нее бутылку коньяка. Для него это было забавой, и, право же, он не видел причины, почему он должен отказываться. Все вокруг менялось, переиначивалось, но в этом круговороте оставался один неизменный пункт — его отношения с Вилде-Межнице. Годы были как будто не властны над певицей, и она продолжала смотреть на Турлава как на юнца — с чувством непомерного превосходства, относясь к нему капризно и придирчиво, но в то же время и понимающе благосклонно.

Систему отопления он давно уже перевел на жидкое топливо (Вилде-Межнице об этом не имела ни малейшего представления, и она по-прежнему говорила: мой шведский котел), автомат с заданным режимом отнимал совсем немного времени, нажимать кнопки умела и Ливия.

Год спустя после «вступления в должность» родилась Вита, и в дополнение к первоначальной «служебной комнате» они получили вторую, а через семь лет, когда Вита пошла в школу,— и третью. Он оборудовал еще одну кухню, сделал отдельный вход. Всякие там удобства даже не пришлось специально устраивать: как в любом доме с претензиями, их имелось в достаточном количестве, стоило лишь слегка передвинуть стенку. Такие пустяки Вилде-Межнице мало беспокоили. Зато слово «гараж» вызывало в ней отвращение, казалось бы, одним своим звучанием («Вы оскорбляете меня! Чтобы мой сад пропах бензином! О том я только и мечтала, чтобы жить на территории автобазы!»). В продолжение нескольких месяцев она не отвечала на его приветствия, а все распоряже-

ния поступали к нему в письменном виде. И он отвечал ей письмами. Послания туда и обратно носила Тита.

Гараж он построил на соседнем участке, вплотную к забору. Обе стороны праздновали победу и были вполне удовлетворены. Между прочим, Вилде-Межнице с удовольствием ездила на машине.

Временами он подумывал о том, не стоит ли перебраться на другую квартиру, по крайней мере подать заявление, встать на очередь. Уж конечно ему бы не отказали. Но очередь жаждущих получить квартиры растянулась на многие годы вперед. Да и привычка удерживала.

Он был почти у цели. Дождь перестал. Выглянули звезды. Легко, невесомо из труб струился дым. Светлевшие окна по обе стороны от дороги чем-то напоминали театральные декорации,— дома такие плоские. За прозрачными занавесками двигались тени, голубели экраны телевизоров.

В темноте показалось, что крутая черепичная крыша дома еще больше вздыбилась. А дом весь в туге — за эти годы деревца основательно вытянулись, таких высоких он еще нигде не видел. На втором этаже, как всегда, светилось окно будуара Вилде-Межнице. Вечернее чаепитие, должно быть, закончилось, теперь она раскладывала пасьянс или предавалась каким-то иным мистериям, о коих он, по бедности воображения, не имел ни малейшего понятия. Жилище Вилде-Межнице являло собой нечто среднее между артистической уборной и мемориальным музеем. Там было множество книг. Иногда она слушала пластинки. Но в общем-то ее образ жизни до сих пор оставался для него такой же загадкой, как и тогда, когда поселился в этом доме.

Зато светились все окна нижнего этажа. Похоже, и Вита уже дома. Вот чудеса!

У калитки, как обычно, твякая, виляя хвостом, на него набросилась Муха. Правда, не рыжей масти, но потомок все той же Мухи I. Бесценный пес, как говорила Ливия, десять пород в одном экземпляре. Если правда, что родство, даже самое отдаленное, проявляется во внешности, в таком случае кто-то из предков Мухи несомненно был поросенком.

— Ну, ну, успокойся, дуреха.— Он похлопал Муху по мокрому боку. Собака тотчас опрокинулась на спину, выставила брюхо, радостно повизгивая.

Посреди двора стояла Тита.

— Кто тут? — громко окликнула она. — Я совсем перестала видеть.

Старость на ней сказывалась тем, что она все более уменьшалась и убывала. Даже личико величиной с перепелиное яйцо, крохотные ее кулачки на глазах усыхали и сжимались. Но кожа, как ни странно, ничуть не морщилась, лишь тончала да гуще покрывалась веснушками, или старческой гречкой. Так и казалось, вот посильней подует ветер, и она полетит, точно сорванный с ветки листок. Но хотя Тита и любила плакаться, ничего страшного с ней не произошло. Для своих лет была она удивительно бодра и подвижна.

— Альфредик, это вы? Вечно я забываю надеть очки. Муха, фу, да замолчишь ты, не мешай, когда люди разговаривают!

— Добрый вечер, Тита, как поживаете?

— О-о-о, бузово, вот никак веревку не сниму. А на дворе оставлять не хочется, льет как в июне.

— Сейчас снимем. Но как же это вы ухитрились завязать так высоко?

— А я по утрам выше ростом. По утрам все люди выше. Когда мы с Салинем жили в Берлине, там практиковал профессор Витингоф. Попасть на его лекции по гигиене тела, — как сейчас помню, бульвар Вильгельма, семь, — было так же трудно, как попать в королевскую оперу, когда Салинь пел Тангейзера. Упражнения Витингофа для развития позвоночника просто удивительны. Если хотите, могу показать. Мне-то самой они уж не помогут, стара стала.

— Может, отложим до завтра?

— Завтра меня не будет. Завтра мастер придет диван перетягивать. А вечером Светланов в зале Гильдии дирижирует Стравинского. Тогда уж послезавтра.

С мотком веревки под мышкой Тита скрылась за парадной дверью.

Она считалась подругой Вилде-Межнице с незапамятных времен. В ту пору за церковью Павла, в баглане, давал представления знаменитый театр «Аполло». Они обе там были хористками. Вилде-Межнице тогда было одиннадцать, а Тите — пятнадцать лет. После первой мировой войны судьба опять их свела. Вилде-Межнице — прославленная солистка оперы. Тита — жена прославленного солиста оперы. Вилде-Межнице собирается в Европу на гастроли; естественно, примадонна не может ехать одна. Кто знает как

свои пять пальцев все европейские театры? Тита. Кто владеет иностранными языками, кто ничего не упустит из виду, кто выйдет из любого положения? Тита. Вторая мировая война опять их разлучила. Вилде-Межнице осталась в Риге, Тита четыре года провела в Москве. Потом они встретились: Тита — вдова прославленного тенора, Вилде-Межнице все еще солистка высокого класса, хотя и не в зените былой славы. У Титы в городе была своя квартира, она получала пенсию и в общем-то была совершенно независима. И все же большую часть времени она проводила здесь, с утра до вечера хлопоча по дому.

— Только не забудьте напомнить! — Личико Титы выглянуло из-за притворенной парадной двери.— Вот увидите, мировая гимнастика!

Турлавы пользовались так называемой «малой дверью», или черным входом, хотя и вход и дверь были вполне нормальные. Скорей уж «зеленым ходом», потому как дверь была выкрашена в зеленый цвет, а летом еще и увита зеленеющей виноградской лозой.

Дверь открылась легко и бесшумно. Но тотчас слух резанул чей-то истошный вопль, потом грянул оркестр, хор заголосил,— пели по-английски,— тягуче, с надрывом взывая: «И-у-да! И-у-да!»

Он был ужасно голоден. В прихожей, еще у вешалки, обычно по запаху определял, что будет на обед. Сегодня пахло кислыми щами. Из кухни вышла Ливия.

— А я и не слышала, как ты вошел.

Поднялась на цыпочки, чмокнула в щеку.

— Фи, какой ты мокрый,— проговорила она с притворным неудовольствием.

— Просто обросел немного для свежести.

— Будто у тебя нет зонта.

— Ты когда-нибудь видела милиционера с зонтом?

— При чем тут милиционер?

— Меня тоже никто не видел с зонтом. Традиция!

Он осторожно взял Ливию за нос и нежно подержал. Очень приятно было подержаться за ее тупенький нос. Такой уютный нос. Уютные плечи. Уютная талия. Никаких особых красот во внешности жены он никогда не искал. Она была как бы частью его самого. (Для нас ведь безразлично, скажем, красивы или некрасивы наши легкие.) Он не помнил, чтобы когда-нибудь был в нее без ума влюблен, чтобы она возбуждала в нем страсть и страдание. Она у него просто была, была уже

от рождения, как были руки и ноги, глаза и уши. Хотя это и расходилось с фактами. Они познакомились сравнительно поздно — он тогда заканчивал институт.

— Вита уже дома?

— У Виты гости, ее сокурсники.

— Сокурсники?

— Чему ты удивляешься? Молодежь — хотят повеселиться.

— Понятно. И непременно в моей комнате?

— Вита решила, у тебя там просторней, можно потанцевать.

— Стало быть, мне до полуночи сидеть на кухне.

— Навряд ли. С танцами у них что-то не ладится.

— Так я могу зайти к себе в комнату?

— Иди, иди, побеседуй с молодежью.

— Как же, нужен я им.

— По крайней мере поздоровайся.

— К чему такие церемонии.

— Ну, зайди, не капризничай.

— А ты не можешь без организационных мероприятий?

— Полюбезничай с ними. Многие у нас впервые.

— Не очень-то полюбезничаешь на голодный желудок.

Он даже не старался скрыть досаду. Скорей всего, и не сумел бы скрыть, если бы и хотел, потому что никак не мог понять, над чем он, собственно, язвит. Мелкие неудобства его обычно мало трогали. Так что же? Нарушены его планы, намерения? А-а, вот это уже посерьезней, это всегда его раздражало! Ведь он еще собирался поработать. Само собой, теперь это отпадало.

О чем мне с ними говорить, раздумывал он, сердито поглядывая на Ливию. Та делала вид, что ничего не замечает, преспокойно наливала суп в тарелку. Почему я должен к ним идти, повторял он про себя с почти мальчишеским упрямством, не пойду, и все.

Сокурсники Виты... Солидно звучит! Интересно, а как называют тех, кого в один и тот же день снимают с конвейера родильного дома и которые целую неделю сообща оглашают криком палату новорожденных? Он до сих пор не мог забыть картину, увиденную им через застекленную стену, когда ему впервые показали дочь: на длинных тележках, совсем как белые батончики,

лежали в ряд плотно спеленатые младенцы. Горластая подобралась компания. Сейчас они берегли свои глотки, заставляя надрываться магнитофон. Спеленатые белые батончики постигали нынче премудрости высшей математики. А он помнил то время, когда они зубрили таблицу умножения. Он выходил к ним «побеседовать», приклеив длинную бороду, напялив шубу, разукрашенную звездами, и они глазели на него, разинув рты от изумления, и веря и не веря в бутафорские доспехи Деда Мороза. Они встречались, когда класс выезжал на экскурсию в Сигулду, Тарту или в Эргли. И чего только не случалось в такие поездки! Кто-то вывихнул ногу, кому-то соринка попала в глаз, у кого-то живот разболелся, находились и такие, кто ухитрялся заблудиться, потеряться и снова найтись. Потом подошла пора баловства сигаретами, пора, когда ломается голос, отращиваются длинные волосы, когда стремятся вырядиться как можно почудней. Этот период отлился в крылатую фразу в одном из школьных сочинений Виты: «От огородного пугала Эдмунд отличается лишь тем, что может размахивать руками». Взгляды меняются, ни одно суждение не вечно. В десятом классе это огородное пугало довольно часто провожало Виту домой. Вита, правда, продолжала над ним подтрунивать: «Отчего не использовать рабочую силу, полная выкладка ученика средней школы весит столько же, сколько ноша доброго осла». Подобные насмешки не стоило принимать за чистую монету. Насмешки могли быть началом чувств, пожалуй даже формой их проявления. Он сам когда-то в школе трепал за косы и норовил позлить тех девчонок, которые ему нравились. Зарождавшаяся нежность почему-то проявлялась в озорстве, желание понравиться выражалось во всяческих выходках и проделках. Но они как будто уже миновали эту фазу развития. Со студентами Турлав имел дело на заводе. Довольно дифференцированная группа, кое-кто из них дорос, пожалуй, до того, что его можно причислить к племени *homo sapiens*. Немало, однако, было и таких, кто, слегка освоив свое дело, как личности упрямо оставались на пороге века неандертальцев.

За Виту он был спокоен. Ее развитие протекало ровно, без крутых поворотов и зигзагов. С девочками вообще как будто проще. Меньше метаний, больше усидчивости. Все предметы в школе давались одинако-

во хорошо. И бог знает в какие бы отрасли знания не занесли ее модные поветрия, если бы он не стоял за точные науки вообще и физику твердых тел в частности. То, что Вита поступила на физико-математический факультет, было естественным продолжением той линии интереса, которая переходила уже теперь в третье поколение: дедушка — школьный учитель математики, папочка — инженер, дочка туда же, в науку. Да хотя бы учительницей...

По квартире по-прежнему разносились истошные вопли магнитофона вперемежку с живыми голосами.

На какой-то миг он заколебался — просто ли войти или сначала постучать. Все же постучал, это можно было расценить и как шутку: слегка стукнул согнутым пальцем и тотчас, не дожидаясь ответа, раскрыл дверь.

Торшер был прикрыт пестрой шалью, на столе горела свеча, клубами плыл сигаретный дым. Пахло кофе. Разговоры разом примолкли. В обращенных к нему взглядах сквозило притушенное веселье.

— Добрый вечер,— сказал он, разыгрывая легкое удивление.— Что это вы сидите в потемках! Или столоверчением занимаетесь?

— Ничего похожего, папочка! Тут Эдмунд свой интеллект упражняет. Защищает гипотезу тепловой смерти: температура Вселенной со временем-де уравнивается и упадет до абсолютного нуля.

Вита говорила громко, несколько даже развязно, словно нарочно стараясь казаться бесцеремоннее, грубее, чем была на самом деле. И Эдмунд здесь. Ну, все понятно!

Кто-то догадался выключить магнитофон. Не очень-то в таком шуме побеседуешь. Они поглядывали на него выжидательно, с любопытством. Может, он ошибался, но ему показалось, что смотревшие на него молодые люди выражали примирение с неизбежным, чувство очевидного превосходства и слегка прикрытую добродушную усмешку — давай, дядя, выкладывай, что там у тебя, немножко можем послушать. И они не знали, как им держаться — встать или продолжать сидеть. Парни казались большими, неуклюжими, их обтянутые брюками колени вздымались вокруг низкого столика, словно противотанковые надолбы.

— Присаживайся, папочка, побудь с нами,— во-рковала Вита, юля вокруг него.— Можем угостить тебя кофе, ничего более стоящего у нас нет.

— Понятно,— сказал ухмыляясь он,— первая степень остывания? Так как же себя чувствуют новоиспеченные студенты?

— Нормально,— отозвался Эдмунд, с удовольствием поглаживая свои длинные, светлые усы.— Не успели очухаться, а уж первая сессия катит в глаза.

— Признаться, я был немало удивлен, что и вы (он впервые к Эдмунду обратился на «вы») подались в физику.

— Я и сам удивился не меньше,— пожав плечами, ответил Эдмунд.

— Почему же именно на этот факультет?

Эдмунд по-прежнему излучал добродушно-терпеливую улыбку.

— Руководствуясь методом исключения: слуха у меня нет,— следовательно, консерватория отпадает, рисовать не умею — Академия отпадает, иностранными языками с частными преподавателями не занимался,— значит, иная тоже отпадает. Так что под конец выбор был невелик.

— А ведь правда! — соседка в притворном удивлении хлопнула в ладоши.

— Принял в расчет и то, что в других местах жуткий конкурс.

— Папочка, не слушай его, он сочиняет,— в разговор вмешалась Вита.— Эдмунд у нас любитель пыль пускать в глаза. Да он чуть ли не с пеленок помешан на физике.

— Это точно,— вставил один из парней.— Просто он немного стеснительный. Сдал в Москве экзамены в наипервейший физический институт, потом вдруг передумал, махнул обратно в Ригу.

— Это уже иная статья.— Эдмунд подмигнул соседу.— Какой резон пять лет сидеть в Москве на ситниках, если потом, хочешь не хочешь, придется на черный хлеб перейти. Синхрофазотрона ведь в Риге нет.

— А почему ты непременно должен работать в Риге? Работай в Дубне, у котелков мировых стандартов.

— Благодарствуйте. Ишь какой вы любезный.

— Может, у Эдмунда на то есть личные мотивы,— накинулась на соседа Вита.

Такую Виту, которая, сидя напротив отца, кокетливо улыбалась Эдмунду, он, честно признаться, видел впервые. Не исключено, что этим «личным мотивом», птенчик, являешься ты. Конечно же подобное развитие

отношений вполне закономерно, и, если подумать, удивляться тут решительно нечему. И все же ему сделалось грустно. Это та самая Вита, которую он совсем недавно водил в зоологический сад, чтобы на примерах животного мира в общих чертах объяснить, как появляются на свет дети. Что же в конце концов его так поразило? Не то ли, что дочери его исполнилось девятнадцать лет и что вдруг обнаружилось, что он утратил свои преимущества взрослого? В известной мере они теперь были равны. И это равенство следовало признать. Как следовало признать и право Виты на свой собственный опыт. Его опыт для нее уже был непригоден. Все остальное Вите теперь будет разъяснять Эдмунд.

Всего их было пятеро, не считая Виты. Четыре парня, одна девушка. Ее он оглядел особенно тщательно. Что ж, очень даже хорошенькая. Стройная фигурка, пышный бюст. Железы внутренней секреции работают исправно, это наглядно подтверждала белорозовая кожа. Немного неряшлива, о чем свидетельствовали растрепанная прическа и отсутствующая пуговка в апогее бюста. Но, может, того как раз и требует мода? Ее расслабленное спокойствие иногда вдруг озаряли вспышки темперамента — в ответных репликах или отрывистых фразах вспыхнет, как фейерверк, и опять угаснет, погрузится в задумчивость. Будущая Мария Кюри, подытожил он свои наблюдения. Разыгравшиеся было отцовские чувства в нем улеглись после того, как стал приглядываться к Витиной подруге. А под конец переросли в обычное мужское любопытство.

Он отвел глаза. К черту! Что за глупость — не такой уж он старый, чтобы заглядываться на соплячек. В этой девице он просто подметил что-то знакомое. Ну да, она была чем-то похожа на Майю Суну. Хотя Майя лет на шесть, а то и на семь старше.

— И какие перспективы по окончании института?

(Стандартный вопрос, — будто нарочно придуман для поддержания разговора с молодежью, ведь будущее интересует всех.)

— Э, это так далеко, — Эдмунд обменялся многозначительным взглядом с Витой и еще кое с кем из товарищей. — Триста шестьдесят пять раз до Луны и обратно.

— Папочка, не слушай его,— продолжала Вита в своей игривой манере,— для него цель давно уже ясна. Он будет заниматься лазерами.

— Перво-наперво надо работенку приискать на полставки, чтобы как-то приукрасить стипендию. Я ведь жуткий обжора. Сороковка в месяц не дает необходимых калорий.

— А родители не могут помочь?

— Нет. Я, к сожалению, не принадлежу к той категории студентов. Сынков в нашей группе представляет Ивар Лаздыньсонс.— Наклонившись, Эдмунд дал тумака в бок своему соседу.— Встань, мальчик, шаркни ножкой. Отец — колхозный тракторист, триста пятьдесят рублей в месяц, мать — телятница, триста рублей в месяц. Summa summagum — шестьсот пятьдесят рублей в месяц. И все для единственного сыночка. Хоть в собственном автомобиле разъезжай с нанятым шофером. Ну да встань же, сынок, покажись...

Названный Иваром, давно привыкнув, должно быть, к подобным выпадам, сидел в черепашьем спокойствии, втянув свою круглую головку в широкие плечи.

— Чтоб ты лопнул, зубоскал, лучше вот съешь бутерброд, чем людей есть поедом.

— Родиться у стоящих родителей — это все равно что выиграть в спортлото,— подала голос пышногрудая девица.

— Как сказать,— возразил Ивар.— Было время, когда старички вдвоем за год зарабатывали пятнадцать рублей старыми деньгами.

Проблема эта Турлаву была знакома. На заводе работало немало молодых людей, для которых зарплата была небольшой прибавкой к ежемесячному вспомоществованию, получаемому от родителей. В основном это были выходцы из деревни, — аттестат об окончании средней школы и никакой специальности. Работали оттого, что «надо же что-то делать», заработки их мало интересовали, занимаемая должность — и того меньше. Так они и плыли по течению, бесцельно растрачивая молодость. Потом, глядишь, спохватятся, да уже поздно. Этот юноша, по крайней мере, учился и как будто не похож на лоботряса.

Разговор переходил с одного на другое. Говорили о книге Ватсона «Двойная спираль», об операх биг-бита, новейшей лазерной технике, об использовании

вычислительных машин для толкования снов. Говорили все, за исключением молодого человека в очках, с короткой стрижкой. Тот сидел у торшера и читал газету.

— Э-э-э, вы только послушайте, цитатка просто прелесть,— вдруг подал он голос.— «Кто побеждает в групповых велоездах? В кажущемся хаосе этих заездов есть свои закономерности. Побеждает, во-первых, тот, кто в целости сохранит кожу и кости, во-вторых, кто сбережет техническую оснастку — шины, колеса и прочее, в-третьих, не спасует перед трудностями состязаний, до конца не утратит хорошего настроения и быстроты реакции...» Колоссально ведь, а?

Раздался смех.

— Милый Робис, а про ум ничего там не сказано? — спросила Вита.

— Как же не сказано,— отозвался Робис, вертя в руках газету.— Здоровый ум в здоровых костях.

— В самом деле колоссально,— проговорил Эдмунд. Вита включила магнитофон. Долго терпеть тишину они не могли. Задыхались в тишине, как рыбы на песке.

Еще часок можно было поработать,— всего-навсего начало одиннадцатого. Но мысли путались, ветер какой-то в голове, и такое чувство, будто он сидел не в своей комнате, а на вокзале; поезд только что ушел, стук колес затихает вдали, и тишина после суматохи особенно разительна. Нет, он не жалел о потерянном времени. Встреча с молодежью была полезной.

Он потянулся, снял с полки старинный том в роскошном кожаном переплете. Откуда он тут? Должно быть, Вита что-то искала, попутно наводя свой порядок.

Когда-то в старом двухэтажном доме на окраине, у песчаного холма Гризинькалн, прямо над ними жил отставной штурман дальнего плавания Кристап Плите. Невысокий человечек с густыми бакенбардами и острой козлиной бородкой. Мальчишки прозвали его папашей Буль-буль. Летом сорок первого шальной снаряд, разорвавшийся во дворе, отнял у штурмана жизнь без каких-либо заметных повреждений тела. На улицах свистели пули, за ворота нос не высунешь, и потому пришлось закопать папашу Буль-буль прямо во дворе, за поленницей.

Позднее откопали, положили в гроб и похоронили на кладбище. Вдове покойного все это было не по силам, пришлось помогать. После похорон соседка зазвала его наверх и предложила что-нибудь взять на память из вещей Кристапа. Вся комната пропахла чем-то приторным; казалось, этот дух исходил от обитой плюшем мебели, от плотных бархатных портьер, бесчисленных полок, шкафов, сундуков. Ему не терпелось поскорее выбраться на свежий воздух, и он второпях кивнул на книжную полку. Так ему достались «Афоризмы» Шопенгауэра.

Турлав полистал плотные страницы, пытаясь вникнуть в хорошо знакомый когда-то текст. Его немецкий был все еще хорош, чтобы схватывать инженерно-технические новшества, однако распутывать хитросплетения шопенгауэровского остроумия стало трудновато. Одно приобретаешь, другое теряешь, это понятно. Но где та грань, за которой начинаешь больше терять, чем приобретать?

Он рано и безошибочно вышел на верную дорогу. Везло ему и в том, что повсюду встречались люди увлеченные, знающие, у которых было чему поучиться. На завод пришел с четвертого курса на должность старшего инженера. Заочно получил диплом, стал начальником цеха. Его пытались переманить радисты, сулили все мирские блага, но он остался с телефонией, скорее сердцем, чем разумом понимая, что эта отрасль таит в себе огромные возможности и более интересную работу. Из монтажного цеха перевелся в конструкторское бюро — шаг опять же был правильный. Группе, которой он руководил — тогда ему было двадцать шесть лет, — поручили сконструировать новый телефонный аппарат. Созданная ими модель была признана лучшей в Союзе. В тридцать один год он стал начальником конструкторского бюро телефонии. Еще через четыре года под его руководством была запущена в производство усовершенствованная автоматическая телефонная станция.

Он с блеском защитил диссертацию, переоценке в ней подвергались важные положения не одной только телефонии, но и всей электроники. Он получал дипломы, почетные звания, золотые медали различных международных выставок, к тому же он получал премии и довольно значительную зарплату. Запатентованные им изобретения использовались в нескольких странах.

Его рационализаторские предложения в общей сложности дали сотни тысяч рублей экономии. Теперь перед ним стояла задача: создать АТС принципиально новой конструкции.

А все эти мысли об успокоении — какая чушь! У каждого возраста свои ритмы, свои скорости. Ему был год от роду, он сидел за столом, его кормили кашкой, а он болтал ногами. В пять лет во время еды он уже не болтал ногами. Но разве он успокоился? Ну ладно, Шопенгауэр в оригинале ему уже не по зубам, но в своей отрасли он именно теперь способен сладить с трудностями, которые прежде ему были не по плечу. Сейчас он в наилучшей форме. Все предшествующее можно считать подготовкой. Главное — впереди.

На голову ему опустилась рука, к щеке прижалась щека.

— Ну что, устал?

— Об этом поговорим в другой раз.

— Глаза, наверное, сами слипаются?

— Осталась еще кое-какая работа. Она, как известно, не заяц, сама не убежит.

— И когда ты только поумнеешь.

— И об этом поговорим в другой раз. Завтра у меня важный разговор с директором.

Ливия вышла в соседнюю комнату стелить постель.

За окном дождик шелестел о жесть подоконника.

Он решил, что она заснула, но она не спала. К нему приникло теплое, ждущее тело. В самом деле, он так устал и в первый момент почувствовал только досаду. Ласки жены отскакивали от него, точно от неподвижного многопудового колокола. И все же их оказалось достаточно, чтобы колокол загудел.

Они шли навстречу друг другу без наигрыша и притворства, и если их что-то еще удивляло, так это то, что привычное, хорошо знакомое все еще влекло и манило. Казалось, они прямо-таки созданы друг для друга. В чем еще раз могли убедиться. Впрочем, они давно это знали, ни минуты в том не сомневались. Особенно теперь, двадцать лет спустя, когда их супружество превратилось в некое тождество. Они были как бы двумя половинами единого целого. Соответствие было полное. По сей день все оставалось в силе, и всякий раз тому приходилось только удивляться — их двое, но как бы один.

Они были словно натянутые луки с тугой тетивой и очень старались ее удержать. Лук, обращенный к нему, все более округился, изгибался, он хорошо это чувствовал, будто тот лук был из гладкого и теплого металла. Потом стрелы все же сорвались, это он тоже почувствовал, до того отчетливо, что, казалось, увидел: вот вырвались стрелы и полетели, потому что сила, пославшая их, была сильнее той, что стремилась их задержать, и стрелы летели по синему небу, озаренные солнцем, совсем как стрижи в летний день над любимым его озером Буцишу.

Он расслышал вздох Ливии, так недвусмысленно льстивший мужскому самолюбию. Сколько ему лет? Сорок шесть? А почему не двадцать шесть? Впрочем, возвращение к двадцати шести годам его не очень привлекало, в ту пору он нередко делал глупости, растрачивал себя попусту.

Лицо жены на белой подушке в темноте казалось молодым и ясным, как и в тот раз, когда он впервые увидел Ливию на факультетском вечере. Это лицо, в иное время такое обычное, с морщинками на лбу, с гусиными лапками в уголках глаз, с увядающей кожей и чуточку запавшими глазами, теперь как будто вселучилось изнутри.

Он откинул одеяло, нащупывая в темноте шлепанцы, и вдруг подумал, что у любви есть свой особенный запах. Чем-то схожий с запахом набитых зерном амбаров.

— Послушай,— заговорила Ливия, и голос ее прозвучал мечтательно,— я как-то рассказывала о хоре мальчиков, они пели ангельскими голосами.

— Да, помню.

— А ты тогда рассмеялся: где это я слышала ангельские голоса?

— Ну и что?

— Ничего. Просто так.

Он вернулся, снова лег под одеяло.

— А правда, ты никогда не слышал ангельских голосов?

— Нет.

— Очень жаль.

Ему не хотелось думать, не хотелось говорить. Кровать плыла в темноте, точно пригретый солнцем плот.

Ливия расспрашивала, как прошел день на работе, у нее возник новый план, как провести отпуск, на авто-

бусной остановке она встретила тетушку БERTУ, а Вита сегодня получила письмо.

— Ну и пусть на здоровье получает,— отозвался он. Слова Ливии приходили издалека.— Когда же, если не сейчас, получать.

— Говори потише, может, Вита еще не спит. Вчера зашла к ней в комнату, а вы здесь разговаривали — так отчетливо слышно.

— Бедные родители. Даже ночью в постели приходится детей остерегаться.

— А мне бы хотелось знать, кто ей пишет.

— Что ж, могу тебе сказать: Эдмунд.

— Эдмунд? С какой стати! Они каждый день видятся.

— Так что же? Эдмунд по уши влюблен в Виту, у него на лбу это написано.

— Опять ты паришь в облаках, опять все путаешь. Эдмунду Вита нравилась до одиннадцатого класса, но это было несерьезно. Теперь Эдмунду нравится Ева, и это всерьез. А в Виту влюбился Ивар. Но почерк Ивара я знаю, у него он прямой, а этот наклонный.

— Ева? Та светловолосая девочка? — При мысли о стройной красотке с пышным бюстом ему зачем-то захотелось помянуть недостающую пуговку, но он промолчал.

— Она, только не девочка, уже побывала замужем. Год, как развелась. Жила в Москве.

Над ним зажурчал назидательно-печальный рассказ о заблуждениях юности: легкомысленное увлечение, опрометчивое решение, дурные последствия...

Он дослушал до того места, когда Ева, разругавшись со свекровью, отправилась ночевать на вокзал. Он еще успел подумать: не везет этим Евам в любви. Но потом навалился сон. До него все еще долетали отдельные слова, но они тут же рассыпались; смысл их терялся, и только звуки равномерно плескались вокруг, словно волны о край плота, понемногу окатывая и захлестывая его.

...Опять я проснулся, опять не сплю. Почему? Ничего у меня не болит, ничего мне не нужно. Только во рту почему-то сухо, и сердце стучит, словно после пробежки. Ливия дышит ровно, свернувшись, как белка, в комочек на своей половине кровати. Тихо, темно. Прислушиваюсь — не прогремит ли гром, не полыхнет

ли шипящая вспышка молнии, не захлебнется ли отлая Муха за стеной. Нет, ничего не слышно.

И понемногу возвращается память. Это похоже на то, когда черпаешь воду из бочки: поначалу лишь взбаламученная поверхность, волны, брызги, завихрения, а когда все успокоится, даже дно увидишь. Конечно, виной всему все тот же надоевший до чертиков сон. Отвратительный сон, и всякий раз он начинается по-разному, с безоблачных детских воспоминаний, с приятных картинок минувших дней, с веселых встреч с давними друзьями, потом словно западня защелкнется. В конце всегда одно и то же: я играю в шахматы, мой ход, а я не знаю, какую фигуру куда двинуть. Со стола исчезли клетки. А часы продолжают тикать, и они подключены к адской машине. Время рушится, падает, рассыпается в прах.

Отчего меня так преследует этот сон?

Часы тикают. Почти так же громко, как во сне. Каждый вечер Ливия из кухни приносит будильник, ставит на тумбочку. Завести часы перед сном — для нее такой же ритуал, как молитва для верующего. В половине седьмого будильник зазвонит. Потому что его завели. Шестеренки, колесики, пружинки во времени смыслят не более, чем заступ могильщика в законе сохранения материи.

Сейчас ход часового механизма вовсе не страшен, он деловит и не навязчив. До половины седьмого еще далеко. Но перед глазами разбуженные сном воспоминания детства: вот отец ведет меня за ручку погулять, я босиком брожу по лужам. И все как будто близко. Где-то рядом, рукой подать. А времени в обрез.

Совещание у директора. Если проектирование новых АТС поручат нашему бюро, это станет работой на несколько лет. Хочу ли я этого? Отдать часть жизни проекту, в который не верю. Проекту, которому суждено прозябать в моделях и опытных образцах. Который в производство, скорей всего, не будет вообще запущен. Ничего себе старт велогонки, когда знаешь заранее, что у тебя спускает колесо. Неужели к этому я готовил себя долгие годы? И как раз теперь, когда по силам то, что лет через шесть или семь уже мне будет не поднять.

Матери своей я не помню. Меня за ручку ведет отец. Летний погожий день, сквозь щели забора вижу солнце, оно слепит глаза. Отчетливо вижу отцовское

лицо, крупное, грубоватое, будто топором тесанное из старой колоды, слегка тронутой древоточцем. Отчетливо чувствую запах отцовской щеки, когда прижимаюсь к ней носом.

Отец давно умер, его лицо теперь ношу я. У меня отцовский лоб, отцовский нос, у меня запах его кожи. Индусы верят в то, что души людей после смерти вселяются в собак, кузнечиков, кошек. Я верую в то, что душа человека после смерти живет в его детях.

Нет у меня сына, кому бы я смог передать свое лицо и запах своей кожи. Цепь разорвана. Может, потому и снится мне этот дурацкий сон. Жизнь не всегда складывается так, как мы того хотим и ожидаем. Каким дородством еще пахнет наша любовь. Но это одна только видимость.

Операцию Ливии делали два часа. Потом я вошел к доктору. Хирург сидел на диване в белой сорочке, в белых брюках, похожий на уставшего пекаря после выпечки булочек. Пил кофе, покуривал.

— Все в порядке? — спросил я.

— Полагаю, что да, — отозвался доктор, поглядывая на меня со странной улыбкой. — Ведь у вас уже взрослая дочь...

До чего же громко могут тикать такие вот часики. Под подушку их, что ли, положить? А может, самому под подушку засунуть голову? Страус в пижаме. Давай шевели мозгами — твой ход. Или спи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда он утверждал, что знает наперед, чем будет занят через неделю и месяц в такой-то час, с какими людьми увидится, о чем станет с ними говорить, — это, разумеется, было несколько преувеличено. Много ли он знал о зигзагах даже предстоящего дня?

На работу Турлав, как правило, являлся на полчаса раньше. Он любил войти первым в тихую, проветренную комнату, не спеша сесть к столу и в одиночестве подумать — в мыслях и на бумаге, — что предстоит сделать за день. Эти полчаса обычно бывали самыми плодотворными, хотя задания для каждой группы он обдумывал и распределял еще накануне вечером, перед тем как лечь спать, иногда утром, за завтраком или по пути на завод. Голова особенно хорошо работала, пока он принимал душ.

В проходной, у первой вертушки, стояла Алма. Темно-синяя шинель, кобура револьвера на поясе, платок из собачьей шерсти на голове; у Алмы болели уши, что ж, понятно, всегда на сквозняке, между двух дверей.

— Привет, Алма. Как дела?

— Да вот опять Язеп.

— Туда или обратно?

— Обратно.

— Вдвоем?

— Хуже. На сей раз втроем.

Язеп был ее единственным сыном. То уезжал он счастье искать к ненцам на Север, то на Дальний Восток, то в солнечный Ташкент. Однако нигде не задерживался долго, возвращался в Ригу к матери, и всегда с новой женой, от которой норовил поскорей избавиться, чтобы опять куда-нибудь улететь вольной птицей. Таким манером Алма обрела двух квартирантов, носивших ту же фамилию, что и она.

— Поздравляю.

— Спасибо. Хватит с меня.

Стоять в проходе не принято. Людской поток прибывал, в цехах шла пересменка.

Возле «Лучших людей» Турлав повстречался с Фредисом. По утрам в этой части двора Фредиса можно было встретить почти наверняка; в зависимости от сезона он поливал цветы или снег сгребал. Все разговоры с Фредисом рано или поздно сводились к спорту. В молодости Фредис занимался классической борьбой, в 1936 году ценой огромных усилий ему удалось пробиться на олимпиаду в Берлин, но там, по собственным его словам, «от больших душевных волнений», его свалил понос, и так он ослабел, что даже шнурки на башмаках не способен был завязать самостоятельно. По части спорта Фредис был ходячим справочным бюро. «Как ЦСКА вчера сыграл с Грузией?» — еще издали кричали ему проходившие. «Это правда, что Лусис сломал себе большой палец?» «Что-то Пеле в этом сезоне не слышно?» Фредис знал решительно все. Был он веселый, улыбчивый, вставные челюсти так и поблескивали.

И теперь он там хлопотал, старый атлет, «наш олимпиец», располневший, сутулый, одеревенелый, в вязаной шапочке с помпоном, с множеством значков на желтой нейлоновой стеганке; все, кто куда-нибудь

ездил или участвовал в состязаниях, считали своим долгом привезти Фредису эти маленькие сувениры.

— Здорово, Фредис! Что там слышно насчет игр с канадскими профессионалами?

Однако на этот раз Фредис оперся на грабли и отвел глаза.

— Только что увезли.

— Кого увезли?

— Жаниса Бариня.

— Куда увезли?

— В морг.

Фредис швырнул грабли в пожухлую траву так, что песок брызнул.

— Послушай, Фредис, ты случайно не того? (Общепринятый жест — щелчок в подбородок.)

— А надо бы.

— В чем дело?

— Не стало человека. Ночью в шахту лифта провалился. Какая-то там пружина подвела. Открыл дверцу, шагнул. А лифт стоял тремя этажами ниже.

— Как же так!

— Я вот только думаю, такая смерть, она, должно быть, легкая. Жанис, поди, и не смекнул, что происходит.

— Еще бы. Отличная смерть!

К чему он это выпалил с такой злобой, с таким сарказмом, как будто во всем виноват был Фредис? Конечно, срывать злость на Фредисе было верхом идиотизма, он совсем не собирался этого делать. Просто напор был слишком велик, и злость прорвалась наружу.

Бариню было уже за семьдесят. Дай бог каждому столько прожить. (И не стало его лишь потому, что «какая-то пружина в лифте подвела». Слабое утешение.) Баринь держался молодцом. Дважды его с оркестром, цветами и прочувствованными речами провожали на пенсию, и каждый раз он ухитрялся потихоньку вернуться обратно.

Долгое время они друг друга недолюбливали. Турлава тогда назначили начальником цеха (1952 год. Он хорошо помнил одну из своих фотографий тех времен: худое, чем-то на колун похожее лицо, тонкая, длинная шея; из перелицованного костюма сшитая куртка, болтающиеся штанины, из-под кофты торчит воротник рубашки; волосы совсем светлые, посередке разделились

надвое, свесились на уши). Как все молодые выдвиженцы, он был необычайно самоуверен, немного витал в облаках, считал себя и свои действия непогрешимыми, свято верил, что грань между старым и новым проводит не кто-нибудь, а его персона. Сами по себе эти качества, возможно, были не так уж дурны, но при отсутствии опыта и практики приводили к неожиданным конфликтам, насмешкам, ухмылкам, а это больно задевало самолюбие молодого инженера. Повсюду мерещились подвохи его авторитету и достоинству.

Жанис Баринь был типичным представителем старорежимной рабочей верхушки. Знаток своего дела, к тому же и кичившийся своим умением, капризный и требовательный, он привык хорошо зарабатывать и свысока поглядывал на менее способных. В послевоенные годы, вовлеченный в поток перестройки промышленности, он себя почувствовал ущемленным и обиженным. Турлав в представлении Бариня олицетворял собой не только новую власть, но был еще и разрушителем старого заводского уклада.

Турлаву, в свою очередь, Жанис Баринь не нравился потому, что в его присутствии он ощущал что-то похожее на страх или неловкость. (Конечно же прав я, но поди попробуй докажи!) Баринь не оспаривал указаний Турлава, однако губы у него всегда были поджаты в странной ухмылке. Старые электронщики говорили: на таких, как Баринь, заводская слава держится. А Турлав в ту пору считал, что как социальное явление и производительный фактор рабочие вроде Бариня принадлежали прошлому, в широко автоматизированном массовом производстве их неоспоримое мастерство почти не находило себе применения.

— Простите, у вас какое образование? — спросил Турлав у Бариня в самом начале знакомства.

— Работаю здесь с тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— А как с образованием?

— Вот я и говорю. С двадцать восьмого года.

— Ваша основная специальность?

— Разные работы выполняю. По слесарной части, с машинами...

— Все-таки — что конкретно?

— Нужно было, электрические часы мастерил, понадобилось — самолеты строил.

— Один или оба? Самолетов-то этих было кот наплакал.

— Напрасно смеетесь. Работы там хватало.

В другой раз, после политинформации, где лектор с помощью цифр и диаграмм наглядно показал все слабые стороны старого «Электрона», Баринь вынул из кармана крохотную шестеренку, величиной не более булавочной головки, и торжественно положил ее на ладонь Турлава.

— Вот, полюбуйтесь,— сказал он,— продукция старого «Электрона». Регулятор диафрагмы «Молекса».

— Приходилось видеть.

— «Молекс» когда-то был самой маленькой любительской фотокамерой в мире. Самой маленькой и самой надежной. Такую не сумели сделать ни американцы, ни немцы, ни шведы.

— Себестоимость «Молекса» была очень высока. В месяц «Электрон» производил всего сотню «Молексов».

— Мы с вами толкуем о разных вещах.

Турлав долго не мог понять, отчего Баринь работает в монтажном цехе, а не в экспериментальном или с инструментальщиками. Позже он выяснил: в документах Бариня почему-то записали по четвертому слесарному разряду; к таким вещам старик был чувствителен.

В первый же день после того, как его поставили контролером, Баринь забраковал треть аппаратов и потребовал остановить конвейер.

— Вы соображаете, что делаете? — прикрикнул на него Турлав.— Девяносто процентов забракованных вами аппаратов отвечают государственным нормам.

— Сдается мне, у нашего завода помимо этого есть еще и свои собственные нормы,— ответил Баринь.

В тот раз они, что называется, схлестнулись не на шутку, хотя по вопросу о качестве продукции расхождений у них было меньше всего.

Когда конструктор автоматов Пурв организовал особую слесарную бригаду, Баринь ушел из цеха. Ему без разговоров присвоили седьмой разряд. И неожиданно для себя Турлав почувствовал, что в цехе чего-то не хватает.

Горделивость Бариня объяснялась вовсе не заносчивостью, причиной было свое особое восприятие жизни, в которой наиболее ценным достоинством почита-

лось умение работать. Сказать, что Баринь любил свою работу, было бы не совсем правильно. Он просто слился с нею, как пчела со своим ульем. «Электрон» для Бариня был его ульем со своим запахом, гудом, своими неписаными законами, своей трудовой спайкой.

А может, было что-то такое, что он без Бариня не смог бы открыть? Пожалуй, нет. И все же Турлав по сей день добрым словом поминал Бариня за то, что именно он впервые дал ему почувствовать, что значит любить свое дело.

Нет больше Жаниса Бариня. Трагически погиб, пал жертвой самой обычной халатности, которую старик всю жизнь ненавидел и с которой боролся где только мог.

Подсев к столу, Турлав схватился за телефон, набрал номер заместителя директора Лукянского. Номер отозвался гудками «занято», но это означало, что Лукянский уже на месте. Немного погодя Турлав набрал еще раз.

— Лукянский,— отозвался глуховатый, с хрипотцой голос.

— Ну, видишь, как здорово. Жму руку.

— Турлав? По какому поводу?

— В знак признательности. По случаю смерти Бариня.

— Послушай, Турлав, по-моему... шутки здесь неуместны.

— Тогда поговорим серьезно. Месяц назад Иванов поставил тебя в известность о том, что дверь лифта открывается сама собой, что нужен ремонт, просил твоего согласия. Я при сем присутствовал.

— Это не входит в мои обязанности. За лифты отвечают механики.

— Просто-напросто тебя это не трогало, поскольку ты был уверен, что сам в шахту лифта не провалишься.

— Мне дали знать, что лифт исправлен.

— Можешь не оправдываться, я ведь не прокурор.

— Несчастный случай. Аварии случаются даже на космических кораблях. Думаешь, мне не жаль старика.

— Ну и чудесно. Спасибо тебе.

— За что?

— За доброе сердце.

— Я тебе уже сказал: за лифты я не отвечаю.

— За что ты отвечаешь?

— Во всяком случае, я здесь не для того, чтобы отвечать на дурацкие вопросы.

Лукиянский швырнул трубку. Мембрана донесла щелчок обычной громкости, однако Турлав хорошо мог себе представить, что произошло на том конце провода. Лукьянский весил сто двадцать килограммов и мог ладонью обхватить графин. После подобных разговоров он обычно отправлялся в телефонный цех за новым аппаратом.

Утро было испорчено. Турлав как будто бы делал все то же самое, что всегда,— открывал шкаф, доставал бумаги, проглядывал расчеты, набрасывал схемы, но душа не лежала к работе.

Среда. Интересно, когда же похороны? В пятницу, в субботу? Остался ли у старого Бариня кто-нибудь из близких? Единственно, что знал о нем Турлав: Баринь жил где-то на Кипсале.

Он встал из-за стола и принялся расхаживать по недавно вымытому, местами еще влажному полу. Все никак не мог успокоиться, вроде бы даже знобило немного. К тому же волнение не только не утихло, а, наоборот, усиливалось. Может, дело вовсе не в Барине? Может, он волнуется из-за предстоящего совещания? Вопрос, который будет на нем решаться, чертовски важен.

О так называемых иннервационных телефонных станциях впервые заговорили японцы лет пять тому назад. Новым направлением в телефонии вскоре заинтересовались американцы и французы. На сегодняшний день разговор на дальние расстояния обеспечивается соединением и разъединением. Коммутаторы, декадно-шаговые искатели, координатные системы являются лишь различными ступенями соединения и разъединения, начиная с контактного штыря, который телефонистка вводит в гнездо требуемого номера, и кончая автоматом, который сам отыскивает и соединяет нужные концы. Чем надежнее соединение, тем выше качество переговоров.

В основу же иннервационных телефонных станций положен иной принцип: провода соединены постоянно, а потоком импульсов по мере надобности управляют особые иннервационные соединители. Повышается слышимость, исключается неисправность контактов, аппаратура не боится ни пыли, ни ржавчины.

Бывшему директору «Электрона» Гобниеку был присущ классически ясный стиль руководства. Постепенно поднимаясь вверх по ступенькам служебной лестницы, он до тонкостей изучил жизнь предприятия на всех его уровнях. Руководящий состав знал так же хорошо, как заядлый филателист знает свои марки, и все перестановки, перемещения он мог сделать с закрытыми глазами. Но подобно тому как актеры-трагики иной раз мечтают играть в комедиях, а эстрадным исполнителям снятся подмостки оперных театров, так и Гобниек, надо думать, свою степенную уравновешенность воспринимал как однобокость и в глубине души мечтал быть игроком, импровизатором. Поэтому в отдельных редких случаях он принимал решения, которые поражали своей непродуманностью. К таким решениям, вне всяких сомнений, относилось и назначение Леона Руша главным конструктором телефонии. Не проверенный в работе человек и вдруг — на такое место! Прежде на «Электроне» ничего похожего не случалось.

Но со временем Турлав начал кое-что понимать. Моложавая внешность и бесхитростный взгляд васильковых глаз Руша вводили в заблуждение. Он умел обещать, убеждать, всегда чутьем угадывал, на кого выгодно опереться, а с кем — бороться. У него были самые отменные анкеты и самые влиятельные рекомендации. У него находились знакомые именно там, где нужно, всегда он знал, когда и кому следует позвонить, и в нужный момент всегда находился кто-то, кто звонил ему. И тогда опять он звонил и просил позвонить кому-то другому, а другие звонили еще другим, ибо им звонили и просили позвонить. Руш вынашивал обширные планы. Стремясь поразить, ослепить, всех повергнуть в почтительный трепет, Руш избрал своим знаменем иннервацию. В ту пору в Риге проводилась региональная конференция по вопросам техники связи. Взяв слово для сообщения по поводу одной давно набившей оскомину эксплуатационной проблемы, Руш под занавес, свернув листки своего выступления, обвел светлым взором не очень внимательный зал, скучающий президиум и объявил, что руководимые им конструкторы «Электрона» решили создать принципиально новый тип телефонной станции.

Сообщение было принято бурными аплодисментами, о нем не забыли, оно задало тон всем последующим

выступлениям — с еще большим пылом ораторы обличали застой и робость творческой мысли, призывали к дерзким решениям, смелым экспериментам.

Гобниек потребовал у Руша объяснений.

— Иннервация — завтрашний день телефонии, — безо всякого смущения объявил Руш, — нам от нее никуда не деться. Лучше быть первыми, чем последними.

И далее он до мельчайших подробностей обосновал, насколько важно было такое сообщение сделать именно на таком представительном совещании, какие выгоды от этого получит предприятие и какие должны быть предприняты следующие шаги.

Гобниек глядел на Руша и пожимал плечами.

— Завод выпускает то, что предлагает институт и заказывает министерство. Будто вы не знаете. Это же несерьезно. Я бы даже сказал — непорядочно.

— Конференция продолжается. Еще есть возможность опровергнуть сообщение, милости просим. Произошло недоразумение, мы не собираемся проектировать иннервационные станции.

— Я не знаю, будем мы или не будем их проектировать. Не знаете этого и вы.

Однако весть о новых телефонных станциях «Электрона», подобно капле нефти, упала в воду и, радужно блистая, переливаясь, растекаясь, пустилась в плавание. В газетах появились хвалебные строки, инициатива инженера Руша добрым словом отмечалась во всех обзорах и отчетах. Руш раздавал интервью, выступал по телевидению в программе «Это волнует каждого», обхаживал ответственных лиц, влиятельные учреждения, катался в Вильнюс и Минск, Ленинград и Москву, разъяснял, заверял, убеждал. И уж конечно звонил и просил позвонить, и те, кого он просил, в свою очередь просили позвонить.

В литературе принято изображать борцов за передовую технологию такими сиротками в окружении черствого, неотзывчивого мира. Это устарело. В действительности слово «передовой», подобно святыне, излучает магическую силу. Борец за передовое всегда может рассчитывать на симпатию и поддержку со стороны общества. Даже в тех случаях, когда его правота находится под сомнением. («А вдруг все же... Кто его знает...»)

Руш был совершенно уверен в быстрой и славной победе. В так называемый период инстанций все шло

довольно гладко. Выдвинутую идею поддержала группа министерских деятелей, посему производство иннервационных соединителей внесли в планы соответствующих лабораторий, комиссия экспертов дала сочувственный отзыв Комитету по технике.

Но тут-то все и началось. То, что прежде представлялось предельно ясным, теперь было окутано туманом, то, что казалось непоколебимым, сделалось совсем зыбким. Новые схемы потребовали новых, нестандартных узлов, технические решения предлагались слишком сложные, громоздкие. К тому же выяснилось, что принцип иннервации в практическом применении обладает рядом существенных недостатков. Сообщения из-за границы тоже не обнадеживали.

Гобниек занял выжидательную позицию, в общем-то «эксперимент Руша», как он называл его, не скрывая иронического отношения, в работе предприятия занимал довольно ничтожное место. Поживем — увидим, что из этого получится, говорил он.

Покрутившись еще с год, Руш в один прекрасный день, столь же неожиданно, как и появился, ушел с завода — решил всецело посвятить себя научным изысканиям и с этой целью перебрался в НИИ.

Заболев сахарной болезнью, вскоре на пенсию вышел и директор Гобниек. Однако семя иннервационных станций было посеяно. Рекомендации перерастали в заключения, заключения плодили указания, указания выливались в решения. В газетах по-прежнему появлялись сообщения о том, что «Электрон» готовится к выпуску иннервационных станций, и, как ни оттягивали, заводу все же пришлось поставить задание в план, указав и объем, и сроки. Поскольку работы разрастались, все дело предполагалось передать в бюро, возглавляемое Турлавом. Как раз сегодня этот вопрос и должен был решаться.

Хлопнула дверь, появился первый из сотрудников КБ телефонии студент-заочник Пушкинг, второй год работавший техником. Он был прирожденным конструктором и уже теперь был куда более сведущ, чем иной инженер. Понятно, перед экзаменационной сессией он только тем и занимался, что с утра до вечера сидел, уткнувшись в свои конспекты. Но уж если брался за работу, подгонять его не приходилось.

— Как дела со схемами МОП? — осведомился Турлав.

— Все в порядке,— отозвался Пушкунг, поеживаясь. Разговаривая, он всегда поеживался, морщился, как будто его донимала боль; черные густые брови над крепкой переносицей беспокойно опускались, поднимались.

— А теперь скажите мне откровенно: что вы намерены делать, когда получите диплом?

— Буду работать здесь.

— Так, так. Но в цехе у инженера зарплата значительно выше.

— Все равно не уйду.

— Не зарекайтесь. Женитесь, дети пойдут.

Пушкунг еще больше сморщился.

— Я оптимист.

— Надеетесь прожить в холостяках?

— Нет. Надеюсь, что конструкторам увеличат оклады.

— Ну ладно, я ведь просто так, подумал о теме вашей дипломной работы.

Вошла Юзефа, инженер первой категории. Вид у нее был растерянный.

— Вы не представляете, что со мной случилось. Еду в трамвае,— конечно, битком набит, водитель резко тормозит, все летят друг на дружку. А я чувствую, мой локоть ударяется в чье-то лицо. Молодой человек симпатичной наружности. Гляжу — двух зубов у него как не бывало. С ума сойти! И что же он? Гражданочка, говорит, не волнуйтесь, они ведь у меня не настоящие...

Руководитель группы Скайстлаук вошел молча, молча кивнул всем, молча снял пальто, молча подсел к своему столу, заваленному аппаратурой, и тотчас углубился в работу.

Жанна с Эмилией, как обычно, завели дискуссию о детских болезнях. На сей раз обсуждалось воспаление среднего уха: какие компрессы ставить, чем согревать, какие лекарства помогают, какие нет. Дети им были ближе, чем телефония, и тут уж ничего нельзя было поделать.

Ерник Сашинь, едва переступив порог, устремился к графину с водой. Лилия и Юзефа пристраивали ветки хвой в вазу.

— Слабенькие у вас веточки,— сказал Сашинь,— головки раньше времени поникли.

Комната быстро наполнялась. Турлав, делая вид, что листает бумаги, на самом деле внимательно наблюдал за всеми, кто входил. У него в бюро люди менялись редко. Почти каждого он знал уже многие годы, знал, на что тот способен, в каком направлении желает работать.

Склад характера, увлечения, радости и горести личной жизни — со временем все выходит наружу. Совместными силами им удалось сделать немало хорошего. Эти люди маневрировали его мыслями, катали их туда и обратно, пока все не становилось на свои места, — так на сортировочной станции растаскиваются и заново составляются составы.

Каждый в отдельности занимался будто бы мелочами, координация изысканий не входила в их обязанности, в важных вопросах они ничего не решали, ни за что не отвечали, все же работа их много значила. Подчас именно тем, что доказывала нецелесообразность того или иного решения. И это было достижением. Они гордились этим. А затем уже доискивались до верного решения. И снова — чувство удовлетворения. Он, Турлав, не был рядовым конструктором, он не имел права замыкаться в мелочах, от него требовали законченных проектов.

И все же не слишком ли много он брал на себя? Ведь и он всего-навсего звено в большой цепи. Над ним стоят другие. Ему предлагают сконструировать телефонную станцию нового типа, ну что ж, браво-брависсимо, чрезвычайно интересное задание. Представилась возможность показать, на что он способен. Что? Новый принцип не оправдал надежд? Жаль. Не все эксперименты оправдывают возлагавшиеся на них надежды. Зато получены ценные выводы для дальнейших исследований. И на него не падет ни малейшая тень. Ему поручили, он выполнил. Но что он сам об этом думал? А ничего. Вопрос решался другими. Разве он у подчиненных спрашивает, что они думают, получая очередное задание?

Разговоры в комнате примолкли, Пушкунг мерно замыкал и размыкал соединитель, ерник Сашинь паял контакты, потянуло дымком канифоли.

Вошла Майя Суна. Раскраснелась — должно быть, спешила.

— Доброе утро, — сказала она, ни к кому в особенности не обращаясь, — с прекрасной вас погодой.

— Доброе утро,— проронил Турлав, все еще слясь отрешиться от своих разноречивых мыслей. Но теперь у него было такое ощущение, будто в раскрывшуюся дверь пахнуло свежим ветром, запахом дождя, первого снега, палой листвы. У Майиного плаща влажные плечи, опять дождь, льет и льет. А волосы у нее цвета дождя, дождь льет, полощется, подобно распущенным волосам, и волосы — как дождь, распущенный ветром.

Он встал, пошел к выходу. До совещания времени осталось более чем достаточно. В его КБ шестьдесят человек, поделены на четыре группы, у каждой своя комната.

— Все уже у директора? — спросил он у секретаря.

— Нет, совещание отменяется.

— Вот это новость! А меня не известили.

— К вам это не относится. Директор просил вас зайти. Одну минутку,— секретарь нажала кнопку и дождалась, когда на пульте загорелась лампочка.— Пожалуйста, пройдите.

Приемную от директорского кабинета отделяли двойные, неудобно открывавшиеся двери — наследие былых времен. Давно уже привыкли к тому, что всякий входящий вначале представлял перед директором спиной, поочередно затворяя за собою обе двери. Но это было, пожалуй, единственное, что Калсон не изменил, подумал Турлав.

В остальном кабинет Калсона напоминал сцену из какого-то современного фильма. И давал известное представление о своем хозяине. Добрую половину необъятного стола занимали микрофоны, динамики, циферблаты, счетчики, кнопки, рычажки. Вмонтированные в потолок светильники с помощью дистанционного управления сосредоточивали свет в нужной части кабинета. Нажатием кнопки можно было зашторить окна, превратив кабинет в кинозал. Специальные зеркальные камеры могли проецировать на стену чертежи, изображения, диаграммы. Часть этих устройств действовала, другая — вышла из строя, постоянно появлялось что-то новое, ничего не было доведено до конца. Турлав толком не мог разобраться, для чего понадобилась вся эта автоматика — для практических целей или в качестве своеобразной выставки.

Сам Борис Янович Калсон был примерно тех лет, что и Турлав. Отец Калсона был известен как один из

организаторов советской авиации. В кадрах давней кинохроники его можно было увидеть вместе с Якобом Алкснисом, Туполевым-старшим и Валерием Чкаловым. Считалось, что именно он, отец Калсона, был главным техническим руководителем межконтинентального перелета в тридцатые годы. Известна была также фотография, на которой маленький Борис в летном шлеме сидел на плечах у отца во время авиационного парада в Тушино. Мать его, Ольга Корягина, занимала не менее выдающееся место в балете. И этот факт в биографии Бориса Калсона сыграл немаловажную роль. Особенно после трагической смерти отца, когда дома старались изгнать из головы сына любую мысль о технике.

Однако гены в таких случаях нередко поднимают бунт: окончив среднюю школу, Борис, не сказав матери, прикатил в Ригу, поступил на механический факультет.

Турлав хорошо его запомнил, хотя учились они в разных потоках,— Калсона нельзя было не заметить. Общительный по натуре, прекрасный собеседник, он выступал с докладами, умело ставил вопросы и давал четкие ответы, он был одним из тех, кого непрерывно выдвигают и выбирают на различные общественные посты. Рослый и стройный, с приятными манерами, Борис Калсон уже в двадцать пять лет почти начисто лишился волос, что придавало его внешности солидность интеллектуала.

Примерно в то же время, когда Турлав разрабатывал усовершенствованную модель телефонного аппарата, прошел слух, что радиоинженер Калсон в рамках научного обмена едет во Францию пополнить свои знания в области электроники. Затем Калсон попеременно работал то в Риге, то за границей. Четыре года был консультантом в одной из африканских стран, устраивал выставку телефонной аппаратуры в Канаде, в промежутках занимая различные ответственные должности на заводе «Электрон». Как директор Калсон был отмечен по крайней мере двумя выдающимися качествами: он был человек широкого кругозора и современного склада мышления.

— До того как вопрос будет поднят на совещании, мне бы хотелось побеседовать с вами тет-а-тет,— начал он, приглашая Турлава в наиболее уютный уголок кабинета; металлический сифон на приземистом столи-

ке, несомненно, был столь же характерной деталью личности Калсона, как и огромные дымчатые стекла очков или его бритая голова.— Нельзя не признать, что ситуация довольно деликатная. Иннервационные станции включены уже в план. Выходит, нам остается лишь наметить практические мероприятия.

— И вы считаете, что эти «практические мероприятия» должны быть возложены на КБ телефонии?

— Естественно. Как же иначе.

Турлав поймал себя на глупейшем занятии: кончиками пальцев он потирал никелированную окантовку стола. Еще он про себя отметил, что холодная дрожь внутри унялась и теперь по телу расплывался жар — такое нередко ему приходилось испытывать в детстве в моменты полной своей беспомощности.

— В таком случае выскажусь откровенно. Я ознакомился с материалами, кое-что подсчитал и прикинул — проект нереален. Будь мы научно-исследовательский институт, тогда другое дело, проблема увлекательная. Но мы — завод. Принцип сам по себе ни о чем еще не говорит. Давно известно, что электромотор лучше двигателя внутреннего сгорания. Но разве автомобильные заводы переключаются на электромоторы? К тому же новые станции будут стоять по крайней мере в двадцать раз дороже теперешних. Хорошо, допускаю: пораскинув мозгами, нам удастся себестоимость снизить наполовину. В таком случае они будут стоять в десять раз дороже. В эксплуатации та же картина: сейчас вся механика как на ладони, любому технику под силу разобраться. В новых — даже инженер со специальной аппаратурой не всегда сразу отыщет неисправность, ведь узлы загерметизированы. Это означает, что придется построить ремонтные мастерские, дополнительно готовить кадры инженеров. И наконец, для каждой станции потребуется в среднем от двухсот до пятисот тысяч иннервационных соединителей, — следовательно, нужен новый завод.

Калсон слушал с предельным вниманием — будто сросся с пластмассовым сферическим креслом, — закинул ногу на ногу, скрестил руки на груди. Но гладко выбритое лицо было столь же непроницаемо, как консервная банка без этикетки.

— Вы закончили? Благодарю вас. Мрачную нарисовали картину.

Калсон снял массивные очки, прикрыл глаза рукой с ухоженными ногтями. Неожиданно встал и, надевая очков, принялся расхаживать по кабинету.

— Альфред Карлович, вам никогда не приходило в голову, что с вашим опытом, при ваших знаниях вы могли бы быть директором завода?

— Не знаю. Не задумывался.

— Представьте себе, что вы директор. Как бы вы поступили на моем месте?

— Я отнюдь не считаю, что осмотрительность и осторожность по отношению к новейшим научным веяниям является единственной опасностью, угрожающей развитию техники. Не меньше зла, по-моему, может принести и опрометчивая увлеченность амбициозными идеями. И в том и в другом случае результат будет один и тот же.

— Думаете, столь просто определить, где кончается развитие и начинается опрометчивость?

— Слабые и сильные стороны иннервации изучены довольно основательно. И у нас, и за границей. Основа есть, но с нашими теперешними возможностями к ней не подступишься. Я глубоко убежден, что наиболее выигрышным направлением для ближайшего будущего станет механический принцип в сочетании с электроникой. У меня есть конкретные предложения.

— А если вдруг окажется, что иннервационный принцип все же перспективен?

— Я не хочу сказать, что проект необходимо совсем отвергнуть. Его следует иметь в виду, но не основным и не единственным. Мы же собираемся броситься в иннервацию, как самоубийца с камнем на шее бросается в омут.

Глаза Калсона, не прикрытые стеклами очков, казались удивительно беспомощными, — глаза ослепленной светом ночной птицы. Смуглое лицо (южный загар или с печенью нелады?) просияло улыбкой.

— Хорошо, — сказал Калсон, — допустим, вы в чем-то правы. Допустим также, что целесообразность иннервации под вопросом. Вы предлагаете иной вариант. Если бы ко мне обратились сегодня, быть может, я не поддержал. Но вопрос решался без нас. Соответствующие учреждения дали «добро». Наши обязательства начинаются с того момента, когда задание воплощается в план. Самолет с запущенными на полную мощь мо-

торами уже мчится по взлетной полосе. Вам ли объяснять, что такое сила инерции.

— Навряд ли взят такой уж сильный разгон. Практически ничего еще не сделано.

— А вы подумайте о той массе, что уже сдвинута с места! Сколько людей она включает, сколько учреждений, организаций, различных ведомств. Попробуйте представить, что означало бы при подобных обстоятельствах дать обратный ход: мы-де не уверены, не видим реальных возможностей, план подлежит пересмотру...

— Это эмоциональная сторона медали.

— Какими серьезными аргументами вы располагаете сегодня, выступая против запланированного задания? Сегодня, когда освоение достижений науки является наиглавнейшей задачей.

— Я отвечу: экономический эффект.

— Мы не капиталисты и не слишком любим, к сожалению, считать деньги. Кого вы собираетесь напугать тем, что новая продукция обещает быть слишком дорогостоящей?

— Массовое производство такого рода станций в современных условиях практически неразрешимо.

— Альфред Карлович,— с тихой усмешкой проговорил Калсон, воздев кверху обе руки,— я вам удивляюсь. Неужели, по-вашему, это достаточно веский аргумент? Почему же неразрешимо? Не потому ли, что вам кажется, будто не успеют к сроку сделать достаточно иннервационных соединителей?

— И потому — тоже.

— Но это уже субъективный подход. Прогнозы — вещь неблагоприятная. С вас требуется проект. Засучив рукава надо включиться в работу. А вот если нас подведут с соединителями — это уже весомый аргумент. Но мы свое дело сделали.

С неотразимой любезностью он предлагает мне именно то, чего я не желаю, думал Турлав, предлагает лишь видимость работы, пустую трату времени, сил и мысли на проект, который будет списан, едва подыщутся «весомые аргументы».

Из головы не выходили слова Калсона «засучив рукава включаться в работу», слова эти выдвинулись на первый план, заслонили собой все остальное. Похоже, что договориться не удастся. Впрочем, они не очень и старались понять, переубедить друг друга.

Каждый говорил свое, обходя стороной доводы собеседника.

После напряжения, угнетавшего его все утро, Турлава охватила апатия: все ясно, вопрос решен, спорить бесполезно.

— Товарищ Калсон,— сказал он,— хотелось бы все же знать, как мы выйдем из положения тогда, когда обнаружится, что иннервационные станции выпускать нецелесообразно. У нас в запасе не будет ни одного проекта. Мы сразу отстанем на несколько лет.

— Товарищ Турлав, сейчас не время разрабатывать план отступления. Необходимо приниматься за проект.

Есть еще один выход, подумал Турлав, можно подать заявление с просьбой освободить от обязанностей начальника КБ, поскольку производственное задание противоречит моим убеждениям, идет вразрез с моими творческими интересами и т. п. Ему однажды предлагали место заведующего кафедрой в институте, но он тогда не проявил к этому достаточного интереса, а теперь стоит только написать заявление, и вопрос решится, вот ведь все как просто.

Его даже в пот бросило. В конце концов речь идет не только о проекте, но и о тебе самом. Коль скоро ты уверен в своей правоте, так повоюй за свою идею, свой проект, чего ты сразу сник?

Отчего он покраснел? От мысли, что может в самом деле уйти, или сознания, что не способен на такой поступок?

Калсон, надев очки, стоял посреди кабинета и смотрел на него с пониманием, но спокойно и терпеливо, потому что предугадывал исход.

Турлав молча потирал пальцами кромку стола.

— Альфред Карлович,— проговорил Калсон,— вы не сказали «нет», и этого пока достаточно. Благодарю вас! А теперь конкретные шаги. Как известно, станции нам предложено проектировать вместе с московским «Контактом». Вам бы следовало навеститься к ним, увязать, согласовать и вообще... Было бы неплохо, если бы вы отправились туда по возможности скорей.

Неприятной была вся история в целом, отдельные детали возражений не вызывали. Что ж, можно и съездить. Интересно узнать, что думают коллеги. Калсон в одном отношении прав — не следует принимать поспешных решений.

Он, конечно, сознавал, что приперт к стенке, что заробел, сдался, пошел на попятный. А теперь сам себя утешает, доволен, что решающий момент, когда придется сделать выбор, несколько оттягивается.

— Когда бы вы могли отправиться?

— Да хоть сейчас.

Калсон подошел к письменному столу, включил микрофон.

— Прошу оформить товарищу Турлаву командировку в Москву. На завтра.

— На сколько дней?

— Пишите — на десять.

Калсон снял трубку, набрал номер. Абонент был занят. Но Калсон не повесил трубку. Аппарат директора любой разговор по местному номеру прерывал особым сигналом.

— Алло, товарищ Лукянский? Вы не могли бы зайти ко мне?

Лукянский, как и все, в кабинете директора появился со спины, прикрывая за собой сначала одну, потом вторую дверь. Обернувшись, он увидел Турлава и замер, точно подстреленный медведь. В тот короткий миг Турлав успел разглядеть на лице Лукянского и удивление, и досаду, и замешательство, и даже что-то похожее на страх. Потом все укрыла отчужденная, официально бесстрастная улыбка.

— Товарищ Лукянский,— сказал Калсон,— КБ телефонии берет на себя проектирование иннервационных станций. Думаю, нет нужды объяснять, насколько задание это ответственно. Мне бы хотелось, чтобы вы как представитель администрации всегда были в курсе дела и оказывали товарищу Турлаву всемерную помощь, когда в том возникает необходимость. Сам я этим вопросом, к сожалению, не смогу заниматься постоянно.

— Ясно,— Лукянский откашлялся, крикнул. Для его массивной фигуры голос прозвучал неподобающе глухо. Еще раз откашлялся, утер кулаком губы, принялся поправлять крахмальный воротничок, будто тот был ему тесен.

Вернувшись в КБ, Турлав тотчас позвонил главному конструктору телефонии Салтупу.

— Сэр, необходима аудиенция. Чем ты сейчас занят?

— Государственная тайна. Напоминаю, телефонные разговоры записываются с помощью летающих спутников.

— Требуется твой совет.

— По какому вопросу?

— По вопросу чрезвычайной важности. И главное — как можно быстрее.

— Ты точно барышня у портнихи — все тебе сверхважно, все скорей.

— Понимаешь, горит.

— Через десять минут я должен быть в Совете Министров. Оттуда прямой дорогой в Арбитраж еще на одно заседание. Может, отложим до завтра, а?

— Нужно сегодня, завтра я буду в Москве.

— Постой, ты что, не расслышал? Я же, как меняю, зачитал тебе свой распорядок дня.

— Можно и после работы. Я бы заехал к тебе. На полчаса.

— Это другой разговор. — Но и теперь голос Салтупа звучал с прохладцей. — Ну, приезжай, раз у тебя горит.

— Когда?

— Когда угодно. Хоть до пяти утра.

— Спасибо. Буду между восемью и девятью.

— Не имеет значения.

— До свидания.

— Учти, я все еще живу на даче.

— Понятно.

Теперь Турлав сидел в своем «Москвиче», и тот, клином света пронзая чернильной черноты осеннюю ночь, мчался на Видземское взморье. За иссеченным дождевыми каплями стеклом стелилось однообразное полотно дороги. Турлаву казалось, что он слышит тяжелый гуд намокших сосен. Час был еще не поздний, но все словно вымерло — ни души кругом, ни встречной машины. Время от времени в лучах фар промелькнет бетонный столбец, пестрый дорожный знак или поднятый шлагбаум переезда.

Проехал пустынный центр дачного поселка. Оголенные ветви деревьев причудливо оплетали светящиеся фонари. Ветер трепал старые афиши, сорванные транспаранты. Киоски и павильоны, где еще недавно продавались прохладительные напитки и мороженое, бюро проката спортивных и пляжных принадлежностей стояли с заколоченными окнами. И только магазины были открыты, и сквозь стеклянные витрины ярко светило их нутро. И в кафе без ощутимой разницы сезона предостаточно собиралось жаждущих.

Еще один железнодорожный переезд. Названивает звонок, загорается и гаснет красная сигнальная лампочка, хотя электрички пока не видать.

Турлав опустил стекло, закурил. Усаживаясь удобнее, резко двинулся — кольнуло в крестец. Сырая погода, подумал. Что ж, теперь все чаще будет покалывать, побаливать. Чем дальше, тем больше. Как же иначе. От этого никуда не уйти. Отбирая для Москвы необходимые бумаги, он про себя отметил: чтобы лучше разглядеть мелкий шрифт, лист приходится держать на расстоянии. Печальное открытие. Дальность — характерная примета старения. А ему почему-то казалось, что зрение у него в наилучшем порядке.

Из темноты вырвалась лента окон и, сверкая, умчалась прочь. В вагонах вроде былюдно. В них свой микромир, сухой и светлый, с немного спертым воздухом.

Вот ведь — совсем забыл про Бариня. А кому-то на похоронах надо быть непременно. Ливии или Вите. Хоронить, скорей всего, будут днем, когда у Виты лекции. Завели моду все мероприятия проводить в рабочее время — похороны, свадьбы, встречи рыболовов, съезды добровольного общества пожарников.

Перестук колес, точно преданный пес, умчался вслед за электричкой. Он остановил машину под высоким оголенным деревом, от воздушной волны с мокрых веток на грязную дорогу посыпались крупные капли. За дюнами шумело море. Турлав придавил окуроч, поднял стекло, и шум моря смолк. Но как раз в тот момент, когда шум умолк, он почему-то вспомнил Валиду.

Лет десять назад они с Вальтером Салтупом работали над координатными системами — не только на заводе, но и вечерами дома или на этой самой даче, и Вальтер полушутя-полусерьезно рассказывал о своих

любовных похождениях. Он признавался, что пятьдесят семь женщин помнит совершенно отчетливо, остальных смутно или вовсе забыл. Вот бедняга, подумалось тогда Турлаву, это надо же так себя утрудить. И хотя пускаться в расспросы Турлав считал ниже своего достоинства, он про себя решил, что в некоторых областях, должно быть, основательно отстают от средних норм, ибо даже тех четырех, что он знал до Ливии, считал нелепым излишеством, объяснимым разве что всеядностью непритязательной ранней поры. Три из четырех исчезли бесследно, как исчезают тени, когда гаснет лампа. Но Валида вспоминалась часто, потому что ею он переболел, как в детстве болеют корью, с осложнениями на всю жизнь.

Что его так привязало тогда к Валиде? Никаких особых достоинств за нею не водилось. Если не считать достоинством способность лишать его душевного покоя. Но тут, возможно, не она была причиной. Скорее всего, она была тем катализатором, что ускорил неизбежную горячку чувств, к которой он, как и всякий нормальный юноша девятнадцати лет, во всех отношениях был подготовлен.

Как бы то ни было, Валида превратила его — завязтого себялюбца — в восторженного соучастника. Точнее сказать, с Валидой он впервые осознал, что действительно существует такая возможность — соединить себя с человеком противоположного пола на основе полнейшего бескорыстия. Открытие это привело Турлава в неопишуемый восторг, он потерял голову. Из-за Валиды он убегал с лекций и семинаров, часами ждал ее на улице, едва не провалился на экзаменах. Одно лишь присутствие Валиды преображало его, пробуждало интерес к вещам, никогда не занимавшим его. Валида рождала в нем настроения, раньше приходившие и уходившие незамеченными. Эта пора запечатлелась в памяти непрерывными скитаниями вдвоем с Валидой по старым кладбищам, пустынным городским окраинам, базарам и паркам, выставкам, музеям. Его, выросшего без матери, потрясали даже такие мелочи, как аккуратные стежки Валиды, зашивающей ему рубашку, или теплый сытный запах оладий, которые она иногда приносила с собой, завернув в несколько слоев бумаги.

Теперь, по прошествии стольких лет и зим, он осознал: скорее это было счастье, чем несчастье, что они

расстались. Однако тогда все представлялось иначе. Их разрыв был равносителен мировой катастрофе. Он себе места не находил, задыхался от тоски и горя, томился месяцы и годы спустя. Две силы его разрывали на части: прошлое, где было все, и настоящее, где ничего уж не было.

Потом, незадолго до встречи с Ливией, как будто появилась возможность вернуть Валиду, но он не воспользовался этим. Может, увлечение прошло? Трудно сказать. Воспоминания о Валиде остались самые светлые. Иной раз они исчезали, как бы терялись в тумане и опять возникали, обретали свое место, их ничем нельзя было восполнить, хотя они и относились к далеким временам.

Год от года эти воспоминания все больше тускнели и блекли, распадалась на отдельные между собой не связанные звенья. Где-то шумит море, и снова лето, и они с Валидой бредут босиком в лавку рыбацкого поселка за лимонадом, песок горяч, жжет ступни песок, усыпанный хвоей, песок, сирень и хвоя, песок, хвоя и жасмин, ветхая избенка, по ночам в подклети тяжело вздыхает корова, поутру звенит жизнерадостный петушиный крик, запах навоза впережку с сиреневым запахом, запахом жасмина, смолы, белая шелковая блузка Валиды с пуговками на спине, она никогда не может (или не хочет) сама застегнуть их и расстегнуть, у нее длинная тонкая шея и по-мальчишески выпирающие позвонки, странная привычка Валиды пристегивать чулки к подвязкам с помощью копеек, кровля у избы старая-престарая, по ночам в щелях сквозят звезды, нагретые за день опилки во тьме дышат живым теплом, и такая тишина, когда кажется, что комариный писк разносится по всему поселку, на море дремотно постукивают лодочные моторы, вековые «викстремы», работающие на солярке. И еще он слышит, как Валида с болью и страхом шепчет ему в лицо: «Алфис!» — и он знает отчего.

Взморье, дюны, шумит море. Воспоминаний было много, они были разные. Летние, зимние. Воспоминания начала, воспоминания конца.

Короткое возвращение в прошлое теперь не вызвало ни радости, ни сожалений. Как будто он увидел давно отснятый футбольный матч, некогда такой важный, захватывающий, но время лишило его притяга-

тельности, исход игры заранее известен, острые моменты у ворот ничего не решают.

Дача Салтупа находилась между дюнами и шоссе. Турлав не бывал здесь лет пять, а то и шесть и усомнился, удастся ли ему отыскать дачу.

Все вокруг изменилось. Появились новые дома. В темноте и старые казались чужими, никогда не виданными. Полное безлюдье, заброшенность. Целые кварталы заперты и заколочены на зимнюю спячку. Лишь кое-где в свете фар зеленюю полыхнут глаза кошек, оставленных дачниками на произвол судьбы.

Вальтер Салтуп, или, как друзья его называли, Сэр, во многих отношениях был оригинален. В противоположность Турлаву, который с телефонией познакомился теоретически и лишь потом на деле, Сэр премудрости связи познавал на горьком опыте,— во время войны перетаскивая на своем горбу катушки проводов, налаживая связь штабов с передовой, накручивая ручки полевых аппаратов. День Победы он встретил двадцати одного года от роду, с тремя классами образования за плечами, с орденом Красной Звезды на груди и протезом на месте ступни правой ноги. И сразу же был назначен на командную должность Рижской телефонной станции, от которой, правда, осталось всего лишь четыре стены. Позже, когда телефонную станцию восстановили, для Сэра открылась возможность и к более высоким должностям, но он отказался, про себя решив, что подоспело время взяться за теорию. О том, как Сэр сдавал экзамены в институте, ходили легенды, преподаватели нередко оказывались в более трудном положении, чем студент, хотя никто не видел Сэра с учебниками в руках. Овладев английским, он в «фундаменталке» засел за статьи по кибернетике, которая в ту пору считалась чуть ли не лженаукой.

Закончив институт, Сэр, к удивлению многих, уехал в Даугавпилс, где стал директором училища связи, и там же написал интересный учебник по телефонии. Еще большее удивление вызвала весть о том, что он устроился радиоинженером на теплоход-рефрижератор («Но как его взяли туда с деревянной ногой?»). На «Электроне» он объявился в конце пятидесятых. Поначалу как представитель пароходства, улаживая какой-то мудреный заказ, и лишь спустя некоторое время как заместитель начальника цеха большой телефонии.

Странный образ жизни Сэра связывали с тем, что он остался холостяком. Но все объяснялось не так просто. У Сэра был сложный характер, да и потеря ступни в молодости предрасполагала к некоторой замкнутости. Ему представлялось важным всегда и во всем самоутверждаться, искать, доказывать и начинать сначала. Между прочим, он вовсе не был холостяком. Сразу же после войны он, по собственным его словам, женился на самой красивой девушке в Риге и развелся с нею полгода спустя. А в Даугавпилсе у него рос сын, который каждый год навещал его.

Нет, все правильно. Эту сосну с отсохшей веткой Турлав помнил хорошо. И забор. А вот и теплица, снижавшая расходы академика Ажайтиса, соседа Салтуна, на ранние огурцы и помидоры.

Теперь уж можно было рассмотреть и освещенные окна Сэровой резиденции. Другого такого, столь безобразного дома в округе было поискать. Зато с бассейном, баней и площадкой для стрельбы из лука. Садоводства Сэр не признавал, двор у него был зацементирован.

Перед дачей стояли две машины. Вишневые «Жигули» и «опель-капитан» самого Сэра, кабриолет, довоенная модель. Выключив зажигание, Турлав некоторое время сидел не двигаясь. В окне был виден женский силуэт. Звучали голоса.

Не везет мне сегодня, подумал Турлав.

— Заходи, не хмурься,— сказал Сэр.— Чему удивляться? Тому, что у меня день рождения? Бессмертные боги у эллинов и те не обходились без рождения.

Был тот случай, когда следовало блеснуть остроумием. Но его хватило лишь на несколько банальных фраз, да и те пробормотал невнятно.

— Дорогие гости, будьте знакомы, Альфред Турлав, мужчина во цвете лет, о ком можно повторить слова Гейне, некогда сказанные им о Мюссе: «Человек, перед которым славное прошлое». А теперь прошу любить и жаловать, прелестные наши дамы — Велта, с ней, надеюсь у тебя будет достаточно времени познакомиться поближе, и Майя, с которой, и в том я совершенно уверен, знакомить тебя нет необходимости. Да и Хария Малвиня ты, вне всяких сомнений, знаешь.

Неопределенного возраста молодой человек с коллекционными наклонностями.

Слова Сэра, в общем-то, не много стоили. Создавать вокруг себя атмосферу этакой легкомысленности — это в его стиле. Будто он не знал Сэра. И повод для вечеринки ясен. Гости конечно же люди солидные. И вообще все в порядке, в полном порядке, и удивляться чему-то, право, не стоит. И все же то, что здесь, именно здесь, он встретил Майю Суну, это так неожиданно, так необъяснимо, — сидит себе как ни в чем не бывало, — на какой-то момент Турлав даже позабыл, зачем приехал. Он был ошеломлен, он чувствовал себя обманутым, преданным. Кто-кто, но чтобы Майя! Так ошибиться в человеке! Ничего подобного он и в мыслях не допускал. Даже жаль ее стало немного. Что? Это Майю-то жаль? А собственно, почему? Смешно, в самом деле.

— Я ненадолго.

— Не успел вломиться, уже глядишь, как бы сбежать.

— Улетаю в Москву. Я говорил тебе.

— Во сколько?

— Завтра утром.

Его ответ всех позабавил.

— Мы ведь тоже здесь дnevать не собираемся, — сказал Сэр. — Однако выпить с нами чашку чаю, думаю, не откажешься. Зная твои высокие моральные принципы, водки тебе предложить не смею.

— Да, именно чаю, — заговорила Велта. — Как сказал один поэт: «Ты меняпустишь к себе и напоишь ароматным чаем».

— А знаете, я все больше убеждаюсь, что пить водку — чистейший идиотизм, — вставил Харий Малвинь. — Неинтересное общество от этого не становится интереснее, а с интересными людьми и без водки интересно.

Майя отмалчивалась.

С кем она — с Сэром или с этим коллекционером? И что он коллекционирует? Хария Малвиня Турлав встречал по работе довольно часто. Он считался одним из лучших наводчиков телефонных станций. Рабочий высокой квалификации с образованием училища связи или техникума. Из наводчиков-телефонистов редко кто уходил на повышение, обладатель этой узкой специальности, если только у него опыт

и голова на плечах, зарабатывал раза в два больше инженера. Потому эта специальность и привлекала людей, которые в телефонии держали прицел в основном на выплатной лист.

Ему могло быть лет тридцать пять, тридцать семь. Молодой человек неопределенного возраста — удачно сказано. С коллекционными наклонностями. Сэр в своих высказываниях иной раз был цинично-простодушен. Конечно же, если мужчина тридцати пяти лет не живет нормальной семейной жизнью, это кое-что значит. Скорее всего, разведенец. Вырвался «на свободу», теперь смакует радости жизни. Сразу видно, из гурманов, к каждому застолью подавай ему что-нибудь свеженькое. И надо признать, для подобной роли у Хария Малвиня все основания: мужественные стати, довольно сносная наружность, пошитый на заказ костюм, «Жигули» последней модели. К тому ж еще коллекционер...

— А я, грешным делом, люблю винцо попивать. Особенно белый вермут,— сказала Велта.— Почему б не выпить. Порок старый-престарый.

М а й я. Все пороки старые-престарые. (Какой милый приятный сюрприз!)

Сэр. Немало появилось и новомодных пороков. Скажем, коллекционирование грампластинок.

М а л в и н ь. Это не порок. Радость жизни.

Сэр. Все зависит от того, какие пластинки коллекционируются. Если, скажем, французские, покупаемые с рук по четвертному штука,— это порок.

М а л в и н ь. Бутылка французского коньяка в магазине стоит ровно столько же.

— В древности виноделие было единственным средством сохранения витаминов,— сказал Турлав.

— Вы считаете, древние пили вино ради витаминов? — Велта смотрела на него с лукавым прищуром.— Славное у вас мнение о древних. Я, пожалуй, могла бы поспорить, что вино всегда и везде служило для одних и тех же целей.

Этой даме нельзя было отказать в известной прямоте. Не молода уж,— впрочем, это ее даже красило. К ее женским прелестям следовало отнести и ту приятную непосредственность, которая приходит не сразу, не вдруг. Для учительницы она слишком ухожена, для врача — чересчур модно одета. Скорее всего — работник торговой сети.

Чай кипятился прямо на столе в прозрачной посудине. Вода клокотала, приковывала взгляды.

— Как вы думаете, что это за прибор? — спросил Сэр.

— Чаеварка.

— Вот и не угадали. Это та самая установка, с помощью которой Фауст пытался получить эликсир вечной молодости. Когда на киностудии снимался фильм, меня попросили сделать «что-нибудь эффектное, притом совершенно идиотическое». Один экземпляр остался у меня на память.

— Очень даже впечатляюще: старик Фауст кипятит чай и рассуждает о том, как жизнь коротка, — заговорил Харий Малвинь.

— Все мы немного Фаусты, — сказал Сэр, — и те, кто чай кипятит, и кто сам кипятится.

Велта. А результат один — ничего-то ни у кого не выгорает.

Малвинь. Как не выгорает. У Фауста выгорело.

Велта. Что ж у него выгорело?

Малвинь. Молодость обрел. Получил Маргариту.

Велта. Не с помощью же чая. Это все ему дал Мефистофель, а взамен взял душу.

Турлав посмотрел на Майю. Она тоже посмотрела на него. Турлав выдержал ее взгляд с подчеркнутым безразличием. Слишком, быть может, подчеркнутым. И отчего это раньше ему казалось, будто у нее в глазах тайна? Никакой тайны нет. Глаза говорили прозрачно и ясно. «Дурень ты, дурень! Теперь-то наконец понял!»

Майя. Я толком не помню, что стало с Маргаритой.

Сэр. Эта сюжетная линия нынче устарела.

Велта. Как раз наоборот!

Малвинь. В наше время женщины не сходят с ума лишь оттого, что кто-то там на них не женится.

Велта. Типично мужская философия. Этим летом в Хельсинки я смотрела английский фильм о печально известном Генрихе Восьмом, который приказывал обезглавливать своих жен. Пять, или сколько их у него было. В книгах пишут: мерзавец, выродец, садист. А режиссер утверждает — ничего подобного. Все несчастье его в том, что он мечтает о сыне. Законнорожденном наследнике престола. В то время как жены рожают только дочек или вообще никого. Развестись нельзя, папа римский не позволит. А годы идут, время не ждет. Что делать бедному Генриху?

Сэр. Нам с Харием такое не грозит.

Велта. Ах, мужчины, все вы немного Генрихи Восьмые. Даже если без жены шагу ступить не можете.

Сэр. И это к нам не относится.

Велта. К вам тоже.

Малвинь. У нас нет жен. У нас есть сыновья.

Из колбы повалил пар, запахло чаем.

— Эликсир готов,— сказал Сэр.— Кому налить? Тебе, Майя?

— Благодарю,— ответила Майя.— Я буду пить вино.

— Я тоже буду пить вино,— сказал Малвинь.

— Мой милый Альфио, не обижайся,— сказал Сэр,— нашей компании винные пары дороже чайных.

— На сей раз рискну отмежеваться от вашей компании.

Чай был горяч как огонь. Турлав обжег губы.

Велта с Малвином заговорили об известных им одним диапозитивах, Сэр угощал Майю новейшим своим изобретением — морковным коктейлем. Выяснив все относительно диапозитивов, Малвинь занялся проигрывателем.

Турлав взглянул на часы. Глупо и неприлично, нельзя было этого делать, но само собой получилось. От Сэра не ускользнул его жест.

— Ладно, ладно, торопыга, понял тебя,— сказал он.— Надеюсь, присутствующие нас извинят.

Внешне ничего не изменилось, на лице все та же перченная усмешка, в петлице по-прежнему гвоздика, в руке дымящаяся сигара, и все же Сэр, сидевший теперь перед ним, казался другим человеком. Он так быстро перестроился, что Турлав никак не мог подобрать нужную тональность и разговор с директором пересказал довольно путано, чуть ли не с мальчишеской бравадой. Затем, стараясь не напускать на себя серьезность, заговорил о вещах, им обоим хорошо известных.

И чего я ломаюсь, сам на себя рассердился Турлав, ведь я приехал для того, чтобы все высказать начистоту. Конечно, обстановка оказалась не той, на которую я рассчитывал, однако здесь никто не мешал. Выбрось из головы эту девчонку. Время подумать о более важных вещах.

— Короче говоря,— прервал он себя,— моя точка зрения по этому вопросу тебе известна, хотелось бы услышать твою. (Опять сморозил глупость! К чему этот дурацкий пафос?)

— Послушай, Альфред, мы с тобой давние знакомые.— Неожиданно согнав с лица улыбку, Сэр ткнул сигару в пепельницу.— Скажи, тебе не кажется, что ты постарел?

— Постарел? С чего вдруг?

— Да вот смотрю — воюешь с новым. Руководствуешься личными мотивами.

— А если я убежден... То, что некоторые считают...

— Давай уточним: не некоторые, а большинство.

— Хорошо, допустим. Итак, большинство считает «новым» то, что на деле всего лишь опрометчивость. Почему я должен принимать «новое», раз оно не выдерживает критики? «Новое» с заниженными показателями? Техника не терпит абстракций, тут все можно вычислить. Это тебе кажется приметой старости? (Должно быть, слова Сэра о старости задела больше всего, опровергнуть их сейчас казалось очень важным.) А может, как раз наоборот? Может, постареть — это значит плыть по течению. Без усилий, без забот. Знай пошевеливай пальцами да плыви себе. Только я считаю, всякий человек откуда-то вышел и куда-то идет. Должен делать то, во что верит, что считает важным. И мне, видишь ли, на этот раз с течением не по пути. Как же быть?

— По части плавания я, прямо скажем, не мастак.— Чтобы смягчить резкость беседы, Сэр заговорил умышленно тихо, между делом опять занимаясь своей сигарой.— Но я могу тебе объяснить, что такое завод. У меня создалось впечатление, ты в этом до конца не разобрался. Завод — это воинское подразделение. Воинское в том смысле, что твои интересы — составная часть общих, так сказать, сверхинтересов.

— Ты не прав. Даже если принять твое милитаристское сравнение. Мы не можем позволить себе роскошь бездумно шагать, мы, если угодно,—командный состав. Мы должны выбрать наилучший вариант. Составить план, как я это понимаю,— за что-то поручиться. Но как я могу поручиться за то, во что не верю?

— Может, ты попросту недостаточно информирован. Интересы предприятия — в наши дни понятие сложное.

— Спасибо, мне это известно. Азбучная истина.

— Говоришь, известно, а сам на все смотришь со своей конструкторской колокольни. Хотя точек зрения тут десятки: государственная и экономическая, психологическая и конъюнктурная. Твоя должность, очевидно, мешает тебе сохранить объективность. Впрочем, «объективность» не совсем то слово. Скажем так: мешает распознать истинные интересы.

— Телефонные станции — это интересы не только предприятия.

— Тем меньше оснований у нас брать на себя окончательное решение вопроса.

— Настоящее положение вещей нам известно лучше, чем кому бы то ни стало. Неужели ты сомневаешься, что, бросив все свои силы на иннервацию, мы тем самым обречем себя в течение ближайших лет на выпуск устаревших телефонных станций? А я готов поручиться, что новую электронно-механическую модель можно было бы иметь уже через пару лет. И это действительно было бы шагом вперед.

— Шагом. Между тем иннервация обещает скачок.

— К сожалению, только обещает.

— Если принцип верен, он должен дать результаты. Раньше ли, позже ли — неважно. Надо рисковать.

— Это только слова.

— Твои доводы расценят как обычную осторожность, безынициативность. Тем, кто призывает к умеренности, топтанию на месте, аплодисментов ждать не приходится.

— Аплодисменты мне не нужны.

— Альфред, не валяй дурака. Быть может, впереди удача, ради которой стоит попотеть лишний год. Мы можем себе такое позволить. Наши АТС сейчас на уровне мировых стандартов. Для нервозности, думаю, нет оснований. Вот мое мнение.

— Понятно. Значит, ты за иннервацию как единственный вариант. И ты уверен, что только ею нам и следует заниматься?

— Во всяком случае, не вижу причин, по которым я мог бы отвергнуть иннервацию.

— Вот это мне больше нравится. А теперь коротко и ясно: да или нет? Веришь ли, уверен ли ты?

Сэр с усмешкой смотрел Турлаву прямо в глаза. От сигары у него в руках остались лишь табачные лоскутки.

— Альфред, ей-богу, странный ты человек.

— И ты не веришь,— сказал Турлав.— Спасибо, у меня все! Именно это и хотелось выяснить.

Он встал.

— Еще раз прошу прощения за беспокойство,— проговорил Турлав.— Непрошенный гость хуже всякой беды.

— Как, ты собираешься смыться, не простившись с дамами?

— Да. Позволь мне им доставить этот маленький сюрприз.

Когда Вита чего-то не знает, она обращается ко мне. Она уверена, что папа-то знает. В детстве, если я чего-то не знал, я спрашивал у отца. Я не знаю оттого, что маленький, так я рассуждал. А папа взрослый, взрослые все знают, во всем разбираются. Когда я стану взрослым, я тоже буду все знать, во всем разбираться.

Долгожданный этот момент, очевидно, еще не пришел, мои знания и мое незнание по-прежнему пребывают в шатком равновесии. Чтобы сказать «да» или сказать «нет», приходится побороть в себе множество сомнений. Подчас я ровным счетом ничего не знаю и опираюсь только на чутье. Мое чутье — продолжение моих знаний. Точно так же как прыгун взлетает вверх, оттолкнувшись от земли шестом, так прыгаю и я, оттолкнувшись тем, что знаю. И поднимаюсь на ту высоту, которая посильна для шеста. Затем отпускаю шест и уж дальше лечу без опоры. Быть может, в этом коротком полете, когда поднимаешься над потолком своих знаний, и открывается великая истина.

Когда я вырасту, я тоже буду все знать, во всем разбираться. Это так хорошо — заблуждаться.

Решать задачи становится все труднее. Чем больше знаний, тем больше сомнений. И главное, теперь не успокоишь себя тем, что у кого-то можно спросить, как разрешить тот или иной вопрос.

И кто это только придумал, будто инженерия точная наука! Наиглавнейшие вопросы вообще неразрешимы. Решение нужно ощутить, угадать, предвидеть. Как кошка находит обратную дорогу, когда ее уносят

далеко от дома? Как штурман Плите мог не глядя вогнать в стену гвоздь?

От Сэра я не сразу поехал домой. Почувствовал необходимость сделать крюк. Поехал куда глаза глядят, не выбирая дороги. На вершинах высоких мачт в черном небе горели красные сигнальные огни. Озеро Кишэзерс, Югла, Пурвуциемс. На горизонте багровели отсветы костров городской свалки. Апокалипсическое зрелище: алое зарево, черный дым, вулканоподобные горы мусора. Ну прямо светопреставление! Кружившие над кострами чайки в трепетном пламени казались то белыми, то красными, то черными. Привычные понятия иной раз так обманчивы, подумал я. Чайки в моих представлениях всегда были птицами величавыми, благородными, парящими в небе над вольным морским простором. А тут вдруг чайки и свалка...

Был поздний час, когда я поставил машину в гараж. Свет в комнате Виты и наверху, в будуаре Вилде-Межниеце. Закрывая за собой калитку, я заметил, как погасло окно Вилде-Межниеце, и про себя решил, что старая дама отправилась на покой. Но в тот же момент отворилось окно, и в темноте забелело лицо.

— Турлав,— сказала она,— я уж думала, вы совсем сегодня домой не явитесь. Жду вас который час. У моего шкафа сорвалась с петель дверца.

Спать не хотелось. Был немного взвинчен, взбужден. Возможность на время отвлечься даже обрадовала.

— Хотя бы взглянули, в чем дело.

Я поднимался вверх по скрипучим дубовым ступеням. И как раз потому, что лестница так безбожно скрипела, особенно чувствовалась тишина этого позднего часа. На меня смотрело множество портретов, фотоснимков, стены, словно альбомные листы, были густо увешаны ими.

Вилде-Межниеце стояла посреди комнаты, кутаясь в меховую накидку.

— Холодно,— сказала она.— Когда вы наконец соизволите топить?

Я потрогал батареи.

— Уже начали,— сказал я,— насколько мне известно, давно уже топят.

— Неужели? — Она тоже притронулась к батареям.— Отчего же я мерзну?

— Может, закрыть окно?

— Нет, окно останется открытым. Мне свежий воздух нужнее тепла.

Такова была Вилде-Межнице. Окно все же закрыли, но позже, когда ей самой пришлось это в голову.

Ничего страшного с дверцей шкафа не случилось, водворил ее на место, покрепче привернув винты.

— Вот, можете проверить,— сказал я.

Толкнула дверцу в одну, в другую сторону, потом распахнула настежь. В шкафу было пестро от нарядов. Потянула за рукав какое-то платье, поморщилась.

— Нафталином провоняло! Вы только подумайте, Тита, дурья голова, посыпала этой пакостью. А ведь это платье Кармен, я его специально сшила для гастролей в Вене!

— Оно как будто из натурального шелка,— сказал я.— Такие вещи моль обожает.

— Турлав, вы совершенно не понимаете, о чем я говорю.

— Вполне возможно. Не исключено, впрочем, что все-таки понимаю.

— Ничего вы не понимаете. Вы с головы до пят человек технической складки. И мышление у вас типично техническое. Вы уверовали в то, что все развивается во временной последовательности, и считаете то, чем вы сейчас заняты, наивысшим достижением. Однако в искусстве временная последовательность не играет никакой роли. Шаляпин до сих пор не превзойден, а «граммофоны» в платьях Кармен поют на сцене теперь чаще, чем прежде.

— Только в нейлоновых платьях, которые моль не ест.

— Мне, право, хочется смеяться, когда читаю, что вот такая-то или такая-то певица в созданном ею образе достигает драматического накала Вилде-Межнице. Мелковаты они, Турлав. Сами они, голоса их, характеры. Я пела Кармен сорок сезонов. Представьте себе! И перестала петь отнюдь не потому, что утратила «накал», а лишь потому, что кому-то показалось, что дольше петь было бы неприлично.

Дверца шкафа была забыта. Старой даме попросту хотелось поболтать, и, образно говоря, она со шкафа перебралась уже на крышу. Я ее понимал. Жила она замкнуто. И все же в страсти к пустой болтовне ее нельзя было упрекнуть.

— Вот посмотрите,— продолжала она, кивая на одну из фотографий,— это Эмиль Купер, дирижер. Он в свое время считался большим погонялой. А я у него в «Хованщине» потребовала дополнительных репетиций. Хор взбунтовался, среди музыкантов ропот, Купер орет не своим голосом, а я ему спокойно говорю: «Как хотите, господин Купер, если вы сорвете мне репетиции, я вам сорву премьеру».

— И вы всегда добивались своего?

— А как же иначе?

— Всегда?

— По крайней мере, никогда не отступала.

— Никогда?

— Никогда. Однажды вышел спор из-за артистических уборных. Одна солистка приходилась родней городскому голове. И директор оперы вздумал для нее отделать роскошную уборную. Я сказала директору: «Мне абсолютно безразлично, какая у меня артистическая, но я не позволю вам оскорблять меня, первую солистку театра». Покуда он сидел в директорском кресле, ноги моей не было в Рижской опере. Я пела в Загребе, Стокгольме, в Париже.

— И, очевидно, ничего не потеряли.

— Турлав, я просто-напросто могла себе это позволить.

— Да уж наверно. Хотя, честно признаться, я очень смутно себе представляю взаимоотношения в художественном коллективе.

В ее усмешке была колкость клинка.

— Я уже говорила, Турлав, у вас типично технический образ мышления, вы утратили способность чувствовать ценность отдельного человека. Мир искусства, если хотите знать, самый честный и порядочный, ибо в нем то, что делаю я, никто уж не сможет сделать. И никто не сможет у меня отнять того, что действительно мое. О каком толкуете вы коллективе, когда говорите Каллас, Карузо, Шаляпин? Вам непременно нужен коллектив? Пожалуйста, пусть будет. Вот он, вот он где! — И она окинула взглядом развешанные по стенам фотографии.— Витол, Рейтер, Пауль Юзуус, тот же Купер, тот же Лео Блех. Коллектив высшего класса. Все они в свое время во многом мне помогли. Но ни один из них вместо меня не пропел бы и четверти такта. Потому что я — это я, а они — это они. И так всегда будет.

Коротко и ясно, подумалось мне. Никаких сомнений относительно прошлого или будущего. У каждого свое место. Но, может, так и нужно смотреть на мир, чтобы достичь того, чего достигла она.

На мгновение я представил ее у служебного входа театра «Аполло», одиннадцатилетнюю девочку из предместья, в залатанной жакетке, в заштопанных чулочках, неуклюжую и нескладную. Припомнился какой-то из рассказов Титы: получив свою первую получку христок — по двадцати пяти копеек, — они первым делом помчались в Турецкую булочную на улице Суворова, чтобы купить баранок...

Разговор, казалось бы, окончен. Она молчала, я тоже. Весь день копившаяся усталость наконец дала о себе знать, я ощутил всю тяжесть позднего часа, — он так и вгонял меня в кресло. Спать, спать, давно уже за полночь, а завтра опять трудный день.

— Ну, вот видите, — сказал я, — как я вас задержал.

Она не ответила, лишь взглянула на меня странным взглядом.

— А это Салинь, муж Титы?

Я шел уже к двери. Вопрос задал походя, вместо прощания.

— Да, — сказала она. — И он был мелковат.

— Эта знаменитость-то?

— Тита его за руку приводила в оперу. Как ребенка в детский сад. А он, подождав, когда она уйдет, бежал через улицу в «Римский погреб», чтоб там набить себе брюхо. Можете представить, он весил двести девяносто четыре фунта. Тому, что Тита рассказывает про Салиня, грош цена. Она и в пятьдесят была в него влюблена, как гимназистка.

У меня было такое ощущение, что она хочет меня немного задержать. Персона Салиня мало интересовала старую даму, ее занимало что-то другое. Я не мог понять что. Я многого не понимал. Почему, например, говоря о Тите, она нередко впадала в этот пренебрежительный тон. Это как-то резало слух.

— Спокойной ночи, — сказал я.

Она молча кивнула.

— Турлав, послушайте, — сказала она, когда я раскрыл уже дверь, — я сегодня разбила свое старое гримировочное зеркало.

— Вставим новое. Нужно снять мерку.

— Я не суеверна, но не дурная ли это примета?

— Вот уж не знаю. У меня еще никогда не разбивалось зеркало.

У моей бабушки был молитвенник, старинная гравюра на первой странице его изображала лестницу ветхозаветного Иакова: бессчетные ступени от земли ведут на небеса. Сквозь облака, сквозь радугу. А на ступеньках — ангелы.

Я спускался из апартаментов Вилде-Межнице, и у меня было такое ощущение, будто я сквозь облака спускаюсь по той самой лестнице Иакова. Сон всегда меня схватывал круто и крепко.

В темный коридор из ванной падала полоска света. В долгополой белой рубашке оттуда вышла Вита.

— Ангелы еще не спят? — спросил я.

— Завтра семинар, — со вздохом ответила Вита.

— Все равно ложись спать. Если хочешь дожить до ста шестидесяти, нужно много спать, много пить молока, а главное — не переутомляться.

— Спокойной ночи, папа.

— Спокойной ночи.

— А папа Док был негром или белым?

— Какой папа Док?

— Дювалье из Порт-о-Пренса, недавно умерший диктатор Гаити.

— Ах, вот ты о ком!

— И почему диктаторов зовут папами?

— Я тебе разрешаю: можешь преспокойно называть меня диктатором.

— Ах, папочка, сейчас я говорю о политике.

— В политике нередко розу называют луком, а лук — розой.

— Так кто ж он был — негр или белый?

— Негр.

— Неужто негры такие изощренные по части пыток.

— По-моему, он был цивилизованным негром.

Подняв руки вверх, Вита завязывала волосы на затылке. Под тонкой рубашкой на фоне освещенного дверного проема сквозил ее полноватый торс. Глядя на нее, я всегда стараюсь найти что-то от самого себя. И нахожу, но так странно видеть формы другого пола: это я, вышедший из чрева матери и опять обращенный в женщину. Чушь! Может, она уродилась в бабушку по отцовской линии. Не все ли равно. Уже взрослая женщина, и скоро я, пожалуй, стану дедушкой.

— Спокойной ночи, мой ангел, я восхожу по лестнице Иакова.

— Что за лестница такая?

— Ложимся спать. И будем жить долго-долго.

— Ты завтра летишь в Москву?

— Да. Рано утром.

— Не боишься?

— Чего?

— Летать.

— Самую малость. Как младенец, которого купают в ванне.

— А мне обязательно надо завтра идти на какие-то похороны?

— Да.

— Привези, пожалуйста, из Москвы миндального печенья.

— Хорошо, привезу.

— И будь осторожен.

— В каком смысле?

— Вообще.

— Хорошо, постараюсь быть осторожным. Вообще.

— Спокойной ночи, папочка.

— Спокойной ночи.

Мне показалось, она растворилась во тьме. Я уже наполовину спал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Было время, когда Турлав отправлялся в Москву, словно в дальнее путешествие, с двумя костюмами, с полдюжиной сорочек, с лишней парой башмаков, с провизией, а главное — с большим запасом времени. Двухмоторный «дуглас» полдня болтался и шнырял в облаках, где-нибудь посреди дороги опускался для заправки, для сдачи и приема грузов. В ту пору самым важным Турлаву казалось получить место в гостинице. Пока-то отыщет, пока устроится.

Теперь он отправлялся в Москву, как жители городской окраины едут на работу в центр: час десять туда, час десять обратно. Никаких эмоций. Небольшие неудобства, связанные с перемещением, и все. Даже атмосфера ранних рейсов чем-то напоминала утреннюю пригородную электричку. Этими рейсами редко пользовались туристы, люди праздные, пожилые и женщины с детьми. С точностью до минуты в аэропорт съезжа-

лись деловые люди с портфелями, многие были знакомы, обменивались приветствиями, лаконичными замечаниями, листали прихваченные с собой отчеты, сводки, рефераты, профессионально проглядывали свежие газеты или, по давно выработанной привычке, тотчас начинали подремывать, при этом нисколько не утрачивая своей деловитости.

В Москве прямо из аэропорта Турлав поехал в «Контакт». Чтобы сэкономить время, к тому же нужных людей легче всего застать с утра, пока не разошлись, не разъехались кто куда. В общем-то Турлаву повезло. Ему удалось переговорить с директором, с главным инженером Цурно, повидаться со своим давним знакомцем, главным конструктором Федором Илларионовичем Водопьяновым. В одном он оплошал: выработанные НИИ технические требования с преспокойной совестью оставил в Риге, не сомневаясь, что у москвичей найдется дубликат. По непонятным причинам эти документы институт в «Контакт» не передал. Пришлось звонить в Ригу, чтобы Пушкунг «без задержки» доставил бумаги в Москву.

В конце рабочего дня Цурно на машине отвез Турлава в гостиницу. Как обычно, он поселился в Западном блоке. (С тех пор как в гостинице была установлена АТС производства «Электрон», никаких трудностей с устройством не возникало.) Проживание в гостинице высшего класса, несомненно, стоило дороже, чем в отдаленных общежитиях типа «Колос» или «Южная», однако издержки с лихвой окупались. Хорошая кухня, прекрасное освещение, можно было поработать вечером или с утра. Московские темпы и расстояния здорово утомляли, так что теплая ванна и удобная постель оказывались очень кстати, скорей можно было обрести форму. Когда-то такие мелочи для него не имели значения, еще лет пять или шесть тому назад он мог работать хоть на бульваре, пристроившись на скамейке, и спать без просыпу среди невероятнейшего храпа. Топору не нужен футляр.

Около восьми Турлав на метро поехал в Черемушки к Федору Илларионовичу на «совещание в домашних условиях». Вернулся к себе поздно, и телесно и духовно отягощенный русским радушием и хлебосольством.

Когда он поутру отправился в аэропорт встречать Пушкунга с документацией, у него побаливала голова. В такси заметил, что плохо побрился. Все его раздра-

жало, все вызывало досаду — залепленные грязью машины, мокрый снег, хрипящий репродуктор, блекло-голубое освещение в зале ожидания.

Самолет из Риги уже совершил посадку. В людском потоке навстречу плыли знакомые лица. Он приметил Гунара Узулиня, своего школьного товарища, которого в Риге не встречал уже много лет. Турлав поспешил отвернуться, да и Узулинь, надо думать, торопился, для дружеских излияний место было малоподходящее. Толпа в зале понемногу редела. Потоптавшись у багажного конвейера, он переместился поближе к выходу.

Вдруг услышал знакомый голос:

— Товарищ Турлав!

Он сюда ехал, чтобы встретиться. Он ждал, он высматривал. Нет, Турлава не захватили бы врасплох, даже прозвучи его фамилия и в репродукторе. Почему же он вздрогнул? Шагах в пяти от него, словно школьница обеими руками перед собой раскачивая большой черный портфель, стояла Майя Суна.

— Хорошо, что не разминулись. Я в Москве всего второй раз. По правде сказать, боюсь больших городов.

— Вы прилетели вместе с Пушкунгом?

— Нет. Я одна.

— Почему? (Дурацкий вопрос! Какое ему дело до Майи Суны? Пусть себе летает хоть с футбольной командой «Даугава». Его интересует Пушкунг. Прилететь должен был Пушкунг.)

Немного оправившись от смущения, Майя подала ему черный портфель.

— Что? Документы привезли вы?

— Да.

— А почему не Пушкунг? (Будто не все равно, кто привез!)

— Пушкунг получил повестку.

— Какую повестку?

Она только пожала плечами.

Турлав раскрыл портфель и быстро пролистал бумаги. Все необходимое было на месте.

— Это ваш портфель?

— Да.

— Я сейчас...

— Ничего, не беспокойтесь. Куда вы положите бумаги, не в карман же. На улице снег.

Об этом он не подумал.

— Спасибо. Мой плащ не промокает.

— А мой промокает,— сказала она.

И чего это я с ней как надутая гувернантка, подумал Турлав. Будто, привезя бумаги вместо Пушкинга, она нанесла мне обиду. Как раз наоборот — по моей вине она сегодня поднялась чуть свет, добиралась до аэропорта, томила в самолете. Сейчас опять сядет в самолет и полетит обратно. Приятнейшее времяпрепровождение! Спросил бы лучше, как долетела.

— У вас уже есть билет на обратный рейс?

Ему показалось, вопрос прозвучал вполне пристойно.

— Нет,— ответила она.

— Самолет улетает через час.

Вид у нее был растерянный.

— Если вы хотите улететь, вам следует поторопиться.

— Я не хочу,— сказала она, глядя в сторону.

— У вас в Москве дела?

— Нет, но завтра пятница.

— Значит, вы не летите?

— Командировку выписали на два дня. На тот случай, если бы пришлось возвращаться поездом...

— Понятно.

— Я в Москве была двенадцать лет назад. Да и то проездом с Кавказа. Когда еще представится такая возможность.

— Понятно.

— Я бы могла улететь в воскресенье вечером.

— Вещи сдавали в багаж?

— Нет. Я это надумала, пока летела сюда.

— Где собираетесь остановиться?

— В какой-нибудь гостинице.

Он пытливо посмотрел ей в глаза. Неужели эта наивность, это простодушие не наигранны? Может, просто дурачится, потешается над ним? После встречи на даче у Сэра его не так-то легко провести.

— В «Метрополе» или «Национале»? — он почти не скрывал иронии.

— Да все равно. Не имеет значения.

Бросить ее и уйти он не мог.

— Хорошо,— сказал он.— Довезу вас до центра.

— Это совсем не обязательно.— Ее губы изобразили подобие той улыбки, которую он знал и которая

наводила на мысль о выпавшем переднем зубе.— Если у вас дела, пожалуйста, не церемоньтесь со мной.

Это Турлава взбесило окончательно. Нет, все же она издевается! Взгляд его на мгновение замер, про себя он с сердцем произнес крепкое словцо.

— Попытаюсь достать вам номер в Западном блоке,— сказал он, помолчав.

— Во сколько вам нужно быть в «Контакте»?

Турлав взглянул на часы.

— Время еще есть.

Такси нашли быстро. На черный асфальт падал мокрый снег, и его полосовали шины, пятнали подошвы. День был серый, низкий и тесный. Встречные машины ехали с зажженными фарами.

Турлав опять вспомнил, что утром плохо побрился. Ему было не по себе, он был собой недоволен.

Посмотрел на Майю, та ответила вопрошающим взглядом. Однако за всю дорогу не обменялись ни словом.

Во второй половине дня вернувшись из «Контакта», Турлав встретил Майю Суну в вестибюле гостиницы. Она сидела в кресле и читала газету. Увидев его через стеклянную дверь, поднялась и вышла навстречу.

— Ну как,— начал он деловито,— с жильем все в порядке?

По правде сказать, этот вопрос возникал у него и раньше, пока вел переговоры с инженерами «Контакта».

Взгляд ее был красноречивее всяких слов. Майя сияла.

— А как ваши дела?

— Трудно сказать. Они ведь там не только инженеры, но еще и дипломаты.

— Речь идет, насколько понимаю, о сотрудничестве.

— Знаете, есть такой анекдот: бык и курица условились о сотрудничестве с целью производства бифштекса с яйцом. Но при одном условии, заявил бык, нести яйца буду я... Труднее всего согласовывать детали.

— Как долго вы собираетесь их согласовывать?

— Завтра вечером еду домой. Им нужно время, чтобы ознакомиться с техническими требованиями.

То, что москвичи изъявили желание «изучить вопрос», в какой-то мере утешало. После заключительной встречи с директором «Контакта» настроение Турлава улучшилось. Похоже, и москвичи опасались сюрпризов. В их распоряжении имелась интересная информация относительно так называемой «неуправляемости иннервации». Разумеется, объяснять все это Майе он не собирался. Но, вспомнив утреннюю встречу, все же почувствовал необходимость улыбнуться.

— Как провели время?

— Спасибо. Вдоль и поперек исходила Москву.

— Быстро у вас получилось.

— Мне повезло. Набрела на чудный уголок.

— Таких уголков в Москве тысячи.

— Архитекторы могут придумать что угодно, но душа города все равно что аист — не всякое гнездо облюбовует.

— Я смотрю, у вас романтическое восприятие.

— Романтическое восприятие — это глянцевиные открытки с видами города. А знаете, что, на мой взгляд, для Москвы самое характерное? Дворы.

— Сейчас не лучшее время бродить по городу.

— Я и в кукольном театре побывала, у Образцова. Смотрела детский спектакль.

— И что, понравилось?

— Вам никогда не приходилось бывать на детском спектакле в кукольном театре?

— Как-то не довелось.

— В таком случае вы много потеряли.

— Мне никогда не нравились куклы.

— Мне тоже.

— Так что же вам там понравилось?

— Дети. Один малыш, сидевший рядом, все время поучал козленка: дурачок, что же ты делаешь, ты что, сказки не знаешь?

— Знать сказку, конечно, очень важно.

— Хотя это редко помогает.

Посмеялись. Турлав пошел к лифту. Майя осталась в вестибюле. Может, стоило спросить, на каком этаже ее поселили. Записать на всякий случай номер телефона. Только зачем?

Войдя в номер, он снял пальто, переобулся, опустил в кресло. С девятого этажа открывалась панорама города с разбросанными в разных концах высотными зданиями, задымленным горизонтом.

Сквозь пласты темно-лиловых туч в одном месте пробился столб света. Жарко загорелись позолоченные купола. Через оконное стекло было слышно дыхание города, чем-то похожее на шум прибора. А из коридора доносился томительно-однообразный гул пылесоса.

Турлав зажег все огни. Вошел в ванную, с удовольствием вымылся. С удовольствием побрился. Надел чистую сорочку. Снова сел в вертящееся кресло, посмотрел в окно. Включил и тут же снова выключил радио. Попробовал и телевизор. Тоже выключил. У него с собой были интересные журналы по электронике, но читать не хотелось.

Он надел ботинки, повязал галстук и по бесконечному коридору отправился в буфет. Ужинать как будто еще рано, в столовой «Контакта» он довольно плотно пообедал. Без особых на то причин миновал буфет на своем этаже, спустился в буфет ниже. Потом еще ниже. Закуски и блюда повсюду одинаковые, менялись только винные этикетки.

Он даже вздрогнул, когда в вестибюле, на том же месте, где и раньше, увидел Майю Суну. Сидела в кресле и теребила газету. Он не остановился, подошел к киоску. Майя его заметила, Турлав не глядя это почувствовал.

— Вы меня заинтриговали,— сказал он, останавливаясь перед ней на обратном пути.

— В самом деле?

— Я тоже решил купить вечернюю газету.

— Ах, вот вы о чем.

— Вы так усидчиво читаете.

— Я не читаю. Даю возможность отдохнуть ногам, заодно наблюдаю. В номере скучно сидеть.

— Столичные диковинки вас не прельщают?

— Еще как прельщают, просто не решусь, куда пойти. Хотелось бы в Большой театр,— может, у входа удастся купить лишний билет.

— Какая вы недогадливая. Здесь же есть своя театральная касса.

Вдвоем они дошли до театральной кассы в другом конце вестибюля.

— Сегодня «Борис Годунов»,— сказал Турлав, посмотрев афишу.— Вас это устраивает?

— Да,— отозвалась Майя,— даже очень.

— Не найдется ли у вас билета в Большой на сегодня? — спросил Турлав у стриженной под мальчика кассирши, взиравшей на него строго и серьезно.

— На сегодня мы вообще не продаем билетов, — ответила та, — только на завтра. Но я могу позвонить. Если есть, на ваше имя в кассе театра оставят билет.

И тотчас принялась энергично накручивать диск аппарата (модель «Электрона» 58А) и допрашивать какую-то Минну Ильиничну.

— Да, — сказала она, прикрыв ладонью трубку, — билеты на «Бориса» есть. Берете?

Турлав взглянул на Майю:

— Ну, так как?

Она закивала.

— Да, — сказал Турлав.

— Сколько? — спросила кассирша.

— Один. — И для наглядности Турлав поднял указательный палец.

Майя внимательно изучала афишу.

— Нет, благодарю вас, — сказала она. — Я передумала. Не надо.

— Спасибо, — сказал Турлав кассирше. Ему стало не по себе, даже смешался немного. — Извините за беспокойство. Молодые дамы не всегда точно себе представляют, чего хотят.

Майя молчала. Он тоже молчал. Вдвоем дошли до кресла, в котором она сидела.

— Всего доброго, — сказал он. — Прошу извинить, но читать газету я пойду к себе в номер.

И пошел, высоко подняв голову. Тут в ресторане заиграла музыка. На какой-то момент ему показалось, что он задохнется от злости. Лишь потом сообразил — не злится он, а сожалеет о своем поступке. Хотя и не знал — почему.

Следующее утро ушло на знакомство с различными техническими новшествами «Контакта». В двенадцать началось совещание, которое длилось три с половиной часа. Перед отъездом ему все же удалось изловить директора и «зафиксировать положение».

До отлета оставалось два часа. Нужно было успеть расплатиться в гостинице, заехать в кондитерскую на улице Горького за миндальным печеньем и, самое глав-

ное, не опоздать на самолет. Московские расстояния немислимо пожирали время. Он находился в жутком цейтноте.

Дежурная по этажу, принимая от Турлава ключи, озабоченно заглянула в ящик стола.

— Чуть не забыла. Вам письмо.

Он повертел в руках синий конверт и, хотя почерк показался незнакомым, тотчас сообразил, кто мог ему написать. На чистом листе было совсем немного слов. Надеюсь, не уедете, не позвонив, мой номер телефона (цифры).

Я опоздаю на самолет, у меня нет ни минуты, понимаешь ты, девчонка, подумал он. И все же попросил у дежурной разрешения позвонить.

Маяя отозвалась сразу же, после первого звонка, будто сидела и ждала у аппарата.

— Это Турлав,— довольно прохладно и безо всяких вступлений начал он.— В чем дело?

— Вы внизу?

— Да,— отозвался он, несколько удивленный ее самоуверенным тоном.

— Пожалуйста, подождите в вестибюле.

Он не ответил. Потому что наспех ничего путного не сумел придумать. Отговариваться тем, что нет времени, было бы глупо.

— Я сейчас спущусь. Пожалуйста, подождите.

Вероятней всего, у нее опять изменились планы, теперь она захочет лететь в Ригу тем же рейсом, что и он.

Однако нет. Ничего похожего. Он это понял, едва она вышла из лифта. Без вещей, без пальто. В руках глинисто-красная гербера.

— Как бы то ни было, вы отправляетесь в дальний путь,— сказала она.— В таких случаях принято провожать человека.

Может, это месть за его вчерашнюю выходку? Но в ее словах как будто бы не скрывалось иронии.

— Спасибо. Мужчины с цветами имеют какой-то игривый вид.

— Думаете, в том виноваты цветы?

— Я говорю о внешности, а не о том, кто виноват.

— Цветок такой маленький. А вид у вас вполне солидный, так что преспокойно можете вдеть его в петлицу.

— Спасибо.

Чего еще она ждет. Я давно уже должен сидеть в такси. Надеюсь, она не предложит присесть перед дальней дорогой.

— С легким сердцем уезжаете?

— С более легким, чем приехал.

— Сделали все, что хотели?

— Даже больше, чем рассчитывал.

— Вы упрямы и строптивы. Это вам известно?

— Приходилось слышать.

— Вы жесткий и резкий. Иногда мне кажется, вас можно, как клин, заколачивать в камень.

— Приятно слышать.

— Это все оттого, что у вас серо-голубые глаза. Мужчины с такими глазами бывают холодны, грубы и упрямы. Думают только о себе и своей работе. Счастливого пути!

Последние слова просыпала скороговоркой, будто с усилием, по временам делая звучные вдохи. На глаза вроде бы даже навернулись слезы. Чем дальше, тем страшнее!

— Это все, что я вам хотела сказать.

— Благодарю. В самом деле — отличные проводы.

— А теперь поторопитесь, не то опоздаете на самолет.

— До свидания.

— До свидания.

Он повернулся, зашагал к выходу.

— Вы забыли цветок.

Теперь было видно, как по щеке ее катилась слеза. Ну, чего она расхныкалась? Чего? Ей-богу, смешно. Сцена прощания из «Кармен».

Во всю длину вытянул руку, совсем как в забеге с эстафетой, взял глинисто-красную герберу.

Теперь в аэропорт. Скорей в аэропорт. А сам едва двигался. Он вовсе не двигался. Он был точно клин, загоняемый в камень. Скорей, скорей в аэропорт.

Это было года четыре назад, а то и пять (неужели столько!). Тимчикова из отдела кадров сказала ему: нам тут прислали девчушку (так и сказала — девчушку) с дипломом инженера вычислительной техники, не возьмете ли? Турлаву не хотелось брать, но Тимчикова до тех пор его увещала, пока он не уступил. Что ж, верно — штатное место не должно пустовать.

Еще одна фифочка, подумал Турлав, увидев ее впервые. Руки в маникюрчике, — значит, дома есть ко-

му о ней заботиться. Разоделась, как на бал. (Непонятно, с чего он так решил, платье было простенькое, синее с белым воротничком, в таких не ходят на бал. Разве что на школьный. Она и в самом деле была похожа на школьницу, чистенькая, свеженькая, ну прямо отличница.)

Она была не хуже и не лучше остальных сотрудниц КБ. В меру настойчива, по-женски аккуратна. Незаменимой оказалась в общественной работе — что ни попросят, все сделает. Разумеется, к производству это не имело прямого отношения, но без таких людей ни в одном учреждении не обойтись. Майя писала объявления, рисовала плакаты, проводила подписку на газеты и журналы, рекрутировала народ в турпоездки, оповещала о репетициях хора, выступала по местному радиоузлу. Дело у нее спорилось, с людьми она ладила. И только с ерником Сашинем время от времени у нее возникали стычки, подобные той, что случилась с месяцем назад, когда Сашинь во всеуслышание объявил Майе, что петь в хоре не может, потому как ему противопоказано стоять в непосредственной близости от дам. (Позднее, оправдываясь, Сашинь объяснял, что он оговорился, на самом деле его здоровью столь же вредно стоять и вблизи мужчин, у него, видите ли, плоскостопие.)

Выбрались на шоссе. Машина попалась старенькая, выдавшая виды. Молодой шофер, пригнувшись к стеклу, выжимал из нее последнее. Вот-вот, казалось, автомобиль начнет рассыпаться на части. При каждом переключении скорости что-то там заедало, скрежетаало, мотор захлебывался, фыркал, но, несмотря на шумовое оформление, колеса вращались безупречно.

У Турлава было ощущение, будто он едет уже не первый час. Но самым удивительным было то, что ближе к вечеру распогодилось. Белый квартал новостроек, аспидно-черное шоссе, припорошенные снегом подмосковные поля и рощицы — все излучало какой-то особенный свет, золотистый, подрумяненный. Небо по-прежнему затянуто низкими облаками, но кое-где солнце пробилось сквозь них. И снег перестал. Ветер меняется, что ли, раздумывал Турлав, сосредоточенно озираясь по сторонам, да уж что-то там меняется.

Чем ближе подъезжал он к аэропорту, тем спокойней становилось на душе. Мысль о том, что сейчас придется подняться на самолет, угнетала его. Разд-

ражала и неизбежность этого полета, — точно он угодили в какой-то скользкий желоб и теперь катится по нему, и нет ни малейшей возможности изменить ход событий. Эта предрешенность, неизбежность до тошноты ему были досадны. Первый раз в жизни, разделившись со служебными делами, он не рвался домой. Как раз наоборот, все ясней сознавал, что не хочет улетать, что он полон самых разноречивых настроений и еще, быть может, злости.

— Говорите что хотите, а мы поспели вовремя, — объявил молоденький шофер, осадив машину перед зданием аэропорта. Тормоз взвизгнул, словно пила лизнула гвоздь.

Он подхватил свой чемоданчик и кинулся регистрировать билет.

— На Ригу уже объявлена посадка?

— Нет, — с невозмутимостью робота отозвалась девушка за конторкой.

— До сих пор не объявлена? Когда же?

— Не знаю.

— До отлета остается тридцать минут.

— Ждите, объявят по радио.

— Самолет из Риги прибыл вовремя?

— Не знаю.

— Большое спасибо.

Немного погодя репродуктор объявил, что рейсы самолетов, вылетающих в Ленинград и Таллинн, из-за погоды задерживаются на два часа.

Должно быть, туман. Известное дело — декабрь, перепады температур, боренье теплых и холодных масс воздуха. С этим надо считаться. Не исключено, что рейс вообще отложат.

Это еще больше разозлило Турлава. И без того настроение было кислое, а тут изволь шататься по залам ожидания. Воздушное сообщение удобно и выгодно, пока все идет гладко, по расписанию, но едва начинаются срывы, и оно превращается в нервотрепку. В аэропорту все больше собиралось народу, даже воздух в зале, казалось, загустел. Матери унимали плачущих младенцев, люди постарше поудобнее устраивались в креслах, готовясь к долгому ожиданию.

Возвращаться надо было поездом. Ночью так или иначе спать, не все ли равно — дома, в постели, или на вагонной полке. Завтра утром был бы в Риге. Но кто знает, сколько придется тут проторчать. И в доверше-

ние ко всему вместо Риги можно оказаться в Киеве или Минске.

Репродуктор оттараторил новые отложенные рейсы: Петрозаводск, Калининград, Вильнюс. Зона непогоды расширилась.

Сообщение о рижском рейсе было столь же скупо, как и предыдущие. Откладывается на два часа. Это для начала, подумал Турлав, да и кто предскажет, когда метеоусловиям вздумается пойти на улучшение.

Он вышел на свежий воздух, закурил сигарету. На глаза попалась подаренная Майей гербера. Неужели он и в самом деле воткнул ее в петлицу пальто? И почему гербера? Потому, что Майе нравились эти цветы, или просто потому, что оказалась под руками? Стебель длинный и хрупкий, сам цветок без малейшего запаха. О вкусах Майи он имел смутное представление. Когда он был помоложе, о таких герберах понятия не имели. Даже цветы меняются с каждым новым поколением.

Турлав крепко сжал зеленый стебелек, так что тот надломился. Ему разонравился цветок, напомнивший о том, что он уже не молод. Легкомысленная Майя. Если он не совсем идиот и кое в чем разбирается, в таком случае она попросту спятила. Это точно.

Вечерняя заря отцвела, по небу плыли чернильные тучи. Лишь в одной стороне посвечивала розовая полоска.

А может, я в самом деле идиот? И вовсе она не спятила.

Турлав загасил недокуренную сигарету, бросил ее в урну и вернулся в зал. Там все бурлило. Репродуктор вещал почти без передышки. А народ прибывал. Он поднялся на второй этаж. Оттуда открылись разливы городских огней.

Репродуктор объявил, что рейсы на Ленинград, Петрозаводск, Таллинн и Ригу откладываются на неопределенное время.

Как того и следовало ожидать, подумал он. И надо же такому случиться именно сегодня.

— Ну так что, может, обратно поедем?

Сначала он не сообразил, что обращались к нему. Обернулся. Молоденький таксист, должно быть после сытного ужина, у дверей ресторана утирал платком вспотевший лоб.

Турлав колебался всего один миг. По правде сказать, и колебанием это трудно было назвать. Просто

еще раз окинул взглядом просторное окно, за которым уютно мерцали разливы городских огней.

Через час он уже входил в свой прежний номер. Его возвращение казалось вполне разумным, пожалуй, единственно возможным шагом. В номере все осталось как было: недопитая бутылка минеральной воды, коробка спичек, полотенце, которым перед дорогой вытирался.

Первым делом подсел к телефону, по памяти набрал номер. На пятый звонок, когда уж было собирался положить трубку, она отозвалась.

— Добрый вечер. Это я,— сказал он.

У него дрожал голос, он это чувствовал. Запыхался. По глупости не стал дожидаться лифта, вбежал вверх по лестнице. В трубке что-то мерно журчало. Должно быть, Майя пустила воду в ванну, а дверь в ванную осталась открытой.

— Откуда вы звоните?

Ее вопросы поражали своей определенностью.

— С девятого этажа.

— Вернулись?

— Да.

Он собирался добавить, что рейсы в Ригу отложены, что поедет поездом, но промолчал.

— Подождите минутку,— сказала она.

Он расслышал, как прошелестели по полу ее шаги. Шумовое оформление прекратилось. Она вернулась.

— Значит, не улетели?

— Нет.

— Невероятно.

— Что вы сейчас делаете?

— Гадаю.

— Не собираетесь в город?

— В город? Когда? Сейчас?

— Может, вниз, в вестибюль?

— Я свою газету дочитала.

— Очень жаль.

— Почему?

— Потому что я свою не дочитал. А в номере скучно сидеть... Простите, цитирую по памяти.

Послышались короткие гудки. Неужели бросила трубку? Или какие-нибудь технические неполадки?

Он снова набрал номер. Никто не отозвался.

Нет, конечно, не стоило звонить. Что он мог ей сказать? Глупо. Невероятно глупо получилось. В поне-

дельник будет стыдно смотреть ей в глаза. Да как вообще такое могло прийти в голову.

Он машинально терзал кнопку настольной лампы, свет зажигался и гас. И тут в дверь постучали. Сердце у него так и подскочило. Несколько шагов, и он в прихожей. Потом сообразил, что свет нехстати погасил, ринулся обратно к выключателю.

— Да, да. Прошу вас! Входите!

Вошла. И сразу по глазам он увидел и понял, что глупыми были не его поступки, а его сомнения и старания самого себя обмануть. Произошло то, что и должно было произойти. Иначе и быть не могло.

— Просто я хотела удостовериться, что вы действительно вернулись,— сказала она.— По телефону любят разыгрывать.

— Результаты проверки вас удовлетворяют?

— Теперь мы с вами на равных,— сказала она.— Я приехала к вам, вы приехали ко мне.

...икие Луки. Через пять минут. Вставайте. Какие еще луки. Не нужны мне никакие луки. Дайте выспаться. Устроили тут тарарам. Весь вагон на ноги подняли. Станция. Какая станция? Великие Луки. Только Великие Луки. Слава богу, великий мастер храпа собирается к выходу. Ну и жарища. Вечно у них не работает вентиляция. Тут недоносок и тот не озябнет. Но почему так дергает? Колесо на колесе и колесом погоняет. Я вращаюсь потому, что вращаешься ты. Ты вращаешься потому, что вращаюсь я. Колесо, шестерня, маховик. Жизнь ведь тоже вращение. Вокруг своей оси и вместе со всем сущим. Даже сейчас, растянувшись по полке, я вращаюсь вокруг своей оси и вместе со всем сущим. Чтобы воссоздать мозг обыкновенного человека, для этого пришлось бы небоскреб высотой с «Эмпайр стейт билдинг» начинить сверху донизу новейшей электроникой. А если б вздумали при этом обойтись простыми лампами, голова моя была бы величиной с Луну. И чугунное колесо вращается, да не тем вращением, что Луна. Все дело в конструкции. Чересчур большая голова у человека, чтобы быть ему простым колесиком. Вот опять сбавляется скорость. Качает, как в колыбельке. Покачайте меня, воды Даугавы. Славное было время. Звезды в небе и звезды в воде. Речные перекаты плели пенные кружева. Чем

небесные звезды реальнее тех, что мерцают в воде. А потом равнодушный, холодный поток помчит тебя прочь от жизни. В омут потянет. Выкинет на камни перекатов. Граждане пассажиры, на первый перрон второго пути прибывает скорый поезд Москва — Рига, стоянка пять минут. Интересно, Ливия придет встречать на вокзал. Она сразу все поймет. На лице прочитает. Расслышит в голосе. Если и не сразу, так немного погодя. Особым чутьем, благоприобретенным за двадцать супружеских лет. При первых же подозрениях она превратится в точнейший прибор, что-то вроде сейсмометра. И всё обретет в ней почти сверхъестественную чувствительность, какая собирается на кончиках пальцев шлифовальщика оптических линз. Неужели обязательно казаться порядочней, чем ты есть на самом деле. И потом, что означает в подобных делах быть порядочным. Я не только гражданин, человек с интеллектом, моральными устоями. Я к тому же еще и самец, в котором кричит инстинкт сохранения рода. Я лев и вместе с тем его дрессировщик. Я думал, я безгрешен и порядочен и до вчерашнего дня без боязни совал свою голову в собственную пасть. Никак еще не приду в себя. Сам себе удивляюсь. У меня и в мыслях такого не было. Я этого не хотел. По крайней мере, рассудком. Той осенью, когда работали в колхозе, все было иначе. Ванду я сам соблазнил. Я убедил себя, что так надо. На самом деле она мне была не нужна. И самец во мне оказался более дальновидным. Он сохранил верность и уклонился от участия. А я уберег свою порядочность. Самое ироническое воспоминание в моей жизни. Внимание, граждане пассажиры. От первого перрона второго пути отходит скорый поезд Москва — Рига. Манюша, Манюша, иди сюда. Тут свободное место. Иди сюда, Манюша. Лил дождь, когда мы возвращались в Ригу. У ворот стояла Ливия. Пришла с зонтом, чтобы муженек не промок. Я себя чувствовал последним негодяем. На этот раз — ничего подобного. На этот раз Ливия за глухой стеной. На этот раз ее любовь мне не поможет. Как и моя любовь не поможет ей. Милая Ливия, хотим мы этого, не хотим, но наша любовь прошла. Под котлом жизни должен пылать огонь любви. У нас теплятся лишь угольки, раздуваемые воспоминаниями. И все. Больше ничего не будет. Ливия, пойми, что больше ничего не будет. Единственное, что нам остается, — дожидаться старости. Заслон-

ка задвинута, угли в печи понемногу угасают. Мои чувства к Майе не могут быть дурными потому, что они естественны. Я не меняю тебя на нее. Я хочу тебя продолжить с нею. Ее молодость дает мне надежду достичь того, что недостижимо для нас с тобою. Что мы упустили по собственной глупости. Легкомысленно упустили. Мне сорок шесть лет. Сорок шесть. Скажи, почему я должен признать себя побежденным. Я могу еще вырастить трех сыновей, которые и дальше понесут имя Турлава. Я здоров, полон сил. Почему же на мне должна прерваться цепь, с меня начаться увядание. Мне всего-навсего сорок шесть. Ты говоришь, эгоизм. Неправда. Я как раз хочу загладить свой эгоизм. Какие мы были глупцы. Я жалел тебя, ты жалела меня. И во имя той жалости мы безжалостно лишили себя самого дорогого, что наша любовь могла дать. Вместе нам уже не исправить ошибки. Лишний раз могу тебя пожалеть. Да какой прок от жалости. Правда куда более безжалостна, чем жестокость. Так ради чего нам оставаться вместе. Ради воспоминаний. Привычки. Накопленного добра. Вите мы больше не нужны. За свою жалость я понес суровое наказание. Не требуй же последней, высшей меры. Мне бы хотелось сохранить надежду. Неужели так трудно понять. Неужели это так бесчеловечно. С яблонями тоже бывает. Не плодоносят. Тощая земля. А ты окопай деревцо, поменяй землю. Бах-бах-бах. В ночной тишине посыплется в траву яблоки. Бог ты мой, сколько яблок. И какие душистые. Живая плоть. Яблоки жизни. С нежной молочной белизны кожицей. Когда на них падает хрупкий прозрачный свет. И скользит над ними моя ладонь, легкая, как дуновение ветра. Бах-бах-бах. Должно быть, тормоза под вагоном. Поезд следует дальше. Станционные огни светят в окно, мечутся по стенам, совсем как потревоженные летучие мыши. Твоя юность пахнет яблоком. Но я хитер, против ветра крадусь к тебе, точно волк к косуле. У кожи моей запах прошлогодних лежалых яблок. Не обкрадываешь ли ты себя. Зачем это тебе. В самом деле не понимаю. Все быстрее вращаются колеса. Качается полка. Качается. Качается. Я бегу. Разгар лета. Цветут липы, лепестками усыпан асфальт. На бегу дышу полной грудью. Бегу по старому деревянному мосту, что в конце теперешней улицы Горького, по мосту, которого давно уже нет. Пробегаю развалины дома Черноголовых, и развалин

тех давно уже нет. Сердце в груди колотится, пот заливает глаза. Бегу, ищу Ливию. Мне кажется, я ее потерял. Мы потеряли друг друга. Бегу, озираюсь по сторонам. Вот она стоит. Хватаю за руки, поворачиваю лицом к себе. Все это так давно. Я успел позабыть об этом. Нет, тогда так и было. Было, было. Бах-бах-бах. Опять тормоза. За окном огни. Разучился спать в поездах. Ух, какая жара. Хочется яблока. Я сам стоял перед собой — так зримо, так близко. На расстоянии вытянутой руки. Будто бы даже в красках. Все же нет — в черно-белом изображении. Надо попробовать заснуть. До Риги еще далеко. Что за шум. Мечется сердце. Нет ему покоя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В середине января Турлав понял совершенно ясно, что подошло время сказать Ливии правду. Каждое утро он вставал с мыслью, что вот сегодня непременно скажет, но всякий раз что-то мешало, и все оставалось по-прежнему. Он поставил себе последний срок — в любом случае до двадцать шестого января. Двадцать седьмого у Ливии день рождения.

Иногда ему казалось: если бы Ливия пришла тогда встретить его на вокзал, он бы сказал ей сразу. Но она не пришла, в тот день у нее было дежурство. За ужином с ними сидела Вита. Ливия испекла яблочный торт, была в отличном настроении. Сказать сейчас? Это будет для нее жутким ударом, решил он. Нельзя так сразу, сначала надо подготовить.

Потом он рассудил, что торопиться не стоит и по другой причине: в их отношениях с Майей оставалось много неясностей, о будущем пока разговора не было. В конце концов, любовь Майи могла и пройти. Возможно, и себя не мешало проверить на трезвую голову, подождать немного, успокоиться. Сразу же вставал и квартирный вопрос. Какой смысл заводить разговор с Ливией, если уходить ему сейчас было некуда. Майя жила с родителями в двух проходных комнатах.

В том, что Ливия что-то чувствует, он нимало не сомневался. Она была холодновата, однако никаких обид не высказывала. Даже слова его о том, что впредь он намерен спать на диване в большой комнате, приняла как должное, без недоуменных вопросов. В последнее время Турлав нередко возвращался домой

в скверном настроении, бывал подчас несдержан и резок. Иногда ловил себя на том, что сознательно пытается разозлить Ливию. Терпимость ее пугала, почему-то казалось, что развязка наступила бы скорей и естественней, если бы они рассорились. Мир и покой давались ценой такого напряжения.

До двадцать седьмого января это нужно непременно сделать. Ритуал «поздравления мамы» у них в семье был слишком интимен, душой не покривишь. При одной только мысли о притворстве ему становилось не по себе. Нужно постараться всех избавить от этой комедии — и Ливию, и Виту, и самого себя.

Но прежде всего следовало поговорить с Витой. Дочка, ты уже взрослая, попытайся меня понять. Никаких совместных подарков на этот раз не будет. Вот деньги. Если хочешь, что-нибудь купи, не хочешь — поступай как знаешь. На сей раз я не участвую. Пойми — не могу. И не смогу поутру будить Ливию песней. Не смогу целовать ее сорок четыре раза. Это было бы мерзко. Поцелуй Иуды. Думаю, ты знаешь, что такое поцелуй Иуды. Твой магнитофон без конца выкрикивает «И-у-да!». Двадцать седьмого я уеду в командировку. Надеюсь, Ливия догадается гостей не приглашать. Кое-кто может прийти без приглашения, уж конечно придет...

Но день шел за днем, а Вита не вспоминала о подарке. Неужели позабыла про мамин день рождения? Трудно поверить. Скорее всего, и Вита что-то чувствовала, не ребенок. В последнее время они мало виделись. Утром, когда он собирался на работу, она еще спала. Вечером он уже спал, когда возвращалась Вита.

Однажды все же встретились. Он открывал дверь в полной уверенности, что дома никого нет, но Вита на кухне жарила картошку. Более удачного момента ждать не приходилось. Ливия дежурила у себя в диспетчерской городской «скорой помощи». Они были одни.

— Ну, Витошка, жареная картошка, — сказал он, — как поживаешь? Узнаешь еще отца родного? Давненько не виделись.

— Ах, не говори, папочка, — отозвалась она, взмахнув масляным ножом, словно гренадер саблей, — я и в самом деле жареная картошка.

— Это почему же?

— Да потому, что я такая мягкая.

Он не понял, о какой мягкости она говорит.

— Голова у меня мягкая, язык мягкий, уши мягкие.

— Глядя на тебя, не подумаешь.

— Сегодня сдавала последний экзамен. Молекулярную физику.

Он почувствовал, что краснеет. Первая экзаменационная сессия Виты прошла для него незамеченной.

— И тебя ничуть не интересует, какую отметку я получила?

— Нет.

— Очень даже непедагогично.

— Тот, кто получает тройку, никогда не задает подобных вопросов, это — во-первых.

— А что во-вторых?

— Во-вторых, ты моя дочь.

Он снял в коридоре пальто, зашел в ванную вымыть руки. И, глянув в зеркало, увидел на своем лице улыбку. Гордость за дочь и любовь к ней, эти чувства, нахлынувшие вдруг, смутили его еще больше, чем только что испытанные угрызения совести и стыд.

— Двадцать седьмого день рождения мамы. Ты не забыла?

— Нет,— сказала она, так же густо краснея, как он.— Просто у меня совсем не было времени.

Привалившись к дверному косяку, он наблюдал, как она переворачивает обжаренные ломтики картошки.

— Мне надо с тобой поговорить об одном важном деле,— сказал он.

— А мне — с тобой.

— В общем, я должен был сказать тебе это еще раньше.

— Я тоже.

— По-моему, у нас речь пойдет об одном и том же.

— Не знаю, возможно.

— Я уверен. И давай поговорим как люди взрослые, чтобы между нами не было никаких секретов.

— Правильно,— сказала она.— Мы собираемся подать заявление.

Не разговор, а игра в жмурки. Вот опять на что-то натолкнулся.

— Какое заявление?

— О браке. В загс.

— Прошу прощения, но я...— У него даже в глазах помутилось.— Я что-то не понимаю.

— А что тут непонятного. Хотим уладить формальности. И чем скорее, тем лучше.

— Ты выходишь замуж! (Ну и ну!)

— Это упростит положение.

— Какое положение?

— Мы не можем друг без друга. А когда приходится жить поврозь, возникает столько неудобств.

— Друг без друга не можете! О каком «друге» ты толкуешь? Эдмунде или Иваре?

— О Тенисе, папочка.

— Что такое Тенис? Что еще за Тенис? Давно ты его знаешь?

— Какое это имеет значение?

— Тоже студент?

— Говоришь так, будто сам никогда не любил. Я думала, ты знаешь...

— Знаю — что?

— Про Тениса. Я маме рассказывала сразу после нашего знакомства. Но вы с ней последнее время почти не разговариваете.

Турлав достал платок, высморкался. Он почувствовал, что должен что-то сделать, безразлично что — руки чесались. Вот это номер! Но вдруг подумал: мы же с ней могли поменяться ролями. Заговори он первым, возможно, теперь Вита допрашивала бы его. Да как же так? Да почему? А давно ты ее знаешь?

— Не всем же учиться, — сказала она, — кто-то должен и работать. У него два брата, сестра. Старому Бариню не под силу было всех четырех поставить на ноги.

Кому, кому? Старому Бариню? На мгновение Турлаву весь разговор показался бредом.

— При чем здесь Баринь?

— Тенис — внук Бариня. Мы познакомились на похоронах. На похоронах старого Бариня. Ты сам меня туда послал. — Вита усмехнулась. — Выходит, судьба.

На Турлава, казалось, нашел столбняк.

— Это случилось, когда засыпали могилу. Тенис снял пальто и дал мне подержать. Не кому-нибудь, а мне, совсем незнакомой, чужой. Можешь поверить, я его сразу узнала: он. Будто на ухо кто шепнул. Можешь такое понять? У вас с мамой тоже так было?

Он пробурчал что-то невразумительное.

— Тенис Баринь, значит. Внук старого Бариня.

Она кивнула.

— Все равно. Несерьезно это. Ты ведь только на первом курсе.

— Вот именно, вам с мамой прямая выгода. Теперь пусть муж меня содержит.

— Видали мы таких содержантов.

— Папочка, у тебя нет ни малейшего основания ругать Тениса. Лучшего зятя тебе не найти. Можешь быть уверен.

Украдкой окинул полноватую фигуру дочери. От нее, впрочем, не ускользнул его взгляд.

— Не вижу причин для подобной спешки.

— Причина вот здесь,— сказала она, показывая пальцем на грудь.

— Знаешь ли, увидеть зятя в первый раз на свадьбе, для этого нужны крепкие нервы.

— Тенис уверен, ты его знаешь. Он работает в монтажном цехе телефонии. Третье поколение Бариней на «Электроне». Ну, а до этого по крайней мере тридцать поколений на Даугаве. Стойкое племя.

— Да, выдающийся человек. И все же я с ним не знаком. Он оказал бы мне большую честь, если бы представился лично.

— Тенис будет у мамы на дне рождения. Да он давно бы пришел, я сама не хотела. Сейчас дома не та атмосфера. Я немного стесняюсь. Сам понимаешь.

У Турлава опустили руки. Ему, конечно, следовало что-то сказать, но он не мог из себя выдавить ни слова.

— Ну вот,— сказала Вита,— теперь ты знаешь.

Он стоял, не меняя позы, барабанил пальцами по стене.

— Теперь твой черед,— проговорила она.— Что ты собирался сказать?

— Ничего.

— Неправда, папочка. Я же вижу.

— Ладно, ладно. Как-нибудь в другой раз.

Перед тем как лечь спать, мне подумалось, что было бы неплохо зайти к Забелину. Проснувшись среди ночи, я уже знал наверное, что буду говорить с Забелиным, и даже время прикинул — часов десять. По пути на работу, продумывая распорядок дня, уже определенно наметил, что в десять должен быть в монтажном цехе.

Причина, по которой мне нужно было встретиться с Забелиным, была достаточно веской. Близился конец месяца, в любой момент мог позвонить Лукьянский

и сказать: подбрось Забелину человек десять. Техников, инженеров, старших инженеров. Всех без разбора. Нажимать педали, подкручивать винтики. План горит. Забелин попросил, Лукянский распорядился, ибо, по его убеждению, на заводе нет менее загруженных и более незанятых людей, чем конструкторы. Попросту лодыри. Сидят, грызут карандаши.

На сей раз я хотел заранее предупредить Забелина, чтобы на нас не рассчитывал, искал себе помощников в другом месте. Ни единого человека не дам. Пусть знает Забелин, покуда Лукянский со своих административных высот еще не подал команду.

Бессчетное множество раз приходилось мне взбираться по лестницам монтажного цеха. (Начальником монтажного цеха проработал до марта 1953 года. В тот день сообщили о смерти Сталина. На фоне того события мой перевод в конструкторское бюро даже в моем собственном представлении показался мелочью. На заводском дворе шел митинг, по синему небу плыли белые облака, с крыш катилась звонкая, блестящая капель, репродукторы разносили траурный марш Шопена.)

Смело могу утверждать, что монтажный цех знаю так же хорошо, как свой собственный карман. Но тут я взглянул на все как бы другими глазами. И увидел много такого, от чего повеяло дистанцией огромного размера. Можно и попроще выразиться: грустно мне стало. И должно быть, такое бывает всякий раз, когда человек «во цвете лет» возвращается в те места, с которыми связана его молодость. В происшедших переменах открывает он безвозвратно ушедшее время.

В комнатах отдыха пальмы. Мягкие кресла. Никелированные пепельницы на высоких подставках. Очень все пристойно. Но откуда столько народу? Прямо базар. А вот и Альберт Саукумс. Все еще катает тележки с готовой продукцией. Совсем сгорбился, поседел. Многолюдью, по правде сказать, удивляться не стоило. Монтажный цех выпускает сейчас раз в пять больше продукции. Так что всего прибавилось — людей, рабочих мест, деталей, готовых аппаратов, шума и движения. (Повышенную скорость конвейера, по сравнению с «тем временем», я сразу уловил на слух.) Удивляться, пожалуй, приходилось тому, что народу так мало. Атмосфера в цехе царила довольно спокойная. (Принимая во внимание, что штурмовщина уже

началась!) Негромко звучала мелодичная музыка. Освещение яркое, но глаза не резало. Функциональная музыка, функциональное освещение.

Кабинет Забелина был битком набит. Табачный дым. Повышенные голоса. Забелин имел обыкновение руководить громогласно, в клубах дыма. Я попросил его на пару слов, как в дни моей молодости парни с рабочей окраины Гризинькална вызывали кого-нибудь с танцулек, чтобы съездить по морде. Он ничуть тому не удивился, только звучно, тяжело задышал, как после пробежки. О нехватке рабочих говорил спокойно, без эмоций, как больной говорит о застарелом недуге, с которым давно уже свыкся.

— Раз нельзя, значит, нельзя,— сказал он,— пробуем как-то вывернуться.

Он стал излагать свои соображения по этому поводу, говорил долго и пространно, ловко перекидывая искусанную «Беломорину» из одного угла губ в другой.

Слушал его краем уха. Потом простились, но я не уходил.

— Хорошо,— сказал я,— значит, с этим делом решено.

— У тебя ко мне еще что-нибудь? — спросил он.

— Нет, все,— сказал я.

— Ради этого не стоило самому тащиться. Мог и позвонить.

— Пустяки,— ответил я.

Облако дыма вокруг Забелина все больше сгущалось. Он что-то почувствовал, смотрел на меня выжидательно. Может, думал, собираюсь в долг у него попросить, да стесняюсь. Может, думал... Словом, что-нибудь в этом роде.

— Будь здоров,— сказал он и зачем-то добавил: — В этом месяце замучили нас экспортные заказы.

— Да, вижу, я прошелся по цеху,— сказал я.— А-а, вот что, хорошо, вспомнил, еще такой вопрос. Скажи, у тебя работает сын старого Бариня? То есть не сын, а внук. Тенис Баринь.

— Тенис Баринь? Работает. А в чем дело?

Настороженный Забелин насторожился еще больше.

— Да просто так. Из личного интереса.

— Хочешь с ним повидаться?

— Нет, спасибо. В этом нет необходимости. Чем он занимается?

— Сейчас? Трудно сказать. Когда чем придется.

— Толковый парень?

Забелин неопределенно пожал плечами.

— По этому вопросу точную справку тебе может дать Юраго.

Я понял, что своими вопросами начинаю докучать Забелину. Он никак не мог сообразить, что мне нужно, и потому пытался поскорей от меня избавиться.

— Хорошо,— сказал я.— Спасибо. Если не возражаешь, по пути заверну к Юраго.

— Ты с ним знаком?

— С Юраго?

Юраго еще при мне работал старшим мастером. В ту пору мне было двадцать шесть, он — лет на десять старше. И оттого казался мне жутким стариком.

Это было совсем не по пути. Комната Юраго помещалась в другом конце цеха. Взявшись за натертый до блеска поручень, я немного помедлил. С детства мне знакомо это ощущение: тяжелеют колени, и кажется, где-то там в пальцах ног начинают булькать пузырьки, мало-помалу пузырьки поднимаются кверху, раздуваются, проходят желудок, застревают в легких.

Все та же дверь, обитая шпунтованным тесом, теперь только покрашенная. На уровне глаз, как и прежде, следы бесчисленных кнопок. Уходя, Юраго имел обыкновение оставлять записки — я там-то, пошел туда-то, буду во столько-то.

За столом Юраго сидел длинноволосый верзила, усы, свисающие к подбородку, пышные бакенбарды, как у маршала Нея.

— Где Юраго? — довольно резко спросил я.

Верзила подскочил со стула, выкатив на меня глаза. Можно было подумать, я навел на него револьвер. Глядел на меня предельно внимательно и, как мне показалось, не столько удивляясь, сколько стараясь не упустить момент для ответного выпада. Он слегка наклонил голову, видимо, в знак приветствия.

— Юраго ушел в экспедицию.

— Раньше он оставлял записки.

Верзила молча пригладил усы.

— Когда вернется?

— Скоро.

— Скоро будет Майский праздник.

— Минут через двадцать. Может, я бы мог...

— Нет, не можете.

Задняя стенка комнатки старшего мастера была забрана большой застекленной рамой, сквозь нее весь цех был как на ладони. Рабочие конвейера как раз готовились к производственной гимнастике. Физрук уже поднялась на возвышение. Зал запестрел от машущих рук, хлопающих ладоней, разжимающихся пальцев. Должен признаться, я впервые видел производственную гимнастику в монтажном цехе и потому, допрашивая верзилу, одним глазом косился в окно. Заметив это, он включил трансляцию; комната наполнилась ритмичными звуками рояля и отрывистыми командами.

— Сколько раз в смену проводится эта штуковина? — спросил я.

— Дважды.

Я собрался уходить, и верзила выключил репродуктор. Дошел почти до порога, прямо-таки кожей чувствуя взгляд его темных глаз, направленный мне в затылок, и тут со мной случилось нечто непредвиденное. Я вернулся.

— В данный момент кто замещает Юраго?

— Вы имеете в виду мастера?

— Ну да, мастера.

— Я, — ответил верзила. Глаза у него заблестели еще ярче, на свободном от волос пространстве щек проступили ямочки. Это меня несколько озадачило, потому как еще за секунду лицо казалось непроницаемо суровым.

— Тенис Баринь работает в вашей смене? (А что, если это он и есть?)

— Да, в нашей.

— Вы его знаете? (А что, если...)

Верзила пригладил подбородок.

— Так, более или менее.

Он смотрел мне прямо в глаза. Я отвернулся. Нет, решил я про себя, с этим нахалом разговора не получится.

— Давно он здесь работает?

— В общей сложности пять лет.

— Спасибо, — я сдержанно кивнул. — Извините за беспокойство.

Момент для ответного выпада, которого верзила так нетерпеливо ожидал, наступил. Я получил сполна.

— Ничего, ничего, товарищ Турлав, — проговорил он. — Должны же мы были когда-то познакомиться.

Фигура Тениса Бариня расплывалась у меня перед глазами, как отражение в воде. Пузырьки по жилам поднимались кверху, я чувствовал, желудок превращается в сплошной пузырь, и тот норовил протиснуться еще выше, в легкие.

— Спасибо,— повторил я.

И ушел, хлопнув дверью. Зол я был жутко.

Двадцать седьмого января будильник разбудил меня в пять утра. Спросонья, толком еще не соображая, подхватил трезвонящий будильник, сунул под подушку. Всю ночь проворочался в постели, терзаемый страхами: вдруг просплю, будильник не сработает, звонка не услышу или часы остановятся. Теперь меня тревожило другое — как бы Ливия в соседней комнате не проснулась.

Затаив дыхание, прислушался. Тишина. Лишь в ушах еще звон будильника. Нет, вроде бы не проснулась. Ну и слава богу. О Вите беспокоиться нечего. Чтобы Виту в пять утра поднять, пришлось бы из пушек палить.

Мой план был прост. Оставить подарок на столе в кухне. Сам чуть свет ушел на работу — срочные дела, непредвиденные обстоятельства. Нет меня, и все. Ливию поздравит Вита. В общем-то, эти поздравления одно баловство. Раньше, когда Вита была маленькой, тогда другое дело, для нее это было забавой, теперь мы взрослые люди, не обязательно.

Если у этого флакона египетских духов и есть какой-то недостаток, то заключается он в том, что флакон чересчур велик. И своей роскошной упаковкой, быть может, слишком откровенно намекает о своей цене. Такие дорогие духи я никогда ей прежде не дарил.

Что говорить, подарок хороший, краснеть не придется. Ну, а то, что не совсем, как говорится, от души... Что ж, при таких отношениях это неизбежно. Мы с Ливией всегда бывали особенно предупредительны друг к другу, когда отношения наши портились. Не скрою, сейчас мне казалось очень важным, чтобы подарок ей понравился. Может, результат какого-то дурацкого комплекса вины? Да не так глупа Ливия, чтобы по стоимости подарка гадать «любит — не любит».

Нет, все гораздо сложнее. Мы с Ливией точно две нити, заплетенные в единую ткань. Мы сплетены воеди-

но Витой, родней, друзьями, знакомыми. Мы вплетены во множество узоров на правой, лицевой стороне ткани, мы сплетены одними только нам известными разводами на оборотной, левой стороне. Материю можно дальше не ткать, но в той ее части, которая соткана, уже ничего не изменишь. Продольной нитью — основной — проходит Ливия от края до края.

Майя стоит в стороне. Я чувствую ее не соприкасаясь, чувствую на расстоянии, как локатор сквозь мглу и туман чувствует объект, на который направлен. Я к ней привязан лучом. Как корабль к маяку, лучом, который вспыхивает, гаснет. Иной раз кажется, что Майи у меня нет, никогда и не было, есть только воображение, фантазия, сон и бред.

Они во мне не перекрещиваются. Я не хочу их сравнивать, противопоставлять. В самом деле, мне не хочется огорчать Ливию. Страшно подумать, что я могу причинить ей боль.

Легко сказать: материю можно дальше не ткать. Если бы жизнь возможно было перестроить, как перестраивают заводские цехи: это снести, это сломать, это построить заново.

Почему совесть противится здравому смыслу? Почему достоинством считается сохранить устаревший семейный очаг, а реконструкция устаревшего семейного очага почитается делом предосудительным? Почему считается, что вдвоем идти к обмельчанию — верх благородства, а избавление от общности, ставшей обузой, клеймится как предательство? Что это — атавизм чувств или одно из проявлений косности человеческой природы? Может, обычная боязнь операции?

Майя меня привлекает даже не столько своей молодостью, сколько теми надеждами, которые живут в ней. Свои соблазны я бы мог подавить, но что за радость жить без надежд? Какой смысл в себе чувствовать силы, если они заранее обречены быть растраченными впустую. Старости не избежать, но я смирюсь со своим поражением лишь тогда, когда других возможностей не будет. Так называемая «вторая молодость» явление достаточно распространенное, чтобы от него можно было отмахнуться как от мужской причуды. Быть может, ошибка природы в такой вот биологической несовместимости: инстинкт продолжения рода в мужчине проявляется по-настоящему в том возрасте, когда возможности женщины уже исчерпаны.

У меня в крови бродит желание начать все сначала. Я все еще на полпути. При мысли о Майе я чувствую прилив новых сил.

Не включая свет, выскользнул в коридор, на цыпочках прокрался мимо комнаты Ливии. Тишина. Поколебавшись немного, зашел на кухню. В окно тускло светил фонарь. Я стоял, держа в руках приготовленный для Ливии подарок, и мне было ужасно грустно. Так не хотелось ее огорчать. Но самым удивительным, конечно, было то, что я по-прежнему ее любил, в тот момент я это понял. И все же должен буду сказать ей правду. Должен.

Оставив на столе подарок, я вернулся к себе. Минут через десять собрался. В квартире по-прежнему тихо темно.

Мягко стукнула за мной входная дверь, звякнул ключ в замочной скважине. Я поднял голову. Над входной дверью у нас застекленный проем. В тот момент, когда я вынимал из замочной скважины ключ, в квартире загорелся свет.

Ливия не спала. Дожидалась, затаившись в темноте. Пока я уйду. Одна. Утром, в день своего рождения...

У нас много друзей. Благодаря Ливии. Дружба требует не меньше усилий и времени, чем, скажем, сад. В садовники я не очень-то гожусь, для этого у меня мало данных. Для пользы дела что-то могу предпринять, но при условии, что меня подстегнут, подтолкнут, направят. В этом отношении Ливия полная противоположность мне. Завязывать, поддерживать с людьми отношения одно из ее призваний и несомненных талантов. Признаться, иной раз меня одолевают вполне обоснованные сомнения насчет даже тех отдельных экземпляров из семейной коллекции друзей, которых я откровенно считал своими, — и они держатся вблизи нашего дома больше под воздействием магнетического поля Ливии, чем моего. Я бы сам их давно растерял. Как луна свои облака. Такая мысль пришла мне в голову, когда я с довольно большим опозданием появился домой с работы. Дом был полон гостей.

Всю дорогу настраивал себя на худшее. Это будет ужасно. Будет просто жутко. Примерно такая картина: подхожу и вижу — на месте дома одни развалины.

Или еще так: вместо дома огромная яма. Сплошной кошмар. И все же придется идти. Придется увидаться с Ливией, придется что-то ей говорить.

При виде вороха одежды на вешалке вздохнул с облегчением. По квартире разносился смех, веселые голоса. Пока все оставалось по-старому. Хотя бы с фасада. Вот сейчас и глава семьи примет чашку кофе и кусочек праздничного кренделя, будет улыбаться, что-то говорить. Как ты там выразилась, Вита,— у нас дома не та атмосфера? Не волнуйся, мы не станем шокировать твоего верзилу. О нашей семье у него останутся наилучшие впечатления. Кому еще кофе? Кусочек кренделя? Развал семейного очага — личное дело. Прием гостей — общественный долг. Общественный долг всегда превышает личных дел.

С Ливией встретился на кухне. Слава богу, о ту пору там оказались Эрна и маленький Мартынь. Эрна говорила Мартыню:

— Ну, поднеси тете подарок и скажи то, что собирался сказать.

Мартынь стоял, держась за Эрнин подол. Поупрямившись немного, подарок все-таки отдал.

— Ну, а что ты должен сказать?

— Не скажу.

— Это почему же?

— Мне стыдно,— признался Мартынь.

— Не знаю, как остальные,— сказал я,— а я тебя вполне понимаю, Мартынь. И со мной такое бывает.

Мы рассмеялись, сделав вид, что нам смешно.

— Уж сегодня ты бы мог надеть желтую сорочку,— сказала Ливия, мимоходом окинув меня взглядом.— У этой отлетела пуговка.

— Вот видишь, Мартынь, что получается,— проговорил я,— одна-единственная пуговка, и судьба сорочки решена.

— Может, хочешь поесть? — спросила Ливия.— Ужин в духовке.

— Нет, спасибо, я сегодня поздно обедал.

Ее голос отдавал холодком, но в остальном все в рамках приличия. Я удивлялся ей. Исходя из того, что я узнал о ее характере за двадцать лет нашего супружества, теперешнее ее поведение объяснить было нелегко. Я терялся в догадках: что это — приступ равнодушия или поистине бездонная выдержка? А может, Ливией руководили слепой оптимизм, неистребимая

уверенность, что в конце концов все образуется,—словом, нечто вроде закупорки здравого смысла, иногда такое бывает с неизлечимыми больными.

Я вздрогнул. Мартынь теребил меня за рукав.

— Дяденька, пойдем поиграем.

— Во что ты хочешь поиграть?

— В хоккей.

— Давай так договоримся: минут через десять. Идет? Мне сначала надо поздороваться с гостями.

Мартыня я с лета не видел, он основательно подрос и наловчился разговаривать. Его кудряшки посветлели. Мне вспомнился вечер, когда Эрна пришла к нам и сказала: ничего у меня нет — нет здоровья, нет мужа, нет квартиры, но вот представилась возможность разжиться сыном. Как быть? У нас в больнице славный мальчуган осиротел.

Время от времени Эрна имела обыкновение доставлять нам большие и маленькие сюрпризы. Она работала электромонтером, разъезжала на мотоцикле, сама себе строила дачку на Видземском взморье.

— В таких вещах излишне спрашивать совета у других,— сказал я.— Но, конечно, вырастить сына будет нелегко.

— А легко одной дожидаться старости? Э, была не была...

Теперь Мартыню шел четвертый год. Парень что надо, любо поглядеть.

Когда у нас собираются гости, еда и питье не самое главное. Люди приходят посидеть, поболтать. Приходят все, кому не лень. Глядишь, уже просят потесниться, и чем дальше, тем больше. Чашку кофе держишь в руке, бокал с вином можно пристроить на подоконник, стеллаж или просто на пол поставить. Не знаю, как это случилось, но среди наших друзей почти нет курильщиков. Добрая половина из них всегда отдаст предпочтение чаю, а не кофе. Общепринятые напитки — водка с апельсиновым соком, просто водка, настоящая на лимонных корочках, молочный ликер, сухие вина. Во времена таких сборищ все двери нараспашку. Полная иллюминация. В комнате Виты нередко гремит магнитофон. Но никогда не включаются ни радио, ни телевизор. (Тогда конец беседе, говорит Ливия. Люди уткнутся в кинескоп, позабыв о своем соседе.)

На тахте, как обычно, сидели Эрика, Дайна и Лигита. Некогда однокашницы Ливии. Сколько я слышался о достопамятной «Школе непорочных дев у Грязного канала», о знаменитом выпуске с одиннадцатью отличницами, не менее знаменитых баталиях с военруком и поистине достойных эпического цикла подвигах по преследованию, осаде, обожанию премьера театра комедии Димиса Розового Козленка. Вместе с двадцатилетним нашим знакомством достались мне эти богатейшие предания. В альбоме Ливии хранились фотографии, на которых Эрику можно было увидеть худой, долговязой девчонкой, Дайну — с детскими косичками, а Лигиту в школьной юбчонке в складку. При встрече с ними у меня всегда появлялось ощущение, что я их знаю давным-давно, во всяком случае гораздо дольше, чем на самом деле, — впрочем, не их самих, а какую-то частицу биографии Ливии, частицу ее мира. В отрыве от Ливии знакомство наше было скудным. В отрыве от Ливии худоба Эрики, косички Дайны и юбчонка Лигиты никаких эмоций во мне не вызывали.

В мягком кресле в тесноте и все же совершенно обособленно сидел муж Эрики Харий. С ним всегда было приятно поговорить. Но он принадлежал к тем людям, которые как бы созданы для диалога. В многолюдье он тушевался. Такие сборища его как бы опрощали, лишая значительной части достоинства. Он сам это прекрасно сознавал и оттого еще больше замыкался. Хотя со стороны могло и показаться, что быть на людях для него одно удовольствие.

Валлия была у нас в доме второй или третий раз. О ней я знал лишь то, что в каком-то Доме культуры она ведет кружок шитья. Приятная дама. Затрудняюсь сказать, что их связывало с Ливией.

Даже Инара прикатила из Кулдиги. Судя по огромному бокалу, который она так изящно держала в своих натруженных руках врача-ветеринара, можно было заключить, что на сей раз не на своей машине.

Писатель Скуинь прочесывал мои книжные полки, а его супруга вслух возмущалась поведением мужа, тем самым привлекая к нему всеобщее внимание. О его отношении к нашей семье я не строил никаких иллюзий. Товарищ собирал всякую психологическую всячину для очередного романа. Разве можно сердиться на кошку за то, что она ловит мышек? Я ни-

когда не мог толком понять, отчего в наш век, когда так сильна техника и так беспомощна литература, писатели по-прежнему остаются предметом внимания и поклонения. Без шаманов трудно обойтись. И все же из присутствующих, должно быть, лишь он, писатель, узнав о нас всю правду, не был бы ничуть шокирован.

Виты не было. Не было и верзилы. Быть может, мой досточтимый будущий зять (а может, очередной кандидат на этот пост) решил, что мы теперь уже достаточно знакомы? В таком случае где задержалась моя досточтимая дочь?

Я всем по очереди жал руки и говорил что-то незначительное, стараясь хотя бы внешне не выказывать стесненность, которая меня не покидала, просто ушла куда-то вглубь. Испытанное недавно чувство облегчения рассеялось, и, сам того не сознавая, я ждал каких-то осложнений. Меня не покидала мысль о Вите и Тенисе Барине. Не пришли. Ага! Так я и думал! Но что меня беспокоило больше — то, что их не было, или же то, что они могли объявиться в любую минуту?

Лигита подвинулась, высвобождая для меня место на тахте.

— Альфред, послушай, отчего ты такой серьезный?

— Это особое искусство — казаться серьезным и быть несерьезным, — попытался я отшутиться.

— Не рассказывай сказки, я же вижу, ты серьезен на полном серьезе.

Помолчали. В комнату с кувшином в руке вошла Ливия. И вдруг Дайна со смехом сказала:

— Альфред, когда же ты наконец возьмешь себе другую жену?

Я весь похолодел. Бросил взгляд на Ливию, та спокойно наливала клюквенный морс в бокал писательши.

— Что ты имеешь в виду?

— У тебя ужасно старая жена, — сказала Дайна. — Я-то думала, ей сегодня стукнуло сорок три, а ей, оказывается, все сорок четыре.

— Вот именно, — сказала Ливия, — столько же, милая, сколько и тебе.

— Я бы на твоём месте, Альфред, ни за что бы не взяла такую старую, — не унималась Дайна.

— Видишь ли, — сказал я, — в пору женитьбы я был слишком молод и зелен.

Рассмеялась только Дайна.

Я налил себе водки и молча выпил.

Шутка Дайны была уже всеми забыта. Общая беседа все больше дробилась на обособленные разговоры. Я не очень прислушивался к тому, о чем вокруг меня ворковали дамы. С пяти часов утра — день долгий. Вспомнилось, как крался по коридору, как стоял в потемках на кухне. На мгновение прикрыл глаза. Очнулся, увидел возле себя маленького Мартыня.

— Дяденька захлопнулся, — сказал он.

— Ах, да! Мы ж с тобой договорились поиграть...

Но малыш твердил свое:

— Дяденька захлопнулся.

— О чем ты толкуешь?

— Захлопнулся, захлопнулся. Будет сидеть до утра.

В дверях показалась Вита. Румянец во всю щеку, — значит, только что с мороза.

— Добрый вечер всей честной компании, — сказала она. Но глаза остановились на мне. — Папочка, можно тебя на минутку?

Мартынь, радостно хлопая в ладоши, выбежал за нами следом. В коридоре рядом с Витой стояли Ливия, жена писателя и Эрна. Ливия смотрела на меня с укором и досадой. Вот оно, подумал я, наступило!

— Этого и следовало ожидать, — проговорила Ливия, указывая на дверь туалета. — Вот уж месяц, как запор неисправен. Крутишь, крутишь его, и все без толку.

Только ли о запоре шла речь? Запор был слишком ничтожным поводом для такой горячности. Просто она не в силах дольше сдерживать себя. Вот уж месяц, сказала она. Достаточно прозрачно.

— Папочка, он не может выбраться, — сказала Вита.

— Положеньице, — хихикнула Эрна.

— Дяденька храбрый, дяденька не плачет, — восторгался Мартынь.

Я подошел к двери, дернул ручку.

— Да в чем, объясните, дело?

— Добрый вечер, — за дверью послышался бодрый голос Тениса Бариня. — Мне, право, неловко. Такое внимание...

— Попробуйте медленно поворачивать ручку, — сказал я. Моего сдержанного тона он не мог не заметить.

— Техника дала осечку. Рукоятка перестала поднимать защелку.

— Нож у вас есть?

— Есть-то есть. Да в тех брюках, что дома.

— Тогда попробуйте надавить на дверь. Может, это удастся вам.

— Какой позор! — Ливия глядела на меня горящими глазами. — Так запустить дом.

— Не надо, не надо, а то дядя горшочек опрокинет! — Мартынь в испуге надул губки, собираясь удариться в рев.

— Тенис, послушай! Главное — спокойствие, — сказала Вита. — Вызволим тебя живого или мертвого.

Я тоже испробовал так и сяк, но дверь не поддавалась.

— Ничего другого не остается, — сказал я. — Придется ломать.

— Зачем пороть горячку! — Тон молодого Бариня раздражал меня какой-то въедливой насмешкой. Да, именно насмешкой и этакой беспардонностью, отчего каждое слово, произнесенное им, как бы передергивалось. — Быть может, вы сообразовали просунуть мне под дверь вязальную спицу?

Вита раздобыла спицу, и верзила принялся ковырять ею запор. Было слышно, как поскребывала спица, стараясь подцепить защелку. Я знал, что дверь он откроет, и про себя ругал его на чем свет стоит. Я даже не пытался уяснить — за что. Меня злило решительно все: и то, что он возился за дверью, и то, что мы как дураки стояли, ожидая невесть какого чуда. Даже это идиотское сидение в клозете он сумеет обратить себе на пользу. Будто я не видел, с каким восторгом кивала Вита после каждого скребка спицы и какой надеждой озарялось лицо Ливии, не сводившей глаз с злосчастной двери.

Наконец запор отомкнулся. Дверь приоткрылась и тут же закрылась. Загудел, зафыркал бачок с водой. Еще довольно долго ждали, пока он мыл руки. Потом только вышел.

Через силу мы посмотрели в глаза друг другу. От его крепкой шеи, скуластого лица, рослой фигуры так и разило силой, здоровьем. Но тут я заметил нечто такое, что несколько поколебало мои представления о нем: Тенис казался растерянным, не знал, с чего начать. Что ни говори: мальчишка. Всего-навсего мальчишка. И первый раз в чужом доме. Незнакомые люди. Все пялят глаза. А тут еще такая катавасия.

Я припомнил свою первую встречу с родителями Валиды, их настороженные взгляды, обидчивый тон, холодную вежливость...

Тенис довольно долго занимался Ливией, желал ей счастья и всяческих благ. Он, безусловно, обладал немаловажным качеством, с помощью которого легко преуспеть у дам, — имел превосходно подвешенный язык. При виде подарка Тениса — точь-в-точь такого же флакона египетских духов — у меня внутри похолодело. Ливия казалась бесконечно обрадованной и настолько непритворно восхищалась флаконом, будто впервые в жизни видела такой.

Настал мой черед поздороваться.

— Папочка, вот познакомься, это он, — Вита, припав к моему плечу, заворковала мне в ухо, — в нужный момент у нее это отлично получалось.

— Наши встречи всегда происходят при несколько необычных обстоятельствах.

Почему-то я произнес это более дружелюбно, чем предполагал.

— Да. Не везет мне.

— Не скажите. Может, когда-то вам и вправду не повезет, но пока, по-моему, удача с вами.

Он смотрел мне в глаза, поигрывая своей насмешливой улыбкой.

— Я ведь, так сказать, с наилучшими намерениями, — проговорил он.

Они вошли в комнату. Я остался в коридоре. Надо посмотреть, что там с этим чертовым запором, как бы кто еще не застрял.

— Дяденька, что ты собираешься делать? Сам туда залезешь? — Малышка Мартынь опять был тут как тут. Наверное, прятался за шкафом.

— Вот держи отвертку, будешь мне помогать, — сказал я. А про себя подумал: ни на шаг от меня, крутится возле мужчин. Понятное дело — мальчишка. Должно быть, отца не хватает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заводская столовая «Электрона» построена по новому проекту. Если к еде относиться исключительно как к физиологической функции, наша столовая прекрасное заведение. Вместительный кормежный цех. Механизированное наполнение желудков: чистота, про-

пускная способность — три тысячи человек в час. К сожалению, против такого рационального усвоения калорий могут возникнуть возражения духовного порядка. Мне, например, не нравится двигаться за пищей по отгороженным металлическими трубками проходам. Да и сам чересчур уж публичный характер приема пищи тоже как-то не по нутру. Зал огромный, конца и края не видать, кругом галдеж, гремят подносы, звенят ложки, вилки, ножи, мельтешат руки и лица. Подсаживаясь к столу, я ощущаю необходимость как-то ограничить свои впечатления, абстрагироваться кой от чего. Посему обычно обедаю в кафе или так называемой малой столовой, что в нижнем этаже главного административного корпуса, где ждать приходится дольше, да и выбор блюд куда более скромнен.

В кафе, надо сказать, питается большая часть работников КБ телефонии. Не исключено, по тем же причинам, что и я, а может, по другим. Не знаю. Социологические исследования в этой области не проводились. Хотя были бы кстати. Но это разговор особый. Социологические исследования меня тогда не занимали. Меня занимала возможность поговорить с Эгиллом Пушкунгом. И он — легок на помине — вошел в кафе как раз в тот момент, когда я садился за стол. (Очень сомневаюсь, чтобы Пушкунга привела в кафе та же необходимость как-то ограничить свои впечатления; в своем пренебрежении в такой житейской мелочи, какой является принятие пищи, он, думаю, из двух возможных мест выбрал то, которое поближе.) Он обладал удивительной способностью отключаться, где бы он ни был. И, едва подсев ко мне, окунув ложку в суп, уткнулся в какую-то книгу — рядом со мной оставались лишь его рот да рука с ложкой.

— Послушайте, Пушкунг, — сказал я, — могли бы мы с вами немного поговорить?

Вначале он буркнул что-то невнятное: «Нет, спасибо» или «Да, пожалуйста», потом вдруг оторвался от книги, взглянул на меня, сделал гримасу, будто вместо супа хлебнул по ошибке горчицы.

— Почему бы нет.

— Скажите, вы не хотели бы поработать над контактными системами, разумеется в новом, электронном варианте?

— Что вы имеете в виду?

— Вот что. Есть у меня на этот счет кое-какие идеи, но они пока вне плана.

— Вы хотите сказать — в рабочее время?

— Главное — заинтересует ли вас это?

— Мммм.

— Поймите меня правильно. Формально я не имею права давать вам такое задание.

Ложка Пушкинга застыла на полпути ко рту. Похоже, в голове у него протекал процесс усиленной концентрации. Пушкинг, который ел, как бы совмещался с Пушкингом, который разговаривал, тот входил в фокус, подстраивался к разговору. Все это предельно четко отражалось у него на лице, в его фигуре. Пушкинг роста небольшого, предрасположен к полноте. Характерный жест — поглаживать уголки воротника — на этот раз не помогает, порядка нет как нет. «Пушкинг, ты как-то скверно упакован», — острит Сашинь. Правда, стоит на него взглянуть, и кажется, что Пушкинг вот-вот распадется на части: галстук съехал набок, сорочка вылезла из брюк, пиджак соскальзывает с плеч. Ему примерно столько же лет, сколько Тенису Бариню, и, глядя на него, я не раз ловил себя на мысли: тебе бы больше пришлось по душе, если бы Вита вместо Тениса выбрала Пушкинга?

— И вы считаете, есть смысл? — Пушкинг опять заgrimасничал.

— Это вопрос философского порядка. Если допустить, что жить — значит отыскивать наилучший вариант, я думаю, смысл все-таки есть.

— Работать одновременно над двумя проектами?

— Возможность выбора никогда не мешает.

— Ммда-а.

— К сожалению, положение на сей раз таково, что возможность выбирать мы должны обеспечить сами. Придется пораскинуть мозгами.

Пушкинг ерзал и ерзал на стуле.

— Известный процент непроизводительного труда неизбежен в любом конструкторском бюро. Мы можем дать ему такое направление, что он станет перспективным.

— Мысль интересная.

— Так что же? Согласны?

Пушкинг не успел ответить, к нам подошел ерник Сашинь.

— О, да тут свои ребята, ну и чудесно! — радостно завопил он. — В приятной компании у пищи совсем другой вкус. Позвольте прилечь?

У меня было большое искушение послать Сашиня к чертовой бабушке, на худой конец — к дальнему столику, сказать, не мешай, у нас серьезный разговор. Но мой нахмуренный лоб несколько не смутил Сашиня, он уже устраивался рядом с Пушкунгом.

— Слушайте, братцы, что я вам расскажу, какая со мной на той неделе приключилась похоронная история. Смотрю, в газете «Ригас баллс» некролог — скончался Янис Калнын, инженер, тысяча девятьсот двадцать шестого года рождения. Похороны, после гражданской панихиды в доме покойного, состоятся на Зиепниекалнском кладбище. Я чуть не упал. Подумать только, Янка — фюйт! Вот бедняга! Вместе по танцулькам бегали, вместе учились. Что ты будешь делать, купил венки на Центральном рынке, запихнул в карман бутылочку с белой головкой, на трамвай и — Янку в последний путь проводить. Подхожу к дому покойного, снаружи тишь и гладь. Топаю дальше, звоню. Дверь мне открывает сам покойник. Как, говорю, ты — жи-и-ив? Что за глупые шутки, отвечает. Венки ставим в угол, садимся за стол и на радостях скоренько уговорили бутылку. Долго ли, коротко ли, опять звонят. Янка идет открывать. Еще один из нашенских с венком пожаловал...

— Когда ты успеваешь все это сочинять? — Пушкунг покончил с обедом и старательно утирал платком губы.

— Что, не веришь? Некролог напечатан в субботнем номере «Ригас баллс», можешь убедиться. Вот какая петрушка приключилась.

— Притом еще в расход ввела.

— Расходы кругом, куда не сунься. И в сортире нынче задарма ничего не сделаешь. Цветная туалетная бумага — тридцать четыре копейки рулон, аэрозоль для освежения воздуха — рубль двадцать...

Не прекращая болтовни, Сашинь время от времени вскидывал на меня плутоватые глаза. Я молча продолжал есть. Меня поразила терпимость, с которой Пушкунг слушал весь этот треп. Мне всегда казалось, что Пушкунг на дух не переносит Сашиня. Однако с появлением Сашиня Пушкунг даже как будто

оживился, согнал с себя чрезмерную серьезность, раз другой хохотнул задорно.

Сашинь, вне всяких сомнений, относился к категории людей, не поддающихся однозначной оценке со знаком плюс или минус. Казалось, его так и подмывает вернуть что-нибудь скабрезное, отколоть какую-нибудь хохму, выкинуть какой-нибудь финт, чтобы треск стоял, чтобы все ходуном ходило. Не дурак был выпить, впрочем без излишеств. Манера разговаривать была у него несколько развязная, но так он разговаривал со всеми — и с вышестоящими, и нижестоящими. К работе относился безупречно, вкладывал душу и знания. Растил трех дочерей, увлекался парусным спортом. В глубине души Сашинь, несомненно, был энтузиастом, человеком увлекающимся и норовистым. Странно, что это пришло мне в голову только сейчас.

Пушкунг встал, собрался уходить, но его немного смущал наш неоконченный разговор, и он никак не мог решиться, как ему поступить.

— Ладно, Пушкунг,— сказал я,— идите, как-нибудь еще потолкуем.

Мы остались вдвоем с Сашинем. Тот трещал без умолку.

— В мире есть два гениальных изобретения. Бог создал женщину, чтобы мужчина не скучал, а мужчина создал счетную машину, чтобы подсчитать, сколько он за это богу задолжал.

— Сашинь,— прервал я его,— у меня к вам серьезный разговор по весьма серьезному делу.

— Серьезный, несерьезный... Все зависит от того, с какой стороны подойти.

Но я видел, слова мои вызвали в нем беспокойство. Глаза у Сашиня так и забегали. Потом не выдержал, отвернулся.

Сказал ему примерно то же, что и Пушкунгу. Нет, он отнюдь не принял мои слова с юмором или иронией, чего можно было ожидать от такого баламута. Не высказал ни радости, ни облегчения, хотя, слышав о «серьезном разговоре», конечно же приготовился к чему-то неприятному. Для меня было полнейшей неожиданностью, когда Сашинь ответил даже с какой-то совестливой робостью.

— О чем речь,— сказал он,— раз ты считаешь, что нужно.

— Но знай, работать придется почем зря.

— Ну что ж, поднатужимся.

Но понемногу Сашинь становился самим собой.

— Раз надо, значит надо,— продолжал он с озорной усмешкой.— Мне как-то на спор пришлось выпить две дюжины бутылок пива. За пять часов. На пятьдесят пятой минуте пятого часа допивал последнюю. Запросто! Все глаза вылупили — что теперь будет. А я встал и вышел с высоко поднятой головой. Думаешь, от гордости? Черта с два. Наклонись я хоть чуточку, из меня бы фонтаном хлынуло.

Его бодрячество казалось наигранным. Уж очень он старался и потому хватал через край. Может, стыдился минуты недавней слабости.

Меня вызвал Лукьянский. Всячески обхаживал, соловьем заливался. Такой поворот на сто восемьдесят градусов можно было почувствовать еще в разговоре по телефону, но, встретившись с глазу на глаз, я диву давался. С распростертыми объятиями Лукьянский вышел мне навстречу, долго тряс руку, хлопал по плечу, расплывался в улыбке, расспрашивал о моем и женском здоровье, толковал о погоде и рыбалке.

Тарантеллу своего доброжелательства он отплясывал со слоновьей грацией. Это так ему не шло. Но он, видимо, твердо решил ослепить меня сердечностью и, верный своему решению, обрушивал на меня свое благорасположение с поразительным упорством.

Я с любопытством ждал, что будет дальше.

— Ох, чуть не забыл,— воскликнул Лукьянский, что-то выхватывая из ящика стола,— могу угостить тебя турецкими сигаретами.

— Благодарю, сейчас не хочется.

— Таких тебе курить не приходилось, знатная штука.

— Спасибо, спасибо.

Лукьянский выудил из пачки темноватую, кургузую сигарету, поднес ее к своему внушительному носу и почему-то поморщился. Пачка с шумом полетела обратно в ящик.

Наступила пауза. Лукьянский, должно быть решив, что предварительная часть беседы достигла нужного эффекта, перешел к делу. Откашлявшись, он сделал серьезную мину.

— Как тебе должно быть известно, семнадцатого созывается городская партийная конференция.

— Ты теперь и партийными делами занимаешься? — спросил я как бы между прочим.

— Нет,— мотнул он головой,— нет, нет. Это так, по производственной линии.

— Не понимаю.

— Альфред, послушай, послушай! Чего тут непонятного. Главный вопрос повестки дня — освоение новой техники. Сейчас это дело номер один. А слава «Электрона» в последнее время слегка потускнела. Само собой, как отстающих нас пока еще не склоняют, но и хвалить перестали. И мы сами в этом виноваты. Сами! Слишком мало активности проявляем. Впустую пробрасываем свои козыри.

Водрузив локти на стол, Лукьянский из стороны в сторону раскачивал свой мощный торс.

— Мы и в самом деле распустились,— подтвердил я.

— В известной мере. И есть такое мнение, что престиж предприятия был бы отчасти восстановлен, если бы на городской конференции кто-то из наших выступил с развернутым сообщением о вкладе «Электрона» в освоение иннервационных телефонных станций. Точнее говоря, о подступах к стадии освоения. Есть мнение, Альфред, что такое сообщение должен сделать ты, именно ты, руководитель КБ телефонии, ветеран «Электрона», заслуженный деятель науки и техники, представитель интеллигенции.

— Короче говоря, ты бы хотел, чтобы такой доклад подготовил я?

— Я говорю: есть такое мнение.

— Чье мнение? Святого духа? Вне чьей-то головы мнения не рождаются. И сами по себе вокруг не порхают.

— Это мнение руководства предприятия.

— И Калсона тоже?

— Отчасти. В известной мере. Я говорил с ним.

— И что он сказал?

— Он не возражает.

— Понятно.

— Я полагаю, во имя общих интересов стоит потрудиться. Начать с того, что в работе конференции примут участие вышестоящие товарищи. И твоей собственной репутации это пошло бы только на пользу.

— Что ж, очень жаль.

— Почему жаль?

— Да потому, что польза для меня пройдет стороной.

— Ничуть!

— Я никогда не скрывал своих мыслей об иннервации. Мои взгляды не изменились. Я по-прежнему считаю, что «Электрон» допускает ошибку.

Лукиянский машинально дернулся в мою сторону, кресло под ним затрещало. Однако маска дружелюбия продолжала взирать на меня с припечатанной на толстых губах улыбкой.

— Свои личные чувства ты можешь преспокойно оставить при себе. Для конференции будет достаточно и тех мыслей, которые приходят тебе в голову, когда ты осуществляешь руководство своим КБ. Или, может, я ошибаюсь? Может, ты вовсе не руководишь созданием иннервационных станций?

— Сдается мне, будет лучше, если я оставлю при себе и эти мысли.

— Вот это было бы крайне глупо.

— Кому из хирургов не случается повозиться с мертвецами, но это не значит, что он должен с высокой трибуны провозгласить препарирование трупов перспективным методом хирургии.

— Вот это мне нравится. Работать — ты согласен, а выступить — нет.

— Мое мнение тебе известно.

— Ты начальник КБ телефонии.

— Человек не всегда волен делать то, что хочет. Но я дорожу своими убеждениями. Покуда есть у меня убеждения и уверенность в чем-то, я себя не чувствую потерянным. Как только выберусь из мешка, я дорогу свою найду.

Лицо у Лукиянского покраснелось, на висках проступили сизые жилы. Он по-бычьей выгнул голову. Его улыбчивая мина слегка потускнела, исказилась, однако совсем не исчезла. Его замыслы были под угрозой, а с этим он не мог примириться. Должно быть, он уже понял, что дольше разыгрывать взятую на себя роль не имеет смысла, но ничего путного второпях не мог придумать, продолжая упорно цепляться за напускное добродушие, совсем как утопленник цепляется за щепку.

— Мое мнение... Мои убеждения. Как же, как же! — заговорил он. — Да не про нас все эти лакомства. Мы должны обеспечить поступательный и ритмичный трудовой процесс. Это, как тебе известно, главный

наш показатель. Посему требуется дисциплина, порядок и спаянный коллектив. А если каждый начнет мудрить, что выпускать, чего не выпускать... Тогда, скажу тебе, толку будет мало. Ты не согласен со мной?

— Нет. Не согласен. Инженер, который не думает, не имеет своего мнения, никакой не инженер. Ломать голову над тем, что должен выпускать завод,— не это ли прямая обязанность конструктора.

— Но лишь до тех пор, пока задание не станет планом.

— Да нет же! Всегда.

— Иными словами — подпиливать сук, на котором сидишь.

— Тебе больше нравится пилить сидя?

Лукианский звучно крикнул. Когда я взглянул на него, прежнего добродушия на лице как не бывало. Но я ошибся, предположив, что теперь-то он даст волю злости! На рыхлой физиономии Лукианского запечатлелась почти трагическая гримаса. Он глядел на меня с грустным недоумением, будто бы переживая столь неожиданный для него удар.

— Альфред,— сказал он,— объясни мне, чего ты бесишься? Ну хорошо, допустим, иннервацию притормозят. Допустим. Тебе-то какая выгода? Ну, скажи, какая?

Я смотрел на него и думал: если ты и в самом деле не понимаешь, то тебе никто уж не объяснит. Так и померешь, ничего не поняв.

— Нет, я серьезно спрашиваю,— не унимался Лукианский.— Я действительно хочу знать. Может, оклад тебе увеличат? Или руку пожмут, скажут спасибо? Не надейся, не героем предстанешь, а виноватым. Так чего ж ты в бутылку лезешь? Чего бесишься? Теперь, в связи с новой специализацией, телефонные станции для «Электрона» всего-навсего побочная отрасль. Не исключена возможность, что со временем их производство вообще передадут другому предприятию.

— Можешь не продолжать,— сказал я.— Траектория твоей мысли мне ясна. Куда выгоднее разглагольствовать о новых станциях, а производить старые. Как только реальный проект подготовят, его нужно будет внедрять. И тут-то возникнут непредвиденные трудности. Это невыгодно. Это рискованно. Нарушит «ритмичность и поступательность трудового процесса», пострадает план и так далее. Короче, выпуск новой

продукции нерентабелен. Так ведь, а? Все как по нотам? Скажешь, я плохой предсказатель?

Лукьянский мотнул головой и замер.

— Нас тут сейчас двое,— сказал он.— Двое, больше никого. Я пытался поговорить с тобой по душам, как с человеком. Ты не захотел. Так что не взыщи.

— В детстве у меня был дружок, звали Волдынем,—сказал я.— Он частенько писал в штанишки. И всякий раз, сделав свое дело, замирал, растопырив ноги, чтобы мокрая одежда не касалась тела. Извини, но твое отношение чем-то напоминает стойку моего дружка Волдыня — лишь бы уберечься от неприятного ощущения.

— Турлав, давай без грубости!

— Откровенность за откровенность. Престиж завода поднимают живым делом, а не дутыми сообщениями на конференциях.

От склонившейся над столом фигуры Лукьянского повеяло холодом. Его крупное лицо, красное и потное, внешне осталось бесстрастным, но то была лишь верхняя заледеневшая корка.

— Товарищ Турлав, позвольте вам напомнить,— голос Лукьянского прозвучал сдержанно, но подчеркнуто официально,— что дутыми являются именно ваши личные измышления, в то время как успехи предприятия в проектировании иннервационных станций есть очевидная и непреложная истина. Если достижения в этой области еще не так велики, как того хотелось, то в первую очередь виноваты в этом вы. Прошу запомнить. Если вы и впредь желаете оставаться руководителем КБ телефонии. О вашей позиции я извещу директора. Можете идти.

Вечером с завода уходил усталым. То была не просто дневная усталость. В последнее время она всегда была при мне, все больше прибавлялась и копилась. По утрам просыпался усталым, усталым приходил на работу. Но стоило мне увидеть у машины Майю, и усталость как рукой сняло.

— Лилия заметила, как я садилась в машину,— заговорила она, когда мы отъехали.

— Ну и что. Велика важность!

— Посмотри же на меня,— проговорила Майя, драгиваясь кончиком пальца до моей щеки.— Ты так давно не смотрел на меня.

Я скользнул по ней взглядом.

— Это все еще глаза начальника,— сказала она,— их-то я вижу каждый день. Я хочу те, другие.

— Обожди немного. Я и в самом деле не вылез еще из начальственной скорлупы. Столько на мне всяких скорлупок, сразу не скинешь.

Я свернул на окружную дорогу, что идет мимо Большого кладбища. Движение здесь было не такое оживленное, можно было взглянуть Майе в глаза.

— У тебя на лбу появилась новая морщинка,— сказала она.— Трудно тебе со мной?

— Просто я стар для тебя.

— Это моя морщинка. Морщинка имени Майи Сунны на лбу Альфреда Турлава. Моими будут и три щетинки над верхней губой, которые ты вечно забываешь сбрить.

— Чем больше будешь меня знать, тем больше недостатков во мне откроешь. С этим надо считаться. Не остановить ли? Может, выйдешь?

— Нет! — И она припала к моему плечу с вкрадчивой нежностью, так напоминавшей мне Виту.— Я всем довольна. У антикварной вещи совсем иная ценность. Современные молодые люди, как и современные столы и стулья, чересчур функциональны.

Сзади, захлеб сигнала, мчалась машина. Широкое полотно дороги было совершенно свободно. Сумасшедший или пьяный, подумал я, сворачивая «Москвич» ближе к обочине. Мимо пронесся кабриолет «опель-капитан». Сэр, приблизив к стеклу свою улыбчивую физиономию фавна, помахал рукой. Куда он гонит? И каким образом еще издали узнал, кого обгоняет?

— Теперь ты в самом деле мог бы остановиться,— сказала Майя. По тому, каким это тоном было сказано, я понял, что Сэра она даже не заметила.

— Здесь, на кладбище? Думаешь, место подходящее?

— Вполне.

Я остановил машину.

— По-моему, ты уже сбросил свои скорлупки,— сказала она.

Я поцеловал ее, не будучи уверен, что это обрадует ее. Да я и сам особой радости не почувствовал. Меня

не покидало ощущение, что весь я такой запущенный, неухоженный, немытый, губы сухие, шершавые, кисло во рту, одежда топорщится. Но горячность Майи и меня увлекла. Не страсть и не чувственный голод ею владели, а такая радостная, легкая игривость. Был у нее присущий молодости дар любовь обращать в игру и шалость. Возможно, это меня больше всего привлекало в ней.

— Еще,— сказала она и на всякий случай вынула ключ зажигания.

С улицы Горького я повернул не к центру, а проехал в сторону Саркандаугавы, затем взял левее и выбрался на тихую и темную дорогу, что идет мимо садовых участков при ипподроме.

— А ты знаешь, я была здесь весной, когда цвели яблони, вишни. Тогда этот район сплошное розовое облако, точно взбитый мусс.

— Сейчас в садовых домиках глушат водку и режутся в карты. Пышным цветом расцветают лишь рецидивисты.

— Мы могли бы заглянуть к ним, перекинуться в картишки. Ты бы, скажем, сыграл на меня.

— Понятно. Тебе со мной уже скучно, ты готова на все.

— Как раз наоборот. Понимай это так: с тобой я готова на все.

— Так куда бы нам сегодня съездить?

— На каток! Давно не была на катке. Поедем, а? — Она принялась напевать мелодию вальса, удачно передавая шипящий призыв репродукторов.— А потом будем есть жареные пирожки. И ты пойдешь провожать меня домой и понесешь мои коньки.

— У нас нет коньков.

— Коньки можно взять напрокат.

— Коньки, взятые напрокат, домой не носят.

— Ты прав,— сказала она,— это не годится. С катка хорошо возвращаться пешком, а у тебя машина.

— Я же предупреждал, у меня бездна недостатков.

— Можно было бы пойти в клуб Гильдий потанцевать. С восьми до двенадцати вечера. Ты пригласишь меня сразу на все танцы. Будем отплясывать шейки, роки, кики, джайвы. Вот было бы здорово.

— Ты уверена, что меня бы не вывели из зала с милицией?

— С милицией? Отчего же?

— Могу себе представить... Хорошо бы я был, отплясывая джайв.

— А что, и в самом деле хорошо. Будто ты никогда не ходил на танцы. Милый, ведь тебе не восемьдесят, всего лишь слегка за сорок.

— Нет, на танцы я и раньше был не ходок. Разве что четверть века назад. Да и то изредка. Ладно, что там у тебя еще в запасе?

— Хоккейный матч. С голошеньем, гиканьем, свистом. Три двадцатиминутки. Если ты мне чем-то досадишь, я закричу: Альфреда на мыло! А в ту минуту, когда Балдерис забьет шайбу в ворота, я упаду в твои объятия, и ты сможешь минут пять подбрасывать меня в воздух.

— Прекрасно,— сказал я.

— Так что, поехали?

— Билеты на хоккейные матчи распроданы на полгода вперед. Дальше входа нам не попасть.

— Какой ты пессимист. А вдруг нам повезет? Представь себе, кто-то подойдет и спросит: не нужны два билета?

— Куда бы мы еще могли съездить?

— В парк с аттракционами. Покататься на карусели, пострелять в тире. Или посмеяться над собой в павильоне с кривыми зеркалами: плоские-плоские, как раскатанное тесто, потом вдруг круглые-прекруглые, как надутые пузыри...

Я слушал ее голос, ее смех, болтовню, и мне казалось, что сквозь меня струится прозрачный поток. Такой я был заледеневший, весь облепленный и занесенный снегом. Задеревенел и занемел я. Но вот сквозь меня заструился поток, подмывая обступившие сугробы. Гнетущая тяжесть отламывалась комьями и падала в поток, и он их подхватывал, уносил куда-то. И оттого, что тяжесть спадала и становилось легче дышать, мне и самому хотелось смеяться, дурачиться, говорить глупости.

Почему-то припомнился летний денек из далекого детства. Только что прошел бурлящий ливень с грозой. Водосточные трубы еще пели флейтами, воздух, мокрая земля благоухали и дымились. Босыми ногами я шлепал во дворе по лужам, брызгался, смеялся. Было так легко, так хорошо, что казалось — взмахну сильнее руками и полечу, поднимусь над свечками цветущих каштанов.

Та давнишняя беззаботность еще где-то жила во мне, то чувство окрыленности, когда хочется взмахнуть руками и полететь, хочется кувыркаться, озорничать, шлепать босиком по лужам.

Теперь, когда голос Майи струился во мне и тяжесть была смыта, унесена, я ощутил это совершенно отчетливо. И вместе с радостью о вернувшейся беззаботности, о возвращении в мир, который, казалось, был для меня потерян, я с удивлением почувствовал в себе тот жар, тот трепет, от которых сладко сжималось сердце. И, переживая счастливые эти терзания, я понял, что Майя мне очень нужна, что без нее и жизнь не жизнь, что я люблю ее так, как никогда никого не любил.

Да, так и есть, подумалось мне, я ведь знаю, что такое любить. Это что-то такое и в то же время совсем не то.

Словно отгадав мои мысли, Майя сделалась серьезной; не исключено, они, эти мысли, слишком хорошо читались на моем лице. Она смотрела на меня, и это был не просто взгляд. Это был ответ красноречивей всяких слов; бывают мгновения, когда слова не нужны, когда они только помеха. Носителем Майиной любви была нежность. Любовь должна иметь свой носитель, просто так она не взлетит. Таких носителей бесконечно много: привычка, самолюбие, практический расчет, имущественность, тщеславие, гордость, беспомощность, даже садизм. Носителем Майиной любви была нежность, и это меня сразило. Про себя я сравнивал ее очарование с зеленью первых листьев, с шелком первой травы. Возможно, я впал в сентиментальность, вполне возможно, но меня действительно сразила ее нежность.

Безлюдный, скудно освещенный район садовых участков кончился. Я повернул к набережной Даугавы. И сразу угодил в самую гущу ржущего, блеющего, мычащего автомобильного стада; теснили со всех сторон, подпирали сзади, норовили забежать вперед, выскочить наперерез разных мастей и размеров крупы и бока машинного поголовья. Вспыхивали, гасли алые стоп-сигналы. Разноцветными глазами на перекрестках мигали светофоры.

За Даугавой движение было поспокойней. На шоссе мы опять остались вдвоем. Середина зимы, а вокруг черным-черно. В лунном свете по небу плыли две синесерых лады.

Майя сидела, обхватив руками колени, запрокинув голову на спинку сиденья, и не сводила глаз с неба. Над пустынным шоссе оно казалось неоглядным. Лицо Майи в мутном свете плафона выглядело чужим и далеким. И мне вдруг разонравились эти черные пустынные поля с нависшей над ними тоскливой тишиной. Тоска невольно передавалась и нам. А мне хотелось слышать Майин голос, хотелось видеть ее веселой и оживленной.

— Куда бы нам еще съездить?

— В лес, к оленям.

— В лесу сейчас темно, ничего не увидим.

— Подождем, пока луна поднимется.

— Все равно ничего не увидим.

— Тогда поедem на озеро Бабите. Проведаем,— может, лебеди прилетели.

— Да ведь озеро еще подо льдом.

— Однажды лебеди прилетели, когда лед еще не сошел.

— Может, это было в марте, но теперь-то только февраль.

— Ну и что, можем мы просто посмотреть?

— Ладно,— сказал я,— поедem посмотрим лебедей.

Я видел, как оживилось лицо Майи, как заблестели у нее глаза; словно маленькая девочка, принялась она раскачиваться на пружинах сиденья.

От моста через Лиелупе до озера Бабите ехать всего ничего. Я знал одну дорогу, по которой можно было подобраться почти к самому берегу. Проехали темный, густой сосняк, лес расступился, и мы очутились на полянке, поросшей кустиками, залитой лунным светом.

Вылезли из машины и шероховатым от схваченных морозом комьев земли проселком побрели к берегу. Сквозь заросли тростника тускло светилось озеро. У берега лед потрескался и вздыбился, потом его, видимо, залила вода, он опять замерз, подернувшись стекловидной корочкой, которая с хрустом ломалась у нас под подошвами. Подальше от берега лед с вмерзшими в него тростинками был ровный и крепкий. Майя раскинула руки и, разбежавшись, покатиалась. Мы до тех пор с нею носились и катались по льду, пока не выбились из сил. Потом стояли, захлеб глотая холодный воздух и поддерживая друг друга, чтобы не упасть. Была ночь, но она была где-то там, в отдале-

нии, мы видели, мы чувствовали, нам темнота не мешала, как раз наоборот, она освобождала нас от всего ненужного, лишнего. Темнота вокруг нас как бы создавала разреженную среду, которую мы собой заполняли.

— Лебеди, лебеди, где вы? — зывала Майя.

В ответ донесся гулкий, напористый треск. Майя тихо вскрикнула.

— Что это?

— Ничего страшного. Лед ломается. Это бывает.

— А мы не провалимся?

— Не бойся, лед толстый.

— Ой, как не хочется умирать.

— Кому же хочется.

— Но мне особенно.

— Почему — тебе особенно?

Она поцеловала меня. И опять позвала:

— Лебеди, лебедушки!

— Нет, скажи, почему ты считаешь, что...

— Давай не будем говорить о смерти. Хорошо?

В другой раз.

— Может, вернемся на берег?

— Нет, ну, пожалуйста, побудем еще немножко.

Я знал эти «немножко», они всегда затягивались. И все же короткие те свидания чем-то мне напоминали огни праздничного салюта. Да, они должны погаснуть. Чем ближе к земле, тем бледнее и жиже многоцветный фейерверк, еще светится, но вот лишь отдельные искорки...

В город вернулись без четверти одиннадцать. Машина стояла у Майиного подъезда, ей надо было выходить, но она сидела и чертила на стекле одной ей понятные знаки. Я тоже сидел и молчал.

— Ну вот, — наконец проговорила она, — мы выяснили одну важную вещь: лебеди еще не прилетели.

— Да, — сказал я.

— Когда теперь увижу тебя?

— Завтра утром.

— Завтра утром ты будешь начальником. И я буду на тебя глазеть, как на музейный экспонат.

В ее голосе не было ни малейшего упрека, но меня покорило от ее слов. Она права. Я знал это. И знала она, что я знаю. Подобные мысли отравляли наши расставания.

— Тебе еще не надоело на меня смотреть?

— Пожалуйста, не мучай меня,— сказала она.— Я все-таки женщина. Тебе хочется, чтобы я сказала: нет, не надоело на тебя смотреть. И что тогда? Ты великодушно позволишь мне посидеть в машине еще пять минут. А может, тебе надоело смотреть на меня?

— Нет, не надоело,— ответил я.

Похоже, она не расслышала моих слов. Запрокинув голову на спинку сиденья, Майя опять погрузилась в задумчивость, как тогда, на шоссе, когда над ним в лунном свете плыли два сине-серых, похожих на ладьи облака. Волосы у Майи растрепались, нос покраснел, в уголках глаз обозначились морщинки. Впервые она не показалась мне красивой. Но именно такой, с покрасневшим носиком, растрепанной прической, она была мне еще ближе, роднее, дороже и — о чем я раньше никогда не думал — еще более нуждающейся в ласке моей и защите.

— Ладно,— сказала она, открывая дверцу.— Уже поздно, пора.

— Подожди,— сказал я, тоже вылезая,— провожу тебя. Может, лампочка в парадном перегорела.

Я проводил ее до самой двери. Она достала ключи.

— У тебя никогда не возникало желания посмотреть, как я живу? — спросила.— Не хочешь заглянуть?

Я колебался всего мгновение.

— Хорошо,— сказал я, чувствуя, как к горлу подступает ком,— да будет так.

Она открыла дверь, и мы вошли в прихожую. Пока я топтался в потемках, мне на плечи легли ее руки.

— Если б ты только посмел не подняться со мною наверх,— зашептала она мне на ухо,— если б ты только посмел...— Она засмеялась, и в смехе ее отозвались и радость, и насилу сдерживаемые всхлипы. Целуя меня, она шмыгала носом, словно у нее был насморк, и щеки были мокры от слез.— Вообще-то геройство твое совершенно напрасно, никого дома нет, мои вчера уехали в деревню. Но вот что хотела тебе сказать, тебя это может заинтересовать, вчера я была у врача.

Моя рука коснулась стены. Как раз там, где был выключатель. Над нами загорелся шарообразный белый плафон. Но лицо Майи мне виделось сквозь туман.

— Я еще раньше подозревала,— сказала она.

— Что подозревала? — спросил я, чувствуя, как слова застревают в горле. Вспомнились туманные раз-

говоры на озере про смерть, нежелание умирать. Мне казалось, я куда-то проваливаюсь.

— Что подозревала?

— Какой ты недогадливый, однако.

Не знаю, как долго смотрел я в широко открытые, сияющие, переполненные нежностью глаза Майи. Был ли я счастлив? Я еще был не способен по достоинству оценить услышанное. Но меня охватило чувство огромного, ни с чем не сравнимого облегчения. Как будто в самый последний момент мне все же удалось всплыть на поверхность. Жадно глотаю воздух, голова гудит, голова идет кругом, поджилки трясутся. Но понимаю, что самое главное, самое важное свершилось. Оно предreshало все остальное. В том числе и то, что было впереди.

Четвертый час утра. Нет смысла громыхать воротами, въезжать во двор. Долго все равно не пробуду. Минут десять. От силы полчаса. Скажу только Ливии. Возьму самое необходимое и — обратно к Майе. Много времени это не займет. В общем-то, для Ливии у меня всего одна фраза. Четвертый час. Летом на озере Буцишу уже занимается день. Потянет ветерком, защебечут птицы. Таинственный час превращений, когда умирают мертвые и рождаются живые. Интересно, почему вошло в обычай казнить на рассвете? Надо выключить свет, зачем напрасно разряжать аккумулятор. А дверцу не мешает запереть. Ну, а теперь не мешкай. Много времени не займет. Только думай о том, что сказала Майя. А вдруг и в самом деле — сын! Альфред Турлав младший. Главнейшая задача тогда будет выполнена, на земле останется твой заместитель. С формой носа Турлава, со складом мыслей Турлава, обкатанным и отточенным в живой цепи поколений. Имя Турлава не исчезнет. Думай о сыне. Лет тридцать пять тому назад, в зубоврачебном кресле, ожидая прикосновения иглы к обнаженному нерву, ты старался отвлечь себя мыслями о цирке Тиволи, о крутящейся карусели, о выходках клоунов и сладкой начинке вафель. Четвертый час. Очень даже хорошо. Подходящий момент для короткого объяснения вполголоса. Ну, чего ты озираешься по сторонам? Чего вздыхаешь? Тебе нужно произнести одну-единственную фразу. Ливия и так все знает. Да уж конечно знает. Не может не знать. И вообще, чего мудрить, чего раздумывать. Вопрос решен. На полпути не останавливаются. Это надо сделать,

и ты это сделаешь. Ты же знаешь себя. Ничто тебя не остановит. Никогда ты не останавливался на полпути. Вспомни свою первую ссору с Ливией. Что там тогда приключилось? Теперь и не вспомнишь. Неважно. И неважно, кто прав был, кто виноват. Важно, что Ливия тогда в одной ночной рубашке вылезла из постели и легла на голый пол. Ты знал, ей холодно, она несчастна, но ты преспокойно дал ей возможность помучиться. Впрочем, это из другой оперы. Обычная ссора молодоженов. Не пытайся строить из себя изверга. Конечно, ты тоже жестокий. В каждом из нас сидит жестокость. Нежные девчушки нежными, как лунные лучики, пальчиками накалывают на булавки бабочек. Ласковые мальчишки топят щенков. Что есть добро, что есть зло? Нет добра абсолютного. Но и трусость не может стать мировым эталоном. Ливия, я тебе должен это сказать. Четвертый час. Как неприятен электрический свет. Точно удар по глазам скатанным полотенцем. Она в самом деле глядит на меня так, словно я ее ударил. Ничего не понимает. Когда ее не вовремя разбудишь, она такая несчастная. Какая нелепость, что любовь и ненависть, счастье и обиды люди выражают одними и теми же звуками. Давно я не видел ее в ночных кремах и бигуди. На кровать, как и прежде, кладется моя подушка. Нет, раздеваться не буду, я приехал взять вещи. До чего идиотски звучит. Как будто я носильщик из Трансагентства, приехал вывезти мебель. Не дай только бог заговорить о чувствах, все эти возвышенные реплики из пьес, кто кого любит да кто кого не любит... Старое незачем ворошить, к чему отягчать и без того тяжкий момент. У каждой линии своя длина. Что-то кончается, что-то начинается. Мне, Ливия, нечего добавить. Я уже не тот, каким был когда-то, я другой. Может, мне следовало сказать тебе об этом раньше.

Мне было лет шесть или семь. Тихим полднем я гулял по нашему огороду среди укропа, ревеня, моркови. Огород мне казался большим и таинственным. И вдруг передо мной прямо из-под земли вылез крот. Иссиня-черный с отливом, с блестящими бусинками глаз. Сначала я испугался, но потом меня разобрало любопытство. Крот норовил юркнуть обратно в норку, но я палочкой отпихивал его все дальше и дальше. Перевернул на спину, покатыл по земле, потом стал палочкой водить против шерсти и все удивлялся, какой он твер-

дый. Я понимал, что поступаю гадко, но ничего не мог с собой поделать. Рассудок мой отчаянно противился моим поступкам, и все же рассудку пришлось уступить. Я знал, что крот — живое существо, но продолжал кидать его и подбрасывать, словно тряпичную куклу, покуда черный комочек не задергался и не замер, воздев кверху маленькие лапки, так удивительно похожие на человеческие ладони. Зачем я это сделал?

Теперь ты, Ливия, знаешь. Я сказал.

Сказал. Сказал. Напрасно ты, Ливия, смотришь на меня такими глазами. Я не вижу тебя. Я вижу Майю. Сам не знаю, почему я тебя не вижу, а вижу Майю. Не вижу твоих глаз. Вижу смеющиеся глаза Майи. Это ужасно, несправедливо, жестоко, но я вижу только Майю. Четыре часа утра. Теперь я могу идти на все четыре стороны. В тишине слышно, как всхлипывает Ливия. Торжествующе звучит голос Майи. Ливия. Майя. Ливия. Майя. Да, но что сказала Ливия? Что я пообещал? Не начинать развода до свадьбы Виты и Тениса. Маленькая просьба. Ради Виты. Четыре утра. Возвращаться к Майе нет смысла, только зря разбуджу. Ей надо много спать. До свиданья, Майя. До утра. Нет, все же надо съездить, все рассказать, я думаю, Майя, ты меня поймешь. Два месяца — велика ли важность. Они ничего не изменят. Четверть пятого. Какое темное звездное утро.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Двумя днями позже Турлав получил от Вилде-Межниеце записку:

«Глуб. ув. Т. Все мои старания увидеться с Вами лично оказались тщетными. Не понимаю, в чем дело. Ваш автомобиль на ходу? Мне бы хотелось на субботу и воскресенье предпринять неблизкую поездку в Эстонию. На чествование г-на Хейно Велмера в Таллинне и к селекционеру роз г-ну Леппа в Муставе. Все расходы на бензин, разумеется, беру на себя. М. Вил.-Меж.

Р. S. У Титы инфлюэнца. Если Вы по определенным соображениям сообразоволяете взять с собой жену, я возражать не стану».

Как отказать? Нельзя. Придется отвезти. Это стало обычаем: раза два в году Турлав куда-нибудь возит Вилде-Межниеце и Титу. На сей раз желание старой дамы совершить вояж было более чем некстати. С тех

пор как Турлав вернулся к работе над своим проектом, свободного времени совсем не оставалось. Да и Майю не хотелось покидать одну. К тому же и постскрипtum относительно жены осложнял дело — Турлав по опыту знал, что это не просто желание. Вдвоем Вилде-Межнице не поедет. («Светской женщине не к лицу оказываться с мужчиной в ситуации, которая могла бы быть истолкована двусмысленно».)

Турлаву представлялся единственный выход — взять с собой Виту. Та упрямыться не стала. Это просто здорово, сказала она, только и Тенис должен ехать с нами, мы, папочка, друг без дружки на одну ногу хромы. Но что на это скажет Вилде-Межнице? В конце концов Турлав махнул рукой — всем все равно не потрафишь. Почему бы не доставить удовольствие Вите?

В субботу, уже на рассвете, машина, готовая к путешествию, стояла у дверей Вилде-Межнице. Несмотря ни на что, Турлав был в благодушном настроении. Теперь, когда нужда притворяться перед Ливией отпала и сохранялась договоренность о разводе, он опять себя почувствовал порядочным человеком. Не мучили угрызения совести.

Ночью выпал снег. Старая дама что-то медлила, и Турлав взялся за лопату. Вита носилась от дома к машине, запасая на дорогу всякую всячину. Тенис держался поодаль, был он в модной нейлоновой курточке, с непокрытой головой.

Появилась Вилде-Межнице с несколькими свертками. На этот раз она казалась особенно нарядной. Пальто из коричневого бархата с куньим воротником.

— Хорошо бы эти свертки уложить в багажник, — сказала она Турлаву, остальных вроде бы не замечая.

Турлав покосился на Тениса. Откровенно говоря, момент был решающий. Тенис перестал тереть свои озябшие уши, собирался поздороваться, но, отчаявшись поймать взгляд старой дамы, смешался.

Кутаясь в шерстяную шаль, в дверях показалась Ливия.

— Вы не едете?

Ливию старая дама соизволила все же заметить.

— Нет, — отозвалась Ливия, — поедет Вита. Если вы не возражаете.

Вилде-Межнице блеснула глазами, но ничего не ответила.

— И еще с нами поедет этот бравый молодой человек,— добавил Турлав.— Два шофера лучше, чем один, я так полагаю.

Глаза Вилде-Межнице на мгновение впились в него. Тенис, покраснев, отвесил поклон.

— Тенис... Тенис Баринь.

— Шоферскими делами, Турлав, распоряжаетесь вы.— Старая дама пожалала плечами.— Садимся же, чего еще ждать.

Так началось путешествие. После того как Вита прощбетала матери слова прощания, в выстуженной в гараже машине стало тихо. Первым молчание нарушил Турлав. Нарушил, сообразив, что Вите и Тенису разговаривать совсем не обязательно. Им вполне хватало того чувства близости, что они испытывали, глядя друг другу в глаза, держась за руки. То была тишина, рождавшая вокруг себя атмосферу, насыщенную грозовыми разрядами. И хотя не произошло ничего такого, что бы нужно было скрывать, Турлав ощутил необходимость эту интимную и в то же время совершенно откровенную близость прикрыть хотя бы несколькими словами.

— Вчера не слышали сводку погоды? Говорят, снег долго не продержится.

Старая дама, как обычно, сидела рядом с ним.

— Пираты опять угнали самолет в пустыню. Как вам это нравится! — Вилде-Межнице, казалось, не расслышала слов Турлава.

— Уму непостижимо: регулировать движение транспорта с помощью револьверов.

— А почему их называют пиратами? С пиратами в свое время боролся Юлий Цезарь, а потом королева Елизавета.

— Пираты есть пираты.

— Вы хотите сказать, с тех пор ничего не изменилось?

— Изменилось, а как же, прежде пираты захватывали корабли, теперь самолеты. Прогресс потрясающий.

Он смотрел вперед, но внимание его было всецело приковано к заднему сиденью. Слух его невольно обострился. Казалось, по затылку забегали холодные мурашки. Как будто за спиной у него и в самом деле сидел пират.

Вита рассмеялась. Смех ее не имел ни малейшего отношения к замечанию Вилде-Межнице, просто его высекала перенасыщенная атмосфера близости, подобно тому как гром высекает молнию. Теперь и Тенис рассмеялся, что-то шепнул Вите на ухо. Вита так и покатилась со смеху. Похоже, они перешептывались о каких-то пустячках: про корову, стоявшую на снегу, про человека, чинившего крышу, про собачонку, что, таякая, выскочила из подворотни.

Ну и что? Влюбленные дурачки. Идут той же проторенной дорожкой, что и все остальные. (И слава богу, зашли уже довольно далеко.) Щека Тениса прижалась ко лбу Виты? А как же иначе? Любить — значит жаждать. Пальцы Виты у Тениса на ладони? Все в порядке. Тенис был бы чучелом гороховым, если бы при всей своей любви сидел бы рядом с девушкой на манер католического патера. Чего тут, право, беспокоиться? Почему их шенячья идиллия так волнует мне кровь? Неужто во мне говорит собственник, который по-прежнему считает Виту своей и не желает смириться с тем, что кто-то ее отнимет? К тому же отнимет в прямом смысле слова физически, при помощи самых обычных мужских приемов, при восторженном ее попустительстве.

От них исходило прямо-таки сияние счастья, влюбленности. То, к чему он и сам стремился, что, стиснув зубы, силился вернуть, сохранить, у этой желторотой парочки получалось естественно и просто. Неужели, когда он вслушивался в этот дивный воздушный моцартовский смех, в нем рождался Сальери?

Мы все словно чертежная бумага — лишь один раз, один-единственный раз возможно провести на ней линию легко и чисто. А чуть только стер, останется след, а на выскобленном месте новую линию провести нелегко, проступают прежние прочерки.

Незаметно он постарался так повернуть зеркальце, чтобы видеть лица молодых. И, наблюдая за их влюбленными взглядами, Турлав ощутил, что его мысли тоже светлеют и проясняются. О какой тут зависти может быть речь? Нет, не настолько он наивен. Смех Виты его беспокоил совсем по другой причине. Смех Виты напоминал Турлаву смех Майи в тех редких случаях, когда они оставались наедине, свободные и счастливые, хотя не без чувства вины, как олени,

перемахнувшие через высокий забор и при луне пасущиеся на клумбах с тюльпанами.

Не знаю, как долго сам буду счастлив. Не знаю, как долго ты будешь счастлива, Вита. Но счастье — это наркоз, оно снимает боль. Тебе и в самом деле повезло. Тебя, словно крепкий, тугой черенок, безболезненно оторвут от родного дома, и ты сама не заметишь, как расцветешь, распустишься уже под боком любящего мужа. Конечно, тебе повезло. И потому, надеюсь, ты поймешь меня. Нелюбимым не понять влюбленных.

Турлав заметил, что и Вилде-Межнице все время поглядывает в зеркало. И потому ли, что день выдался светлым, или потому, что старая дама на сей раз применила другой грим, но ее крупное, старательно накрашенное лицо казалось непривычно бледным.

— Как себя чувствует Тита?

— Тита? Ха. Что ей инфлюэнца. В три дня холеру переболела, бубонную чуму.

— Не скажите. Грипп — вещь коварная.

— Только не для Титы. Да будет вам известно, прошлым летом она регулярно ездила в Меллужи и плавала кролем до третьей мели. Как вам это нравится!

— Надо бы навестить ее. Да вот не знаю адреса.

— Возле парка Виестура. Улица Видус. Напротив дома, в котором жил генерал Алодис.

— Не представляю. Трудно сообразить.

— Американское представительство знаете?

— Понятия не имею. Из тех времен, кроме своего Гризинькална, запомнил еще рождественский базарчик, вот и все.

— Ну, где живет поэт Ревинь.

— Ревинь давно умер.

Она посмотрела на Турлава с досадливым укором:

— Адрес я вам дам.

— Это ее старая квартира? Еще со времен Салиня?

— Разумеется. И Салинь в основном там и живет.

Она хранит даже бутылки от пива, выпитого им. Я однажды заехала к ней. Смотрю, возле буфета какие-то поленья. Это доски от сцены рижского Нового театра, объясняет Тита, на них Салинь в девятьсот пятом году пел «С боевым кличем на устах».

— Слышал такую легенду. Салинь пел, а жандармы ждали его за кулисами, хотели арестовать. Но он

прямо со сцены прыгнул в зрительный зал и вышел через обычный вход.

— Да, Салинь любил петь на митингах. Я его знала лучше, чем Тита. Уж поверьте.

Солнце поднималось все выше, выпавший за ночь снег сверкал, переливался. Временами, переломившись в покато ветровом стекле, лучи солнца слепили, словно вспышки автогенной сварки. По-весеннему искрилась под крышами капель, струились ручьи. С заснеженных веток и телефонных столбов комьями срывался снег. Разъезженная середина шоссе сквозь талую слякоть чернела жиром асфальта, а канавы по обочинам дорожки для верности обозначили прутиками. Можно было подумать, земля перед бритьем обильно намылилась, укрывшись в пене сугробов.

Вилде-Межнице с какой-то особенной настойчивостью рассказывала о своих ролях и партиях, вспоминала Россию времен первой мировой войны, эвакуацию, концерты в нетопленных залах, всякие забавные происшествия их почти голодной жизни. Только однажды ей пришлось остановиться, когда лирический диалог между ней и молодым итальянским тенором в Пензе, передаваемый частью по-русски, частью по-французски, прервал веселый, залиvistый смех Виты и Тениса. Вилде-Межнице обернулась назад, потом достала платочек с кружевной каемкой, вытерла губы и продолжала рассказ. Карло при встречах всегда целовал ей руку. С каждым днем глаза его загорались все ярче, все ниже он наклонялся к ее руке. Кончилось тем, что однажды, припав к ее руке, Карло медленно съехал на пол, обеими руками обхватив ее колени. Как выяснилось, бедный итальянец потерял сознание, оттого что целую неделю ничего не ел.

Проехали часа три, тогда Турлав остановил машину.

— Такое симпатичное местечко. Молодой человек, как вам кажется, не стоит ли нам немного и пешком прогуляться по Эстонии?

— Очень даже здоровое предложение,— сказал Тенис, выпустив руку Виты лишь после того, как вышел из машины.

Они вдвоем прошли вперед по шоссе. Тенис в нескольких местах пытался перебраться через канаву, но всякий раз увязал по пояс. Поодаль стояла старая придорожная корчма с широким навесом; двор отгораживала высокая каменная стена.

Обратно Тенис бежал вприпрыжку, размахивая сломанной им под навесом большой сосулькой.

Вилде-Межниеце и Вита по-прежнему сидели в машине.

— Такой славный кабачок,— затараторил Тенис.— Не желаете взглянуть? — (Главным образом это адресовалось Вите.) — Для вас зарезервирован отличный столик, рядом с оркестром. Кофе уже подан.

— Не знаю, как вы,— сказала Вита, нерешительно глянув на старую даму,— а я, наверное, пойду.

— Какой тут может быть разговор,— отозвалась Вилде-Межниеце.— Раз уж кавалеры так старались. Идемте!

И они побрели в сторону корчмы. Вита вернулась с мокрыми ногами, вся в снегу. Похоже, и она угодила в канаву, еще похлестче, чем Тенис.

— Э, Вита, что случилось, никак чашку с кофе опрокинула?

Вилде-Межниеце прошла мимо Тениса так, будто он был пустое место.

— Чашка с кофе может опрокинуться,— сказала вроде про себя, вроде Турлаву, но ни в коем случае не Тенису,— однако воспитанные люди подобные вещи никогда не обсуждают.

И усмехнулась, глянув на Турлава молодо и кокетливо.

— А место в самом деле славное. Так вот, зима восемнадцатого года в Пензе выдалась снежная, морозная...

Чествование Хейно Велмера проходило в Немме, пригороде Таллинна, в его собственном доме. Название улицы и номер дома Вилде-Межниеце забыла, Турлаву ничего другого не оставалось, как расспрашивать прохожих. Никто не знал Велмера. Молодые люди морщили лбы, женщины пожимали плечами.

— Как будто вы не знаете этих эстонцев! — Вилде-Межниеце в сердцах изобразила уничижительный жест.— Это они-то не знают Велмера, как бы не так! Его шестидесятилетие отмечалось как национальный праздник, в театре «Эстония» целую неделю шли спектакли-гала.

После многочисленных расспросов одна пожилая женщина им все же указала нужный дом.

Увидев у ворот машину, сам юбиляр вышел на встречу. Облаченный в смокинг, ставший ему заметно

свободным, он шел маленькими шажками, опираясь на лакированную трость с серебряным набалдашником. Для своих восьмидесяти вид имел вполне приличный, а проворство, с каким припал он к руке Вилде-Межнице, изобличало в нем светского льва.

— Марта! Ты вспомнила обо мне! Вспомнила обо мне! — Голос Велмера с характерными эстонскими модуляциями дрогнул. Затем растроганный юбиляр что-то длинно продекламировал по-французски, и Вилде-Межнице смеялась звонко и светло.

Турлав помог Вилде-Межнице внести сверток. Старая дама объявила, что на ночь в доме Велмера она не останется, а до гостиницы доберется на такси. («Пусть Вита меня не ждет, вернусь, скорее всего, поздно».) В «Бристоле» для них были забронированы два двухместных номера.

Втроем они вернулись в центр, устроились в гостинице, там же в ресторане пообедали. Потом покатались по городу — центру и новым районам. Ни в один из театров достать билеты не удалось. Еще немного побродив по улицам, они расстались. Вита с Тенисом отправились в мюзик-холл потанцевать, Турлав вернулся в гостиницу; он захватил с собой кое-какие бумаги, пару часов решил спокойно поработать.

Турлав ворочался в гостиничной постели, временами зажигая ночник на тумбочке, смотрел на часы... Засыпал и опять просыпался, сам не понимая почему. Кровать Тениса пустовала. Мысль о Тенисе, который все еще не появлялся, тревожила его, подобно однообразному, нудному сигналу. Можно было подумать, ему никогда не приходилось спать в гостинице.

Потом Тенис все-таки вернулся, поплескался в ванной. Не зажигая света, на цыпочках вошел в комнату, повесил одежду на спинку стула и повалился в постель.

— Ну, всласть натанцевались? — Турлав поднял голову, включил и тотчас выключил свет. Половина второго.

— Капитально. Только Виту жаль. Весь вечер переживала, вдруг Вилде-Межнице закроет дверь изнутри.

— Не нравится вам старая дама?

— Редкостный экземпляр.

— В каком смысле?

— Даже слов не подберешь. Будто с другой планеты, такое от нее впечатление.

— Люди большого таланта всегда с причудами.

— Возможно,— не очень уверенно протянул Тенис.— Ее талант для меня дело темное.

— Не забывайте, ей скоро стукнет восемьдесят. Было бы совсем неплохо, если бы и мы в ее возрасте сохранили такую прыть.

— Не о прыти я говорю,— отмахнулся Тенис.— А в общем-то, чего там... Десять тысяч лет жизни ей!

Судя по размеренному дыханию, Турлаву показалось, что Тенис начинает засыпать, но как раз в тот момент он вздохнул, перевернулся на другой бок и тихонько, про себя стал насвистывать.

— Чего, не спится?

— Не хватает нужной компрессии. Глаза не закрываются.

— Вы в самом деле пять лет уже работаете в монтажном цехе?

— По заводским реестрам так оно выходит.

— И не наскучило? Конвейер вещь нудная.

— Тут я с вами не согласен. Ритм очень притягателен. Вы обратили внимание, с каким удовольствием на всяких сборищах люди хлопают в ладоши?

— И очень быстро сбиваются с такта.

— По другим причинам. Такт ни при чем. Любовь к ритму заложена в человеческой натуре. Ритм повсюду — в танцах, в песнях и так далее. Если вам угодно, вся жизнь человеческая — своеобразная конвейерная пульсация: сон и бодрствование, ночь и день, зима и лето.

— Да, но у каждого человека свой ритм. А тут, у конвейера, изволь подстраиваться к общему.

— Ну, а возьмем такой пример — хор? Уж там-то подстройка в общему ритму — дальше ехать некуда — по уши и глубже. И при этом получаешь феноменальное удовлетворение, ничуть не ущемляя свою личность.

— Вы поете в хоре?

— Пел когда-то. Жутко затягивает. Только начни, до гробовой доски не остановишься. Но, очевидно, и хоровое пение во многом лишилось бы своей прелести, если бы дирижер думал лишь о темпе.

— Вы говорите о штурмовщине в конце месяца?

— Я говорю о том, как мы подчас работаем. Проводятся исследования, предлагаются рекомендации психологов, но всякий раз, когда приходится выбирать между научными методами труда и старой доброй штурмовщиной, предпочтение всегда отдается последней.

Турлав вспомнил свое посещение монтажного цеха и ту отчужденность, которой на него тогда повеяло. Много лет его уже ничто не связывало с конвейером. К тому, о чем толковал Тенис, он имел поверхностный интерес. Главным образом его интересовал сам Тенис.

— Значит, вы один из тех, кто желает работать с музыкальным сопровождением.

— Я два года прослужил в десантных войсках. Думаете, в армии с незапамятных времен оркестры держат лишь для потехи? Музыка поднимает настроение, прибавляет силы.

— Кто же в этом сомневается.

— Вроде бы никто. А как до дела дойдет — не допросишься. Ну, не смех? На одном из крупнейших электронных предприятий никак не наладят единый пульт управления радиотрансляцией. Пожарники не разрешают тянуть воздушку, начальство запрещает прокладывать кабель и так далее и тому подобное.

— Насколько я понимаю, вы мастер?

— Это должность, на которую обычно не хватает претендентов. Зарплата на десять рублей больше, а неприятностей на все сто.

— Вот видите, а вам и этого мало. Вам еще нужны воздушка с кабелем.

— Позарез нужны. И обученные люди нужны. И новые стулья к конвейеру. Попробуйте смену просидеть на неудобном стуле.

— Меня вот что интересует: зачем вы пошли на эту должность, раз понимаете, что это вам невыгодно?

— Все очень просто. Мастером быть невыгодно, а начальником цеха уже прямая выгода. Чтобы стать начальником цеха, нужен опыт. Опыта можно набраться, поработав мастером. Все.

— В таком случае вы из тех, кто делает карьеру.

— А почему бы и нет? Как будто посиживать в сторонке и уклоняться от ответственности бог весть какая добродетель. Меня интересует руководство предприятием. Я не хочу быть киноактером. Хочу руководить заводом. Используя новейшие научные дости-

жения в области организации и управления, ну, и так далее и тому подобное.

— Ого, не сказать, чтоб вашим планам недоставало широты.

— Я не терплю нерадивость и разгильдяйство. Я хочу соревноваться, достигать возможно лучших результатов. Хочу быть первым, а не последним.

— Да, я вижу, вы метите высоко.

— Могу сознаться: уже не так высоко, как раньше. До третьего класса зачитывался книгами деда. О Наполеоне, Александре Македонском, Кромвеле. В ту пору мне хотелось стать главою государства или по крайней мере всемирно известным полководцем.

— И потому бросили школу, пошли в армию?

Тенис, конечно, расслышал иронию в словах Турлава.

— Ваша информация не совсем точна. Нас в семье, детей, было четверо. Отец умер от ожогов. Мать чуть ли не год пролежала в больнице. Одним словом, было несладко. Пришлось самому зарабатывать на жизнь. Прошу прощения, вы, верно, слышите впервые что-либо подобное?

— Я всегда считал, что старый Баринь зарабатывал достаточно, что вы...

— Типичный образ мышления для людей, которые разъезжают в собственных машинах, воспитывают одного ребенка и ежегодно получают тринадцатую зарплату. Знаете, сколько нужно заплатить медсестре, чтобы та ночь продежурила у постели больного? Могу вам сказать — пятерку.

— Давайте потише. Пятерка за ночь — в самом деле многовато, но, если мы не перестанем горланить, мы получим взбучку от дежурной по этажу.

— Мне незачем перед вами оправдываться. Да, переоценил свои силы. Считал, что днем работать, а вечером учиться — сущие пустяки. Но тут требуется крепкое нутро. С первого захода выдержал три недели, по второму — полгода.

— Знаю, все знаю, сам, работая на «Электроне», заканчивал институт. И тогда не разъезжал в машине.

— Сколько вам было лет?

— Двадцать четыре.

— А мне в ту пору было всего семнадцать. Самый что ни на есть телячий возраст. О двух армейских годах совсем не жалею. Вернувшись на гражданку, без

особого дрожания в коленках закончил среднюю школу.

— И считаете, многого достигли!

— До вершин, конечно, далековато. Но пока все идет по плану, по графику.

— Вот это уже лучше,— сказал Турлав, примирительно усмехнувшись.— А вам бы не хотелось поработать в конструкторском бюро?

— Нет,— ответил Тенис и двинулся так, что под ним хрустнули пружины.

— А если бы я предложил?

— Спасибо за любезность. Но я уже сказал: у меня свои планы.

— Ну и прекрасно, не имею ни малейшего желания их расстраивать. Желаю вам всяческих успехов. Вам и, разумеется, Вите. Где собираетесь жить?

— В комнате деда. Не фонтан, как говорится, но для начала сойдет.

Турлав сел на кровати.

— Я не видел комнаты старого Бариня. Но я бы, на вашем месте, подумал о Витиной комнате. Начать с того, к работе поближе, к тому же...— Турлав запнулся, помолчал.— К тому же в будущем могут произойти кое-какие перемены. Есть, к примеру, одна старушка с удобной квартирой в центре. Возможно, она и согласится на обмен...

Это предложение как-то само собой выскочило, раньше Турлаву никогда не приходила в голову такая мысль. Но сейчас это было и не столь важно, не мог же он сказать, что он в этой квартире уже не жилец. Обмен произойдет так или иначе. Почему бы нет? Очень даже естественно, если вместо него там останется Тенис. Возьмет на себя заботу о центральном отоплении. И вообще...

— У Виты комната большая и светлая.

— Все не так просто. С этим, мне кажется, связана масса неудобств.

— Неудобств — для кого?

— Для всех. Для вас, для меня.

— Отчего же?

— Я вас мало знаю. Вернее, знаю лишь со слов Виты.

— Так какие же могут быть неудобства?

— Как вам сказать. Когда человек привык, чтобы остальные считались только с ним...— Тенис замолчал.— Я хочу сказать: с его...

— Говорите, не стесняйтесь. Чтобы считались только с его капризами, это вы хотели сказать?

— Я хотел сказать: с его желаниями.

Турлав почему-то подумал, что сейчас и Тенис сядет на постели, но тот даже не шевельнулся. В темноте белели его заложенные за голову руки.

Турлав, стараясь отыскать удобную позу, вертелся так и сяк, потом взбил подушку и лег, повернувшись к Тенису спиной. Продолжать разговор не имело смысла. Переутомился он, нервы стали сдавать. Кипятится из-за пустяков. А может, он вообще не приспособлен к таким разговорам? Тенис прав. Но мнения Виты просто ошеломительны. Неужели же Вита так плохо его знает? Тенису удивляться не приходится. Жизни не знает, дальше своего носа не видит, а собирается мир перевернуть. Заносчивый и упрямый — только тронь его. И все же...

— Спокойной ночи,— проворчал Турлав.

— Сладких нам снов,— отозвался Тенис.— Кто спит, тот не грешит.

Пребывание Вилде-Межниеце в Муставе было совсем коротким: селекционер Лепп, почетный член французского общества садоводов по секции роз, он же член Королевского общества садоводов Великобритании, самым досадливым образом слег с воспалением легких и был увезен на лечение в Тарту.

И всю обратную дорогу сияло солнце. Настроение у всех было приподнятое. Тенис рассказывал уморительные истории, Вилде-Межниеце расспрашивала Виту о стипендиях, академическом хоре «Ювентус» и студенческих строительных отрядах.

По пути заехали на самую высокую гору Эстонии — Мунамеги, поднялись на башню, чем-то похожую на маяк, откуда можно было полюбоваться открывавшейся панорамой. Целый час Вилде-Межниеце дулась после того, как Турлав вздумал ее уговаривать не подниматься выше средней платформы. За обедом в Апе обиды были прощены и забыты.

Подмораживало, но в машине казалось, что за окнами по-весеннему тепло. Ближе к вечеру горизонт стал хмуриться, заходящее солнце окрасилось в цвет запрещающих дорожных знаков.

Последний отрезок пути от горы Баложу ехали молча. Вита заснула на плече у Тениса. Вилде-Межниеце задумчиво смотрела на мигавший огнями город.

— Вита, проснись,— сказал Тенис, шлепнув ладонью по какому-то мягкому месту.

Машина остановилась у парадной двери дома Вилде-Межниеце.

— Урр,— спросонья замурлыкала Вита,— теперь там у меня останется синяк.

— Спасибо за компанию,— сказал Тенис.

— Даже вылезать не хочется,— сказала Вита.

Все же вышла первой. Потом вылез Тенис. За ним Турлав. Последней — старая дама. Но не ушла, осталась стоять у машины.

— У вас что-нибудь в багажнике? — спросил Турлав.

— Нет, все мое со мной. Благодарю вас. Прекрасная поездка.

Она протянула Турлаву руку, еще раз его поблагодарила, что уже само по себе было делом неслыханным. И, как всегда, смотрела Турлаву в лоб.

— Рад, что вы остались довольны,— проговорил Турлав с легкой усмешкой; он и в самом деле был рад, что все сложилось так удачно. Вилде-Межниеце тоже усмехнулась, однако ее темные глаза были серьезны.

— Ну, тогда до следующего раза.

— До следующего раза.

Она стояла и смотрела ему в лоб.

— Я бы только хотела вам сказать, чтобы впоследствии не возникало недоразумений. Этого молодого человека, который, возможно, станет вашим зятем, я к себе в дом не пропишу. Никогда. А поездка в самом деле прекрасная.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Жизнь так и катилась по накатанной колее. Все старания Турлава что-либо изменить не приводили ни к каким результатам. Дело о разводе так и не было начато. Жил по-прежнему там же. И на работе никаких значительных перемен. КБ телефонии понемногу впряглось в иннервацию, или, точнее было бы сказать, ходило вокруг нее да около, пытаясь нащупать оптимальные подступы к проекту. Одновременно Турлав еще с четырьмя добровольцами на собственный страх

и риск занимался электронно-механической станцией. Но такие вещи недолго удержишь в секрете.

Как-то в среду, в начале марта, Сэр после диспетчерского часа сказал Турлаву:

— Послушай, друг любезный, мне бы хотелось взглянуть, чем ты там занимаешься.

Наблюдение за работой КБ телефонии входило в обязанности главного конструктора по телефонии, да и тон, каким пожелание было высказано, не внушал подозрений. Однако Турлав насторожился. Откуда вдруг такой интерес и что скрывается за фразой «чем ты там занимаешься»?

— Прямо сейчас?

— Да, у меня выдалась свободная минутка.

И это прозвучало вполне дружелюбно, впрочем достаточно твердо.

— Изволь, не возражаю, — ответил Турлав, пытаюсь хотя бы внешне сохранить спокойствие.

Дорогой не проронили ни слова. День был угрюмым и хмурым, хлопьями валил снег. Побелевший двор был весь затоптан. На лестнице сыро и неудобно.

Турлав шел впереди, подняв воротник пиджака, засунув руки в карманы. Сэр, чуть прихрамывая, шагал следом, набросив на плечи щегольскую дубленку; по привычке тихонько насвистывал.

— Бумаги тоже хочешь посмотреть? — спросил Турлав, когда вошли в главное помещение.

— Нет, зачем же.

— Жаль. Даже во сне такое не приснится. Незвестные величины приходится отыскивать при помощи неизвестных величин в квадрате.

— Тем лучше. Никаких тебе оков, ограничений.

— Я должен принимать решения, гадая на кофейной гуще, какие детали будут в распоряжении наших производственников.

— Об этом не горюй. Будет проект. Будет проект, появятся детали.

— Когда появятся? Завтра? Через год? Через пять лет?

Сэр только покривил губы, блеснув белым рядом зубов. Что его все-таки интересовало, ясности пока не было. Но этот вопрос определенно его не интересовал.

Они не спеша обходили столы. На подготовительном этапе, когда выверялась целесообразность технических требований, отдельные сотрудники занимались

отдельными узлами, которые между собой как будто и не были связаны,— копались в схемах, паяли вводы, собирали системы и снова разбирали. Иногда Сэр останавливался, что-то спрашивал, следил за показаниями измерительных приборов, но нигде не задерживался дольше, чем того требовало простое любопытство, ни на что не обращал чересчур пристального внимания.

— Сколько человек работает в этой комнате согласно штатному расписанию?

— Инженеров? Техников?

— Всех.

— Семнадцать человек.

— Сколько болеют?

— Придется подсчитать. Маркузе, Зуева, Пукштелло, Зивтыня. Четыре дамы.

— Я вижу только девять сотрудников. Где остальные?

Турлав с ухмылкой глянул на Сэра:

— Пойди посмотри.

— Куда?

— А ты попробуй отгадай.

— Одним словом, ты считаешь, что все в порядке?

— Ничего я не считаю. Я не слежу за тем, кто куда выходит. У нас принято, каждый выходит, когда появляется в том необходимость.

Турлаву показалось, что причина визита наконец открылась, однако внимание Сэра перекинулось на другое. Он завел речь об освещении и предложил необъятные плафоны ламп дневного света под потолком заменить подвижными светильниками с рефлекторами.

Как раз в тот момент Сэр остановился перед столом Пушкунга. Пушкунг, не поднимая глаз, продолжал возиться с электронной пробкой координатного блока — остроумным устройством, которое он сам и придумал.

Чтобы как-то разрядиться, снять напряжение, Турлав раз-другой стукнул кулаком по столу и повернулся к Сэру. Тот, немного отодвинувшись, достал платок и громко чихнул.

— Вот тебе раз. Где-то насморк схватил.

— Будь здоров!

Он же видел координатный блок, подумал Турлав. Не такой он простачок, сообразил, конечно, что это не

имеет ни малейшего отношения к иннервации. Что ему все-таки нужно? Что у него на уме?

И у стола Сашиня Сэр не задал никаких вопросов — поглядел, взял на ладонь какую-то детальку, повертел, положил на место. И — дальше.

Наконец всех обошли.

— Спасибо, — сказал Сэр.

— Что еще тебя интересует? Хочешь посмотреть остальные группы?

— Не сегодня.

Турлав пожал плечами. Загадочность поведения Сэра начинала его злить.

Сэр выудил из своей дубленки пачку сигарет, принялся шарить по карманам, отыскивая зажигалку.

— У нас не курят, — сказал Турлав.

— Прошу прощения. Сейчас я исчезаю.

Некоторое время постояли друг против друга, потом Сэр медленно двинулся к двери. Турлав — за ним. Сам не понимая зачем. Решил — только до порога, из вежливости. Но что-то его подталкивало, подгоняло. Возможно, все та же загадочная улыбка Сэра.

В коридоре было сумрачно, под потолком тускло желтела лампочка. Сэр протянул зажатую в ладони пачку, Турлав вытянул сигарету, помял ее. От зажигалки пахло теплом и бензином.

— Карклинь сказал мне сегодня, ты подал заявление о жилье.

— Было дело.

— Говорят, в месткомѐ ожидаютѐсь перемены. Лаурис уходит на пенсию.

— А это кто тебе сказал? Тоже Карклинь?

— Нет, из других источников.

— Ну что ж, отлично.

— Да, все течет, все движется по кругам своим. Я что-то не видел Майи Суны. — Запрокинув голову, Сэр выпустил струю дыма. — Она еще работает?

— А почему бы ей не работать? — Турлав почувствовал, как изменился его голос — прогорк, потускнел. — Конечно, работает.

— Уж ты прости мой совершенно неприличный интерес, — усмехнулся Сэр.

— Что-то я не очень тебя понимаю.

— Ну хорошо. Могу яснее. Майя как будто бы ждет ребенка.

Сейчас все и раскроется, подумал Турлав. Но пока он ничего не понимал. Только опять от волнения сдавило горло. И возможно, как раз потому ему захотелось схватить за горло Сэра.

— Кто тебе сказал?

— Час назад мне позвонили из поликлиники.

— Она неважно себя чувствовала и отпросилась к врачу.

— Из поликлиники ее отправили в больницу.

— Не может быть!

— Опасаются осложненной беременности.

— В таком случае она бы позвонила. И вообще! Не понимаю, почему из поликлиники позвонили тебе.

— Все очень просто. Любая неясная обстановка чревата недоразумением. Главный врач поликлиники прошлой весной бывал у меня на даче. Если к делу подойти со всей строгостью, на сей раз он, конечно, превысил свои полномочия.

Желание вцепиться Сэру в глотку становилось почти неодолимым. Но вместе с диким этим порывом все свои силы вложить в одно-единственное движение Турлав ощутил подступающую слабость,— медленно поднялась она от пальцев ног, прошла через желудок, протиснулась в легкие. Он стоял будто каменный, даже язык во рту затвердел.

— Враки!

— Что именно — враки?

— Да все, о чем ты говорил. От начала до конца.

Выражение лица у Сэра несколько изменилось. Возможно, оттого, что исчезла его мерцающая улыбка. Или просто посмотрел с таким виноватым укором.

— Видишь ли, я ее знаю дольше, чем ты.

— Прошное Майи меня не интересует. Спасибо за информацию. (Каких только глупостей не способен наговорить человек!)

— Хорошо,— кивнул Сэр,— все отлично, все прекрасно.

— Прекрасно было бы все же узнать, чего ты хочешь. У тебя есть ко мне какие-то претензии?

На это Сэр только пожал плечами.

— А если нет, к чему эта болтология?

— Не знаю, поймешь ли ты меня,— сказал Сэр, опять улыбаясь своей странной мерцающей улыбкой,— но уж так получилось: меня беспокоит будущее Майи. В чем-то я виноват перед нею. Мне раньше казалось,

она не вызывает во мне ответных флюидов. Затем стало казаться, что этих самых флюидов не вызываю в ней я. Еще почему-то считал, что как у нее, так и у меня одинаково отрицательное отношение к браку.— Сэр переступил с ноги на ногу, умышленно скрипнув протезом.— Мы познакомились четыре года назад, да так все и тянулось. А теперь я передумал.— Сэр перешел на свой обычный насмешливый тон.— Я желал бы исправить ошибку. О чем и ставлю тебя в известность. Как видишь, смешная идефикс старого холостяка.

— По-моему, ты не совсем себе представляешь, что говоришь.

— Позволь, пока я, как говорится, в здравом уме и твердой памяти.

— Майя давно все решила.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— Я понимаю, ты думаешь: сам на ней женюсь. Но видишь ли, остается такой пустячок — ты все еще не женился на ней. И при всем желании не можешь на ней жениться, ибо ты уже женат. Развод — дело хлопотное, пренеприятное. Статистика утверждает, из тех, кто решается на развод, разводятся на самом деле не более шестидесяти семи процентов. Остальные воздерживаются по той или иной причине. Считаю, я просто поделился с тобой своими соображениями. На всякий случай.

Турлав посмотрел на Сэра с ледяным спокойствием.

— Знаешь что, давай прекратим.

— Ладно,— сказал Сэр, закуривая новую сигарету.— Считаю, вообще разговора не было. Ах, да! — Сэр совсем собрался уходить, но вернулся.— Было бы неплохо, если бы ты построже следил за дисциплиной своих сотрудников. Администрация неоднократно получала сигналы, что кое-кто из твоих дам в рабочее время появляется за пределами заводской территории.

Случилось это на шестой день после разговора с Сэром. Майю из больницы переправили в Дзинтари, в санаторий, официально именовавшийся «Отделением патологической беременности». Я впервые ехал ее навестить.

Более трудных, чем эти шесть дней, не помню, — терзали сомнения, донимали страхи, подозрения. Временами впадал в такую беспросветную безнадежность, что не только будущее, но и прошедшее виделось как бы сквозь затемненные очки, и все обретало какую-то раздражающую призрачность. Получив от Майи записку (в больнице по случаю эпидемии гриппа был карантин), я немного приободрился.

В Дзинтари, сойдя с электрички, глубоко вдохнул в себя остуженный морской воздух.

Меня вдруг обуяло такое желание, такая тоска меня охватила поскорее увидеться с Майей, что все остальное перед этим померкло, отошло на задний план. Будто я не видел ее лет десять. Еще немного, и я бы побежал вприпрыжку.

В светлые тона покрашенное здание — старомодные колонны в сочетании с современными, сплошь застекленными окнами — снаружи казалось тихим и нежилым. Дорожка. Супеньки. Дверь. Прихожая. Комната со шкафами. Почти осязаемая на ощупь стерильная чистота, — она была в воздухе, налитанном запахами лекарств, в отлакированном паркете, в белоснежных занавесках, в хромированных дверных ручках. Я остановился. Те силы, что несли меня, иссякли. Я заробел (такое со мною бывает), весь сжался от своей собственной беспомощности, казалось бы, начисто утратив способность и думать и двигаться. Из прихожей широкая дверь вела в залитое солнцем помещение, где в мягких креслах сидели женщины. Должно быть, я сделал шаг в ту сторону, когда чей-то властный голос словно за шиворот меня схватил:

— Вам кого?

— Майю Суну.

— Обождите!

Немного погодя вышла Майя. В стеганом нейлоновом халате, волосы перехвачены синей лентой.

— Вот хорошо, — сказал я. — Боялся, что врачи тебя уложат в постель.

Она взяла меня за уши и осторожно, серьезно и бережно притянула к себе и поцеловала, будто я был из какого-то хрупкого, нежного материала. У меня перед глазами все закружилось, как бывает, когда сходишь с карусели. Даже коленки задрожали.

Она еще не сказала ни слова, только молча разглядывала меня. Возможно, ее разбирало нетерпение,

некогда ей было дожидаться слов. Хотелось выяснить все сразу. С чем я пришел к ней. Что со мной творилось. Что собираюсь сказать.

Сестра стояла тут же у двери, но мы ее не замечали.

— Я ждала тебя,— сказала Майя.— Слышишь.

Почувствовал, что не выдержу ее взгляда. В ее глазах я прочитал светлую, нежную любовь. Но повинюсь: в тот миг я думал не о ней, а о Сэре, наслаждаясь чувством сладостной мести, торжествуя победу самодовольства.

— Ну, слава богу,— сказал я.— Как долго тебя здесь продержат?

— Недели две, надеюсь, не больше.

— А вообще это серьезно?

— Да как тебе сказать...

Майя отступила на шаг, и теперь я в свою очередь придирчиво разглядывал ее. Конечно же, теперь это было заметно. Раньше, встречаясь чуть ли не каждый день, я как-то не обращал внимания. Она изменилась. И походка, и движения — все другое. Даже лицо преобразилось. Теперь уж не та молодая красивая женщина, чье очарование скрывало какую-то тайну. Она ничего теперь не скрывала. Все было слишком велико, чтобы скрыть. И то, что она носила под сердцем, и то, что происходило в самом сердце. Она стала мне ближе, дороже. И еще беззащитней, что ли. Потому-то эти перемены и радовали меня, и тревожили. Ее нельзя волновать. Нельзя рассказывать ничего серьезного и не стоит ни о чем расспрашивать. И без того забот ей хватает, да еще это двусмысленное положение,— наверное, предстоит объяснение с родителями.

— Пойдем сядем,— сказала Майя.— Можно было бы одеться, выйти погулять, да боюсь ноги промочить.

Вспомнив, что в Риге, на привокзальной площади, купил крокусы, полез в карман пальто. Хрупкий букетик слегка помялся, а в остальном цел и невредим.

Майя прижалась ко мне, обняв меня левой свободной рукой, и так стояла, казалось, целую вечность.

— Может, в самом деле сядем,— предложил я.

— Я ждала тебя,— заговорила она.— Собиралась столько тебе рассказать. А теперь вдруг все из головы выскочило.

— Да я ж еще не уйду.

— И опять мне надо к тебе привыкать. Ах да, одну вещь все-таки вспомнила. Тут требуется анализ крови отца ребенка. На резус-фактор.

Меня несколько покорила казенная безличность, с какой она произнесла «отца ребенка».

— Когда нужен этот анализ?

Она пожала плечами.

— Вообще отцы тут в почете. Больше всего разговоров в палатах об отцах. Милый, чего тут только не слушаешься!

— Представляю себе.

— В больнице тоже об отцах говорили, но чаще с досадой и злобой. А здесь другой контингент. Здесь отцы — идола.

Я взял Майины пальцы — они были прохладны. Она не смотрела мне больше в глаза, отвернувшись, глядела в окно.

— Все-таки женщины странные создания, — сказала она задумчиво. — Смысл жизни видят в том, что отдают ее кому-то другому. Даже детей, оказывается, рожают не себе, а их отцам. Правда, есть у нас одна девчушка с завода кожаных изделий, так она говорит: это будет мой, только мой, я хочу ребенка, и он у меня будет. Все оставшиеся пять месяцев ей придется пролежать в постели.

— Какие у тебя тонкие, нежные руки, — вставил я нарочно, чтобы перевести разговор в менее тревожное русло, — как у принцессы Турандот.

— У нас в палате лежит маникюрша, — продолжала Майя, — от нечего делать с утра до вечера возится с нашими ногтями. Мужа ее зовут Жоржиком, он работает официантом в ресторане «Кавказ». Говорит, ей противно с ним спать, в минуты близости он раздрает ей спину, но она все терпит, потому что Жоржика любит, в остальном он чудесный муж и, надо думать, будет хорошим отцом.

— Все это она вам рассказала?

— Это все еще только цветики.

— И ты рассказываешь?

— Нет, милый, нет. — Ее взгляд возвратился ко мне. — Я только слушаю. Хоть это и считается здесь жуткой необщительностью. Лиля мне сказала сегодня: «Бедняжка, ты такая тихая, должно быть, из невезучих».

И эта тема мне не особенно нравилась. Мой смех прозвучал довольно неискренне. Крокусы Майя держала у самого носа.

— У крокусов нет запаха,— сказал я.

— А вот и есть. Весной пахнут.

— Ты объясни мне, что тут с вами все-таки делают?

— Ничего особенного. Находимся под наблюдением врача. Без конца сдаем всякие анализы. Вливают какие-то препараты. Измеряют давление. После обеда мы, как правило, свободны.

— Может, тебе принести чего-нибудь почитать?

— Мама принесла мне «Сагу о Форсайтах». Да что-то не читается. Все тянет погулять.

В раскрытую дверь был виден холл. Женщины вязали, беседовали, листали журналы. Приходили и уходили. Время от времени кто-то заглядывал к нам.

Появился еще один посетитель, коренастый крепыш в потертой кожаной куртке, с виду — шофер. К нему выскочила округлая женщина в цветастом фланелевом халате, в хлопчатобумажных съезжающих чулках и с ходу затрещала, затараторила.

Больше мы не смогли уже толком ни о чем побеседовать, присутствие этой пары стесняло. Жена шофера без умолку сыпала словами, успевая в то же время лузгать принесенные мужем семечки. Сам шофер помалкивал, сидел, вжавшись в кресло, только вращал глазами, должно быть столь же болезненно воспринимая наше присутствие, как и мы их. Немного погодя они собрались выйти в сад.

— Что нового на работе? — спросила Майя.

— Новостей особых нет,— сказал я.— Где-то в высших сферах обсуждается производственный профиль нашего завода, возможно, главный упор будет сделан на телевизоры.

— И тебя это раздражает?

— Слишком дорогое удовольствие.

— Может, для этого есть убедительные доводы.

— Самый убедительный довод — логика. Современная телефонная станция стоит четверть миллиона долларов. Полмиллиона. И мы покупаем. Сколько же потребуется выпустить телевизоров, чтобы окупилась одна такая станция!

— С арифметикой многие не в ладах, это я еще по детскому саду помню.

— Если нужно, даже петуха считать можно выучить.

— Ты так и сказал?

— К сожалению.

— Ну, ты у меня герой,— проговорила она, своими тонкими пальцами касаясь моего лба.— Так и знай, я на твоей стороне.

И неожиданно, поблекшей улыбкой отстранившись от прежней темы, она отвела глаза.

— Да, время бежит. Скоро лето.

И тут в переднюю пробкой влетела шоферша. Повязанный тюрбаном платок мотался. Лицо горело, глаза вытаращены. К груди она прижимала охапку бархатисто-красных роз Баккара, бутонов в двадцать пять, если не больше. Взглянув на Майю, хотела что-то сказать, да только рот разинула, взмахнула свободной рукой.

— Валентина, что с вами? Вам плохо?

Мы с Майей почти одновременно вскочили с мест.

— Нет же, нет,— забормотала как бы про себя Валентина.— Боже мой, боже мой, это надо же, надо же.

— Да что случилось?

Ступая неловко, одеревенело, та подошла и торжественно протянула Майе розы.

— Это вам,— сказала она.

— Мне? Зачем?

— Не знаю. Велели передать. Подкатил к воротам. На машине.

Теперь, когда открылся какой-то клапан, слова из нее посыпались со все возрастающей громкостью — наверстывала упущенное.

— Живые цветы! Настоящие розы! Вон какая уйма! Просто не верится! Посреди-то зимы! Просто не верится! Андрей, Андрей, куда ты там делся? Ты посмотри! Ты только посмотри! Вот как надо проявлять внимание. А то принес стакан семечек.

Глаза Майи искали мои глаза.

— Они вам нравятся? — спросила Майя.

Охапку роз по-прежнему держала Валентина, и лицо ее расцвело небесной улыбкой.

— Ну и возьмите их себе.

— То есть как — возьмите?

— Отнесите к себе в палату. Поставьте в вазу. И вообще — делайте что хотите.

Мужчина в кожаной куртке стоял у двери и похрустывал костяшками пальцев.

Глаза Майи искали мои глаза.

— Пожалуйста, не уходи, побудь еще,— говорила она.— Давай выйдем погуляем. Пройдемся к морю. Когда еще ты выберешься. Я так давно тебя не видела.

И к каждому слову глаза ее прибавляли: милый, милый, милый.

Турлав был убежден, что по вопросу о жилье ему следует обратиться к Тите. Сколь бы велика ни была ее тяга к независимости, возраст Титы таков, когда одиночество превращается в бремя. Турлав не сомневался, что рано или поздно квартиру ему дадут. Заявление приняли, сказали: сделаем все, что будет в силах, но раньше осени ни один из домов не сдается. И Турлав опять стал подумывать о Тите. Неужели нельзя с ней столкнуться, не насовсем, разумеется, на время.

Возвратившись из Дзинтари в Ригу, Турлаву захотелось пройти мимо дома Титы, посмотреть, где и как он расположен. Адрес он знал. Крюк невелик. Просто так, ради любопытства. Однако, проплутав по лабиринту улиц-коротышек этого странного района и отыскав наконец дом Титы, он решил, что тянуть не имеет смысла, раз уж пришел, надо зайти поговорить.

Примерно так и представлял он себе. Облепленный всякими украшениями, дом снаружи был чем-то похож на старомодную дамскую шляпку. Чего только не было на его фасаде. Стилизованные павлиньи хвосты, диковинные фрукты, гирлянды, страусовые перья. Парадная дверь, своими очертаниями напоминавшая замочную скважину, открывалась в овальную прихожую, откуда лестница с замысловатой балюстрадой двумя полукружьями взбегала на бельэтаж и подводила к усеченному ромбу двери, за которой лестница по-плотше вела уже в верхние этажи.

От былого блеска мало что осталось. Многострадальные цветные витражи были залатаны простым стеклом, стены пожухли, почернели, крошилась штукатурка. И все же изначальный дух двадцатого века, которым нет-нет да и повеет с пожелтевших старинных картин, от исторических документов, этот дух зри-

мо присутствовал здесь, как давно ушедшие морозы присутствуют в льдине, влекомой весенним потоком.

Вот и квартира № 3. Изящная дощечка, стилизованные буквы. Когда глаза свыклись с сумраком лестничной клетки, Турлав разглядел темную костяную кнопку. Опять музейный экспонат — можно было подумать, звонок изнутри приводила в действие пружина.

Долгое время за дверью не слышно было ни звука. Как и следовало ожидать, подумал Турлав, не в обычаях Титы отсиживаться дома. Она сейчас у Вилде-Межнице или кружит по городу. Но вот еще несколько звонков, и что-то там скрипнуло, зашаркало, скроготнул ключ, звякнула цепочка.

— С кем имею честь?

Голос Титы, всегда такой бодрый, прозвучал слабо и тускло.

— Турлав, Альфред Карлович.

— А-а-а-а! Вот это здорово! Подумать только — а я тут выпрашиваю. Милости просим, милости просим.

Дверь распахнулась. Тита заюлила вокруг него, подталкивая, увлекая в глубь квартиры. И голос сразу ожил.

— Раздевайтесь, раздевайтесь.

— Вы уж извините, неожиданно-негаданно, мне в самом деле неловко.

— Это ж просто замечательно, просто замечательно, мы знакомы двадцать лет, а вы впервые соизволили...

— Да я вот так, без ничего, шел мимо, дай, думаю, зайду, проведу.

— Очень хорошо, что зашли.

— Думаю, может, все еще хвораете.

— Я-то? Хвораю? Что вы! Луцавам пеку крендель. Завтра Сильвии исполняется пятьдесят, а у нее такой ревматизм, пальцы прямо деревяшки. Ну как не помочь человеку. Вчера съездила на Центральный рынок, свежих яиц купила, пока-то изюму раздобыла, миндаля...

Комната была просторная, с огромным окном. Турлава приятно поразила какая-то свежесть всей квартиры в целом. Присмотревшись, он заметил, что большая часть мебели, пожалуй, чересчур уж старомодна, но ощущение свежести, новизны создавалось удачной расстановкой и отдельными штрихами — торшер, телевизор, радиолы. Дверь в другую комнату скрывалась в глубокой нише.

Ни на миг не умолкая, Тита продолжала скакать, точно птица в клетке. Расстилала скатерть, одно убирала, другоеставляла. Наконец порядок — все на месте, все чин чинком. В чашечках дымился кофе, тогда и запыхавшаяся Тита опустилась рядом с Турлавом в пестрое кресло из карельской березы.

— ...Да и Крума надо бы провести. Так-то он в здравом уме, только память ничегошеньки не держит. В последнее время, еще когда играл, мучился ужасно. Говорит, говорит и вдруг — роль позабыл. Это ладно, куда ни шло, да ведь начисто забывал, что за пьеса. Не шутка, сами понимаете, он за свою жизнь чуть ли не пятьсот ролей сыграл. Какой же вы молодец, Альфредик, что зашли! Вы всегда такой занятой, такой важный — ни разу ко мне не выбрались.

Она взяла чашку. Блюдечко в ее руке дрожало. На веснушчатом лобике выступили капельки пота.

— Вы меня особенно не захваливайте,— сказал Турлав,— по правде сказать, меня к вам привела нужда.

— Тем лучше! Вы так много мне помогали, страх даже вспомнить.

— У меня к вам огромная просьба. Даже не знаю, как и начать.

Они примолкли, настраиваясь на серьезный лад. Тита сосредоточенно ждала, что скажет Турлав. А он вертел в руках фарфоровое блюдечко.

— Говорите без стеснений, если только будет в моих силах...

— Коротко и ясно: мне нужна комната. Ненадолго.

Тита вздрогнула в своем кресле, вся подобралась и сжалась. Лицо ее, казалось бы, сразу слиняло, стало серым и морщинистым.

— Ох, не могу я этого,— молвила она, разведя руками, а потом сложила ладошки.— Чего не могу, того не могу. Вы не первый, кто обращается ко мне с такой просьбой. Это квартира Салиня. Здесь все сохранилось так, как было при нем. Может, когда-нибудь будет создан оперный музей и вещи заберут...

Теперь Турлаву пришлось развести руками.

— Ничего не поделаешь. Я понимаю. На вашем месте я, пожалуй, поступил бы точно так же.

— Мы сюда переехали в двадцать втором году. Но Салинь в этой квартире жил до революции. Принято считать, что последняя фотография Рудольфа Блаума-

на сделана в девятьсот седьмом году на квартире художника Розентала, на самом же деле последняя фотография снята здесь, в начале восьмого года. Я могу вам показать: Блауман, Салинь и Даче Акментыня. Или, как называл ее Салинь, — Дартыня. Вообще-то ее звали Доротеей. Доротея Штенберг. Когда мы сюда переезжали, она нам подарила подушку, ею же самой и расшитую. А месяц спустя навсегда покинула сцену.

— Я понимаю, — проговорил Турлав, — вы ничего не должны объяснять.

— Жаль. Жаль. Вы для меня столько сделали. Но как же я могу? Поверьте, это не в моих силах.

— Я понимаю.

— Время так быстро все стирает, жизнь похожа на классную доску. Не успели записать, не успели запомнить, а уж все стирается. Взять того же Яна Райниса. Уже превратился в памятник. Но там вот он сидел за столом, где сейчас сидите вы, и со слезами на глазах сокрушался, что с каждым днем его все больше лень одолевает, воля расслабляется. А до чего был мнительный, если бы вы знали! Стоило кому-то на улице с ним не раскланяться, и настроение испорчено. А показать, как Райнис сживал в кресле? Только что ж я это разболталась. У вас ведь на уме другое...

— Спасибо за кофе. Не буду вас отвлекать от дел. Вам еще крендель печь.

— А на что вам все-таки понадобилась комната?

— Банальный случай. Развод. Семья распадается.

— Какая семья?

— Хорошо известная вам семья Турлавова.

— Вы уходите от Ливии?

Близорукие глаза Титы напряженно округлились. На миг она застыла в такой странной позе, что казалось, неминуемо потеряет равновесие.

Турлав молча кивнул.

— Господи! Выходит, вам страшно не повезло! Страсть помутила рассудок. Просто так кто же станет перечеркивать двадцать совместно прожитых лет. И с Салинем случилось такое. Мы с ним прожили еще дольше. Но вот однажды свалилась беда — прямо как пожар, как наводнение. Все рушится, все уносится. И с той поры уж он не единого дня не был счастлив, ни единого. Это ужасно. Что я тогда пережила, что испытала. Нет, Альфред, милый, в таком случае я не имею права вам отказать. Раз такое дело — нет. Боже ты

мой, вот ведь какое несчастье! Так я вам сочувствую. Приходите и живите, уж как-нибудь устроимся.

Опровергать, возражать или объясняться показалось неуместным. Он как-то по-глупому расчувствовался. Взял руку Титы, поцеловал.

— Спасибо вам.

Но Тита только теперь по-настоящему возгорелась воспоминаниями.

— Я вам скажу, как это бывает. Пройдет лет пятьдесят, шестьдесят, и вам, быть может, поставят памятник. Вы будете сидеть окаменелый и важный, как идол. Все будут говорить: изобретатель, великий конструктор — и понемногу станут забывать, что вы были еще и человеком. Но, может, где-то будет храниться такой вот старый стол, за которым в свое время сживали Рудольф Блауман и Ян Райнис и за которым сидели вы. Откровенно говоря, истинную память о человеке хранят лишь самые обыденные вещи, не правда ли?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дружба Турлава с Карлисом Дуценом со стороны могла показаться странной. Месяцы, а то и годы подчас оставалась она забытой, нетронутой, словно укатанный волнами морской берег, но потом вдруг сквозь тощие пески пробивались живые ростки. Дружбу эту крепило как раз то, от чего многие другие распадаются, — умеренность и дистанция.

Они не были друзьями детства, хотя и выросли в одном районе и при случае с улыбкой говорили: мы, парни из Гризинькална. Никогда не приходилось им делиться открытиями того великого любопытства души и тела, что так сплачивает подростков. Их сближение началось на втором курсе института. Высшую математику тогда читал профессор Швандер. Однажды, не успев разъяснить какую-то серьезную задачу, Швандер предложил всем заинтересованным в решении этой задачи через четверть часа собраться в соседней аудитории. Явились только двое — Карлис Дуцен и Турлав. Так выяснилось, что помимо любви к математике у них есть еще одно общее правило: любое дело доводить до конца. Постепенно у них вошло в привычку встречаться для всякого рода головоломок. Мозги у Карлиса Дуцена работали, как электронно-вычислительная машина. Турлаву приходилось выкладывать, чтобы не

остаться в долгу и в свою очередь заставить и Карлиса попотеть. Это было своеобразным соперничеством, — оба упорные, настойчивые. Впрочем, встречаться доводилось не часто — заняты были по горло. Турлав подрабатывал репетиторством. Дуцен увлекался легкой атлетикой, судил матчи на спартакиадах и турнирах, подвизался в различных спортивных организациях.

Окончив институт, видаться стали и того реже. Но продолжали интересоваться делами друг друга. О пустяках при встрече не болтали, все больше о делах, о работе и никогда не удивлялись, если и после длительного перерыва из телефонной трубки доносился вдруг знакомый голос и вопрос, заданный таким тоном, будто они только вчера прервали беседу: «Послушай, как ты думаешь...»

Получив диплом, Дуцен с головой ушел в научную работу и, как следовало ожидать, достиг значительных успехов. Примерно в то время, как Турлав стал начальником КБ телефонии, Карлис Дуцен принимал в свои руки один из научно-исследовательских институтов. Кое для кого это явилось сюрпризом, ибо хотя на словах редко кто оспаривает мнение Наполеона о том, что генералы должны быть молодыми, но чуть дойдет до дела, против этой мысли выдвигается немало возражений. (Как-то: если молодые будут генералами, то, простите, кем же в таком случае будут старые?)

Назначение на этот пост, одновременно научный и административный, в жизни Дуцена оказалось решающим. Верх одержал отточенный еще на спортивном поприще организаторский талант. Очередное повышение Дуцена особого удивления ни у кого уже не вызвало.

Положение у Дуцена было незавидное, заместителем ему попался отставной генерал, еще достаточно бравый. Ну, теперь Карлису конец, подумал Турлав, слишком уж неровно нагрузили воз. Все преимущества на стороне заместителя: опыт, заслуги, деловые качества, даже просто солидная внешность. Но Турлав ошибся: несоизмеримость опыта и заслуг оказалась проходящим фактором. Все решила голова Карлиса, которая по-прежнему работала с четкостью электронно-вычислительной машины.

Иногда он видел Дуцена в черной «Волге», за рулем которой сидел шофер. Иной раз Турлав видел Дуцена в президиуме собраний или выступающим

с трибуны. В таких случаях Карлис казался ему чужим и далеким. Ну конечно, рассуждал Турлав, начальник есть начальник. (То, что он сам был начальником, только рангом пониже, это почему-то ему не приходило в голову.) Он подмечал в выражении лица Карлиса, в его осанке, манере держать себя что-то такое, на что раньше не обращал внимания. Дуцена годы внешне изменили гораздо больше, чем Турлава,— он раздался вширь, поседел, утратил значительную часть своей пышной шевелюры. Словом, стал другим. Однако при встрече дома и даже в разговоре по телефону Турлав узнавал прежнего Карлиса, веселого, находчивого. Его манера разговаривать, его привычки, мысли, его отношение к людям (как Турлав не раз имел возможность убедиться) с годами меньше менялись, чем внешность. Как и раньше, Карлис увлекался лыжами, плаванием, рыбалкой. Всегда в отличном настроении, Карлис в веселой компании не сторонился ни игр, ни розыгрышей. За все брался с душой, с огоньком, во всем старался дойти до сердцевины. Откровенно говоря, в нем даже осталось что-то мальчишеское.

Как-то разговорились о профессиональных болезнях, о том, что у доярок болят руки, у балерин — ноги. Турлав высказал мысль, что головные боли — профессиональная болезнь руководящих работников. Вот уж не знаю, возразил на это Дуцен, у меня голова не болит. И вообще — ничего не болит. Сон прекрасный, аппетит тоже. Веду размеренный образ жизни, не курю, как видишь, пью эпизодически (иногда по стаканчику — горло промочить), ну и, конечно, спорт, упорядоченная половая жизнь.

Именно это последнее замечание вспомнилось Турлаву, когда он продумывал свой предстоящий разговор с Карлисом. Придется все же рассказать и про ожидаемые перемены. Но возможно, Карлис уже в курсе дела. От Ливии, через Арию. Вот что значит — ирония судьбы. Карлис, этот ловелас, у которого прямо-таки глаза разбегались при виде хорошеньких женщин, который умел рассыпаться в изысканных комплиментах, чмокать ручки и вообще чувствовать себя с дамами так же легко, как жонглер с мячами, так у него, видите ли, упорядоченная половая жизнь, у него в семье мир и согласие. В то время как я, который в женском обществе всегда себя чувствовал немного не

в своей тарелке, вот я-то и оказываюсь прелюбодеем, авантюристом. Ладно, как-нибудь переживем.

Турлав позвонил секретарю Карлиса. Это щебечущее сопрано он слышал впервые,— должно быть, новенькая. Однако сразу почувствовалась выучка Карлиса. Секретарша не щебетала понапрасну, коротко и ясно сообщила, где, как и когда лучше всего застать товарища Дуцена по телефону.

В указанный час Карлис в самом деле оказался на месте и отозвался своим напористым, серьезным «алло».

— Здравствуй,— сказал Турлав,— это я.

— А это я,— ответил Карлис.

Несладко все же выступать в роли просителя, подумал Турлав, помог бы мне чуточку, что ли, мучитель этакий. Хотя бы своим привычным и грубоватым «чего тебе нужно?».

— Давно не видались.

— Первого апреля исполнится год и два месяца,— отозвался Карлис.

— Продолжая в том же духе, в ближайшие двадцать лет мы успеем повидаться еще семнадцать раз. При условии, конечно, что нам посчастливится прожить эти двадцать лет.

— Попробуем прожить и дольше.

— Надежней другой вариант — встречаться чаще.

— В принципе не возражаю.

— В таком случае как у тебя со временем?

Короткая пауза. Возможно, Карлис заглянул в откидной календарь или в какой-нибудь другой реестр.

— Какой день?

— Скажем, сегодня.

— Во сколько?

— Все равно. Лучше вечером.

— Жду тебя в восемь.

— Где? Дома?

— А ты бы хотел на работе?

— Нет, зачем же. Очень хорошо. Это я так, для ясности.

И все же я с ним говорил не на равных, подумал Турлав, у меня даже во рту пересохло. Неужели занимаемая должность так влияет на отношения? Я его никогда ни о чем не просил и сейчас не намерен. Вернее, так: если я на этот раз о чем-то попрошу, то не о том, что может быть истолковано как личный интерес или, тем более, что-то противозаконное.

Вечера Турлав дожидался с нетерпением, слегка отдававшим робостью. Для верности сунул в портфель кое-какие бумаги. После работы доехал до центра. Поужинал в излюбленном кафе. Зашел в парикмахерскую укоротить свои лохмы, уже спадавшие на воротник. И тем запас времени был исчерпан.

Дверь открыл Карлис, как всегда румяный, улыбочный, в прекрасном настроении, одетый по-домашнему в тренировочный костюм.

— Надеюсь, я вовремя?

— С опозданием в две минуты.

— Говорят, на аудиенциях допустимо отклонение в три минуты.

— Точность — проверка интеллигентности.

— В таком случае мои часы могли быть более интеллигентны.

Карлис извинился, что не сможет принять Турлава на «уровне», жена уехала навестить старшего сына, его на практике в Москве угораздило сломать себе ногу, лежит в гипсе.

Вот и хорошо, подумал Турлав и тотчас попрекнул себя за недобрую радость. Как говорили в старину — на чужом несчастье вылезешь, на своем споткнешься.

Устроились на диване. Причудливый столик с задатками бара скрывал в своем подножье бутылку коньяка и рюмки. Квартира, куда Дуцен перебрался сравнительно недавно, была просторна, обставлена неприятно. По стенам развешаны спортивные вымпелы, на стеллажах теснились призовые награды — разнокалиберные кубки, статуэтки, обелиски.

— Сколько ты можешь мне уделить? — спросил Турлав, взглянув на часы.

— Что за вопрос. Или ты сам торопишься?

— Я подумал, может, ты очень занят?

— Я бы соврал, ответив тебе «нет». Через неделю должен быть готов годовой отчет, а послезавтра открывается сессия. — Карлис кивнул на письменный стол, заваленный бумагами. — Но в бумажном деле, как и в жарко натопленной бане, долго не просидишь. В какой-то мере ты меня выручил. Рассказывай, как поживаешь.

Турлав, глядя в повеселевшие глаза Карлиса, поднял рюмку и пожал плечами.

— Нормально.

— Нормально — хорошо или нормально — плохо?

— Надеждами живу.

Карлис усмехнулся и переменял тему:

— Вчера я выбрался в школу, где учится наш отпрыск. Они там затеяли ремонт. Зданию сто лет, общепризнана его культурно-историческая ценность. На втором этаже у них так называемая «галерея гениев». Гипсовые бюсты. И вот не знают, что делать с Гомером, Аристотелем, Сократом — выбросить или оставить. Я поразился. Оказывается, везде и во всем одна и та же проблема: от чего отказаться, что оставить.

— Да,— согласился Турлав,— повсюду одно и то же.

— Тебе это кажется малоинтересным?

— И да, и нет. Заранее могу сказать: Гомера с Аристотелем выбросят. Проще покрасить голую стену.

— Ты уверен?

— Да. По опыту знаю. А между тем кое-где на предприятиях продолжают выпускать своего рода «памятники прошлого», а в креслах сидят деятели — тоже под стать «памятникам прошлого». Так проще.

— Ну, погоди. А если бы тебе пришлось решать: оставил бы эти бюсты?

— Те, что сидят в креслах?

— Зубоскал!

— Сохранять нужно то, что способствует развитию и росту. А жить с оглядкой на прошлое — это конечно же признак старости. Молодость любит разрушать и строить.

— Но общество — это и молодость, и старость.

— Сохранить исторические интерьеры — вещь безусловно важная. Пожалуй, наш долг. Но не менее важно думать о тех интерьерах, которые мы создаем сегодня. Какую ценность они будут представлять через сто лет? Знаешь, как зодчие Венеции сберегли ансамбль площади Марка? Все пятьсот лет пополняли его чем-то новым, еще более прекрасным, еще более талантливым. В наши дни творческий дух оставил Венецию, и что же мы видим?

— Должен признать, ты основательно подходишь к вопросу.

— Я всего-навсего подтверждаю твой тезис: проблема вездесуща. Помнишь времена, когда пытались сохранять падеспань или рейлендер?

— Еще бы. Танцуя падеспань, ты познакомился с Ливией.

— Или, скажем, как лучше сохранить о человеке память,— продолжал Турлав — ему не хотелось развивать мысль Дуцена.— Многим кажется, что самое подходящее место для этого кладбище. Я за то, чтобы сохранять по себе память прежде всего через родильные дома.

— Хорошо, теперь по существу. Если бы решать пришлось тебе, как бы ты поступил? Учитывая, что реставрация стоит денег, и немалых.

— Я обратился бы за советом к скульпторам, архитекторам, специалистам. Вопрос должны решать люди знающие. В архитектуре, интерьерах я ни черта не смыслю. Как тебе, возможно, доводилось слышать, моя специальность телефония.

— Тогда как обстоят дела в телефонии?

— Завод гудит, контора пишет.

— Как прикажешь это понимать?

— Примерно так, как на сцене. Делаем вид, что целуемся, на самом деле просто носы сдвинули.

Карлис продолжал улыбаться, но уже как-то настороженно.

— Шутки в сторону,— сказал Турлав.— Положение просто отчаянное. Если мы сейчас же не исправим ошибку, масса времени будет загублена зря. В двадцать лет меня бы это, возможно, не встревожило, но мне уже пятый десяток.

Турлав вкратце изложил главное возражение против иннервационной станции. Дуцен слушал внимательно, но с прохладцей. Могло даже показаться, что в словах Турлава его что-то раздражало.

— Все же я не понимаю,— в конце концов Карлис довольно резко прервал Турлава.— Несколько минут перед этим ты утверждал, что вопросы должны решать люди знающие. Теперь уточним факты. Где зародилась мысль об иннервационных станциях? У вас на заводе. Кто делу дал ход? Наиболее квалифицированные специалисты. Кто утвердил задание? Люди знающие. Неужели ты всерьез допускаешь возможность, что все они дали ошибочные рекомендации?

— Да. Более того. Я в этом уверен.

— Зачем они это, по-твоему, сделали?

— В каждом отдельном случае на то имелись свои причины: лень, инерция, односторонняя информация. К тому же иннервация сама по себе открытие мно-

гообещающее; возможно, телефония к ней еще вернется. Но сейчас это пустой номер.

— И в столь многочисленных авторитетных инстанциях этого попросту не замечают?

— Вот тут-то и зарыта собака — в «столь многочисленных». Взять такой простой пример: десять авторитетных специалистов признали, что петух белый. А ты, одиннадцатый, глубоко уверен, что петух серый. Что проще: подписаться, не вникая в суть дела, как и твои предшественники, — да, мол, петух белый — или доказывать, спорить, портить отношения?

— А где же момент личной ответственности?

— О моменте личной ответственности пока больше разговоров. В жизни обычно получается так, что ошибаться заодно с другими куда удобнее. И вообще, тебе приходилось когда-нибудь слышать, чтобы у нас специалиста призвали к ответственности за, мягко говоря, поверхностную рекомендацию? Или, скажем, специалисту уменьшили оклад за то, что тот избрал худший вариант? Разумеется, я не имею в виду тех случаев, когда рухнет стена или обвалится мост. Я говорю о служебной, а не уголовной ответственности.

— Но ведь технические требования были разработаны научно-исследовательским институтом?

— Запустят в производство, не запустят — институту горя мало. Они там занимаются наукой и свои деньги получают сполна в любом случае. Эти две системы, к сожалению, пока практически не состыкованы. У каждой свой огород.

— Милый друг, тебе лучше меня должно быть известно, что предприятие обязано затребовать скрупулезнейшее научное заключение по любому вопросу.

— Когда нет экономической заинтересованности, то год туда, год сюда, ну, затянулось дело, что ж, бывает, а тут еще возникли кое-какие неполадки, и все в таком духе.

Глаза у Карлиса сверкнули весельем.

— И ты сам это одобряешь? — спросил он.

— Это другой вопрос, — сказал Турлав, взяв тоном ниже. — Я — конструктор, мое дело, говоря высоким стилем, воплощать в жизнь свои замыслы, свои идеи. Я глубоко убежден, что стою на пороге самой значительной своей работы. И я знаю, во мне достаточно

сил, чтобы довести ее до конца. Так неужели теперь все забросить?

— Ты думаешь, такое желание только у тебя? Быть может, такого рода заинтересованность не менее важна, чем заинтересованность рублем.

— Кругом столько равнодушия. Так трудно что-либо пробить.

— Хоть убей, не понимаю, чего ты хочешь.

— Ничего особенного. Месяцев через шесть я бы смог положить на стол набросок проекта новой станции, которую хоть в будущем году запускай в производство.

— И что же, она обещает быть во всех отношениях лучше иннервационной станции?

— Будет ли «лучше», об этом сейчас трудно судить. Скажем так: равноценна ей при стоимости в десять раз меньшей. На мой взгляд, этого достаточно.

— Одним словом, ты ни много ни мало желаешь, чтобы прекратили проектирование иннервационных станций, которые предусмотрены в качестве всесоюзного задания государственным планом? Так ведь, да?

Турлав не успел ответить, а Карлис, поудобней устроившись в своем углу дивана и закинув ногу на ногу, продолжал:

— В таком случае ответу тебе совсем коротко: ты просто чужак.

Карлис с улыбкой поднял свою рюмку. Они оба пригубили.

— У меня на уме другое,— возразил Турлав, возвращая рюмку на стол.— Я должен отыскать возможность одновременно с иннервацией продолжить работу и над своим проектом. И потому мне важно знать, мог бы твой департамент поддержать заказ какой-либо организации, ну, скажем, Министерства связи, на такого рода станции?

Дуцен ответил не задумываясь, лишь по глазам можно было засечь тот миг, когда деловая информация в виде доводов «за» и «против» прошла через его мозг.

— В зависимости от того, какое заключение дадут специалисты.

— И если эти заключения окажутся благоприятными?

— Тогда все решит коллегия.

— Короче говоря, такой ход возможен?

— Почему бы нет.

— И ты бы меня поддержал?

— Я пока не видел твоего проекта.

— И на том спасибо тебе. В ближайшее время, надеюсь, ты получишь все необходимые бумаги.

Итак, это он выяснил. С этим все ясно. По правде сказать, он мог сейчас преспокойно проститься. Замечание Карлиса о бане, безусловно, было сказано ради приличия. И у меня земля горит под ногами, подумал Турлав. Было бы совсем неплохо сейчас встать и уйти. Но Турлав тотчас сам себя уличил: малодушие торопило его и подстегивало уйти. Скрывать от Карлиса то, что в ближайшее время станет известно каждому их общему знакомому, было бы глупо. Кроме того, не обязательно же пускаться в подробности. Просто так, в общих чертах, мимоходом, исключительно для информации.

— Как Вите нравится ее факультет?

— Как будто нравится.

Турлав беспокойно поерзал — об институтских делах Виты он имел очень смутное представление.

— Трудный факультет, — сказал Карлис. — Процент женщин на нем по-прежнему незначителен.

— Я думаю, барьер этот более психологического характера. Уже одно слово «математический» отпугивает.

— Лишь отчасти. Ведь приняли немало девочек. А дальше — пороку не хватило.

— По крайней мере пока Вита не жаловалась.

— Ну и прекрасно. Так держать. А что Ливия?

Турлав ощутил на себе взгляд Карлиса, но глаз не поднял. Вопрос был задан непринужденно и, казалось бы, без всякого подтекста. Карлис ничего не знает. В следующий раз когда-то они встретятся. Да и время сделает свое дело. Их дружба, по правде сказать, принадлежит прошлому. Пройденный этап. Столько времени. Да и в двух словах такое не расскажешь.

— Ливия? — переспросил Турлав. — Ты знаешь, я так давно ее не встречал.

Карлис воспринял это как шутку. Так звонко и заразительно среди знакомых Турлава умел еще смеяться только Скуинь. Однажды Турлав опознал писателя по его смеху в темном зале кинотеатра.

— Видишь ли, возвращаясь к нашему разговору об экономической заинтересованности, я тебе должен по-

вторить довольно тривиальную мысль: это в самом деле важный показатель.— Карлис в который раз менял тему.— К сожалению, наши экономисты, хозяйственники еще не отыскиали ту сокровенную движущую силу, которая объединила бы как интересы общегосударственные, ведомственные, так и каждого работника в отдельности...

Через полчаса Турлав простился.

— Когда же следующая встреча? — спросил Карлис.

— Теперь твой черед. Мой адрес тебе известен.

Уж этого мог не говорить, спохватился Турлав, мой адрес вилами по воде писан.

— Ну, а когда свадьба? — Карлис все еще не отпускал руку Турлава.

— Свадьба?

— Да, ходят такие слухи, будто у вас в доме зревает торжество. Мир тесен. Жених доводится Арии отдаленным родственником.

— Потому ты и лучше информирован. По родственным каналам...

Выйдя на улицу, Турлав остановился. Можно было подумать, он только что сбросил с себя тяжесть, нужна была передышка.

Что Карлис знал, чего не знал? И почему я все-таки не рассказал ему сам того, что он все равно узнает. Похоже, мостки их дружбы стали слишком зыбкими, под тяжестью правды могли переломиться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Для укрепления дисциплины не жалели сил и раньше, однако целенаправленность событий и особый нажим в рассмотрении вопроса не оставляли никаких сомнений, что к сему руку приложил Лукьянский. Догадаться о причинах не составило большого труда.

Явившись на так называемое совещание «работать без брака и потерь» (которое обычно созывалось раз в неделю и занималось техническими вопросами), Турлав с удивлением отметил, что на этот раз совещание оказалось весьма представительным. За столом сидели руководители всех КБ, представители партбюро и месткома, редактор заводской многотиражки. Немного погодя появился и заместитель начальника отдела

кадров, невысокий, опрятный человек, фамилию Турлава никак не мог запомнить.

Совещание открыл Арманделис, руководитель КБ телеграфии, единственный пункт повестки дня зачитав по бумажке. Слово для сообщения было дано представительнице месткома Вердыне, — это она в свое время занималась «делом Стурита», — сдобной увядающей красотке с ярко выраженной склонностью нагнетать атмосферу в широком диапазоне — от смеха до слез. Пересказав несколько ходячих истин о важности трудовой дисциплины как таковой, она привела цифры и факты нарушения рабочего распорядка. Участники рейда пришли к выводу, что отдельные работники продолжают без дела слоняться по заводской территории и даже покидать ее пределы для приобретения спиртных напитков; в рабочих помещениях иногда происходят выпивки; в строительных бригадах бывали случаи, когда во второй половине дня работы полностью прекращались по причине нетрезвости рабочих. Поверхностному по сути сообщению нельзя было отказать в известном риторическом мастерстве. Но в конце делался вывод, совсем неожиданный и потому тем более поразительный:

— «...Однако все приведенные нарушения дисциплины бледнеют перед той нерадивостью и безответственностью, которые наблюдаются в работе КБ телефонии. Там рабочую дисциплину нарушает среднетехнический и высший инженерный состав. Так, участники рейда в рабочее время за пределами заводской территории задержали инженеров первой категории Каупиню и Скоропадскую (ту и другую в овощном магазине), инженера Целма (в аптеке), инженера Пупшеля (в книжном магазине). Это свидетельствует о том, что трудовая дисциплина в коллективе КБ телефонии находится в катастрофическом положении, из-за прямого попустительства по отношению к нарушителям трудовой дисциплины со стороны руководителя КБ товарища Турлава».

Вердыня говорила громко, будто декламировала, ни разу при этом не взглянув на Турлава. Закончив, она старательно собрала свои бумажки, кокетливо улыбнулась и, понизив голос, почти весело добавила:

— У меня все, товарищи.

Председатель совещания Арманделис, не зная толком, как ему быть, уже не раз бросал вопросительные

взгляды в сторону Лукьянского, но заместитель директора, подперев свою массивную голову не менее массивной ладонью, сидел в мрачной неподвижности и глубокомысленно отмалчивался.

— У меня вопрос к товарищу Турлаву,— подал голос член бюро парткома Смирнов.

Арманделис только руками развел, что могло примерно означать — так и спрашивайте, для этого мы и собрались.

— Товарищ Турлав,— продолжал Смирнов,— меня интересует, вам были известны приведенные участниками рейда факты?

— Да,— ответил Турлав,— не только эти, но и другие.

— В таком случае, я полагаю, не мешало бы послушать, как вы сами это расцениваете.

Турлав поднялся, с шумом отодвинув стул. Меркантильные вылазки своих дам он терпел, как терпят зубную боль. С самого начала своего руководства КБ повел суровую и упорную борьбу за укрепление рабочей дисциплины. Однако у этой напасти имелись свои и глубокие корни. Превращать эту повсеместную проблему в обычный скандал не было никакой необходимости. Менее всего на совещании, которое, похоже, созвано совсем не для того, чтобы обсуждать вопросы трудовой дисциплины. Турлав вскипел.

— Я полагаю, что положение в КБ телефонии меня тревожит не меньше, чем товарища Вердыню. Но нельзя, по-моему, путать две разные вещи — пьянство в рабочее время и отдельные случаи, когда женщины выбегают в магазин за какими-то покупками. Эти явления несопоставимы. Пьяница вообще скверный работник, большую часть дня он шляется без дела или делает брак. Таких случаев у нас в КБ нет. Наши сотрудницы, нарушающие дисциплину тем, что иногда выходят за пределы заводской территории в магазин, почти все без исключения являются хорошими специалистами и толковыми работниками. Свое задание они выполняют.

— Товарищи, я не понимаю, что мы тут друг друга поучаем. Это же азбучные истины,— вступился начальник КБ телевидения Салминь. Как обычно, когда, по его понятиям, непроизводительно тратилось время, он с беспокойством начинал поглядывать на часы, недовольно шевелить своими пышными бровями.

Смирнова на заводе все знали как человека тихого и деликатного. Любая резкость его волновала. А он не мог себе позволить никаких волнений, потому что уже пережил один инфаркт. Смирнов любил ставить вопросы корректно и пристойно. Однако на сей раз он почувствовал — пламя пробилося, быть беде. Пожалуй, Салминь в чем-то прав. Конечно же обсуждение этого вопроса следовало отложить, сообщение было сделано поверхностно, проект рекомендации довольно туманный. Лучше всего сейчас было бы выйти из кабинета или промолчать. Но дело пошло своим чередом. Материалы рейда как-никак документ общественной важности, его нельзя оставить без обсуждения. Поведи себя Турлав иначе, отнесись к этому так, как принято в подобных случаях, тогда бы все, пожалуй, сошло гладко. А теперь — как сказать.

Смирнов с явным сожалением посмотрел на Турлава. Как многие нервные люди, он (Смирнов) густо покраснел, губы у него дрогнули, ноздри раздулись.

— Товарищ Турлав,— проговорил Смирнов, стараясь говорить спокойно и тихо,— я целиком и полностью разделяю ваше мнение, что пьяницы плохие работники, однако я думаю, вы со мной согласитесь, что мы не должны оставлять без внимания, более того — без наказания нарушения трудовой дисциплины, даже если они совершаются, пользуясь вашим определением, толковыми работниками.

Турлав прекрасно понимал, чего от него ждал Смирнов. Но именно это и разозлило его еще больше. Наивный преподаватель учебного цеха со своими педагогическими штучками!

— Формальный подход к вопросу,— отмахнулся Турлав.

— Почему же формальный?

— Потому что ни один конструктор не способен восемь часов просидеть на одном месте.

— Речь идет о выходе за пределы заводской территории.

— Ну хорошо, допустим, инженер Каупиня вышла бы не за пределы заводской территории, а всего-навсего в коридор покурить, как это делает большинство и что отнюдь не считается нарушением трудовой дисциплины. В чем разница? Или, скажем, ежечасно выходила по нужде, что также не было бы нарушением

трудовой дисциплины. Ибо человек имеет право выходить столько, сколько нужно.

Смирнов то краснел, то бледнел. Случилось то, чего он больше всего боялся. В самом деле — беда!

— Товарищ Турлав, подумайте, что вы говорите!

— Ничего, ничего, дайте товарищу Турлаву высказаться,— подал голос Лукьянский, угрожающе крякнув в кулак.

— А я не собираюсь отмалчиваться,— сказал Турлав,— раз уж затронули этот вопрос.

— Мне бы только хотелось указать товарищу Турлаву...— попыталась вставить свое слово Вердыня.

— Указывать сможете потом,— перебил ее Турлав.— Я еще не закончил.

— Товарищ Арманделис, прошу вас вести собрание.— Смирнов постучал о стол карандашом.

— Слово товарищу Турлаву,— пожав плечами, произнес Арманделис.

— Не следует забывать, что мы имеем дело с типично женскими нарушениями дисциплины, причина их кроется в чисто женской психологии,— еще запальчивей продолжал Турлав.— Какие бы постановления мы ни выносили, женщина прежде всего остается женщиной и матерью. Дети, семья ей всегда будут ближе, чем чертежи и интегральные схемы. Независимо от того, кто она, инженер или лаборантка, если у нее дома болен ребенок, то первая мысль ее будет о ребенке и только потом уже обо всем остальном. И если к делу подойти с этой точки зрения, так, может, даже и лучше, если женщина, уловив момент, выбежит и купит самое необходимое, зато потом будет работать со спокойным сердцем, не нервничая.

— Да, это правильно,— Вердыня вдруг перекинулась на сторону Турлава.

— Что правильно? — Дольше Лукьянский не смог сдержаться.— Эта демагогия? Эти безответственные рассуждения? Мне просто стыдно было слышать такое из уст опытного работника и руководителя, каким мы до сих пор все считали Альфреда Карловича. Чего стоят все эти разговоры, когда на территории завода открыты торговые точки, где женщины во время перерыва могут запастись мясом, полуфабрикатами, хлебом, всем необходимым. Всем необходимым.

— Далеко не всем,— перебил Турлав.— Вы, товарищ Лукянский, очевидно, сами не пользуетесь этими торговыми точками.

— И это не единственный выход, не единственный.— Лукянский не пожелал вдаваться в подробности.— Магазины в центре города открыты допоздна. Сотни самых различных магазинов!

— И в магазинах вы, очевидно, не бывали в часы пик. А инженер Каупиня, к примеру, живет не в центре, а в новом районе, где пока всего-навсего один магазин в километре от ее дома. Чтобы попасть на работу, а вечером с работы домой, она тратит по часу туда и обратно. Автобусы переполнены, на остановках очереди. К тому же ей надо успеть забрать ребенка из детского сада, зайти в прачечную и сапожную мастерскую. Уж я не говорю о тех часах, что уходят на парикмахерские, ателье и поликлинику.

— Какое отношение это имеет к трудовой дисциплине? — Лукянский уже молотил ладонью край стола.

— Казимир Феликсович! — прижимая к груди обе ладони, с укором произнес Смирнов.— Прошу вас, ведите собрание!

— Слово товарищу Турлаву! — Арманделис уже в который раз снимал с переносицы очки и старательно укладывал их в нагрудный карман.

— Имеет отношение, и самое непосредственное,— возразил Турлав.— Раз мы хотим подойти к изучаемому явлению диалектически, как и подобает нам. Женщине всегда не хватает времени. Мы слишком много взвалили на ее плечи и слишком мало делаем, чтобы облегчить ее ношу.

Турлав пододвинул поближе стул и сел.

— Вы закончили? — спросил Арманделис.

— Да,— отозвался Турлав.

— Ясно.— Лукянский вытянул в сторону Арманделиса свой мясистый указательный палец, что, видимо, означало — он просит слова.— Насколько я понимаю, товарищ Турлав предлагает выносить нарушителям дисциплины благодарность или что-то в этом роде.

— Сейчас я ничего не предлагаю, но я уверен, мы все еще увидим то время, когда у семейных женщин будет укороченный рабочий день. Это было бы и логично и соответствовало нашим принципам.

— Значит, вы считаете, что женщины, нарушая трудовую дисциплину, поступают правильно? — Лукянский упрямо гнул свою линию.

— Нет, не считаю.

Более несправедливое обвинение было трудно придумать. Только Турлав знал, сколько времени и сил он потратил именно на это — на укрепление дисциплины. Однако распинаться об этом здесь перед Лукянским было бы просто нелепо.

— Мы пришли к «джентльменскому соглашению», — сказал Турлав с наигранным простодушием. — Насколько мне известно, они теперь делают закупки почти по научно разработанному графику.

— Графику? Какому еще графику? — Вердыня от удивления широко раскрыла глаза.

— Его они держат в секрете. Со своей стороны я выдвигаю лишь одно условие — чтобы не страдала работа. И чтобы старший инженер не бегал за апельсинами, если за ними можно послать студента-практиканта.

— Товарищ Турлав, это несерьезно! В некотором роде вы оскорбляете наше собрание. — Смирнов попытался высказаться если и не резко, то хотя бы с ноткой осуждения в голосе. Окончательно убедившись в том, что Турлав не намерен подчиняться общепринятым нормам поведения, Смирнов был вынужден перейти к строгости.

— Да почему же? — ответил Турлав. — Я говорю вполне серьезно.

— Это издевательство! — выкрикнул Лукянский.

— Хотелось бы знать, что в таком случае вы бы мне посоветовали. Стоять у двери со свистком в зубах? Я отвечаю за работу КБ. За то, кто и когда выходит за пределы заводской территории, отвечает охрана. Я раз десять разговаривал с инженером Каупиней. Но она все равно продолжает бегать в магазин. Ей объявлялись выговоры, делались предупреждения. Что дальше? Уволить? А кто будет работать? Понизить зарплату? Тотчас вмешается профсоюз. Да она и сама подаст заявление по собственному желанию. И в десяти других местах ее примут с распростертыми объятиями. Потому что она в самом деле прекрасный специалист и дело свое знает. Мы, конечно, на все это можем закрыть глаза, но суть вещей от этого не изменится.

И если вам, товарищ Лукянский, это кажется несерьезным, тогда я, право, не знаю, что же такое серьезное.

Заговорив, Турлав в очередной раз поднялся, а теперь снова сел, и сел как-то особенно решительно, давая понять, что больше вставать не намерен.

— По этому вопросу мне нечего добавить.

— И так уж все ясно.— Широкое лицо Лукянского выражало ликование.

— Товарищ Арманделис, прошу вас, ведите собрание,— был вынужден опять указать Смирнов. Вид у него был усталый, измученный, но взгляд с близоруким прищуром по-прежнему строг; перескакивая от Лукянского к Турлаву, он, казалось бы, заострялся и оттачивался. В самом деле, я не хотел, как бы говорил его взгляд, но у меня не было иного выхода.

— Кто еще желает высказаться? — Арманделис пытался сохранить объективность и нейтралитет.

— Пора закругляться,— недовольно буркнул Салминь.— Через час опять сидеть в совете по стандартам, вечером инструктаж по экспортным заказам.

— Может, перейдем к рекомендациям,— вставила Вердыня.

Наступил момент, когда Лукянский мог повернуть ход событий по-своему. Так он и сделал.

— Товарищ Арманделис, позвольте мне несколько слов...— Массивный указательный палец потянулся кверху, поднимаясь выше над головой, потом весомо поднялась вся громоздкая фигура Лукянского.— Я только что прочитал выработанный товарищем Вердыней проект,— сказал Лукянский, полувопросительно глядя на Смирнова.— Этот документ требует значительной доработки. После всего того, что мы здесь услышали, я думаю, мы не имеем права ограничиться лишь простой констатацией фактов и скромным призывом положение исправить. Сознательно либеральные, я бы даже сказал, вредные настроения, да, вредные настроения товарища Турлава чреваты самыми серьезными последствиями. И потому было бы неправильно, если критическое положение в КБ телефонии мы восприняли бы как обычные недочеты организационного процесса. Думаю, на этот раз мы должны со всей серьезностью подойти к вскрытым нарушениям, мы должны бить тревогу в масштабах всего предприятия, подключив сюда и радиоузел и нашу газету. Кроме того, как я полагаю, наш долг — поставить в известность

руководство предприятия и партийный комитет о взглядах товарища Турлава. Товарищ Смирнов, как вы считаете, такой шаг был бы правомерен?

Смирнов ответил не сразу. Вид у него был глубоко несчастный. Я не хотел этого, говорил его взгляд, теперь пеняйте на себя, товарищ Турлав.

— Правомерен... Но, чтобы не было недоразумений, все же следует проголосовать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

К началу апреля мой проект основательно продвинулся. Пушкинг в институтской лаборатории испытал сконструированный им электронный распределитель, результат превзошел ожидания. Лукьянский продолжал мутить воду, но меня это не касалось, я так глубоко ушел в свои дела, что лишь по временам до меня доходил отдаленный грохот лавины. На работу приходил рано утром, домой возвращался около полуночи. Даже субботние и воскресные дни проводил на заводе, за исключением тех часов, когда навещал Майю на взморье. Давно не чувствовал такой увлеченности работой. Быть может, потому, что теперь меня уже не одолевали сомнения. Теперь оставалось одно — идти напролом, что я и делал, будучи совершенно уверен, что время и правда на моей стороне.

Как-то вечером после работы, выйдя на заводской двор, я заметил, что на деревьях набухли почки. Воздух, казалось, был напитан весной. Я остановился, как на стену натолкнувшись на этот тучный, плотный, благоухающий воздух, и мысли мои сразу обратились на другое, я засмотрелся на розовевшее, в перламутровых переливах небо, распростершееся над заводским двором, и почувствовал себя человеком, вернувшимся из дальних странствий. Между тем, что я видел, чувствовал, и тем, что сохранила память, зияла пустота, проглядывало недостающее звено, и потому все воспринималось острее и ярче. Постой, какое же сегодня число, похоже, десятое апреля...

У заводской Доски почета с метлой в руках хлопотал Фредис. Загорелое лицо олимпийца — разве немного светлее корицы — растекалось в улыбке.

— Ну, поздравляю, поздравляю! — И он протянул мне свою большую, задубевшую, настолько бурую ла-

пищу, что можно было подумать, она затянута в коричневую перчатку.

— Это с чем же?

— Ну как же, внук Жаниса Бариня, слышал, женится на твоей дочке. Свадьбу-то богатую играть собираетесь?

Пробурчал что-то невнятное. Второй раз меня застают врасплох со свадьбой собственной дочери.

— Слыхать, будет богатая,— не унимался Фредис. (Все тебе надо знать, старый сплетник!)

— Сам я ничего такого не слышал.

(И очень плохо. Уж этим тебе, отцу, хвастать не пристало).

— Молодежь-то, говорят, готовится, целое представление будто бы сочинили. С песнями, плясками.

— Поживем, увидим.

— И где же — у вас в доме или у Бариней?

(Час от часу не легче. От стыда хоть в землю лезь.)

— Пока твердо не решили.

— Да, странная нынче мода пошла. Где только свадьбы не справляют. На мельницах, в банях. Одни мои сородственники, тоже молодежь, студенты, так те свою свадьбу в лесу сыграли — развели костры, гостям шампуры раздали — и порядок, на другой день ни тебе посуду мыть, ни дом убирать. А так подумать, разве раньше было иначе? Помню, в тридцать шестом году, во время олимпиады, борец в наилегчайшем весе Ризий взял тогда в жены новозеландскую пловчиху по фамилии Сомерфильд, так они свадьбу закатали посреди реки, на плоту.

Фредис долго бы еще разглагольствовал, да мне надоел его треп. К счастью, в тот день я был на колесах. Не терпелось поскорей добраться до дома. Что там все же происходит? Обошли меня или сам я отстранился? Почему я ничего не знаю? Почему мне ничего не говорят? Может статься, меня и на свадьбу не пригласят. Вите восемнадцать, совершеннолетняя, поступай как нравится. Ну нет, Вита моя дочь. Тут какое-то недоразумение. Возможно, мне и самому не мешало бы проявить чуточку интереса. Но разве я, Вита, тебе в чем-нибудь отказывал? Устроить свадьбу — долг отца. Мне бы это только доставило радость. Ну хорошо, у меня голова сейчас другим забита, но ты могла бы напомнить, могла потеревить меня. Не верится, чтобы Ливия тут приложила свою руку, не в ее это характере.

Дома никого не застал. Ливия эту неделю дежурила с утра. Где она пропадает? Раньше сидела дома. Зашел в комнату дочери — даже ставни закрыты. Мне всегда нравилась Витина комната, есть в ней какой-то особый уют. Однако на сей раз повеяло запустением. Звучно отдавались шаги, будто я расхаживал среди голых стен.

В коридоре на телефонном столике увидел записку. «Мамочка, поехала к Тенису, буду поздно». Когда она написана — сегодня? А может, неделю назад. К Тенису. Значит, на Кипсалу.

Придется съездить на Кипсалу. Если не теперь, то когда же.

Остров Кипсала в моих представлениях был понятием сугубо отвлеченным. Примерно как Мадагаскар. И все же не совсем. С Кипсалой меня связывали кое-какие детские воспоминания, словно видения полузабытого сна. Пароходик из Ильгуциема, на котором я некогда ездил к своей крестной в Подраг, делал остановку на Кипсале; сходявшие там пассажиры взбирались вверх по крутой лестнице, на мощный булыжником берег. Еще там тянулся каменный мол, а в конце его возвышался маяк. У причальных свай лениво плескалась вода, и там держался какой-то особенный крепкий запах — пахло вымоченными в воде бревнами, свежераспиленным тесом, маслянистым корабельным канатом, смолеными лодками. И в студеную зиму тридцать девятого года, когда Даугава укрылась подо льдом и снегом, мы вместе с Харисом с конца улицы Калкю дошли по льду сначала до сквера таможни, затем по реке же, к мысу Кипсалы, сплошь заставленному штабелями крепезного леса. Дул занозистый ветер, приходилось в полном смысле слова продираться сквозь него, повернувшись боком; обжигало подбородок, кожа на лице деревенела. Прошло более трех десятков лет, но я до сих пор при одном воспоминании чувствую на своих щеках обжигающую стужу.

До строительной площадки Дома печати в конце понтонного моста дорога была хорошо знакома. Там поворот направо. Меня не покидало ощущение, что вот сейчас я повстречаюсь со своим прошлым, увижу то, что навсегда сохранилось в памяти. Ехал, внимательно приглядываясь, и так растрогался, что даже немного забыл о цели поездки. Балластовая дамба — когда-то

на этом месте проходившие налегке парусники высыпали песок из трюмов — теперь превратилась в оживленную улицу. Сновали грузовики-самосвалы, платформы со строительными блоками. Ну да, где-то поблизости строился студенческий городок Политехнического института (Кипсалу задумано превратить в вузовский район).

От потускневших домиков повеяло стариной. Наверяд ли еще где-нибудь в Риге увидишь их в таком количестве. Что-то здесь от моряцкой закваски Вецмилгрависа, что-то от средневековой Кулдиги. Резные наличники на окнах, башенки с флюгерами, дворики, калитки, палисадники. Совсем не обязательно быть знатоком архитектуры, чтобы в приземистых срубах с черепичной, местами выкрошившейся кровлей опознать восемнадцатый век; лишь течение Даугавы отделяло латышские халупы от дворца немца Вальтера фон Плетенберга. Рыбацкая улица, улица Чаек, улица Угольщиков... Какие простые и какие капитальные названия.

А вот и пристань. Лестница, пожалуй, та же, старая, но причал вид имел свежий. И маячок на месте. А в здешнем воздухе все еще жил тот восхитительный запах. Сладко защемило в груди.

Навстречу попалась старуха с сеткой картошки.

— Добрый вечер,— сказал я,— вы здешняя?

— Родом отсюда,— ответила.

— Не знаете, где живут Барини?

— Господи, кто же тут Бариней не знает! Чуть проедете, заберете влево. Улица Гипша. Второй дом с угла.

На память пришли слова Виты: «По крайней мере тринадцать поколений на Даугаве» — и я уж приготовился увидеть невесть какую развалюху, но был немало удивлен. Скорей всего, дом был построен в тридцатых годах. Два этажа, большие окна. Не броско, но основательно. Покуда разглядывал дом с улицы, появились Тенис и Вита. Тенис, должно быть, что-то красил и теперь вытирал перепачканные руки скомканной газетой. Вита во дворе жгла прошлогоднюю траву и листья, пламя гудело, дым поднимался клубами. Приняли меня приветливо, на их сияющих физиономиях я не обнаружил ни малейшего подвоха.

— Ох, как подыхает,— сказал я, кивнув на костер, толком не зная, с чего начать.

— Как не полыхать, западный ветер,— сказал Тенис.— Раньше назывался лососиным ветром.

— Папочка, папочка,— Виту огонь уже не интересовал,— а ты знаешь, что такое кенкис?

— Понятия не имею.

— Кенкисом называют самца лосося во время нереста. А знаешь, что такое батрачок? Это кенкис, который нерестится в первый раз. Тенис, давай покажем папе большую лососиную копильню.

Свои познания в ихтиологии Вита преподносила без юмора, но по всему было видно, что новая обстановка пришлась ей по душе.

Добрую часть кухни занимала огромная курземская печь с сужающимся кверху дымоходом. В остальном дом изнутри казался вполне обычным.

— Значит, род Бариней пошел от рыбаков?

— Вернее было бы сказать, от лодочников.— Тенис пожал своими плечами.

— А это что-то другое?

— Лодочники работали на перевозе. С семнадцатого века обслуживали сооружаемый из плотов мост.

— Так давно здесь живете?

— Мне кажется, мы тут жили всегда.

— Жанис мне никогда не рассказывал про лососей.

— Он первым из Бариней ушел на завод. А с рекой остался брат его Индрикис.

— Вот оно что. А Индрикис тоже живет в этом доме?

— Индрикис умер лет десять тому назад. Да, и он жил здесь. У Индрикиса был сын Петерис, тоже рыбак.

— Совсем как из Библии.

— Не совсем. Петерис потом онемечился и в тридцать девятом вместе с семьей уехал в Германию.

— Постойте,— сказал я,— но ведь вас, Тенис, тогда и на свете еще не было.

— Мой отец был Янис, сын Жаниса. Он тоже работал на «Электроне».

— Кто ж тогда ловил лососей?

— Индрикис, да и то больше в своих воспоминаниях. Он катал меня на лодке и обучал, как ловить лосося «на глазок».

— А вы тем не менее пошли на «Электрон»?

— Пошел.

— И теперь у вас в роду перевелись рыбаки?

— Пока еще нет. Это лосось перевелся в Даугаве.

Вита тем временем готовила угощение, что-то резала и намазывала, варила кофе.

— Я смотрю, ты тут хозяйничаешь, как в собственном доме,— сказал я ей, в душе надеясь, что разговор как-то удастся перевести на свадебные дела.

— А как же? Здесь и будет мой дом.

— Это решено окончательно? — Я посмотрел на одного, на другого. И они переглянулись между собой.

— Да, окончательно,— сказал Тенис.

— Значит, скоро Юрьев день?

— Полагаю, что так.

— Может, потребуется какая-то помощь?

— Спасибо, папочка,— сказала Вита.

— Спасибо, но, право же, ничего не нужно,— сказал Тенис.

Это было все, что удалось из них вытянуть.

— Тенис, а давай покажем папочке остров! — Вите пришла в голову новая идея.

— Идет,— сказал Тенис.— Можем пройтись до старой избы Бариней.

Я согласился, решив, что на прогулке будет легче вернуться к начатому разговору. О свадьбе они пока не заикались. Втроем мы вышли к Балластовой дамбе. Вечер был смирный и тихий, напоенный сладостнотомительным ожиданием,— один из тех вечеров, какие бывают ранней весной, когда дух плодородия вскрывает первые почки и высылает первую траву. Сойдясь тесно, кучно, в лучах заката румянились рижские колокольни: игривое навершие церкви Петра, задумчивый шпиль Иакова, затем Домский собор, по своим очертаниям чем-то похожий на дебелую бабу в безрукавке и широченной юбке. Выгнутые спины мостов, казалось, ждут какого-то откровения, портовые краны в нетерпении вытягивали свои длинные шеи. Даже темный речной поток спешил куда-то не просто так, а с неким умыслом.

— Теперь я понимаю,— заговорил я, обернувшись к Тенису,— понимаю, отчего вам не хочется уходить отсюда. Для Бариней Кипсала, должно быть, означает нечто большее, нежели один из рижских «микрорайонов».

Улыбка Тениса слегка поблекла, однако насмешливые искорки в глазах не исчезли.

— И все-таки мы уйдем. Как только представится что-то получше.

— Неужели?

— Это решено.

— Все-таки уйдете?

— Да.

— Вопреки всем семейным традициям?

— Не вопреки, а в силу этих традиций. Барини всегда считались людьми практичными, с ясной головой. Взять хотя бы в историческом разрезе. Вы думаете, мы бы стали жить на Кипсале, если бы могли жить в Риге? И стали бы рыбачить, если бы могли пробиться в купеческую гильдию? Но в ту пору латышам запрещалось жить в городе, а из не «немецких» занятий профессия лодочника была самой почетной. Индрикис без сожаления распростился со старой лачугой Бариней, едва смог построить что-то получше, а дед оставил рыболовство, как только сообразил, что завод предоставляет больше возможностей, чем Даугава. Если хотите знать, Барини всегда были в ладах со временем. Конечно, последнее дело, когда не имеешь представления, откуда ты вышел, какого ты рода и племени. Но Бариням, в общем-то, везло. Не считая, конечно, Петериса. Он бы ни за что не уехал, не женился он на прибалтийской немке. Обидно — семь веков продержаться, а потом так сплеховать.

— Может, это вам представляется трагедией, а сам он о том не жалеет.

— Как не жалеет. И знаете, что удивительней всего, прошлым летом из Америки приезжал внук Петериса, молодой человек моих лет. Привез урну с прахом немки-матери и похоронил на одном из рижских кладбищ. Говорят, таково было ее последнее желание.

Закат понемногу догорал. Разговоры примолкли. Мы дошли до канала Зунда и новых студенческих общежитий. От старой избы Бариней осталась только труба. На обратном пути Тенис рассказывал о первой латышской школе в Риге, которую в 1663 году основали стараниями местных рыбаков, и о том, как дед Индрикиса Клав встретился с императрицей Анной. Вита шла, прижавшись к Тенису, слушала жадно, хотя по всему было видно, что для нее эта давняя хроника была уже не новость.

Я спросил напрямик о свадьбе.

— Да, папочка, через неделю, — сказала Вита.

— А где, если не секрет?

Она поглядела на меня с нескрываемым удивлением и назвала адрес загса.

— Во сколько?

— Ничего не изменилось,— сказала она,— все как написано.

— Где написано?

— В приглашении.

— А как получить такое приглашение?

Она переглянулась с Тенисом и смутилась еще больше.

— Приглашение адресовано вам обоим с мамой. Я думала... мы думали, вы придете вдвоем.

На свое остроумие я никогда не надеюсь. Оно у меня как такси: когда нужно, его нет.

— Как же иначе,— сказал я, чувствуя по всему телу растекавшийся жар.— Конечно, с мамой.

— Ну, тогда все в порядке.

— Все в порядке, дочка! — рассмеялся я, стиснув ее локоть.

Вскоре стал собираться домой.

— Ты поедешь со мной? — спросил я Виту.

— Нет, папочка, я еще немного побуду.

Распрощался, сел за руль. Тенис стоял, склонившись над раскрытой дверцей, и что-то еще говорил. Вита тоже шутила, просунув голову в машину. Потом с силой захлопнула дверцу. И нечаянно прищемила Тенису палец.

Отчетливо помню эту картину. Вита вскрикнула, закрыла лицо руками.

— Милый, что я наделала?

Но Тенис обнял Виту, целовал ее руки, которые она все еще боялась отнять от лица.

— Успокойся. От тебя не больно.

Похоже, что не лгал. Это было совершенно ясно. Такой взгляд невозможно подделать. Очередное чудо любовного наркоза.

Во второй половине дня небо стало хмуриться, но воздух по-прежнему был теплый, душистый, а молодая, буйно растекавшаяся зелень вселяла надежду и бодрость.

Майя ждала меня при входе в парк своего санатория.

— Почему сегодня так поздно? — спросила.

— Я пришел минута в минуту.

— Стою здесь битый час. Я почему-то решила, что ты запаздываешь.

— Наверное, потому, что день хмурый,— сказал я.

Она заметно округлилась. А может, мне показалось.

— Куда ты меня повезешь? Хочу на концерт, в кафе, вообще на люди. Знаю, надо бы подождать, но мне жутко надоело. Ты не представляешь, какая тоска разбирает по дому, уюту, когда поваляешься с мое на больничной койке. Прошу тебя, своди меня в кино.

— А вдруг ты разволнуешься? Не повредит вам обоим?

— Пойдем на самый скверный, самый скучный фильм.

У нее на ресницах повисли слезы. Что-то было не так. Чем-то Майя была расстроена.

— Хорошо, согласен,— сказал я, помогая ей сесть в машину.

Ее беспокойство понемногу передавалось и мне. Глаза всматривались с удвоенным вниманием. Подстегиваемый разными домыслами, заработал потревоженный рассудок. Конечно, у нее предостаточно причин чувствовать себя несчастной. Но что на сей раз — просто ли дурное настроение или что похуже? Может, Майя в глубине души уже проклинает меня?

Угрызения совести во мне уживались со страхом. Что, если она вдруг проснется, как сомнамбула, на кромке крыши и спросит себя: что со мной, зачем я здесь? Я всегда опасался — и тайно, и явно,— что такой момент когда-нибудь наступит. Даже в самые счастливые минуты я себя чувствовал немного обманщиком, словно я транжирю деньги, выигранные на фальшивый лотерейный билет. Любовь не уравнила нас. Чаша весов никогда не приходила в равновесие. Сдается мне, не приходили. С самого начала я знал, что посягаю на то, на что не имею права. Знал, что всю жизнь мне быть в должниках. И тем не менее на все был согласен. Вопреки своим годам, ее молодости. Вопреки всему тому, что меня связывало с Ливией и Витой. Неужели я надеялся на чудо?

На этот раз она не склонила голову мне на плечо, сидела притихшая.

— Я опять был у Титы. Можем хоть завтра перебираться.

— Ну и прекрасно.

— Вот посмотри, Тита дала мне ключи.— Я вытащил из кармана медное кольцо с ключами.

Майя устало улыбнулась.

— Говорил тебе, выход найдется. Все будет в порядке. Слышишь?

Она кивнула. Но слезы катились по щекам.

— Да,— сказала она,— да.

— Ты что, не веришь?

— Я должна буду остаться здесь по крайней мере еще на месяц. Сегодня доктор мне объявил.

Так вот в чем дело. А я чего только не передумал. Повышенная чувствительность в ее положении вещь самая обычная. Страх сменился жалостью, любовь вспыхнула, как вспыхивает водород — тысячи кубометров в единственный миг. Где-то я видел такую фотографию: перед ангаром объятый пламенем цепелин.

Остановил машину, обнял Майю. Губы у нее были солонны от слез, будто она только что вышла из моря.

— Что такое один месяц,— сказал я,— слезинка ты моя, грусть моя, вздох мой. Скоро лето, снимем дачу на взморье. Осталось совсем немного потерпеть.

Она молча комкала платок. Маникюрша, должно быть, давно уже выписалась, у Майи опять были ее обычные девичьи пальчики с круглыми, короткими ногтями, при виде которых меня всегда охватывала нежность и тоска по школьным годам.

Ерунда. Зачем преувеличивать молодость Майи? Не перейдет ли это мало-помалу в комплекс? Ей скоро тридцать. Тридцать. В наше-то время. Конечно, выбор «с кем» в основном и решает судьбу женщины. Но выбор этот происходит не абстрактно, не при неограниченных возможностях, все решают конкретные обстоятельства. В данном случае Майе пришлось выбирать между мной и еще одним. Разве тот, другой, ей больше подходит? Смешно, право.

Она не столько молода, сколько моложава. Это черта характера. Ее глаза как бы твердят — я жду чуда. Даже и теперь, слегка располневшая, она мне кажется лианой, которой нужна опора. И тебе с самого начала польстил ее наивный взгляд, и ты его тотчас истолковал по-своему: пожалуйста, покажи мне чудо. Тебя давно никто не просил показать чудо. И это поразило и обрадовало. Ты ведь тоже в чем-то был еще мальчишка и мечтал о каком-нибудь чуде.

Большой летний кинозал «Дзинтарс» был еще закрыт. Поехали в Майори. В «Юрмале» шел итальянский фильм «Регулировщик уличного движения». Возле кассы крутились главным образом подростки. До начала сеанса оставалось много времени.

— Хочешь мороженого? — сказал я по возможности веселее.

Майя оживилась. Серые медузы исчезли из ее глаз. Выплыли золотые рыбки.

Мы устроились на террасе напротив старого парка. На фоне дымчатого неба сплетение веток было похоже на черный орнамент. Под гитару напевал негромко густой баритон. По дорожкам парка дети гоняли кудлатого щенка.

— Как хорошо здесь! — сказала Майя, беспокойно озираясь по сторонам. — Никуда отсюда не уйду, пока нас не выгонят.

— А как же кино?

— Не знаю. Сейчас даже думать не хочется. Нет, все-таки пойдем!

Мысли у нее путались, кружили. Вообще это было типично для Майи. Она легко поддавалась настроению. У нее была своя собственная таблица умножения и свои собственные гаммы, и дважды два каждый раз у нее давало иной результат, и ни одна нота дважды не звучала одинаково. Только учитывая ее непредсказуемость, ее сюрпризы, можно было, наверно, объяснить то, что произошло тогда в Москве и продолжалось по сей день. Иногда мне самому все представлялось невероятным. Но она и в самом деле всегда поступала бездумно, безоглядно. Как и тогда, в Москве, когда я решил, что она рехнулась, и все же, обмирая от волнения, бросился открывать ей дверь, да и теперь я нередко терялся в догадках — отчего она никогда ни в чем меня не упрекала, — и в то же время понимал, что именно это ее бескорыстие и больше всего привязало меня к ней.

— Тебе когда-нибудь приходило в голову, что я на семнадцать лет тебя старше? — спросил я, изо всех сил стараясь сохранить игривость тона.

— Какое это имеет значение? — У нее на лице появилось веселое, но, как мне показалось, немного и лукавое выражение.

— Ну а все же?

Она помотала головой.

— Ну а все же?

— Молодые — все жуткие дураки. Думаешь, у меня не было моложе? Но в конце концов одно и то же: дурень. Школьницей я была без ума от своего отца. И когда я сравнивала его с теми, кто провожал меня с вечеров и пытался целовать в подъезде на лестнице, они все блекли перед ним.

— Может, кто-нибудь из них любил тебя по-настоящему.

— Может быть. Хотя мне кажется, о любви они понятия не имели. Просто слышали, что-то в этом роде надо делать, вот и петушились. И жутко волновались, как перед упражнениями на снарядах: выйдет или не выйдет.

— И ты ни разу не встретила, кого могла бы полюбить?

— Я встретила тебя,— сказала она другим тоном.— И мне хорошо запомнился тот миг.

— Когда меня встретила?

— Когда поняла, что тебя встретила.

— Но ты ведь знала, что я женат.

— Да я об этом и не думала. Это было как озарение.

— Озарение?

— Да.

— Почему?

Она еще дальше отодвинулась от меня.

— Потому что я поняла, что жизнь моя решена. Я поняла, что на многие годы вперед даже мысль о другом мужчине мне будет неприятна.

В кинозале царил тоскливое ожидание. Немногочисленные зрители сидели порознь между пустыми рядами, как пассажиры в ночном трамвае. Было слышно, за стеной переговаривались механики. В открытые настежь двери запасного выхода залетал воробьиный щебет, мерный шум сосен, оттуда же вползал серый предвечерний сумрак, неуютно мешаясь с тусклым светом ламп. Время от времени кто-то входил, скрипели, грохотали откидные сиденья, кто-то кашлял, где-то говорили, шуршали газетой.

— Могли преспокойно еще побыть в кафе,— сказал я.

— Ничего. И здесь неплохо.

— Если часы мои верны, осталось семь минут.

— Тебе уже надоело?

— По-моему, ждать — это так естественно. Человек всегда чего-то ждет.

— В таком случае я, наверное, не человек, — сказала она с немного комичным вздохом. — Когда ты со мной, мне бы хотелось, чтобы время остановилось. Так редко это бывает. И стоит подумать о том, что часы неумолимо отсчитывают секунды, мне становится не по себе, будто я слышу, как по капле капает кровь.

— По-моему, тебе есть чего ждать. И ты ждешь.

— Нет, мне хочется, чтобы время остановилось.

— Нам вместе с тобой есть чего ждать.

— Вместе — да.

Опять у нее затрепетали ресницы — пыталась сдержать слезы.

— А мне бы хотелось, чтобы время поскорее шло, — сказал я. — Хочется слышать твой смех. Посмотри, моя принцесса на горошине, там экран. Сейчас на нем появится птичка.

— И вовсе не птичка, а Сорди.

— И тебе волей-неволей придется смеяться.

— Хорошо, я буду смеяться. Мне и сейчас уже лучше.

Грянула музыка, из темноты, вращаясь в бесстрастном спокойствии, возник земной шар, перед глазами замелькали пестрые будни планеты: война в Индокитае, бои в Сирии, катание на водных лыжах во Флориде. И вслед за тем, как бы продолжая обзор событий за неделю, на экране появилась Италия, где мелкий чиновник, преследуемый всякими напастями, одержимый множеством безумных затей, мечтает стать заместителем бога в моторизованном мире — полицейским регулировщиком уличного движения.

Сорди, как всегда, играл с блеском, истории, в которые он попадал, были просто комичны, глупо комичны, трагикомичны, трогательно комичны. Я, к сожалению, до Италии не добрался — так и остался сидеть в кинозале. При мне безотлучно находилась Майя. Действие разворачивалось как бы в двух планах. Словно я стоял у витрины, с которой мне улыбались пластмассовые манекены, а за плечами шумела многолюдная, многолюдная улица, плыли облака, катили трамваи.

Майя тоже фильм смотрела краем глаза. Наши взгляды часто встречались. По-моему, и ей не удалось добраться до Италии. Она взяла мою руку в свою. Припомнились уничижительные слова Ремарка о тех

недостойных, кто мешает искусство с любовью, но литературные аналогии ничего не меняли, рассудком я понимал, что со стороны это могло показаться смешным, однако ладонь Майи меня сейчас волновала гораздо больше, чем все итальянское киноискусство вместе взятое. В меня заронили горячую искру. Я почти позабыл, что такой огонь еще существует.

— Должно быть, мы слишком близко сели от динамиков.

— Действует на нервы?

— Аппараты ужасно шумят. И динамики оглушают. Когда кончится фильм, мне придется сразу возвращаться. А мы почти ни о чем не поговорили.

Вышли на улицу. Теплый вечер кутался в сумерки, зажигались фонари, сверкали витрины.

— Куда поедем? — спросил я. — У моря вроде прохладно.

— Мне все равно.

— Может, хочешь просто прокатиться?

— Нет.

— Давай пройдемся до универсама, — предложил я, зная, как ей нравится делать покупки. — Хочу тебе что-нибудь подарить в память о сегодняшнем дне. Но ты сама должна выбрать.

Она сразу оживилась.

— Вот здорово! Я так давно не была в магазине. Так давно ничего не покупала!

Универсам нас принял по-вечернему притихший. Кассиры подсчитывали выручку, продавщицы, сдвинув головы, о чем-то болтали, не обращая внимания на запоздалых покупателей. О жарких баталиях прошедшего дня напоминали вороха пустых коробок и будто бы взрывной волной разбросанные чеки и бумажки.

— Как по-твоему, не начать ли нам с трикотажа? — спросила Майя.

Ее пальцы, перебегая от одной кофточки к другой, мелькали, как у пианистки. Она разворачивала, разглядывала пуховые платки и шали, набрасывала их на плечи, куталась в них, теребила их, комкала в кулаке, разглаживала на ладони и встряхивала. Она забавлялась этим с таким же радостным увлечением, как щенок, играющий с собственным хвостом.

После трикотажа были ткани, потом готовое платье. Продавщицы бросали на нас недовольные взгляды, но Майе все было нипочем. Она вертела

в руках каждую вещь, разворачивала, примеряла, затем клала или вешала обратно. Но особенно дала себе волю в отделе украшений — с брошками, заколками, браслетами, сережками, кулонами и бусами. Здесь Майя надолго застряла. Горный хрусталь, переливаясь, струился по ее ладоням, она смотрелась в зеркало, перебирала на свету гранатовые камешки, серебристое кружево из металла, позолоченные цветы. Нечто подобное происходило и в отделе парфюмерии с духами, кремами, лосьонами, одеколонами.

— Ты же еще ничего не выбрала,— напомнил я ей.

— Думаешь, это так просто,— сказала она.— Ладно: сегодня воздержимся. Купим в другой раз.

Все же я вернулся к украшениям и купил ей брошку из желтовато-алого богемского стекла, которую она дольше всего не выпускала из рук.

И тут невесть откуда появился Пушкунг. Я и не заметил, как он подошел, оглянулся, а он стоит рядом с нами, какой-то весь всклокоченный и взъерошенный, в мятом плаще, со связкой аккуратно завернутых книг под мышкой. Увидел нас — сконфузился, растерялся.

— А я и не знал, что вы живете на взморье,— сказал я, поздоровавшись.

Пушкунг поглядел на Майю, поиграл бровями, дернул себя за воротник.

— Я не живу здесь. Приехал за покупками, магазин здесь хороший.

— В самом деле хороший,— сказала Майя.

— Да,— сказал Пушкунг,— широкий выбор чешских клипс.

— Широкий выбор чего? — Мне почему-то показалось, что я ослышался.

— Клипс,— сказала Майя,— это такие сережки.

— Да.— Пушкунг упорно отводил глаза.— В Риге таких с огнем не сыщешь.

— Ах, вот оно что. Клипсы.

— А внутри у них отличные пружины. Как раз такие, какие нужны для модели узла переключателя.

— Понятно,— сказал я.

— Всего доброго! До свидания!

Мы с Майей его проводили с каменными лицами и еще долго стояли не двигаясь. Потом Майя повернулась ко мне, надула щеки, и по притихшему этажу универмага прокатился ее смех.

Обратно ехали кружным путем. Вспоминая клипсы Пушкинга, мы с Майей покатывались со смеху. Я ей рассказывал всякие забавные происшествия из жизни нашего КБ. В последний момент, когда за стволами деревьев уже замелькали огни санатория, Майя вдруг крепко взяла меня обеими руками за плечо и сказала:

— Дальше не надо, останови здесь. Прошу тебя, давай пройдемся до моря. На минутку, ладно?

Я рано встал, корпел над проектами, высидел длинное совещание, спорил, волновался, пришпоривал себя. В тот короткий миг, пока Майя выжидательно смотрела на меня, все это откуда-то всплыло; я почувствовал и тяжесть, и усталость. Возможно, виной всему была просто лень, а может, старость, порождавшая лень (вот бы лет двадцать тому назад пулей бы полетел!), но мне действительно казалось, что не стоит затягивать наше прощание. Ну, зачем еще к морю, думал я, однако не хотелось Майю огорчать (...семь, восемь, девять — вставай!), и я уступил.

Туман пригибал к земле дым из труб. Тишина звонкими каплями срывалась с мокрых веток. Влажный песок налипал к подошвам. Взираясь на дюны, я слышал прерывистое дыхание Майи. Ветер, должно быть, отошел от берега, у моря его совсем не чувствовалось. В темноте лениво плескались прибрежные мели.

Завтра непременно надо будет пробиться к Улусевичу. С одним только Памшем каши не сварить. Удобнее, конечно, было бы просто позвонить Левину, впрочем, нет, Левин без Улусевича все равно ничего не решит.

— ...словно две серебряные ложки на подушке из черного бархата,— сказала Майя.

Звонить не имеет смысла. Придется идти самому и прямо к Улусевичу. На Улусевича нужно постоянно давить, иначе он пальцем не пошевелит.

— ...тебе не кажется? Иной раз темнота бывает какой-то пустотелой, а сегодня она насыщенная. Мы,— повторила Майя,— словно две серебряные ложки на подушке из черного бархата.

А-а, хорошо, что вспомнил, у меня в кармане все еще лежала купленная Майе брошка. Чуть было не забыл. Все из-за клипс Пушкинга.

Я растегнул Майину куртку и, осторожно просунув ладонь под изнанку материи, чтобы ненароком не оцарапать булавкой, приколол брошку на платье. Майя

прижалась ко мне всем телом, теплая, трепетная, ждущая. Усталость, лень, тяжелый день, все, что свалилось на меня, осталось опять позади, я бросился Майе навстречу, чувствуя, как силы растут, рвутся наружу, вверх, я распускался как распускается дерево, я тянулся вверх, я раздавался вширь. Куда девались расслабленность, лень и апатия, я был тверд, как бивень, чувствителен, как живая плоть. Далекой молнией блеснула еще мысль: неужели это ты, моя прозрачная живительная капля вешнего дождя, нежная песня без слов. Мои губы коснулись какой-то горячей жилки у нее на шее, рядом с моим сердцем билось ее сердце, серебряные ложки, подушки из черного бархата тьмы, она взяла мою руку и повела ее по черному бархату теплых подушек, вот здесь, вот здесь, вся она дрожь и трепет, зреющая, ждущая, нетерпеливая и горячая. Она тихо рассмеялась и спросила, чувствую ли я. И губы голубили, губы вопрошали, не больно ли ему. А она смеялась, и вздрагивал ее в благословенной тягости живот,— да нет же, с чего ему будет больно? И руки мои стали сплошным трепетом. Да, сказал я. И в ответ она смеялась — да! Потом уж и я превратился в сплошной трепет. И черный бархат темноты превратился в наковальню, и на ней из наших двух сердец выковывали одно — общее.

Поодаль, качаясь на ветру, жалобно скрипели забытые с лета качели. Мы с Майей сидели на скамейке и смотрели в море.

— Вот теперь мне пора,— сказала Майя.

— Значит, так,— сказал я,— в субботу я не приеду. В субботу у Виты свадьба.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Свадьба была в субботу. Несчастье случилось в понедельник вечером.

У меня не было никаких дурных предчувствий, настроение было превосходное, мне казалось, что даже самые тугие узлы понемногу начинают развязываться. Но, возможно, это и было своего рода предчувствием, помню, бабушка мне говорила в детстве: больно звонко смеешься, как бы плакать не пришлось. Маятник часов отклоняется до предела, затем возвращается обратно. За редкими исключениями, которые в общей сложности выравниваются, в природе сохраняется равновесие.

Массы воды, уходящие при отливе, возвращаются с приливом, жаркое лето, как и морозная зима, незначительно меняют среднегодовую температуру. Быть может, люди, как перелетные птицы, нутром своим чувствуют, когда необходимо повернуться в сторону радости, чтобы потом не надломиться под бременем невзгод. Не думаю, чтобы за всем этим приглядывало некое всевидящее око, просто-напросто природа, будучи гениальным конструктором, достигла эффекта непрерывности, соединив все крайности в единую вращающуюся систему, — отсюда и столь яркая драматургия противоположностей: буйство красок осеннего леса перед тем, как ему погрузиться в зимнюю бесцветность, превращение ползучей гусеницы в легкокрылую бабочку и затишье перед бурей.

В четыре утра я стал собираться домой. Уже сняли с невесты венок, надели повойник, уже проводили молодых наверх, в спальню, на белоснежные простыни. А машина свадебного пиршества, основательно прогревшись, работала вовсю, набирая скорость.

В прихожей столкнулся с Ливией, спросил, не поедет ли и она домой. Нет, ответила Ливия, на кухне целая груда немытой посуды, я останусь. Перекинулись еще двумя-тремя фразами, и она мне вовсе не показалась тогда расстроенной или удрученной.

Друзья Тениса устроили мне громкие проводы — вышли во двор, исполнили хор пилигримов из «Тангейзера». Витина подруга, красотка Ева, подарила мне алую розу.

Добравшись до моста через Даугаву, я понял, что это опять тот случай, когда следует немного проветриться. Все равно мне сразу не уснуть, сначала нужно самого себя немного поводить, как жокеи водят разогрятых лошадей после состязаний. И тогда пришла в голову мысль съездить на взморье к Майе, чтобы там, в темноте, под ее окнами подышать свежим морским воздухом, настоящим на хвое. Идея, прямо-таки скажем, банальная, созвучная стилю, который был у меня в ходу лет двадцать пять тому назад, когда я бредил Валидой. Но что было делать. Тоска по Майе проникала во все поры, как моросящий дождик, который «дворник» счищал с ветрового стекла и который опять покрывал его своим влажным дыханием.

В воскресенье встал поздно, сделал зарядку, умылся, позавтракал, сел за работу. Словно шутя, разрешил одну немаловажную проблему иннервационного проекта.

Понедельник тоже был удачным. В министерстве пробился к Улусевичу, тот пообещал получить «добро» Москвы на заказ, с которым я связывал большие надежды.

В семь часов вечера в учебном кабинете на курсах по повышению квалификации читал лекцию о будущем телефонии. С воодушевлением говорил о необходимости заменить цифровые диски кнопочным устройством, о модернизированных станциях, позволяющих для одновременного разговора подключаться трем и даже четырем абонентам, о кабелях из стекловолокна, рассчитанных с помощью лазерного устройства на сотни миллионов вызовов... Вошла заведующая курсами Карклиня и положила передо мной записку. Я решил, это какой-то письменный вопрос, и продолжал говорить. Но Карклиня, отойдя на несколько шагов, кивала на записку. В записке стояло шесть слов: вам срочно нужно позвонить по телефону (затем — шесть цифр).

Куда позвонить? Зачем? Срочно звонят в пожарную часть, в милицию, аварийную службу.

Пытался снова вернуться к телефонии, — так перепуганная мышь пытается забиться в нору, — попробовал собраться с мыслями, подытожить сказанное, но чувствовал, как всего меня без остатка обнимает страх, — беззащитный, съежившийся, маленький, метался я по половице, все яснее сознавая, что нет возможности вернуться в нору, что я стал мишенью, меня пронизывает множество глаз. Номер незнакомый. Майя. Что-то случилось с Майей. Но все телефоны на взморье начинаются с шестерки. Тогда, может, с Витой? Что толку гадать. Сейчас все прояснится. Немного терпения.

Прервав лекцию, подошел к Карклине:

— В чем дело?

— Понятия не имею. Сказали, звонят из травматологической клиники, просили срочно позвонить.

— Травматологической?

— Больше ничего не сказали.

Я недоверчиво посмотрел ей в глаза. Она врала мне. На уровне воспитательницы детского сада.

Телефон был рядом, в соседней комнате. Нужно было только собраться с духом, но я не мог себя заставить пойти туда, мне почему-то хотелось сесть. Раз уж что-то случилось, значит, случилось. Мой звонок никого не спасет, ничего не изменит.

Диск аппарата вращался медленно и вяло. В самом деле, пора переходить на кнопочное устройство. Равномерно-бесстрастный гудок был так меланхоличен.

— Говорит Альфред Турлав.

— Одну минутку, — произнес приятный девичий голос. — Сейчас позову.

— Алло, вы слушаете? — Приятный голос сменил другой, стершийся и бесцветный. — Товарищ Турлав, скажите, пожалуйста, ваша жена работает на службе «Скорой помощи»?

— Да. Почему это вас интересует?

— К нам поступила гражданка без документов. Шофер «скорой помощи» утверждает, что эта женщина ему знакома. Говорит, она работает в диспетчерском пункте «Скорой помощи» и что фамилия ее Турлав. Вы не могли бы к нам подъехать?

Ливия. Вот о ней-то я не подумал. Такое мне даже в голову не приходило. Поначалу был не столько потрясен, сколько попросту удивлен. Ливия? Почему Ливия? С ней-то что могло случиться? Но, понемногу приходя в себя, взглянул на все трезво и ясно, перебрал все возможные причины и следствия. И у меня мороз прошел по коже.

Сейчас вот сяду в машину, старался я отвлечь себя посторонними мыслями, в баке совсем немного бензина, может, сначала заехать на бензоколонку, а потом в больницу. Или все же рискнуть. Нет, о том, что случилось с Ливией, сейчас рассуждать не время. Сейчас я должен сесть в машину, запустить мотор. Выбраться из толчеи на стоянке. Успеть проскочить перекресток до того, как загорится желтый свет. Обогнать вот тот грузовик с прицепом.

Дождь лил уже третьи сутки. Я сидел, наклонившись к ветровому стеклу, видимость была скверная. Зачем я поехал по этой дороге, через станцию Браса было бы гораздо ближе. Какие-то посторонние шумы, наверное в карбюраторе. Слава богу, поутихли. Нет, опять фырчит. В этой части города воздух всегда сладковатый. На сей раз я ощутил это особенно остро. Я задышался, к горлу подкатывала тошнота.

Во двор травматологического института въехала машина «скорой помощи». Пострадавший кричал не своим голосом, который мог принадлежать как женщине, так и мужчине или вообще не человеку.

После томительных поисков отыскалась сестра, с которой говорил по телефону. Мне казалось невероятным, что в палатах тишина, покой и порядок. На столе стояла белая фарфоровая вазочка с голубыми весенними цветами. Я все ждал, что вот сейчас за стеной кто-то закричит голосом Ливии. Внутренне я приготовился к такому воплю. По правде сказать, я его уже слышал, вернее, меня не покидало ощущение, будто я его слышал.

Сестра положила передо мной на стол записную книжку и связку ключей.

— Вам знакомы эти вещи?

Я повертел в руках книжку, долго разглядывал ключи, хотя последние сомнения рассеялись в тот самый момент, когда увидел эти вещи.

— Да,— сказал я.

— Значит, шофер не ошибся. В таком случае необходимо оформить историю болезни. Документы должны быть в порядке. Тем более что речь пойдет о суде и милиции.

— Что случилось?

— Дорожное происшествие, травма головы. Поврежден также позвоночник.

— Она была в сознании? Когда доставили?

— Совсем недавно.

— Я могу ее видеть?

— Сейчас ее оперируют.

— Тогда я подожду.

— Навряд ли вам имеет смысл дожидаться,— сказала сестра своим бесцветным голосом.— Такие операции обычно длятся пять-шесть часов. Оформим все необходимое, и поезжайте домой. Потом позвоните дежурной сестре. Сегодня вас все равно к ней не пустят.

— Я бы хотел поговорить с врачом.

— Ждать не имеет смысла,— повторила сестра.

Провел по лицу ладонью, усталость была жуткая.

— Как вам кажется? — сказал я и подумал, что никогда не слышал такой апатии в своем голосе.— Ведь вы ее видели. Будет ли это иметь последствия?

Южноамериканские пираньи, маленькие хищные рыбки, в мгновение ока раздирают зашедшего в реку на водопой быка, сжирают всего, остаются лишь голые кости. Сестра взглянула на меня так, как будто я угодил в реку к пираньям.

— Операция продолжается,— сказала она,— больше ничего не могу вам сообщить.

Вышел во двор. По лужам тренькали капли дождя. Серые, сырые сумерки понемногу сгущались. Поехал в сторону центра. Просто так, безо всякой цели. Где-то у Академии художеств пришла в голову мысль, что нужно бы поговорить с кем-нибудь из свидетелей.

В приемной дежурного ГАИ на повышенных тонах разговаривали возбужденные люди. Насколько можно было заключить из их речей, они приезжали в Ригу на экскурсию, теперь хотели вернуться домой, но автобус куда-то исчез. Наконец они ушли. Я остался.

— У вас ко мне еще какие-то вопросы? — Лейтенант вскинул на меня глаза. Очевидно, решил, что я один из экскурсантов, и не мог понять, почему я не ушел вместе с ними.

— Моя жена попала в автомобильную катастрофу. Сейчас ее оперируют в больнице. Это случилось час или два тому назад...

— Вы имеете в виду несчастный случай в Старой Риге? С неопознанной гражданкой?

— Эта гражданка — моя жена.

— Заключение будет сделано позже, в этом деле есть еще неясности.

Лейтенант говорил по-русски с заметным акцентом уроженца города Лимбажи.

— Заключение меня не интересует,— сказал я ему по-латышски.— Просто хочу знать, как это произошло.

Лейтенант довольно долго потирал нос, потом нажал кнопку на панели связи.

— Слушаю,— отозвался в динамике молодой мужской голос.

— Улдис? Ты выезжал по вызову вместе в Василием Павловичем? Не найдется ли у тебя свободная минутка?

Немного погодя в комнату вошел молодой человек атлетического сложения, интеллигентной наружности, который вполне мог сойти и за ученого, и за актера.

Именно такой тип в последнее время все чаще сменяет устаревшую модель сотрудника милиции.

— Муж пострадавшей желает знать подробности,— пояснил лейтенант.

Атлет (по званию тоже лейтенант) расстелил передо мной городскую схему.

— Могу лишь в общих чертах изложить ситуацию. Только что по телефону предложили свои услуги двое очевидцев. Место тут, прямо скажем, отвратное,—проговорил он, тыча карандашом в схему.—Старая Рига, район Пороховой башни, там, где к перекрестку улиц Валню и Смишшу выходят еще две улицы.

Странно. Что Ливии понадобилось в Старой Риге, да еще в тот момент, когда ей следовало быть на работе?

— Как удалось установить, пострадавшая шла от Бастионной горки, вначале пересекла бульвар Падомью. На перекрестке улицы Смишшу, пройдя немного вперед,— вот здесь — собиралась пересечь улицу Валню. Легковая машина «Волга» ехала в направлении... Несчастный случай произошел здесь.— Отточенный конец карандаша опять уткнулся в схему.— А здесь стоял микроавтобус «Латвия». Как свидетельствуют сделанные на дорожном полотне замеры торможения...

Припомнился последний разговор с Ливией в прихожей дома Бариней на Кипсале. Она совсем не казалась удрученной или расстроенной. Тем хуже. Особых причин для радости у нее не было. Просто бодрилась.

— Ну вот,— сказал я тогда Ливии.— Одним Турлавым стало меньше.

— На свадьбе каждый думает о своем...

— Свадьба уже кончилась.

— Для тебя, может, кончилась. Для меня пока нет.

— Все равно кончилась.

— Мне торопиться некуда. У меня ведь другой не предвидится.

Глазами Ливии глядел на меня атлет-лейтенант.

— ...необходимо учесть и плохую видимость,— продолжал он,— дождь, туман. А также психологический момент. В такую погоду люди менее внимательны, апатия снижает реакцию.

Должно быть, переутомилась, подумал я, бессонные ночи, предсвадебные волнения, может, лишний бокал вина. Но все-таки что ей было делать в Старой Риге? В столь поздний час, когда все учреждения закрыты?

— Она переходила улицу в непопозволенном месте?

— Во всяком случае, произошло это на проезжей части. Расследование продолжается.

— Спасибо.

Протянул ему на прощанье руку. Он взглянул на меня сначала недоуменно, потом с добродушной, почти детской улыбкой. Я кивнул дежурному и вышел.

Ни о чем не думая, ни на что не рассчитывая, поехал в Старую Ригу. Вышел у Пороховой башни. Мокрый асфальт, пестрящий огнями витрин, фонарей. Сверкающая капель, решетящая лужи. Втянув головы в плечи, сквозь дождь скользили люди, совсем как бутылки на конвейере моечного аппарата. Напротив места происшествия лежали штабеля разобранных металлических лесов. На асфальте виднелись какие-то пятна, но это были следы пролившейся краски. Рядом со мной, нещадно сигналив, затормозила машина. Обычный городской перекресток. Попробуй тут разберись.

Минут через двадцать я снова входил в приемную дежурного ГАИ.

— А, хорошо, что вернулись,— сказал дежурный.— Забыли записать фамилию пострадавшей.

— Ливия Турлав,— сказал я.

— Адрес?

Назвал адрес.

— Ну вот,— сказал лейтенант,— как будто все.

— У меня к вам просьба. Вы не могли бы дать мне адрес того шофера?

По всему было видно, я начинал надоедать дежурному. Все же он снял трубку, нажал нужную кнопку. Это был номер местного коммутатора.

И опять я сел в машину, поехал на ту сторону Даугавы. У моста попал в пробку. На улице Даугавгривас проскочил нужный поворот, пришлось возвращаться. Район Ильгуциема преобразился — не узнать. Наконец нашлась и улица Лилий, короткая, сплошь перерытая, грязная,— между конечной остановкой трамвая и горам желтого песка свежих траншей для канализации. Дом был новый, на лестнице пахло краской. Дверь открыл смуглолицый мужчина, на руках он держал девочку лет трех.

— Вы Петерис Опинцан?

— Да,— сказал он. Сказал так, как будто он ждал меня.

— Пришел...— Я осекся. Объяснить, зачем я пришел, было совсем не просто.

— Понимаю,— сказал он,— она умерла.

Слово «умерла» больно резануло,— точно я увидел какую-то отсеченную часть самого себя.

— Умерла? С чего вы взяли? Час назад она была жива.

Он смотрел на меня не мигая. Девочка вырывалась у него из рук, просилась на пол, но он, казалось, не замечал этого.

— Вы ее муж?

— Да.

— Есть дети?

— Дочь. Взрослая.

Должно быть, впервые сказал об этом, не чувствуя сожалений.

— Питер, чего ты встал как столб, зови человека в дом,— слышался старушечий голос.

Мужчина, как бы опомнившись, отступил от двери. Старуха, скользнув по мне взглядом, ушла на кухню. И девочка, освободившись наконец из отцовских рук, скрылась за стеклянной дверью. Тотчас там заплакал другой ребенок, поменьше.

— Присядьте,— сказал мужчина, второпях снимая со спинки стула какую-то одежду. Пол пестрел детскими игрушками.

Я так и остался стоять посреди комнаты. Мужчина ходил вокруг меня, сначала собирая раскиданные вещи, потом ходил просто так, без видимой причины, должно быть оттого, что не мог успокоиться.

— Семнадцать лет работаю шофером,— заговорил он,— а у меня и первый талон еще не был проколот.

Ребенок за дверью захлебывался в крике.

— Замолчишь ты, пострел этакий! — заругалась женщина.

— И вдруг на тебе! Как обухом по голове. Сам не понимаю, как это случилось. Ну да, лил дождь. Да не такой уж сильный, чтобы совсем не видать. И не темно еще было. Ехал нешибко, впереди перекресток. Вдруг из-за микроавтобуса — женщина! Во все глаза на меня глядит! Ну, думаю, видит,— значит, остановится. А она — прямо под колеса.

— Думаете, поскользнулась?

— Не знаю. Как-то сразу все получилось. Я и ахнуть не успел, уж она снопом валится. Еще вперед руки выбросила. Вот так.

— И смотрела на вас? Видела?

— А может, не видела. Откуда я знаю.

— Тормозить было поздно?

— Шага два оставалось, не больше.

— Да-а.

— Крутанул влево, да куда там.

— Да-а.— Достал сигареты. Взгляд остановился на валявшемся на полу резиновом мйшке. Сунул сигареты обратно в карман.

Мужчина спиной ко мне стоял у окна.

— Такое дело,— сказал он,— прямо как обухом по голове. Машина подпрыгнула, ну, думаю,— там, внизу.

Он повернулся ко мне, его широко раскрытые глаза еще больше раскрылись — вот-вот потекут. Одна слеза скатилась, повисла на кончике носа, заискрилась на свету.

— Послушайте,— сказал я,— а вам не кажется... Вы полностью отвергаете возможность, что она...— Я замолчал.

Он воздел кверху руки и позволил им свободно упасть. Звучно шлепнули ладони по бедрам.

— Не знаю,— сказал он,— чего не знаю, того не знаю. Как-то сразу все получилось. Помню, плащ у нее такой симпатичный, с цветочками.

Из Ильгуциема опять поехал в больницу. В лучах фар серебрились ветки деревьев, оперявшиеся первой зеленью. Открылся вид на Кипсалу, на баржи, пароходики в канале Зунда.

Подумал, не заехать ли к Вите, но не мог никак решиться. Сначала надо узнать, как прошла операция. Такая причина показалась достаточно убедительной.

Проехал мост, позади остался Театр драмы и высвеченный прожекторами Музей искусств. Настоятельно сигналив, поблескивая огнями-блицами, меня нагоняла машина «скорой помощи». Я знал, что пункт назначения у нас один и тот же, но с готовностью посторонился. Это я мог. Но я не мог совсем остановиться, не мог совсем не ехать, уж это было не в моей власти. У каждого несчастья своя гравитация. По правде сказать, я давно вращался вокруг несчастья Ливии, как шарик, привязанный на нитке, и оно, это несчастье, держало меня на своей орбите крепче стального троса.

В Паневежском театре. Несколько лет тому назад. Тогда все ездили в Литву, Паневежис, смотреть спек-

такли. Даже присказка такая появилась: в Паневежисе гуси на улицах, в Риге — на сцене. Банионис играл коммивояжера. Глубоко несчастного человека, которого доконала жизнь. Любовьница, дети, шеф. Коммивояжер неудачно пытается отравиться газом, потом, застраховав свою жизнь, умышленно врежется в стену на автомобиле. Последняя сцена у могилы. Одетые в черное люди. Венки. Цветы. Надгробные речи.

Где-то в середине действия Вита заплакала. Ну, подумаешь, не велика беда, решил я про себя, у девочки чувствительное сердце, вот что значит прекрасный театр. Но она все никак не могла успокоиться, всхлипы перешли в рыдания, Вита кусала губы, плечи у нее дрожали. На нас оборачивались. Опустился занавес, слышались аплодисменты, актеры вышли раскланиваться, в зале зажгли свет. А Вита все плакала. Она была совершенно подавлена, вконец разбита, тряслась от плача, всхлипывала, утирала слезы. Никто не мог понять, в чем дело. Одни с интересом поглядывали в нашу сторону, другие тактично отворачивались. У вас в семье, случайно, никто не умирал? А может, девочка просто переутомилась? Я и сам терялся в догадках. Прямо наваждение какое-то. Переходный возраст лихорадит? Может, как раз тот случай. Или какое-нибудь стечение обстоятельств.

Все это припомнилось, пока стучался в дверь дома Бариней. Одно окно нижнего этажа еще светилось.

На пороге, в сумраке коридора, предстал передо мною обнаженный по пояс парень.

— Извините, Янис, что так поздно. Мне бы с Витой переговорить.

— Да ведь они наверху живут.

— Извините. Совсем из головы вылетело.

Ощупью взбираясь по темной лестнице, вспомнил, как укладывали молодых. Свадебное празднество казалось уже таким далеким.

Тенис безо всяких вопросов распахнул дверь. Не видя, кто перед ним, жмурился, зевал во весь рот.

— В чем дело? Сами не спите и другим не даете.

— Так получилось, Вита уже спит?

— А-а-а-а,— узнав меня, протянул Тенис.— Я думал, кто-то из братьев.

Взглянул на меня и нахмурился, собираясь с мыслями.

— Который час? Что, уже утро?

— Нет,— сказал я,— половина двенадцатого.

Тенис опять взглянул мне в глаза, на этот раз по-другому. (Он был почти голый — тугие комки мускулов, пушок на белом животе.)

— Проходите, пожалуйста. Я сейчас. Один момент.

— Тенис, свет не зажигай,— донесся из комнаты голос Виты.— Кто там? В чем дело?

— Твой отец,— сказал Тенис.

— Папочка, ты? Заходи же. Нет, свет не зажигай. У нас тут страшный беспорядок.

Понемногу глаза свыклись с темнотой. Впрочем, было не так уж темно. Окно выходило на улицу, неподалеку светил фонарь. Никакого «страшного беспорядка» я не заметил. На спинке стула белело полотенце. Вита торопливо облачалась в ночную рубашку. Тенис успел натянуть брюки, застегивал ремень.

— Садись, папочка, на кровать, стулья все еще внизу,— сказала Вита, отодвинувшись к стене.

— Ничего, постою.

— Да нет же, спокойно можешь сесть. Вот сюда, на одеяло.

Хорошо знакомый запах свежих простынь, теплого тела, запах любви уловили ноздри.

Еще тяжелее навалилась тоска, еще крепче вцепилась в меня усталость, когда понял, как я не вовремя заявился.

Присел на край кровати. И не мог из себя выдавить ни слова. Вита отодвинулась подальше, вроде бы для того, чтобы лучше видеть мое лицо, а может, чутьем уже чувствуя что-то недоброе, и, как удара, ждала моих слов.

Молчание, по правде сказать, было недолгим, но и недвусмысленным. Вита отвела от меня глаза, обхватила руками плечи, словно укрываясь от принесенного в комнату холода.

— Папочка, что случилось?

Я молчал.

— Папочка, что?

— С мамой.

— С мамой?

— Да.

— С мамой! Но что?

— Очень плохо.

Вита отодвинулась еще дальше. Зачем-то скинула с себя одеяло, казалось, сейчас встанет, но так и осталась сидеть.

— Попала под машину. В половине седьмого у Пороховой башни. Я только что из больницы. Переходила улицу и...

Нет, Вита все-таки встала с постели. Вытянув руку, добрела до стены, включила свет. Все это не спуская с меня глаз. Будто не поверила моим в темноте произнесенным словам и хотела получить подтверждение прямо из моих глаз.

Тенис ей кинул на плечи халат, босиком, без каблуков, она была Тенису до подбородка.

Я все ждал, когда же она заплачет, примерно так, как тогда в Паневежисе, но она не плакала, просто смотрела на меня оцепенелым взглядом и мотала головой.

— Не может быть, не может быть.

— Четыре часа оперировали,— сказал я.— Я ездил на то место. Все удивляются, как это могло произойти.

— Она была одна,— тихо сказала Вита.

Я так и не понял, был ли это вопрос или ответ.

— Одна,— сказал я.

Вита поднесла к губам руку и покачала головой.

— Какая жестокость.

И на том же месте, у выключателя, у нее подкосились ноги, и она рухнула на пол.

Ничего подобного я не ожидал, даже вскочить не успел, поддержать. Вдвоем с Тенисом мы уложили ее обратно в постель. Вскоре она пришла в себя.

— Ничего, это пройдет,— говорил Тенис, растирая ей виски.

Но Вита, глядя на меня застывшими, стеклянными глазами, все повторяла:

— Какая жестокость.

Тенис уговаривал меня остаться ночевать. Я отказался. Понемногу приходил в себя, мысли уже не метались, напротив,— застыли, затвердели, окаменели. Я по-прежнему видел, слышал, понимал, но больше в меня ничто уже не просочится, голова была налита затвердевшей лавой. Ливия лежала в больнице, а я ехал домой. Хоть немного поспать. Завтра на работу. В баке осталось пять литров бензина. Я сижу за

рулем. Светофор на перекрестке вспыхнул зеленью. Кошка перебежала дорогу. Рабочие ремонтируют трамвайную линию. Прикуривая сигарету, большим пальцем прикоснулся к раскаленной спирали. Запахло паленым, палец болит. У человека, который сидит за рулем машины и которого зовут Альфредом Турла-вом, болит палец.

Как обычно, поставил машину в гараж. Как обычно, проверил, хорошо ли закрылась дверь. Как обычно, кинул взгляд на окна. Как обычно, в будуаре Вилде-Межнице светился оранжевый абажур. Потом свет погас. И отворилось окно. (Тоже — как обычно.) Вилде-Межнице что-то сказала. Чтобы я поднялся к ней наверх или что-то в этом роде. Скрипящая дубовая лестница. Запах воска. Духи Вилде-Межнице. Суар де Пари. Келькё Флер. Таба. (Где-то попадались мне эти названия.) Запах высушенных лавровых венков. Запах грима. Запах кофе.

— Вам известно, сколько сейчас времени? — В го-лосе Вилде-Межнице металлический призыв.

— Без четверти три.

— Вот именно! А вам не кажется, что без четверти три мне бы полагалось быть в постели?

— Вполне возможно.

— А я не могу уснуть. Я дожидаясь вашу жену. Просто слов не нахожу. В пять часов пополудни она по моей просьбе едет в сберкассау взять деньги, но вот уж три часа ночи, а ее все нет!

Глаза Вилде-Межнице, подобно двум отбойным молоткам, вонзились мне в лоб. Казалось, я слышу, как громяхают эти молотки. Гулками, короткими очередями. (Так громяхают отбойные молотки, взламывая ас-фальт.) Мне показалось даже, что искры посыпались. В ушах стоял оглушительный грохот. В моем затвердев-шем, как лава, мозгу что-то треснуло. А из трещины, мне самому на удивление, ударил целый фонтан до-гадок и чувств.

— Она пошла для вас взять деньги?

— Вас это удивляет?

— Да. В общем — да.

— Я места себе не нахожу. Я понимаю, могут воз-никнуть всякие непредвиденные обстоятельства, но ведь можно позвонить. Есть у вас ее рабочий телефон? Дайте мне.

— Рабочий телефон Ливии?

— Не сомневаюсь, она сейчас как ни в чем не бывало сидит у себя в диспетчерской.

Я видел обиженно надутую верхнюю губу. Видел презрительные складки на пористом лбу поверх сдвинутых бровей, видел симметричные морщины, наподобие скобок спускавшиеся по щекам до заносчиво выпяченного подбородка. И постепенно я переполнялся такой злостью, какой никогда еще к ней не чувствовал. Всю оцепенелость мою рукой сняло, внутри у меня что-то разваливалось, расщеплялось. И все же нашлось достаточно сил, чтобы сдержать те слова, что криком ломились наружу.

— Сначала она мне сказала, что неважно себя чувствует и на работу не пойдет,— обиженно продолжала Вилде-Межнице.— Я отдала ей сберкнижку и попросила, чтобы она занялась этим, когда почувствует себя лучше. У меня ведь не горит, потом она передумала, объявила, что за деньгами все-таки зайдет. Однако по дороге, должно быть, еще раз передумала.

— Ничего она не передумала,— сказал я,— и сейчас она не на работе, а в больнице.

— Все равно. Из больницы тоже можно позвонить.

— Она при смерти! Если это вас вообще интересует, в чем я сильно сомневаюсь. Отправляясь за вашими деньгами, она попала под машину. Что касается денег, можете не беспокоиться. Завтра же все выясню. Вы ничего не потеряете. И книжку свою получите!

Вилде-Межнице смотрела на меня скорее презрительно, чем осуждающе. В остальном выражение ее лица нисколько не изменилось.

— Благодарю вас,— сказала она.— Вы чрезвычайно любезны.

— Завтра же я с вами рассчитаюсь!

— Je regrette beaucoup de ne pouvoir rien faire pour vous¹.

— Только я думаю, у эгоизма тоже есть свои пределы.

— Тем самым вы хотите сказать, что вы не эгоист? Что вас очень волнует судьба Ливии?

— Да. Меня волнует судьба Ливии.

Она рассмеялась коротким, колючим смехом.

¹ Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь (фр.).

— После того, как она угодила под машину, да? И не стесняйтесь, можете кричать. Может, вам станет легче. Всегда становится легче, когда отыщется кто-нибудь, на кого можно свалить вину. Вот ведь все как просто: Вилде-Межнице послала вашу жену за деньгами, и потому она попала под машину...

На меня опять нашел столбняк.

— Вы же знаете, это неправда. Задолго до сегодняшнего дня и до того, как она попала под машину, вы ее сами раздавили, Турлав. Вы сами.

Как хорошо, наконец наступило лето, и озеро Буцишу звенит, выкатывая волны на разноцветные прибрежные голыши. Омытые, они блестят, как лакированные, а просохнут на солнце,— такие серые, монотонные. На ветру шелестят аир, рогоз, осока. Над кувшинками млеют голубые стрекозы. Вода мягкая, светло-коричневая, по цвету как пиво. Катится к берегу, взбивает пену, пускает радужные пузыри, и те плывут себе среди тростниковой трухи и так пристально вглядываются в небо, совсем как большие глаза. Положив руки под голову, я лежу на траве. Надо мною склонились марена, тмин, таволга, тысячелистник. И божья коровка качается на ромашке. И большой гудящий шмель сучит ножками в белой кашке. Но выше всех поднялся жаворонок. Можно подумать, он немного не в себе, ведь со всех высот он видит то, чего не видит шмель,— озеро со всеми семью островами, всеми заливами, берегами. А вокруг лесá, луга, холмы и рощи, и опять озера, и опять леса, луга, холмы и рощи — необъятный простор до самого горизонта сквозящего синими борами. По обе стороны от дороги малинники. Голенастая малина вперемежку с крапивой. А мы ломимся дальше, туда, на солнцепек, на гудящую пчелами вырубку. Ягоды крупные, алые, так и тают, только дотронься, алый сок стекает по рукам до самых локтей. Пальцы красные, ладони красные, лица красные. Больно жалит крапива. Вита кричит, потирая красные ладони: папочка, скорей на подмогу! Змеится красное пламя под закоптелым котлом. Синий дым и пекло. Варится, лениво булькает варенье. Мир полон малиновым духом, словно баня паром. Кружат черно-желтые осы, ползут по черенку ложки, усами пошевеливают, садятся на кромку котла, валяются в манящее кроваво-

красное варево. Чуть свет я спускаю на воду надувную лодку, поджидаю лещей. Над озером — дымком от костра заночевавших на лугу косарей — стелется туман. Прохладно, поеживаюсь. В прибрежных зарослях щуки гоняют пескарей. Туман все плотнее, все гуще, сомкнулся вокруг меня. Синевато-серая гладь озера слегка дымится, даже красного поплавок как следует не видать. Солнце, должно быть, уже низко. Туман отливает перламутром. И вода как будто оживает, на нее ложатся легкие тени. А потом, наподобие звонкого, торжествующего крика труты, туман пронзает солнечный луч. Вот он рассекает клубящуюся дымку, как рассекает волны нос корабля, ныряя в них, исчезая, опять возникая, покуда туман совсем не загустеет, и тогда пора выбираться на берег. Со дна лодки, с трудом разевая рот, неподвижным зрачком глядит лещ. Есть у тебя заветное желание? — спрашивает лещ. Да, отвечаю, а сам гребу к берегу. Есть у меня заветное желание. Хочу сфотографировать облако поверх заходящего солнца. Рука вытянута, и солнце лежит у меня на ладони. Над солнцем облако с золотой каймой. Прекрасная композиция. А какой у тебя аппарат? — спрашивает лещ. «Зенит-ЗМ», отвечаю, с телеобъективом. Раньше у меня был старенький «ФЭД». Седьмой год сюда езжу, все хочу сфотографировать облако поверх заходящего солнца. Старуха ель громоздится над озером. Мохнатая, колючая. Ствол в молочно-белых смоляных оплывах. Совы испятнали нижние ветки. Я взбираюсь до самого верха, привязываюсь к стволу, чтобы руки были свободны. На воде легкая зыбь. Блестит, как рыба чешуя. Сверху озеро кажется малиновым варевом. Запах малины щекошет ноздри, сладко першит от него в горле. Ливия, когда ты наконец перестанешь возиться с вареньем, кричу вниз. Это только седьмой котел, отзывается Ливия, хлопоча у костра. Сверху вижу ее загорелую спину. Я пытаюсь сделать фототрюк — подставить под солнце ладонь.словно огромную ягоду малину, буду держать на ладони солнце. Рука должна быть красной. Все должно быть естественным. Плывет по небу серебристое облако. Медленно плывет на запад, светозарное. Как раз такое облако мне и нужно. Такое облако я ждал все эти годы. И ветер гонит его в нужном направлении. На нужной высоте. Глазам не верю, нет, в самом деле, солнце, словно спелая ягода, сейчас повиснет над горизонтом, а облако своей нижней кром-

кой коснется окружности солнца. Так и было задумано. Да, сегодня все как надо. Сегодня мне повезло. Все удивительно совпало. Скорость погружения солнца и угол движения облака, направление ветра и местонахождение ели. Сейчас, сейчас можно будет шелкнуть. Сию минуту. Еще немного терпения. Раз. Два. Три. Вот опоясала облако золотая каемка. Вот покраснела рука. Теперь все нужно. Но где фотоаппарат, где мой «Зенит-3М». Нет аппарата. Пуст чехол. На груди болтается ремешок, сухо поскрипывает кожа. А облако уплывает. Солнце садится в алое озеро. Никогда мне больше не представится такая возможность. От малинового духа кружится голова. И это вовсе не чехол от аппарата поскрипывает на груди, сердце поскрипывает. Мне хочется крикнуть, но ни единого звука не срывается с губ. Смотрю вниз, где Ливия варит малину. И Ливии больше нет. У котла стоит Майя и еще там олимпиец Фредис. Майя помешивает кипящее вариво. Я расскажу вам, что приключилось со мною тогда в Берлине, говорит Фредис. В руках у него карандаш, к концу карандаша привязан блестящий металлический кубик. Не переставая говорить, Фредис стегает Майю кубиком по голым рукам, и на том месте, куда угодит кубик, остается малиновая отметина. Чувствую, в жилах стынет кровь. В груди так же пусто, как в кожаном чехле. Грудь совсем пуста, высохла от зноя и жажды. Я чувствую, как в пустой груди что-то шуршит. Только что же там может шуршать. И откуда этот размеренный, четкий такт, все сильнее, все ближе. Протягиваю руку, хватаю часы. У меня не осталось ни одной лишней секунды. Четверть седьмого.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Тем утром я совсем рано пришел на работу. Все ломал голову, как выйти из положения. Нигде не мог достать для макета нужных деталей. Не стыковались отдельные узлы. У четырех сотрудниц болели дети, семеро сами были на бюллетене.

За несколько минут до начала работы ко мне подошел Пушкунг.

— Значит, так,— произнес он, поводя носом, как бы принюхиваясь к лишь ему ощутимому запаху.

— Нельзя ли поясней?

— Я передумал.

— Это по поводу чего?

— По поводу работы.

— Не понимаю.

Но я понял его с полуслова. Просто прикинулся, что не понимаю. Мне нужна была эта короткая передышка. Иначе бы я не сдержался. Меня так и подмывало заорать благим матом, грохнуть кулаком по столу.

— Мне бы все же хотелось заниматься иннервацией.

— Ну и на здоровье, это ваше личное дело.

— В общем-то оно так. В какой-то мере.

— У вас ко мне имеются претензии?

— Да нет, не то чтобы претензии. По личным мотивам.— Из-под своих распушенных бровей Пушкунг кольнул меня глазами и тотчас отвел их.—Как бы это сказать... Вам сорок шесть. Мне двадцать шесть. Вы как-то говорили, вас волнуют ближайшие пять или десять лет. Мне нужно побольше простора. Ну ладно, сейчас иннервация зашла в тупик. Да, именно поэтому. Работы там невпроворот. У каждого принципа свой потолок. К тому же тут совсем другой подход. Что бы там ни говорили, у иннервации огромные возможности.

Я глядел на него с безысходным унынием, и удивляясь и досадуя. Такая тирада из уст Пушкунга — уж одно это было вещью неслыханной. К тому же — да, да, считайте, я это видел,— он мне корчил рожу, показывал язык, крутил пальцем у виска. Это первый-то ученик в моем классе. Причем в открытую. Немного конфузясь, но, похоже, и не очень угрызаясь. Как поступают в такие минуты?

Вот уж не было печали, подумал я, одно к одному. И вроде бы отлегло от сердца. Ну, что еще может случиться? Да, интересно, что же еще?

И только я подумал, как в дверях показалась Майя. В тот самый момент,— совсем как в низкопробном авантюрном романе. Но она действительно вошла в тот момент.

Я ее не видел со среды. О том, что она может сегодня появиться на работе, не имел ни малейшего представления. Что за фокусы такие, не предупредив ни словом,— да почему? Может, я забыл по рассеянности, из головы вылетело? Нет, совершенно исключается.

С тех пор как Ливия попала в больницу, Майя вела себя в высшей степени странно. Объяснить что-либо

тут было просто невозможно, но происшедшее она в известной мере восприняла как личное оскорбление. К тому же это проявлялось не в каких-то там обидах, что было бы еще понятно, а просто в равнодушии, отчужденности, замкнутости. В последнее время она почти ничего о себе не рассказывала. При встречах бывала холодна и рассеянна. Иной раз вроде бы нарочно напускала на себя этакую загадочность. Будто мне и без того не хватало забот. И вот, пожалуйста, наглядный результат все той же загадочности.

Я чувствовал, что глаза всех, кто находился в комнате, устремились к Майе, навалились на нее, точно ветер на крону дерева, по Майе, мне показалось, даже шелест прошел, закачалась, бедняжка, от этих настырных, шупающих, лапающих взглядов. И тут я понял, что нашим дамам (да, наверно, не только им) все давно известно. Как же — событие, вызывающее всеобщий интерес. Подобно розыгрышу кубка по футболу или очередному тиражу лотереи. Жанна бросилась Майе на шею, в бурном порыве чувств, однако, проявляя подчеркнутую осторожность. В накрашенном лице Лилии сквозила ирония. Юзефа понимающе кивала головой, руководитель группы Скайстлаук деликатно отвернулся.

— Майя, милочка, вот ты и вернулась,— не вытерпел ерник Сашинь.— Как хорошо! А то без тебя как-то пусто. Ты вошла, и сразу такое чувство, словно в комнате чего-то прибавилось.

И зачем она напаялила этот дурацкий балахон. Будто нарочно демонстрирует располневшую свою фигуру. Даже в осанке ее было что-то вызывающее.

Я все еще стоял рядом с Пушкунгом, который только что нанес мне удар ниже пояса. Разговор с ним не был закончен. Отвел глаза от Майи. Откровенно говоря, это было даже неплохо, что рядом оказался Пушкунг.

— Поступайте как знаете,— сказал я ему,— но вспомните безусловно известную вам истину: нет смысла усложнять то, что достижимо простыми средствами. И еще вот что,— сам не знаю зачем, продолжал я.— Не обольщайтесь, не будьте слишком наивны. Только на веселых картинках рисуют ракеты, которые через двадцать лет помчат экскурсантов на Луну и Марс.

Пушкунг что-то буркнул себе под нос, я толком не расслышал что. Да особенно не прислушивался. Но

чувствовал, что и в моих поучениях немалая доля наивности.

Майя пригладила волосы, расправила на груди пестрый шифоновый платок и направилась прямо ко мне.

— Доброе утро, товарищ начальник. Инженер Майя Суна в вашем распоряжении...— Щеки горят, ноздри трепещут, в глазах лихорадочный блеск.

— Ну и прекрасно,— сказал я, борясь в себе с желанием крепко обнять ее, схватить за руки, чмокнуть в зардевшуюся щеку и вообще сказать что-нибудь такое, чего сейчас не смел говорить.

Грусть и радость — все вместе. Ее возвращение в КБ я представлял себе несколько иначе.

Ох уж эти веселые картинки с экскурсантами, летящими на Луну и Марс!

Часом позже очередной разговор в кабинете Лукянского. Короткий, крутой, подчеркнуто официальный, как все наши разговоры в последнее время.

Лукянский. Товарищ Турлав, получены сигналы, что в руководимом вами КБ телефонии ведутся внеплановые работы.

Он сидел за письменным столом и потел. Под мышками его пиджака цвета маренго обозначились влажные полукружья. Лукянский для меня был воплощением всего того, что я не выносил, ненавидел. Инфузория. И живучая. Сам по себе ничтожен, но весьма опасен в функциональном соединении с ему подобными инфузориями. Не странно ли — с тех пор, как Маяковский написал свою «Баню», прошло почти столетия, а лексика все та же: получены сигналы, ведутся внеплановые работы.

Я. До сих пор руководители КБ решали сами, что считать плановой, что неплановой работой.

Лукянский. Товарищ Турлав! Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь.

Я. Не понимаю и понимать не хочу. Мы занимаемся телефонией. Это все, что я могу сказать. Не замечал, чтобы у нас кто-то занимался картофелеуборочным комбайном или мышеловками.

Лукянский. Картофелеуборочным комбайном и мышеловками не занимаются, это верно. Но занимаются пережевыванием, да, пережевыванием уста-

ревших, технически отсталых проектов телефонных станций.

Я. Для того чтобы по достоинству оценить какой-либо проект, необходимо иметь специальные технические знания.

Лукьянский. Товарищ Турлав! Завод вам не пещница, где каждый волен печь какие ему вздумается пироги. Кто вам дал право отвлекать целый ряд инженерно-технических работников от их непосредственных обязанностей и загружать своими личными заданиями?

Я. В тех случаях, когда вы бросаете инженерно-технических работников на упаковку телефонных аппаратов, это вас совсем не беспокоит?

Лукьянский. Все ясно. Левая работа на предприятии. Чистое уголовное дело. Вы это понимаете?

Я. Нет. На мой взгляд, или чистое, или уголовное. Для меня понятия несовместимы.

Лукьянский. Есть такой юмор: юмор висельника. Но обычно он плохо кончается. На сей раз вам не помогут ни спесь, ни заносчивость, ибо ваши действия выходят за рамки закона.

Я. Допустим, мы несколько раздвинули границы эксперимента. Оправданно или нет, покажут результаты. За это отвечаю я.

Лукьянский (беря тоном выше). Товарищ Турлав! Я уже сказал. Это чистейшей воды уголовщина и нарушение закона, да, нарушение закона. Если вы надеетесь, что мы и дальше позволим вам продолжать в таком же духе, вы глубоко заблуждаетесь.

Я. Благодарю за информацию.

Лукьянский. Это не информация. Последнее предупреждение.

Я. И что же последует за последним предупреждением?

Лукьянский. О том вам самому не мешает подумать.

Я. Благодарю. Это все? Я могу идти?

Лукьянский. Вы свободны.

Я выходил из кабинета, когда меня настиг его отрывистый, однако совсем в другой тональности выкрик:

— Постойте, Турлав!

Я остановился, обернулся. Он смотрел на меня с мрачной решимостью.

— Товарищ Турлав,— сказал он,— я бы хотел, чтобы вы меня поняли правильно. Я не шучу, говорю впол-

не серьезно. Что касается меня лично, ваши донкихотские выходки мне абсолютно безразличны. По мне, вы там в своем КБ хоть все на головах ходите. Но, видите ли, я отвечаю за данное вам поручение. И потому должен заботиться о порядке. Ибо я к своим обязанностям отношусь со всей ответственностью, мне мое место, в отличие от вас, дорого, и я его терять не собираюсь. Хотелось вам это сказать, чтобы между нами была полная ясность. Не то еще возомните, будто я принял близко к сердцу вашу грубость, вашу заносчивость. Меня это нисколько не задевает. Мы с вами разные люди.

— Да,— сказал я,— тут вы правы. Мы действительно разные люди. Мне, например, не кажется, что место человека ограничено лишь тем пятачком, который он способен прикрыть в кресле своим задом.

Немного поостыв, я пожалел о своих словах. Дать волю злости — первый признак слабости. То же самое можно было выразить как-то иначе. Да вот не сдержался. Раньше со мной такого не случалось. Раньше. Раньше. К черту. Зачем жить с оглядкой.

Еще один разговор. С Сэрм. Примерно через час после разговора с Лукянским. В нижнем вестибюле, напротив кабинета начальника производственного отдела.

Сэр. Ну, уважаемый, *tertium non datur!*¹

Я. Чему ты так рад?

Сэр. Рад тебя видеть. В это распрекрасное утро, когда...

Я. ...было бы так хорошо повеситься, как говорится в какой-то из пьес Чехова.

Сэр. Или, скажем, когда Майя Суна вышла на работу.

Я. Эта тема, на мой взгляд, совсем не подходяща для дивертисментов.

Сэр. Все зависит от того, как к ней подойти. Гениальный Станиславский, раз уж мы коснулись драматургии, так он считал, что все решает уровень исполнения.

Я. По-моему, ты понапрасну растрачиваешь силы.

Сэр. Штудирюя Станиславского?

¹ Третьего не дано! (лат.)

Я. Нет — копаясь в мелочах посторонней жизни.

Сэр. А если эти мелочи касаются и меня?

Я. В каком разрезе, позволительно будет узнать?

Сэр. Начнем с того, что сегодня утром я вместе с Майей ехал на работу.

Я. О да, событие чрезвычайной важности, почти исторического значения.

Сэр. Не стоит иронизировать. На мой взгляд, событие довольно заурядное. Историческим оно бы стало в том случае, если бы Майя приехала вместе с тобой. Или — что было бы уж на грани фантастики — если бы ей вообще не пришлось пользоваться трамваем, а ты бы мог не таясь привезти ее в своей машине.

Я. Мне это следует воспринять как совет?

Сэр. Ни в коей мере.

Я. Чего же ты хочешь?

Сэр. Ах, да, чуть не забыл! Ты ведь так и не развелся с Ливией? Репутация безупречная, моральный облик не оставляет желать лучшего?

Я. Развод наш всего лишь вопрос времени.

Сэр. Я не об этом. Представилась возможность одного из руководителей КБ направить в Западную Германию.

Я. Турпоездки меня в данную минуту не интересуют.

Сэр. Во-первых, речь идет не о туризме, а о командировке. Во-вторых, сейчас как никогда тебе было бы полезно приглядеться к тому, что происходит в мире телефонии.

Я. Совершенно исключается. Пошлите кого-нибудь другого.

Сэр. Когда в Монреаль послали не тебя, а Гриншпура, тогда ты рвал и метал.

Я. Это было тогда.

Сэр. Значит, отказываешься?

Я. Окончательно и бесповоротно.

Сэр. Очень жаль.

Я. Ничего, переживешь.

Сэр. Все же я удивляюсь. Мы старые знакомые. Неужели ты всерьез думаешь, что я об этой командировке заговорил с единственной целью тебя соблазнить?

Я. Тебе самому лучше знать мотивы.

Сэр. Могу их раскрыть.

Я. Буду очень признателен.

Сэр. По-моему, было бы здорово, если бы ты на время исчез. Как в хоккее. Бывают случаи, даже хоро-

шего вратаря необходимо заменить. Пускай понаблюдает за игрой со стороны, разберется в том, что происходит. Когда сдают нервы, теряется координация движений.

Я. С чего ты вдруг о моих нервах забеспокоился?

Сэр. По той простой причине, что отдельные линии наших интересов совпадают. С меня достаточно того, что ты допускаешь ошибку в своих отношениях с Майей. Я не заинтересован в том, чтобы ты ошибался и в других вопросах. Это только усложнит ситуацию.

Я. Полагаю, ситуации у нас с тобой явно различные.

Сэр. Твой эксперимент с Майей был заранее обречен на неудачу. Вы совершенно не подходите друг другу, ты оголтелый фанатик, она чересчур избалована. В нормальных условиях вы бы очень скоро разобрались, что к чему, и все бы стало на место. Но тут любая новая ошибка лишь усугубит положение. Тебя, точно старый тюфяк, будут трепать до тех пор, пока труха не посыплется. Из упрямства или по злобе тебе захочется доказать недоказуемое, и ты совсем лишишься рассудка. Я бы на твоём месте поехал, честное слово. За тридцать дней тут все утрясется. Издали картина предстанет во всей целостности. И в производственном отношении командировка заманчивая: у немцев обширные связи с американцами, странами Общего рынка, есть что посмотреть.

Я. Тебе не попадался сборник проповедей Манцедя? Был когда-то такой проповедник.

Сэр. Нет, не попадался.

Я. У вас с ним удивительно похожая манера. Сначала адским пеклом застращать, потом прельщать блаженством рая.

Сэр. Того, кто проповедует с дружеских позиций, не грех и послушать. Я в друзья тебе не навязываюсь. В известной мере мы даже враги. Но и то, что враг говорит, стоит взять на заметку.

Я. Спасибо за советы. Никуда я не поеду. У меня работа.

Сэр. В самом деле жалко.

Я. Пусть едет Пушкунг. Молодой, старательный.

Сэр. Все же подумай до понедельника.

Я. Не о чем думать.

Сэр. В таком случае единственно, что могу для твоей же пользы сделать, это перевести Майю в другое КБ.

Я. Если ты сделаешь это, тут же подам заявление об уходе.

Сэр. Тем самым подтвердишь, что сейчас не способен здраво мыслить. Неужели надо быть черт знает каким прозорливцем, чтобы предсказать, что будет, останься Майя работать у тебя. Пойдут разговоры, завистники начнут строчить клеветы: жена в больнице, любовница на сносях. Подумай, как это все отразится на Майе. Или тебе совсем ее не жаль?

Я. Мне жаль тебя. На что только ты надеешься. И какая проницательность, какая дальновидность. Удивляюсь, почему ты не работаешь в плановом отделе?

Сэр. У тебя нет шансов. Стену лбом не прошибешь.

Я. Не скажи. Все зависит от того, какой лоб. И какая стена.

Сэр. Имей в виду, что я тоже должен буду выступить против тебя.

Я. Ничем не могу помочь. Очень тебе сочувствую.

Остаток первой половины дня провел, улаживая всякие мелочи. Раза четыре подходил к дверям своего КБ и всякий раз отходил. Страшно хотелось увидеть Майю, но вместе с тем во мне просыпалась смутная тревога, и я не находил в себе достаточно сил побороть ее, словно мне предстояло выйти на сцену, сыграть роль, к которой я был не готов, которую не умел, не хотел играть, которая, наконец, была противна. Присутствие любопытных глаз заставляло нас притворяться. Между нами закрадывалась какая-то фальшь, простое становилось сложным, искреннее — лицемерным. К тому же я никак не мог отделаться от мысли, что, подчиняясь общепринятым условностям, мы сами себя унижаем, ведем себя низко, недостойно.

Обедал, как обычно, в кафе. Погода стояла отличная, народу в погребке оказалось немного. Устроился за одним столом со Скайстлауком. Когда подошел, сидели еще двое из хозяйственно-технического отдела, но те уже заканчивали сладкое и вскоре ушли.

Появилась Майя с двумя нашими дамами. Я поднялся, кивнул Майе. Она сделала вид, что не замечает меня. Это было смешно. Остальные смотрели в мою сторону, только она, отвернувшись, с повышенным интересом изучала витрину. Юзефа было сделала шаг

в мою сторону, но, взглянув на Майю, обменявшись взглядом с Лилией, дальше не пошла.

— Майя,— сказал я,— здесь два свободных места.

— Вот и хорошо,— сказала Юзефа,— а я сяду с Ксенией.

Майя резко повернулась ко мне. Разыгранное удивление было так неубедительно. Она покраснела, на глаза у нее навернулись слезы.

— Спасибо,— сказала она,— вы очень любезны. Нас трое. Вон там освободился столик. Спасибо.

Лилия поглядела на меня с нескрываемым сочувствием. Беда с вами, честное слово, ну да ладно, ваше дело, разбирайтесь сами, говорил ее взгляд.

Скайстлаук, прервав недоконченный разговор, снова принялся за еду, не поднимая глаз от тарелки. Человек педантичный, щепетильный, он никогда не забывал о субординации. И сейчас, должно быть, ломал голову, как поступить: ведь к служебным отношениям тут примешивалось нечто сугубо личное. К тому же все это случилось с его начальником, лицом вышестоящим. Инженеру Скайстлауку явно было не по себе, и он, возможно, даже сожалел, что знал то, что знает, ибо обнаружить свое знание ему воспрещало чувство субординации.

Майя была весела, смеялась, что-то громко рассказывала. И Лилия с Юзефой, будто сговорившись, делали все, чтобы привлечь к себе внимание. Посмотрят по сторонам, сдвинут головы и о чем-то шепчутся.

Я встал из-за стола.

— Спасибо!

— Вы уже поели? — Скайстлаук старался не слишком высказывать удивление.

Из кафе направился прямо в КБ. Уверенный в себе, преисполненный решимости, отбросив страхи и сомнения. Остановился возле стола Маркузе — обеденный перерыв она почему-то проводила на своем рабочем месте — и с головой ушел в иннервацию. Понемногу собирались остальные. Появилась Майя с двумя своими спутницами. Маркузе измеряла импульсы. На экране оксигрофа, как человеческое сердце, трепетно бились почти осязаемые мысли.

Незадолго до конца работы подошел к Майе. Перед ней на столе лежал узел ФЗ-19 и лист бумаги, до половины исписанный цифрами и формулами. Вторая поло-

вина пестрела какими-то росчерками, сюрреалистическими рисунками.

— Ну как? — спросил я, сам удивляясь своему деловому тону. Но тотчас сообразил, что вопрос чересчур отвлеченный и потому двусмысленный.

— Все в порядке, — отозвалась она так же деловито и столь же двусмысленно.

— Рад это слышать.

— Я показывала товарищу Скайстлауку. Он считает, что...

— Выходи через вторые ворота, я на машине, — сказал я. — Отвезу тебя домой.

Сказал не шепотом, произнес даже громче, чем обычно.

Она посмотрела на меня непроницаемым взглядом, не выражавшим ни «да», ни «нет», ни радости, ни досады, а что-то совсем простенькое и куда более значительное. Описать словами, что это был за взгляд, невозможно. Как, скажем, невозможно описать ветер. Дрожит лист на дереве, колышутся, припадают к земле и опять распрямляются в поле хлеба — но это же не ветер. Это след его.

Я тоже задрожал. Тоже припал к земле, а потом распрямился. От такого ее взгляда. И это было избавлением от гнетущей скованности, это был стыд за свое неверие, радость непомерная от сознания крепости наших уз. И еще: это было свидетельство моей любви к Майе. И ее любви ко мне. В самом деле прекрасное мгновенье. Такие мгновенья навсегда остаются с тобой.

Карандаш в руке надломился.

Яркое, слепящее солнце. Лишь удлинившиеся тени предсказывали близкий вечер. Машина бежала из города, взбудораженного весною города, и тот кипел весь, бурлил, клокотал, не в силах прийти в себя от подземных толчков: казалось, под асфальтовым покровом разверзались бездны, трескались каменные стены, и во все щели, во все бреши каменного царства устремлялась трава, распускалась зелень листьев, слепили огненные вспышки сирени, пылали костры тюльпанов. Автомобиль вроде бы сам находил привычную дорогу через Пурвуцием к Малой Югле.

Мы убегали, мы убежали. Мы были снова самими собой, мы возвратили себя, мы вернулись к себе. Можно было сделать остановку, насладиться покоем.

Возле столовой, растянувшись на траве, мужчины потягивали пиво, на прибрежном лугу поднимал пласты чернозема трактор, над головой на недвижных крыльях парила чета аистов. Девочки в пестрых коротеньких платицах — ни дать ни взять свежие бутоны на стройных стебельках своих голых ножек. Женщины на скамейке перед домом — распаляет весна души, гложет сердце деревенская грусть. Мычит корова на привязи. Коза чешет бок о ствол цветущей яблони. Изгородь облепили скворцы и галдят, галдят.

Выбрались из машины, направились к реке. Черемуха уже осыпалась, ветер сдувал в реку лепестки. Прислонившись к кривому стволу вяза, мы загляделись в воду. Стайка рыбок, серебрясь, поднималась вверх по течению.

— Ты почему не предупредила, что выйдешь на работу?

— Я сама все решила только сегодня утром.

— Все же стоило подумать. Работать осталось тебе с месяц. Какой же смысл?

— Я просто не могла усидеть дома,— проговорила она совсем тихо, глядя на реку.— Хотелось на тебя взглянуть. Хотя бы издали.

— Послушай, Майя,— сказал я.— Ты ведь знаешь...

Она молча кивнула.

— Ты ведь знаешь...— повторил я.

— Мы так редко видимся,— сказала она.— Вечно ты занят.

— Майя, послушай...

— Знаю, знаю. У тебя много работы. И нужно ездить в больницу к Ливии.

— В ближайшее время все разрешится. Или ты сомневаешься?

Майя покусывала губы. Ее пальцы сильнее впивались в мою ладонь.

— Хочу быть с тобой,— сказала, и в словах прозвучала капризная нотка.

— Ну хорошо, а как? Как? Каким образом? Может, подскажешь?

Возможно, у меня это вырвалось чуть резче, нетерпеливее, чем хотелось. Но упорство Майи меня беспокоило. Меня самого эти вопросы до того извели, что я сон потерял.

Она опустила мою руку и отвернулась.

— Я тебя не виню,— сказала Майя.— Понимаю, тебе нелегко.

— Прости,— сказал я,— сам не знаю, как у меня вырвалось. Как старый конь на ипподроме, сбился с ноги. Поверь, все уладится, и очень скоро.

— Скоро ты начнешь меня ненавидеть.

— Не болтай ерунды.

— Я тебе только обуза.

— Спасибо.

— Нет, в самом деле. Какой тебе прок от меня?

Но пальцы ее опять искали мою руку. Прижалась ко мне. Я обнял ее плечи.

— Все будет хорошо,— сказал я.— Но сейчас у нас нет другого выхода. Или ты допускаешь, что при теперешнем положении Ливии я могу подать на развод?

Она смотрела куда-то за мое плечо и молчала.

— Ну, что нам остается?

— Хочу тебя видеть каждый день. Больше ни о чем не прошу.

— Ты рассуждаешь как дитя.

— Нисколько. Я прекрасно понимаю, как тебе тяжело.

Я рассмеялся, поднес ее руку к губам,дохнул на нее.

— Сказать, зачем я вышла на работу? Хотелось тебе помочь. Нет, правда, не смейся. Хочу работать над твоим проектом. Тем более теперь, когда Пушкунг отказался.

— И об этом ты знаешь?

— Я знаю все. И я помогу тебе.

— Радость моя,— сказал я,— ты бы мне помогла, если бы осталась дома.

Она взглянула на меня так, как будто я ее оттолкнул.

— Все уладится,— повторил я,— вот увидишь. Просто надо немного выждать. Несколько недель, не больше.

Майя отвернулась.

Не поверила, подумалось мне.

В тот день Вилберг дежурил вечером, мы с ним условились на девять. В отделении спросил сестру, где сейчас хирург. Она позвонила по телефону. В данный момент доктор Вилберг в операционной, минут через пятнадцать обещал быть в отделении.

Зашел к Ливии. Свежим глазом пытался обнаружить перемены к лучшему. На голове была новая повязка, лицо теперь больше открыто, в остальном все по-старому. Никаких чудес я, конечно, не ждал. Но всякий раз, переступая порог палаты, надеялся увидеть хоть какие-то признаки улучшения. Прошел уже месяц.

Она по-прежнему лежала на койке с наклоном, которую можно было выгибать и так и сяк, и это еще более подчеркивало полную беспомощность самой Ливии.

— Я уж думала, ты не придешь,— сказала она, устало растягивая слова.

— Хотелось повидать доктора. Днем никак не удастся с ним встретиться.

— Продуктов мне не носи. Шкафчик и так от них ломится. Тут в соседней палате лежит Дина.

Очередная несвязность речи, решил я про себя, но немного погодя Ливия опять заговорила:

— Помнишь Диночку, она с Витой в одном классе училась. Разбилась на мотоцикле. Теперь приходит меня кормить.

То, что Ливия вспомнила Дину, было не столь уж удивительно. Провалы памяти у нее наблюдались главным образом вокруг самого несчастного случая и событий, так или иначе с ним связанных.

— Вот принес тебе помидоры. Может, поешь? Со сметаной.

— Спасибо. Положи в шкафчик. Как там Вита?

— Разве она не была у тебя вчера?

Ливия не ответила.

— Была. Ты же вчера ее видела. У Виты горячие дни, сессия начинается.

Застывшим взглядом Ливия смотрела на меня. Только веки временами вздрагивали.

— Скажи, пусть за тобой лучше присматривает.

Я вздрогнул. Ливия говорила про Виту. Никакого скрытого умысла в ее словах не было.

— ...похудел ты что-то. И воротничок плохо выглажен.

Она говорила так, будто Вита по-прежнему жила в своей комнате рядом с кухней. Будто ничего не изменилось. Ну, допустим, свадьба выпала из памяти, но о том, что Вита живет теперь у Бариней, об этом вспоминали постоянно. Что это — провал памяти или сознательное неприятие действительности? Ливия упорно жила прошлым. Почему? Потому ли, что настоящее

к себе не пускало, или потому, что в прошлом было лучше? Реакция у Ливии была замедленная, пожалуй, даже апатичная. Никакой нежности ко мне не выказывала, не обнаруживая, однако, и того, что осознала перемену в наших отношениях.

— Часы тебе принесли? — спросил я.

— Да, принесли.

— Когда? Вчера?

— Вроде бы вчера, — ответила она.

— Это твои часы?

— Да.

— Когда они в последний раз у тебя были на руке?

Она молча глядела на меня. Неужели не помнит? Или не хотела вспомнить? В конце концов, какая разница. Она прикрывалась прошлым, как улитка створками раковины. Попробовать раздвинуть створки сейчас было бы жестокостью.

— У тебя ничего не болит?

— Нет, — ответила она, — ничего.

— Какие у тебя красивые цветы. Кто их тебе принес?

— Вита, — сказала она. — Мне надо домой. Пока ребенок не родился.

О ком она говорила — о Вите?

В дверях показалась сестра.

— Доктор вас ждет у себя в кабинете, — сказала она.

Я простился с Ливией. Вилберг шел мне навстречу по коридору. Мы с ним были примерно одного роста, но в своем свободном белом халате, с белым колпаком на голове он казался Голиафом. Закатанные рукава обнажали мускулистые волосатые руки. Признанный специалист по хирургии головного мозга, однако в облике его была угловатость ремесленника. При виде похожих на затычки пальцев я мог легко его представить себе с зубилом, коловоротом, пилой, топором. Но то, что эти лапищи залезают туда, где начинается точнейший механизм мозгового аппарата, копаются в жизненно важных центрах серой массы, где ум от безумия отделяет всего сотая доля миллиметра, — это как-то не укладывалось в сознании.

— Посидим в саду? — предложил Вилберг.

Вокруг больничных корпусов шелестели вековые деревья. Вдоль дорожек цвела сирень. Но в общем-то я видел только больных. Несмотря на поздний час, они гуляли по саду или сидели на крашенных скамейках.

В бинтах и в гипсе, на костылях и с палками, забранные в какие-то рамы, дополненные причудливыми конструкциями.

— Как видите, на недостаток пациентов жаловаться не приходится,— сказал Вилберг.— А спрашивается — почему? Взять хотя бы ежедневные перемещения человека по земле. За последние сто лет скорость передвижения возросла примерно в двадцать раз, в то время как крепость костей осталась прежней. Ситуация почти аварийная.

— Вы полагаете, малоподвижный человек был менее уязвим? В те времена свое брала чума и другие поветрия.

— Чума всегда почиталась несчастьем, автомобиль же для многих сегодня синоним счастья. Теневые стороны цивилизации мы только-только начинаем постигать.

Солнце садилось, и сад обретал какую-то багряно-призрачную окраску. Со стороны заката надвигалось скопище черных туч. За забором, содрогая землю, прогремывал по рельсам товарный состав. Я с нетерпением ждал, что Вилберг скажет о Ливии. Непокойно было на душе. Плохой признак, раз не приступает сразу к делу.

— Не хочу вас задерживать,— сказал я,— в любую минуту вас могут позвать.

— Кажется, наступает небольшая передышка,— сказал он.— С производственными травмами покончено, бытовые начнутся чуть позже.

Вилберг сграбастал своей ручищей несколько гроздей сирени, притянул их к самому носу. При этом не спускал с меня глаз. Похоже, его мысли были далеки от сирени. И вдруг безо всяких вступлений сказал:

— Случай с вашей женой нелегкий. Понимаю, вам кажется, что улучшения нет. Однако и ухудшения не заметно.

— Вы считаете, выздоровление протекает нормально?

— Последствия кровоизлияния трудно предсказуемы. Помимо физических последствий травм могут быть еще и психические. Считаю хирургическое вмешательство, по крайней мере на данном этапе, излишним.

— Скажите, а такой паралич может пройти сам по себе?

— У вашей жены не паралич. Всего-навсего нарушение двигательных функций. Левосторонний парез.

— И все же,— сказал я,— сколько времени, хотя бы приблизительно, потребуется для излечения?

Вилберг отпустил ветку сирени, надвинул ниже на лоб свой белый колпак. Я это воспринял как намек, что пора закругляться.

— У нас обычно лежат подолгу,— сказал он.— Запаситесь терпением.— И, скользнув по мне лукавым взглядом, добавил: — Между прочим, женщины, обеспокоенные домашними делами, поправляются медленней.

— Спасибо,— сказал я.

Он пожал мне руку.

Быстро темнело, черное облако уже висело над садом. Хлынул ливень, забурлила вода. Больничная братия, размахивая костылями и палками, спешила укрыться кто куда. Перед Вилбергом ковылял мальчонка с загипсованной ногой, хирург подхватил его на руки и побежал вместе с ним.

Я сел в машину, включил зажигание. А перед глазами все еще маячило почти призрачное видение: переполох в багряных сумерках больничного сада.

Ливень схлынул, но дождь не перестал. Прелестного вечера как не бывало, небо почернело, словно потолок после пожара, все стало мокрым, тесным, неуютным, темным и тягостным, с померкших небес, с обугленных стволов, с мокрых веток в грязь шлепались черные капли дождя.

Я тоже промок, увлажнился пластмассовый руль, отсырела обивка сиденья, под рубашкой елозил ветер,— будто кто-то водил по спине холодным лезвием.

С каким-то злорадством, без единой мысли в голове я прислушивался, как увеличивались обороты. Налетела булыжная мостовая, забурчали шины, словно картошку пересыпали. Под виадукom мостовая швырнула под колеса несколько размытых колдобин. Притормозить бы, сбросить скорость, а нога с мрачным равнодушием еще больше выжала педаль. Машину подбросило. Переднее стекло залепило брызгами. Лязгнули рессоры. Пронесло. Мимо. Дальше. В такой езде было какое-то облегчение, даже соблазн.

Встречный троллейбус резко взял к обочине, на повороте сердито прошуршали шины. Из боковой улицы высунул железную морду заляпанный грязью самосвал. Мимо. Позади. Дальше.

Не доезжая Пярнуского кольца, я заколебался. Прямо или повернуть налево? Нажал на тормоза. Поздно. Мимо. Проскочил. На остановке застрял автобус. Между ним и мной протиснулась цистерна с цементом. И вдруг пешеход! Чешет через улицу. Откуда от взялся? Стоп. Беда. Ну все. Нет. Пронесло и на этот раз. Машину кинуло вбок, и, ударившись о бровку тротуара, она остановилась. Пешеход цел и невредим. Ничто во мне не шевельнулось. Ни радости, ни волнения не почувствовал, даже не удивился. Только ощущение, будто чего-то лишился, что-то упустил. Черный дождь, слетая с черных небес, барабанил по крыше «Москвича». Я вылез.

— Похоже, нам обоим повезло,— сказал пешеход, теребя забрызганный край плаща.

Вот идиот, подумал я беззлобно, идиотам всегда везет. И тут взгляделся повнимательней. Это был Скуинь. Писатель. Интеллектуальный мусорщик, существовавший собиранием и перекройкой подержанных отношений, страстей, ситуаций. Встречаться с ним у меня не было ни малейшего желания. А в общем-то — не все ли равно? Я смотрел на него настороженно, но не без любопытства, как в цирке смотрят на фокусника,— то, что на ваших глазах сейчас произойдет какое-то мошенничество, сомнений нет, вопрос только в том, достаточно ли ловко и проворно это будет сделано.

— Вот вы-то мне и нужны,— сказал Скуинь.— Роман мой что-то плохо продвигается, к стыду своему должен признаться, техническую сторону все время приходится высасывать из пальца.

— Хоть героев-то своих, надеюсь, не высасываете из пальца?

— Герои создаются, как всякая другая вещь. Единственно реальная субстанция — деталь. Все остальное зависит от степени таланта конструктора. По правде сказать, моему главному герою не хватает кое-каких профессиональных черточек.

— И вы хотите их позаимствовать у меня?

— А почему бы нет?

— Чтобы произвести на свет какого-нибудь проффилю с моей физиономией? И затем на потеху людям дергать за веревочки, а деревянный болванчик в моей одежке будет послушно дрыгать ножками? Нет уж, увольте.

— Одежда тут не самое главное. Как и физиономия. А вот ваше мирозерцание моему герою пришлось бы очень кстати.

— Да почему мое, а не ваше? Напишите о себе. Вы же себя знаете со всеми черточками.

— Писатель всегда пишет о себе. Кем бы ни был его герой. В одном из стихотворений Яна Порука герой, к примеру, ангел.

— Глубокоуважаемый товарищ писатель, отвечу коротко и ясно: к черту, ангел из меня не получится. Пять минут посидели бы в моей шкуре — и сразу бы все уразумели.

— Я вижу, мы с вами встретились в подходящий момент. Только что же мы мокнем под дождем? Зайдемте ко мне.

Э, была не была, подумал я, вечер все равно потерян. К тому же ужасно хотелось с кем-нибудь поговорить, разогнать стоявшие в голове черные лужи. Вытрясти душу. Поговорить, как я давно не говорил ни с Майей, ни с Ливией, ни с Витой. Ни с Карлисом, ни с Сэром, — да ни с кем.

Скуинь жил на четвертом этаже. В лифте вместе с нами поднималась девочка с громадным песочного цвета догом.

— Любовь к собакам всегда кончается трагично, — сказал Скуинь. — У собаки короткий век. Куда выгоднее любить крокодилов, черепах, попугаев. Я, к примеру, давным-давно отдал богу душу, а моя черепаха будет здравствовать и мои правнуки будут говорить: это *Testudo Duadini*¹ нашего прадедушки.

— Любовь всегда кончается трагично, — сказал я, — она всегда слишком коротка или слишком длинна.

В комнате на стене висела картина. Сад, черные деревья. Мимо мчится поезд. Люди, деревья, поезд. Все так знакомо. Это было недавно, перед дождем. Люди спят, пьют вино. Люди сидят на траве и тренькают на гитарах. Зачем понадобилось художнику среди деревьев писать могилы? Так лихо мчится поезд. Так кротко светит вечернее солнце.

— Что позволите предложить выпить?

— Спасибо. Я и так чуть вас не задавил.

¹ Вид черепахи.

— А может, как раз потому. Ага. Ну да. На чем же мы остановились?

— Мы говорили о любви.

— Ах, да, все началось с деталей.

— Каких деталей?

— Литературных. У главного героя жена. Когда-то жена ухаживала за парализованным отцом, растирала ему спину тройным одеколоном. Отец умер. Однажды главный герой возвращается из парикмахерской, надушенный тройным одеколоном. В прихожей пытается поцеловать жену, а та едва в обморок не падает. Вот что такое деталь.

— Просто мелочь жизни.

— Нет! Ассоциативная взаимосвязь.

— Меня интересует лишь одна взаимосвязь. Любовь и ответственность.

Но Скуинь гнул свое:

— Собираюсь написать роман об извечно зыбких отношениях между замыслом и действительностью, идеалом и реальностью. Человек стремится к идеалу, то и дело отклоняясь от него, ибо ему постоянно приходится испытывать на себе давление противоборствующих сил.

— С кем борется ваш герой?

— Да главным образом с самим собой. Вот послушайте:

«Я знаю, что я должен сделать, но для этого мне не хватает сил. Есть у меня голова, есть руки, есть топор и деревянный чурбак. Но мне не хватает сил, и я не могу расколоть чурбак.

Дайте мне один миг постоять спокойно, нянча в ладонях топорище. Дайте всмотреться как следует в чурбак. Топор — часть меня самого, я — часть топора. Тут важно точно направить лезвие. Обух всегда ленив, осторожен, рационален. Зачем-де колоть топором? В наше-то время? Разумеется, я за активные действия. Но без излишеств острого конца.

Но я также и часть чурбака. И чурбак часть меня самого. В чурбаке вписан год моего рождения. Вписан годичным кольцом, без конца и начала. Годичным кольцом, соединившим меня, чурбак и солнце, — три точки единой окружности. Не забывай всеобщую взаимосвязь, записано в чурбаке, все между собой связано, большое состоит из малого, в малом таится великое.

Дайте мне один миг полетать спокойно. Вместе с топором и чурбаком вокруг солнца в мировом эфире. Я вовсе не точка, я окружность, которая разрастается. Быть может, окружность мою породило упавшее на зеркало вод перо синицы, но я часть галактики, часть вселенной, бесконечной и все расширяющейся. И мысль моя есть круг, который расширяется. Круг без конца и начала. Круг, к которому я подключился с рождением. Круг, от которого отключусь, умерев.

Дайте мне один миг подумать спокойно. Дайте мне мою мысль, как зеленую пряжу, обернуть вокруг солнца. Дайте подумать, запрокинув голову к созвездию Козерога. Дайте подумать, вися вниз головой под созвездием Водолея, дайте подумать, прицепившись к Земле, как летучая мышь к стропилам сарая. Лишь малый круг совершают мои мысли, кувыркаясь вместе со мной на зеленой мураве двора. Большой круг они проходят, не ограниченные ни временем, ни пространством.

Я знаю, что я должен делать, но мне не хватает сил.

Дайте мне один миг постоять спокойно, обеими ногами, словно контактными штырями, подключившись к Земле. Дайте мне зарядить пустой аккумулятор. Силу рождает необходимость. Силу рождает падение и нежелание падать. Силу рождает уравнение неуравненного. Силу рождает любовь. Силу рождает ненависть. Силу рождает противодействие. Силу рождает решимость выстоять и желание заявить о себе. Есть во мне все, что должно быть у сильных. Воля моя стремится вверх по вертикали, как божья коровка по отвесной стене.

Так-то. Теперь просьба к посторонним отойти. Прошу извинения за грубость, я поплюю в ладони».

Мы оба довольно долго молчали.

— Что скажете? Мог бы так рассуждать инженер?

— Никогда не задумывался, как рассуждает инженер.

— Да-а,— протянул Скуинь. Мне показалось, он уже готов разорвать свои листки.— Что еще могу вам предложить?

— Спасибо, ничего.

— Я понимаю, отвлеченности вас не интересуют, вас интересует только конкретное.

— Не знаю,— сказал я,— возможно, вы и правы.

— Так. У вас не создается впечатления, что написанное в какой-то мере приложимо и к вам?

Именно эта спокойно-утвердительная, я бы даже сказал, бесстрастная фраза обернулась тем торчащим гвоздем, за который зацепился и разодрался в клочья туго завязанный мешок моего настороженного немногословия.

— Ну ладно,— подал я голос,— допустим, это приложимо и ко мне. Допустим, я это почувствовал. Допустим, двинуться вперед я не могу, а повернуть назад мне невозможно. Что дальше? Что же дальше? Я сам не знаю, как быть, и никто мне этого не подскажет. Чурбак нужно расколоть. Все правильно. Прекрасно. Но ваш чурбак не мой чурбак. Нет в мире двух одинаковых чурбаков.

И я ему выложил все о работе, о Ливии, о Майе. Понятия не имею, как долго продолжалась эта исповедь. Только помню, Скуинь свистел, ломал пальцы, бегал взад-вперед по комнате, подходил к окну, опять усаживался в кресло. Иногда он задавал мне вопросы, но довольно беспорядочно.

— Вот вам,— сказал я, немного приходя в себя от словоизлияний,— деталей тут более чем достаточно. Какой сюжет из всего этого скроите? Кто победитель, а кто проигравший? Который тут положительный и который отрицательный?

Засунув руки в карманы, Скуинь покачивался, поднимаясь на цыпочки. И помалкивал.

— Нет, в самом деле, разве допустимо такое в литературе — «положительный» разводится с женой. По крайней мере, мне таких пассажей читать не приходилось, уж если жена сама от него уйдет — еще куда ни шло. Тут герой вроде бы пострадавший. А вам известно, сколько супружеских пар в Латвии подает на развод?

— Примерно половина.

— И вообще — что такое супружество? Можете мне объяснить? Ритуал, договор, сделка или взрыв чувств? Кто придумал супружество — сам человек или природа? Почему католики считают, что супружество может расторгнуть лишь смерть, в то время как магометанину достаточно три раза поклониться на восток, сказав: «Ты больше мне не жена?» И где те показатели, по которым определяют «счастливый» или «несчастливый» брак, «удачный» или «неудачный»? Можете мне объяснить?

— Вы действительно ждете ответа?

— Разумеется.

— А зачем?

— Затем, что сам я не знаю.

— И что же, выслушав мои доводы, будете знать? — скривив в усмешке губы, спросил Скуинь. — Поверьте, напрасная трата времени. Есть вещи, на которые ответить практически невозможно. Отчего рождается меньше детей? Отчего в городах растет привязанность к собакам? Любовь к острым ощущениям — порок это или движущая сила? Человек — сложнейшая машина. В ней самой заложены все вопросы и ответы. Я на своем веку не встречал еще человека, которому недостаток знаний мешал бы жить. Кто научил вас влюбляться? Кто научил быть несчастным? По-моему, чтобы осознать себя счастливым, необходима уверенность.

— Позвольте, как же я могу быть уверенным в том, что я счастлив в своем супружестве, коль скоро остается невыясненным, что такое супружество вообще?

— Да уверуй вы, что вы в супружестве своем счастливы, вы б не сомневались, что знаете, что такое супружество.

— Значит, сюжет не хотите раскрыть.

— Альфред Турлав, скажу без обиняков. На литературу, как, впрочем, и на жизнь, да, и на жизнь, смотрю в известной мере как на партию в шахматы. Возможно бессчетное количество комбинаций. Можно проиграть или выиграть, а можно партию отложить. Важно осознать ценность фигур, уяснить целенаправленность ходов. Возьмем, к примеру, такую хорошо известную историческую фигуру, как Ян Гус. То, что случилось с Гусом, было обусловлено характером его «фигуры». По сюжету Ян Гус — «проигравший», его сожгли на костре, но какое это имеет значение?

— Что вы хотите этим сказать?

В дверь позвонили. В по-ночному притихшей квартире звон разлетелся шальными осколками. Лицо Скуиня изобразило и удивление, и досаду.

— Кого это принесла нелегкая.

С дивана Турлав не видел прихожую. Но слышал, как Скуинь приоткрыл дверь, затем оттуда донесся шум какой-то борьбы.

— Да впусти же, впусти, это я, вечно вы дрожите, будто кому-то нужны ваши жизни, — заговорил громкий, строгий и укоризненный голос.

По акустическому эффекту можно было заключить, что вначале все это говорилось в щель, затем дверь приоткрылась пошире. Конец фразы уже торжественно плыл с середины прихожей, в то время как вошедший неудержимо продвигался вперед.

— Для вас у меня есть вкусная штучка, только для вас. Старый Стендеровский словарь, две части в одном томе. Отпечатано у Штефенгагена в Митаве, в тысяча семьсот восемьдесят девятом году. Много с вас не возьму, гоните сто рубликов, и по рукам. Только взгляните — телячья кожа, настоящая позолота. Хватайте, хватайте, другой такой случай не подвернется, потом всю жизнь будете локти кусать.

Покачивая на ладони увесистый том, в комнату шагнул смуглый пожилой мужчина с жестким лицом, жесткой кучерявой бородой, жесткими темными глазами. В другой руке у него был бесформенный, потертый портфель.

— Разговор у нас будет короткий, я тороплюсь. Как по-вашему, сколько осталось таких вот книг? Две из них мне известны. На тонкой библейской бумаге. А вы только взгляните на эту! Берите без разговоров!

Скуинь небрежно полистал книгу и протянул ее бородачу.

— Экземпляр в самом деле изумительный, но в данный момент я не при деньгах.

— Когда вы бывали при деньгах, — гремел бородач, — вам хоть что принеси, на все найдутся отговорки. Работать надо больше, тогда и деньги будут. Вы что, нищий, что ли? Я бы таких безденежных писателей исключал из Союза писателей. Жену наряжаете, коньяк пьете, а на книги нет денег. Ведь я не шмотки импортные по домам ношу. Вот, полюбуйте, — это ж памятник народной культуры, кусок живой истории. Если литератор не спасет, то кто же. Хотите, чтобы она валялась черт-те где? Какой-нибудь олух еще в печку на растопку сунет. Я сегодня же должен найти своей книге хозяина.

Любая отговорка заранее отклонялась. Бородач действовал по принципу подвесного молота, вбивающего сваи, — долбил настойчиво, ритмично, неустанно, удар за ударом.

Все кончилось тем, что старый Стендеровский словарь остался на столе, а бородач, засовывая в карман

деньги и не переставая бурчать, удалился тем же манером, что и пришел.

Скуинь посмотрел на меня с виноватой миной.

— Видите, как бывает. У меня и в мыслях не было покупать эту книгу. Я не хотел, скажу более — был совершенно уверен, что не куплю... Вот что делает с сюжетом «фигура»!

Разговор не налаживался. Я в себе чувствовал какую-то подавленность, но это была уже не та слепая тоска, угнетавшая меня раньше, когда лил дождь.

— Ну, и мне пора, — сказал я. — Спасибо за радушие.

— Спасибо вам. Для меня этот вечер как праздник. Надеюсь, вы не скучали.

— Скучал совсем немного. Но вы тут ни при чем. Я скучный тип. Много говорю, мало делаю.

Вилде-Межнице, по своему обыкновению, не спала, из окна будуара просвечивал розовый абажур. Окно было открыто. Конечно же услышала, как я подъехал.

Поставил машину в гараж, вошел во двор. Визгливо скрипнула калитка. (Не забыть бы завтра смазать.)

Свет в окне будуара погас. Я остановился. Мне почему-то показалось, что она смотрит на меня, сейчас раздвинет занавески, что-то скажет.

Но занавеска не шелохнулась.

И входная дверь открылась со скрипом. (Завтра уж заодно.) Дверь затворил со всей предосторожностью, но еще до того, как она закрылась, услышал, как Вилде-Межнице у себя наверху с силой захлопнула окно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я просчитался, недооценив возможности Лукьянского. Хотя тот и давал о себе знать постоянно. Отдельные его ходы сами по себе были и незначительны и мелочны, как-то: критически окрашенные замечания на совещаниях, отрицательные отзывы в заводской многотиражке, кое-какие дутые конфликты, не стоящие выеденного яйца, но взятое все вместе, в своей совокупности, понемногу создавало соответствующее настроение.

Держать в тайне наши изыскания по второму проекту дольше не имело смысла. Теперь работали в от-

крытую. Я подал директору докладную записку, к ней приложил уже готовые чертежи и расчеты.

При посредстве Улусевича я еще активнее наседаю на министерство. Да им и без этого позарез был нужен проект новых, быстро вводимых в строй телефонных станций. Однако с оформлением заказа дело затягивалось — эксперты не могли никак прийти к согласию, финансисты жались. В середине июня, после долгих колебаний, позвонил директору.

— Алло,— спокойно и тихо отозвался Калсон.

— На проводе Турлав.

— Слушаю, товарищ Турлав.

Это было сказано до того округло, что уловить по интонации его отношение — ну хотя бы к моему звонку — было бы делом напрасным.

— Хотелось бы с вами поговорить, накопилось достаточно важных вопросов.

— Ваше послание я получил. Дело требует тщательного ознакомления. Думаю, сейчас наш разговор был бы преждевременным. Я поручил изучить материалы.

— У меня есть ряд конкретных предложений. О мерах, которые могли бы ускорить оформление заказа министерством.

— Думаю, нецелесообразно говорить о частностях, пока не прояснилось положение в целом.— Голос Калсона по-прежнему не сулил ничего дурного и ничего хорошего.

— Положение достаточно ясное.

— Все зависит от того, как к нему подойти.

— Делу очень бы пошло на пользу, если бы положение прояснилось по возможности скорее.

— Считайте, что в этом вопросе у нас с вами полное единодушие.

Я хотел уже повесить трубку, но из вежливости помедлил.

— Послушайте, Альфред Карлович,— вдруг заговорил Калсон,— что у вас там происходит?

— В каком смысле?

— Во всех.

— Да вот пытаемся отличиться.

Калсон сдержанно рассмеялся.

В трубке послышались гудки.

Но что-то в самом деле происходило. Уже недели две. Я сам стал замечать. Неожиданно работа сдвину-

лась, пошла полным ходом. В бюро царил небывалый подъем, нечто подобное происходит с захудалыми спортивными командами, когда те вдруг на глазах преобразуются, обретают качественно новую форму и начинают колошматить лидеров.

Я просто не узнавал своих дам. Они действительно взялись за дело. Без беготни. Без глубокомысленного поглядывания в потолок. Жанна домой уходила вместе со всеми, Лилия гораздо меньше занималась прической, Юзефа свой вместительный портфель для покупок по утрам демонстративно оставляла в раздевалке.

Временами я перехватывал выразительные взгляды, слышал невнятный шепот. На доске объявлений появился какой-то мистический список «ответственных дежурных», и — уж это совсем вещь неслыханная! — снова вышла стенная газета.

Переменились и мужчины, затрудняюсь сказать, в чем, но переменились, это точно. Амбулт вечером, перед уходом, подходил ко мне, жал руку. Скайстлаук в разговоре делал особый упор на слово «мы», Луцевич удивил меня тем, что в своем задании предусмотрел и запасные варианты.

К новому облику Сашиня я успел уже привыкнуть. Метаморфозы Сашиня для меня были более или менее ясны. Пожалуй, впервые в жизни какое-то задание было столь непосредственно связано с его персоной, впервые на заводе что-то зависело от него. Да еще такое задание, за которое надо было воевать, к которому приковано всеобщее внимание. Сашинь вырос в собственных глазах. Под личиной бесшабашности, как выяснилось, скрывался напористый темперамент, под маской хохмачества — поистине инженерный талант. Даже появлялся он теперь поутру иначе, чем прежде, — с высоко поднятой головой, стремительный, энергичный, бодрый.

Однажды (несколько дней спустя после моего звонка директору) мы с Сашинем так горячо заспорили об одном важном узле, что засиделись несколько часов после работы. Уже расставаясь, Сашинь вдруг в наплыве чувств потер ладони и сказал:

— Черт подери, а надо бы в срок уложиться. И вообще вам скажу: никаких треволнений. Коллектив за вас горой будет стоять. Так легко у них этот номер не пройдет.

— О чем вы говорите?

— О комиссии, Альфред, которой надлежит «расследовать положение в КБ телефонии». Если ее и в самом деле возглавит Лукианский, скандал будет жуткий.

Для меня это явилось полной неожиданностью, однако вида старался не подавать.

— Начальство имеет полное право состав комиссии назначать по своему усмотрению.

— Зато мы имеем право жаловаться. А жалобы трудящихся нельзя не принять в расчет. КБ телефонии официально находится под опекой Лукианского. Так что не ему расследовать, это просто несолидно.

— Мне совершенно безразлично, кто возглавит комиссию. Факты, как говорится, вещь упрямая. А факты — за нас.

— Факты, как и многое другое, можно повернуть и так и эдак. Комиссия должна быть беспристрастной.

— Лукианского нам все равно не обойти. Остается одно — доказать, что мы делаем нужное дело. Доказать своим проектом.

И еще удивил меня Пушкунг. По всему было видно, он избегает меня. Отводил глаза, прикидывался занятым. В разговоре вел себя как-то странно: то ли нервничал, то ли злился. Всегда был скуп на слова, а тут и вовсе бурчал да булькал что-то непонятное. Он возился с одной из самых заковыристых проблем иннервации и, на мой взгляд, довольно успешно нащупывал решение.

Как-то утром Пушкунг явился раньше меня. Мы оказались в бюро одни.

— Ну, как подвигается дело? — осведомился я больше для приличия, чем по необходимости. Что могло измениться за ночь?

Но Пушкунг сделал такую кислую мину, что я сразу почувствовал — задел парня за больное место.

— Не нравится мне это...

— Что именно?

— Я же не знал. Понятия не имел.

— Ерунда, Пушкунг. Не обращайтесь внимания.

— И все же свинство. Как будто я испугался. В кусты спрятался.

— К чему тут сантименты.

— Не нравится мне. — Потупившись, Пушкунг ладонью драил подбородок.

— Ерунда, мелкие комплексы.

— Все же вот о чем я хотел попросить. Я понимаю, не дело это — из стороны в сторону шарахаться. И все же. Может, я посидел бы с контактными системами, а? Понимаете, для меня это важно. Чтобы самому себе не опротиветь. Уж о других не говорю. Можно сразу и с тем и с другим проектом.

Пришлось взять себя в руки, чтобы подавить волнение.

— Пушкунг, — сказал я, — вы отличный парень. Я в этом никогда не сомневался. И думаю, никто из наших в этом не сомневается. Но если вас интересует иннервация, зачем разбрасываться, работайте себе и дальше. Положение просто идеальное. От иннервации нам никуда не деться. Если хотите знать, я лично заинтересован, чтобы над этим проектом работали именно вы. Я много думал. Это наилучший вариант.

Появился Сашинь. Разговор оборвался. Но мне показалось, Пушкунг сразу как-то ожил, просветлел лицом, с него сошла хмурость, как сходит пленка с переводных картинок.

Незадолго до обеденного перерыва я пошел в отдел снабжения к Зубу. Идти не хотелось. Но я заставил себя, заранее зная, что разговор будет трудным и неприятным. Стоило только взглянуть на Зуба — казалось, он, как мешок, набит трудностями и сложностями; трудности и сложности были написаны у него на лице, трудностями и сложностями он дышал, кашлял и говорил, вокруг него кишели мириады бацилл трудностей и сложностей, которые только и ждали, как бы на кого перекинуться.

На столе у Зуба царил немыслимый порядок — аккуратно разложенные папки заявок, картотека регистрации накладных, цветные шариковые ручки в стаканчике своей безукоризненной симметрией изображали цветок, нож для бумаги лежал строго перпендикулярно по отношению к линейке. А сам Зуб, нудный, сутулый, восседал на троне своего снабженческого царства с таким унынием на лице, с такой страдальческой гримасой на худых щеках, как будто он давно растратил последние силы, не говоря уж о надеждах.

В своем неизменном темном опрятном костюме, в черных, до блеска начищенных ботинках, Зуб имел вид человека или собравшегося на похороны, или только что вернувшегося с них. Он никогда не улыбался, в лучшем случае лишь губы покривит, говорил кислым,

недовольным голосом, смотрел на собеседника как-то странно — низом глаз, верхнюю их половину прикрыв тяжелыми, усталыми веками. А годами он был моложе меня. Лет сорока, не больше.

— Товарищ Зуб, две недели назад КБ телефонии подало заявку на трансверсальные блоки,— начал я деловито и сухо.

— Да,— мрачно подтвердил Зуб. (Прозвучало это примерно так: долго ли написать бумажку, заявок можно подать сколько угодно.)

— Отчего же мы ничего не получили?

Зуб на меня поглядел почти с жалостью. Вовсе не потому, что блоки не получены, а потому, что у меня в голове мог возникнуть такой дурацкий вопрос.

— Оттого, что мир полон разгильдяев! Оттого, что люди совсем от рук отбились!

— Возможно, вы и правы,— сказал я,— но мне бы хотелось знать совершенно точно: когда мы получим блоки?

— Чего-нибудь попроще попросите. Блоки строго лимитированы. Кому не известно, что такого рода заказы отдел снабжения вначале должен согласовать с управлением, да и то не всегда удается получить без подписи вышестоящего начальства. А получать ордера от дирекции не входит в наши обязанности.

— Не означает ли это, что заявки наши даже не посланы?

— Об этом спрашивайте не у меня. И вообще, зайдите сами в дирекцию и еще раз выясните. Мне своих дел хватает, что за мода все перекладывать на чужие плечи.

Наконец и на меня перекинулись все эти его трудности, сложности. Тут он своего добился. Бациллы уже копошились в глотке, от них становилось тяжело дышать. Лоб мой, надо думать, стал таким же морщинистым, как у него, а кадык столь же уныло задвигался вверх и вниз.

— Товарищ Зуб,— сказал я,— мне совершенно безразлично, кто у кого должен получать ордера. Это меня нисколько не интересует. Мне нужны блоки. Их я должен получить от вас. Ибо вы работаете в отделе снабжения. И от обязанности снабжения вас никто не освобождал. Теперь послушайте внимательно: если в течение трех дней ордера не будут посланы, я заявлюсь сюда вместе со всеми сотрудниками КБ телефонии

и публично вышибу из-под вас это кресло. Вот тогда вы сможете пойти объясняться в дирекцию!

Зуб даже бровью не повел. Только его костлявая физиономия как будто стала еще костлявее, а туловище еще глубже ушло в кресло. Однако по судорожно сжатым кулакам с побелевшими костяшками пальцев, по блеску, полыхнувшему из щелочек прикрытых глаз, я понял, что столбняк его был подобен динамитной шашке и в любой момент мог грохнуть взрыв; ненависть текла по жилам, как огонь по бикфордову шнуру.

И вдруг он весь просиял.

— Самомнение — признак близкого падения, старая истина, — сказал он с ухмылкой. — В вашем положении, товарищ Турлав, я бы не заносился. — Вытянув перед собою руки, он навалился на стол. — Мните о себе бог весть что. Но уж поверьте, товарищ Турлав, вы сейчас, как паучок, болтаетесь на тонкой паутинке. Очень даже сомневаюсь, что вам понадобятся эти блоки. Так что весь ваш кураж может пройти даром!

Под вечер того же дня мне позвонил начальник КБ телевидения Салминь, осведомился, буду ли я на месте, и затем свое утрированно вежливое любопытство закончил словами: «В таком случае, с вашего любезного разрешения, мы зайдем». Примерно через полчаса Салминь и еще двое сопровождавших его лиц (Королькевич и Бесхлебников) плечом к плечу, словно патруль дружинников, явились к нам в бюро.

— Так вот, мы и есть та самая комиссия, которой поручено осмотреться в ваших владениях. — Салминь попытался шуткой сгладить горечь первого момента.

Королькевич развел руками, что могло означать: нам очень неприятно, но что же делать.

— Понятно, — сказал я. — И кому будут представлены результаты вашего осмотра?

— Очевидно, директору. Впрочем, сначала Лукянскому.

— Ну и прекрасно, — сказал я, — приступайте к делу.

— Может, начнем с бумаг? — Голос Салминя обрел официальность. Улыбка исчезла с его лица.

Свой очередной отпуск Майя объединила с декретным. Идею о совместной жизни на взморье не удалось осуществить по той простой причине, что я так и не

выкроил времени, чтобы подыскать дачу. Может, не хватило энтузиазма. Работа отнимала все. И с комиссией хлопот было предостаточно. Команда Салминя копалась во всем, без конца требовала устных и письменных объяснений, настаивала на моем присутствии при беседах с сотрудниками КБ, просила разыскать такие-то и такие-то бумаги. Положение Ливии немного улучшилось, но я по-прежнему навещал ее, и довольно часто.

В редкие просветы удавалось вырваться к Майе. И тогда мы с ней выезжали куда-нибудь — то в Дарзини на Даугаве, где Майина мать выращивала тюльпаны и лилии, то просто на какой-нибудь лужок или речную заводь.

В тот день Майе захотелось посмотреть выставку витражей в Крестовом ходу Домского собора. Она раза четыре говорила мне об этой выставке, и в конце концов мы условились пойти в воскресенье, во второй половине дня.

Погода стояла жаркая. Душный город ломился от туристов. Цвел жасмин, по каменным окраинам улиц и бульварам плыл его нежный запах.

Встретились с Майей возле ее дома; парком Кирова направились в Старую Ригу. Ситец платья на ветру плотно обтягивал ее отяжелевший торс, отчего ноги казались еще стройнее. Высоко вздымалась стесненная грудь. Майя давно перешла на гладкую прическу, завязывала волосы на затылке. На щеках, обсыпанных бурыми пятнами, выступили капельки пота.

Перед музеем рядами стояли автобусы экскурсантов.

— Народищу, наверно, невпроворот,— сказал я безо всякого умысла. Не было в моих словах недовольства, тем более досады.

— Думаешь?

— А ты не видишь?

— Тебе вовсе не обязательно идти со мной. Я могу и одна.

В последнее время с Майей такое случалось нередко. Во всем ухитрялась разглядеть обременительную для меня повинность.

— Я знаю.

— Нет, не знаешь. Я и в самом деле могу пойти одна.

— Только непонятно зачем.

— Не очень-то я декоративна.

— Милая Майя, ты так декоративна, как только может быть декоративна женщина. Ты в своей лучшей форме.

— Но тебе со мной неловко.

— Как раз наоборот. Твое присутствие и меня характеризует с наилучшей стороны.

Майя улыбнулась и сдвинула мой локоть. На глаза ее навернулись слезы.

— Майя,— сказал я,— мы так редко видимся. Зачем ты меня мучаешь? Иной раз слушаю тебя и ничего не понимаю.

— Я и сама ничего не понимаю. Вся дрожу от страха. Думаю одно, а делаю другое.

— А у меня наоборот: делаю и то, и это, а думаю всегда одно.

Майя еще крепче прижалась ко мне, ее лоб почти касался моего плеча.

— Ладно,— сказала, кончиками пальцев утирая слезы,— постараюсь образумиться. Сейчас увидим витражи. Как здорово!

В Крестовый ход прошли из вестибюля исторического музея. Открылась низкая дверь, дохнуло прохладой.

Витражи были развешаны под арками колоннады. На фоне залитого солнцем двора блестели, светились, переливались разноцветные стеклышки. То там, то здесь в тенистой галерее лежали стволы древних пушек, покрытые патиной, чугунные и каменные ядра, обомшелые надгробные плиты со стершимися письменами, и сами давно позабывшие тех, памятью о ком служили. По-летнему пестрая толпа заполняла не только галерею, но и внутренний двор с увитой виноградными лозами стеной. С одной стороны зеленый четырехугольник двора примыкал непосредственно к собору, подпиравшему небо колокольней, над которой с криком кружили галки.

— Лучше места для выставки витражей не придумаешь,— говорила Майя.— Освещение постоянно меняется. И нельзя дважды увидеть одно и то же. Здесь что-то погаснет, там что-то вспыхнет.

Я смотрел больше на Майю, чем на витражи. Я в этом деле мало что смыслю, картины из разноцветных стекляшек особого восторга во мне не вызывают. Вблизи витражи чересчур контрастны, лица изуродова-

ны свинцовой спайкой, фигуры — сплошная мешанина красок.

— Тебе не нравится? — словно угадав мои мысли, спросила Майя. — Взгляни, как интересна ну хотя бы вот эта женщина. В ней все как бы излучается — темное, светлое. Каждый цвет в отдельности и все вместе взятые. Вернемся сюда чуть позже, хочу посмотреть, как она будет смотреться в тени. Ты увидишь совсем иную композицию. Витражи, они как живые, столько в них перемен, превращений. А знаешь, я и себя могу запросто представить как витраж.

Давно не помнил Майю такой раскованной, разговорчивой.

— Сияющий мой витраж, — сказал я, — светлое мое стеклышко.

— Милый, ты совсем меня не знаешь. Я могу быстро померкнуть, — сказала она. И продолжала свое: — В тени и светлое меркнет.

Она смотрела все подряд, не спеша и старательно. Я бы даже сказал — с поразительной выдержкой. Иногда, казалось, забывала о моем, да и не только о моем присутствии: на нее находила задумчивость, глаза становились большими, мечтательными. Стоял рядом с нею, рассеянно озираясь по сторонам. В толчее выделялась группа иностранных туристов; тщательно причесанные седовласые моложавые старушечки щелкали фотоаппаратами, с проворством школьниц взад-вперед носились по галерее. Ватага ребят из летнего пионерского лагеря украдкой пыталась приподнять ствол пушки. Женщины, отдыхая на скамейке в саду, сообща разглядывали сандалии, продукцию местной фабрики.

Неожиданно мой взгляд остановился по ту сторону сада, за которой был вход в концертный зал. Нет, я не ошибся, там действительно стояли Вита и Тенис. Сомнений быть не могло — они видели нас. Я посмотрел на Майю. Лишь она пока оставалась в прекрасном неведении. Разглядывала какую-то штучковину из плавленного стекла в грубой чугунной раме.

— Послушай, это же просто невероятно. Я во сне видела сочетание этих красок. — Пододвинувшись ко мне, Майя взяла меня под руку. — И когда шла сюда, почему-то была совершенно уверена, что увижу их здесь.

И тут, оторвавшись от витража, взглянула на меня.

— Что с тобой? Тебе нездоровится?

— Нет,— сказал я,— все в порядке. Здесь Вита и Тенис.

Майя отпустила мою руку и, словно по наитию, обратила взгляд именно туда, где стояла Вита.

— Подойдем к ним,— сказал я.

Майин взгляд снова уткнулся в витраж. В изгибе ее губ я подметил что-то новое, незнакомое прежде упрямство. Вид у нее был глубоко несчастный.

— Я так ждала этого дня,— сказала она,— так радовалась. Всю неделю дожидалась.

— Когда-то должно было такое случиться. Может, и лучше, что здесь. Сами они к нам не подойдут. Похоже, и они ломают голову, как поступить.

Майя вздохнула и отодвинулась еще дальше.

— Ты думаешь только о них.

— Вовсе нет. Но без этого не обойтись. Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю,— сказала Майя,— я все прекрасно понимаю.

— Нам надо поговорить. Если мы этого не сделаем, это будет похоже на бегство. А чего нам бояться?

— Ты уверен, что у Виты найдется о чем говорить со мной?

— По крайней мере, она не бежит.

— Единственное утешение. А то, знаешь, гоняться за ней в моем положении было бы нелегко.

— Майя, прошу тебя!

— Хорошо, милый...

Я помахал Вите. Майя первой сошла из тенистой галереи в сад. Но держалась от меня на расстоянии. Мне и самому подходить не хотелось, как она не могла понять. Но выбора не оставалось. С каждым шагом будто ноги укорачивались. Солнце слепило глаза, всей тяжестью навалился на плечи зной. Только теперь дошли до меня сказанные Майей слова: «Ты уверен, что у Виты найдется о чем говорить со мной?» А что, если Вита в самом деле устроит скандал? Причин более чем достаточно. Внутри у меня, как обычно в таких случаях, что-то сжималось, свертывалось. У меня почти не оставалось сомнений: быть беде.

Но стоило мне взглянуть на Виту, как я изменил свое мнение. Они придиричиво изучали друг друга, но, кажется, не столько с неприязнью, сколько с любопыт-

ством. Тенис помахивал переброшенным через руку пиджаком и чувствовал себя непринужденно.

— Добрый день,— сказал я.— Где только не угрождает встретиться.

— Искусство принадлежит народу,— изрек Тенис.

Вита с Майей все еще продолжали мериться взглядами.

— Вита и Тенис. Будьте знакомы,— сказал я Майе.— А это Майя.

— Мы уже знакомы,— сказал Тенис.— По линии заводского радиоузла,— пояснил он.— Когда-то были дикторами.

Обмен рукопожатиями получился почти дружеским.

— По-моему, обстоятельства не совсем подходящи...— начал я.

— Папочка, чем ты недоволен? — Вита посмотрела на меня с наигранным удивлением.— Раньше ты не был таким щепетильным.

— Формальности не могут затмить сути дела,— сказал Тенис.

Я успел уже привыкнуть к его манере разговаривать, однако на сей раз она меня покорибила.

— Вот бы только на скорую руку вычислить, кем мы друг дружке доводимся,— сказала Вита Майе.— Должно быть, я довожусь вам падчерицей.

— Да, но я не буду вашей мачехой,— почему-то ответила Майя.

И, как бы продолжая все ту же тему, Вита спросила у меня:

— Ты был у мамы? Как она себя чувствует?

— Да вроде получше,— сказал я, смешавшись.

— Ну, передай ей привет. Хотя в четверг я сама обязательно к ней выберусь.

Где тут кончалась игра, где начиналась непосредственность? Неужели возможно ко всему относиться так легко? Известное дело, у каждого поколения свой взгляд на вещи. Никогда не чувствовал это так остро.

Обменявшись несколькими фразами о выставке, стали прощаться.

— Вы, пожалуйста, присмотрите за ним,— полушутя-полусерьезно наказывала Вита Майе.— Поглядите, на кого он стал похож — сорочка несвежая, брюки не утюжены.

Майя была несколько ошарашена. Ничего не ответила, только головой кивала.

Не сдержалась все-таки, уколола, паршивка, подумалось мне. И еще я подумал, что Вита, в общем-то, повторила слова Ливии, совсем недавно сказанные мне в больнице.

Неужели я так опустился в последнее время?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Высокий суд» собрался в следующий четверг в так называемом кабинете для совещаний в присутствии всего заводского руководства.

В ожидании заседания я больше чем когда бы то ни было ощутил, что у колес моих нервов поистерлось резиновое покрытие — тормозить было трудно, а на каком-нибудь лихом повороте немудрено и вылететь в канаву. Должно быть, эта история задела меня куда основательней, чем самому себе хотелось признаться. Мысли об этом заседании окружили меня наподобие вала, за который уже ничего не проникало. По ночам донимала бессонница, утром я просыпался хмурый и злой. Хотя не сомневался, что поступал всегда так, как подсказывала совесть, меня все же преследовал какой-то смутный страх. Разумеется, и в самых худших обстоятельствах у меня оставались надежные пути для отступления. Но от одной только мысли о возможности отступления в груди начинало что-то покалывать. Двадцать лет проработать на заводе и уйти преподавать в институт? Если бы работа так не привлекала меня, я давно бы ушел по собственной воле, — сколько раз представлялась возможность. А теперь это было бы так похоже на предпенсионные уловки и ухищрения. В моем возрасте перекинуться на теорию означало лишь растерять то, что достигнуто в практике. Ни там, ни здесь. Хлебопашцу нужна земля, кузнецу — наковальня, барабанщику — его барабан, а мне нужен мой «Электрон». И этого незачем стыдиться. Конечно, можно перейти и на другой завод. Но инженер не солист оперы, гастроли для инженера не лучший вид работы.

Такого рода мысли здорово мешали работе. То на меня находили приступы злости, то я впадал в брюзгливую апатию. Еще год или два назад я бы, возможно, все это воспринял иначе. Но сейчас неопределенность положения чувствительно отзывалась на мне. Неопределенностей этих набралось предостаточно — Ливия по-прежнему в больнице, расписаться с Майей до рожде-

ния ребенка не было ни малейшей надежды, вопрос с квартирой, как и раньше, висел в воздухе.

Иногда я просто отказывался верить, что человек, поступки которого намеревались разбирать, действительно я и есть, Альфред Турлав. После тех почестей, которыми осыпали меня, после того неоспоримого вклада, который я внес, после успеха и славы, которые еще недавно окружали мое имя. Неужели все потеряло значение? Неужели кто-то может усомниться в необходимости моей работы, целесообразности моих действий? Как бы то ни было, в настоящий момент я ничего не мог изменить. Оставалось надеяться на фатальное «будь что будет» и, как больному, лечь на операционный стол, доверив свою судьбу другим.

За несколько дней до заседания, направляясь через двор в кафе, я увидел, как со стенда снимают мою фотографию. Не знаю, для чего это понадобилось. Может, снимали и другие фотографии, может, надумали покрасить, отремонтировать витрину. Не знаю, но прежде подобные мелочи меня не трогали. А сейчас померещилось что-то неладное. Один-единственный миг — и тебя нет. Остались только дырочки от кнопок.

В четверг утром проснулся разбитым, хотя после двойной дозы снотворного спалось лучше, чем обычно. Пока брился, заметил, что у меня дрожат руки. Сначала ударился в панику, но тут же проснулась и злость. Ну нет, с меня довольно, раскиснуть — дело нехитрое. Противно в зеркало на себя смотреть. Прямо как дед столетний: щеки ввалились, под глазами мешки. После хорошей зарядки залез под холодный душ. Поджарил себе яичницу с салом, сварил гремучей крепости кофе. Облачился в выходной костюм и полчаса рылся в шкафу, пока разыскал франтоватую желтую рубашку. Мне Вита ее подарила на день рождения вместе с галстуком-бабочкой, его я тоже нацепил. Эти приготовления, в которые я вложил изрядную долю иронии, а также задиристый вызов (в первую очередь самому себе) несколько успокоили нервы. Понемногу возвращалось хорошее настроение. Как в мальчишеские годы после какой-нибудь удачной проделки. Казалось, изменив наружность, я вызвал и какие-то душевные перемены. Я-то думал, я такой, а вот, оказывается, могу быть совсем другим. Меня там ждут таким, а я заявлюсь совсем иным. И действовать буду иначе. Разве момент

неожиданности не является важной предпосылкой победы?

Пришел ровно в десять — одним из последних. Почти все места уже были заняты. Пустовал единственный стул рядом с Лукянским. Недолго думая, направился прямо туда. Лукянский, увидев меня, поморщился, заерзал. По правде сказать, на меня были устремлены глаза всех присутствующих. Сидел как памятник в лучах прожекторов.

Появились Сэр и заместитель директора Кривосов.

— Я думаю, начнем,— произнес в своей обычной интимно-деликатной манере Калсон, взглянув на увесистые японские часы.— Быть может, вначале заслушаем заключение комиссии?

Отхлынувшее было волнение опять понемногу накатывало. Неимоверно трудно было все это выслушивать, продолжая спокойно сидеть.

Салминь говорил пространно, вяло, безлично. Смысл его речей был трудноуловим, слова выскальзывали, будто намыленные. Тысячу раз уже слышанные вещи. Работа в КБ телефонии на разных этапах, нарушения трудовой дисциплины, тенденции... перемены... кадры... показатели соревнования... общественная работа...

В самом конце была упомянута «неофициальная АТС». Да, в самом деле, такая работа ведется. В нее, по предварительным подсчетам, вложено столько-то и столько-то человеко-часов при такой-то себестоимости... потрачены такие-то и такие-то материалы... достигнуты такие-то и такие-то (весьма сомнительные) результаты...

Закончив, Салминь старательно сколол листки и протянул их директору. Калсон довольно равнодушно полистал их.

— Я вижу здесь только две подписи.

— Да, Борис Янович,— подтвердил Салминь, безо всякой надобности щелкая скоросшивателем,—сейчас я все объясню. Когда я в первый раз получил перепечатанное на машинке заключение, на нем стояла и подпись Лонгина Савельевича. А сегодня, смотря, он свою подпись вырезал.

— То есть как это — вырезал? (За стеклами директорских очков почти веселое удивление.) Лонгин Савельевич, в чем дело? (Взгляд на Королькевича.)

— Я не согласен с формулировкой «неофициальная АТС», а также с характеристикой, даваемой ей в заключение. (Невысокий Королькевич поднялся, уперев в стол сжатые кулаки...) На мой взгляд, проект разрабатывается успешно, в техническом отношении его, во всяком случае, следует рассматривать как достижение. В наброске нашего заключения так и говорилось. В машбюро я подписал заключение, не перечитав. Потом все же решил прочитать, и так как с новой редакцией был не согласен, а товарищ Салминь и товарищ Бесхлебников, в свою очередь, не принимали моих возражений, то я взял ножницы и подпись свою отрезал. (Вот уж никогда не ждал такого от Королькевича. Всегда о нем думал: самый настоящий подпевала.)

— Очень оригинально.— Калсон все еще улыбался. Последняя страница в самом деле была короче.— Сообщение вам все же придется подписать. В таких случаях, как известно, особое мнение член комиссии высказывает отдельными пунктами. Прошу вас выправить сообщение по форме.— По гладкой поверхности Калсон двинул стопку листов обратно к Салминю.

Я сидел, почти спиной повернувшись к Лукянскому. В этот момент пожалел, что сел с ним рядом. Хотелось заглянуть Лукянскому в глаза. От него, как из печки, на мое плечо пыхало жаром. Он дышал глубоко и звучно, будто врач прослушивал у него легкие. Стул под ним поскрипывал, трещал, как крепежная опора в шахте под двухкилометровым пластом породы.

— Борис Янович, вы не возражаете! — Голос Лукянского прозвучал решительно и жестко.

Объяснение Королькевича внесло в собрание какую-то легкомысленную ноту. Очевидно, это и было главной причиной, побудившей Лукянского ринуться в бой безотлагательно.

— ...КБ телефонии находится в сфере, за которую я в известной мере несу ответственность, посему о положении в этом КБ информирован лучше, чем большинство присутствующих. Я бы не выполнил своего долга (как же, как же, он всего-навсего исполняет свой долг!), если бы еще раз не подчеркнул, что нарушения, совершенные товарищем Турлавым, чрезвычайно серьезны. Скажу больше, настолько серьезны, что не имеют прецедента во всей истории завода...

Декламация Лукьянского произвела впечатление. Зал насторожился. После такого начала нужно было играть ва-банк.

— ...в целях экономии драгоценного времени я позволю себе не касаться административных, дисциплинарных и моральных аспектов нарушения. Моральных аспектов нарушения. Хотелось бы привлечь ваше внимание лишь в одном разрезе, а именно материальная ответственность. О чем идет речь? Вот о чем! Совершенно незаконно, абсолютно самовольно товарищ Турлав растратил тысячи человеко-часов. Говоря иными словами, предумышленно растратил определенную сумму государственных денег. А что означает преступно растратить государственные деньги, я думаю, никому не надо разъяснять. Не надо разъяснять. Дальше — материалы. Что значит нелегально использовать государственные материалы? Ведь материалы откуда-то брались. Иначе говоря, мы имеем дело с обычным хищением. Уважаемые товарищи! По-моему, картина ясна. Делая вид, что мы не замечаем этой стороны вопроса, мы тем самым становимся в позу соучастников. Мое предложение — чем скорее, тем лучше — сигнализировать органам финансового контроля и провести инвентаризацию с тем, чтобы определить нанесенный государству ущерб. Думаю, таким образом мы окажем услугу и самому товарищу Турлаву, не дав еще больше погрязнуть в беззаконии...

(И это все? В словах выраженное, во всеуслышание высказанное обвинение Лукьянского теперь показалось куда менее страшным, чем тогда, когда оно, бесплотное и расплывчатое, витало в воздухе какой-то смутной угрозой. Стиль определяет человека: все свести к мелкому мошенничеству...)

Среди присутствующих оживление. Ого! Каков оборот! В глазах немой вопрос: что бы сие значило — выражает ли Лукьянский свою собственную точку зрения, или есть такое мнение?

Лицо Калсона оставалось непроницаемым. По-прежнему уравновешен и сдержанно вежлив. От сгустившейся атмосферы страстей его, казалось бы, отделял прозрачный купол, наподобие тех, что прикрывают особо точные весы или приборы.

— У меня есть возражение против формулировки Казимира Феликсовича — «мы имеем дело с обычным хищением», — сказал заместитель директора Кривоно-

сов.— Вот представьте себе, к вам подходит какой-то человек и ваш футляр с очками перекладывает из одного кармана в другой. Это не хищение, потому как футляр по-прежнему при вас. Вполне возможно, товарищ Турлав использовал материалы не по назначению, но ведь они, насколько я понимаю, с завода не выносились.

— Футляр с очками вовсе не переложен из одного кармана в другой,— сказал Лукянский, вскакивая с места,— а, выражаясь вашим образным языком, брошен под ноги.

— Не имеет значения. Формулировка неверна. Никакого хищения здесь нет.

— Разбазаривание государственного имущества вас больше устраивает?

— Я полагаю, что мы все же имеем дело главным образом с растратой труда. Количество использованных материалов настолько незначительно, что при уборке цехов выбрасывается больше.

— Должен признаться, Иван Фролович,— Лукянский театрално развел руками,— ход ваших мыслей мне не совсем понятен. Не совсем понятен. Или расхититель потому уже не расхититель, если благодаря бдительности сторожа своевременно остановлен? Здесь важен принцип — материалы брались незаконно. Вот так, товарищи.

Напряжение немного спало. Внешне как будто ничего не произошло, но перемена все же чувствовалась. Если еще минуту назад люди сидели вокруг длинного стола тусклые, унылые, точно свечки на ветру, когда огонь сжимается в чуть приметное зернышко на конце фитиля, то теперь пламя опять распустилось, задышало. Большинство присутствующих были специалистами высокого класса. Пустопорожней болтовней их можно было ненадолго заинтересовать, однако удержать их внимание дешевой риторикой было невозможно.

Едва Лукянский сел, я попросил слова.

— Может, целесообразней вам было бы выступить позже, после того как выслушаете все высказывания, соображения?

— Нет. Целесообразней будет выступить сейчас. После потрясающих, поистине аргументированных обвинений товарища Лукянского я, уже наполовину одетый в полосатую спецодежду, хотел бы только совмест-

но со своими коллегами выяснить еще один важный вопрос: что такое конструктор?

Вроде бы — творческий работник. А что значит «творческий работник»? Ответ опять напрашивается как будто сам собой: быть конструктором — значит смотреть на вещи, явления своими глазами. Чем больше идей, тем лучше. А теперь, пожалуйста, представьте себе: вы конструктор, у вас появилась идея. Не на уровне рацпредложения о каком-то мелком узле, а, скажем, относительно целой станции, принципиально новой. Как вам быть с вашей идеей? У завода свой текущий план. КБ работает над плановым заказом, личный план инженера обязателен только для вас. Научно-техническое общество? Но оно такую махину не потянет. Что же остается — заниматься дома в свободное время? Вы прекрасно понимаете, что такая работа по силам лишь коллективу при использовании всех технических средств и аппаратуры. Так неужели же мы так богаты, что можем позволить себе выбрасывать на помойку идеи своих сотрудников? Быть может, эта идея, тщательно отработанная всем коллективом, сэкономит государству миллионы и миллионы рублей. И вообще, какими же действительными правами обладает конструктор на нашем предприятии для того, чтобы быть творческим работником в широком смысле этого слова — со своими взглядами, своими идеями? По-моему, было бы небезынтересно это выяснить, коль скоро допускается возможность, что метод работы КБ телефонии является порочным.

Что касается ваших (я повернулся прямо к Лукянскому) обвинений в хищении, то, к стыду своему, должен признаться: я в самом деле виновен. Заниматься хищением — мое любимое занятие. Больше я ничем не занимаюсь, только хищением. Это моя мечта, цель моей жизни.

Королькевич прыснул жиденьким смешком. Лукянский откашлялся в кулак.

— Вы закончили? — сдвинув брови, обратился ко мне Калсон.

— Да.

— Кто хотел бы высказаться?

Никто не выразил желания.

— Может, товарищ Салтуп? — Директор посмотрел на Сэра.

Сэр покачал головой.

— Товарищ Салтуп, очевидно, разделяет мнение товарища Лукьянского,— сказал я как бы про себя, но достаточно громко, чтобы все расслышали.

Слова мои были как пощечина, но мне казалось, он их заслужил. Именно потому, что не хотел сказать ни «да», ни «нет». Впрочем, в тот момент я и сам не знал, зачем их сказал. Только позднее уразумел. Я верил в его здравый смысл, его порядочность, мне хотелось растормошить его, заставить высказаться. И мне это удалось.

Сухощавое лицо Сэра с модными, уже седеющими баками залил густой румянец.

— Хорошо, Борис Янович,— сказал он, окинув присутствующих приветливым взглядом,— да будет так.

Дорогие товарищи! Уровень наших совещаний за последнее время значительно возрос. Это в самом деле отраднo. (Довольно длительная пауза.) И все же я не в силах подавить в себе сомнений, достаточно ли широко мы подходим к вопросу. (Потухшая было улыбка еще ярче расцвела на лице Сэра.) Научно-техническая революция приносит перемены в промышленное производство с поистине сказочной быстротой. Мы должны слышать пульс технического прогресса, улавливать направленность производственного развития. В новых условиях решающим фактором становится понятие взаимосвязи. Для того чтобы верно решить вопрос, какая продукция потребуется через три, через пять лет, мы должны отчетливо представлять, что произойдет у нас в стране и во всем мире в ближайшие двадцать, тридцать лет. Миграционные тенденции не оставляют никаких сомнений, что урбанизация будет и впредь продолжаться, в городах разместятся основные массы населения. Возрастет потребность в стационарных АТС с неограниченным количеством абонентов, станциях гигантских, которым будут предъявлены строгие требования — быть перспективными в техническом, экономическом и эксплуатационном отношении. И потому вполне обоснованно, закономерно мы проектируем свои иннервационные феномены. Но это только одна из линий развития. Все возрастающие потребности в нефти, каменном угле, природном газе, руде уже сегодня все больше и больше людей уводят в дальние, малообжитые районы Северной Сибири, за Полярный круг, в Среднюю Азию, на Дальний Восток. Полагать, что во всех этих периферийных районах можно будет использовать

иннервационные станции, особенно в их первоначальном варианте, было бы наивно. Возьмем пример из авиации. Сколь ни всеильны крылья, наряду с ними существует и будет существовать вертолетная авиация. Точно так же в телефонии нужны свои «вертолеты» — для разных условий и разных режимов. (Здесь Сэр чуть ли не на целую минуту прервал свою речь, предоставляя, как мне показалось, возможность всем и каждому взвесить его слова, сделать из них выводы.) Да, товарищи, вы меня поняли правильно. К разработке телефонной станции, необходимой нам как воздух, коллектив КБ телефонии уже приступил. (Без особых эмоций и довольно подробно Сэр перечислил технические данные «неофициальной АТС».)

На одном энтузиазме проделана большая, кропотливая работа. По-моему, это пример, достойный подражания, которым наше предприятие может гордиться. Это как раз то, чего от нас ждут, — интенсификация трудового процесса, использование внутренних ресурсов. Слишком узко воспримем этот призыв, отнеси мы его лишь к производственным нашим цехам. Товарищи, я полагаю, вы со мной согласитесь. Если поставленный здесь вопрос рассматривать с этой точки зрения, все становится ясным. Почин начальника КБ Турлава необходимо приветствовать и поддерживать. Пожелаем товарищу Турлаву дальнейших успехов в работе, доброго здоровья, всяческих благ и счастья в личной жизни.

Сэр повернулся ко мне. И у меня было такое впечатление, будто он сбросил с плеч тяжесть. Должно быть, и на моем лице он разглядел что-то похожее. Но это длилось всего один миг. Сэр опять стал самим собой. Его обычный насмешливый взгляд как бы говорил: ну что, хорошенькую шутку я отколол!

В ходе обсуждения наступил перелом. Присутствующие сразу оттаяли, просветлели, задышали свободнее. Напряжение спало. Посыпались замечания, вопросы, дополнения. Тем самым не хочу сказать, что разногласия во мнениях сразу исчезли и все противоречия устранились. Ничего подобного. Просто изменились отношение, подход, атмосфера в целом. А это было главное.

Захотелось пить, я потянулся за графином, слегка дрожащей рукой налил полный стакан.

Я был как ребенок счастлив, умилен, всем-всем доволен. Меня так и подмывало выйти на середину

кабинета, как-нибудь особенно сладко потянуться, схватить со стола кипу бумаги, подбросить ее кверху. Жизнь продолжается, продолжается...

Остальные выступления толком не слышал. Потом Калсон закруглял и обобщал:

— Инициативу КБ телефонии в принципе можно приветствовать... следует признать неверным метод товарища Турлава... начинание должно получить общепринятое, законное основание... изучить возможность освоения инициативы КБ телефонии и на других творческих участках...

— Товарищ Лукьянский!

— Слушаю, Борис Янович!

Я обернулся, чтобы посмотреть на Лукьянского. Он стоял, вытянувшись во весь свой рост, громоздкое туловище в бесплотной невесомости плыло, словно стратостат. Директор наклонил голову, наклонил свою и Лукьянский, нахмурился директор, скривился и Лукьянский.

— Товарищ Лукьянский,— повторил Калсон,— я, к сожалению, не смогу ежедневно заниматься делами КБ телефонии. Коль скоро вас этот вопрос так заинтересовал, прошу и впредь им заниматься.

Мне вроде бы жаль даже стало Лукьянского. Директор улыбался, и Лукьянский улыбался, но веки у него нервно подрагивали.

— Слушаюсь, Борис Янович!

— Товарищ Турлав, мне с вами еще надо поговорить. Остальные свободны.

Мы остались одни. Калсон, скрестив на груди руки, подошел к окну и неожиданно, с преувеличенным недоумением, пожал плечами:

— Кто бы мог подумать, что наш коллега Салтуп просто Цицерон...

— Вас интересует мое мнение по этому вопросу?

— Ни в коей мере. Хочу лишь предостеречь вас от чрезмерного оптимизма. Я далеко еще не уверен, что ваша легкомысленность закончится столь благополучно. Мы живем в обществе с планомерным хозяйством. Если заказ на станцию поступит — хорошо, если же нет — вопрос о растроченной рабочей силе возникает вновь. И возможно, не только о ней...

Я кивнул.

Некоторое время Калсон молча смотрел в окно, потом продолжал:

— Я попытаюсь как-то помочь делу через министерство, но мне кажется, было бы неплохо, если бы вы съездили в Москву. Не исключено, что ваш проект заинтересует еще какие-то влиятельные ведомства. Это было бы важно, в высшей степени важно. Когда бы вы могли выехать?

Я смотрел на него: неужели и Калсон загорелся этим делом? А может, я действительно закоренелый оптимист? Какое это имеет значение. Должно быть, так и есть, ведь мне яснее, чем кому бы то ни было, виделась очертания моих замыслов. Станция, о которой здесь говорили, была лишь началом, первой ступенью. Впереди манящая громада возможностей.

— Это не проблема.

— Ну и прекрасно.

Забирая со стола свою папку с бумагами, Калсон повторил на прощанье:

— А ваш коллега Салтуп и в самом деле Цицерон.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Не помню другого такого утра, когда бы я так просыпался. Было воскресенье. Еще не расставшись со сном, почувствовал — всем я доволен и счастлив. По краям плотной занавески на окне золотился солнечный свет. Где-то играла музыка (у Вилде-Межнице, где же еще). Потом я, должно быть, опять заснул, ибо переключился на зрительные восприятия. Я шел какой-то длинной анфиладой комнат, передо мной поочередно открывались двери: одна, другая, третья. Похожие на двери в кабинет Калсона, только белые и по размеру значительно больше. И эти двери, это дивное ощущение распахнутости опять привели меня к бдению.

Утро было бесподобное. Набросок проекта был закончен и сдан в министерство. После местных баталий в Риге и двух командировок в Москву появилась более или менее твердая уверенность, что на станцию будет получен заказ. Майя держалась блестяще. Ливии стало значительно лучше, на предстоящей неделе ее должны были выписать. У Виты с Тенисом на Кипсале все шло гладко. Одним словом, у моих радужных снов имелся стабильный фундамент.

Я отнюдь не торопился согнать с себя благодушное настроение. Валялся в постели, почитывал газеты, слушал радио. И потому ли, что солнце сияло, а может,

потому, что мне некуда было спешить, я заметил, что в комнате царит невероятный беспорядок: на столе, на стульях слой пыли, где попало разбросана грязная посуда, журналы, книги, чертежи, какие-то бумажки.

До полудня занимался хозяйственными мелочами. И чтобы увенчать прекрасное настроение, я, пока на кухне варился перловый суп, в только что отутюженных брюках, в чуть влажной еще рубашке вышел в сад Вилде-Межнице пофотографировать цветы. В глубине души надеялся на встречу со старой дамой. День казался поистине подходящим для примирения. После обмена «любезностями» в тот день, когда случилось несчастье с Ливией, наши отношения вступили в очередную фазу охлаждения — Вилде-Межнице попросту меня не замечала, бутылка коньяка на праздник Лиго была передана с Титой, а напоминание о неисправном насосе я получил по почте. Ничуть не сомневаюсь, что мой визит в сад не прошел для старой дамы незамеченным; быть может, она даже почувствовала его дипломатический характер, однако встречного шага с ее стороны не последовало. Да я особенно не переживал. После обеда поехал к Майе. У Видземского рынка мне пришла в голову мысль отвезти ей букет первых георгинов.

Как отраден для глаза и сердца июльский базар! Нечто похожее почувствуешь еще разве что на большой купле-продаже накануне праздника Лиго. Июльский базар — это торжественное вступление к симфонии плодородия. Мы уже созрели, радуются желтые стручки фасоли, а наши братья, бобы, еще дозревают. Картофеля нынче будет завалиться, под серым дождем его выкопают из вязкой земли, а вот я, гладкая июльская картошка, чистая и свежая, меня можно бросить в котел прямо так, с кожурой, и смаковать потом как деликатес. Помидоры, огурцы, морковь будут и в августе, сентябре, октябре, но уже без той желанности, которая дарам июльского базара придает особую прелесть.

И цветов было великое множество. Первыми на встречу рвались гладиолусы. В стеклянных банках, в ведрах, в полиэтиленовых бидонах. Алые, словно раскаленные мечи, румяные, розовые, как плоть арбуза, зеленовато-золотистые, бархатисто-фиолетовые и темные-претемные, будто старые, дочерна прокопченные деревенские бани. Ненавязчиво, робко дожидались

своего покупателя астры, хрупкие, бледные, напоминавшие чем-то блеклые тона старинных гобеленов. Чуть пониже, растекаясь по столам, в кастрюльках, мисках, жестянках из-под атлантической сельди, в связках, пучках и вязанках пестрели цветные горошки, львиный зев, настурции, ноготки. Дорогие комплекты роз загорелые руки цветочниц расправляли и охорашивали, разглаживали и лелеяли, смачивали и опрыскивали. С голенастой гвоздикой нянчились, придерживая за головки, совсем как младенцев.

И георгинов был огромный выбор. Не представляю себе других цветов, которые были бы в одно и то же время столь роскошны и которые с такой ослепительной беспечностью вживались бы в осень.

Набрал их целый букет, пестрый, ликующе-яркий. Но продавщица все подкладывала да подкладывала, приговаривая: берите, все забирайте, чего им зря пропадать.

Дверь открыла мать Майи. Как всегда, любезна, приветливо говорлива. Еще в прихожей мы успели обсудить оплошность прогнозов бюро погоды. Что она думала о других вопросах (в частности, о моих отношениях с Майей), я мог лишь догадываться. Определенно знал, что мать зовут Кларой, что в противоположность романтически настроенному отцу, звукооператору на радио, она была более приземленной и потому — главой семьи.

На голоса вышла Майя. Прежде всего удивило меня то, что цветы, всегда вызывавшие в ней радость, на этот раз она приняла равнодушно.

— Мама, возьми, поставь в какую-нибудь вазу, — сказала.

Пока мать расхаживала туда и обратно, мы говорили о всяких пустяках. Наконец остались вдвоем. Мне хотелось ее поцеловать, но она отрешенно смотрела себе под ноги.

— Ну, цветик, — сказал я, — отличный день, не правда ли?

— Да, день отличный, — согласилась она.

— Ты была на улице?

— Нет.

— Тогда пойдем, чего сидеть взаперти, куда-нибудь съездим.

Она молча помотала головой.

— Тебе нездоровится? — спросил я.

— Нет.

— А что же?

— Не хочется.

— Мой цветик не в духе?

— Нет.

— Тогда поедем! Небольшая прогулка пойдет на пользу вам обоим.

— Не хочется,— уныло твердила она.

В моих глазах, должно быть, промелькнула тревога, потому что Майя придвинулась ко мне, изобразила вялую улыбку.

— Ах, милый,— сказала она,— не обращай внимания. Это к тебе совершенно не относится. Я понимаю, тебе хочется прокатиться, ты всю неделю работал, бегал, надрывался. Но мне не хочется. Сейчас я не гожусь для прогулок. Уж ты не обижайся... Неделя срок большой, но ты-то этого не чувствуешь.

— Майя,— сказал я,— чудачка ты, право. Почему ты думаешь, что не чувствую?

— Не хочется об этом говорить.

— А почему ты меня не спросишь, как у меня прошла эта неделя? Где я был, что делал?

С задумчивым видом она прикоснулась пальцем к моей щеке.

— Не хочется. Пойми, не хочется.

— Ладно,— уступил я.— Оставим это.

— Предположим, что неделя у тебя была удачная. Что из этого? Все это время я тебе была не нужна. И ты говоришь со мной так, будто моей недели совсем не было.

— Майя, это же чушь! Ведь мы договорились. Ты сказала, что уедешь в Дарзини. А неделя эта многое решила.

— Ты уверен?

— Неделя в самом деле многое изменила.

Взгляд ее выразил удивление.

— Неужели? Ну-ка, скажи, что она изменила? Может, тебя изменила? Или меня?

Я знал ее достаточно хорошо и потому сообразил, что продолжать разговор в таком духе не имело смысла. Забрав себе что-то в голову, Майя всегда стояла на своем. Вся она была какая-то взвинченная, в таких случаях женщины не слышат возражений.

Я обнял Майю за плечи. Покусывая губы, она отвернулась, потом всхлипнула, по щекам покатились слезы.

— Майя,— сказал я,— боишься, да? Но ведь это вещь обычная.

— Не за себя боюсь.

— За кого же?

— За него.

— Вот глупенькая, ежесекундно в мире рождаются тысячи младенцев.

— Мне кажется, я его больше не чувствую.

Я усмехнулся.

— Да-да, не смейся,— сказала она, утирая слезы.— Еще вчера вечером чувствовала. А ты не пришел, и мне стало так грустно, так грустно, ну, думаю, сейчас умру. И потом, я это хорошо ощутила, что-то случилось. И после я его уже не чувствовала...

— Успокойся,— сказал я,— лишь оттого, что тебе грустно, никакой беды не случится. Не какая-нибудь там малявка, а большой и крепкий ребенок. Вот увидишь, он будет здоровущий и трудно тебе с ним придется.

— Да, но почему же я перестала его чувствовать?

— Тебе только кажется.

Больше она не плакала, но беспокойство не прошло.

— И за тебя я боюсь,— сказала она.

— Ах ты трусиха, да я ведь тоже не малявка.

— Но ты едешь на машине, и всякое может случиться. Вчера я прочитала в журнале, мужчина вел машину, и, пока стоял перед светофором, его хватил удар. Всего пятьдесят шесть лет и прежде ничем не болел.

Это уже было чуть повеселее.

— И эти твои горести преждевременны,— сказал я,— мне еще нет пятидесяти шести.

— Да я не о том. Совсем не о годах.

— О чем же?

— Я думаю о человеческих отношениях. У того человека, должно быть, была жена. И вдруг — осталась одна.

— Почему же обязательно одна? С детьми.

— Но это ужасно.

— Тебе во что бы то ни стало хочется поужасаться.

— Опять ты меня не понял. Все дело в том, что связь двух людей — всего-навсего видимость. По правде сказать, ее и нет. Каждый сам по себе.

— Когда нет любви.

— Любовь не может быть вне человека.

— Так досконально я не успел продумать. Но я оптимист. Мне в любви нужна ты.

Она внимательно поглядела на меня.

— Мне кажется, любовь женщин изменилась. Теперь они знают, на что готовы пойти ради любви, а на что нет.

— Вполне возможно,— постарался я сдипломатничать.

— Мужчины всегда это знали. Если бы тебе ради любви пришлось сменить работу, ты разве согласился бы?

— Дорогая, я что-то не понимаю тебя.

— Ах, ведь это я просто так. Для примера.

Она взяла расческу, стала расчесывать волосы. Не знаю, от речей ли Майиных, которые пропитали меня, как вода песок, или виной тому были плавные и гибкие движения ее рук (мне они всегда нравились, особенно теперь, когда торс ее отяжелел), однако во мне странным образом сочетались противоречивые чувства: щемлящая нежность подымалась навстречу какой-то тревожащей обидчивости. Неужели ей нарочно хотелось мне досадить, или это в самом деле были ее мысли. Мысли, впрочем, довольно банальные, но меня поразил тон, каким они были сказаны. Только и сама Майя была такой потерянной, такой несчастной; может, настоящей причины она не раскрывала?

— Хорошо,— сказал я,— допустим, на машине тебе ездить не стоит. Но прогуляться же ты можешь?

— Не хочется.

— Зашли бы к Тите.

— Не хочется,— твердила она.

Вошла мать, напоминая, что Майя еще не обедала. Майя и ей ответила тем же: «Не хочется».

— Ну хорошо, чего же тебе хочется? — Я чувствовал, что спокойствие мое понемногу тает.

Тоскливо взглянув на меня, сказала:

— Я бы с удовольствием соснула часок.

На том наш разговор и закончился. Немного погодя она еще раз повторила, что хотела бы поспать, и, как мне показалось, вид у нее был и в самом деле усталый. Накрыл ее пледом, сказал, что заеду вечером.

До двери меня проводила мать.

— Вы уже уходите?

— Да, так уж получается.

— Опять какие-нибудь срочные дела?

Вместо ответа неопределенно пожал плечами.

— Ой, какой сквозняк! — сказала она. — Это я на кухне раскрыла окно.

— До свидания.

— Ну и духота! Дышать просто нечем.

Ее глаза смотрели на меня действительно и пристально, голос слегка дрожал.

— Майя немного поспит, — сказал я.

Она продолжала глядеть, как будто не слышала моих слов.

— Духота жуткая, к грозе, не иначе.

— Да. Наверное...

Бухнула захлопнувшаяся дверь. Пока бежал вниз по сумрачной лестнице, на лбу почему-то выступил пот. На лестничной площадке первого этажа двое мужчин пили пиво. Один из них, потирая ладони, преградил мне дорогу.

— Закурить не найдется, а?

Я пошарил по карманам, никак не мог отыскать.

— Не валяй дурака, — сказал тот, у кого в руках была бутылка. — Раз нет, так и скажи, не морочь голову.

Машина стояла во дворе. Включил зажигание, каменный колодец быстро заполнялся выхлопными газами. Мутные клубы дыма поднимались все выше и выше. Из помойного бака выскочила кошка и, поджав уши, бросилась наутек. С шумом вспорхнули голуби. Через подворотню, как через огромную клоаку, дым уплывал на улицу, вливаясь в еще более тучные, более густые потоки выхлопных газов. Неожиданно все это мне представилось совершенно отчетливо: машины не просто катились, а плыли в потоке собственных выхлопных дымов. И люди тоже плыли в привычной своей вертикальной манере, шевеля руками и ногами.

Права была Майина мать, духота в самом деле жуткая. Выехав на улицу Стучки, зачем-то взглянул на часы: было без пяти минут четыре. Я решил, что успею проскочить перекресток, но светофор брызнул красным. Выжимая тормоза, ощутил, как в груди подскочило сердце. И, не спуская глаз с яркого ока светофора, я почувствовал неодолимое желание распластаться на сиденье.

Что-то черное полыхнуло перед глазами, резануло грудь и спину — там, под лопатками. Западня захлоп-

нулась, пыхнув в лицо холодом. И я повис на волоске. Второй приступ был менее болезненным, зато навалился всей тяжестью и никак не хотел отпускать.

Это что-то новое, совсем не то, что было раньше. Мне почему-то хотелось, чтоб это было просто повторением. Так что же? И почему сейчас? Не может быть. Какая нелепость. Я не...

Кровь закипала, звенела, проносясь по сужавшимся сосудам, давление возрастало, я это чувствовал по грохоту в висках, по вибрации пульса. И странно — чем громче отстукивало сердце, тем более я слабел, будто с каждым ударом от меня что-то откалывалось и я убывал.

Я успел свернуть к тротуару. Воздух, который жадно заглатывал, до легких не доходил. Что за ерунда. Смешно вспомнить — «один мужчина вел машину и перед светофором...». И надо же такому случиться именно сейчас. Когда мне только сорок семь. Вот уж не думал, что такое может случиться на обычном перекрестке. Если удастся открыть дверцу, тогда все в порядке. Только бы открыть дверцу.

Из зеркала на меня смотрело знакомое лицо пожилого человека с седеющими, всклокоченными волосами, морщинистое лицо с увядшей кожей. Нет, это не я. Не мог я так здорово сдать. Во мне еще столько сил. Да я еще... Сам понимал, что себя обманываю.

...Светило солнце, день был ясный, шли по-воскресному одетые люди, катили детские коляски, вели детишек за руки, несли детишек на руках и на плечах, девушка в цветастом платье шла, крепко взяв под руку парня, а ее косынка трепыхала на ветру, грузно ступала молодая беременная женщина. Неимоверная тяжесть вдавливала меня еще глубже в сиденье, но я, уцепившись за руль, пытался усидеть. Впереди стояла машина. В заднее стекло на меня пялил глаза мальчуган с веснушчатым носиком, с выпавшими передними молочными зубами. Лицо его мне показалось знакомым. Да. В самом деле. Давно ли. Давно ли. Не-весть откуда перед стеклом машины появились две белые бабочки и заплесали, затрепыхались, поднимаясь все выше, навстречу солнцу.

...Что это за странные звуки — сумбурные, а в то же время ритмичные, словно перестук на ксилофоне, где-то я их уже слышал, только не припомню где, очень знакомые звуки, слышанные и забытые, очень давниш-

ние, очень волнующие звуки. Сухой перестук приближался, это скакали лошади, две шеренги лошадей, до блеска начищенные, с распущенными гривами и пляшущими хвостами, высверкивали подковы, звенел булыжник, крутые шеи то опускались, то поднимались. Всадники — девчонки и молодые люди — были в черных фраках и белых бриджах, в белых перчатках и лоснящихся цилиндрах, роскошная кавалькада торжественно проскакала мимо. Я впивался глазами в каждую лошадь, в каждого всадника. Замыкал кавалькаду пожилой мужчина с жестким лицом ветерана.

Часы показывали две минуты пятого. Я опустил боковое стекло. Машины впереди уже не было. Со мной все в порядке, только лень было двигаться. На той стороне улицы увидел автомат с газированной водой. Сделав круг, подъехал к нему, вылез из машины. Ноги зудели. Выпил два стакана шипучей жидкости. Потом сел в машину и поехал, пока не увидел небольшой скверик — старые тенистые деревья, песочница, скамейки. Пахнуло ласковым запахом сена. Газон высотой в ладонь был скошен. Трава лежала увядшими рядками, источая ароматы заливных и приозерных лугов.

Сердце стучало размеренно, негромко.

В восемь вечера я опять поехал к Майе. Какая все же я бестолочь. Как вообще посмел ей что-то навязывать. Ей, обремененной не только телесно, но и душевно. Теперь, моя милая, все будет так, как ты захочешь. Буду чуток, как жонглер, внимателен, как ювелир. Жизнь слишком коротка, чтобы отравлять ее раздорами. Какое все-таки счастье, что я могу вот так взбежать вверх по лестнице, позвонить у твоих дверей и снова увидеть тебя...

Никто не спешил отворять.

Позвонил еще раз, длинно, нетерпеливо. Со звонком все в порядке, мелодичное «клинг-кланг» разносилось по квартире.

Ни звука. Позвонил еще, подождал — и еще раз.

От Майи, конечно, можно было ждать сюрпризов. Спустилась в магазин? Но где же мать? Надумали вместе пойти прогуляться? Навряд ли. В кино? Нет. Поехали на дачу в Дарзини? Ближе к истине. Нет, впрочем, и это

сомнительно. Оставалась еще одна возможность, наиболее вероятная и самая тревожная.

Мое предчувствие в том гадании не участвовало. Свой единственный вариант предчувствие шепнуло мне в самом начале. И сразу прояснилось и объяснилось поведение Майи этим утром. Понятно, почему ей не хотелось никуда выходить, чутьем она угадывала, что это надвигается. Нервное напряжение, по правде сказать, уже было началом. И лишь такому жалкому технарю, как я, было невдомек. Ну да, по расчетам, это должно было случиться позже. Роды на восьмом месяце — не опасно ли? Как раз на восьмом... Бывает, говорят... Преждевременный...

Решил подождать. Кто-то должен вернуться. Не Майя, так мать.

Время, казалось, стоит без движения, как вода в пруду, и я весь в тине и ряске тягостных мыслей, воспоминаний о том, как ждал когда-то рождения Виты, весь в каких-то смутных догадках, в тенях страха, пузырях надежд. Каждые полчаса поднимался наверх, чтобы удостовериться — не появилась ли вдруг Майя каким-нибудь необъяснимым образом.

Наконец появилась Майина мать с Майиным клетчатым жакетом, брошенным на руку, точно только что вышла из пошивочного ателье, что в соседнем доме. Вопреки установившимся между нами сдержанным отношениям, я подлетел к ней, схватил ее за увешанный одеждой локоть. Она как-то странно отпрянула, я уж думал, опять сейчас начнет толковать о метеосводках и погоде, но она, изменившись в лице, сказала:

— Будем надеяться, все обойдется! Майя, детка, так она измучилась. Все-то у нее не так, как у других.

Будто ища поддержки, она взяла меня за руку и, не отрывая от меня своих глаз, засыпала словами, торопливыми, горячими. И эта бьющая через край тревога внесла непринужденность, взаимопонимание было установлено.

— Все будет хорошо, вот увидите, — сказал я. — Как же иначе. Но, может, ребенок уже родился?

— Ах, не говорите! — В одно и то же время она обливалась слезами и улыбалась между всхлипами. — С первым ребенком всегда не просто. А Майя не из крепких. Я ей говорила: тебе надо побольше гулять. Да разве ее убедишь. Не тот у нее характер. Старшая дочь у меня совсем другая.

— Ничего, все обойдется.

— Я тоже так думаю.

— А что теперь можно сделать? Не нужно ли для ребенка приготовить белье и одежду, в чем домой везти?

— Нет, нет,— она решительно помотала головой,— об этом пока рано думать. В таких вещах я немного суеверна. Сначала пусть благополучно разрешится.

— Тогда, может, позвонить в больницу?

— И с этим успеется. Акушерка, оказалось, моя старая знакомая. Очень симпатичная дама. Мы с ней вместе проходили курс в оздоровительной группе. Я дала телефон соседей. Если родится до двенадцати, она позвонит. Если позже, тогда с утра. Но что ж мы стоим посреди улицы? Вы ведь зайдете, не правда ли?

Мне не хотелось оставаться одному. С нею можно было поговорить о Майе. И подождать звонка из больницы.

— Да,— сказал я,— если позволите.

Она взглянула на меня и почему-то засмушалась.

— Простите, даже не знаю, как вас и величать.

— Ну, со временем все выяснится, я, в свою очередь, в этих вещах суеверен. Прежде пусть родится маленький Альфред Турлав.

С Майиной матерью мы просидели до двух часов ночи. В полночь зашла соседка и сказала, что звонила акушерка — пока никаких перемен. Лег я в три, проснулся в семь. В восемь позвонил, и мне сказали, что в четыре часа двадцать минут у Майи родилась дочь, весит два килограмма восемьсот граммов.

Дочь? Почему дочь? То, что может родиться дочь,— такая возможность мне до сих пор не приходила в голову. Чувствовал себя несколько ошарашенным, однако наступившее облегчение держало разочарование в узде. Ладно, пусть будет дочь. Не все ли равно. Разве это главное.

С букетом белых гвоздик я примчался в родильный дом. Дальше двора там никого не пускали. У ворот, совсем как безработные вокруг биржи труда, в томительном ожидании слонялись отцы. Одни — оживленные, принаряженные, другие — угрюмые, раскисшие, с небритыми физиономиями, красными глазами, кое от кого и пахивало винным перегаром.

Сестра взглянула на меня, как на невидаль.

— Да вы что, с луны свалились? Никаких цветов не принимаем.

— Но я же помню, что посылал.

— Когда это было, интересно?

— Лет двадцать тому назад.

— Ну конечно,— рассмеялась она.— Я, знаете, историю каменного века не проходила. Уж ладно, давайте хотя бы записку.

Вот о записке я не подумал. Записку нужно было еще написать. После нескольких загубленных черновиков послание мое по стилю не превышало уровень обычного отчета о работе КБ, где отдельные поэтические возгласы перемежались с сугубо практическими рассуждениями.

Минут через двадцать получил ответ.

«Я только что проснулась, и у меня такое чувство, будто я совершила нечто выдающееся. Так и кажется, сейчас придут с орденом. Хотя я не разродилась ни пятерней, ни даже двойней. А дочь, говорят, вполне здорова, но когда я впервые увидела ее, меня поразили ее сердитый, насупленный вид. Я, разумеется, как и ты, в глубине души ожидала сына и решила назвать его твоим именем. Теперь все изменилось, а имя придется еще придумывать. Вообще много о чем придется еще подумать. Но об этом в другой раз. P. S. Цветы отдай сторожу. Мне почему-то кажется, о нем тут редко вспоминают».

В проходной у первой вертушки дежурила Алма.

— Привет, Алма,— сказал я.— Как жизнь?

— Отлично,— ответила Алма,— чего нам не жить.

На этот раз народу было немного, можно было поговорить пообстоятельней.

— Что, сын уехал?

— Укатил.

— А жену опять оставил на твоём попечении?

— И жена уехала.

— Что-то новое.

— На сей раз внучок остался. Яник. Бедовый парнишка.

— Наконец-то ты обзавелась маленьким внучком.

— Не такой уж он маленький. Скоро годик стукнет. В ясли пристроила.

— Пусть растет себе на здоровье.

— Здоровье — это главное,— философски заметила Алма, вздохнув при этом.— Бывают, конечно, вся-

кие трудности. Недавно к нам прилетела бабушка по матери. Целую неделю прожила, а разговор не клеится. Я и по-латышски, и по-русски, а она на своем, на калмыцком языке толкует. Язеп говорит, это все демографическим взрывом называется. Что ты будешь делать, жизнь ведь не стоит на месте.

Во дворе, преисполненный важности, распоряжался Фредис. В помощь ему была придана полурота женщин. Делали новые клумбы, перекапывали старые. В деревянных ящиках пестрела цветочная рассада.

— Послушай, Фредис, не поздновато ли высаживать цветы?

— А, что говорить! Да лучше поздно, чем никогда. Я с весны просил, все подожди да подожди. А сегодня вдруг пригнали сразу две машины. Только желтые цветы как-то в композицию не вписывались. Я взял и рискнул, отослал обратно. И вот пожалуйста — прислали другие.

— С чего бы это?

— Будто не знаешь. Сам большой министр собственной персоной из Москвы нам знамя везет.

— Это ведь старые лавры, — сказал я.

— Что заслужено, то заслужено. Любая почеть сердце тешит. Как же иначе! Помню, у финнов был матерый такой борец Аламеги, ляжки у него толщиной с пивной бочонок. Турка Некера как мокрое полотенце скатал. Вот подошел его черед взобраться на пьедестал почета, получить золотую медаль, и что ты думаешь, у Аламеги этого, как у дистрофика, ноги подкосились — плюхнулся на пол. Ладно бы медаль была из чистого золота. А то ведь так, одно название, просто позолоченная.

В КБ все шло своим чередом. Я бы мог там не показываться неделю, ничего ужасного и тогда б не произошло, подумал я, подсаживаясь к столу. У каждого свое задание, наблюдение осуществляют инженеры групп.

Подошел Скайстлаук, солидный и учтивый как всегда. Без каких-либо приказов или распоряжений его все считали чем-то вроде моего заместителя.

— Примерно час назад вам звонил директор, — сказал он.

— Спасибо. Я должен ему позвонить?

— Нет, товарищ Калсон сказал, что сам позвонит попозже.

Перебирал бумаги, пытался разобраться в ворохе заявок на материалы последнего квартала, но чувствовал, что работать сейчас в одиночку мне просто не по силам. Хотелось улыбаться, делать что-то важное, нужное, общаться с людьми, подключиться к энергетическому кольцу общих мозговых усилий; без второго полюса мой заряд оставался втуне, напряжения не возникло, без соприкосновения с другими я и сам до конца не был самим собой.

Поретис и Юзефа работали за столом Пушкунга, я знал, они занимаются так называемым «зеркальным блоком» — одним из центров тяжести иннервационных станций.

— Не слишком ли логичны мы в своих рассуждениях, — расслышал я голос Пушкунга. — «Перевернуть» импульсы по принципу зеркального отображения не удалось. В таком случае не попробовать ли нечто совершенно противоположное?

Импульсы... импульсы... гирлянда импульсов... Мысль о гирлянде импульсов явилась как-то вдруг, неожиданно, как бы шутя, однако на фоне того приподнято-обостренного и просветленного настроения, которым я был охвачен, и потому совершенно отчетливо почувствовал, что эта идея кое-что может дать.

— Гирлянда импульсов, — крикнул я из-за своего стола.

Пушкунг долго потирал виски. На лице его было такое выражение, точно его не вовремя с постели подняли. Затем, схватившись за голову, он весомо и громко изрек:

— Только не гирлянда, скорее уж лестница.

Я уловил его мысль, многословие тут было бы только помехой. Мысль Пушкунга казалась ближе к истине, чем моя догадка. Я подошел к ним. В этот момент зазвонил телефон.

— Кто-нибудь снимите, — сказал я, — попросите позвонить попозже.

— И директору? — вежливо переспросил Скайстлаук.

— Директор не в счет.

Немного погодя я оглянулся на Скайстлаука. Тот стоял у телефона, держа в руках трубку.

— В чем дело? — спросил я. — Директор?

— Нет.— Скайстлаук никак не мог побороть смущения.— Звонила Вердыня из месткома, спрашивала, знаем ли мы, что у Майи Суны родилась дочь.

Взоры всех на какое-то мгновение обратились к Скайстлауку, чтобы от него, как с трамплина, метнуться ко мне.

А я и не собирался скрывать своего радужного настроения.

— Что ж, это вовсе не государственная тайна,— сказал я.

— Поздравляю, начальник, поздравляю, такое достижение, и без отрыва от производства.— С этими словами Сашинь протянул мне руку.

— Заслуг моих как начальника тут нет никаких.

— У дальновидного начальника заслуги везде и во всем.

Незадолго до обеденного перерыва позвонил директор.

— Ну, Альфред Карлович, поздравляю.

Я так опешил, слова из себя не могу выдавить. Короткая заминка оказалась поистине спасением, иначе бы попал в дурацкое положение. Вот что значит инерция. Не только логика способна помрачить сознание, иной раз такую шутку может выкинуть с нами и отличное настроение. Это я понял, едва Калсон закончил начатую фразу. Он говорил об оформлении заказа.

— Спасибо,— придя в себя, сказал я.— Приятная новость.

— Окончательно вопрос будет решаться на коллегии министерства через неделю. Сегодня понедельник? Значит — в следующий вторник. Если память не изменяет — в одиннадцать.

— Понятно, в следующий вторник,— машинально повторил я.

Ну вот и прекрасно, подумал я, все сразу, одно к одному. Я особенно не вникал в слова директора. Тогда мне вообще не могло прийти в голову, что коллегия министерства может совпасть с возвращением Майи из больницы. Конечно, когда оглядываешься на то, что уже позади, все обретает совершенно иную перспективу, ибо осталось главное, второстепенное отсеялось. Задним умом всякий крепок.

Мы гуляли в старом больничном парке. Ливия опиралась на трость, одну ногу слегка волочила, но двигалась довольно бодро. На ней была большая не по размеру пижама из серой фланели, не успевшие отрасли волосы прикрывал платок, завязанный на лбу узлом, из-под него выбивались седые пряди.

По ту сторону забора маневрировал товарный состав. Буксуя, колеса издавали резкий, томительный звук — тяжело скользил металл по металлу.

— Можешь не рассказывать,— сказала Ливия.—Я уже знаю. Мне доложили. «У вашего мужа родилась дочь». И так была она довольна, что может сообщить мне эту весть.

— Кто это «она»?

— Не представилась. Просто доброжелательница.

Состав никак не мог остановиться. Скрежетали, шипели, визжали колеса.

Ливия смотрела на меня спокойным, но очень тяжелым взглядом, печали и обиды в нем укрывались за каким-то бесстрастным чувством превосходства. Мне почему-то казалось важным выдержать ее взгляд.

— И ты теперь счастлив?

Неужели ей необходимо подтверждение? Впрочем, она все воспринимала чисто по-женски — в такую возможность попросту не верила. В ее глазах поступок мой был не более и не менее как безрассудной легкомысленностью, в лучшем случае — легкомысленным безрассудством.

— Стоило ли говорить об этом,— сказал я.

Гулко ударились буфера, лязгнула сцепка. Состав покатился обратно.

Ливия кивнула, вроде бы соглашаясь, но взгляд говорил другое — она ожидала ответа.

— Представления о счастье со временем меняются. Предоставь мне золотая рыбка возможность загадать желание, я бы попросил у нее пятерых сыновей и пятерых дочерей.

Ливия рассмеялась почти весело.

— И только-то! Тогда б уж на цыганке женился. Да не переоцениваешь ли ты свои силы?

Она смотрела на меня, как смотрят на людей не вполне нормальных, однако меня это не трогало.

— Когда умер мой дед, он, например, остался в семи вариантах. Как каменщик, как столяр, как крестьянин, учитель и так далее.

— Красиво говоришь... Но извини, мне трудно принять всерьез. Что-то раньше я в тебе не замечала тяги к детям. И, зная твой характер... Тебе и с одним-то ребенком было нелегко.

Я промолчал.

— А с ней ты говорил об этом десятке детей? Она согласна?

Я молчал.

— Мне ты об этом в свое время не заикался.

Помолчали. Состав наконец укатил.

— Желаю тебе всего самого лучшего,— Ливия первой нарушила молчание.— Я не собираюсь стоять у тебя на пути. Для меня никогда не было иного счастья, кроме как видеть вас с Витой счастливыми. Поступай как знаешь, я буду жить как и раньше. Помогать Вите, внуков растить. Буду считать, что ты просто куда-то далеко уехал. Слово «развестись», по правде говоря, какое-то глупое. Как могут развестись люди, вместе прожившие двадцать лет. Если и покойники навсегда остаются с тобой...

— Когда ты выписываешься?

— Врач сказал, в понедельник или во вторник. Если снимки будут хорошие.

— Мне нужно точно знать, во сколько за тобой приехать, какие вещи привезти. Ты мне потом позвони.

Ливия смотрела неподвижным отсутствующим взглядом.

— Звони вечером, попозже,— сказал я,— лучше всего в одиннадцать. В другое время можешь не застать.

— Не беспокойся. Не стану тебя тревожить. За мной приедет Тенис. Буду жить у них на Кипсале. Только за одеждой пришлю.

Ничего подобного я, разумеется, не ждал. Но первой моей реакцией на эту весть было не удивление, а злость. Должно быть, оттого, что Ливия высказала это таким постным тоном, с видом мученицы,— вот, мол, какая я кроткая, благородная.

— Что за чушь! — сказал я жестко.— Да им самим тесно, а родится ребенок...

— Все уже решено. Потому что, видишь ли,— глаза Ливии блеснули чуть ли не лукавством,— меняются не

только представления о счастье, меняются и представления о местожительстве.

— У них там одна-единственная комнатенка.

— Как-нибудь устроимся. Петерис поступает в мореходное училище, Янис уходит в армию.

По дорожке нам навстречу шла женщина с маленьким мальчиком. Эрна с Мартынем. Очень даже кстати, подумалось мне, — тот момент, когда требуется присутствие друга дома. И Ливия успела заметить их.

— Ну, так как же, — торопливо переспросил я, — когда позвонишь?

— Не буду я звонить.

— У тебя есть время подумать.

— Спасибо. Ты очень любезен.

— Тетя Ливия, тетя Ливия, я принес тебе шоколадного слона! — еще издали закричал Мартынь.

Запыхавшаяся Эрна утиралась платочком.

— Просто беда с этим парнем. Пристал ко мне как банный лист: «Хочу совершить подвиг, хочу совершить подвиг». С вечера насмотрится телевизора, на другой день сладу с ним нет.

— А ну-ка иди сюда, — сказала Ливия, — сейчас ты сможешь совершить свой подвиг. Давай съедим твоего слона.

— Да нет же, тетя Ливия, — говорил Мартынь, высвобождаясь из объятий Ливии, — это никакой не подвиг. А я хочу совершить настоящий подвиг!

Взглянув на меня с удивлением, Эрна сказала:

— Послушай, Альфред, да ведь ты поседел! Что с тобой?

— Ничего особенного.

— Зимой не было ни одного седого волоса.

— Бывает, — сказал я, — когда времени не выберешь подкраситься.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Среди ночи вдруг зазвенел звонок, я вскочил с постели, и первая мысль — будильник! Забыл в соседней комнате, вот и звенит. Но будильник был рядом, на стуле. Телефон! Однако звонок трещал без умолку. И только тут я сообразил: звонят у ворот, кто-то просит впустить.

На дворе стоял тарарам. Заливалась Муха, за оградой звучали нестройные голоса.

На ходу надевая халат, в спешке открывал двери. Изволь среди ночи выходи объясняйся неизвестно с кем. Надо же, какой шум подняли! Самое время наладить телефонную связь с калиткой.

Еще на подходе к воротам до меня донесся радостный выкрик:

— Альфред, старина, уж ты не обессудь, это мы!

— Сашинь, ты?

— А кто же! Черт двухголовый!

— Одну минутку, сначала уберу четвероногого.

— Собачку — ни в коем разе! Собачка пусть остается. Собаки лучшие друзья человека. Веселее будет.

— Она же набросится.

— Альфред, о чем ты говоришь! Не тот у нас дух.

Подгулявшего спутника Сашиня узнал лишь у самой калитки. Должен признаться, моя фантазия так далеко меня не заносила. Это был Эгил Пушкунг. С бутылкой шампанского в одной руке, с тортом — в другой.

— С постели подняли? Настоящие гунны, — добродушно поругиваясь, Сашинь бросился ко мне здороваться. — По совести скажу, не я автор этой затеи, я бы как миленький домой поплелся, в литрабол сыграли в баре, и точка. А Пушкунг завелся, не остановишь! Поедем к Турлаву, поедем к Турлаву! Все уши прожужжал. Ладно, под конец уступил я, но учти, безразмерной трешкой нам тут не отделаться.

Пушкунг поблескивал из темноты глазами, поглаживал свой воротник, громко смеялся, кивая одобрительно.

— Верно, верно, я виноват, — сказал он. — Уж не сердитесь. Только я рассудил, сейчас не заедем, мелкие людишки мы после этого. Повод-то!..

Было что-то в словах Пушкунга такое, что брало за живое.

— Поводов в самом деле предостаточно, — сказал я. — Заходите.

— А может, устроимся здесь, на скамейке, — сказал, озираясь, Сашинь. — Под осенними звездами, под цыганским солнцем. Чуете, как пахнут маттиолы?

— Идемте, — сказал я, — идемте в дом.

Разыскали бокалы. Растрясенная дорогой бутылка шампанского пальнула в потолок.

— Поступило предложение обойтись без тостов, — объявил Сашинь. — Незачем усложнять простые вещи.

— О нет,— возразил Пушкунг, поднимая палец,— не согласен с такой формулировкой. В мире нет вещей простых. Обойдемся без тостов, чтобы и без того сложные вещи еще больше не усложнять.

Выпили.

— Дети рождались и будут рождаться.— Сашинь зажмурил один глаз.— Не исключено, что мы через год-другой по тому же поводу будем пить за счастье кого-то еще из присутствующих...

И тут выяснилось, что с Майских праздников Пушкунг влюблен в чемпионку по стрельбе. Как выразился Сашинь: по макушку и чуточку повыше. Неделю назад чемпионка укатила на тренировки куда-то под Кишинев, и вот Пушкунг места себе не находит — как в воду опущенный. (Подумать только! А я ничего не заметил.) Штаны на нем не держатся, все с него валится, хоть кожу меняй. То вздыхает, то стонет: горе мне, горе, забудет она меня, ведь там кругом такие молодцы, и все Вильгельмы Телли (Сашинь удачно копировал голос Пушкунга).

— А я говорю ему: спокойствие, приятель. Любит, не любит — в наше время на ромашках не гадают. Ты позвони ей, спроси напрямик. Да, но как позвонить, я же номера не знаю. Одним словом,— Сашинь принялся потирать ладони,— ради мира в Европе и всеобщей безопасности ничего иного не оставалось, как взять это дело в свои руки. И вот сегодня была проведена совместная операция. Я объяснялся с телефонистками и администрацией спортлагеря, а он, так сказать, выступил под занавес. И все в ажуре! Честное слово! Как выяснилось, горе было обоюдным, чемпионка тоже потеряла аппетит, охи да вздохи. Финал ликующий — техника устраняет препятствия, любовь торжествует!

Теперь поведение Пушкунга для меня перестало быть загадкой.

— Ну, понятно. Тогда и вправду день незабываемый.

— У Сашиня банальная манера выражаться, но в принципе все сказанное не вызывает возражений.

— Помните, Пушкунг,— сказал я,— был у нас с вами разговор.

— У нас не однажды был разговор.

— О женитьбе.

— Такого не помню.

— Я говорил вам: жёнитесь, дети пойдут, понадобятся деньги...

— Ну нет,— проворчал Пушкунг,— я не умею ни план выдавать, ни речи говорить. Я среднее звено. Конструктор. Уж это точно.

— Примерно как петух,— сказал Сашинь.— Не совсем орел, а в общем и не еж.

— С вашей головой вам лет через десять руководить лабораторией.

— На этот счет у меня особое мнение,— стоял на своем Пушкунг.— Лет через десять при заводе будет не только лаборатория.

— А я вот думаю о нашем Берзе, вы читали, что он написал? И доктор наук рядом с ним не шибко умным покажется.

— Послушай, милый человек! — Пушкунг в первый раз за вечер скорчил страдальческую гримасу.— Ты не мог бы чуточку потише? Уже довольно рано.

— Потише? — Сашинь недоуменно посмотрел сначала на меня, затем на Пушкунга.— Но почему? Друзья и коллеги! В конце концов, что мы — воровская шайка, что ли? По такому, как сегодня, случаю наши предки песни пели, в трубы трубили. Раз уж веселиться, так на всю катушку. А что, может, в самом деле споем? Хотя бы вот эту:

Ты куда летишь, ястребок...

Ничего не скажешь — у Сашиня приятный баритон. Поначалу я подпевал вполголоса, но со второго куплета грянули втроем. Мамочки родные, я совсем позабыл, что такое петь! Давно этот дом не слышал песни. Была не была.

После четвертого куплета у нас над головами загремел марш тореадора из оперы «Кармен».

— Да у тебя музыкальные соседи,— сказал Сашинь.— Обожаю родство душ!

— А что, правда! — вставил Пушкунг.— Четверть первого.

— Это солистка оперы Вилде-Межнице,— сказал я.— Видно, ей что-то не пришлось по вкусу в нашей аранжировке.

— Вилде-Межнице? — переспросил Сашинь.— Это меняет дело. Может, мы и в самом деле на один-другой децибел взяли выше, чем следует?

— Шум здесь ни при чем,— сказал я,— старая дама не ложится раньше двух или трех. Просто она решила о себе напомнить.

Теперь сверху доносились уже половецкие пляски из «Князя Игоря».

— Так это дело нельзя оставить,— Сашинь вскочил со своего места.— К чему великую артистку нагружать сплошными негативными эмоциями? Ошибки нужно исправлять! Пушкунг, подать сюда шампанское! Поднимусь к ней на минутку. Попрошу извинения.

Наивный Сашинь, подумал я, ты просто не знаешь, о чем говоришь. Затем то же самое я несколько раз повторил ему вслух. Но Сашинь в бездумном легкомыслии стоял на своем; он был неуправляем.

— Мда,— протянул Пушкунг, и было заметно, что ему немного не по себе.— О такого рода последствиях нашего посещения я как-то не задумывался.

— Ничего,— сказал я,— в свое время она многих славных мужей ставила на место.

И чтобы как-то скрасить томительное ожидание и немного поразвлечь Пушкунга, в то же время дать ему ясное представление о Вилде-Межнице, я рассказал ему несколько эпизодов из жизни солистки.

— Ммддааа,— тянул Пушкунг, помаргивая глазами.— Бедный Сашинь. Вот что значит недостаток информации. Однако так легко у нее этот номер не пройдет.

На втором этаже смолк проигрыватель. Что-то брякнулось на пол. Мы вслушивались, задрав кверху головы. Прошло минут десять, пятнадцать.

— Прямо жуть берет,— сказал Пушкунг,— что бы это значило?

— Понятия не имею,— откровенно признался я,— придется пойти проведать.

Выждав еще немного, я поднялся наверх.

— Входите, входите,— крикнула Вилде-Межнице.

Они сидели за столом, пили шампанское и оживленно беседовали.

— Я, Турлав, спорю с вашим другом. Он говорит, что он технарь. Ха! Он помнит мое белое платье при первом выходе Тоски. Вот не угодно ли — человек поистине технического склада.— И отточенным жестом она указала на меня.— Прошла пора голосов. Да здравствует звукозапись!

Не знаю, слышали ли вы, что расстояние между Землей и Луной с каждым годом увеличивается на шестьдесят сантиметров. Расстояние между Солнцем и Землей также возрастает. Вселенная расширяется. И это естественно. Кому охота сужаться. Присмотритесь к дубу — как он разбросал вокруг себя дубочки. Или взять такой пример из отдаленных и не столь уж отдаленных исторических времен: сколько крови пролито, сколько копий сломано, и все чтоб расширить границы своего государства, веры, влияния. Директор любого завода норовит раздвинуть свой двор. И с родителями — то же самое. Дети — наш двор... Сторож родильного дома, шустрый мужичонка с лихими буденновскими усами, говорит размеренно, с выражением, будто учитель читает диктант. Ни за что не хочет меня отпускать, все трясет и трясет мою руку. В глазах у Майи нетерпение, ей поскорее хочется уехать. В который раз приоткрывает край одеяла, показывает личико ребенка. Нос Турлава, в этом никаких сомнений. Светлые волосики младенца аккуратно расчесаны на прямой пробор. И все же мальчик, говорит Майя, не пойму, с чего врачи поначалу решили, что девочка. А я счастливый, не в силах глаз отвести от ребенка. Таким манером ехать опасно, недолго и в аварию угодить, речь идет о жизни ребенка, но я не могу взгляда от него оторвать. Надо подумать о будущем, говорю я Майе. Раз уж сын родился, мы должны перебраться в другой дом. И вообще, ты представляешь, как растить сыновей? Очень важно, чтоб у него был чуткий слух. Научиться стрелять можно в любом возрасте, это просто. Но вложить в душу песню можно только в детстве. Первым делом сыновья должны научиться петь. Рядом с Майей сидит Вита. И у нее на руках закутанный в одеяло младенец. Жутко похож на Альфреда-младшего. Вылитый Турлав. Не хочу заглядывать слишком далеко, говорит Вита, но обозримое будущее, ближайшие лет семьдесят, в наших руках. Мне все равно, кто родился первым — дочь или сын. Когда считаешь на руке пальцы, какая разница, с какого начать — с большого или мизинца. Мне начинает казаться, что все это она рассказывает для отвода глаз. Напрямик ее спрашиваю: как твои дела в университете. В глазах у Виты вспыхивают упрямые огоньки. Да, я ушла оттуда, говорит, перевожусь к филологам. Физика меня по-настоящему никогда не увлекала, просто

тебя послушалась. И собирается выпрыгнуть на ходу из машины. Раскинув руки, посреди дороги стоит старый Баринь, волей-неволей приходится тормозить. Он так молодо выглядит, в зализанных волосах ни единой сединки. На нем бостоновый костюм, серые гетры. Не могли бы вы мне разъяснить, что значит «по отдельным производственным показателям мы достигли мирового уровня», говорит он, лукаво поблескивая глазами. И еще у меня к вам вопросик, кривит губы в усмешке старый Баринь. Мог бы «Электрон» сегодня выпускать «Молекс»? Ах, Баринь, Баринь, говорю я ему, вы все еще мечтаете подковать блоху. Шапку долой, мастерский трюк. Однако зачем переоценивать шуটারство. Я о другом мечтаю. «Электрон» выпускает телефонные станции, равных которым в мире нет. Пять миллионов абонентов в маленьком шкафчике. И эту модель конечно же превзойдут. Но превзойдем мы сами. Вот каков наш уровень. И вдруг не стало старого Бариня, ни Виты, ни Майи, ни младенцев. Я иду по заводскому двору под руку со сторожем из родильного дома. Да, да, научно доказано, что Вселенная расширяется, таинственно нашептывает мне на ухо сторож. Происходит отдаление от начал. Тсс! Все мы отдаляемся от начал, как круги на воде, куда брошен камень. Почему бы и Вселенной не расширяться, раз расходятся круги на воде. Я молчу. Расширение Вселенной меня особенно не волнует. О трудовом своем расширении думаю постоянно. Человек всегда жил трудом. Когда-то у костра в пещере вытесывал каменный топор. И это был его мир. При помощи топора человек смастерил плуг, телегу, корабль. И мир человека раздвинулся. Так было и будет: расширяется рукотворный мир человеческий, рождается новый труд. А во дворе старого дома в родном Гризинькальне штурман в отставке достает из кармана часы на цепочке. Хочешь, покажу чудеса в решете, говорит он, иди-ка сюда. Побуревший ноготь его большого пальца нажимает на пружинку, и отскакивает тыльная крышка часов. У меня прямо дух захватывает — в переливах и мерцании крутятся колесики, пляшут пружины, маятники, и все как живое, все в движении, в согласии, в едином ритме и устремленности. Какая красота! На ладони старого штурмана действующая модель завода. Тик-так, тик-так, бах-бах-бах...

Около десяти позвонил Тенису. Есть разговор, неплохо было бы повидаться. В обеденный перерыв у Тениса передача на заводском радиоузле, может только после работы. Условились встретиться у вторых ворот.

Когда я подошел, он был уже там. Вокруг рычание и грохот, одновременно запускалось и прогревалось множество моторов. Стоянка машин понемногу пустела.

— Ну вот, я всецело в вашем распоряжении,— проговорил Тенис в своей обычной манере,— остается согласовать порядок дня.

— Хорошо бы где-нибудь присесть,— сказал я,— так у нас разговора не получится.

— А не махнуть ли нам на озеро, а? Заодно бы искупались.

— Я сегодня без машины.

— Зато я при машине! Только бы раздобыть второй шлем. Подождите меня здесь.

На мотоцикле я не ездил лет двадцать. Одна мысль о том, что я за спиной у Тениса, с трепещущими на ветру штанинами, на такой вот тарахтелке могу мчаться куда-то за город, показалась и странной, и дикой, и чем-то даже заманчивой. Я стоял, не находя в себе сил решиться, и ждал, что будет дальше. Тенис вернулся.

— Порядок! Вот и шлем. Ну что? Поехали?

Молча надел шлем, застегнул пряжку. Сиденье, если сравнить с удобным диваном в машине, было чем-то вроде тыльной стороны ножа, да уж ладно, тут недалеко, продержимся. Самое время прокатиться с ветерком, испытать современный вид транспорта.

Тенис припустил на всю железку, казалось, вот-вот оторвемся от земли и полетим. Но в общем-то скорость вещь азартная, заразительная. На миг я во всей полноте ощутил в себе нерастраченную молодость. И в то же время злость разбирала. Черт этот Тенис, как ловко настоял на своем. И вот он теперь у руля, а ты тут сиди у него за спиной и, зажмурив глаза, держись за ремень.

Облюбованная Тенисом купальня особой красотой не отличалась. Стеной вздымавшийся подлесок в какой-то мере создавал иллюзию обособленности, хотя и на расстоянии неполной стометровки пролегало шоссе, а с берега открывался вид на бумажную фабрику и близлежащий поселок.

Тенис сразу же стал раздеваться; с наслаждением стянул с себя ярко-полосатую рубашку, сбросил вылинявшие дудки джинсов. Раздевшись до трусов,

он показался еще крепче, крупнее, бугры мышц под загорелой, потной кожей так и заходили. Должно быть, я рядом с ним выглядел как черствая краюшка рядом со свежей и мягкой буханкой. Вот что значит молодость. Но тотчас пришлось самому себе сознаться, что и лет двадцать тому назад я бы не мог сравниться с Тенисом. Иные пропорции, иные габариты. Что его таким сделало — работа, армия, спорт? А может, просто порода. Из поколения в поколение пробивался унаследованный корень.

Краем глаза поглядывая на Тениса, я и сам разоблачался. До чего ж я был омерзительно бел! Только теперь мне пришло в голову, что этим летом совсем не удалось позагорать.

— Ну так что, — спросил Тенис, направляясь к воде и размахивая над головой руками, — сразу полезем или немного погода?

— Лучше уж сразу.

— Вода чистая, даже можно напиться.

— Ее-то мы, кажется, и пьем.

— Не отсюда же, где купаются.

Меня по-прежнему раздражала манера Тениса разговаривать, тон был почти поучающий.

— А знаете, как в Тибете священный суп варят? — проворчал я. — Сначала лама залезет в котел, искупается...

Вода показалась теплой. Мы уже порядком отплыли от берега, мне захотелось повернуть обратно, но Тенис все плыл да плыл. Особенно не выкладываясь, я тянулся следом за ним, временами переваливаясь на спину или на бок. Не выходить же одному на берег. Тем более что я не чувствовал усталости. Надоела осмотрительность, боязнь перегрузок: зачем из кожи лезть, хватит, довольно... Я задвигался быстрее, расстояние между нами сокращалось. И тут я заметил, что Тенис не просто отдаляется от берега, он нацелился на плотик, закрепленный напротив бумажной фабрики. Туда еще добрых сто метров. Потом оттуда плыть к берегу. Сильнее забилося сердце, прерывистой задышал, воды наглотался. Может, пока не поздно, повернуть обратно? Смотри, дофанфаронишься, пойдешь ко дну.

И все же поплыл дальше. Спокойствие, спокойствие, сам себя уговаривал, если и пойдешь ко дну, то по своей трусости. Было время, ты плавал в три раза дальше. Только без фокусов. Спокойствие.

На плотик выбрался ни жив ни мертв, запыхался, дрожу, но доволен. Тенис протянул мне руку, я сделал вид, что не заметил ее. Лежали на пригретых солнцем бревнах и звучно отдувались.

Когда Тенис приподнялся и сел, в его непросохших усах пряталась обычная ухмылка.

— Ну что, может, к берегу на плотике поплывем, а?

Полагаю, и моя ухмылка была ничуть не хуже.

— Благодарю. Я обойдусь. А вы — как знаете.

О бревна звучно плескалась вода. Силы ко мне возвращались, можно было плыть обратно. Но что-то меня удерживало. И Тениса тоже.

Это он заставил меня подскочить. Звучно шлепнул себя по лбу, лицо его изобразило смущение и совсем непривычную для него растерянность.

— Вот он, склероз! Совсем забыл вас поздравить с дочерью!

Почему-то мне вспомнился приснившийся ночью сон, удивительно реалистический, правдивый, на миг мне даже показалось, что Тенис оговорился, сказав «с дочерью».

— Спасибо.— Я расслышал, с какой сдержанностью прозвучал мой голос.

— Нет, в самом деле, говорят, у вас дочь родилась.— Тенис все еще конфузился. Должно быть, соображал, что бы можно было добавить. Да ничего не придумал.

— Как Вита поживает?

— Нормально.

— Не собирается распрощаться с физикой?

— Распрощаться? С какой стати?

— Да так, тяжелый факультет. Много формул.

— Не думаю. Вите нравится. И потом, у нее своя собственная формула. С дочерьми вам везет...

Мы посмотрели друг на друга. Поначалу серьезно, затем, будто сговорившись, серьезные мины сменили на улыбки.

— Будем надеяться, и с сыновьями повезет,— сказал я,— а также и с внуками.

Высоко над озером прошел самолет, волоча по небу белый шлейф. Тенис закручивал и раскручивал ногами водовороты.

— Ливия сказала, вы из больницы ее повезете к себе.

Тенис не ответил.

— Это решено окончательно?

— Чего тут особенно решать!

— Мне бы хотелось, чтобы в этом вопросе была полная ясность. В распоряжении Ливии остается старая квартира. Нам с Майей и ребенком есть где жить. Тенис довольно равнодушно пожал плечами.

— Они там с Витой договаривались. Я в это дело не вмешивался.

— Ливию, конечно, можно понять. Но я полагаю, без особых причин не стоит...

— Одним человеком больше, одним меньше, разница невелика, — перебил меня Тенис, и зрачки его вспыхнули, как у кошки в темноте. — К тому же, как говорится, самая обычная бабушка в наше время — клад.

— Ну, если ваши интересы совпадают...

— По-моему, да.

— А если присутствие бабушки станет вам в тягость?

Тенис pokrивил губы, и я понял, что сказал лишнее.

— Этот вариант исключается, — сказал он.

— Тогда будем считать, что мы договорились.

Упруго оттолкнувшись, Тенис бултыхнулся в воду. Вынырнув, откинул со лба волосы, пофыркал, подплыл к плоту и сказал:

— Не стоит пасовать перед трудностями. Легко, думаете, курице снести яйцо?

Я смотрел на него и думал: этот своего добьется.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Любое решающее событие — распутье для тех, кто в это событие оказался втянутым. Но еще задолго до исхода бессчетные случайности и сплетения обстоятельств подталкивают каждого участника именно в том направлении. Им-то кажется, они идут своей дорогой, заняты обычными своими делами, но, сами того не ведая, они приближаются к распутью, к развязке. Поступки всех участников обретают уже некое единство, исподволь происходят передвижки, готовятся перестановки, чтобы в нужный момент все оказались на своих местах, чтобы все действовали, как подсказывает логика событий.

В тот день, когда Майя с дочерью должна была выписаться из родильного дома и когда я примчался туда с опозданием в двадцать минут и не застал ее,

и после того, как я прочитал оставленное Майей письмо и оно дошло до сознания, после этого, стараясь докопаться до первопричин, найти объяснение всему происшедшему, я мысленно не раз возвращался (и продолжаю возвращаться) в прошлое, заново прокручивая месяцы, недели, дни — с самого начала до конца, затем наоборот, совсем как фильм в монтажной. И сегодня вижу много такого, чего прежде не замечал.

Однако расскажу все по порядку, представляя события, как они мне казались тогда.

Второе письмо Майи из родильного дома по тону было более светлым и радостным. Она писала:

«Милый! Сегодня мне впервые принесли дочку, такая крохотулька, такая легонькая, ну прямо завернутый в одежку птенчик. Скорее всего потому, что, заботясь о здоровье мамочки, явилась на свет раньше времени. Это лишний раз доказывает, что «врачи ничего не знают». Говорят, бывает. Ничего, вырастет. Может, еще и в баскетбол станет играть. Впрочем, не надо, баскетболистки грацией не блещут. Что скажешь, если бы мы назвали ее Винифредой? Винифреда Альфредовна. Звучит? Или Мадарой? А в общем, с именем можно подождать. Как сам поживаешь? Прошу тебя, почаще меняй сорочки, в обед ешь зелень и овощи. Жутко хочется домой, уж там-то я о тебе позабочусь, как и о малютке нашей Винифреде. Милый мой! Р. S. Кроватку не покупай, у меня есть бельевая корзинка, сойдет для начала».

Другие отцы простаивали под окнами палат, счастливые матери в часы кормления показывали им новорожденных. На четвертый день я спросил Майю в записке, не сможет ли она в окно показать мне дочку.

Ответ пришел поразительный.

«Альфред, скорее всего, ты не поймешь, но мне страшно подойти к окну. Я разволнуюсь, у меня подскочит температура, еще придется здесь задержаться. И девочке это может повредить. Только подумай, какая она маленькая. Ведь ей не более семи с половиной месяцев. Я где-то читала, таких детей держат в специальных кроватках-грелках, я даже удивилась, почему ее не кладут, как некоторых. Стоит мне об этом подумать, и у меня портится настроение. Может, было бы разумней отвезти ее сначала к маме? Сама не знаю почему, но мне все время хочется плакать. Вчера ночью вдруг подумала, что Винифреда звучит искусственно.

Ведь отчество твое все равно при ней останется. Может, назовем Мадарой?»

С переменчивым настроением Майи я, в общем, свыкся. Написал ей предлинное послание, успокаивал как мог, заверял, что для паники (так и написал — для паники) нет ни малейших оснований, не стоит преувеличивать слабость и малость нашей дочурки, на днях я пролистал книгу «Новорожденный», и в ней сказано — уже при весе в два с половиной килограмма ребенок считается вполне нормальным.

Затем тон Майиных записок еще больше изменился. О дочери вообще перестала писать. О себе тоже. Я получал короткие, сухие директивы: для переезда домой, пожалуйста, приготовь то-то, принеси то-то. Исключением была предпоследняя записка, в которой она спрашивала об ожидаемом заседании и повторяла уже высказанные ранее доводы, что разумней было бы дочь из роддома перевезти сначала к матери.

Хорошо, отвечал я, это вопрос несущественный. Встретимся, тогда и решим, куда ехать.

Сам я жил как в тумане. Блаженство мое было безоглядным, до мелочей оно не снисходило. Носился повсюду, словно выпускник после успешно сданных экзаменов, — свободный, счастливый, сияющий. Такое состояние конечно же не могло продолжаться долго, но я себя тешил сладким обманом: вот наконец все устроилось, все уладилось. И не раз я ловил себя на том, чего терпеть не мог, — на таком верхоглядстве. Окрыленность моя ни во что не позволяла углубиться, во всем я скользил по поверхности, разрываясь между работой, родильным домом, домом Майи, домом Титы, своим собственным домом; я носился по магазинам, толкался по базарам. Из министерства запросили целый ворох дополнительной документации — расчеты, справки, чертежи, — обо всем приходилось самому заботиться, готовить, улаживать. На сон удавалось выкроить пять, хорошо, если шесть часов. Иногда, опустившись в кресло, я вдруг замечал, что подняться будет невероятно трудно, и все же на усталость особенно не жаловался: меня несли почти сверхъестественные силы.

И вот подошел вторник.

В том, что министерская коллегия заказ одобрит, я не сомневался. Во время заседания это меня как раз волновало меньше всего. Одно я упустил из ви-

ду — что о вещах абсолютно ясных можно говорить так длинно. Поглядывая на часы, с ужасом отмечал, как тают минуты. Зачем было обещать Майе, что в час буду у нее, преспокойно могла бы выписаться после обеда, а еще лучше — завтра.

Сидел как на иголках. Кожей своей, корнями волос чувствуя приближение взрыва. Скорей, скорей вырваться отсюда. Я просто не смею здесь оставаться. Попасть в родильный дом в назначенное время уже практически не мог. На полчаса раньше, на полчаса позже, велика ли важность. Но внутренний голос нашептывал: беги, спеши, не медли!

Сказал себе: едва минутная стрелка приблизится к трем, поднимусь и выйду. И все же не поднялся. А затем и самому пришлось выступать, отвечать на вопросы. Затем зачитывали проект решения. Наконец я свободен, но тут меня задержал Калсон. Подошел министр, какие-то слова говорил, шутил. Почти неприлично от них вырвался, скатился вниз по лестнице.

Условились, что заеду за Майиной матерью, но заезжать теперь было бы делом напрасным, она давно уже там. Пока мчался по городу, волнение понемногу улеглось. Альфред Карлович Турлав, да ты вообще-то понимаешь, до чего все удачно сложилось! Сейчас сможешь порадовать Майю новостью. Везучий ты все-таки человек...

У ворот роддома нетерпеливо посигналил. Хорошо знакомый мне усач вышел из своей сторожки, как будто признал меня, но для верности еще раз на номер машины взглянул.

— Открывайте скорее ворота,— прокричал ему,— за дочерью приехал.

Сторож наклонился над опущенным стеклом, по его румяному лицу от похожего на клубень носа во все стороны разбегались морщины.

— А ваша дочка только что уехала,— сказал он,— красоты и здоровья ей желаем. Минут пять, как уехала. Вам просили передать письмецо.

Я взял белый конверт. Пахнуло въедливым больничным запахом, на миг даже дыхание пресеклось. На плечи свалилась тяжесть. Охотней всего я бы, только убедившись, что почерк Майи, не читая сунул письмо в карман. Ну, что уж там такого срочного. Сейчас сам увижусь, я ведь знаю, куда она уехала.

Листок у меня в руках дрожал. Буквы казались чужими.

«Альфред, не знаю, что было бы, появись ты вовремя, скорей всего у меня не хватило бы духу сказать тебе. Так это трудно! Одно утешение — было бы еще труднее, возьми ты на руки ребенка. Поверь, ирония судьбы меня потрясла не меньше. Кошмар какой-то, до сих пор не приду в себя. Наша дочь должна была родиться позже. Я была уверена, что она родится позже, но она родилась теперь, и врачи уверяют, что ребенок вполне нормальный, родился он вовремя. А если так, то сам понимаешь. Ты меня никогда не расспрашивал о том, что было в моей жизни до нашей встречи в Москве. Вот она какая жизнь, оказывается, ничего из нее не вычеркнешь. Если правы врачи, я совсем не та, кем хотела бы быть для тебя. И ты не можешь для меня быть тем, кем на короткий миг показался. Видно, не судьба. Одно мне ясно — для роли отчима ты не подходишь. Выбрось меня из головы, не думай обо мне, не стоит. По правде сказать, я тебе совсем не пара, чересчур уж легкомысленна. Твоя Майя. P. S. Некоторое время пробуду у тетки в деревне, не ищи. Будь здоров. Удачи тебе во всем, и прошу, не поминай лихом, мой...»

В конце стояло еще одно слово, но его невозможно было разобрать. Зачеркнуто настолько основательно, что бумага порвалась.

...Глубокая ночь, а сна ни в одном глазу. Не раздеваясь лежу на старом Витином диване. В окно глядит луна, и в комнате светло, на голых стенах видны невыцветшие обои в тех местах, где у Виты висели картины, стоял стеллаж с книгами. Встаю, подхожу к раскрытому окну. Тихо, совсем тихо. Недвижные черные деревья на фоне синеватого неба. Такое впечатление, будто все это под водой и я в скафандре расхаживаю по затонувшему кораблю. Где-то на опушке леса затарахтел автомобиль, отчетливо слышно, точно он здесь, перед домом. Шум мотора все ближе. Первая скорость, полный газ. Проскочили, нет, застряли. Так и есть, пассажиры, смеясь, переговариваясь, вылезают из машины. Что за чертовщина... Андрис, неужели придется копать... Илзите, не стой над душой... Женский голос повторяет привязавшийся мотив:

Песня день свой празднует...

Вот машина выбралась благополучно из колдобины, укатила. Опять тишина.

Выхожу во двор. Из темноты выскакивает Муха, тычется влажным носом. Семенит за мною по пятам, время от времени тяжело вздыхает.

Чувствую, в саду появился кто-то еще. Муха замерла на дорожке.

— Турлав, вы что, в прятки играете?

— Очень даже похоже.

— Я подумала, не позарился ли кто на мои розы.

— Ваши розы в полной безопасности.

— В последнее время вы пристрастились к ночной жизни.

— Как сказал мудрец: ночь — тот же день, только потемнее.

— Значительно темнее, Турлав, значительно темнее. В ваши годы следует жить днем.

— Следует. Много чего следует. А вам почему не спится?

В лунном свете вижу, как искривилось лицо старой дамы. Отвечать на вопросы она не привыкла. Жду какой-нибудь резкости, но помолчав, она говорит со странной усмешкой:

— Вы в самом деле хотели бы это узнать?

На опушке опять тарахтит мотор. Промесив песок, машина остановилась. Андريس, где-то здесь... Ну что... А, вот он, нашла... И женский голос опять напевает:

Песня день свой празднует...

Хлопнула дверца. Затихающий вдали шум мотора сливается с верещаньем земляного сверчка.

— Я, Турлав, ночами лучше вижу. Чувствуете, как пахнут розы? Там всего несколько бутонов. Но при желании в темноте можно увидеть целые охапки.

— Представляю себе.

— Ничего вы не представляете. Завтра отправитесь на свой завод, чтобы делать свои машины, уйдете по уши в работу, и вокруг вас будут люди.

Муха, присев у ног Вилде-Межнице, так расчихалась, можно было подумать, собачка всхлипывает.

— А я завтра поутру лягу спать. В оперу могу попасть только ночью. Когда там дирижируют Рейтер и Лео Блех. Когда поднимается занавес работы

Литкемейера с лазурным итальянским небом, поблекшими грифами, пиниями.

— Я помню этот занавес.

— Вы помните... Послушайте, Турлав, идите-ка спать. У вас завтра рабочий день. Вы даже не понимаете, что это значит. Конечно, вам кажется, что вы всегда будете ходить на завод.

Тишина. Запах роз. И чихание Мухи.

— Я когда-то мечтала спеть Мюзетту в Париже. И спела. И это мне представлялось величайшим событием моей жизни. Но со временем все проходит. Неужели я пела в Париже? Может, я это видела в фильме или прочитала в книге... И так с каждым...

— Неужели с каждым?

— Пожалуйста, не перебивайте меня!

Я молчал. Она тоже молчала. Чихания Мухи понемногу стихли.

— Отчего мы с Титой так часто спорим? Все ведь пустое! Мы с Титой словно две последние мамонтихи. Лишь она знает, кто я такая, только я еще помню, кто она. Может, вам кажется, вы знаете, кто такая Вилде-Межницец? Сколько я нагляделась таких картин, кто-то из вашего поколения узнает меня на улице и вздрогнет, будто увидел привидение: как, она еще жива?

— Разве так важно, что о вас думают другие?

— Что значит — другие? Не желаю вам остаться одному.

Тишина. Тишина.

— Послушайте, Турлав, отправляйтесь спать. Завтра нам рано вставать. Идти на работу. Мне долго не спалось по утрам. Теперь привыкла. В центр выезжаю редко. Даже здание оперы и Тиммов мостик через канал кажутся мне чужими. Лишь однажды случилось чудо. Поднялась метель, пестро стало от снега, и показалось, что вот сейчас, подняв воротник шубы, выйдет навстречу Витол, торопливо приподнимет шапку в приветствии Альфред Калнынь, в дверях ресторации «Рим» мелькнет спина Салиня. Минутная иллюзия.

Тишина. Тишина.

Муха задрала мордочку, смотрит куда-то вверх. Я тоже чувствую, что-то там происходит. Неужели в самом деле отлетают птицы? Но еще ведь лето. Самый разгар.

Тите обещали увеличить пенсию. Щупленькая, сжавшись в комочек, сидит она на диване в комнате Салиня и, обеими ладошками сжимая рябенькие щечки, диктует мне свою биографию. Полураспавшийся узел à la Аспазия все еще черен, а на висках сквозь черноту пробилась изморозь седины. Носик припудрен с характерным для Титы темпераментом — густо и неровно, пудра ничего не прикрывает, от нее на лице еще больше пестроты.

— Я, Корнелия Альбертина Салиня, дочь Якаба, родилась в 1891 году, 14 октября, в Риге, в семье рабочего. Девятнадцати лет вышла замуж за артиста, певца Эдуарда Салиня, который в ту пору скрывался от царской полиции. В 1909 году ему удалось тайно перебраться в Германию...

— Ему одному или вместе с вами?

— Нам обоим, конечно.

...В 1910 году в Гамбурге Салинь продолжал обучаться пению у профессора Шмальца и профессора Гилмена Миретто. В 1912 году Салинь с большим успехом исполнил главную партию «Лоэнгрина» в составе разъездной труппы. В 1913 году Салинь был приглашен первым тенором в Берлинскую Королевскую оперу. В 1914 году Салинь получил приглашение...

— Дорогая Тита,— говорю я,— требуется ваша биография.

— Ну да, так что же? — недоуменно глядит на меня темными горошинками своих глаз. Руки опускаются на колени. Ослабевший пучок волос Аспазии метнулся в одну, в другую сторону, сейчас выпадет заколка, совсем рассыплется.

— Нужно хотя бы немного о вас самой.

— Но в том ведь вся жизнь моя, Альфред, милый!

— Ну, тогда как-то иначе, не так часто поминая Салиня. Больше о себе. Чем в ту пору занимались вы, что происходило с вами?

Она сидит, покручивает широкое обручальное кольцо, оно стало велико для ее высохшего пальчика, просто удивительно, как еще держится. Тита сидит, а пальцы все бегают вокруг золотого обручального кольца. На правой руке у нее перстень с камеей, но Тита все крутит да крутит кольцо, так и кажется, как за последнее спасение она держится за это широкое обручальное кольцо, от долгого ношения на-

столько истончившееся, что в любую минуту может разломиться.

— Тогда я, право, не знаю, что и писать. В самом деле не знаю... Весной 1920 года Салинь вернулся в Ригу. Я тоже. Мы оба...

Глядит на меня растеряннo, вопросительнo. Но я не уверен, видит ли меня. Скорее всего, видит своего Эдуарда, видит молодым, решительным. И сама молодая, порывистая, вот вдвоем они сходят с поезда в Риге, еще на том старом вокзале с гулким стеклянным сводом, Эдуард подает ей руку, весенний ветер теребит цветы на шляпке, паровоз, отдуваясь, выпускает облако пара, и оно, это облако, расползаясь, тянется и тянется через многие годы.

Жизнь — это бег безостановочный, а сердце хочет что-то удержать. Жизнь бежит быстрее, чем успеваем любить. Вот и выходит, что на любовь нередко приходится через плечо оглядываться. Наша память — любовь недолюбленная.

Что еще сказать? Пожалуй, это все. Что будет дальше, не знаю. По той простой причине, что событиям, как и плодам, полагается вызреть, срывать их зелеными не имеет смысла. А принимать желаемое за действительное было бы несерьезно. Чтобы надежды и томления воплотились в реальность, им предстоит пройти проверку временем.

Разве вот такая мелочь.

Тем летом, в день столетнего юбилея праздника Песни, я повстречался со Скуинем. С минуты на минуту должно было начаться торжественное шествие певцов. Мне хотелось запечатлеть в памяти эту историческую картину, чтобы при случае поведать о ней внукам. Мы стояли под цветущими липами на тротуаре напротив Театра драмы. Шел дождь, но люди, казалось бы, совсем не обращали на него внимания, терпеливо ждали, теснее выстраивая ряды. Под тяжкими жерновами облаков за Даугавой блеснуло солнце.

— Ну, так как же, — спросил я, — роман свой дописали?

— Почти что, — ответил Скуинь. — Пришлось отвлечься, надо было попутно закончить работу о писателе Юрисе Нейкене. Оказывается, мужчина во цвете лет — это ж стародавняя проблема.

Вдали загремел духовой оркестр. Дождь перестал.

— Но в общем и целом роман завершен. Не хватает последней страницы.

— Одной-единственной страницы?

— Одной-единственной.

— И что же это будет за страница?

— Так, ничего особенного. Посреди дороги вырыта яма. На земле валяется лопата. Рядом стоит обуглившийся человек. Сеется синий дымок, пахнет паленым. У него были самые добрые намерения, говорит кто-то, он собирался вырыть новый колодец. Да пренебрег правилами безопасности. Как раз на том месте другой человек с благими намерениями зарыл кабель высокого напряжения.

Я пристально глянул писателю в глаза. Он выдержал взгляд.

— Обуглился, говорите?

— Да. Но понемногу обретает прежний вид. Со стороны посмотришь, не поверишь, что с ним этакое приключилось.

На том позвольте и закончить этот рассказ о своей, да и не только о своей жизни. Рассказ о большом отдалении от начал, что, возможно, не более как расширение, рассказ о важном задании века — создании телефонных станций, с тем чтобы связь между людьми стала надежной и прочной. В детстве нам кажется непонятным, как это мы ходим вниз головами по шарообразной Земле, да и вообще что за чудеса такие — толкуются, толкаются люди, встречаются и расходятся, уходят навсегда. Почему не провалимся все в тартарары? Каждому для себя предстоит открыть заново, что Земля — это, в общем-то, огромный клубок, летящий в Бесконечность. Клубок, в котором судьба любого из нас.

РОМАН

**МЕМУАРЫ
МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА**



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мысль отыскать отца с помощью парапсихологии проклюнулась в мозговых извилинах Зелмы. Моя фантазия на этой частоте попросту не работала. На сей счет у меня нет никаких комплексов, говорю это вполне серьезно и безо всякой рисовки. Отсутствие отца я, в общем, и не чувствовал. Не потому, что толстокож или начисто лишен человеческих чувств. Во мне эти чувства, надо думать, сфокусированы как-то иначе. Благодаря деду, которого дедом я никогда не называл. Сызмала он для меня был Большим. Это, вне всяких сомнений, сыграло свою роль.

Тогда меня интересовала парапсихология как таковая. Беспросветная темнота, где ежесекундно рискуешь наткнуться на нечто поразительное. Территория по ту сторону интеллекта. Состояние невесомости, когда профессор столь же легковесен, как и студент-первокурсник. «Я не верю» против «я верю», знать же никто ничего не знает. Благоприятная среда для всяких чародейств, мистификаций. А возможно, и для потрясающих открытий. Большой сказал: незнание — исходный материал для знания. И еще он сказал: как свидетельствует история, интерес человечества ритмично пульсирует между рациональным и иррациональным.

Помню, все началось в нашей факультетской библиотеке. Зелма ждала собрания. Какого именно, сказать не берусь. Однажды мы подсчитали: у Зелмы в ту пору было двенадцать общественных нагрузок. А у меня оставалось десять минут до заседания учебного сектора. Мы стояли у окна и глядели на греческий профиль Оперного театра. Зелма рассказывала о том, как ее дядя потерял бумажник с важными колхозными документами и не знал, что делать. Кто-то в шутку предложил навеститься к Карлине из Ошупе. Дядя, разумеется, этого всерьез не принял, потом все-таки поехал. И Карлина сказала ему: оглядись как следует там, где

сидел, перебирал бумаги. Дядя воротился домой и — к дивану. Нашелся бумажник: проскользнул меж сиденьем и спинкой!

У нас с Зелмой был уговор: избегать тривиальных суждений. Вот почему тогда я немного опешил: не понял, куда она клонит. Но мысль захватила. В более широком аспекте эта тема давно меня волновала.

Допустим, способности некой Карлины из Ошупе очень даже сомнительны. Психически ущербная личность или попросту обманщица. Пусть так. Ну а индийские факиры? Можно ли взглядом остановить локомотив? А филиппинские и тибетские парамедики, оперирующие с помощью биотоков? Оперируют они или нет? А знаменитый Мессинг, умевший читать отгороженные стеной тексты?

— Вчера я слушал записанные на магнитофонную ленту песни китов-горбачей. Звуки унылые, примитивные. Но знаешь, что самое странное? Стоит увеличить обороты, и они воспринимаются как птичье щебетанье. Что, если слух китов работает на другой частоте? Быть может, они намеренно замедляют звук, чтобы послать его как можно дальше. В комнате находился малыш, пока еще бессловесный. И мне показалось, ему язык китов понятен, сообщает нечто важное.

— А почему бы и нет! — сказала Зелма. — Много ли мы знаем о песнях китов? Вообрази, что было бы, приди такие звуки из космоса. Как бы их изучали, корпели над расшифровкой.

— Да, — заметил я, — жаль, у нас нет никаких пропав. Был бы повод навеститься к Карлине из Ошупе. В экспериментальных целях.

И тогда Зелма вполне серьезно предложила:

— Ты бы мог спросить о своем отце: кто он, где находится.

Конечно, об отце можно было спросить и у матери. Или, скажем, у Большого. В принципе это не исключалось. Но что-то меня удерживало. Я даже не пытался уяснить, в чем тут дело. Зелма, наверное, сказала бы: психологический барьер. Ведь есть немало вопросов, о которых с родителями не принято говорить. Стесняемся. Не желаем ставить в неловкое положение. По глупости. Да мало ли причин.

Предложение Зелмы все перевернуло. Зелме я не мог отказать. Не то бы подумала невеста что. Будто я своему сиротскому статусу придаю исключительное

значение или что-то в этом роде. Предложение Зелмы было бесспорно логичным. И главное, в духе нашего товарищества: интересоваться всем, что способно раскрыть новое. Словом, я не имел ни малейшего основания отказаться. Это было бы равносильно признанию, что я лишен одержимости и неременной для всякого исследователя черты — масштабности. Помимо всего прочего розыски отца в предложенном Зелмой парапсихологическом варианте неожиданно и мне показались занятием увлекательным и захватывающим. Я не кривил душой, когда ответил: это идея.

Поездка в Ошупе, — как мы мотались по незнакомой округе, разыскивая координаты Карлины, — сама по себе была одиссеей. Однако эти приключения не имеют отношения к последующим событиям. Другое дело — обратная дорога. В Цесисе мы повстречали Рандольфа с Агритой. Рандольф, как обычно, был на колесах. Отец передал ему «жигуленка» в надежде удержать Рандольфа от слишком частых возлияний. Сам же предпочитал ходить пешком, считая такой образ жизни более здоровым. На деле все было сложнее. Атмосфера в доме держалась тягостная. У родителей вечные нелады. Враждующие стороны вели ожесточенную борьбу за благорасположение сына. Агриду мы с Зелмой видели впервые, что было в порядке вещей: Рандольф частенько менял партнерш.

Но сначала о том, что было у Карлины. Я почему-то убедил себя, что предстоит встреча с этакой старой ведьмой, лохматой и грязной. Однако и наружность, и одежда Карлины произвели отрадное впечатление, сдается мне, у нее была даже укладка. Только смотреть в глаза ей было неприятно. Темные зрачки то ли косили слегка, то ли смещались куда-то под веками. Но может, я ошибаюсь. Не раз замечал, что некоторые люди вызывают в нас чувство неловкости, привлекая внимание, например, к своим губам или зубам.

Домишко был ветхий, с прогнувшейся крышей. И это вполне естественно. Старые крестьянские дома повсюду ветшают, разрушаются. Комфорт в наше время сосредоточился в новых поселках. И этот факт, на мой взгляд, чреват очередным светопреставлением. Поскольку комфорт становится главным критерием.

— Чего ж это вы, — такими словами в жарко нагретой комнате встретила нас Карлина, недовольно

качая головой,— ни себе покоя, ни людям. По воскресеньям я не принимаю.

Взволнован я был основательно. Не отказом Карлины, а вообще. Как после выхода на сцену, когдалагается что-то говорить и делать. Не берусь утверждать, что волнение в таких случаях помеха. Как раз наоборот, нет волнения, не возникает и нужного накала, напряжения.

— Вам ведь ничего не надо,— сказала Карлина, оглядев Зелму.

— Мне-то не надо,— тотчас отозвалась Зелма в своей благодушно-сердечной манере,— а вот ему требуется узнать об одном близком человеке.

— И ему не надо. Вы приехали из простого любопытства.

— Смотря как к этому подойти.— Я старался глядеть в сторону. Мне почему-то казалось, что, если посмотрю Карлине в глаза, все вокруг затуманится.— Мне бы хотелось узнать, кто мой отец и где его найти.

— Ни с того ни с сего?

— Да.

— А раньше было все равно?

Я подумал: сейчас бы в самый раз сочинить какую-нибудь байку. Да на скорую руку и еще от волнения ничего не придумалось.

— Видите ли,— пришла на помощь Зелма,— у него есть отчим. До сих пор он считал его настоящим отцом. На самом же деле...

— На самом же деле, девонька, ты шутишь серьезными вещами! — Карлина протянула руку и взяла с подоконника горшок с пророщенными луковичками.

Большие, лучистые глаза Зелмы застыли, у меня занемела нога.

— Захочешь узнать, так узнаешь.— Проверив, довольно ли влаги луковичкам, Карлина поставила горшок обратно на подоконник.— Отца своего видишь частенько. Больше ничего сказать не могу. Ступайте домой. Не дело путать воскресенья с буднями.

Долго я не мог вернуться на привычную орбиту. Слова о том, что отца вижу часто, повергли меня в смятение.

Зелма пришла в себя первой. Я это понял, когда она остановила на шоссе трактор К-700 и попросила подбросить нас до Цесиса. Тракторист был не слишком любезен. Как Зелме удалось его уломать, я не заметил.

Помнится, они толковали о приемах каратэ, о концертах «Вопей М» в Москве. Когда мы в Цесисе сошли у вокзала, Зелма пообещала трактористу прислать какую-то брошюру.

И Рандольфа первой заметила Зелма. Точнее, машину Рандольфа, хотя чернильно-синих «Жигулей» в Латвии не меньше, чем серых воробьев.

— Смотри, «Денатурат»! — воскликнула она. — Фарты в стиле ретро, пестрые полосы на багажнике. Держу пари, это он.

Зелма оказалась права. Рандольф с Агритой, с отсутствующим видом, зато в обнимку, топали от вокзала.

— Чао, — сказала Зелма, — можно подумать, вы собрались пересечь Сахару.

— Без паники, *joder mierda!* — Плотной ладонью Рандольф шлепнул по карману своей штормовки. — Пара флаконов оздоровительного напитка. Жажда замучила. Сахару мы пересекли вчера.

Для Рандольфа не было большей радости, чем представлять напоказ свои пороки. И ругаться по-испански. Просто так — для форса. Ругательства он выписывал из романов Хемингуэя. Выпивоху и демонического склада распутника Рандольф разыгрывал точно так же, как в школьные годы разыгрывал из себя моряка, щеголяя в тельняшке. На мой взгляд, типичный комплекс физической неполноценности интеллектуала. Чаще всего проявляется в избалованных, чрезмерной опекой испорченных детях: другие озорничают, а тебя мама за ручку ведет к учительнице музыки разучивать гаммы, другие дети на голове ходят, а ты изволь сидеть за столом и зубрить английские словечки.

Впрочем, Рандольфу нечего было стыдиться. Вступительные и прочие экзамены сдавал шутя. Свободно говорил по-английски. Умел формулировать мысли. Но, как говорил Большой, человек редко ценит то, что ему дано. Рандольф из кожи лез, лишь бы кто не подумал, будто мама все еще водит его за ручку.

— Это Агрита. Ее специальность — поцелуйчики, — сказал Рандольф.

Зелма разглядывала Агриду с дружеским интересом.

— Ты, Рандынь, крепко преувеличиваешь, — возразила Агрита.

— «Поцелуйчики» — это золотые колечки с двумя золотыми шариками. Модный массовый товар, — пояснила мне Зелма.

— Вы занимаетесь ювелирным делом?

— Вряд ли,— благодушно рассмеялась Агрита.

— Нет, она в самом деле специалистка. Ну покажи Калвису, что такое «поцелуйчик». Только, прошу, в пределах нормы. Ведь он у нас еще невинный.

— Ой, пожалуйста, без старомодных терминов,— сказала Агрита Рандольфу, при этом глядя на меня. Как мне подумалось, с немалым удивлением.

Агрита производила довольно странное впечатление. Все в ней казалось не в меру ярким. Начать хотя бы с коротко стриженной под мальчика взлохмаченной головки,— один локон фиолетовый, другой желтый, третий синевато-зеленый. Спортивная куртка ярко-красная, брюки ярко-зеленые. Лицо расцвечено всякого рода косметикой, совсем как у индейца. И в то же время веяло от нее какой-то простотой. Туповатый носик вертелся из стороны в сторону в неуемном любопытстве. Зубы, когда смеялась, блистали такой ослепительной белизной, будто она только и делала, что грызла яблоки.

— С фактами надо считаться,— не унимался Рандольф.

— Если это тебя интересует,— Зелма, как всегда, легко подстроилась к разговору,— учти, я тоже невинна.

— Калвис, как по-твоему, Агрита похожа на работницу, отлежавшую смену на станке?

Меня коробило от таких разговоров, но я не знал, как прервать ерничанье Рандольфа.

— Пожалуйста, не пугай его,— мягко попросила Агрита.

И как-то очень естественно, по-дружески чмокнула меня в одну щеку, потом в другую. После чего весело и, словно извиняясь, обратилась к Зелме:

— С женщинами я не целуюсь.

— Куда едете? — спросил я Рандольфа.

— В направлении Валмиеры. Один человечек давно зазывает покататься на планере. Но требуется летная погода. Как вам кажется, сегодня она летная?

— Погода отличная, только бы хмуру разогнать.— Агрита во всем находила причину для смеха.

— Не хмуру, а хмарь.

— Нет, милый, именно хмуру. Это из словаря моей бабушки.

— Твоя бабушка ничего не смыслит в лексикологии.

— Зато она разбирается в метеорологии. У нее ревматизм.

— Знаете что,— решила Зелма,— мы едем с вами.

— Ну что же...— Рандольф лениво шарил по карманам в поисках ключей.— При полной нагрузке «Денатурат» более устойчив на дороге.

— Но вам придется сделать небольшой крюк.

— Это куда еще?

— Поедем — увидите. Согласны?

Рандольф что-то проворчал. На восторженное согласие это мало походило. Но Зелма уже давала указания, как ехать.

Километров через двадцать пять Рандольф стал нервничать.

— Еще далеко? Мне бы все же хотелось знать. Жидкость в баке пригодится на обратную дорогу.

— Рандольф, не мелочись,— упрекнула Зелма.

— Бензин есть в каждом крестьянском доме,— радостно пояснила Агрита.— Это вам не молоко.

Цели поездки Зелма не раскрыла, а только подавала команды: прямо, налево, направо. Еще километров через двадцать она призналась, что, очевидно, слишком круто отложили диагональ, но, похоже, «где-то тут поблизости».

Она попросила остановиться и пошла поговорить с почтальоншей. Я собирался тоже выйти, но она не разрешила.

Рандольф прикурил сигарету. Так и казалось, не от дыма он давится, а от злости. Зелма вернулась, расплывшись в улыбке.

— Милые вы мои, какая божественная экскурсия!

— Садись, садись, pudrete casa.

— Говори понятно.

— Довольно. Разворачиваемся.

— Это несерьезно,— не сдавалась Зелма,— мы почти у цели. Всего четыре километра.

— И нас там ждут?

— Там? — Голос Зелмы не поднялся и на шестнадцатую долю такта. Это и произвело эффект.— Вполне возможно. Эмбрикис собственной персоной.

Рандольф выключил мотор.

— Ну, знаете... Ни под каким видом. Да Эмбрикис на порог нас не пустит.

Улыбчивая рожица Агриты застыла маской удивления:

— Вы знакомы с Илмаром Эмбрикисом? С ума сойти! Держите меня, я падаю!

— Мы претотлично погостим у него, он будет нам очень рад. Остальное предоставьте мне. Рандольф, ты уже пришел в себя?

Сейчас я пытаюсь как можно точнее реставрировать свои тогдашние чувства. Оказывается, это не так просто. В отличие от других я совершенно точно знал, что с Эмбрикисом Зелма не знакома. Стало быть, отпадала возможность предварительного сговора, приглашения. Зелма попросту блефовала. Но потому-то ее поведение поразило меня. По правде сказать, я опасался, что подозрения Рандольфа вполне обоснованны, но вместе с тем и восхищался той смелостью, легкостью, уверенностью, с которыми Зелма проводила в жизнь неожиданно явившуюся мысль. Я бы на такое ни за что не решился.

— Так что, поехали? — Зелма обвела нас торжествующим взглядом голубых глаз.

Я шевельнулся на своем сиденье и как бы невзначай коснулся ее руки:

— Поехали!

Разговор оборвался. Все насторожились. Взгляд ловил мельчайшую подробность придорожья и окрестностей. Это была уж не просто дорога, но дорога, ведущая к дому Эмбрикиса. К дому, о котором каждый из нас кое-что знал и все же не знал ничего. В памяти промелькнули кадры кинохроники, разрозненные факты, почерпнутые из прессы и легенд. Да, где-то здесь он жил и работал. Не так, как другие. Изящно отколовшись от толпы. Укрывшись в глуши, первозданности, одиночестве. В виде компенсации за неудобства и отшельничество получая лишь одному ему известные, но, должно быть, бесспорные ценности. В любом случае популярность Эмбрикиса была постоянной и прочной. Его произведения пользовались необычайным признанием.

С высоты во все стороны распахнулись дымчато-синие дали. Навряд ли в Латвии отыщется еще такое место, где горизонт дает пейзажу подобный простор. Невидимая сила приподняла меня и держала в подвешенном состоянии примерно на палец поверх сиденья.

— Смотрите, дым столбом над крышами,— сказал я.— Помнится, у кого-то есть такая картина.

— Дуб с отсеченной молнией макушкой, за ним сарай, ол-ля-ля, мы на верном пути! Справа должен быть хутор «Вецровьи»!

— Ну и приключение! — восторгалась Агрита.

— Дорогу-то как изъездили, можно подумать, лес рубят, бревна вывозят, — лишь Рандольф проявлял недовольство.

Древние срубы поражали своими размерами. Объехав ригу, — ее крутая крыша из дранки спускалась чуть ли не до наметанных ветром сугробов, — мы очутились во дворе. Перед домом стояли четыре автомобиля, в их числе электропередвижка киностудии. Сустились люди. Перетаскивали ящики. Настраивали прожекторы. Тянули провода.

Не зная, как быть, Рандольф остановил «Жигули» на почтительном расстоянии. Однако нас заметили, к нам бежал грузный дядя в латаной дубленке с кинокамерой «Конвас» наперевес.

— Развернитесь! Развернитесь и въезжайте еще раз! — кричал он. — Только сделайте побольше круг. Остановитесь у двери дома. Пойдите, не сразу. Эй, Пичем, чего канителишься, врубай боковой свет! Хорошо, начинайте! Пошел!

Зелма моментально оценила обстановку. В машине на полу рядом с переключателем скоростей в пластмассовой коробке Рандольф держал увесистый камень.

— Поддай-ка, — сказала она, протягивая руку.

Рандольф не сразу понял, о чем речь.

— Ну камень же!

— Это талисман. От собак.

— Не имеет значения.

Киношники делали знаки, чтобы Рандольф прибавил газ.

— А не смыться ли нам подобра-поздорову? — Рандольф сердито дергал переключатель скоростей. Не сомневаюсь, он это сказал от чистого сердца.

— Ну и чудак же ты! — кулачок Зелмы тукнулся в его плотный загривок.

Некоторые лица казались знакомыми. Потрескивающие юпитеры превратили двор в ослепительную сцену. Кинокамера строчила, словно швейная машина. Кто-то крикнул:

— Живей, вылезайте! Подходите к Эмбрикису! Ближе! Еще ближе!

Мы, разумеется, не ослушались.

Эмбрикис стоял от нас на расстоянии вытянутой руки. Я почему-то думал, что он выше ростом. Плечи узкие. Большой выпуклый лоб. Длинные волосы — своего рода фирменный знак Эмбрикиса, — как оказалось, он заменил короткой прической.

Несмотря на растерянность и волнение я пытался уловить в глазах Эмбрикиса отношение к происходящему. В том числе и к нашему появлению. Похоже, он не был ни удивлен, ни возмущен, ни раздосадован. Если и возможно было что-то разглядеть на его лице, так это, пожалуй, любопытство. Будто и он, подобно нам, здесь очутился случайно и теперь с интересом наблюдал за тем, что будет дальше.

Зелма выступила вперед, словно бесценное сокровище держа в руке «талисман» Рандольфа. Затрудняюсь сказать, когда она успела свои цвета спелой пшеницы волосы заплести в две забавные косички, но выглядело это эффектно. Щеки у нее пылали, глаза горели.

— Как сказали бы древние инки: Старший брат поколения! — начала Зелма. — Мы преподносим вам камень, осколок жертвенника рода Эмбутов. Этот камень излучает чудодейственную ауру. До сего дня он служил нам талисманом. Теперь мы вручаем его вам, а талисманом отныне для нас станут ваши творения.

— Поднимите камень выше! Еще выше! Вот так! И подержите! — командовал оператор, приближая камеру к Зелме. — Говорить можно что угодно. Звук не записывается. Фон будет музыкальным.

— Мы вас не потревожили?

— Разумеется, потревожили. — Эмбрикис принял от Зелмы камень и почему-то возложил его на голову Рандольфу. — Пополудни я обычно обкрадываю свои мозги. Хороший вор очищает кубышку своих идей столь же ловко, как кот аквариум.

Мы смеялись, Эмбрикис тоже смеялся, а Зелма продолжала его расспрашивать о том о сем. Он терпеливо отвечал вполголоса, временами прикладывая к губам ладонь, словно нашептывал что-то по секрету. Всех вопросов и ответов я, конечно, не помню, но в принципе разговор был следующего содержания.

— С вашего холма далеко видно...

— Да, можно и с холма. Со двора видно дальше. Когда же хочу заглянуть совсем далеко, то сижу в ком-

нате. Ну а дальше всего видишь ночью. У этого дома очень чувствительная крыша. С великолепной оптикой.

— Какие темы вы считаете главными?

— Тем у меня нет. Все, что пишу, я пишу по любви или из ненависти. Потому что хочу быть добрым или потому что бываю зл. Но со временем все побочные резоны отпадают, остаются только два: желание обрести и страх потерять.

— Когда вы садитесь за работу?

— Когда я сильнее себя и других. Откровенно говоря, это даже не назовешь работой, это боренье.

Кинодеятелям предстояло отснять еще какой-то сюжет в Цесисе. В спешке они собрали свои причиндалы и снялись с якоря. Вслед за ними укатили журналисты и человек с тремя собаками.

Помимо нас задержалось несколько моторизованных дам. Эмбрикис угостил всех чаем. В огромном доме приспособленной для жилья оказалась лишь одна комната. С потолка свисали пучки полыни, тмина, тысячелистника, зверобоя и бог знает еще чего.

Когда мы собрались уезжать, во двор вкатила «Волга». За рулем сидел сутуловатый худощавый мужчина с профилем, напоминавшим лезвие топора. Зелма сказала, что это Зиедонис, и порывалась выйти из машины, но Рандольф ее остановил. Не берусь утверждать, был ли это на самом деле Имант Зиедонис.

Рандольф включил приемник. Варшава крутила «Парад мелодий». Агрита, склонив на плечо Рандольфу голову, подпевала.

— Ну что я говорила! — сказала Зелма. — А вы не хотели ехать. Знаменитости — тоже люди. И нечего их бояться!

— Да кто их боится! — у Рандольфа подергивалось веко. — Хороши гости — комарье надоедливое... Когда он водрузил мне на голову этот проклятый камень, честное слово, сделалось не по себе. Я согласен, он гениальный старик. Но почему мне, а не тебе?

— Что бы вы ни говорили, а по-моему, он остался доволен, — Зелма стояла на своем. — Ну оторвали его от дел. Что ж из этого. Каждому приятно, когда его помнят, ценят, признают. Не мы же одни.

— Вот именно! Oh, sojones...

— Спасибо. Ты чудесный парень. И день блистательный, будет что вспомнить.

— Вы только послушайте, как подается тема! — Рандольф, прибавив звук в приемнике, нутряным голосом присоединился к Агрите:

— Если желаешь, купи мое сердце...

У меня не было желания ни петь, ни спорить. Настроение портилось. Одолевали всякого рода мысли. В основном об отце. Перед глазами стояла Карлина из Ошупе. «Захочешь узнать, так узнаешь, отца своего видишь частенько». Не странно ли, я даже не пытался представить себе, как выглядит отец. В письменном столе у матери лежала шкатулка орехового дерева, а в ней хранились какие-то фотографии. Что если заглянуть?.. У матери волосы пепельного цвета, у меня они желтые. Должно быть, я «пошел в отца». По приблизительным подсчетам, отцу не менее сорока пяти. Зато в другую сторону — никаких ограничений. Седой старик с атласной плешью. Шаловливый пенсионер. Сам факт развода как бы указывал на несовместимость их характеров. По статистике основная причина разводов — алкоголизм. От алкоголизма до преступления — один шаг. Арест. Суд. Годы заключения. Мать избегает даже поминать имя отца. Шутка сказать: твой отец рецидивист. По вине твоего отца произошла авария на дороге. Твой отец расхититель общественной собственности. Твой отец kleптоман. Талантливый человек, но, к сожалению, мошенник.

Кем еще мог быть мой отец? Возвращаясь с электрички, я нередко встречал опустившегося типа с сизым носом. Этот тип имел обыкновение пристально и дерзко разглядывать меня. Неподалеку от нашего дома винный магазин. Вокруг него вечно ошиваются алкоголики. Возможно, интерес того нахала ко мне объясняется «родственными» узами?

Год-другой тому назад в кафе-мороженом подсел ко мне странный субъект. Болтал без умолку, рассказывал про Южную Америку, Австралию. Повсюду, мол, бывал. И, между прочим, заметил: как хорошо, что мы встретились. Предлагал на его машине прокатиться в Сигулду. Я отказался, и он объявил, что будет ждать меня в этом кафе по средам с пяти до шести. Потом еще раз встретились случайно в электричке. Незнакомец сказал: «Ах, это ты, прекрасный Нарцисс». Я не придавал этому значения, просто человек показался мне странным. Позднее, в романе Кёппена «Смерть в Риме» прочитав про гомосексуалистов, я про себя решил, что

встретился тогда с педерастом. Не исключено, конечно, что я ошибался. Но возможно ли к этим двум встречам отнести слова Карлины «видишь частенько»...

К матери захаживал мужчина, имени его я так и не узнал. Назвав себя при первой встрече, он буркнул что-то маловразумительное. Я удивился: отчего это взрослый и солидный дядя так потешно конфузится? В душе радуясь, что у меня период стеснительности позади, я самодовольно продемонстрировал ему свои хорошие манеры. Мысленно я называл его «краснеющим коллегой мамы» и «сослуживцем». Как человек он был не интересен мне. Я на него поглядывал свысока. Когда же он зачастил к матери, меня это стало раздражать. Почему-то казалось, что он обижает мать. Определенно чувствовал, матери стыдно передо мною за эти посещения. Правда, я ничем не выражал недовольства, напротив, делал вид, что визиты «краснеющего коллеги» мне абсолютно безразличны. Даже когда на день рождения матери тот остался у нас ночевать. А поутру, в рубашке, с идиотскими подтяжками, похожими на сбрую парашютиста, он отправился в ванную и мылся долго-долго, будто перед этим побывал в канализационной шахте. Тут я смекнул, дело приняло серьезный оборот, но по-прежнему прикидывался, что ничего не замечаю, ничего не понимаю. Когда же мать за ужином сказала, что нам нужно поговорить, я испугался. Похоже, проявил даже невоспитанность. Чем удивил самого себя. Ибо считаю, во всем мире нет матери лучше. Временами и сейчас произношу заученное с детства пожелание на сон грядущий, и оно до сих пор меня трогает. Но тогда я истерически сбросил со своего плеча ее руку и завопил: «Пожалуйста, прекрати!», «Мне некогда!» и проч. После чего «коллега» более не появлялся. Помнится, цвет волос у нас с ним одинаковый...

Домой вернулся поздно. Но был уверен, что мать не спит. По образованию она филолог, по профессии — журналист. Заведует отделом быта в довольно популярном ежемесячном журнале. Если помимо рабочей нагрузки на тебе еще и заботы по дому, то часам к десяти, одиннадцати, когда переделаны самые неотложные дела, появляется, наконец, возможность хотя бы «мгновенье уделить себе». С некоторых пор мать при чтении надевала очки, что придавало ей сходство с учительницей. И много курила, что конечно же не шло ей

на пользу. Она и без того покашливала, страдала бронхитом.

Все было, как я предвидел: мать трудилась в поте лица, стирала в ванной недельную норму моих сорочек. Решил не откладывать разговора. Юлить, изворачиваться при наших отношениях показалось недостойным. К тому же врать я не умею. Мать сразу почувствует ложь,— потом стыда не оберешься.

Она вышла из ванной на звук хлопнувшей двери и взглянула на меня так, будто мы в последний раз виделись несколько лет назад.

— Хорошенько вытри ноги. Совсем не обязательно в чистую квартиру заносить сугробы со склонов Гайзинькалнса.

— Я не был на склонах Гайзинькалнса.

— Все равно.

— Я был у Карлины из Ошупе... Разыскивал отца.

Она не отвела глаз от моей довольно дурашливой улыбки, продолжая смотреть на меня все тем же пытливым взглядом. Только выражение лица на мгновение застыло.

— Да,— не слишком уверенно добавил я,— мне захотелось узнать, кто он.

— Я думала, ты знаешь. Твой отец Янис Заринь.

— Ты ничего о нем не рассказывала.

Я успел пожалеть, что завел этот разговор, словно громила, накинувшись на мать в прихожей. У нее на пальцах еще лопалась мыльная пена. Голос звучал тускло, срывался, что, несмотря на внешнее спокойствие, было первым признаком волнения. Однако она не удивилась, из чего я заключил, что разговор для нее не был такой уж неожиданностью.

— Мы вместе учились в школе, в университете. Поженились совсем молодыми. Что тебе еще рассказать? Любовь не отвечает на вопрос «почему?». Пока удовольствуйся этим. Потом сам поймешь, как это происходит.

Объяснение вполне в ее стиле.

— А почему вы разошлись?

Я упорствовал. Не хотелось обрывать разговор.

— Не знаю. Навряд ли сумею тебе ответить. Это были бы только слова. Со стороны все кажется иначе.

— Да,— сказал я,— Фрейд тоже так считает. И Унамуно.

Разумеется, это звучало до крайности глупо. Но временами, когда я настроен возвышенно, становлюсь излишне болтливым. С матерью иначе. Она выражается литературно, однако до болтливости никогда не опускается.

Вот так мы с ней беседовали в прихожей. Потом я спросил:

— А это правда, что я его частенько вижу?

Мать поглядела на меня с искренним удивлением.

— Безусловно. Ведь он комментатор на телестудии. Разве ты не знал?

Мои раздумья о поэзии

Когда я слышу голос поющего Яниса Забера, мне кажется, я сам пою. Карела Готта и Элтона Джона, Джо Дассена и Африка Симона слушаю с удовольствием, но в голосе Забера слышу себя. Быть может, поэтому в мире всегда имеется энное число знаменитых сопрано, теноров и басов, чтобы всякий, кого природа не наделила певческими способностями, находил в них свой голос.

Помню, в зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плесида я вышел на лед под стартовым номером Робина Казинса. Совсем не потому, что он победил. Я даже допускаю, что в смысле техники кое-кто из соперников его превзошел. Но Казинс вывел на лед меня. Подробностей выступления не помню. Знаю только, что, завершив последнюю фигуру, я почувствовал колоссальное удовлетворение. Когда Робин наклонился, чтобы надеть на коньки чехлы, я ощутил, как мы с ним дышим в одном ритме.

Рандольф полагает: поэзия — это кассета с эмоциями, которая закладывается в мозг. Не нравится — можешь заменить на другую, захотел — проиграй с другого конца. Потребность в поэзии не иссякает потому, что у нормального человека собственных эмоций становится все меньше.

На мой взгляд, Рандольф заблуждается. Наш мозг проигрывает не всякую кассету эмоций. По крайней мере мой мозг. Как и не всякая оптика улучшает зрение. У меня нет потребности в поэзии вообще. Меня привлекают лишь отдельные поэты, которые помогают услышать мой поэтический голос. Когда в моем объективе оптика Иманта Зиедониса, я могу скадрировать

божью коровку на кончике Зелминого пальца в пространстве семи столетий. Возможно, и у Порука, у Рильке и Неруды превосходная оптика. Но в данный момент она не годится для моего объектива.

Никогда не чувствовал желания познакомиться с Имантом Зиедонисом лично. Поэт живет в своих книгах, как актер живет на сцене. Человек, который за театральными кулисами беседует с пожарником, отнюдь не Гамлет. А потом, мне почему-то кажется, что за пределами поэзии мы с Зиедонисом очень даже можем поведорить. Например, из-за порядка в ящиках письменного стола.

Заметки (разные)

Указ Правительствующего сената от 1731 года: казнить смертью или бить кнутом нещадно всех, прибегающих к помощи колдовства.

★

Из судебного дела 1636 года: оные ведьмы признались, что справляли шабаш под предводительством самого сатаны на горе, именуемой Синей (!) и что там-де есть источник живой воды (!).

★

Если плачет сиротинка,
Не текут на землю слезы:
Текут в чашу золотую,
Чтоб обидчики испили ¹.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне захотелось включить телевизор. Без промедлений. Как будто Янис Заринь поспешит влезть в кинескоп, чтобы я поглядел на него, теперь уже с родственных позиций. Забавно оказаться сыном давно известного тебе человека. И почему именно он, а не другой? Тут принцип лотереи, напрасно искать смысла и логики. Дети «вытягивают» своих родителей. Одному

¹ Латышская народная песня — дайна. Перевод с латышского Феликса Скудры.

выпадают отличные гены, прекрасная наследственность, другому — малоценная биологическая модель с прищипом всяких недостатков.

Разумеется, Янис Заринь — это не Мешкун, не Ледынь, не Вульфсон, однако его передачам нельзя отказывать в привлекательности. У него своеобразная манера говорить, этак вопросительно поглядывая на зрителя широко раскрытыми глазами, причем сам весь прямо-таки светится. Слова из него сыплются торопливо и восторженно. Так и кажется, сейчас он хлопнет по плечу своего собеседника, подмигнет ему: такие, значит, дела, дружище, смекаешь!

Есть между нами внешнее сходство? Навряд ли. А впрочем, как знать. Тяжеловесами не рождаются. В девятнадцать лет все стройны и гибки. Пока же таких, как я, из него можно выкроить пару. К сожалению, моя фантазия слишком убога, чтобы вообразить свою макушку с пустынным Заполярьем.

К середине недели я перебрал различные планы действия и в результате решил с Янисом Зариным встретиться. По правде, такая мысль явилась сразу, но потребовалось время, чтобы с нею свыкнуться и, так сказать, морально подготовиться. Уж такова моя натура: ни за какое дело не возьмусь, пока не созрею внутренне. Прекрасно понимаю спортсменов-штангистов, когда они, прежде чем взяться за штангу, переминаются с ноги на ногу, глотают слюну, собираются с духом.

Раскрыл телефонную книгу на букву «З» и принялся обзванивать по порядку всех Зариной Я. С седьмого захода ответила женщина неопределенного, судя по голосу, возраста (слышимость была скверная).

— Скажите, пожалуйста, это квартира комментатора Яниса Зариня?

— Что вы хотите? Квартира моя.

— Скажите, пожалуйста, в вашей квартире проживает комментатор...

— Пора бы прекратить эти пьяные шутки.

— Прошу извинить. Я не шучу и алкогольные напитки потребляю крайне редко. Когда можно надеяться застать Яниса За...

— Кто говорит?

— Сын...

Голос сделался уступчивей, но ни в коей мере не любезней.

— Звоните в десять вечера, не раньше.

В десять опять позвонил. Извинился за беспокойство, назвал себя. Потом зачем-то назвался еще раз и добавил: я ваш сын, мне сказали, чтобы я позвонил вам после десяти.

Он ответил не сразу. Уж я думал, положит трубку. Но, должно быть, он бежал к телефону и запыхался. Тишину паузы нарушало хриплое дыхание.

— Сюда звонить нет смысла. Я тебе (он сказал «тебе») дам другой номер (он назвал телефон).

— У меня предложение: мы могли бы встретиться.

— Это можно,— ответил он.— Когда бы ты хотел?

— Какой номер вашей квартиры?

— Лучше на телестудии. Снизу мне позвонишь.

Условились встретиться через два дня. Матери я ничего не сказал. Большому тоже. Посему слегка угрызался. Хотя, в общем-то, чего ради? В своих повседневных делах я давно ни перед кем не отчитывался. Зелме, конечно, все рассказал. Во-первых, потому, что идея разыскать отца принадлежала ей, во-вторых, потому, что свидание на телевидении в какой-то мере было продолжением поездки в Ошупе. И, в-третьих, удерживать такое при себе было попросту невозможно. В человеке всегда таится соблазн разболтать любую тайну. В основе сего, должно быть, какой-то физиологический рефлекс, ибо, освободившись от тайны, испытываешь облегчение, как при отпращивании любой естественной потребности.

Зелма была в восторге. Не скрывала, что завидует мне. Не столько по поводу обретенного отца, сколько возможности познакомиться, как она выразилась, «с новой средой».

Звонить наверх не понадобилось. Янис Заринь стоял в проходной. Я его тотчас узнал и подошел.

— Это мой сын,— сказал он сержанту милиции, женщине.— Пропуск заказан.

— Имя, фамилия? — сержанта наши родственные связи не интересовали.

— Как там у тебя имя, фамилия? — Вопрос сержанта Янис Заринь перекинул мне.

— Калвис. Калвис Заринь. Я думал... вам уже...

— Правильно. Ясное дело. Конечно же Калвис Заринь...

Он смеялся, хлопал меня по плечу и все время что-то говорил таким тоном, будто мы с ним были давние знакомые. В той же манере разговаривал он и с теми,

кто встречался нам на лестнице, в фойе второго этажа и в лабиринте коридоров. Совсем вблизи я видел композитора Каминского и Эдуарда Павула. Каминский рассказал отцу анекдот про тещу, который я, признаться, не совсем понял. Павул, загорелый, попахивающий дорогим лосьоном, сообщил какому-то музыканту, что у него самый цивилизованный кот на свете, на пятый этаж никогда не ходит пешком, а непременно дожидается лифта.

На повороте коридора мы чуть не столкнулись с Зайгой Винерте. В руке она держала стопку листов, а вид у нее был сердитый.

— Так что, присядем здесь или поднимемся в редакцию? — Янис Заринь без особого энтузиазма оглядел немногие свободные столики. Небольшое помещение насквозь пропиталось запахом кофе, как анатомичка формалином.

— Все равно, — ответил я, — не имеет значения.

Низкорослый человечек — вроде бы тоже знакомый — приглашал за свой столик, но Янис Заринь на пальцах показал, что нас двое.

— Придется подняться в редакцию. Там, что ни говори, и тише, и спокойней. А тут сплошная толкотня. Правильно, мальчик? Пошли!

В редакционной комнате и в самом деле нам никто не мешал. Три заваленных бумагами стола, забитый сувенирами шкаф с застекленными дверцами, стены завешаны заграничными плакатами.

Мы сели. Янис Заринь впервые умолк. Я смотрел на него, он смотрел на меня.

— Значит, ты мой сын.

— Выходит, так.

— Что ж, примем к сведению. И сколько тебе сейчас?

— Девятнадцать.

— Уже девятнадцать! Кто бы мог подумать. М-да. Ну, выкладывай, что там у тебя. А вообще на парней мне везет. У тебя три сводных брата и одна сестра. Тут нам не помешают. Так что ты мне хотел сказать?

— Да, собственно, ничего. Я вас не задерживаю?

— А ты, как погляжу, стеснительный. Я в молодости тоже был застенчив. Стеснялся позвонить по телефону, стеснялся поздороваться со знакомыми. Тебе нужны деньги?

— Деньги? Нет.

— Ах да. У тебя же дед пишет книжки.

— Я сам зарабатываю.

— Нигде не учишься?

— Нет, почему же. Учусь и работаю. Лаборантом.

— М-да. Ученые нужны. В конце концов пора разобратся, как же так получилось: муж у Евы был Адам, а человек произошел от обезьяны.

— Мне все же кажется, что человек произошел не от обезьяны. Еще не так давно считали, что очеловечивание обезьяны имело место примерно пять миллионов лет тому назад. А теперь обнаружены кости двадцатимиллионной давности. И это кости человека, а не обезьяны. Отчего же часть обезьян так и осталась обезьянами, не став людьми?

Янис Заринь украдкой взглянул на часы. Я понял, что его резервы времени не безграничны. Заметив, как я встрепнулся, он хмыкнул и своей ручищей вдавил меня обратно в кресло.

— Сиди и не рыпайся! Обстановка, значит, такая. Мы еще минут пятнадцать потолкуем. Совершенно спокойно. В семь я запишу комментарий, потом можем сидеть хоть до полуночи. Готов держать пари, что Юлия тебя не посылала. Я для нее не существую. Вот еще одна научная загадка, да тут уж ничего не поделаешь... На всякий случай, для твоего сведения: развод попросила она.

Я почему-то молча кивнул, что могло означать: я знаю. Но это для меня, разумеется, было новостью.

— Впрочем, что тебе до того, кто попросил, а кто нет.

— Я просто подумал, хорошо бы нам встретиться. Теперь он кивнул:

— Ясное дело.

— Я уверен, мать не стала бы возражать.

— Ладно, ладно. В конце концов, отец у сына один. А сыновей у некоторых отцов...

Начатую фразу он не закончил. Достал платок, высморгался, и словно извиняясь, развел руками, встал, подошел к окну и некоторое время там стоял. Мне его волнение не передалось. Красная, мясистая шея вызвала даже что-то похожее на неприязнь.

Когда он повернулся ко мне, его широко раскрытые глаза по обыкновению светились оптимизмом.

— Видишь ли,— сказал он,— механика эта чертовски проста, однако по молодости этого не понимают. В каждом мужчине заложено влечение к женщине. К женщине вообще. Когда же тебе семнадцать, ты считаешь, что в мире есть одна-единственная женщина, та, которую на дне рождения приятеля тебе выпал фант поцеловать. Позднее это неизбежно приводит к осложнениям. Я стал жертвой. Жертвой собственной наивности. А Юлии казалось, что я недочеловек.

— И тогда вы женились на другой?

— Какой еще другой? Ну, знаешь, а ты парень смысленный. Сколько тебе лет? Ах да, девятнадцать. Что ж, возраст солидный. Конечно, женился. Но скажу тебе честно: спешить с женитьбой не следует. По этой части у меня богатый опыт. Трижды был женат. А настоящая отыскалась только теперь. Когда с женитьбами покончено. У нее двое детей, у меня четверо. Ты не в счет.

Больше ни о чем поговорить не успели, ему пора было на запись. Условились, что подожду его в фойе второго этажа.

У меня было достаточно времени все осмотреть, изучить. Интерьер никак нельзя было назвать внушительным. Фойе напоминало деревенский дом культуры. Краска на стенах и притолоках пооблупилась. В углу висела фотография погибшего при исполнении служебных обязанностей оператора — в летном шлеме он вел съемки с вертолета.

Стеклянная дверь, соединявшая фойе с большой студией, была на запоре. Чтобы попасть в мир телекамер и юпитеров, нужно было пройти извилистыми, узкими коридорами. В лабиринте коридоров, закоулков, наверно, был какой-то смысл, понятный лишь посвященным.

На лестничной клетке возле огнетушителей дымили местные никотинщики. Лица некоторых, как у кукол, буро-желты: гримеры подготовили их для погружения в третий рижский канал.

Стена в коридоре пестрела списками, графиками, уведомлениями. В нише напротив студии зеркала охотились за отражениями. Дальше размещались гримерные — пахло пудрой, гримом, клеем для усов и париков.

Вдруг я увидел профессора Крониса. И он как раз говорил о чрезвычайно волновавшем меня вопросе. На стыке двух, по сей день отдельных, отраслей науки

появилась третья, нечто совсем новое. Поэтому почти все, чем занимался Кронис, было ново и молодо. Да и сам Кронис, вне всяких сомнений, был молод. На первый взгляд его можно было даже принять за студента-пятикурсника. Раз-другой мне доводилось слушать его лекции. Мысли Крониса — в доступных пределах — я пытался конспектировать. В данный момент необычность ситуации заключалась в том, что хотя я видел Крониса на телеэкране, в действительности он находился всего в пятнадцати шагах от меня, в большой студии, над дверью которой алела табличка: «Внимание! Идет запись!»

Ног под собой не чуя, я вернулся в фойе, откуда через стеклянные двери хорошо просматривалась вся студия. Да, там он сидел. Он и четверо других. То, что экран показывал в отфильтрованной скудости, отсюда открывалось со всеми частностями: с микрофонами, с наплывавшими, подобно акулам, камерами, со студийными людьми-невидимками. Я, разумеется, смотрел в основном на Крониса. Залитый светом юпитеров стол посреди студии на фоне яркой драпировки прямо-таки заморозил меня. С детских лет запомнил ощущение, когда впервые увидел наряженную елку с зажженными свечами. Нечто похожее накатило на меня и в тот момент: вытянув руки, броситься вперед, схватить, обнять... Вздумай меня кто-то сфотографировать, как и тогда, у наряженной елки, в моих глазах наверняка сверкали бы такие же чудо-свечки.

Увлекла бы меня новая отрасль науки, не будь личности Крониса? Трудно сказать. Возможно. Но уж конечно — как-то иначе. Я никогда не пытался обуздать свои интересы. Еще совсем недавно считал: на что-то одно, строго ограниченное, времени хватит с избытком. Пока же надо растекаться вширь, а не бураться в глубину. В школе был отличником. Без особых усилий с моей стороны. Просто я натура увлекающаяся. Не успокоюсь до тех пор, пока не дойду до «сути». Выражение, что все пятерочки — умные дураки, считаю недоказанным. С таким же успехом можно утверждать, что все неуспевающие — гении.

В науке совсем как в музее мадам Тиссо: главное — не путать живых с мертвыми, так однажды высказался Большой. Он любил парадоксы. Фотографии в школьных учебниках, заседания Академии наук, президиумы и юбилеи порождают впечатление, будто ученый — это

солидный, седовласый старец. Да и в моем сознании укоренилось такое представление, хотя хорошо знаю, что Эйнштейн открыл теорию относительности в двадцать пять лет, а Менделеев (на всех портретах с длинной бородой!) таблицу элементов составил в первой половине жизни.

Наружность Крониса наводила на странные мысли: а ведь мы могли бы вместе играть в футбол. И хотя такое предположение больше относилось к области фантазий, сам факт возникновения подобной мысли освобождал мои отношения к Кронису от абстракций. Он для меня в одно и то же время был идолом и, что называется, своим парнем. Он стоял высоко, однако не настолько, чтобы охладить пыл следовать за ним. Он далеко ушел, это так, однако есть надежда догнать его. Никакие неодолимые барьеры нас не разделяли. Разумеется, в данный момент игру вел он. Но это пока, сейчас, сегодня. Бегал, как Пеле в свои лучшие годы. Бил по воротам, как некогда Круиф. Водил мяч, как Эйсебио. Глядя на него, я наконец вроде бы понял, что такое футбол, осознал, чего вообще хочу.

С экрана телевизора, стоявшего в гримерной, ко мне летел посланный им мяч. Понятное дело, и самому хотелось выйти на поле, вместе с ним бежать в атаку, принимать его пасы, передавать их дальше. А почему бы нет?

Сам не знаю, как это произошло, но когда запись закончилась и двери студии раскрылись в коридор, я оказался среди участников передачи.

— Еще на несколько минут попрошу всех задержаться, — объявил один из «невидимок», — сейчас узнаем, хорошо ли записали.

— Товарищ Кронис, мне нужны ваши данные, — сказал другой.

Я стоял у него на пути и молчал. Разговаривая с кем-то, он раз-другой мельком взглянул на меня. Потом мы остались вдвоем. Он опять посмотрел на меня.

— Вам тоже нужны мои данные?

Я самому себе казался невоспитанным, настырным малым. В то же время вполне отдавал себе отчет, что подобный случай навряд ли когда-нибудь еще представится. Словом, банальное боренье между эгоизмом и тактом.

— Видите ли, есть одна проблема... — Первые слова насилу из себя выдавил, как после удара каратэ по

сонной артерии.— В вузах пока нет факультета, где бы готовили специалистов вашей отрасли.

— Это верно.— Взгляд его оживился, из чего я заключил, что сия простая истина вызвала у него интерес.— В настоящий момент мы действительно находимся между факультетами.

— Как бы вы посоветовали поступить?

— Простите, в каком контексте?

— Чтобы по окончании института можно было бы работать в вашей лаборатории.

— А вы когда заканчиваете?

— В общем-то, я только начинаю.

— А-а-а-а. И уже знаете, где захотите работать?

— Да.

Его взгляд еще более повеселел. Как будто сказанное мною он выслушал в комическом исполнении Эдгара Лиепиня.

— Почему?

— Потому что новые отрасли быстро развиваются. В старых и привычных работать не так интересно.

— К тому времени появятся еще более новые.

— Мне бы все же хотелось к вам.— И не давая ему возразить, я торопливо продолжал: — Если бы была бы программа, недостающие курсы я бы мог прослушать в другом месте. А некоторые экзамены сдать на других факультетах.

Он сделался серьезным. Даже придиристо-пытливый: не насмешка ли весь этот мой монолог?

— Вы согласны сдавать дополнительные экзамены?

— Почему бы нет?

— Хм-м. Не слишком современно.— Взгляд его слегка прищуренных глаз задержался на моем галстуке — завязан он был по моде: довольно свободный, приспущенный книзу узел; а затем на костюме — у нас с ним были почти одинаковые вельветовые пиджаки.— Совсем в духе наших подвижников-просветителей Каспара Биезбардиса, Кришьяна Валдемара.

— Ретро.

— Мысль превосходная, впору взять патент. К сожалению, дополнительную программу невозможно составить за пять минут. Для этого потребуется по крайней мере четверть часа.

— Я бы мог зайти к вам в институт. Завтра, послезавтра, когда вам удобней.

Профессор Кронис взглянул на часы.

— Беда в том, что через два часа я должен сидеть в самолете. Боюсь, в ближайшие месяцы мы смогли бы с вами встретиться только на севере Италии, миль за сорок от Милана.

Почувствовал, как к лицу приливает жар. От волнения, смутной радости. Оттого, что он задумался над моим предложением и мою идею не отклонил. Оттого, что не ошибся в нем.

Я посторонился, вытянулся по стойке смирно и в наплыве чувств чуть не пристукнул каблуками (в ушах у меня прозвенел голос Большого: Выправка! Плечи! Размяк, словно вареник! Мужское достоинство — вперед!).

— Счастливого пути! Зайду, когда вернетесь.

— Пойдите, пойдите,— перебил он меня,— у нас еще есть десять минут. Пока доберемся до центра, сможем кое о чем потолковать. Поедемте вместе.

И я поехал с ним. Профессор Кронис увлекал мою душу, как ветер увлекает привязанный к нитке бумажный змей. И как бумажный змей, душа моя вздымалась в небеса.

Мои мысли о происхождении человека

Мечта стать ученым зародилась во мне в четвертом или пятом классе, когда мы изучали происхождение человека. Помню, вместе с Рандольфом отправились в зоосад и целый день провели вблизи предков.

Вполне возможно, что люди произошли от обезьян, сказал тогда Рандольф. Но все же есть исключения. Прародителями учителя Аболиня наверняка должны быть крокодилы.

Происхождение человека по-прежнему меня занимает. Почему, например, игуанодонты, как и мы, передвигавшиеся на двух ногах, пошли по пути наращивания веса, а не развития мозговой деятельности? Почему они неожиданно вымерли? Можно подумать, природа, убедившись в несовершенстве их конструкции, попросту сбросила их со своего рабочего стола, чтобы очистить место для новых видов. Какая роль в эволюции человека отводится расам? Почему человек утратил свой волосяной покров?

В восьмом и девятом классе я находился под впечатлением гипотез о множественности цивилизаций (мы вроде бы живем в шестой по счету), а также предполо-

жений о том, что человек мог появиться на Земле из космоса. Теперь, когда ближайшие планеты более или менее изучены и Солнечная система предстала перед нами безжизненной пустыней, идея панспермии уже не кажется столь притягательной.

Если Дарвин и ошибался, то, по-моему, в первую очередь в том, что развитие человека представлял себе как единую, непрерывную и закономерную эволюцию. Мало-мальски разбираясь в мутагенезе, трудно допустить, что на пути развития человечества, исчисляемого миллионами лет, на этот процесс не повлияли бы и многие другие чрезвычайные факторы. Прежде всего я имею в виду космические катаклизмы, облучения и т. п.

Моя идея: человека как продукт природы (проводя параллели с миром неживой природы) следует сравнивать не столько с камнем, сколько с драгоценным камнем. Человек — необычайно редкостный продукт, появившийся на свет в результате обручения закономерности со случайностью. А впрочем, сказать по чести, — не знаю. Все же очень бы хотелось, чтобы и где-то в другом уголке космоса обитал человек. Пусть даже происшедший от обезьяны. Пусть даже аистом занесенный.

Заметки

Новейшая гипотеза о вымирании динозавров: столкновение Земли с астероидом (диаметр — двести километров). После столкновения взметнулось облако пыли, покрывшее собой всю поверхность Земли. Несколько лет длилась ночь. Vegetация прекратилась. Погибли крупные травоядные животные, выжили моллюски и другие простейшие. Когда пыль рассеялась, флора возродилась, но многие виды животных прекратили свое существование.

На то, что такое столкновение некогда имело место, указывают различные факты. Между прочим, и появление на земле новых химических элементов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С Зелмой я познакомился в одиннадцатом классе. Мы встретились на танцевальных курсах. Школьные вечера танцев носили ярко выраженный дилетантский характер. Каждый кривлялся и дрыгался, как в голову

взбредет. Такого рода кривляния на уровне джентльменов джунглей мне показались малопривлекательными. И я решил основательно овладеть техникой ритмического самовыражения, изучить его азы и премудрости, чтобы прийти к определенной системе. Курс обучения в клубе «Ридзене» давал не только практические навыки, после успешного выступления на соревнованиях присуждался третий разряд по спортивным танцам, а также предоставлялось право обучать начинающих.

Зелма была на год старше меня, хотя внешне казалось наоборот. Возможно, потому, что я ростом выше и шире в плечах, а Зелма стройна, миниатюрна. Танцуя, она находилась как бы ступенькой ниже. Я имею в виду классические парные танцы. Танцуй Зелма как другие партнерши, мне пришлось бы все время смотреть на ее светлую макушку с еще более светлым пробором. Но Зелма любила сверлить партнера глазами. Лицо разгоряченное, волосы разметались, голова запрокинута, обращенный на меня взгляд всегда сосредоточенный и в то же время интимный, можно подумать, мы с ней целуемся, а не танцуем. Поначалу было тягостно, я нервничал.

Но вскоре в такой пылкости я обнаружил и нечто привлекательное. Зелме было чуждо жеманство (подразумеваю игру, притворство, столь характерные для девочек). К тому же танцевала она превосходно. Сам выход на танцплощадку ее окрылял. Казалось, она совершенно лишается веса, обретая способность схватывать, предугадывать тончайшие нюансы движения. Даже остановленный, прерванный тур в паре с ней получал завершенность и смысл. А это в свою очередь и на меня оказывало благодатное воздействие, вселяло уверенность в себе.

— Эта фигура получилась у нас безукоризненно, прямо как в цирке,— заметил я.

— Неудивительно, у нас сходные биоритмы.

И она изложила мне свою теорию соответствий: согласные в танце партнеры имеют больше шансов прийти к взаимопониманию вообще. Внешность человека указывает на модель его эндокринной системы, а умение сливаться в ритме — на тип его биотоков. Те, у кого нет предрасположения к танцам, не что иное, как брак по части биотоков, и как следствие — они или трусливы, или чрезмерно упрямы.

Рассуждения Зелмы, разумеется, были куда более пространны, закономерности ее теории распространялись на сферу сексуальной жизни, на умственные способности народов и на демографическую ситуацию в мировом масштабе. У латышей инстинкт к танцам развит сравнительно слабо. Соответственно и коэффициент естественного прироста населения равен нулю. Напротив, у бушменов Руанды и Бурунди он — 38.

Зелму, как и меня, увлекало решительно все. Она закончила фотокорсы, училась искусству икебаны, участвовала в соревнованиях аквалангистов по подводной ориентации в Симеизе, штурмовала одну из высот Эльбруса. С Зелмой можно было поговорить о новинках поп-музыки, об использовании лазера в медицине, индийской кулинарии и перспективах энергетики. Она не путалась в истории искусств, знала наперечет все скандалы международного киномира, следила за публикациями об НЛО, читала книги про йогу, астрологию, гипноз, хиромантию и т. д. и т. п.

Должен признаться, меня довольно долго шокировали та откровенность и легкость, с которыми она говорила об интимнейших вещах, касалось ли это менструации или запечатленных резцом древнеиндийского скульптора поз совокупления. Во время третьей или четвертой нашей встречи, когда Зелма опять принялась разглагольствовать в том же духе, я глупейшим образом покраснел и попытался перевести разговор на другое. Зелма взглянула на меня с искренним удивлением.

— Я смотрю, ты полон предрассудков,— сказала она, и в голосе ее послышалось что-то похожее на жалость.— Где-то на уровне прошлого века.

Я покраснел еще больше.

— Ну, ладно-ладно,— сказала она.— Об одном только помни, твоя стыдливость не что иное, как превратно понятая разница полов. С приятелем об этих вещах ты бы рассуждал спокойно, так ведь? Почему ж меня ты ставишь ниже?

— Я тебя не ставлю ниже...

— Как будто я не знаю, о чем между собой толкуют парни. Ханжа, вот ты кто. Да еще гордишься этим.

Она была права.

Зелма долго не могла решиться, на какой факультет ей поступать. Вначале собиралась изучать экономику, считая, что это как раз та отрасль, которой подчиняются все прочие. Но потом передумала: не имеет смысла,

на практике экономический факультет готовит обычных чинуш.

— Но ведь существует еще экономика как наука.

— А ты слышал, чтобы за последние лет пятьдесят в экономике было бы открыто что-то принципиально новое?

— Как раз поэтому.

— Нет, лучше пойду изучать медицину. Во-первых, специальность творческая, во-вторых, материальный фактор, в-третьих, моральное удовлетворение.

Однако и эта идея была оставлена ради новой — ехать учиться в Москву. В институте имени Баумана можно овладеть аэродинамикой, а в МГУ — метеорологией. К чему ограничивать себя возможностями, предоставляемыми провинциальной Ригой?

— Итак, решено: едешь в Москву? — спросил я Зелму примерно неделю спустя.

— Видишь ли, все не так просто. Уехать на пять или шесть лет в моем возрасте означает остаться в старых девах или решиться на смешанный брак. Почти все мои знакомые, уехавшие на учебу в Москву, выходили замуж за иностранцев: две за мексиканцев, одна за сенегальца и еще одна за араба из Америки.

Зелма жила в районе завода ВЭФ в двухэтажном доме, окруженном садом. Перед экзаменом по физике я поехал к ней повторять билеты. Зелма, как и предвидел, лежала в саду. Между прочим, на ней была лишь нижняя половинка бикини. Завидев меня, Зелма лишь слегка подтянула трусишки. Меня это особенно не удивило: у нас в школе девицы бюстгалтеров тоже в принципе не носили, и все-таки было как-то не по себе.

— Ты славно загорела, — попытался я сохранить хладнокровие.

— Тут прекрасное место. Разоблачайся. А знаешь, я окончательно решила, никуда не поеду. Буду изучать философию.

— Ну и хорошо.

— Еще бы! Единственное отделение, которое готовит не специалиста узкого профиля, а вполне интеллигентного человека. Это же просто замечательно, на вопрос «какая у вас специальность?» ответить: я интеллигентный человек. Примерно так, как после окончания Оксфорда.

Мне казалось, что фантазия Зелмы на том не останавливается и до подачи документов можно ждать еще

всяких чудес. Но увлечение философией оказалось стойким.

Учеба для Зелмы трудностей не представляла. Попутно ее без конца выдвигали, выбирали, назначали, утверждали, направляли и рекомендовали на различные посты и должности. Зелма участвовала в самодеятельности, редактировала стенную газету, организовывала культпоходы и субботники. На курсе одни называли ее Комиссаром, другие — Оптимистической трагедией.

Студенты Политехнического института в своем храме на берегу Даугавы устраивали дискотеки. В полном соответствии с модой — стробоскопы, пульсирующий свет, дымовые эффекты, парафиновые свечи, неон и т. д. Но было в тех вечерах и что-то неповторимое. Даже не берусь с ходу определить, в чем заключалась их самобытность. Во всяком случае, такие вечера в других местах не производили на меня должного впечатления. Особенно когда на лицах преподавателей и сотрудников недвусмысленно читались ужас и мольба: только, ради бога, не выходите из рамок, как бы завтра не пришлось писать объяснительных записок.

Для Зелмы при ее коммуникабельности получить приглашение было совсем не трудно. Как-то, ближе к весне, мы вчетвером отправились в дискотеку примерно под таким названием: «Тенденции рок-музыки второй половины семидесятых». Что-то в этом роде. Вечер был устроен первого апреля, а на нем политехники разразились собственными записями, а также пародиями своих вагантов — народные песни и куплеты Дреслера переложили на широко известные популярные мелодии.

Эффект был потрясающий. В самый разгар плясок в нашем углу откуда ни возьмись появился их ректор. Я где-то читал, что главнокомандующий не может быть человеком без легенды. Вокруг ректора Политехнического легенды вились, как стружки вокруг фрезера. Как обошел он лучшего спринтера. Как вышвырнул из электрички хулиганов. Как читает лекции. Как экзаменует. (Студент берет билет. Не знает. Нельзя ли взять другой? Пожалуйста. Студент берет второй билет. Не знает. Нельзя ли еще один? Пожалуйста. Студент берет третий билет и опять не знает. Какую же, по-вашему, оценку вы заслужили, спрашивает ректор, за то, что

знаете хотя бы один билет, который пытаетесь и все не можете вытянуть?)

Дальше — больше. Ритмы крепчали. Особенно, когда дело дошло до «Midnight Moon», записанной на слова «Ты не ржи, не ржи, жеребчик, в стойле ко-нюшенном».

— Я, пожалуй, приглашу ректора, — сказала Зелма.

Мысль мне показалась странной, чтобы не сказать большего. С другой стороны, это как раз в стиле Зелмы. Пробравшись сквозь толпу, она вышла на исходную позицию, чтобы незаметно отступить, если кто-то из девиц окажется проворней. Затем выскочила из укрытия и устремилась вперед, словно кошка за птенчиком. В своей обычной манере, с деловитой прямоотой и вместе с тем с восторженным блеском в глазах. Что она сказала ректору, я не расслышал. Как не расслышал и того, что он ответил. Но после краткой беседы он воздел руки кверху и что-то сказал сопровождающим его лицам. Немного погодя они с Зелмой стали выкаблучивать вполне приемлемые дисковариации. Само собой, это тотчас вызвало всеобщий интерес.

— Представляю, что бы было, повтори Зелма этот номер в родном университете, — заметил Рандольф, живописно изображая на лице конфуз и ужас.

— Думаешь, ей слабо? Глазом не моргнет.

— Учти, возможности человека в восприятии нового весьма ограничены. Чтобы старички не слишком убивались, природа соответственно их компенсирует. Все новое им начинает казаться оскорбительным, вредным, достойным презрения.

— Я бы не сказал, что у него плохо получается.

— Не вздумайте ревновать, — попыталась пристыдить меня тогдашняя партнерша Рандольфа. — Исключения не отменяют правил.

— Старики могут то же самое, что и мы, *joder cojones*. Только недолго и затрачивая больше сил.

Понемногу мне открылся замысел Зелмы. Ей было мало оказаться в центре внимания. Ей хотелось добиться победы — затанцевать своего уважаемого партнера до одышки, до упаду, до холодного пота. Вскоре это ни для кого уже не было секретом. Восторг нарастал вместе с настороженным любопытством. По сияющей улыбке Зелмы я заключил, что она не сомневается в благоприятном исходе событий.

Лишь ректор, казалось, не догадывался об уготованной ему участи и с одержимым упорством поддерживал темп. Возможно, виной был возраставший энтузиазм, но, похоже, диск-жокей, по-своему принимавшие участие в этом состязании, взвинтили обороты, открыв до предела заслонки децибелов. В оконных переплетах звенели стекла, ходуном ходил потолок, по щекам хлестал шквал звуков.

Веселье на лице у Зелмы слегка померкло. Нет, она по-прежнему восхитительно улыбалась и танцевала превосходно. Но улыбка уже не казалась столь уверенной. Было что-то не так, как должно было быть.

Потом я повнимательней взгляделся в лицо ректора. И мне вдруг стало жаль Зелму. Какими мы были простаками! Это же лицо бегуна на длинные дистанции, закаленного марафонца, теперь, быть может, и не в лучшей форме, но изнедавшего на своем веку и судороги в ногах, и колотье в груди, минуты слабости и бремя неимоверной усталости, а все же не привыкшего сходить с дистанции, при случае умевшего выжать из себя все силы до последней капли.

Зелма понемногу замедляла витки. Движения ее становились как бы рассеянными. Нет, она в самом деле танцевала колоссально. Только вот изначальный замысел оказался нереальным. Ректор не сдавался.

И тут какой-то парень на развороте слегка выскочил из своей траектории и столкнулся с Зелмой. Она еще успела сделать несколько па, затем покачнулась и охромела. Конечно же она смеялась, комично кривила губы, и все было очень забавно. А нога, очевидно, побаливала. Хотя незадачливый танцор публично извинился, ему пришлось выслушать ряд не слишком лестных замечаний. Зелме — жертве и пострадавшей — выражали сочувствие. Ей аплодировали, ее осыпали похвалами.

Ректор предупредительно подвел Зелму к стулу.

— Так как же нам быть — вызвать «скорую» или позаботиться о массажисте?

— Ничего, пустяки, будем лечиться самовнушением. — Немного придя в себя, она сказала мне: — Пошли танцевать, как будто прошло.

Но Зелме уже не хотелось быстрых ритмов. Она прижалась ко мне так, как никогда не прижималась. С безоглядной податливостью. Нет, это не значит, что танцевать с ней стало трудно. Ничего подобного. Но

танцуя, я постоянно чувствовал, вернее, она заставляла меня чувствовать, что я ее держу. Должен ее держать. Даже не знаю, как это выразить словами. Но мне хотелось еще и еще танцевать с Зелмой.

Я живу не в городе, а на взморье, в Вецаки. В этом есть свои плюсы и минусы. Обычно я провожал Зелму только до троллейбуса. На этот раз все было иначе. Когда мы вышли на улицу, она опять стала прихрамывать, опасаясь ступить на левую ногу.

Я прикинул в уме варианты, как доставить Зелму домой. Рандольф со своим «Денатуратом» уже растворился. На такси у меня не хватало примерно двух третей необходимой суммы. Оставался все тот же троллейбус. На сей раз, однако, пришлось поехать с ней.

Медленно прошли Старую Ригу. Зелма крепко держала меня под руку, временами останавливалась, прижимаясь лбом к моему плечу. Словом, мы тянулись как в похоронной процессии.

— Пожалуйста, помедленней, ну пожалуйста,— шептала она со слезой в голосе.

В сквере возле филармонии ей захотелось посидеть, на остановке мы пропустили два троллейбуса, они ей показались слишком переполненными, лезть в них она побоялась (это Зелма-то!). От троллейбусной остановки по дороге домой она отдыхала через каждые десять шагов. Не сказать, что настроение у нее было скверное. Нет. Она смеялась и подшучивала над своей хромотой. И без умолку говорила о том о сем. Я слушал довольно рассеяннo, прикидывая, во сколько самое позднее мне следует быть на вокзале, чтобы успеть на последнюю электричку. У калитки я уже безо всяких стеснений стал прощаться. Но Зелма держала меня за пуговицу и, похоже, не собиралась отпускать.

— Послушай,— сказала она,— ну, не сходи с ума. Взгляни на часы и успокойся. На электричку все равно опоздал.

— Еще успею.

— Ни в коем разе.

— Попробую.

— Это несерьезно.

— Если прямо сейчас подойдет троллейбус...

— Подожди.

— До завтра!

— Ну, послушай...

— Я слушаю.

— У тебя две реальные возможности. Отправиться домой пешком или...

— Воспользоваться автостопом.

— ...Остаться в Риге.

Взглянул на часы и понял: в самом деле опоздал. Но странно, мысль об этом не только меня не встревожила, а напротив — успокоила. Впрочем, не слишком. Конечно же встревожила. Еще как встревожила. Однако в ином плане.

— У тебя есть велосипед?

— Должно быть, ты не расслышал, что я сказала.

— Нет, расслышал. Вообще это идея. Один — ноль в твою пользу. Надо позвонить Рандольфу, чтобы заехал подвез.

— Не будь наивным.

— Просто я оптимист.

— Тогда попробуй дозвонись.

— И попробую.

— Что ж, пробуй.

— Спокойной ночи.

Зелма до тех пор крутила мою пуговицу, пока ее не оторвала.

— Вот видишь, и пуговицу надо пришить. Пошли.

И, чтобы рассеять мои колебания, деловито обронила:

— Не беспокойся. Предки уехали в Лиепаяу.

Позвякивая ключами, она шла впереди, теперь уже ничуть не прихрамывая.

У Зелмы я бывал не однажды. И в том, что оказался в знакомой квартире, не было ничего необычного. Необычным было то, что на сей раз я оказался там среди ночи. С намерением остаться до утра. И хотя знал, что мы в квартире одни, мне все же казалось, что родители Зелмы где-то поблизости. Или в любую минуту могут появиться.

— Ну, чего задумался? Застыл как столб? — Зелма, выйдя из ванной, остановилась на пороге кухни. — Сними пальто, вымой руки. Сейчас поставлю чай.

На кухне зашипела газовая конфорка. Зелма зашла в комнату и довольно громко запустила радиолу. Немного погода вернулась.

— Ну?

— Я могу позвонить?

— Как назло у аппарата диск отвалился.

— Где ближайший автомат?

— Все никак не успокоюсь!

— Да не Рандольфу. Мать невесть что подумает.

— Она давным-давно сладко спит. Утром позволишь.

— Нет, не спит, это точно. У нас с ней такой уговор. Я скоро вернусь.

Зелма прижалась ко мне и посмотрела на меня снизу вверх таким же взглядом, каким смотрела в танце.

— Тогда пойдем вместе. С тобой не соскучишься.

— Ты преспокойно можешь остаться. Это тебя не касается.

— Еще как касается. Ты же не знаешь, где автомат, где почта. Еще хулиганы привяжутся, череп проломают, урон всему коллективу.

— Почта мне не потребуется.

— Как знать. Не сможешь дозвониться, надумаешь послать телеграмму.

Минут через десять мы вернулись.

— Если ты хранишь не слишком громко, мы могли бы лечь вместе. В тандеме предков.

— Я храплю, как лесопилка. А что, если...

— У тебя всегда отыщется причина для волнений! Они в Лиенае. Впрочем, как хочешь. Можно и в моей. Только она узкая.

— Ты вроде бы чай поставила.

— Ах да! Хочешь чаю?

— Еще как!

Чаю мне не хотелось. Но я тянул время, чтобы хоть немного отодвинуть то, что свалилось на меня столь неожиданно и к чему я оказался не вполне готов. От одной мысли, что вот сейчас лягу с Зелмой под одеяло, меня охватывала паника. Нет, это не значило, что я не хотел. Или что с какой-то другой девушкой мне бы хотелось больше, чем с Зелмой. Но именно потому. Уж если это должно произойти (в принципе о такой возможности я подумывал давно), то когда-нибудь потом, какое-то время спустя, в другой раз. Только не теперь.

А кроме того, мне в самом деле казалось, что могут явиться родители Зелмы. Придется в страшной спешке одеваться в туалете. Затем объяснять, что оказался здесь по недоразумению, что их кроватью прежде никогда не пользовался и что Зелму очень уважаю...

Пока закипал чайник, я отсиживался на кухне. Зелма, напевая, расхаживала по квартире, освобождаясь понемногу от одежды. Наконец она появилась в красном

хитоне, который с таким же успехом мог быть халатом или ночной рубашкой.

— Так,— объявила она,— кровать постелена. С чего вдруг ты побледнел? Нездоровится?

— Нет. Все в порядке.

Ее теплая и гладкая ладонь ловко скользнула мне на грудь под рубашку. Хотя прикосновение было скорее приятным, чем устрашающим, я от испуга подскочил на стуле.

— Да погоди. Проверю пульс. С ума сойти! Я бы сказала: предынфарктное состояние.

— Не может быть.

— Сравни с моим. Господи, да стой же. Тебе щекотно, да?

Она взяла мою руку и приложила к своей груди.

— Ну? Чувствуешь?

— Да.

— Жуть, правда?

— Да не слишком.

— Считаешь, ничего страшного?

— Нет.

— Совсем-совсем?

— Совсем.

— Отрадно, что ты начинаешь приходить в себя. Вообще это в порядке вещей. Когда совпадают биотоки... Ну-ка, проверим. Вторую руку положи мне на плечо. Как будто мы танцуем танго.

Чувствовал, как сердце опять учащенно забилося. Мы в самом деле обняли друг друга, будто танцевали. Впрочем, несколько иначе: будто на уроке физкультуры разучивали приемы акробатики. Глупо, конечно. Вообще-то я мог бы Зелму поцеловать и, честное слово, сам не понимал, отчего до сих пор не сделал этого. Какой-то умственный ступор. Короткое замыкание сексуальной индукции. Быть может, оттого, что в принципе я это решил сделать только «по-настоящему». Не из простого любопытства или потому, что «так нужно».

— Зелма, знаешь что?

— Ну?

— Помнишь, мы с тобой гальванизировали лягушку?

Она отпустила мою руку и взглянула на меня заострившимся взглядом. Не то обиделась, не то рассердилась.

— Лягушку?.. Пошли чай пить.

- Не сердись, пожалуйста.
- А я вообще никогда не сержусь. Ни на кого. Не имеет смысла.
- И на мерзавцев тоже?
- Отпетые мерзавцы встречаются крайне редко.
- Что значит «отпетые мерзавцы»?
- Ну, такие — обоюдоострые. Основную массу составляют просто мерзавчики, которых легко обойти. Многие из тех, кого считают мерзавцами, на самом деле просто лодыри. Или дураки.

Затронутую тему, перебравшись в кухню, взяли шире. Суждения Зелмы, как всегда, были интересны. Выпил стакан чая, потом второй. В холодильнике нашлись сыр и колбаса. За едой толковали о своих любимых блюдах.

— Перловый суп, картофельное пюре с поджаренной до хруста свининой, тушеные овощи, — перечислил я.

— А птица?

— Нет. В птичьем мясе всякие сухожилия, суставы, мышцы.

— У тебя испорченный вкус. Представь себе, как отвратны на вид раки. Зато какие вкусные.

— Раков я не ем.

— С ума сойти! А миноги?

— Тоже.

— Ну а дичь?

— Не потребляю.

— Чем же это лесная дичь тебя не устраивает?

— При виде дичи у меня перед глазами возникают набитые чучела. Или полосатые лесные кабанчики.

— Господи! А когда колбасу ешь, у тебя ничего не возникает перед глазами?

— Когда ем колбасу, ничего не возникает.

— Устриц ты тоже есть не стал бы? А тухлые яйца? А жареных осьминогов с помидорами?

— Брррр!

— Но ведь это ж такие деликатесы! Я согласна пешком отправиться в Нормандию, лишь бы отведать устриц. Сыр еще есть. Хочешь? Уж он ничем не осквернит твоей фантазии.

Я сожалел о ничтожных размерах своего желудка. Я булькал, словно канистра, чай во мне плескался уже где-то на подступах к глотке. И беседы на кулинарные темы не могли продолжаться до бесконечности. О кот-

летах из конины я как будто Зелме рассказал. Ее восторженные воспоминания о поглощении трепангов в московском ресторане тоже перебрали. В наступившей тишине на полке громко тикал старомодный будильник.

— Посуда пускай останется на столе,— сказала Зелма.

Будь я курильщиком, растворил бы окно, поднял сигаретой, постоял с глубокомысленным видом. Или даже вышел бы в сад.

— Ты как знаешь, а я пошла спать. Тебе что, спать совсем не хочется?

— Не-ет! Я ведь сова по натуре.

— Я передумала,— объявила она.— Постелю тебе на диване в проходной комнате. Может, еще захочешь почитать.

Я тотчас почувствовал облегчение, что, конечно, отразилось на моем лице. Это не прошло незамеченным для Зелмы. Но она и бровью не повела. Продолжала игру. Как Нонна Гаприндашвили, продумывая несколько ходов вперед.

Все дальнейшее, выражаясь словами Рандольфа, было «обычным эндшпилем». Зелма постелила мне постель, принесла настольную лампу и журнал «National Geographic». Когда я вернулся из туалета, она была в своей комнате. Я быстро разделся и залез под одеяло.

Дверь в комнату Зелмы осталась приоткрытой. Я слышал, как она еще некоторое время ходила, копошилась. Потом щелкнул выключатель. Я тоже погасил свет. За окном светила луна.

— А ты дурно воспитан,— сказала она,— мог хотя бы пожелать спокойной ночи.

— Спокойной ночи!

— Ну загляни же ко мне. Какие могут быть пожелания через дверь.

С дрожью в коленках вошел я к Зелме. Поцеловал ее. Было очень холодно, окно было отворено настежь. Я весь дрожал. Она сказала, что у меня даже губы заledenели, неужели я не чувствую, как мои зубы лязгают о ее зубы. Тогда я поцеловал ее еще раз, чтобы проверить, лязгают ли зубы. Это, конечно, был только предлог. Мне вовсе не хотелось возвращаться обратно. Ни о чем другом я больше не думал. Хотелось, чтоб у нас с ней были общие губы, общие руки и все было общим. Общим с Зелмой. Наконец-то я по-настоящему

понял, как красиво это имя. Зелма. Зелма. Калвис Заринь, вы немедленно должны швырнуть ручную гранату. Сейчас раздастся взрыв. Какая жуть. Никогда я не швырял ручную гранату, но знаю, что делается левой рукой, а что правой. Садитесь, Калвис Заринь, теорию вы знаете на пять. И все-таки что-то не так. Глупо, ужасно глупо, какой позор. Да, раздался голос Зелмы, да! У нас были общие губы, общие руки и общие ноги. Но дальнейшее продвижение невозможно. Угроза срыва вперемежку с окрыляющей надеждой. Весь в поту, бездыханный, я рухнул рядом с Зелмой.

Понемногу обретая способность рассуждать, я ощутил не столько стыд из-за своей неопытности, сколько горечь разочарования и закипавшую злость. Презренный тип. Предавший принципы. Мерзавец, трус. Конечно же я понял хитрость Зелмы. Был зол и на нее. На себя же злился во сто крат сильнее.

Лежал, уткнувшись лицом в подушку. Зелма дула мне в затылок, подушечками пальцев поглаживала у меня промеж лопаток.

— Ну, я пойду...

— Ты типичный мужчина.

— Я типичный поросенок.

— Не смей меня. Сейчас сменю простыню, и все будет в порядке.

— Наверяд ли.

В радостном порыве она обеими руками обвила мою шею и прильнула ко мне. Грудь у Зелмы были совсем маленькие. И вообще в ее фигуре было что-то мальчишеское. Причем отнюдь не в физическом смысле. Наша парная композиция — в лунном свете, в чистоте графических форм — напоминала фотоэтиюд из журнала.

— Не понимаю, чего ты так переживаешь?

— Я не переживаю. Просто злость берет. И вообще...

Она рассмеялась звонким смехом:

— Мой несчастный Дафнис!

Выбравшись из-под одеяла, поискал глазами единственную принадлежность своего туалета. Зелма, обхватив ладонями затылок, заломила сверху локти и сладко зевнула.

— По-моему, все в норме. Ложись и ни о чем не думай. Лучше с тобой, чем с кем-нибудь другим. А знаешь, моя невинность стала меня тяготить. Далеко ли тут до комплекса неполноценности.

— Спасибо,— сказал я.

Она не поняла.

— Спи. И ни о чем не беспокойся.— Она взглянула на меня, как на помешанного: — Все-таки собрался уходить? Ты отдаешь себе отчет, который час?

— Нет.

— Четверть третьего.

— Все равно, Зелма. Теперь это не имеет значения. Мне ж не рекорды ставить. Просто пойду.

Мои мысли о сексе

Быть человеком — значит отдаляться от животного. Человек думает иначе, чем животное. Человек ходит иначе, ест, работает иначе, радуется иначе, даже убивает иначе, чем животное. И только по части продолжения рода прогресса вроде бы не заметно. Физик-атомщик двадцатого века своих потомков в принципе рождает точно так же, как его далекий предок на заре человечества. Когда говорят, что связи человека с животным не порваны окончательно, то прежде всего имеют в виду как раз сферу деторождения, тут это чувствуется наиболее отчетливо. Помню, как в период полового возмужания меня поразила одна вычитанная в медицинской книжке фраза о том, что «в кульминационной точке оргазма всякая деятельность разума прекращается».

Должно быть, это одна из характернейших человеческих особенностей, где природа намеренно или по ошибке допустила такую дисгармонию: как бы далеко от центра ни отдалялась расходящаяся волна развития, ей не дано стать идеальным кругом. В определенном месте линия круто загибается и возвращается чуть ли не к самому центру. И чем более развивается человечество, тем очевидней конфликт между интеллектом и сексуальными стимулами.

В сфере половой человек отличается от животного эмоциональным отношением к партнеру. Нет оснований полагать, что физиологическая сторона любви Ромео и Джульетты отличалась каким-то особенным своеобразием. Необычное коренится в эмоциях: широта, глубина, утонченность чувств.

Рандольф сказал: чтобы заниматься сексом, любить совсем не обязательно. Секс — совершенно новое и модерновое явление, когда человек использует природу

в своих интересах, вместо того, чтобы позволять природе использовать себя.

В лишенном чувства, распоясавшемся сексе я при всем желании не способен разглядеть ничего нового и современного. В моем понимании — это достойный всяческого сожаления возврат к былому рабству половой секреции. Такое случалось во все времена. Только раньше это называлось иначе — старым, крепким словом, которое в своих проповедях употреблял еще пастор Манцель.

Иной раз мне бывает непонятен промысел природы. Почему, например, создав веко для защиты столь уязвимого человеческого органа, как глаз, она в то же время не придумала «века», чтобы защитить земной шар от неразумных человеческих поступков. Тем более что шар земной для существования человечества куда важнее глаза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Большому тогда было семьдесят два года, и полностью имя его звучало так — Мартынь Акселис Александр Биерен. По женской линии Биерены восходили к куршским кеньям¹ Тонтегодам и Пеникам. Три древние фамилии служилых родов, чьи предки на протяжении веков сражались под знаменами многих ниспосланных богом правителей. Отец деда Александр Биерен, друг полковника Иоакима Вацietиса, до революции служил в генштабе русской армии. Поэтому дед родился в Петербурге. Мать была шведка, звали ее Энгла (мне это имя кажется цыганским). Свою прабабку-шведку я не мог себе представить существом материальным, поскольку от нее не сохранилось ни единой фотографии, а только две вещицы: кофейная мельница из красного дерева с медной ручкой и украшенная эмалью табакерка. Когда деда отдали в школу (между прочим, его соседом по парте был один из потомков Пушкина), он уже свободно изъяснялся на латышском, русском, шведском и французском. Затем Большой увлекся древними языками: латынью, греческим, древнееврейским. Сколько языков он знал в общей сложности, трудно сказать. Анкеты отдела кадров в последние годы заполнять не

¹ Так называемые благородные вассалы Ливонского ордена. (Прим. пер.).

приходилось, а когда его об этом спрашивали, он отвечал уклончиво: вполне естественно, что тракторист, помимо всего прочего, водит и мотоцикл; менять специальность не собираюсь, я — пенсионер-энтузиаст классической филологии.

Сколько себя помню, Большой всегда жил один и все на том же месте — возле парка Зиедоньдарз (бабушка с младшей сестрой моей матери живет в Австралии. Вообще в Австралии у меня два двоюродных брата и две двоюродные сестры: Нейджил, Ронни, Салли и Мейбл).

В детстве Большой носил меня на закорках и давал полюбоваться в подзорную трубу: глянешь в тонкий конец, и маленькие человечки с дорожек парка вспрыгивали прямо на подоконник; глянешь в толстый конец — свет окна отлетал в бесконечность.

Мы лежали вдвоем на расстеленном на полу ковре, и Большой объяснял мне латинские фразы. Когда я появлялся у него, мне ежедневно полагалось вызубривать десяток слов, а в свой следующий приход прямо с порога вместо приветствия я должен был декламировать: *ессе homo, ab incunabulis, ab initio, pro tempore, ex nihilo nihil fit*¹ и т. д.

Перед сном вместо сказок Большой мне рассказывал про Цезаря, Цицерона, Горация или Сенеку. «Мысли этих людей нам дороги не потому, что звучат красиво, а потому, что выдержали испытания двадцати веков. Не беда, что ты пока многого не понимаешь. Важно заложить прочные основы».

В ту пору я действительно не понимал, почему «Римская империя две трети своего существования находилась в агонии» и почему, «повелев переименовать месяц секстилий в август, цезарь Август воздвиг один из первых памятников культа личности».

Снова и снова он повторял, что «любую вещь, всякое явление нельзя рассматривать обособленно, а непременно *en gros*² и *ex adverso*³». В его рассказах одна тема неожиданно переходила в другую, а под конец выяснялось, что речь вообще идет о чем-то третьем. Так, например, начав с положения о том, что сила всякого рычага не беспредельна, он вскоре переходил к взле-

¹ Вот человек; с колыбели; сначала; своевременно; из ничего ничего не получится (*лат.*).

² В общих чертах (*лат.*).

³ Доказательство от противного (*лат.*).

там и падениям мысли вообще, а затем спрашивал, в жизни и творчестве каких писателей эта мысль проявилась с наибольшей наглядностью.

— У Толстого, — отвечал я без раздумий.

— Раз! — Большой хлопал в свои угловатые, увесистые ладоши, задавая ритм и темп ответам.

— У Гоголя.

— Два! Еще!

— Больше не знаю.

— В прошлый раз говорили.

— У Райниса.

Многие в классе, помирая от скуки, зазубривали фразы из учебника о «Далеких отзвуках в синем вечере» Райниса или образе Пьера Безухова, я же с увлечением вчитывался в тексты, запоминал цитаты, разгадывая Райниса и Толстого, как увлекательные кроссворды.

Кажется, в девятом классе я объявил Большому, что впредь латынь изучать не намерен, потому как не собираюсь быть ни медиком, ни филологом, ни юристом. Ничего, ничего, ответил на это Большой, у тебя голова пока еще пустовата, не мешает ее кое-чем наполнить и без утилитарного расчета. Сейчас толкуют о всяких кризисах. Никто не знает, что случится, когда иссякнут запасы нефти. Но я могу тебе сказать, что случится после того, как люди забудут латынь. Произойдет решительный поворот назад к варварству. Людская память непрочна, лишённые корней древних культур, мы деградируем в течение нескольких поколений. Слово в слово я, конечно, не помню, но мысль была такая.

Еще Большой не раз мне рассказывал о студенте, молодом поэте Пикулане, который на собраниях клеймил его «реакционером-антимарровцем» и «поборником идеалистических бредней». А все потому, что на экзаменах Большой возвращал зачетные книжки студентам, не знавшим билета, предлагая прийти в другой раз. Тогда же Пикулан потребовал «разоблачить и призвать к порядку» профессора Эндзелина. И тут профессор, приложив к губам ладонь, но все же довольно громко, обратился к Большому примерно с такими словами: вы не могли бы мне объяснить, чего добивается этот юноша? Если человек во что бы то ни стало желает остаться олухом, чем я могу ему помочь?

В спешке покидая квартиру Зелмы, я, разумеется, не выработал дальнейшего плана действий. Просто дал волю ногам. Позднее я пытался свои действия объяс-

нить кратковременным заскоком, душевным смятением. Было совершенно очевидно, что наши отношения с Зелмой не могут продолжаться в том же духе. Но тогда в каком? И как я теперь должен к ней относиться? В голове был сумбур. Я не мог убедить себя в том, что слово «любовь» в данном случае подходит точно. А если я не любил Зелму или, скажем, любил не в достаточной мере, тогда положение еще более осложнялось. Нет, мне требовалось время, чтобы опомниться, прийти в себя. Хотя бы удостовериться, причастны ли моя воля и сознание к происшедшему. Можно сказать и так: пришлось воспользоваться аварийными тормозами.

Пока дошагал до Воздушного моста, стрессовые страсти в моей вегетативной системе несколько улеглись. Поеживаясь и позевывая, стал прикидывать в уме различные варианты. Моя удобная постель в персональной комнате представлялась столь же желанной, сколь недостижимой. Попасть в Вецаки раньше, чем с первой электричкой, не было никаких надежд. Между приятным видением и мною в пустынном ослепительном однообразии простиралось время, которое предстояло убить, шатаясь по улицам или поклевывая носом на вокзале.

Разумеется, можно было пойти к Большому, в его доме я всегда был желанным гостем. Опасаться, что потревожу сон, не было оснований. «Оставшееся время» Большой давно уж не делил на такие традиционные шаблоны, как ночь и день, темно и светло. Он жил, по его собственным словам, в согласии со своими интересами, вдохновением и самочувствием. Возможно, в этом была одна из причин, почему я с некоторых пор не испытывал особого желания ночевать у Большого. Его распорядок жизни слишком отличался от моего.

На сей раз, однако, ничего другого не оставалось как воспользоваться резиденцией в парке Зиедоньдарз. Поскольку в окнах не было света, я настроился на долгие звонки. Но Большой довольно скоро отворил дверь. По распаренному лицу и мокрым волосам я заключил, что он только что из ванны.

К радости Большого, я принялся перетряхивать свои скудные запасы латыни. Тут мои познания не слишком прогрессировали.

— *Feci, quod potui, feciant meliora potentes*¹.

¹ Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

— Только не «feciant», а «faciant». Fecit значит «сделал», как некогда писали на картинах вслед за подписью художника. Michelangelo fecit.

— Хорошо.

— Шесть слов. Маловато.

— In extremis. In brevi¹.

— Это ты знал и раньше.

— Tutti frutti².

— Это каждый дурак знает. К тому же это не латынь. Ну, Свелис (так он звал меня с детства), проходи. Четыре слова за тобой.

— Договорились.

— Я знал, что ты придешь. Вчера с утра тебя вспоминал. И позавчера вечером. Ну просто замечательно! Бери мешок и отправляйся в подвал за дровами. А то мои запасы истощились.

— Завтра принесу.

— Нет, нет. Раз надо, значит, надо. Откладывать нет смысла. Думаешь, завтра тебе больше захочется, чем сейчас? Ничуть. Так что бери мешок и отправляйся в подвал. К тому же завтра можно и забыть. И тогда мне самому придется нести.

Держу пари: он посылал меня в подвал лишь потому, что знал, как мне не хочется туда идти. Если бы мне удалось изобразить на лице несказанную радость, не исключено, он мог и передумать: ладно, успеется, ночь на дворе. Но вид у меня был кислый, и он настоял на своем. Он знал о моей нелюбви к подвалу. Еще с детских лет. Перед каждым походом туда приходилось напрягать волю, преодолевая безотчетный страх и неприязнь. Я и сам стыдился своей слабости.

Взял мешок, фонарь, кургузый медный ключ и потопал вниз. Что заставляло внутри все сжиматься в пугливой настороженности? Чувство одиночества, отрезанности, эффект сурдокамеры, к которой приучают космонавтов. Тишина, вне всяких сомнений, играла свою роль. Почти во всех случаях, что память удержала вперемешку со страхами, я напряженно вслушивался, словно избавления ожидая хоть какого-нибудь звука. В ночной тишине иногда просыпаюсь в испуге. И опять засыпаю, ибо страхи эти беспричинны. Одиночество вполне может стать поводом для необоснованных страхов. И это всег-

¹ В последний момент. Вкратце (лат.).

² Всякая всячина (итал.).

да чревато ошибками. Как в наши дни, так и в далеком прошлом. А Большой — он-то слышал сигналы тревоги? Ведь он почти всегда один. В одиночестве просыпался, в одиночестве ложился. В одиночестве капал на кусок сахара корвалол. Его жизнь проходила как в подвале. А может, со временем инстинкты слабеют? Ни разу, ни единым словом Большой не дал понять, что хотел бы жить с нами в Вещаки. Напротив, в его речах нередко звучала гордость: слава богу, я пока в своем доме хозяин.

Потянуло знакомым подвальным запашком. Год-другой назад дверь взломали, после чего ее перестали запирать. В глубине светила единственная лампочка. Зажег фонарик и, нащупывая подошвами выщербленные ступени, осторожно двинулся вперед. Во тьме зеленели глаза потревоженных кошек. Но то ли нервы были слишком взвинчены, то ли сонливость притупляла чувства, привычных волнений не ощутил. Уже на лестничной площадке, с мешком, полным дров, я вспомнил, что забыл погасить лампочку. Пришлось еще раз спуститься.

Большой поджидал меня с таким торжественным видом, будто я был премьером соседнего государства, прибывшим к нему с визитом. Он надел сорочку, повязал галстук и облачился в пиджак. Правда, так и оставшись в полосатых пижамных штанах.

— Вот видишь, — сказал он, — теперь у тебя совсем другое настроение. Хорошее настроение никто не поднесет на блюдечке, о нем следует самому позаботиться. Неприятное уступает место приятному. Есть хочешь?

— Нет, спасибо.

— Ничего, все же поджарю кровяную колбасу. Растущему человеку есть полагается много и часто. Организм должен иметь резервы. Сам знаешь, что бывает, когда у транзистора израсходованы батареи. Сплошной треск, и звук не тот.

Я отнес мешок в ванную, затем вошел в так называемый кабинет и повалился на обтянутый кожей диван. Милый «бегемот», мое привычное ложе! С тех пор как Большой увлекся реставрацией мебели, заставленная стеллажами комната больше напоминала мастерскую — повсюду разбросаны стружки, инструменты. На часах было десять минут четвертого. Блестящий маятник за стеклянной дверцей мерно покачивался, выстукивая одно и то же: спать-спать-спать. Я си-

дел на диване, вытянув ноги, совсем как космонавт. После полета в состоянии невесомости я вернулся на Землю, и всей тяжестью на меня навалилось земное притяжение. Моя ладонь вновь ощутила тело Зелмы. Какой я дурень! Как мало я знаю Зелму. Она открылась мне заново.

— Эй, Свелис, ты куда сбежал? Поди сюда! — позвал Большой. — Ставь чашки. Доставай из шкафчика сахар. Колбаса стынет.

Я подумал: пусть он говорит, пусть зовет. Не сдвинулся с места. Я уже сплю. Прилип к бегемотовой коже, как медицинская банка к спине, как переводная картинка. Но Большой не унимался. Собрав последние силы, заставил себя подняться и поплелся на кухню.

— Вот видишь, — сказал Большой, — сейчас поешь, напьешься чаю, и силы вернутся. Нельзя распускаться.

— Спасибо, не хочется.

— Ну, раз не хочется, значит, не хочется. Сам управлюсь. А ты посиди, расскажи, что нового. Чем занимаешься. Что тебя сейчас интересует.

Я смотрел на него и молчал. Смотрел такими глазами, что казалось, они вопят об отсутствии во мне всяких интересов.

— Меня интересует человек как машина. Хотя аспект, конечно, не нов.

— Вот именно! Машинка, прямо скажем, внушительная. Особенно если учесть продукты ее производства: кровь, лимфу, их не способна синтезировать ни одна лаборатория. Потом еще ногти, кости, кожу — по своим качествам невоспроизводимые материалы. А электрические токи: биотоки, статические...

— Мозг человека — отменнейшая ЭВМ. Зрение — цветное телевидение. — Я машинально ронял фразы профессора Крониса.

— И ты бы хотел узнать, кто это все породил и поставил на земле, наподобие изваяний «Аку-аку» на острове Пасхи?

— Нет. Меня интересует ремонтно-восстановительная потенция «машины». Пока ничего не знали о телевидении, реконструкция зрения была невозможна, а теперь...

— А-а-а! — Большой задержал на весу кусок колбасы. — Стало быть, теперь возможна?

— С развитием телевидения...

— ...мы лучше узнаем природу?

— Безусловно.

— А попутно, может, и узнаем, что такое природа?

— Узнаем, на что способна природа. Человек, не разбирающийся в вычислительных машинах, не представляет себе, насколько сложный агрегат мозг человеческий.

— А может, имеет смысл вначале уяснить, что есть природа?

— Это вопрос теоретический.

— Знай мы, что такое природа, было бы легче понять, что есть человек, не правда ли?

— Разве это так важно?

— Может статься, что важно! Меня еще в Петербурге учили, что человек — венец природы. А вдруг человек — всего-навсего изъясн природы? Сбежавший из-под надзора опасный больной? Маньяк, подпиливающий сук, на котором сидит?

Ничего нового в том не было. Его взгляды относительно ошибочной ориентации науки я знал в различных вариациях. По мнению Большого, и легенду об Адаме и Еве тысячелетиями толковали превратно — будто бог наказал их за то, что занимались любовью. (Я тоже теперь занимался любовью!) На самом деле Адам и Ева были выдворены из рая за научные эксперименты.

А дальше следовала космическая гипотеза Большого: Земля — испытательный полигон, где перед масштабным расселением жизни в Космосе различные модели человека проверяются в различных условиях. В рамках исследовательской программы к людям в людском обличье и подобии засылают провокаторов-мессий: Иисуса, Магомета, Эйнштейна, Кюри, Пикассо, Флеминга. Меня особенно беспокоил тот факт, что в список смутьянов и провокаторов Большой зачислял также Эйнштейна. Нет, с этим не могу согласиться, возражал я. Теория Эйнштейна прекрасна. Мне очень по душе, к примеру, мысль о том, что вместе со скоростью меняется и время.

— Тебе не кажется, что Эйнштейн, как и Магомет, сулит людям рай «по ту сторону горизонта»?

— А Пикассо?

— Чистейшей воды провокатор. После него уж никто не сможет определить, где кончается в искусстве серьезное и начинается шутовство.

— Тебе нравится суп с клецками, а маму от него воротит.

— Именно так, Свелис, тут мы подходим к традициям. В основе традиции отсеянный опыт.

— И у моих молочных зубов имелся немалый опыт, но вышел срок, и они повыпадали.

— Вот видишь — когда срок вышел! — убежденно рассмеялся Большой.

В таком духе мы могли с ним спорить часами. На сей раз, однако, у меня не было охоты. Я слышал, как за стеной ритмично покачивался маятник часов, твердя одно и то же: спать-спать-спать.

И челюсти у Большого двигались ритмично. Под густыми, изжелта-седоватыми клоками бровей, беспокойно поблескивая, бегали скорее лукавые, чем любознательные глаза. После каждого проглоченного куса морщинистая, пористая кожа с преувеличенным удовольствием подрагивала, морщины на лбу разглаживались, по шее прокатывался кадык, и щеки опадали. За всем этим четко проглядывал череп. С годами он все больше проступал, яснее обозначался. Возможно, и тяжелее становился, потому что шея укорачивалась, и голова уходила в плечи.

— Кто, по-твоему, больше влияет на общество, ученые или политики? — не унимался он.

— Шекспир считал, что дураки. Один дурак способен задать столько вопросов, что сотня умных не сумеет на них ответить.

— То время давно позади. С тех пор, как низринулась лавина всяческих житейских благ, предоставляемых эрой развитой техники, никто никому не задает никаких вопросов. Но попомни мое слово, отвечать придется всем. Всем!

Эти разговоры чем-то были похожи на противоборство, силовую борьбу. Подобно тренеру на ринге, Большой безжалостно гонял мои мысли, нападал и отступал, отвечал на удары и сам их принимал. Его доводы будоражили ум, независимо от того, соглашался я с ними или отвергал. Мне это было по душе. И Большой об этом знал и был доволен, хотя обычно вел себя так, будто находился в полном неведении относительно моей осведомленности. Но тогда я был не в форме. Ронял слова равнодушно, небрежно, как рассеянный прохожий, задевающий свисающие с крыши сосульки.

— Если верить историкам, конца света ожидали уже не раз. Например, на исходе первого тысячелетия. Но вместо светопреставления наступил Ренессанс. Зачем же худший вариант принимать за единственный?

В самом деле таково было мое убеждение. Несмотря на жуткую усталость и сонливость, настроение у меня было отличное. Ни о чем другом в тот момент не хотелось думать. Но это не имело ничего общего с пессимизмом. Пожалуй, напротив. Затаившееся завтра тешило приятными соблазнами. Впасть в безнадежность я был попросту неспособен. Будущее держал про запас. Я его попридержал подобно тому, как оставляют напоследок лакомый кусок.

— Предлагаю заседание перенести на утро. Или на любой другой день. По твоему усмотрению. А вообще мне по душе, что жить — значит немного рисковать. Честное слово!

Большой окинул меня изучающим взглядом, однако ничего не сказал. С удовольствием съел еще два куска кровяной колбасы, большой ломоть черного хлеба с брусничным вареньем. Выпил два стакана чая. И этого ему показалось мало. Захотелось килек, он попросил меня открыть банку. Под конец решил выпить третий стакан чая, но поскольку чайник оказался пуст, пришлось вскипятить воду.

Затем он пожелал узнать, как поживает Зелма, нравится ли она мне и чем занимаются ее родители. Поинтересовался, остановил бы я на Зелме свой выбор, если бы мне поручили создать рабочую группу. Потом попросил назвать наихудшую черту характера Зелмы и в порядке возрастания положительных качеств составить сборную мира из десяти наиболее выдающихся женщин.

Примерно через час мы вымыли посуду. Я был уверен, теперь-то он отправится на боковую и меня отпустит на мягкую спину «бегемота». Но Большой взглянул на часы и сказал:

— Вот видишь, уже утро. Ты дождался электрички, езжай теперь домой. Или ступай на лекции. Хуже нет, когда даешь себе поблажку. Ночью каждый волен заниматься тем, что ему по душе. Но утром всякий порядочный человек обязан приниматься за работу. Vale¹.

¹ Будь здоров (лат.).

В моем возрасте, чтобы много увидеть, нет нужды
исколесить полсвета.

★

— Как поживаешь?

— Прекрасно. Но я тут ни при чем.

★

Запомни, Свелис, блоха кусает языком.

★

Не настолько я богат, чтобы считать прожитые годы,
считаю прожитые дни.

★

Плутуя, надо быть предельно честным.

★

Умный человек, большой ученый, но дурак.

★

Я водку не пью. И разве я от этого страдаю?

★

В мягком кресле и мысли размягчаются.

★

Человек давно бы вернулся в райские кущи, будь
сильные более честными, а умные более смелыми.

★

Не смешивай понятий! Бабка не одно и то же,
что повивальная бабка. Уменье не одно и то же, что
искусство.

★

Что толку — делать много? Делай то, что следует делать.

★

К тем, кого я уважаю, у меня повышенные требования.

★

Ни культурная, ни научно-техническая революция человека не сделали лучше. Если сейчас и требуется какая-то революция, так это морально-этическая. Однако мне ее, как видно, не дожидаться.

★

Каждый о себе мнит, что он хороший. А другие плохи. И вор, и грабитель, и убийца считают себя хорошими — плох одинокий прохожий, который посреди пустынной улицы кричит «караул!». Плох покупатель в магазине, который приглядывает за своим карманом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поначалу я просто пожал плечами — ничего себе шуточки. Адресованное мне письмо беззастенчиво интриговало своей таинственностью:

«Гражданин Заринь, Калвис Янович.

Вам предлагается явиться на медицинское обследование по адресу: ул. Анри Барбюса, 2 (номер комнаты такой-то) к доктору Гасцевичу (число и время), имея при себе эту повестку. В случае неявки дело будет передано органам милиции».

К учреждению на улице Анри Барбюса, 2, я при всем желании не мог иметь никакого касательства (на страже моего здоровья стояла студенческая поликлиника по улице Упита, 11), посему я допустил одну из наиболее распространенных логических ошибок: решил, что это ко мне не имеет ни малейшего отношения. Нечаянное совпадение. Мало ли на свете всяких курьезов. Возможно, кто-то решил похохмить. В любом случае я не видел оснований для беспокойства, недоразуме-

ние — и только. С таким же успехом меня могли пригласить на конклав для избрания папы или для участия в трансатлантической регате.

Матери повестку показал лишь потому, что счел ее достаточно забавной. Мать, прочитав заполненный от руки бланк, сняла очки и вперилась в меня взглядом, одновременно тревожным и робким. Когда она волнуется, зрачки у нее расширяются, и в них все читаешь как по книге. На сей раз в них было написано, что мать меня любит и что она боится за меня. И еще — что мне угрожает опасность, что она в растерянности и не знает, как приступить к разговору. Хотя у нас с матерью взаимопонимание полное, однако до сих пор мы строго держались принципа: не подрывать взаимного доверия легковесной нежностью или пустопорожней откровенностью.

— Я надеюсь, тебе известно, что это за учреждение, — наконец проговорила она.

— В том-то весь фурор.

— Почему же тебя вызывают?

— Понятия не имею. Быть может, какой-нибудь Калвис Заринь, шеф-повар или колбасник, не прошел обязательной проверки.

— Шеф-повару или колбаснику вряд ли бы стали грозить милицией.

— Других причин не ведаю, — стараясь сохранить веселое расположение духа, продолжал я хорохориться, потому как в общем и целом был уверен: повестка адресована не мне. Я говорю «в общем и целом», ибо от несокрушимого монолита моей уверенности встревоженный взгляд матери все же отколол какие-то кусочки. До осязаемых угроз, однако, предчувствия не доросли.

— Может, это как-то связано с военкоматом?

— Не думаю. Тогда бы это шло через кафедру. И не мне одному.

Этого я мог ей не говорить. Но именно так я подумал. И хотя видел, что слова мои в ней отозвались, подобно шквальному ветру, рвущему зонтик из рук, сознание, что я ничего не скрываю, доставило мне смутное удовлетворение.

— Тогда дело плохо.

— Почему? Чего ты боишься?

Мать отвела глаза и отвернулась. Всего на миг, чтобы взять себя в руки. В этом мы с нею похожи. Затем

зеркала ее глаз придвинулись ко мне, словно синий борт лимузина.

— Скажи мне честно... Ты имел дело с женщинами?

Она покраснела первая. Вопрос элементарный, а сколько осложнений. Вдруг я совершенно отчетливо понял, что продолжать разговор не в силах. И желание быть откровенным исчезло. Рассказывать ей про Зелму показалось абсолютно неуместным. К кому угодно, а к Зелме эта повестка не имела никакого отношения. Тут я не сомневался.

Мой смех мне явно стоил усилий. Как явны усилия двигателя, когда машина выбирается из колдобины. Подметила она это? К счастью, мать сама пребывала в растерянности.

— Можешь быть абсолютно спокойна,— сказал я.

— Даешь честное слово?

— Бесповоротно и твердо.

— Не обманываешь?

— Ты же видишь: уши у меня шевелятся.

— Я спрашиваю серьезно.

— Я пользовался общественными сортирами, пил из общих стаканов в автоматах.

— Чудила ты этакий...

Мать шлепнула меня ладонью пониже пояса. И символический этот жест отразил не только ее озабоченность, но и неизменное чувство близости, связывавшее нас еще с тех пор, когда я бегал в коротких штанишках, связавшее и в тот момент, когда она со всей серьезностью спросила, имел ли я дело с женщинами. К матери вернулся обычный оптимизм. Она мне верила, и потому, вполне естественно, мои слова успокоили ее. Глаза осветились весельем. Теперь ей тоже показалось смешным, что я каким-то образом могу иметь касательство к дурной болезни.

— Как по-твоему, мне действительно следует туда пойти? — спросил я как бы между прочим.

— А как же иначе. Еще доставало, чтоб тебя с милицией привели.

Указанное в повестке время совпало с заседанием бюро комсомола, на котором мне предстояло сделать сообщение. Отпрашиваться было неудобно. Понадеялся, что выступление не затянется и я поспею вовремя. Но второстепенный пункт повестки при общей склонности к словопрениям растекался, превращаясь в разговор без берегов. Зелма, например, чуть не полчаса

проговорила о подготовке к конкурсу агитколлективов строительных отрядов: чего на сей раз достичь не удастся, но о чем следует вспомнить, когда придет время готовиться к следующему конкурсу.

Перед улицей Горького троллейбусу пришлось постоять, пропуская похоронную процессию. Я влетел в дом номер 2 по улице Анри Барбюса с опозданием в пять минут и слегка в поту. Вообще мне нравится бегать, дистанцию в пять тысяч метров считаю своим коньком. Больше всего люблю бегать у моря. И мне все равно, идет ли дождь или снег. У нас в Вецаки я многим известен под кличкой Бегун. Как-то, закончив дистанцию, возвращался обратно. Один старикашка, бизнесмен по части ракушек, машет мне рукой: собачья жизнь, скажу, у вас, милый, всю неделю бегаєте, без выходных.

В коридоре толпилась пестрая публика. Девочки будто с картинки. Они-то здесь зачем? Пришли проверить или лечатся? На «женщин легкого поведения» вроде бы не похожи. Зато вот этот дылда с пористым лицом алкаша вполне бы мог сойти за сифилитика. До чего омерзителен. И неопрятен. Видно, давно не менял исподнее.

Я остановился у дверного косяка, перевел дыхание. Боялся к чему-нибудь прикоснуться. Похоже, меня оторопь взяла от смутной, омерзительной, но, как мне казалось, вполне реальной возможности в буквальном смысле слова войти в соприкосновение с «кожными и венерическими заболеваниями». Сказать, что это был страх, навряд ли будет верно. До логических умозаключений дело не доходило. И вообще я ни о чем не думал. Предохранительные блоки включились автоматически, как если б у меня над головой треснул потолок или мне предстояло дотронуться до оголенного шнура электропроводки.

— Тут, очевидно, какое-то недоразумение,— сказал я благодушному с виду дяде в просторном для своей фигуры халате с оборванными пуговицами. Он сидел за столом, перебирая бумажки.

— Никакого недоразумения нет,— небрежно глянув на мою повестку, отозвался тот почти весело,— вы числитесь в картотеке.

— В какой, прошу прощения, картотеке?

— В картотеке отдела розысков.

Тошнота, прежде окружавшая меня как бы извне, теперь переместилась внутрь.

— Почему?

— Потому что потому кончается на «у», — мужчина от души рассмеялся своей шутке. Вполне возможно, рассмеялись мы оба.

— Навряд ли это единственная причина.

— Разумеется. У нее положительный Вассерман. Она вас запомнила, удержала, так сказать, в светлой памяти...

Ничего подобного переживать не приходилось. Внутри все трепетало, а наружу рвался смех.

— Не могли бы вы сказать, кто это «она»?

Мужчина поморщился, как будто от излишнего веселья у него разболелись зубы. Безо всякого перехода сделался сердитым.

— Сами не помните? Или ночных подружек у вас так много? Возьмите бланк. Тут сложная бухгалтерия.

Теперь и я перестал смеяться. Глядя на лежащий передо мною бланк, отчаянно ждал от своей звенящей головы какой-нибудь спасительной подсказки. Как быть? Продолжать оправдываться или на радость этому человеку придумать новый календарь?

— Благодарю, но мне писать нечего.

— Молодой человек, — мужчина снова пододвинул ко мне лист бумаги, — вы хорошенько все обдумайте. Дело-то нешуточное.

— Я понимаю.

— Ничего вы не понимаете. Полный список: имя, фамилия, отчество, если знаете, то и адрес, год рождения. Агриту Агрине запишите первой.

Рандольфова Агрита! Так вот оно что! Решенные задачи кажутся предельно простыми. А много ли недовставало, чтобы этот Маккарти поверг меня в панику. Явившееся объяснение настолько меня успокоило, что я опять ударился в дурацкую болтливость:

— Я бы охотно написал, но вас, насколько понимаю, интересуют так называемые неупорядоченные связи. Ко мне это не относится. Возможно, в половом отношении я не совсем нормален, однако женщины в данном аспекте мне безразличны.

Доктор Гасцевич, смерив меня взглядом, призадумался. Допускаю, что призадумался, потому что на его круглом лице пришли в движение по крайней мере с десятков морщин, расходившихся во все стороны от

крупного, клубнеподобного носа. О том, что происходило в его черепной коробке, я не имел ни малейшего представления. Пожалуй, он особенно и не вникал в смысл сказанного, его профессиональное чутье шло своим обычным проторенным путем. Внешний портрет доктора не исключал такой возможности. Вполне допускаю, расхожие мысли в его мозгу текли по наезженным колеям, из которых колеса при всем желании не могли выкатиться.

— Ладно, дело ваше, записывайте мужчин.

— Нет, вы меня не так поняли. И мужчины меня не интересуют... в этом аспекте.

— Послушайте, бросьте валять дурака,— сказал он,— не для того я здесь, чтобы шутки шутить.

— Я и не думал шутить.

— В таком случае, кто же вас интересует?

Я не ответил. Меня взяла злость. Больше всего обозлило, что его и без того не слишком симпатичное лицо сделалось прямо-таки липким от любопытства, вне всяких сомнений, личного характера.

— Подводные лодки,— ответил я,— и жесткие дирижабли.

Ничего другого на скорую руку не сумел придумать. Не слишком, разумеется, оригинально. В стиле Трумэна Капоте.

Возможно, доктор Гасцевич мой ответ расценил как личное оскорбление. Потому что в продолжение всей последующей беседы от него веяло холодом. Как от вентилятора или раскрытого холодильника.

— На всякий случай придется сделать Вассерман. На всякий случай. Если между дирижаблем и подводной лодкой где-то затесалась и... и...— холодный взгляд уткнулся в бумаги,— Агрида Аפרане. Так тут записано, а с бухгалтерией приходится считаться.

— С Агридой мне довелось ехать в одной машине. Один раз с ней поцеловались. Просто так, при встрече, вместо приветствия.

Он поморщился, глянул на меня искоса.

— Просто детская забава, не так ли... Вот талон в лабораторию. На втором этаже. В ваших же собственных интересах.

— Спасибо.

— Постойте. Куда разлетелись. Подпишитесь вот здесь. За преднамеренное заражение венерической болезнью у нас в стране наказывают лишением свободы

до двух лет. Говорю это вполне серьезно. Ни-ка-ких! — И, стянув брови в одну сплошную черную черту, добавил: — Ни с женщинами, ни с дирижаблями. Ясно?

Лаборантка ни в какие разговоры не пускалась. Руководствуясь узкопрофессиональной задачей поскорее получить кровь, действовала с завидной методичностью четырехтактного двигателя. Сожмите руку в кулак! Распрямите пальцы! Ответ тогда-то и во столько-то. Следующий.

Домой вернулся в отвратительном настроении. Хотя причина вызова казалась скорее комичной, нежели серьезной, однако беспокойно было на душе. Смешно сказать! И все же. Никак не выбросишь из головы. Даже в лучшем случае мерзкое учреждение придется посетить еще раз. Снова встречаться с доктором Гасцевичем. А то и принять курс профилактического лечения. Бред какой-то! Нет, к чему себя понапрасну запугивать? Все будет в порядке. Иначе быть не может. Велика важность — подождать три дня.

Но тут меня настиг еще один толчок мозготрясения. Раз допускалась возможность (пусть даже ничтожная), стало быть, существовала и вероятность, что принцип домино приведет к Зелме. С полным комплектом вытекающих последствий. Отличная перспектива, Калвис Заринь!

Впервые в жизни с неподдельным интересом прочитал все, что нашел о lues venerea в домашнем медицинском справочнике. Не скажу, что это подняло мое настроение. Бледные спирохеты, под микроскопом похожие на тонкую спираль с числом витков от двенадцати до двадцати, сулили всякие прелести, в том числе поражение внутренних органов, разрушение тканей, прогрессивный паралич мозга, в придачу еще и слепых, придурковатых детишек.

Позвонил Рандольфу. Он не матерился, только отдувался.

- Ну, в чем там дело?
- Эххххх.
- На улице Барбюса был?
- Угууу.
- Вассермана сделал?
- Эххх.
- Положительный?
- Пока нет ясности. Придется еще сделать тест

Нельсона-Райта.

— Как самочувствие?

— Первый профилактический курс десять инъекций.

— М-да...

— Rudrete саса. А ты откуда знаешь?

— Во сне приснилось.

— Уууу.

Обычно мать возвращалась с работы одной и той же электричкой. Когда была возможность, выходил ее встречать. В тот день после полудня полил сильный дождь, она же забыла взять зонтик. Впрочем, не в зонтике было дело. Просто мне не сиделось дома. Прибежал на станцию минут за двадцать до прихода электрички.

Встречающих к этому поезду собиралось немало. На машинах, на велосипедах, с собаками. Очередь пенсионеров высиживала вечерний номер «Ригас Баллс».

Нервозность для меня нетипична, я по натуре скорее фаталист. Но в тот день, пожалуй, чуточку нервничал. Откровенно говоря, мне по душе, что мать за мной приглядывает. Трепыхался же я по одной причине: что ничего не мог ей объяснить. Был просто не в состоянии.

Стрелки станционных часов ленивыми толчками двигались вперед. С привычным нетерпением все ждали электрички — как темноты в кинозале.

Мать вышла из предпоследнего вагона. Обвешанная сумками, пакетами, с прибитой дождем прической, и все же вид у нее был на редкость раскованный. Казалось, она излучает кванты бодрости, энергии, хорошего настроения.

— Чем меня порадуешь?

— Есть идея,— сказал я,— тебе надо записаться к нам на курсы танцев. Наверняка тебе понравится. Никаких сложностей, ничего такого, чего бы ты не смогла.

Потом я пространно и долго описывал ей, как Матис и Кристап в течение трех часов сегодня прятались в соседнем леске лишь потому, что возле магазина какой-то толстый старик пригрозил им, что одним ударом мизинца сделает их еще толще, чем он сам.

— А что прояснилось там?

— Там? Все в порядке.

— Что они сказали?

— Ничего особенного.

— Все же, что именно?

— Да так. Интересовались одной девицей. Спрашивали, какие у нас с ней отношения.

— И что ты ответил?

— Сказал, что довелось прокатиться в одной машине.

— И все?

— Неинтересно, правда?..

Взгляд матери, как ни странно, я выдержал, не покраснел. Все же настроение опять испортилось.

Это было в пятницу.

В субботу до лекции столкнулся в вестибюле с Зелмой. Она хотела со мной поговорить, но я прикинулся, что мне некогда, вызывают к декану. Она спросила, что я собираюсь делать после лекций, и предложила провести меня на закрытый доклад о «летающих тарелках».

— Жаль, но сегодня не получится, у меня кружок.

В общем, так оно и было. Я вел тогда математический кружок в средней школе поселка Рудциемс. Математикой там увлекались по большей части девушки. Рандольф это находил вполне «естественным». Чтобы привлечь побольше ребят, бразды правления кружком надлежало бы передать какой-нибудь смазливой студентке. Я был уверен, что разница в возрасте несколько нас не разделяет. Девицы же как будто держались иного мнения. К примеру, однажды на школьном вечере я подошел потолковать с ними о жизни, и все ученицы, как одна, поднялись и наперебой стали уступать мне место.

— А что потом намерен делать?

— Потом у меня урок английского.

— А после?

— После тренировка.

Вот это уже были враки. По субботам я никогда не появлялся на стадионе.

Как обычно, занимался два часа. Это моя ежедневная норма, при больших дозах внимание рассеивается. Погода держалась отличная. В открытое окно вливалась жара, ни дать ни взять Янов день.

Матис и Кристап галдели на весь двор — первый признак, что дорвались до свободы, но страдают от недостатка идей по части разумных развлечений. Втором мы отправились к Старой Даугаве. Даже вчетвером, поскольку Матис издал приказ о том, чтобы пса по кличке Кристалл считать персоной.

На берегу Старой Даугавы у нас возникли небольшие трения. Кристап полагал, что вода достаточно прогрелась и можно открыть купальный сезон. Мне вода показалась холодной. Матис объявил, что воздержится, а Кристаллу этот вопрос позволялось решить самому. Кристалл забрел в воду, мотнул головой и выскочил на берег.

На следующий день, в воскресенье, Кристалл бросился в воду и поплыл, так что фракция купальщиков одержала верх. С меня хватило стометровки. И на такой дистанции три пальца на левой руке онемели от холода. Кристап с Матисом плескались, покуда не начали лязгать зубами. Особенно семилетний Матис, тонкий, костлявый, как грабли. Когда он вылез из воды, можно было подумать, его обмакнули в чернила. Купание, само собой разумеется, никак не связано с тем, о чем собираюсь рассказать, однако прогулка с ребятами была не без причин — при моем тогдашнем настроении хотелось хоть чем-то отвлечься. Так вот: Матис, обхватив себя дрожащими руками, втянув белобрысую голову в плечи, исторгая немыслимые звуки, носится взад-вперед по берегу. Мокрые трусишки сползают с тощего живота. Кожа, словно рашпиль, вся в пупырышках. Кристап прыгает то на одной, то на другой ноге. Дует в ладоши, похлопывает себя по ребрам, громко икает. Надо бы переодеться, а недалеко от нас с лодки удит рыбу женщина.

— Я дддумаю, оддденемся пряммо тттут,— говорит Матис.

— Нннет. Жжженщина ууувидит,— возражает Кристап.

— Ннну и ппусть, она нннаверняка зззамужем.

— Нине ссскажи.

— Нннаверрряка. У нннезамужжжних лллодок нннет. И нннезамужжжние рыбу не удят. Им рыббба не нужжжна.

— Мммне все-тттаки сссовестно.

— Нннаверняка замммужняя. А зззамужние жжженщины ггголых мммужчин многгго ррраз видели.

С матерью мы условились, что в воскресенье вечером поедem в театр. Шла пьеса, которую она давно мечтала посмотреть. Меня же театр не слишком прельщает, но в этом отношении мать устроена иначе; спектакль дает ей пищу для душевных переживаний.

Поэтому в театр хожу главным образом ради нее. Ей нравится, что я ее сопровождаю. Я уже завязывал галстук, когда позвонила Зелма.

— Ты не мог бы приехать ко мне,— сказала она безо всяких вступлений.

— У меня почетное задание: мать в театр провожаю.

— Может, кому-нибудь отдашь свой билет?

Предложение Зелмы было столь неожиданным, что показалось абсолютно несерьезным.

— Отпадает. Я обещал и вообще...

— Понимаю. Но если возникли важные обстоятельства. Ведь могут возникнуть важные обстоятельства.

— Например, какие? — Железное упорство Зелмы ошеломило меня.

— Ну... Позвонит тебе вдруг человек и скажет: мне худо.— Зелмин голос на том конце провода дрогнул, надломился, сделался тихим и томным.— Человек один. Больше ему позвонить некому. А становится все хуже и хуже...

Мне показалось, пластмассовая трубка раскалилась. От волнения у меня обычно начинают гореть уши, не настолько, разумеется, чтобы трубку раскалить.

— Послушай, Зелма,— сказал я,— оставим эти шутки.

— Я не шучу.

Она делала паузу после каждого слова.

— Не шутишь?

— С чего бы мне шутить?

— Ты плохо себя чувствуешь? Хочешь, чтобы я приехал?

— Нет. Ступай себе в театр.

— Постой. Давай серьезно. Ты больна?

— Возможно.

— И никого нет дома?

— Ладно, кто-нибудь, может, придет.

— Выезжаю немедленно. Слышишь, я буду! Жди! Скоро буду.

— Но раз тебе не хочется, раз вы договорились... Как ты объяснишь... Как-то неловко.

— Не думай об этом. Я выезжаю!

Мать разговор слышала, кое-что поняла. Это несколько облегчило неприятное для меня объяснение.

— Мне очень жаль,— сказал я,— но Зелма плохо себя чувствует. И никого нет дома.

Я свою мать знаю и почти на сто процентов берусь предсказать, как она поступит в том или ином случае. И теперь я совершенно точно знал, что возражать она не станет. Не о том беспокоился. Причина моих сердечных мук была неуловимого свойства — то, чего я боялся, могло лишь на короткий миг отразиться в ее глазах, прозвучать в ее голосе. Конечно же, поспешая к Зелме, я наносил обиду матери. А не поехать не мог.

— Быть может, и мой совет пригодится, сам ты мало что в таких вещах смыслишь. — Это были первые слова из уст матери.

Я молча покачал головой.

— У нее температура?

— Ты отправляйся в театр. После спектакля встречу.

— У нее что-то болит?

— Сказала только, что ей худо.

— Если не станет лучше, вызывай «скорую».

— Да, да.

— Позвони по 03. Врач подскажет, что предпринять.

Она во что бы то ни стало пыталась всучить мне банку варенья из черной смородины, которую я все же не взял, и кое-какие лекарства, которые я в конце концов был вынужден пересыпать в карман. О театре уже не было речи. Пока шли на станцию и потом в электричке говорили главным образом о Зелме. Точнее, молчали о Зелме. Ибо большая часть того, о чем думали, осталась невысказанной. И ею, и мной. Поездка эта мне запомнилась. Как и то, как мы расстались в тоннеле вокзала. Мать собиралась что-то еще сказать, посоветовать, я же бросился от нее со всех ног, со словами «знаю, знаю» или что-то в этом роде.

Позвонил у двери Зелмы. Смутные догадки, все время гнавшие по пятам, наконец настигли меня и, подобно некой туманности, поглотили всего с головы до ног. Мускулы обмякли, коленки подкашивались. Возбуждение рисовало Зелму бледной, корчившейся от боли, с растрепанными волосами, бескровными губами. И что хуже: с лихорадочным румянцем на щеках и стеклянным блеском в глазах. Прошло немало времени, а дверь не открывалась, промелькнула куда более страшная догадка — быть может, она потеряла сознание, лежит посреди комнаты, распростершись на полу или поперек постели...

Зелма появилась в своем наилучшем виде, улыбочивая, свежая.

— Ты давно здесь? — удивилась. — У меня включен проигрыватель, в комнате не слышно звонка.

— Я просто подождал, пока ты поправишься. Для этого тебе потребовалось совсем немного времени.

Удивление мое было слишком велико, Зелма не могла этого не заметить. Сказать, что я ничего не понял, навряд ли будет верно. Я сразу сообразил, что меня одурачили, обманули, вокруг пальца обвели. Потому и пытался держаться как можно беспечней, не раздражаясь, не давая волю обиженному самолюбию. В конце концов, ситуация могла быть еще глупей. Например, если б я сейчас стоял с банкой варенья в руках.

— Ты в самом деле решил, что я заболела?

— И в мыслях не было. Просто я решил проверить, с какими интервалами по воскресеньям ходят троллейбусы.

— Тебе очень хотелось пойти в театр?

— Я бы там заснул от скуки и во время представления грохнулся об пол.

Нагнувшись, попытался стряхнуть налипшую грязь с отворотов брюк.

Зелма молча наблюдала за мной, а когда я выпрямился, взяла меня за руку и посмотрела в глаза таким взглядом, что я ощутил, как вокруг опять сгустилась туманность.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала она с расстановкой и как-то очень серьезно. — Мне хотелось, чтобы ты приехал. Мне было грустно. А грусти я не выношу.

Она рассказала, как однажды в детстве осталась дома одна. За окнами лил дождь, облетали листья. Она расхаживала по комнатам, прислушивалась к перезвону капель на подоконниках, потом уселась у окна, напротив калитки. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь пришел, однако никто не приходил. И тогда ей стало так страшно, словно она была в каюте тонущего корабля. Она совершенно отчетливо ощущала, как грусть плескалась о ножки стола и стула, о ее ноги, как грусть прибывает, вот уж поднялась до шеи, до подбородка. Только сердце в тишине постукивало. Каждым ударом напоминая о том, что она одна. Во всем мире одна. Среди дождя и листопада.

— Я даже не заплакала, — рассказывала Зелма, — просто сидела, сжавшись в комочек, и таяла. Мне каза-

лось, еще немного — и от меня ничего уже не останется. Болезнь в сравнении с грустью суший пустяк.

— И теперь было то же самое?

— Почти.

— В дождливый день можно загрустить, это я понимаю. Но при такой-то солнечной погоде, как сейчас...

— Как раз наоборот. Тебе никогда не приходилось бывать в лесу летним солнечным днем? В полуденной тишине? Когда черти колобродят.

— Ты веришь в черта?

— Безусловно. Того, который живет в нас. Стоит ему появиться, меня прямо жуть берет. Ну, не сердись. Мне захотелось тебе позвонить.

Я как-то глупо развел руками, но Зелма, похоже, мой жест истолковала превратно.

— Постой,— сказала она,— на этот раз давай без нежностей. Не то настроение. Пойдем посидим у окна!

Как под гипнозом, влекомый незримым воздушным потоком, я последовал за ней. В саду цвела вишня. Белые лепестки, как конфетти, сыпались на зеленую траву.

Я беспокойно поерзал.

— Не надо,— сказала Зелма,— просто посидим. Пока грусть не выветрится. Пока не забудется. Полюбуйся, какая красота! Каждый порыв ветра что-то уносит. Что-то улетает, убегает, исчезает. И в этом, должно быть, есть какой-то смысл. Познавая себя, человек не остается тем же, каким был. Мы плывем безостановочно. Быть может, не вперед, а вверх. Или вниз. Но плывем. Летим. Осыпаемся...

Меня охватило странное томление. Подбородком прижавшись к ее плечу, сидел неподвижный, усталый, счастливый.

Как хорошо, что Зелма позвонила.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На первом этаже универмага пестрый питон людской очереди проворно опустошал ящики с только что поступившей в продажу колбасой. Как обычно, когда приходится ждать, я занимался какими-то вычислениями, лишь бренной своей плотью пребывая в шумливой взбудораженной толпе. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оглянулся — он.

— Ну, привет! Вот здорово! Так и знал, что встретимся. По дороге столкнулся с человеком, очень на тебя похожим. А это, считай, закон — увидел двойника, встретишь и подлинник.

Странно было видеть у него в руке сетку с курицей, бутылкой молока и прочими продуктами. Но Янис Заринь в самом деле вид имел радостный. Его крупное лицо с живыми беспокойными глазами постоянно излучало повышенную активность и вместе с тем подкупающую застенчивость. Щеки были гладко выбриты, спрыснуты одеколоном, но мне показалось, что он относится к тому типу людей, которые дня три подряд могут ходить небритыми. Серийный костюм, изрядно поношенный, ничем особенно не выделялся; если поначалу и производил впечатление известного шика, то достигалось это броским галстуком и платочком в нагрудном кармане. Профессиональная принадлежность, таким образом, проявлялась в том, что ниже пояса внешняя элегантность сходилась на нет. Неутюженные брюки явно коротковаты, отчего потешно открывались щиколотки. Стоптанные башмаки на микропорке попросту жалки.

— Становиться в конец не имеет смысла,— сказал он,— пристроюсь перед тобой.

— Я тут одному занял очередь, да что-то он не показывается.

Широко раскрыв и без того большие глаза, он свободной рукой взял меня за лацкан.

— Ну? Как дела?

— Хорошо.

— Что нового?

— Ничего особенного.

— Э-эх, дружок,— усмехнулся он,— мир по своей сути тот же универмаг. Непрерывно что-то ремонтируют, улучшают, но все привести в порядок надежды нет. Остается утешать себя мыслью «на наш век хватит». А противоречия необходимы. Противоречия — источник всякого развития. Об этом основном положении диалектики нередко забывают. И чтобы разобраться в том или ином человеке, надо найти в нем главное противоречие. Тебя интересует мой конфликт? Изволь. Всегда стараюсь быть хорошим. А на проверку выходит, что я плохой. Сам не пойму, в чем тут дело. В институте был у нас доцент, он так говорил: желаете выяснить, к чему вы по-настоящему стремитесь в жизни? Напишите о себе некролог.

С Зариным было совершенно немыслимо оказаться в ситуации, которую именуют «неловким молчанием». В любой момент у него имелся по крайней мере десяток тем, на которые можно было поболтать, побеседовать, профилософствовать или пошутить, втянув в разговор и собеседника. Амплитуда разговора была столь обширна, что при желании позволяла подключиться на любом уровне, начиная с поверхностного трепки приличия ради и кончая душевным стриптизом, когда раскрываешься нараспашку.

К Янису Зариню меня влекло прежде всего сознание, что он мой отец. То, что меня интересовало в нем, что я в нем открывал с каждым новым туром знакомства (или надеялся открыть), относилось в равной мере к нему и ко мне. Невозможно было отмахнуться от мысли, что этот человек, в общем, остававшийся для меня загадкой, чем-то прояснил и мою генетическую модель, а может, и мои способности, их предел, наиболее выпуклые черты характера, его плюсы и минусы. Все, что еще до рождения отложилось у меня в крови и что до поры до времени скрывали мои юные годы. Так ли чужда мне была эта манера говорить смачно, взаллеб, как в спелый плод, вгрызаясь в каждое слово? А привычка при ходьбе слегка переваливаться? Во всяком случае, при встрече с ним меня неизбежно охватывало чувство, что он действительно мой отец.

На третий или четвертый месяц нашего знакомства он мне позвонил на факультет и спросил, не смогу ли я помочь ему перевезти домой тахту. Я не на шутку разволновался, решив, что сразу окажусь среди его семьи, встречу со своими сводными братьями и сестрами. Он же, как выяснилось, снимал комнату у трех персональных пенсионерок. Все его вещи помещались в двух чемоданах. На просторном резном письменном столе лежала стопка книг (Апдайк, Распутин, Фицджеральд, какие-то альманахи). Еще транзистор давнишней модели, шахматная доска, початая бутылка коньяка, коробка кубинских сигар, квартет шмулановских чертей, разноцветные фломастеры, теннисная ракетка, потускневший эспандер и ярко-желтый мохеровый шарф. Поодаль, ближе к окну, в простенькой окантовке под стеклом отсвечивала увеличенная фотография: среди группы рабфаковцев усатый грузин в блестящих сапогах. Сначала я принял его за Сталина, но, пожалуй, это был Орджоникидзе.

— Как видишь, здесь я живу,— в своей обычной активной манере прокомментировал мои наблюдения Янис Заринь.— Не сказать, чтоб так уж прямо, как при коммунизме, но вполне приемлемый вариант. Главное, они стирают мне белье и шесть раз в неделю кормят завтраком и ужином. В холостяцкой жизни это крайне важно.

— Почему же не все семь дней?

— Ха. Когда и мы с тобой станем персональными пенсионерами, у нас тоже будут свои фокусы.

В одном Янис Заринь был похож на Зелму — без малейшего стеснения мог обсуждать интимнейшие вещи. В тех случаях, когда это касалось матери, его откровенность вызвала во мне противоречивые чувства. Речи Зариня, вне всяких сомнений, отдавали кощунством, мне становилось от них не по себе. Однако его выводы, оценки открывали для меня дотоле неизвестную точку зрения, а это, что ни говори, интриговало.

— Не удивляюсь, что ты здоров, отменно развит,— однажды, к примеру, сказал он.— Юлия строго следила за тем, чтобы зачать тебя по всем правилам. Она о тебе думала еще тогда, когда мы только целовались.

В златые дни своей любви они вдвоем отправились на какую-то деревенскую свадьбу. Ночь провели на сеновале. Но Юлия все испортила, сказав: ты принял слишком много алкоголя, не хочу, чтобы это было в пьяном состоянии...

Возможно, мне следовало возразить, оборвать разговор, но я, как обычно, отмалчивался. А он говорил себе, с улыбочкой, не спеша нанизывая слова, удобно развалясь в мягком кресле, закинув ногу на ногу, так что задравшиеся штанины обнажили икры.

— Нет ничего более ошибочного, чем рисовать супружество как некую гармонию. Хотя бы потому, что двух одинаковых людей не найти в целом свете. В природе царит иной закон — сильный подчиняет слабого. Борьба за свободу, мой милый, ведется не только между классами, народами и государствами. Борьба за свободу идет и в супружестве. Ибо свобода — это форма энергии. Любой заряд свободы противится подчинению. Таким, каким был, я Юлию не устраивал. Я нужен был ей таким, каким она меня задумала. Держу пари, она и тебя перекраивает в лучшего, чем ты есть на самом деле, подталкивает вверх, подгоняет вперед. Ты для нее идеальный объект любви. Комок глины в ее любящих руках.

Секрет вашего чудесного созвучия кроется в том, что ты пока полностью подчинен ее воле.

— Нисколько я не подчинен.

— Это тебе только кажется.

— Мать говорит, что я строптив. В детстве, например, отказывался есть гречневую кашу.

— Об этом мне судить трудно. Мы расстались еще до того, как ты на свет появился.

В октябре у Яниса Зариня день рождения. Было воскресенье, и я с утра поехал к нему, чтобы поздравить. В потемках коридора долго вытирал грязные ноги. Раскрыл промокший зонтик, чтобы немного просох.

— Чего это тебя в такую рань принесло? — удивился он.

— Думал, позже у вас будут гости.

— Гости! Какие гости...

Произнес он это с таким удивлением, что мне даже сделалось его жаль. Похоже, он был человеком тотально одиноким. Дружен со всеми, но без друзей.

Как-то он позвонил (опять на факультет) и сказал, что ему требуется срочно поговорить со мной по одному важному вопросу. Не смог бы я зайти, если его персона все еще способна привлечь мое внимание. Он, конечно, понимает, каждый занят самим собой, поскольку двадцатый век — век концентрированного индивидуализма. И так далее, в таком духе.

Дверь открыла одна из хозяек — все они были крупные, видные, с косами вокруг головы, старухи и в то же время вроде бы девочки. Я различал их с трудом. По меланхоличному, уклончивому взгляду понял: у них тут что-то произошло, чем она, однако, нимало не удивлена. Да, она была чем-то взволнована, но больше все-таки раздосадована.

Янис Заринь лежал на диване, и вид у него был плачевный: помятый, небритый, губы бескровные.

— Попал в переплет, — сказал он. — Жуткий переплет! Должна пойти передача, а я, как видишь, возлежу, словно господь бог, после трудов праведных.

Я попытался его уверить, что не так уж он плох. Но Заринь только pokrивился и сказал, что на этот раз ему крышка. Нужно было съездить в Рундале, а он не поехал, надеялся, позже успеет. Начальству сказал, что в Рундале был и репортаж записан. А теперь нет сил подняться, словом, дело дрянь.

Он хотел, чтобы я съездил в Рундале и привез ему записанную на пленку беседу с директором музея Ланцманисом. Об экономических проблемах реставрации.

Хотя уже близилась сессия и время шло со знаком минус, предложение мне показалось заманчивым. К тому же Янис Заринь впервые обращался ко мне со столь серьезной просьбой. Он болен, несчастен. Разумеется, во всем этом имелась известная доля мошенничества, но ведь оттого, что я привезу записанный на пленку разговор, хуже никому не станет. А посему я взял репортерский чемоданчик и сказал, что завтра же постараюсь дело уладить.

Я почему-то был уверен, что Зелма тотчас согласится поехать со мной. Однако она не смогла. Заседание комитета комсомола. Кроме того, ей обещали достать приглашение на киностудию — Бренч показывал журналистам свой новый фильм. Зелма толком и не поняла, куда ее зову и что за «экономические проблемы». О том, что происходит в Рундальском дворце, она имела весьма смутное представление — на уровне газетных публикаций. Это вполне естественно, и мои представления были столь же туманными. Тогда мне казалось, что в Рундале речь пойдет в основном о нехватке специалистов, о нерадивых подрядчиках, занесенных снегом горах кирпича и разбросанных где попало мешках с цементом.

В таком заблуждении я оставался до того момента, пока в тронном зале дворца не встретил директора Ланцманиса. Еще полчаса мне потребовалось, чтобы понять, что в Рундале ничего не строят и не возводят. По крайней мере, в обычном смысле слова. Огромная барочная постройка со своими плавными, прерывистыми, сдвоенными линиями, диссонансом пропорций, изгибами и завитками, выпуклостями и контрастами, совсем как живое существо, лежала, увязнув в трясине времени. Горстка энтузиастов пыталась вызволить ее оттуда и водворить на зеленую лужайку. Вернуть миру то, что кануло в Лету, что давным-давно перестало существовать, что требовалось отколдовать у пожаров и прохудившихся крыш, у залов, некогда служивших конюшнями и складами. Вернуть примерно так, как с помощью прокручиваемой обратно киноленты возвращают на берег прыгнувшего в реку пловца, а увядший цветок — к поре цветения.

Ланцманис был замечателен своей деловитой возторженностью. За время нашей беседы он не проронил

ни одного высокопарного слова. Только рассказывал, как удалось восстановить первоначальный вид парадной лестницы, как был раскрыт рецепт изготовления красок для изразцов печей и найдены рисунки гипсовой лепнины Большого зала и как отыскиались «прототипы» художественнойковки. Затруднения возникли и с мебелью. Прежняя обстановка в смутах столетий была разворована и растаскана по разным углам, разошлась по аукционам и погибла в пожарах. Розыски письменного стола Бирона привели в кабинет Клемансо, а оттуда дальше к частному коллекционеру из Женевы. Зато к моменту организации музея на нижнем этаже дворца уже была собрана мебель из старых курляндских поместий. Кое-что прислали из Эрмитажа. Рядом с креслами и столами лежали сотканые по заказу рулоны обоев и картины, похожие на те, что когда-то украшали картинную галерею дворца. Между прочим, в помещении галереи сюрприз следовал за сюрпризом: под верхним слоем краски открылось несколько более древних слоев настенной живописи, а это означало, что «картинная галерея» отнюдь не картинная галерея. И приходилось снимать слой за слоем. С потолочными росписями все было наоборот, они отслаивались от основания, и каждый квадратный сантиметр приходилось приклеивать, впрыскивая внутрь связующий состав.

Но более всего потряс меня шкаф. Широкий, массивный, дубовый. Возможно, Биронам не принадлежавший, но герцогские времена он помнил, это уж точно. В шкафу висели серебром и золотом расшитые камзолы, цветастые жилеты, парчовые платья. Тщательно вычищенные, отреставрированные. Будто они не пролежали несколько столетий в цинковых гробах, прикрывая бранные останки герцогов и герцогинь. Будто время повернулось вспять. Страница из новелл Эдгара По. Теория относительности Эйнштейна в действии.

Когда беседовал с Ланцманисом, у меня было такое ощущение, что я беседую со Шлиманом Трой или Картером Тутанхамона. Не так уж много людей, живущих в одно и то же время в настоящем, прошедшем и будущем.

Ночевал я во дворце. Проснулся в темноте от стука собственных зубов. Тускло светилось усыпанное звездами окно. Не знаю, в самом ли деле была в том нужда или это только моя фантазия — но из спального мешка

пришлось вылезти. Посвечивая фонариком, выбрался в коридор. Вокруг искрящегося лучика сгущалась тьма. Ниши и своды отбрасывали подвижные тени. Если в Рундальском замке и водились привидения, то уж не шастали, завернувшись в простыни, а расхаживали в своих затейливых одеяниях. И вдруг где-то в отдаленье разразились боем часы. За ними другие. И еще одни. Поверьте, в определенных обстоятельствах это сильно действует. Я не упал, должно быть, только потому, что держался за дверную ручку.

Домой возвращался в комфортабельном автобусе. За Бауской заметил, что следом за нами, истошно сигналив, мчится мотоцикл. На пружинящем заднем сиденье покачивалась девушка, и в этом ничего необычного не было. Станным было то, что отчаянный ездок оказался человеком в летах. Гонка продолжалась до ближайшей остановки. В последний момент девушка успела юркнуть в автобус и плюхнулась рядом со мной на свободное сиденье. Ездок же, завалив мотоцикл в кювет, вытащил из кармана бутылку портвейна и жадно отпил из нее, после чего долго махал рукой на прощанье.

Я, кажется, упоминал, что в общем и целом я человек стеснительный, с ограниченным полем коммуникабельности. Вступать в разговор с людьми незнакомыми не в моих правилах. Мысль о знакомстве даже не всплыла в голове. Да и первый брошенный девушкой взгляд заставил остерегаться: в нем не было ни вызывающего любопытства, ни ободряющей кокетливости. В глазах промелькнуло нечто похожее на страх: упаси меня бог, уж сюда никак не следовало садиться. Но было поздно. Она нарочно отворачивалась, чтобы украдкой, но придирчиво и основательно, следить за каждым моим движением. Как будто девушка мучительно вспоминала и не могла решить — похож или не похож я на сбежавшего из заключения опасного преступника, фотографию которого недавно показывали по телевидению.

Автобус наполнялся. Я уступил свое место бойкой на язык деревенской тетке. Мог, конечно, этого не делать, но я по опыту знаю, что в такие моменты намного лучше чувствую себя стоя, чем сидя.

Через несколько остановок автобус опять опустел. Я мог выбрать место по своему усмотрению. Но почему-то сел туда же. После чего девушка взглянула на меня особенно выразительно и спросила, не знаю ли я, как долго простои́м в Иецаве.

Пока доехали до Риги, я узнал, что она собирала материал для курсовой работы в трех колхозах и под конец заблудилась. И тут откуда ни возьмись мотоциклист, узнав, в чем дело, он сказал: не могу вас бросить посреди дороги, не такой я человек. Ехали-ехали, потом остановились. Надо было залить горючего, объяснил мотоциклист. И выпил треть бутылки портвейна. Помчался дальше. В поле у дороги колхозники убирали свеклу. Завтра бригадир задаст мне жару, сказал мотоциклист, но раз я обещал, на автобус попадете, не такой я человек.

Она изучала медицину, а вместе с тем интересовалась народным врачеванием. Она говорила — можно ли себе представить латышскую культуру без дайн, без сказок, легенд? А народное врачевание позабыто, растеряно. Для Элины (так ее звали) сельская жизнь и сельский люд были взаимосвязаны с судьбой планеты. При въезде в Ригу разговор оборвался столь же внезапно, как и возник.

С автостанции прямой дорогой отправился к Зариню. Он понемногу приходил в себя, но все еще валялся на диване.

— Ну, был? Записал? Прекрасно! Командировку отметил? Это главное. Садись пить чай. Ты еще помнишь, какова на вкус настоящая копченая колбаса? Вот полюбуйся, что за товар! А маг задвинь под стол. Потом послушаю, чего ты там позаписал. Сейчас не то настроение.

Тогда меня такая злость взяла! Что ни говори, свинское отношение! Больше всего меня разозлило, что он не удосужился прослушать запись. Ну хотя бы ради приличия, элементарной вежливости. Впрочем, я отдавал себе отчет, что злость моя неглубока, непрочна. Стоило поостыть, и вновь ко мне вернулось добродушие. К тому же в такой пропорции, что все прежние суждения утратили силу. Точнее говоря, не казались столь бесспорными. Не слишком ли убоги мои представления? Не обкорнал ли я их умышленно своим наивным мальчишеским идеализмом? Не столько даже идеализмом, сколько упрощенностью, не принимающей в расчет многообразие жизненных ситуаций. Кто дал мне право корыстно использовать свои глупые домыслы для прикрытия обид, мелочности, малодушия? Быть может, меня влекла к Зариню смутная догадка, в его присутствии лишавшая меня покоя. Догадка о том, что, помимо моих пред-

ставлений, существует некая иная правда — ее мне только предстоит открыть, уяснить, обнаружить, осознать. Правда куда более истинная, более реальная и емкая. Нечто такое, чего я пока не знаю, не понимаю, не угадываю. И тем не менее оно существует. Сходным образом на меня влияла только личность Зелмы. Не раз она опрокидывала все мои представления, не раз выходило так, что образ действия, мною в принципе не одобряемый и даже порицаемый, в поступках Зелмы обретал совсем иное качество. Это вовсе не значит, что в ее поступках я не способен был разглядеть дурную сторону. Дурное я видел, еще как. Но рядом с дурным Зелма всегда выставляла нечто такое, что в корне меняло картину. Совсем как в карточной игре: в любой комбинации на руках у Зелмы оказывался джокер.

Тогда, после поездки в Рундале, я сделал то, чего, наверно, делать не следовало: все рассказал матери. Не осуждая, не досадуя. Рассказал начистоту.

— Вообще он кажется мне человеком умным, интересным,— заключил я,— но временами я его не понимаю.

Мать сняла очки, потерла веки. Был у нее такой жест, означавший, что она устала и вскоре отправится спать.

— Да тут и понимать нечего,— сказала она.— Он эгоист. Ярко выраженный тип себялюбца.

Долго я раздумывал над словами матери, примеряя их, как новые башмаки, на свои представления. Надевая и снова снимая. Чтоб убедиться, годятся ли. Больше всего меня поразило, что при этом думал я не только о Янисе Зарине, но и о Зелме. И о себе.

Мои мысли о цели жизни

Как это здорово — по какому-то вопросу знать больше других. Быть специалистом номер один на рубеже известного и неизвестного. Клином врубаться в неведомое.

Ланцманис — чемпион барокко в Латвии. В данный момент никто не угрожает его чемпионскому званию, а посему он состязается с самим собой. Показал ли сегодня Ланцманис лучший результат, чем Ланцманис вчерашний? Совершила ли мысль его за сегодня скачок хотя бы на одну идею? Стал ли острее угол подачи выводов?

Ланцманис и профессор Кронис во многом похожи. И не только внешне. Совершенно определенно в них есть спортивная жилка. Возможно, быть спортсменом — качество не столько даже физическое, сколько духовное. И отнюдь не связанное исключительно с молодостью. Не так давно я видел на улице Алфона Егера. Ему давно за шестьдесят. Но у Егера по сей день спортивная выправка.

На мой взгляд, люди делятся на две категории — на тех, кто живет безо всякой цели, и тех, кто верит в свое предназначение. Александр Ульянов считал предназначением своей жизни царевубийство. Юрис Алунас сосредоточился на одном: доказать, что латышский язык способен выразить все то, что и другие культурные языки. В одиннадцатом классе я считал, что величайшей целью Матиса Каудзита было написать «Времена землемеров». Так нет же, оказывается, целью его жизни было жениться на Лизе Ратминдер, по которой он сох целых двадцать лет.

В жизни ставят различные цели: самоотверженные и тщеславные, фанатичные и возвышенные, безумные и романтические.

Я допускаю, что Ланцманис целью своей жизни избрал реставрацию Рундальского замка. Построил В. В. Растрелли (1736—1770), восстанавливает И. Ланцманис (1971—1985). Не больше, но и не меньше.

Заметки

Надпись на хорах церкви св. Анны в Елгаве: «Герцог Петр Бирон подвинул латышей на искусные работы».

* * *

В XVIII веке слуг, бежавших впереди кареты, называли скороходами. Перед царской каретой, к примеру, бежало шесть скороходов. Отменным скороходом был Екабс Скангалис, юноша из Видземских (Лифляндских) гернгутеров. В 1739 году его послали в Петербург. Там Эрнст Бирон, фаворит императрицы и фактический правитель России, ласково с ним разговаривал на латышском языке. В 1740 году Екабс получил во-

льную, побывал в Англии, Голландии, где, между прочим, изданы его воспоминания.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Возможно, это смешно, но моим любимым героем был тогда капитан контрразведки Клосс из серийных телепередач. Большой сказал, что в этом пристрастии наглядно проявляются мои восемнадцать лет, мое ребячество, рецидивы пубертации и проч. Во всяком случае руководство к действию так называемых истинных героев мне представляется непритязательным, приглаженным, малоинтересным. Уж тут я ничего не могу с собой поделывать: наряду с отвагой, хладнокровием, предприимчивостью меня всегда восхищало умение решать проблемы комплексно, мыслить аналитически, предугадывать события. Ничего недостижимого тут нет. При желании даже сальто на канате можно научиться делать. Зелма, например, уверяла, что смотреть собеседнику в оба глаза одновременно попросту невозможно. А я могу. Согласен с мнением Большого: все зависит от задач, которые перед собою ставим.

Еще не поступив на физмат, я совершенно точно знал: посвятить все время занятиям означало бы работать с коэффициентом полезного действия парового котла. А потому решил, что буду не только учиться, но еще и работать в лаборатории какого-нибудь института или что-то в этом роде. Скажем, на полставки, три раза в неделю. Разумеется, у этих планов имелась и материальная подоплека. Стипендия не покрывала моих статей расходов, хотя мать не требовала от меня ни копейки. Достаточно и того, что я второй десяток лет жил на ее полном иждивении. Просить у нее денег на книги, пластинки, магнитофонные ленты и прочее я попросту не мог себе позволить, не рискуя потерять элементарное уважение к себе.

Название института, в который я поступил на работу, позволю себе опустить. Почему? Не хочу, чтобы мои суждения получили то или иное толкование, это не входит в задачу данного сочинения. Первое место работы. Первый трудовой коллектив. Наивно думать, что мои разрозненные впечатления смогли бы дать мало-мальски объективное представление о положении дел в институте. Если же они действительно что-то отражают, то главным образом мое тогдашнее мировосприятие.

Поразила общая атмосфера одержимости. Я это сразу почувствовал: обмеры, мне порученные, я мог производить в любое время — рано утром или поздно вечером; практически лаборатория работала по субботам и воскресным дням, что было улажено полуофициально.

Моему непосредственному начальнику Индулису было двадцать семь лет. Из-за его дремучей бороды и лысины хотелось дать больше. Он во всем сомневался, все отрицал, отвергал. Как легенду рассказывали о том, что в загсе на вопрос, согласен ли он жениться, Индулис будто бы вместо обычного «да» ответил «почему бы нет».

Одну из наших бесед могу воспроизвести довольно точно, ибо успел ее записать.

— Отметь показания датчиков, и порядок. Но главное, не пытайся себя убедить, будто что-то в этом понимаешь. Кое-что начнешь смекать, когда по данному вопросу переваришь семьдесят четыре книги и несколько сот журнальных статей.

— Чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Практически ничем.

Я вежливо промолчал, стараясь понимающе улыбаться.

— Ну, чтобы это звучало более солидно, скажем так: нулевыми частицами.

— Очевидно, это не так уж мало.

— В рамках квантового поля даже слишком много.

— А что конкретно вы ищете?

— Поисками занимается милиция. Мы изучаем.

— Велика ли разница?

— Разницы никакой.

— Вне сомнений, очень трудно — от «ничего» прийти к «чему-то».

— Да нет, почему же.

Я снова вымучил улыбку и вежливо помолчал.

— Важно научиться верной системе мышления.

— Следовательно, требуется опыт.

— Применительно к нам: требуется от опыта освободиться. Мыслить, не поддаваясь инерции.

Большинство сотрудников относилось ко мне превосходно. То есть не относилось как-то особенно. Просто воспринимало мое присутствие как нечто само собой разумеющееся. Более того, считало своим, и точка. Если я проявлял интерес — были отзывчивы, благоже-

лательны, когда же я молчал и делал вид, что никого не замечаю, и на меня не обращали внимания.

Но иной раз приходилось получать неожиданные тумаки, которые, должен признаться, основательно охлаждали мой радостный пыл. К тому же меня поразило открытие: куда большее откровенной грубости, пренебрежения било по самолюбию сравнительно вежливо оформленное недоверие.

Этим особенно славился чем-то всегда озабоченный Рудольф Иванович Умбрашко. Любой вопрос, самая скромная любознательность, безразлично по какому поводу, вызывали в нем подозрение, недоумение: с какой стати это вас интересует? Какое это имеет отношение к вашим служебным обязанностям? То, что положено знать, вам разъяснят...

Идею недоверия воплощала и старший научный сотрудник Шварте. Разница заключалась лишь в том, что Умбрашко своим недоверием размахивал, как нандерталец каменным топором, всегда готовый двинуть прямо по лбу, а Шварте обожала расставлять хитроумные капканы.

За глаза ею возмущались или потешались над нею, но стоило появиться самой Шварте — и тотчас любезные лица, елейные улыбки. Поскольку у нее были какие-то родственные корни с ливами, то в любой обращенной против себя критике она усматривала буржуазный национализм, если ее критиками были латыши; великодержавный шовинизм, когда противной стороной оказывались русские; сионизм, если евреи, и т. д. Шварте строчила жалобы в вышестоящие инстанции, играя на самых актуальных и действенных струнах. И почти всегда добивалась своего. Ее наскоки с боевых общественно-прогрессивных позиций оказывались настолько точно рассчитанными, ее выступления были так хорошо спланированы, что оставалось лишь удивляться, какие страшные ошибки были бы допущены, не прояви своевременно Шварте в своем принципиальном благородстве необходимую бдительность. Даже в тех случаях, когда ее подвохи и каверзы были видны невооруженным взглядом, отвечать на звонки, письма и телеграммы для начальников различных рангов было делом столь хлопотливым, что в них постепенно выработался этакий комплекс Шварте: лишь бы все не началось сначала, лишь бы опять не погрязнуть.

— Этой дамочки остерегайся,— бурчал спокойно в бороду Индулис.— Тебе на голову помочится да еще осведомится, не зябко ли. Жутко в себе уверена. «Село Степанчиково» читал? Так вот для твоего сведения: Фома Фомич в юбке.

С виду в ней ничего грозного. Дородная, медлительная. Всегда на устах сладкая улыбочка, а говорит, как будто запыхалась, и голос вроде бы слегка придушенный. Как-то перехватив меня в коридоре института, еще издали остановилась, раскинула руки.

— Калвис, зайдите ко мне, зайдите, не погнушайтесь. Вы своим начальником довольны?

— Очень доволен,— ответил, сделав упор на «очень». Во-первых, потому что в самом деле был доволен и, во-вторых, знал: этим досаждаю Шварте. Ее неприязнь к Индулису ни для кого не была секретом.

— Я тоже считаю, вам повезло. О-о-очень повезло. Индулис чрезвычайно талантливый, необычайно способный. Только не кажется ли вам, что он несколько похож на битников шестидесятых? По своей внешности и рассуждениям. Неизжитая инерция...

— Что-то не замечал.

— А вообще он очень мне нравится. Да ну зайдите же ко мне, не погнушайтесь. Послезавтра у нас собрание. Есть вопрос, по которому все должны высказаться.

В конце года стали делить премии. Не знаю, как получилось, но фамилии Шварте в списке не оказалось. Зато фамилия Индулиса в нем значилась. В тот же день старшая научная сотрудница опять меня перехватила в коридоре. Честное слово, не знаю, как она ухитрилась выныривать в нужный момент,— я уже говорил, что в институте появлялся трижды в неделю, причем в разные часы.

— Вам известна биография Индулиса? — на сей раз Шварте повела речь без обиняков.

— Нет.

— Он пишет, что родился в России. Однако ни полсловом не обмолвился, почему. Его отец в свое время сотрудничал с оккупантами. За что был справедливо осужден.

— Индулис, если не ошибаюсь, родился в 1952 году.

— Какое это имеет значение!

— В этих вопросах я плохо ориентируюсь.

— А вы обратили внимание, что Индулис видит во всем только плохое, не признает авторитетов?

— Он мыслит аналитически. Считаю его честным и порядочным.

— Почему он вас отговаривал от участия в наших семинарах?

— Он меня не отговаривал.

— Берзиня слышала, как он сказал вам: один грамм работы полезней тонны слов.

— Да, сказал, но совсем по другому поводу.

— И все же политсеминары вы не посещаете!

— Я слушаю лекции по истории партии.

Несколькими днями позже мне пришлось присутствовать при разговоре профессора Буша с Индулисом.

— Это было ошибкой, что мы не включили в список Шварте,— сказал профессор, стыдливо отводя глаза.— Этого следовало ожидать. Всем неприятно, но что же делать. Она не уймется. Вопрос, как сами понимаете, деликатный.

— О чем говорить,— отмахнулся Индулис.— Мне никакой премии не нужно.

— Вы, Индулис, молоды. Годом позже, годом раньше, для вас не имеет значения. По такому поводу со Шварте затевать борьбу бессмысленно. Все это очень смахивает на клинический случай. Не надо забывать, всегда найдутся люди, которые прислушаются к Шварте. Чем демагогичней аргументы, тем труднее их опровергнуть.

Как сами догадываетесь, Индулис премии не получил. Список был дополнен фамилией Шварте.

Старшая научная сотрудница в обращении со мной по-прежнему была сама любезность.

— Калвис, зайдите, да зайдите же ко мне, не погнушайтесь. Вам по душе работа у нас?

— Не жалуюсь.

— Ну вот и прекрасно. Уверена, вас заинтересуют наши изыскания и вы найдете здесь свое место. Но скажите, не мешает ли работа вашим занятиям?

— Нет.

— Если вдруг у вас возникнут какие-либо осложнения, милости прошу прямо ко мне.

Через неделю Шварте подала директору докладную записку на двенадцати страницах о нарушениях трудовой дисциплины. Индулис в этой записке критиковался за чрезмерный либерализм и нетребовательность в деле

воспитания молодых кадров, обо мне же было сказано, что я появляюсь в институте лишь затем, чтобы получить зарплату.

Специально созданная комиссия признала обвинения Шварте необоснованными, и все же Индулису пришлось определить мои рабочие часы. По графику выходило, что мне одновременно полагалось находиться в институте и присутствовать на лекциях по радиоэлектронике. Некоторые лекции, конечно, можно было и пропустить, но это не выход. Как обычно, находясь в затруднении, я мысленно обратился за советом к капитану Клоссу.

У нас на факультете работал клуб «Вектор». Не сказать, чтобы все встречи получались увлекательными, однако некоторые мероприятия вызывали общий интерес. Группу энтузиастов возглавлял доцент Зоргенфрей, читавший курс радиоэлектроники. Он занимался историей университета, копался в самых ее истоках — со времен Рижского политехнического института, основанного еще до революции. Из забытых анналов доцент выуживал редкостные факты о занимательных событиях и ярких типах.

На одном из собраний клуба доцент организовал экскурсию в бывший карцер. Я почему-то думал, что место заключения студентов находится где-то в подвале, однако древняя каталажка, как оказалось, помещалась на чердаке университетского здания, неподалеку от купола обсерватории. Карцером это помещение можно было назвать лишь условно. Обычная комната с обычным окном. В ней кровать и заменявшая стол деревянная колода. Засиженный мухами инвентарный список перечислял утраченные со временем предметы обстановки, как-то: ночной горшок и Библию. Главная ценность интерьера все же заключалась в исторических настенных надписях и рисунках, сделанных в основном на рубеже последнего столетия. Присутствующих заинтересовало, как сюда попадали студенты.

— Надо думать, по личному распоряжению директора института, — рассказывал доцент, — потому что высшие учебные заведения в ту пору пользовались своей юрисдикцией. Если, скажем, студенту, спасавшемуся от преследования, удавалось пересечь порог *alma mater*, полиция не имела права арестовать его в стенах института. К сожалению, более подробных сведений о наказаниях не сохранилось.

Тут я заметил, что у меня имеется выписка о мерах наказания в Дерптском университете (в теперешнем городе Тарту). Как раз накануне я получил ее от Большого. Тариф выглядел так:

нарушение ночного спокойствия	2 суток,
невозвращение библиотечной книги	2 суток,
курение	2 суток,
разбитое окно	3 суток,
оскорбление дамы	4 суток,
отлучка из города без ведома начальства	от 3 до 6 суток,
ссора в доме терпимости	до 3 недель,
дуэль *	до 3 недель и т. д.

Зоргенфрея моя выписка очень заинтересовала. Вполне возможно, кодексы наказания в обоих высших учебных заведениях были сходны. Карцер Дерптского университета он изучил досконально. Считал, что их отреставрированная бутафория не идет ни в какое сравнение с нашим оригиналом. Разговор получился живым. На прощание доцент любезно осведомился, не болел ли я, что-то в последнее время он меня не видел на своих лекциях. Я поведал ему о своих несчастьях и, ободряемый Клоссом, спросил, не согласится ли он принять у меня экзамен, не дожидаясь сессии, скажем, через неделю. Доцент попытался найти отговорку: подобная практика, мол, нарушает установленный порядок. Но, будучи в хорошем настроении, в конце концов дал свое согласие.

Откровенно говоря, радиоэлектроника меня немного раздражала. Этой дисциплиной я никогда не занимался, а потому решил ей уделять полчаса ежедневно.

Полчаса каждый день. За оставшуюся неделю поднажал, так что экзамен сдал благополучно. Одним словом, и преподаватель требует к себе индивидуально-го подхода!

Теперь я спокойно мог появляться в институте на глаза Шварте. Все шло хорошо до того момента, пока я опять не оказался в цейтноте. На сей раз непоправимо, нехватка времени была не формальная, а по существу. С одной стороны, поджимала работа ради денег, с другой — работа, которую и работой-то назвать нельзя: приятнейшая возможность потрудиться в руководимой профессором Кронисом лаборатории.

Для ясности стоит вернуться в прошлое; я должен рассказать о том, как очутился в лаборатории Крониса.

В прошлом году, где-то в марте или в апреле, когда, по моим расчетам, Кронис должен был вернуться из Италии, я позвонил ему. Профессор вспомнил нашу совместную поездку из телестудии до центра. Сказать, что он со мною был любезен, было бы неверно. Никакой особенной любезности он не проявил. Был деловит, заинтересован. В моем понимании это куда больше, чем любезность, потому что любезностью иной раз прикрывают безразличие.

— Да,— сказал он,— мысль о дополнительной программе я продумал. У меня есть ряд предложений. Когда бы вы могли зайти?

— Прямо сейчас.

— От центра довольно далеко, вы знаете.

— Да хотя бы через пять минут.

— Вы уже в вестибюле?

— Нет, но буду.

Сказав это, я в самом деле почувствовал себя немного Клоссом. Хотя номер был прост. Институт, в котором я работал, находился в пяти минутах ходьбы от института, в котором помещалась лаборатория Крониса.

О дополнительных экзаменах договорились быстро, но это было только начало. Кронис спросил, нет ли у меня хорошей идеи о том, как лучше провести молодежный вечер отдыха. Я ответил, что на такой вечер, по-моему, следует пригласить жонглеров, фокусников, чревовещателей и шпагоглотателей. Явив свое искусство в тесном кругу зрителей, они утверждают сотрудников в убеждении, что ничего невозможного нет, что между невозможным и возможным границы зыбки и размыты.

Кронис рассмеялся. Думаю, как раз поэтому он предложил мне осмотреть лабораторию. Потолковали о костях, кровеносных сосудах и о беге на длинные дистанции. Кронис сказал, что кровеносные сосуды в принципе те же трубы, а вот о закономерностях движения жидкости по трубам мы пока знаем мало. Совершенно очевидно, например, говорил он, что на стенки кровеносных сосудов действуют силы вращения Земли, потому, когда спишь, нужно переворачиваться с боку на бок. На это я ответил, что впредь намерен спать, привязавшись к маятнику Фуко, ибо тот раскачивается в направлении, противоположном вращению Земли. Кронис представил меня некоторым из сотрудников как «заинтересованного и способного молодого

человека, которого со временем следует ввести в курс дел лаборатории».

Примерно полгода спустя Кронис позвонил на факультет и предложил мне подключиться к одной из групп в лаборатории. О какой-то определенной должности, разумеется, не могло быть и речи. Я волен был приходить и уходить по собственному усмотрению. Официально меня оформили студентом-практикантом. Я был в таком восторге, что глупейшим образом переоценил свои возможности. Мне казалось: уж столько-то — сушая безделица! — времени всегда можно выкроить. Вроде бы все рядом. Из одного здания вышел, в другое вошел. Ну а не получится, не беда, я ж не на зарплате. Тогда я забыл азбучную истину о том, как трудно согласовать свои интересы с часовой стрелкой. Войти в дверь, в которую входить не хочется, куда труднее, если рядом находится дверь, в которую так и тянет войти.

В лаборатории профессора Крониса царила самобытная атмосфера. В противоположность готическому фанатизму соседнего института здешняя обстановка — как бы это сказать — была более или менее согрета духом Ренессанса. Не исключено, что такой атмосфере способствовал и сам характер объекта исследований. Впрочем, мне судить о причинах трудно. Нелегко такие вещи объяснить. Но то, что атмосфера там была другая, это сразу чувствовалось: по разговорам, взаимоотношениям, по бумажкам, висевшим на доске объявлений. Это я ощутил и на себе. Стоило мне переступить порог лаборатории, настроение поднималось.

Еще не обжившись в новом коллективе, я без особых раздумий присоединился к группе, изучавшей манипулярные возможности. И должен сказать, мне повезло. Линард, Эйдис и Элдар оказались отличными товарищами. Коньком Линарда были «внутренние резервы» костей и мышц. Он считал, что наука в будущем передвинет границы физических возможностей человека. Эйдис, напротив, полагал, что границы эти зависят не столько от костей и мышц, сколько от побудительных импульсов. Он собирался в экспедицию в Болгарию, где горцы еще сохранили способность босыми ногами плясать на горящих углях. Элдар до известной степени напоминал Индулиса. Он тоже к любому явлению подходил методом «от противного». Непростителен и достоин сожаления тот факт, говорил Элдар, что крепость

сросшейся голени врачи по-прежнему определяют на глазок, в то время как существуют инструменты, регистрирующие колебания в атмосфере Меркурия.

В ускоренных темпах я познакомился с ЭВМ, которую Эйдис звал попросту Эммой. Работала она в режиме диалога: отвечала на вопросы или, как говорили в лаборатории, беседовала. Если возникала неясность, Эмма ставила дополнительные вопросы. Она читала, писала и довольно сносно рисовала. Между нами установились приятные, ничем не омрачаемые отношения. Мы прекрасно понимали друг друга. И только кондиционированный воздух вычислительной комнаты на почве аллергии вызывал во мне нечто вроде побочного эффекта — я чихал, сморкался, говорил с французским прононсом.

Профессор Кронис даже при встречах в коридоре и на лестнице никогда не ограничивался одним приветствием. Всегда у него находилось, что спросить или что-то сказать.

— Калвис, как у вас с английским языком? Что делаете завтра вечером? На химфаке интересная лекция.

— Я бы с удовольствием, но моя работа ради хлеба насущного теперь строго нормирована.

У Крониса есть одна выразительная улыбка, сразу делающая его подчеркнуто неофициальным. Это ни в коем случае не был разговор чемпиона и мальчика, подающего мячи. И уж никак не официальный разговор.

— В настоящий момент у нас нет штатной должности лаборанта. Впрочем, ничего подобного мне бы вам не хотелось предлагать. У штатной должности и свои штатные обязанности.

— Ничего страшного.

— Сколько вы там получаете?

— Половину от минимальной. Деньги небольшие, но все же...

— Хорошо, я подумаю.

Не сказать, что работу в институте и практику в лаборатории нельзя было совместить. Для комбинации возможности были обширные. Однако, пораскинув мозгами, я понял, что свои институтские обязанности я уже воспринимаю как помеху и обузу. Такое открытие в свою очередь вызывало недовольство, даже стресс в тех случаях, когда часовые стрелки вынуждали меня оторваться от интереснейших опытов в лаборатории Крониса.

Там, в другом здании, я занимался систематизацией, обмерами, причины и следствия которых не вызывали во мне никаких эмоций.

Мысль о том, что от работы в институте нужно отказаться, стала преследовать меня в буквальном смысле слова. Разумеется, в любой момент я мог объявить матери: твоему сыну впредь понадобится больше денег. Но такое решение вопроса для меня было неприемлемо. И все оставалось по-старому. Хотя было совершенно ясно, долго так продолжаться не может.

— Что нового? — спросил профессор Кронис.

— Вчера Линарду удалось сделать неплохие снимки растяжения в последней фазе.

— Знаю. А как с деньгами?

— Нормально.

— Ясно. Лекции частенько приходится пропускать?

— По четвергам.

— Скверно.

Кронис не улыбнулся. Я пожалел о своей откровенности. Несolidно делать профессора соучастником в столь щекотливом деле. Что ни говори — лицо должностное. Одобрить пропуски лекций он не имел права. С какой стати Кронису брать на себя ответственность? Запрети он мне при таких обстоятельствах практику в лаборатории, это было бы в порядке вещей.

Сумятица в душе росла, принимая угрожающие размеры. Так чудесно взлетевший змей моих надежд, кувыркаясь, падал с высоты, и я уже мысленно видел, как он с треском врывается в землю, превращаясь в кучку щепок и мятой бумаги.

Но время шло, и ничего не менялось. Профессор при встречах больше не заговаривал со мной о пропущенных лекциях. В лаборатории отношение ко мне было дружественное. Чуть позже вместо временного пропуска получил постоянное удостоверение. Это меня успокоило.

И вот однажды поутру я проснулся с таким чувством, что сегодня что-то должно произойти, какой-то поворот к лучшему. Ни с того ни с сего явилось ощущение, что все беды и мытарства позади.

Я верю предчувствиям. Возможно, веру поддерживают совпадения, но я бы мог назвать немало случаев, заранее мной предугаданных. Вплоть до мельчайших подробностей. Например, ехал я однажды в гости на озеро Балтэзерс, совершенно определенно зная, что к ве-

черу похолодает и что мне предложат надеть красного цвета пуловер. В другой раз, когда предстояло отправиться на похороны, мне было точно известно, что встречу с невестой. Дождь хлестал как из ведра. Пришлось взять такси. Я знал, что панихида должна состояться в малой кладбищенской часовне за железнодорожным переездом. Гляжу — среди деревьев действительно белеет храмик. Ну, думаю, наверно, здесь. У входа множество машин. Отпустил такси, захожу. Свечи горят, играет орган. Но оказалось, что это вовсе не часовня, и попал я в церковь, где идет венчание.

После лекций зашел в комитет комсомола. Это комната, вернее, две комнаты, в которых мне все досконально известно. Но и тут я не мог подавить в себе ощущения, что вижу их впервые. Еще удивился: какой огромный сейф. Не комитет комсомола, а прямо филиал банка. Интересно, сколько же тонн стали пошло на комсомольский сейф?

Вия с Зигридой перебирали бумаги о стройотрядах. При моем появлении переглянулись, перекинулись афоризмами.

— Доброе утро, — сказал я, — а что, наш вождь уже проснулся?

Вопрос был в общем-то излишним: из соседней комнаты ломилась дискомузыка. Петерис Петерисович Валпетерис сидел на краю стола, покачивая своими длинными ногами. И в его комнате стоял сейф. В этом отношении кабинет Петериса не отличался от кабинетов других комсомольских секретарей. Оригинальным было то, что в комнате нашего секретаря еще имелись магнитофон, проигрыватель и пара мощных динамиков.

Петерис схватил мою руку, стиснул ее и раз-другой энергично тряхнул, как бы проверяя на прочность мой локтевой сустав.

— Ну, поздравляю тебя, поздравляю, новоявленный миллионер, — сказал он. — Во-первых, выбили тебе премию за первое место на английской олимпиаде. Это так, на мелкие расходы. А главное, как стало известно из хорошо информированных источников, тебе присуждена стипендия, исчисляемая трехзначной цифрой.

Когда я вышел из комитета комсомола, в моем кошельке было ровно столько же денег, сколько их было, когда вошел. Однако чувство было такое, будто я выезжаю оттуда на сундуке с деньгами. На белом, статном сундуке с деньгами, который величаво поднимает ноги,

поводит шеей и машет хвостом. Не подвело предчувствие! Все в порядке. Завтра же подаю заявление об уходе. Теперь могу себе позволить.

Весь день пребывал в приподнятом настроении. Удача заряжала и окрыляла. Намеренно брался за всякие давно отложенные малоприятные дела. Работа на редкость спорилась. Что это — вдохновение, воздаяние за риск? Не знаю, только я обратил внимание, что везенье обладает волнообразным характером: раз начавшись, оно затем продолжается по инерции.

По дороге на вокзал я подумал: хорошо бы матери подарить цветы. Но в карманах наскреб всего пятьдесят шесть копеек. Зашел в книжный магазин. И там мой полтинник оказался маломощным рычагом, способным поднять лишь некоторые научно-популярные брошюры и сборник публицистической поэзии одного из живых классиков, интерес к которому я потерял еще в школьные годы.

Возможно, в любой другой день я бы спокойно повернулся и вышел из магазина, примирившись с реальностью жизни. Но тут, как я уже сказал, душу мою обуревали особые страсти. Должно быть, это у меня и на лице было написано, потому что продавщица тотчас обратила на меня внимание.

— Что вы желаете?

— Вон ту книгу за шесть рублей.

— Отличная книга.

— Но у меня всего пятьдесят шесть копеек.

— Приходите завтра. Думаю, они еще будут.

— Нет, лучше я возьму два лотерейных билетика.

Я имел в виду ту лотерею, которая устраивается в книжных магазинах. С вертящимся барабаном и свернутыми в трубочку бумажками. Хороша тем, что есть возможность тут же получить и выигрыш.

Оба билетика оказались выигрышными. Я получил право на покупку стоимостью в шесть рублей. На первом билетике значилось: один рубль. На втором: пять рублей.

Продавщица посмотрела на меня недоверчиво и вроде бы даже со страхом. Как будто я был сатаной или, на худой конец, ловким мошенником.

— Вот чудеса,— сказала она, тряхнув своими белыми кудряшками,— пятирублевых выигрышей вообще осталось всего два.

Снова и снова разглядывала она билетики, подзывала продавщиц из других отделов. Эта суматоха меня жутко забавляла.

— Все очень просто,— сказал я, когда аккуратно завернутая книга переключалась в мой портфель,— сегодня у меня такой день.

— Ну, берегитесь! Кому везет в лотерее, тому не везет в любви.

О неизвестном

Тяга к неизвестному, таинственному, неожиданному, непонятному, должно быть, рождается во мне в противовес известному, объяснимому, понятному. Возможности любого развития ограничены. В том числе и возможности познания. Возможности систематизации. Возможности предвидения. Человек, поднимаясь на десятый этаж пешком, дольше сохраняет ощущение движения вверх. Лифт даже на трехсотый этаж поднимет за несколько минут. Потом — остановка. В пределах здания (в том числе и здания мыслительной системы) достигнут потолок. Истины суть истины лишь в существующих пределах знания (или незнания). Близкое таит в себе возможность стать далеким, а то, что под рукой, может отойти в бесконечность. Первые антибиотики вселяли надежду на то, что искоренение инфекционных заболеваний вопрос лишь нескольких лет. На деле массовое истребление бактерий нарушило равновесие в мире вирусов, и положение только осложнилось. Теории, предлагающие кардинальные решения, скорее отражают желания, чем возможности.

* * *

«Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне,— мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным,— андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же

у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост,— так же как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед».

(Платон, из диалога «Пир», около 385 г. до н. э.)

* * *

Трафаретное мышление. Гражданская неэластичность. Прекраснодушие. Зацивилизованность. Отождествление желаемого с действительным. Подбеливание правды. Прозябание во времени. Оскудение добродетели. Надломленное мужество. Злоумие. Оскопление воли. Худосочие идей. Укрощение замыслов.

Черная фигура на белом фоне.

Фотонегатив перед печатью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В начале зимней сессии мы с Зелмой условились поехать на каникулы к ее деду в окрестности горы Гайзинькалнс. Кататься на лыжах, прикармливать зверей, ходить загонщиками на охоту. Зелмин дед работал в колхозе, а бабушка, в прошлом сыроварщица, была уже на пенсии. Иногда Зелма угощала меня бесподобно вкусным тминным сыром и какими-то копчеными окаменелостями под названием «костишки мертвецов». К поездке я начал готовиться загодя — отладил на лыжах крепления, накупил лыжной мази, пропитал ботинки парафином.

За несколько дней до каникул Зелма как бы между прочим обронила, что «жизнь вносит в планы небольшие коррективы». Словом, сельская идиллия отпадает, ей предстоит ехать в Таллинн?

— В Таллинн? Зачем в Таллинн?

— Грандиозное мероприятие. Всесоюзный семинар молодых композиторов. Сотни молодых музыкантов съедутся для обмена опытом и информацией. Если хочешь, поедem.

Сначала не понял, она-то какое отношение имеет к семинару композиторов. Но, зная, на каких оборотах живет Зелма, решил не выказывать своей несмышленности: право же, смешно напоминать Зелме о том, что она не композитор. Ограничился несколько удивленной интонацией.

— Ты получила приглашение?

— Нет. Но у меня будет командировка. От научного студенческого общества. Анкетирование участников, выявление проблем. Словом: музыкальная социология. Материала там на целую диссертацию. Ну что, едем?

Меня отнюдь не привлекал вариант музыкальных каникул. В последнее время на лекциях у меня перед глазами расстилался заснеженный простор. Совершенно определенно страдал от недостатка общения с природой. Хотелось на время отключиться от толчеи и спешки (которые мне в общем-то по душе), от коридоров, лестниц, часов, уличных перекрестков, троллейбусных остановок и железнодорожных перронов. Хотелось вместе с Зелмой затеряться в белом безмолвии, в заснеженных лесах. Таллинн на всем этом ставил крест. Но сказать «нет» означало совсем не видеть Зелму в каникулы. Этого хотелось еще меньше.

— Меня туда никто не посылает,— сказал я.

— Ерунда! — возразила Зелма, уничижительно взмахнув своей изящной ладошкой. — Поговори в комитете комсомола. Ты бы мог поехать по линии общественного сектора.

— Отпадает,— ответил я, все больше мрачняя.

— Тогда езжай без командировки. Подумаешь, важность!

— Где остановишься?

— Договорилась в Союзе композиторов. Наша делегация сравнительно невелика. Пришло бы мне в голову раньше...

— Билет уже есть?

— В понедельник утром вылетаем.

— Ясно. Я тоже вылетаю. На личном самолете. А директору гостиницы «Виру» скажу: видите ли, произошло недоразумение, контора Кука забыла известить вас о моем прибытии. Я племянник герцога Эдинбургского.

— Также отыскал проблему — до Таллинна добратся! А билетами на концерты я тебя обеспечу. Обрато поедем вместе.

— Хорошо. А ночевать я буду в Кадриорге на скамейке, прикрывшись газетой. Как в Гайд-парке. Надеюсь, в Таллинне можно купить «Daily Telegraph»?

— Успокойся, на скамейке спать тебе не придется. Пойдешь на турбазу...

— Где, конечно же, меня встретят с распростертыми объятьями. С почетным караулом и маленьким оркестром.

— С ума сойти — такая безынициативность! Из каждого пустяка делать проблему. Настоящий советский мужчина. Ну, попроси, чтобы мать позвонила. Солидный женский голос всегда производит впечатление.

— Яку Йоале?

— Я серьезно. Как-никак, звонок из редакции. Так что, едем?

Был момент, я подумал: сначала надо все же посоветоваться с матерью. Но потом устыдился. На каникулы прокатиться в Таллинн — что тут особенного? Как будто мать мне в чем-то отказывала. Детская привычка. И я согласился. Противиться Зелме я был бессилен.

С билетом повезло. Купил с рук у кассы. Мать собиралась прийти на вокзал проводить, но я не позволил. Большой, узнав о моем отъезде в Таллинн, сделался странным, дал мне по-эстонски лаконичный адрес и наказал проведать, сохранился ли в парадном такого-то дома витраж с раскрытой книгой, желтыми бабочками и словами: *verba volant, scripta manent*¹. О том, что еду наудачу, не имея пристанища, разумеется, утаил. Врать не хотелось, и потому был краток: не беспокойтесь, все будет в порядке. Студенчество — клан международный, как и филателисты, нудисты, вегетарианцы.

Со мной в купе ехали молоденький ненец и его наставник, токарь из Мурманска, примерно моего возраста. Четвертый спутник был солидного вида дядя, грузин. Напились чаю за компанию. Потолковали о том о сем. Немного погодя расползлись по своим полкам. Уснул я мгновенно.

Проснулся с ощущением, будто лежу на крыше вагона. И будто у меня волосы к коже примерзли. Подтянул колени к подбородку, накрылся с головой. И на других полках попутчики беспокойно ворочались. Грузин дул

¹ Слова улетают, написанное остается (лат.).

в ладони, растирал себя пальцами. Наставник что-то бурчал под нос. Был третий час пополудни.

— Да что они, решили к полкам нас приморозить! — из коридора донесся звонкий голос. — Я на похороны еду, у меня нет желания схватить воспаление легких и самому концы отдать.

Когда просыпаюсь ночью, сразу бегу по нужде. Спрыгнул вниз и, лязгая зубами, в темноте нащупал башмаки. В коридоре уже маячило несколько пассажиров. Туалет занят. Кинулся в другой конец вагона. И там дверь не поддавалась.

— Почему так холодно? — спросил я проводницу, которая, держась за дверную ручку, покачивалась рядом.

— Об этом не у меня надо спрашивать! — сонно улыбнулась она. — Будет уголь, будет и тепло.

Подгоняемый нуждой, прошел в соседний вагон. Разительная перемена — как будто после Антарктиды я перенесся в субтропики.

— Вот видите. Тут совсем другое дело! — обладатель звонкого голоса уже переместился сюда. — Почему здесь уголь есть, а в соседнем вагоне нет?

— Не повезло вам. Когда Ванда запивает, за четвертинку не то что уголь, начальника поезда с потрохами готова продать.

Вернулся в купе, поверх одеяла набросил пальто. Пальто у меня было теплое, на овчине. Монгольского производства. Случайно матери попало на глаза в сельской лавке где-то в окрестностях Лубаны. Я уж стал засыпать, когда солидный грузин включил свет.

— Так, — сказал он, побрякивая и покашливая, стараясь прочистить горло, — охрип, окончательно и бесповоротно! Вот досада! А мне завтра доклад на два часа читать!

Наставник заметил, что в таких случаях помочь может только грог, и признался, что у него в чемодане спирт. На что солидный грузин ответил, что он принципиальный противник алкоголя. Наставник возразил, что в данном случае прием спирта будет носить лечебный характер. Он встал, натянул штаны и отправился на розыски горячего чая.

Под утро удалось уснуть. К тому времени я уже знал, что в Таллинне смогу остановиться в общежитии профтехучилища.

И ненец оказался забавнейшим малым. Он все время зырил одним глазом на своего наставника, повторяя каждое его движение: подергивал галстук, приглаживал черные взъерошенные волосы, засовывал руки в карманы брюк. Это несколько напоминало театральную репетицию. Иной раз мне начинало казаться, что ненец вовсе и не ненец, а только актер, разучивающий роль. Рассуждал он так: ненцы ездят на оленях, русские ездят на машинах. Ненцы живут в тундре, русские живут в городах. Ненцы смотрят, как горит китовый жир, русские смотрят телевизор. В наше время быть ненцем...

Когда до костей промерзнешь, отогреться не так просто. Однако настроение было отличное, поскольку решился вопрос с ночлегом.

Эстонцы ничуть не удивились, что вместо ожидаемых двоих к ним явились трое. Ненец с наставником приглашали меня в кафе позавтракать, но я предпочел сразу же ринуться в центр на розыски Зелмы. Она жила в гостинице «Виру», комната 503, но ключ лежал внизу на полке. Что ж, рассудил я, это естественно, нельзя требовать от человека, приехавшего в Таллинн, сидеть в номере.

До пяти она не появлялась. Коротал время, развась в мягких креслах вестибюля. Бродил по городу, читал газеты, изучал рекламы, прошелся по музеям, осмотрел выставки, художественный салон. К тому же и дежурного администратора довел до тихой истерики. Вокруг «Виру» свистел обжигающий ветер. Похрустывал снег под ногами. Когда на улицах становилось невмоготу, опять нырял в элегантные финские интерьеры отеля.

В пять часов в очередной раз вышел на прогулку. Вечерний город понемногу начинал пестреть разноцветьем неоновых акцентов. Пряча уши в воротник, а нос — в прохудившуюся рукавицу, топал вдоль набережной в сторону Пириты. Вспомнив, что целый день не ел, стал поглядывать, где бы набраться калорий. Попалась на глаза харчевня, довольно симпатичная с фасада, внутри вроде тоже подходяще. Современный гибрид кафе и столовой. Заказал французский суп и куриный жульен. К моему удивлению, здесь еще действовал музыкальный автомат. Закоченевшие ноги, отогревшись в тепле, тупо заныли. Близость радиатора, хороший обед и ностальгические песни Мирей Матье

припаяли меня к алюминиевому креслу. Можно было подумать, я там сижу десятки лет, как статуя Островского перед Малым театром. И никогда уже не встану. Пойдет снег, потечет по лбу талая вода. Время от времени на плечо опустится воробей, упадет на макушку пожелтевший лист. А я все сижу и сижу.

Взглянул на часы, и тут Клосс подсказал мне, что теперь-то Зелма должна быть в гостинице. Подсказал — и точка. Чтобы вечером пойти в концерт, нужно переодеться. Пойти в концерт не переодевшись — для Зелмы просто немыслимо. Не выспавшись — да. Голодной — тоже. Не переодевшись — ни за что. Если бы кому-то пришло в голову сжечь Зелмины наряды, как в сказке сожгли лягушачий кожух, вполне возможно, Зелма тотчас исчезла бы. Вставай же, памятник, настал долгожданный момент!

Но мысли текли вяло и неспешно. Остроту и обороты мысли обрели лишь после того, как я осознал, что кое-какие метаморфозы по части одежды действительно имели место. Не те, правда, что мне рисовались. Отнюдь не Зелма исчезла оттого, что сгнула ее одежда. Исчезло мое пальто. До чего все просто — моего пальто на вешалке не оказалось.

Прошло немало времени, прежде чем мне удалось толковать буфетчице, что я вовсе не шучу, что, честное слово, я пришел в пальто, и ни одно из имеющихся в наличии мне не принадлежит. Суматоха поднялась невероятная. Из глубин заведения буфетчица вызывала различных персон. Появились даже повар в белом колпаке и несколько девушек в халатах. Все посетители как по команде ринулись в вестибюль, дабы убедиться, что их пальто на месте. Происшедшее каждый расценил по-своему. Но в общем в типично эстонской манере, так что о подспудной игре страстей приходилось лишь догадываться.

Позвонили в милицию. Прикатили два молоденьких следователя, составили протокол. Я получил на руки справку о том, что такого-то числа в таком-то месте у меня действительно пропало пальто.

— Если пальто удастся разыскать, вы его получите обратно, — сказал один из следователей.

— Не исключено, что кто-то ваше пальто надел по ошибке, — заметил другой.

Признаться, для меня это было слабым утешением. Кое-кто из присутствующих ухмылялся, слушая следователей.

— А если не удастся разыскать? — только тут я окончательно осознал, что остался без пальто, и меня интересовало, что же будет дальше. Конечно, я не метался весь в мыле и в чем мать родила на лестничной клетке перед захлопнувшейся дверью, подобно незадачливому инженеру из «Двенадцати стульев», на мне была какая-никакая одежда. Но перспектива в костюмчике мчаться по морозному Таллинну показалась малопривлекательной.

— Если не удастся разыскать? Тогда — ничего.

— В принципе вы можете предъявить гражданский иск тресту столовых, — объяснил второй.

Следователи уехали. Сотрудники разошлись. Музыкальный автомат опять загромыхал. Только буфетчица стояла рядом со мной. Вид она имела несчастный и с нетерпением ждала, когда я наконец исчезну. По правде сказать, лишь я своим присутствием напоминал о досадном инциденте.

— Вам далеко? — спросила буфетчица.

— Не слишком.

— Может, вызвать такси?

— Нет, спасибо. Все в порядке. Извините за беспокойство.

— У нас такого никогда прежде не бывало. Смотрите, уши не обморозьте. На улице холодно.

— Ерунда, — сказал я, поднимая воротник, — мое хобби — купание в проруби.

Минут через десять на улице я пожалел о своей самонадеянности. Ветер, словно теннисную ракетку, продувал мой пиджачишко, елозил по ногам, спине и локтям. Суставы деревенели, отказывались двигаться, застревали, как двери трамвая в сильный мороз. Окоченевший, растрепанный, бежал я по темным улочкам района, чем-то похожего на рижский Межпарк. Редкие прохожие шарахались от меня, глядели с испугом. Какой-то мужчина подсказал, что недалеко автобусная остановка, однако я ее, должно быть, проскочил.

Попробовал остановить такси, но все машины попадались занятые. Потом почувствовал, как у меня застывают челюсти. Руки, ноги и раньше от мороза деревенели, а вот челюсти впервые.

На перекресток снова выскочило такси. Недолго думая, раскинув руки в стороны, бросился наперерез. На этот раз машина остановилась. Шофер распахнул дверцу и обложил меня эмоциональным эстонским присловьем, для вящей важности добавив и несколько русских эквивалентов. Но это было как раз то, что нужно. Довольно сумбурно поведал о том, что со мной произошло.

А такси, как яйцо, полнехонько. На меня уставились по крайней мере четыре мужских физиономии. Все вроде бы навеселе.

— Какой же ты дурень, раздетый латыш! — крикнул кто-то из глубины. — Успокойся. Мы тебя отвезем в бюро находок.

И другие что-то говорили, напевая между делом. Крепкие руки втащили меня в машину. Последовал многоголосый вскрик, и все они принялись лязгать зубами. А я вздохнул с облегчением, как будто в самый последний момент меня сорвали с готовой обвалиться глыбы.

Мою просьбу отвезти в общежитие профтехучилища загулявшие мужчины пропустили мимо ушей. Громогласный тяжеловес, которого остальные называли Карузо, пустился в рассуждения о том, что при стихийных бедствиях и безвыходном положении каждый гражданин имеет право рассчитывать на помощь от государства, а посему предлагал ехать в Президиум Верховного Совета. Тускловатый баритон, напротив, советовал «не вмешивать в это дело правительство», а лучше подбросить меня к кому-нибудь из живущих в Таллинне земляков-латышей. Один латыш в прошлом сезоне гастролировал в театре «Эстония», его фамилию он, правда, забыл.

Нет, спасибо, очень с вашей стороны любезно, что вы принимаете в моей судьбе участие, сказал я, но мне бы не хотелось утруждать незнакомых людей.

Ах вот что, ему бы не хотелось! А голым бегать по морозу тебе бы хотелось! Ты бы сначала подумал, как трудно в такие холода выкопать могилу. И как цветы в эту пору дороги. Нет, милок, сиди, не рыпайся, дыши теплым воздухом! Остальное нам предоставь. Это дело чести. Если б ты к нам даже прикатил за колбасой. Мы люди не мелочные. Все равно ведь, вернувшись в свою Ригу, такого о нас порасскажешь: мол, поехал посмотреть, как они там здорово живут, а они такие-сякие,

немазаные. Но ворюгам тоже план свой надо выполнять. Чтобы милиция могла выполнить свой. Знаешь, куда мы тебя отвезем? В художественный институт, там с давних пор латыши обучаются.

Третий, нечто среднее между тенором и баритоном, предложил вопрос решить у него дома. Никакого решения, правда, там не получилось. Жена впустила самого хозяина, захлопнув дверь перед носом остальных. В квартире начался средней руки скандал, и при подобных обстоятельствах самое разумное было вернуться в такси.

После этого тенор всех привез к какому-то гончару в теплый сарай, сплошь заставленный керамическими штуковинами. Гончар родился в Валге,— что верно, то верно,— и знал по-латышски несколько слов. Гостям он обрадовался, выставил бутылку шотландского виски. Этого оказалось достаточно, чтобы баритон уснул прямо за столом, да так крепко, что разбудить его не удалось.

Втроем поехали дальше. У тенора идеи возникали одна другой лучше. Знаешь, что сделаем, сказал он, возьмем тебе пальто напрокат в костюмерной! Впрочем, нет, там сплошная рвань. Лучше из реквизиторской на киностудии. Хейно, знаешь старого Ребера? Айда к Реберу!

Когда такси уже выезжало из города, тенор вдруг надумал сделать остановку возле гастронома. Пока он делал покупки, дремавший на переднем сиденье спутник, не проронивший за весь вечер ни слова, вдруг открыл дверцу, буркнул «тэре!» и ушел.

Вернулся тенор, спросил, куда девался Хейно.

— Хейно ушел.

— Быть не может. Что он сказал?

— Сказал «тэре».

— Этого нельзя принимать всерьез. Хейно известный болтун.

В поисках пропавшего Хейно исколесили близлежащие улицы. Но он исчез, как кролик в цилиндре фокусника.

— Ну и бог с ним! Поехали к Реберу!

— Может, не надо, а...

— Послушай, латыш! Мало того, что ты гол. Перечить мне вздумал! Поехали!

Мне эта одиссея была совсем не по душе. Однако теперь, когда мы так далеко отъехали, я не мог решиться выйти из такси. Разумеется, намерения у тенора

были самые лучшие, но он немного смахивал на пирата или террориста. Я стал чем-то вроде пленника или заложника.

Такси остановилось у железной ограды с воротами и проходной. За оградой виднелись просторные здания с освещенными окнами. План тенора проехать на машине за ворота не удался. Охранница была вооружена, у нее на поясе висела кобура. Впрочем, это было сущим пустяком по сравнению с ее главным оружием — взглядом. Охранница не кричала, не ругалась, не грозила, просто смотрела на тенора так, будто был он настырным жучком или еще более мелкой козявкой, пытающейся взобраться по гладкому стеклу, не понимая по своей непроходимой глупости, что все его усилия тщетны. Тенор яростно бросался в бой, подергивая меня за рукав. Вытаскивал из карманов какие-то бумажки, объяснял, пытался втолковать, шутил и лихо накручивал диск телефонного аппарата. Но понемногу сник, растерянный и пристыженный. Как будто он рассмеялся во время панихиды или всхрипнул на симфоническом концерте.

— М-дааа, вот чертовщина! И куда Ребер мог задеваться! Неохота препираться с этим противоголом. Подожди меня в машине. Не пройдет и пяти минут, как мы тебя проведем на студию.

Прошли пять минут, прошли десять и двадцать, а тенор не возвращался. Шофер объявил, что больше ждать не может, он и так задерживает сменщика. Ищите того человека или платите по счетчику. А нет — поехали в милицию. На счетчике к тому моменту было двадцать семь рублей восемьдесят копеек. Плюс обратная дорога в общежитие профтехучилища. Для меня это означало полный финансовый крах.

Спросил охранницу, не могла бы она позвонить.

— Куда?

— Туда, куда он ушел.

— Кто — он?

— Ну, тот, которому вы пропуск выписали.

— Езжайте-ка лучше домой. Пальто уже потеряли.

Как бы не попасть в еще большую неприятность.

— Мне надо позвонить.

— Не вам, а мне бы надо позвонить. Вашей матери. Такой молодой, симпатичный! Просто срам!

Она все же назвала трехзначный номер. Набрал раз, другой, третий, трубку не снимали. Вернулся в такси.

Счетчик потрынькивал, перемалывая рубли и копейки. Шофер от злости сопел и плевался в окошко. Припустит стекло, сплюнет и опять задраит.

— Давайте договоримся,— сказал я,— ждем еще пять минут.

Шофер перемежал плевки с ворчанием. Внутри стало почти так же холодно, как на улице. Я мысленно прикидывал, что останется от моих капиталов, если уплачу по счетчику.

Обратно в город шофер гнал с такой скоростью, как будто мы участвовали в авторалли Монте-Карло по формуле А. На поворотах повизгивали шины, скрежета-ло сцепление, трещал кузов, гроыхало шасси. Но сквозь эти шумы мой слух улавливал мрачный перестук счетчика.

И тут я вспомнил о Зелме. Бессмысленная поездка неожиданно обретала смысл. Конечно же, мне хотелось увидеться с Зелмой. А теперь больше чем когда бы то ни было. Как хорошо, что машина мчится с такой скоростью! Зачем думать о пальто, о деньгах, когда можно думать о Зелме. Не разминулись бы с нею с утра, ничего бы этого не было. Зелму я не видел так давно, что можно только удивляться, как это со мной не случилось чего и похуже.

— В профтехучилище не поедem, попрошу вас к «Виру»,— сказал я шоферу. Взглянул на часы, что должно было означать: перемена маршрута вызвана экстренными обстоятельствами. Шоферу было все равно куда ехать. Однако он заподозрил, не собираюсь ли я улизнуть, не заплатив по счетчику. Он ответил:

— Как будет угодно. Но счетчик придется включить.

Когда дежурный администратор сказал, что Зелма у себя в номере, я едва поверил. И ученый следопыт, невесть как долго гонявшийся за снежным человеком, навряд ли поверит, когда ему объявят: йети вас ждет, поднимитесь, пожалуйста, по лестнице.

Но Зелма действительно была в номере, стоило постучать, и я услышал ее голос. Она, разумеется, не утерпела, выбежала навстречу. Не так Зелма устроена, чтобы сказать «войдите!», а затем спокойно ждать, кто же появится. Любопытство в ней пробуждает активность. Хотя в отдельных случаях она бывает апатичной, безучастной ко всему. Даже может ходить непричесанной.

Она была в номере не одна. Такой вариант мне попросту не пришел в голову. С бутылочкой пепси-колы в руке в мягком кресле сидел молодой человек, рыжеватый и, пожалуй, даже несколько кучерявый. Я его тотчас узнал. В музыкальных телепрограммах он обзорекает наиболее выдающиеся концерты. И у Зелмы в руках была такая же бутылочка пепси-колы. Первое, что она сделала, — предложила и мне бутылочку пепси-колы.

Нет, она была жутко обрадована, тут никаких сомнений. Все как положено. Мы поздоровались, Зелма нас представила. Она была в своей лучшей форме, удачно острила. И музыкальный критик учтив, тактичен, умен, с хорошо поставленным голосом. Беседа протекала и петляла в высших сферах духа: существует или не существует интеллектуальная музыка, чем современные английские композиторы отличаются от американских, кто в настоящее время симфонист номер один, а кто номер два и т. д.

Но чем дальше, тем больше я чувствовал, что усидеть в кресле становится все трудней. Хотелось встать, выкинуть какой-нибудь фортель. Опрокинуть столик. Или на руках пройти по номеру. Чтобы Зелма наконец обратила на меня внимание. Мне почему-то казалось, она меня не замечает. Не я был тот, кому она с таким увлечением лопотала про Васкиса, Карлсона, Дизапена, Мефано, Штокхаузена. Совсем другой. Примерно такой же, как этот корректный, воспитанный, рассудительный музыковед, чей младенчески румяный лобик прорезали глубокомысленные морщины, будто он никак не мог припомнить номер собственного телефона.

Я себя чувствовал жутко разочарованным, даже одураченным. И ничего не мог с собой поделать — злость моя перекинулась на Зелму. Неужели у нее для меня не нашлось ни одного вопроса? Хотя бы простейшего, с чего ты вдруг посинел? Нет, она ничуть не рада моему приезду. Точно так же она улыбнулась бы всякому, вошедшему в номер. Взгляд ее не задержался на мне и секундой дольше, чем на рыжем участнике семинара. Но даже когда глаза ее смотрели на меня, в них решительно ничего не менялось. Все делилось поровну. Не глаза, а весы аптечные.

Так тебе и нужно, сказал я себе, потому что ты балда. Мне и в самом деле показалось, будто я ужасный балда. Прикатить в такую даль, коченеть от холода, лязгать зубами, весь день провести в ожиданиях, по-

терять пальто, лишиться денег. Слава богу, Зелма ни о чем не знала. Она бы смеялась животным смехом. (Это словечко в духе Зелмы; о фильмах Чаплина она говорила: смех для живота.)

Я старался казаться небрежным, непринужденным, но пепси-кола застревала в горле, и глаза под зудящими веками вылезали из орбит. Вычитанное где-то выражение «один из нас лишний» я всегда считал смешным и банальным. А тут вдруг понял, что теперешнее свое состояние воспринимаю как раз по этой формуле. Музыковед не собирался уходить. Зелма сама была виновата: разговор растекался вширь. И она то и дело называла кучерявого «Сашенькой», всячески его нахваливала: «Это ты превосходно выразил», «Эlegantная мысль, ничего не скажешь».

Я встал и вышел из номера. Из упрямства, от обиды, огорчения. Может, из гордости, от тоски и одиночества. А в общем, конечно, по глупости. Скорее всего от всех вышеназванных причин, вместе взятых. Когда я поднялся, мне показалось, я хочу лишь убедиться, заметит ли Зелма. Она повернула голову в мою сторону, однако ничего не сказала. Тогда я пошел дальше. Ничего другого не оставалось. В кинофильмах, в операх в такие моменты рыдают скрипки. А в цирке воцаряется тишина, нарушаемая лишь дробью маленьких барабанов. Когда я открывал дверь, у Зелмы с музыковедом шел жаркий спор. Для меня это звучало печальнее самого печального реквиема. И разумеется, трагичнее.

Бежать по улице на сей раз не хотелось. Засунув руки в карманы, я стоял в стеклянном простенке и ждал, когда появится такси. Швейцару я, должно быть, показался подозрительным субъектом, — он ни на шаг от меня не отступал и все порывался хоть что-нибудь выяснить, добродушной болтовней маскируя должностное любопытство. Ничего особенного из меня он не выудил. Разве что направление, по которому уехал, когда назвал шоферу адрес общежития профтехучилища.

— Один раз встретил друга — хорошо. В другой раз встретил — еще лучше! — ненца обрадовало мое появление.

— Красивый город, а? Почти как на Западе, — наставнику захотелось обменяться со мной впечатлениями. — Видели в соборе старые военно-морские флаги?

— Видел.

— Дела свои уладил? Все хорошо?

— Нормально.

— А почему эстонцы носят шапочки с помпоном?

— Отставить, вопрос не по существу,— возразил наставник.

— Почему? — не унимался ненец.

— У эстонца всегда помпон на голове,— сказал я.— Был и будет.

— Хорошо бы завтра съездить в Олимпийский яхт-клуб. Может, вместе поедem?

— Завтра я еду домой,— сказал я.— Визит окончен.

— Серьезно?

— Вполне.

Наставник высказал предположение, что у меня начинается простуда, и в лечебных целях предложил выпить грога.

— Нет,— сказал я,— завтра все будет в порядке.

Допускаю, во мне опять заговорил капитан Клосс, ибо никаких логических обоснований для такого утверждения не было. Более того, я был убежден, что дела мои скверны. И в телесном смысле, и в духовном. И все же сказал: завтра все будет в порядке.

Как позже выяснилось, обоснование все же имелось. Просто я о нем не знал. Примерно в то время, когда я отказался от грога, Зелма уже находилась в пути. И, конечно же, она обо мне неотступно думала. Каким образом Зелме удалось так быстро напасть на мой след, осталось загадкой. Возможно, свою роль тут сыграл швейцар из «Виру». Впрочем, это неважно. Важно, что, когда я с головой укрылся одеялом и начинал уже впадать в сон, чтобы от леденящих душу воспоминаний и мрачных мыслей хотя бы до утра провалиться в блаженное беспамятство, раздался стук в дверь и в комнату вошла Зелма. За ней стояла комендантша — похоже, ее подняли с постели, она еще как следует не проснулась, из-под распахнутого пальто выглядывала комбинация.

— Ну, слава богу,— окинув меня озабоченным взглядом и ощупав ладонями, проговорила Зелма, располагаясь на краю кровати.— Жив и невредим.

Зелма говорила, как бы захлебываясь словами: она-то думала, что я проживаю в одном из соседних с ней номеров. И только Саша, будучи гениальным знатоком человеческих душ, заподозрил что-то неладное. Потом

в регистратуре она выяснила, что я отнюдь не проживаю в «Виру». И так далее и тому подобное.

При таком обороте дела мне, конечно, пришлось рассказать ей, что и как.

— Но ведь это чистая фантастика! Фрагмент из пьесы Беккета! Сокол ты мой несчастный! Страдалец бессловесный! С ума сойти — ни слова не сказал!

Зелма утешала, жалела, тербила меня, целовала в щеку. И это опять была Зелма, та самая, которая когда-то сидела у окна и смотрела, как ветер обметает с вишен лепестки. Зелма с ее милой близорукостью, которая видит только меня и больше никого. Лишь я один ее интересую, лишь обо мне ее мысли. То был момент, когда я восхищался Зелмой и сам себе завидовал.

Ненец и наставник решительно ничего не могли понять. Вначале они сохраняли горизонтальное положение, однако, взбудораженные драматическим зарядом ее голоса, сели на своих кроватях и, заворачиваясь в одеяла, сгорали от нетерпения и любопытства.

— В чем дело? Что случилось?

— Да ерунда!

— У товарища пальто увели,— объяснила Зелма.

— Пальто? Не может быть! — не поверил наставник.

— Да! — от наплыва энергии Зелма прямо-таки искрилась.— Вы только вообразите себе ситуацию: в трехстах километрах от дома, в двадцатиградусный мороз человек остается в лавсановом костюме.

Ненец в неподдельном ужасе обхватил руками свою глянцевито-черную копну волос.

— Ой-ой-ой! Вот это беда, вот это зло! И шапку тоже?

— Шапка была в рукаве.

— Ой-ой-ой! Ну, не расстраивайся. Шапку я тебе дам. Хорошую шапку. Теплую шапку.

Он хотел было подняться и тут же бежать к чемодану, да вспомнил, что в комнате женщина, застыдился.

Я сказал, что очень ему признателен, но подарок не приму, на что он обиделся и процитировал в ответ поговорку примерно такого содержания: одним пальцем с веслом не управишься, а пятерней — управишься. Его русский язык был довольно своеобразен, я мог чего-то не понять.

Комендантша с чисто эстонской сдержанностью особых эмоций не выражала. Однако и она, возможно, находясь под впечатлением великодушия ненца, пообещала мне вполне приличную телогрейку.

— Какой у вас размер? Пятьдесят второй? Ну и прекрасно. Будет вам телогрейка. В прошлом году от кровельщиков осталась. Начали крышу крыть, а к весне исчезли. Вместе с кровельным железом.

— В милицию заявили? — поинтересовался наставник. — Надо было сразу подать заявление. Тут важно дать делу юридический ход. Не то, если даже виновные найдутся, вы не сможете предъявить претензий.

— Ах ты бедный мой дурачок! Замерзшее мое сокровище! Ни о чем не думай, мы это уладим! — Зелма щекотала у меня за ухом.

На следующий день я перебрался в «Виру». У одного из Зелминых таллиннских знакомых в свою очередь оказался знакомый, сосед которого по гаражу работал главным электриком в «Виру» или что-то в этом роде. Номер буквально сразил меня своим убранством, и только цена его несколько отрезвила. Зелма пообещала дать денег взаймы. И вообще голова ее была полна планов. Музыкой она больше не занималась. Все свое время посвящала мне.

— Тебе за пальто полагается компенсация, — объявила она, — или я ничего не понимаю в социалистической законности.

Она обзванивала редакции, различные учреждения, консультировалась с юристами, работниками милиции, бухгалтерий. Куда-то отправлялась одна, иной раз и меня брала с собой, подталкивала вперед, крутила меня, демонстрировала. Ее голос дрожал от негодования, она задыхалась от возмущения. Бюрократические проволочки, нерасторопность инстанций — все это необходимо преодолеть. Ведь нельзя не обратить внимания и на особые обстоятельства: студент из братской республики, в каникулы решивший расширить свой кругозор, оказался в трудном положении. Впрочем, к чему эвфемизмы? В безвыходном положении.

Кого представляет Зелма? В широком смысле, разумеется, общественность. Недремлющую совесть и голос правды. В более узком смысле — студенческий коллектив, комсомол, профсоюзную организацию, друзей и товарищей.

Временами мне становилось прямо-таки неловко, иногда хотелось сквозь землю провалиться, но Зелма не сдавалась. Чего ты стесняешься, не будь простаком. Уж если взялся за что-то, жми до упора, чтоб был результат. Понятно, они пытаются увильнуть. Понятно, платить им не хочется. Отнюдь не потому, что компенсация тебе не полагается, а просто по лености, робости, нерадивости. Ведь это жутко интересно — выбить из них то, что тебе по закону положено. Ах ты, мой стеснительный, мой нерасторопный, бескорыстный. В подобных ситуациях в одно и то же время нужно быть быком и оводом.

Необходимые подписи и резолюции собрали, да не так-то просто оказалось получить деньги. На всякий случай отправил матери телеграмму. А пока Зелма предложила перейти на двухразовое питание и большую часть времени отвести осмотру достопримечательностей Таллинна. Мне, по правде сказать, было безразлично, куда идти и чем заниматься. Главное, мы были вместе. Часто целовались. Иногда даже в общественных местах, например, у памятника Кингисеппу, во дворах историко-архитектурных зданий и в других местах. Кроме того, помногу гуляли, держась за руки, чего раньше никогда не делали.

На главной торговой улице в толпе совершенно неожиданно я увидел тенора. Он шел нам навстречу с матерчатым чехлом, в котором могла быть картина, планшетка или просто картон. Разумеется, нужно было позволить ему спокойно пройти мимо. Но во мне произошло короткое замыкание, и с глупым реверансом я преградил ему дорогу.

— Здравствуйте! Какая встреча!

Он слегка наморщил лоб, оттопырил верхнюю губу, однако бровью не повел в знак того, что узнал меня.

Ну, конечно! Я же упустил из виду свою новую наружность. Понятно, что он меня не узнал. Мой дикий вид, пожалуй, мог смутить и людей близких, не то что человека, выдавшего меня всего один раз. К тому же не при свете дня, а в лучах фар, при тусклой лампочке в такси или при вспышках спичек. Поношенная телогрейка не слишком располагала к доверительной беседе, ибо в таких телогрейках расхаживают и только что выпущенные на свободу рецидивисты. Пышная ушанка из собачьего меха и Зелмин супершарф наводили на мысль об эксцентричности или снобизме. Похоже, он так

и не смог разобраться, с кем имеет дело — с голодранцем, панком или пижоном.

— Мы вместе ездили к Реберу.

Тут он меня вспомнил. Уж это точно. Однако вместо ожидаемой улыбки на его кислой физиономии появилось еще более кислое выражение.

— А, так это ты, шалопай! — рассвирепел он, бросив свой чехол на тротуар. — Куда же ты смылся?

— Шоферу надоело ждать!

— Форменное свинство!

— Прошу прощения.

— Черт побери, что за народ пошел, — все больше распалялся тенор, — никакой масштабности!

У меня появилось желание немедленно с ним распрощаться. Продолжение разговора было чревато новыми осложнениями. И вообще — какой смысл?

— До свидания, — сказал я, чуть ли не шаркнув ножкой, — всего вам доброго!

Но он схватил меня железной хваткой, ватник затрещал по швам.

— погоди! Я уже один раз весь Таллинн обегал, тебя разыскивая. Ты что, чокнутый, что ли, — так и норовишь сбежать?

Вежливо, но твердо я стал высвобождаться.

— Сколько мы тогда наездили? Сколько он с тебя содрал?

— А-а-а! Вот вы о чем! — у меня немного отлегло от сердца. — Оставим это.

— Как это оставим? Чтоб я мошенником оказался! Чтобы ты потом в Риге рассказывал, какие эстонцы жулики! Ну нет! Есть долги, которые плати или стреляйся. — Он сунул руку в карман и вытащил две десятки. В горсти остался еще один замусоленный рубль. — Вот, получай и в следующий раз чтоб без дурачеств. Можешь схлопотать по физии!

После чего мы действительно стали прощаться.

— Я, кажется, вас не представил? Это Зелма.

— Мое почтение, мадам.

— Прекрасно, что в мире бывают приятные сюрпризы, — сказала Зелма.

— Я не сюрприз, — блеснул белками тенор, — я Уно Хинт.

— В шапке с помпоном.

В тот вечер мы решили поужинать в ресторане. Вообще такого рода заведения я на дух не выношу.

При виде официантов меня оторопь берет. Полагаю, я у них вызываю что-то вроде аллергии. Но тогда хотелось чего-то необычного. Настроение было сумбурное. К тому же Зелма объявила, что с верхотуры того значного места открывается великолепнейший вид на вечерний Таллинн, а потом, ведь я еще не видел ее «маленького туалета для коктейль-парти» — с открытой спиной, ради чего она специально загорала летом.

Мы встретились в холле третьего этажа. Когда Зелма появилась, я обомлел. Вид у нее был потрясный! Но и жаль ее стало. Я тут же скинул пиджак, попросил не валять дурака, хотя бы временно прикрыть голые плечи. Зелма ответила, что это я валяю дурака, и пошла себе, поводя плечами, словно ей было жарко и она настроилась на порцию мороженого. Конечно, ей было холодно, носик зарделся, а руки слегка посинели.

В ресторане она выбрала столик у окна, мне опять же это показалось неразумным. Но Зелма от своего намерения не отступилась:

— Хочу видеть зал!

Из-за кулис выплыл официант. С крашеной шевелюрой. Златоперстый. Жемчужная булавка в галстук. Оглядев меня, скорчил кислую мину, что-то недовольно пробурчал.

— Предоставь это мне, все беру на себя,— обронила Зелма, с достоинством принимая плотный фолиант меню.— Улыбнулась своей самой чарующей улыбкой и, окинув ворчуна восторженным взглядом, радостно хлопнула в ладоши: — А я вас знаю! Вы лучший официант Таллинна! Ваша фотография месяц назад напечатана в «Огоньке», не правда ли?

Глаза златоперстого помутнели, как у быка, которому съездили шестом промеж рогов. Круглая физиономия покрылась радостной испариной, щеки затряслись от смешков. Вот-вот, казалось, он воспарит мотыльком.

— Хлеба не надо, супа тем более, салаты отпадают,— сыпала Зелма.— В общем, думаю, так: есть будем мало, пить основательно. Какой у вас коньяк? «Енисе-ли»? Юбилейный «Камю»? «Двин»? Сколько берем, бутылку?

С манерами Зелмы в общем и целом я был знаком, но тогда ощутил, как мое седалище становится совсем бесплотным.

— Ну хорошо,— поймав мой укоризненный взгляд, она как бы уступила мне,— не дело это — покупать

кота в мешке. Для начала принесите сто граммов. И две бутылки пепси-колы.

Официант удалился, а я во все глаза продолжал разглядывать Зелму. Она сидела очень прямо, прогнув вовнутрь свою обнаженную спину, немислимо миниатюрная и в то же время величавая, словно гимнастка. Хотелось пожалеть ее, защитить, обогреть и вместе с тем — преклониться перед нею. Звездное небо и мириады городских огней — все это сверкало за спиной, раскинувшись наподобие искрящегося балдахина, таинственно отражаясь у нее на лице, сиявшем от восхищения. Глаза, большие, ясные, радостно говорили: ну, разве не здорово! Божественный вечер!

— А знаешь, в чем должна тебе признаться, — сказала вдруг Зелма, — я одержима звездами!

— В каком смысле?

— Ну так лунатики теряют рассудок при луне. Меня же лишают рассудка звезды. Не веришь? Есть такие люди. Одна моя подружка тоже одержима звездами. Однажды мы легли с ней на надувные матрасы и поплыли вниз по Лиелупе. Потрясающее чувство. Словами не передать. Время исчезает, исчезают берега, остаются лишь звезды... Слава богу, все благополучно кончилось.

— Сколько тебе было тогда лет?

— Двенадцать, тринадцать... Течением нас отнесло далеко, а тут ветер, волны... Один матрас стал спускать, а Рита вообще не умела плавать.

— Как же вы спаслись?

— В другой раз расскажу. Пошли танцевать. Я никогда не танцевала в плывущей среди звезд стекляшке.

— Нет, хочу услышать, как ты спаслась! Я ничего о тебе не знаю. Как ты выглядела в двенадцать лет? Как выглядела в пять? Ты носила косички?

— На косички у меня не хватало терпения. А вообще мне надо было родиться мальчишкой. Я любила лазить по деревьям, стреляла из рогатки, иногда и драться приходилось. Мы жили в сельской школе, родители мои были учителя. Когда школа сгорела, мы перебрались в бывшую пасторскую усадьбу. Половина комнаты была завалена библиотечными книгами. Я еще в первый класс не поступила, а уже читала все подряд.

— Ты худая была или толстая?

— Такая тоненькая, что лопатки на спине казались крылышками. Бабушка так и звала меня: ангелочек. А когда становилось грустно, я себя действительно чув-

ствовала ангелом. У Порука есть такое стихотворение: «Вдоль улиц белый ангел бродит, тоска и боль в его душе...»¹ В ту пору мы уже переехали в Ригу, маму перевели в министерство.

— Как вы спаслись?

— Пошли танцевать. Я тебе на ухо расскажу.

— Нет, сейчас. Ужасно интересно.

— Ну, погнало нас ветром от берега... Рита захныкала. Мне это действовало на нервы, я рассердилась: если тебе непременно надо хныкать, плачь громче. По крайней мере будет смысл. Нет, отвечает, громче не может, ей стыдно.

— А тебе самой не было страшно?

— Страху я не поддаюсь. Может, во сне, но там другое дело. Когда же знаешь, как надо поступить...

— А ты знала?

— Придумала.

— И тебе было двенадцать лет?

— Чему ты удивляешься?

Мы вышли на танцевальную площадку, где в круговерти ритмов уже крутилось несколько пар. Зелма повернулась ко мне, приподняла локти и, как бы прислушиваясь к чему-то, как бы ожидая знака, блаженно замерла. В тот момент, мне кажется, это и произошло впервые. Во всяком случае я ничего подобного прежде никогда не чувствовал. Страсть к Зелме меня поглотила всего, без изъятий, даже в глазах зарябило. Мне показалось, я вытянулся весь, искривился, замельтешил перед нею, подобно тому, как на экране телевизора иногда кривится, вытягивается и мельтешит изображение. Причем связь с сексом была тут довольно условная, хотя присутствие Зелмы, разумеется, я ощущал и телесно. Нет, это было что-то совсем другое. Куда более емкое, значительное. Чувство слитности со всем Зелминым существом. А возможно, и слитности со смыслом моего существования. Я чувствовал себя связанным с ней, — будто мы были сиамские близнецы, нераздельными узами спаянные. Лишь эта нераздельность имела значение. И такая на меня накатила тогда нежность, что некоторое время я не дышал, опасаясь спугнуть это чувство. И еще я понял, что банальная вроде бы фраза «жизнь отдать за любовь» лишена преувеличения. Возникни в том необходимость, я бы без раздумий отдал за

¹ Перевод с латышского Людмилы Азаровой.

Зелму жизнь. Именно так. И, не опасаясь прослыть дурным стилистом, хочу подтвердить: именно так я тогда подумал.

— В чем дело? Тебе не хочется танцевать? — усмехнулась Зелма.

Я обнял ее обеими руками.

— Нет, все-таки что с тобой? — допрашивала Зелма.

— Должно быть, я тоже одержим звездами.

Зелма дернула меня за ухо. Я потянулся к ней, сгорая от любопытства, что она скажет. Но она легонько коснулась губами моей щеки, а ухо отпустила.

В затемненном зале танцующих заметно прибавилось. Я чувствовал и видел только Зелму.

Незадолго до закрытия ресторана я загорелся желанием подарить ей цветы. Гардеробщик, к которому я обратился за практическим советом, поглядел на меня как на одурманенного алкоголем фантазера с напрочь утраченным чувством реальности.

— А в Риге с этим делом просто,— не унимался я,— достаточно набрать номер телефона, и цветы доставят в любое время. С машиной аварийной службы.

— У нас тоже можно,— ответил он.— Только этим занимаются пожарники. Но сегодня у них выходной.

Пока Зелма принимала душ, я прошелся до конторки дежурной по этажу. В вазе у нее болтался художочный ландыш. В конце концов она отдала его мне с довольно оригинальным комментарием: вы, молодой человек, разыскиваете цветы, как лекарства от приступа стенокардии.

Ночью Зелма сказала:

— Опять ты уходишь.

— Неправда. Я никуда не ухожу.

— Нет, уходишь. Я же чувствую.

Ее руки обвили мою шею, ее колени сдвинулись, как тиски.

— Спать хочешь?

— Я слушаю, как стучит твое сердце.

— Не уходи,— сказала она,— не хочу, чтобы ты уходил.

— Я не ухожу. Я разлился в тебе, как вода в цветочной вазе. И заполняю все поры. Я весь уйду, испарившись через твою листву.

— Ты уже испаряешься. Мне нравится, ты тяжелый и твердый, как дорожный каток. А финские матрасы все же изумительны. Я тебе нравлюсь на финском матрасе?

— Ты мне нравишься в любом виде.

— Нет, а если конкретно: на финском матрасе?

— Все равно. Для меня ты никогда не бываешь на матрасе.

— А где же?

— Угадай.

Ее пальцы скользили по моей груди — как дуновение ветра по глади воды.

— Здесь?

— Ни за что не догадаешься...

— Здесь?

— Не скажу.

— Здесь?

Я поцеловал ее нежно-нежно. Водная гладь подернулась легкой рябью, постепенно превратившейся в волны, всех захлестнувшие собою. Я проникал, погружался, катился, плыл, омывался и тек. И она катилась, плыла, омывалась и впадала в меня, заодно и обволакивала, словно теплая, непрозрачная дымка, сквозь которую тем не менее открывались тысячи поразительных деталей зрению, слуху, осязанию, вкусу, обонянию. Мне хотелось съесть ее, выпить, пропустить сквозь пальцы, сжать в комок.

— Послушай, мы же сейчас свалимся на пол.

— Я хочу к тебе.

— Не открыть ли окно? Такая жара.

Обнаженное тело Зелмы поднялось и застыло.

— Подожди,— удержал я ее,— я должен сказать тебе нечто важное: ты лагуна моего кораллового острова при луне, ты мое мороженое. И знаешь что еще? Запах свежераспиленных досок, пестрая бабочка над белым цветком, музыка на катке зимним вечером...

— Ох, какая дичь, впрочем, ладно, можешь продолжать.

Мне стало так хорошо, сердце сжималось, хотелось кричать и в то же время смеяться.

В Таллинне мы пробыли до конца недели. В первой половине дня обычно Зелма куда-то уходила, чем-то занималась, остальное время проводили вдвоем. После морозов свалилась оттепель. С Финского залива налетали дожди вперемишку с мокрым снегом. Глупо было бы пытаться описать причину смеха, которым тогда мы

смеялись, слова, которые сами выговаривались, или счастливые безумства, от которых мы содрогались еще неистовей, чем оконные стекла гостиницы под напором морских циклонов. Теперь, когда от того времени отделяет не один год и зыбкие импровизации переплавляются в воспоминания, иначе говоря, в материал более или менее систематизированный, можно даже сказать — скадрированный, да, теперь мне совершенно ясно: это был апогей. Ничего подобного прежде я не знал. Да и потом во всей полноте испытать не довелось.

Воспоминания о таллиннской неделе в моей жизни занимают особое место. Иной раз проходят месяцы, и никакого Таллинна вроде бы нет. Поездами проносятся дни, а ты стоишь на переезде, наблюдаешь за мельканием вагонов, вот и все. Но иной раз, когда ветер швыряет в окно лаборатории мокрый снег, или на затянувшемся собрании среди томительных речей, или на перекрестке улиц, пока в ожидании светофора потираешь озябшие уши, — Таллинн тут как тут. Точнее, где-то в отдаленье, что и создает иллюзию близости. Как радуга после летнего дождя. К ней можно приблизиться, но дотянуться до нее невозможно, и расстояние — частица ее непреходящей прелести.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В тот день, когда я принял предложение Зелмы разыскать отца, у меня и мысли не возникло о последствиях. Само понятие «розыск» воспринял как синоним «увлекательного приключения», «найти» по смыслу для меня совпадало с «узнать», «раскрыть тайну». Безобидное развлечение на более или менее длительный срок — покуда самому не наскучит. Небольшая нервная встряска, разумеется, в расчет принималась кое с какими душевными переживаниями в придачу. Однако все это я относил главным образом к моменту самой встречи, сюрпризам первого свидания. А вовсе не к тому, что впоследствии. Поиски отца в моих фантазиях мало чем отличались, скажем, от археологических раскопок. Повезет — отлично. Нет — ну что ж, будем жить, как жили раньше.

Какая наивность! Это все равно, что, подпалив стог сена, надеяться потушить пожар. Со всей ясностью я это осознал в тот день, о котором сейчас расскажу. Это могло быть в конце февраля или в начале марта,

в любом случае — в субботу, когда мать не ездит на работу. Я возвращался из Риги домой электричкой 14.07 и сошел на остановку раньше. В местной школе мне предстояло провести занятие математического кружка. Но к школьникам в гости приехали шефы. И по дороге домой я свернул к морю. Вдоль берега тянулась воздвигнутая недавней бурей ледяная гряда. Вокруг меня все капало, текло и чавкало. Солнце светило так яростно, что глазам было больно, а в ушах похрустывало. Сквозь опущенные веки солнце вливалось в меня, теплое, румяно-желтое. К синевато-белой, еще зимней блеклости подмешивалась желтизна — верная примета близкой весны. Такое было ощущение, что с каждым мгновением мир разрастается, ширится. И мне самому хотелось расширяться вместе с ним, набухать, проникать повсюду, поспевать, настигать и схватывать. Но с возраставшим ускорением возникали и весенние перегрузки, ужимавшие меня до изначальных объемов, — так космонавта вжимает в кресло скорость летящей ракеты.

Домой пришел в отличном настроении, но такой усталый, едва ноги волочил. Поэтому когда в комнате матери увидел Яниса Зариня, чуть не плюхнулся прямо на ковер. Комната была залита солнцем и оттого казалась намного просторней, чем обычно. И Янис Заринь на фоне пронизанных солнцем занавесок казался намного больше, чем был на самом деле. Я видел каждую пору на его лице. Шрам поверх густых изжелта-рыжих бровей. Глубокие глазницы. Широкий туповатый нос.

Было не похоже, что он только вошел, проник сквозь оконное стекло, увеличенной фотографией на миг отразившись рядом с желтым солнечным пятном, нет, он тут находился давно, вполне реальный, плоть и кровь, с табачными крошками на губе, каплями пота на лбу. Прокуренный воздух был перенасыщен его словами. И еще, должно быть, словами матери (вполне понятно, Янис Заринь в комнате был не один. Мать сидела в большом кресле). Молчание казалось нарочитым, неестественным, вызванным моим неожиданным появлением. Они оба еще не остыли от речей; утаить это было невозможно.

Следующее, что бросилось в глаза, относилось уже к наружности матери. Новое платье. Сережки. (Я успел позабыть, что мать носит сережки!) Уложенные волосы показались коротковатыми, зато они трогательно при-

открывали шею и мочки ушей. Накрашенные губы. Подведенные веки. Стало быть, ее не застигли врасплох. Она знала, заранее приготовилась.

В Янисе Зарине никаких существенных перемен я не обнаружил. Галстук довольно элегантный, но его я видел не впервые. Брюки, как всегда, мятые, неотутюженные, башмаки прямо-таки требовали гуталина. Ха! Одна деталь приковала мое внимание. Расплывшаяся лужица под стопами Яниса Зариня. Она казалась столь же характерной для него, сколь нехарактерной для нашего дома, и в том, на мой взгляд, проступала отнюдь не мелочь быта, а некий символ.

Тут я подумал: дурень, чему удивляешься! Что за одним столом видишь свою мать и своего отца? Сюрприз и парадокс заключались не в открывшейся моим глазам картине, а в том поразительном и неестественном обстоятельстве, что до сих пор я их обоих представлял себе как двух отдельных, вполне обособленных индивидов, исключая при этом возможность, что они могут встретиться.

— Вы, кажется, знакомы.— Голос матери прозвучал подчеркнуто бесстрастно; если в нем и сквозила какая-то посторонняя интонация, то это, пожалуй, от напускного высокомерия.— Ну и слава богу. Мне было бы нелегко вас знакомить. Сына, который не сын. С отцом, который не отец.

Янис Заринь как-то странно скривился, словно проглотил что-то крепкое, подмигнул мне и сказал с усмешкой:

— Спокойствие. У нас с Калвисом фундаментальные отношения. Мы сродни с ним и духом и плотью.

В данной ситуации я решил сохранить дипломатический нейтралитет:

— Да, мы знакомы уже более года.

— Нет смысла от судьбы отбрыкиваться.— Янис Заринь по-прежнему сверлил меня взглядом. Хотя речь его лилась бодро, в пристальном взгляде все же чувствовалась неуверенность. Похоже, он рассчитывал на мою поддержку.— Те, кому суждено разойтись, расходятся, а кому суждено встретиться, встречаются. Кому суждено искать, ищут, а кому суждено найти, находят. Тебе не кажется, Калвис? В мои молодые годы была такая песенка: «Милый мой, не спеши, чему быть — то и сбудется...»

— Фатализм я принимаю с большими оговорками.

— Фатализм можно вообще не принимать, но есть нечто такое, что зовется судьбой. И что подытожил товарищ Шолохов — «Судьба человека». Не мытьем, так катаньем.

— Ты хотя бы знаешь, на каком факультете он учится? — Внешне мать как будто подлаживалась к тону Яниса Зариня. Но за ее усмешкой скрывалась скорее досада, чем добродушие.

— Ну, допустим, не знаю. Что из этого?

— Ничего.

— Почему это тебя раздражает?

— Ах, оставим! Не столь важно.

— Небезынтересно было бы послушать.

— Видишь ли, мой сын учится на самом сложном факультете университета. Если ты когда-нибудь забудешь, как он выглядит, сходи и посмотри: его фотография на Доске почета. Трижды защищал он честь университета на всесоюзных соревнованиях и олимпиадах. И этого, конечно, ты не знал. Не так давно мне по работе довелось встретиться с его деканом. На прощание он мне сказал: ваш сын один из атлантов факультета.

Громы небесные! По временам ей просто не терпелось выставить меня напоказ, словно кота с двумя хвостами. Мне хорошо была известна эта склонность матери к похвальбе, преображавшая ее настолько, что менялись жесты, манера говорить. Водилась за ней такая слабость. От стыда я как будто даже пискнул. Но рассердиться всерьез не смог и выслушал все глазом не моргнув. В таких случаях я чувствую себя взрослее матери, разумнее, сильнее. Объяснить это трудно, но всякий раз, когда она доставляет мне такого рода страдания, я люблю ее больше всего.

Янис Заринь тяжело качнулся в своем кресле. Всем своим видом он выражал недоумение.

— Ну и прекрасно, — произнес он, — просто божественно. Юлия, ведь я уже говорил: тебе жутко повезло. Честное слово, ты одна из счастливейших женщин, которых я знаю. Отчего же ты сердишься?

— Ты этого не понимал и не поймешь.

— И все же ты сердишься!

— Слишком много чести.

— Сердишься, даю голову на отсечение!

— Не такая я дура. Конечно же мне повезло.

Ее надтреснутый голос не сулил ничего хорошего. Резко оборвала речь, отвернулась. Ну вот! Этого еще не доставало!

Она никогда не плачет громко. Никогда от злости или из упрямства. Она плачет только от боли — от боли обиды, боли своей беспомощности, от всяких других болей, которые, пожалуй, и не сумею назвать. Стоит отметить: в плаче со всей яркостью раскрывается ее характер, как у некоторых он раскрывается в смехе. Ахиллесова пята матери — ее сердце.

Почему я допустил такое? Почему не попросил Яниса Зариня встать и уйти? Мне было жаль их обоих. Но главное — не мог избавиться от ощущения: еще несколько слов скажет он, еще несколько слов — она, и я наконец пойму причину их давнего разлада. Пойму их обоих.

— Ах, Юлия, Юлия,— как бы продолжая диалог с матерью, Янис Заринь опять повернулся ко мне,— ты рассуждаешь так, словно я сюда явился оспаривать твои заслуги. За кого ты меня принимаешь? За идиота? Само собой разумеется, Калвис твой сын. Ты его вырастила, поставила на ноги. Но есть же в нем что-то и от меня. Безусловно. Я бы бессовестно солгал, вздумай утверждать, что это мне не доставляет радости. Ну, хорошо, допустим, ты б тогда вышла замуж за архипорядочного, архиположительного мужчину. Какое счастье! Какая гармония! И вдруг выясняется — этот порядочный и положительный несет в своих генах врожденную стенокардию, болезнь Дауна или малокровие. Подумать страшно. А вот теперь полюбуйся на этого молодца! — Янис Заринь даже языком прищелкнул.— Ну, ладно, ладно, голова у Калвиса твоя. Но ведь голову положено носить на плечах. Я, может, и скверный человек, но от меня Калвису достались добрые плечи.

Тягостное напряжение спало. Янис Заринь достиг этого своими речами. И не столько смыслом их, сколько манерой разговаривать. Благодушным тоном, выразительными ритмами. Он попросту нес что попало, возводя словесные конструкции так же легко, непринужденно, как жонглер на арене цирка строит пирамиды из тарелок на конце шеста. А в промежутках еще и гоготал, захлебываясь от восторга, утюжил свои затиснутые в брюки ляжки и громко кашлял.

— ...Материнское молоко не способно ничто заменить. Ничто! В нем вещества, благоприятствующие раз-

витию мозга. Умных детей все хотят, а грудью кормить не желают. Да и нечем кормить. Современная женщина не отличается сочностью. Так что, Калвис, тебе тоже повезло. Корми тебя мать комбикормом для младенцев, вырос бы недоумком. Знать четыре, пять иностранных языков прежде считалось делом обычным. Меркель знал шесть, Райнис — семь, Вейденбаум — десять. Не понимаю, Юлия, как ты еще не задохнулась в своем журнальчике. От многоумных ваших эмансипид сплошной угарный газ, переходи к нам на ТВ, по крайней мере будешь среди нормальных людей. Помню, незадолго до смерти зашел к нам дедушка Каулинь. Потолковали о том о сем, потом дедушка Каулинь говорит: а не лучше ли поубавить шуму, не то половина пара в свисток уходит. Милая Юлия, заездила ты себя. Уж поверь мне — заездила. Этого не скроешь. Свозить бы тебя в Крым. Дать покупаться в теплой воде, по горам ползать. Чтоб душа отдохнула, чтобы щеки расцвели. Жизнь коротка. Как-то я беседовал с Пуссаром из литературного музея. Кто вам больше интересен — живые или мертвые? Думаете, разница так уж велика, ответил он. Сегодня жив, завтра помер. Такие вот дела, Юлия. Жить надо! Где достала это платье, на заказ шила или готовое купила? Теперешняя мода на широкие плечи не для тебя. Тебе идут нежные линии, облегающие. Помнишь, какое на тебе было платье, когда мы познакомились? Красное с белым горошком...

В какой-то момент он поднялся и вышел из комнаты. В передней звякнули вешалки. Немного погодя Янис Заринь вернулся и швырнул на стол новую пачку сигарет. Переполненная с горкой пепельница дымилась застухающим костром. Однако сам он не сел, а сказал:

— Ноги надо поразмять. Без движения мысли черствеют. Пойду посмотрю, как вы тут устроились.

Он снова вышел из комнаты.

Мать тоже поднялась. Раскрыла окно. Затем, обеими руками вороша свои завитые волосы, обошла вокруг стола. Не скажу, что она хорошо выглядела, тут Янис Заринь был прав. И еще почему-то казалось, она избегает смотреть мне в глаза. С некоторых пор всякий раз, когда в числе прочих попадалась и фамилия Яниса Зариня, я замечал, что матери становится не по себе. Такая принужденность в наших отношениях для меня была новостью, она нарушала наше согласие.

— Ну вот видишь,— проговорила она,— сплошное безумие. В самом деле не знаю, что теперь делать.

— Никакого безумия нет, и делать ничего не надо.—Из чувства солидарности я нарочно демонстрировал спокойствие.

— Он несколько не переменялся.

В прихожей с шумом захлопнулась дверь туалета. Янис Заринь возвращался, напевая вполголоса. На ходу энергичными движениями вытирал полотенцем свои большие красные пальцы.

— Прошу извинить,— сказал он,— но у этого утиральника оборвалась петля.— Полотенце, описав широкую дугу, опустилось на спинку стула.— Послушай, Юлия, тебе не кажется, что ты из-за меня позабыла о сыне? Парень вернулся из города, хочет вобрать в себя чего-нибудь теплого, а мы тут сидим, точим лясы.

Я видел, как мать встрепенулась. Про обед она вспомнила только сейчас.

А Янис Заринь, потирая ладони, так же напористо продолжал:

— Нечего мудрить, перебираемся на кухню. Поскольку сегодня суббота, ты, Юлия, сиди сложа руки и отдыхай. Мы с Калвисом поджарим яичницу, только треск будет стоять. Калвис! За дело. Мужчины должны быть активными. Тут женщины нас критикуют вполне резонно. Правды не утаишь.

Мать не сказала ни «да», ни «нет». Мне показалось, она и не слышала слов Яниса Зариня. А если и слышала, не очень-то вникала, навряд ли принимая их всерьез. Не сказать, что вид у нее был несчастный, скорее растерянный. Недовольный — вне всяких сомнений. И какую-то непонятную скованность я подметил в ней, чуждую ее деятельной натуре. Мне хотелось приласкать ее. Выражение лица у нее было такое, словно она только что выбралась из своей машины, у которой все стекла повысыпались и в гармошку смяты бока. Мне был знаком этот ее какой-то особенный взгляд, печальный, неверящий, но вместе с тем и смиренный.

Понятное дело, теперь не так уж трудно хотя бы в общих чертах объяснить, что произошло тогда. Янис Заринь не просто вломился — чисто механическим путем — в нашу стабильную молекулу; зарядом своего присутствия он изменил силовое поле, упразднив многие прежние взаимосвязи.

О том, что в данных обстоятельствах думала мать, могу лишь догадываться. Я же рассуждал так.

Ну хорошо, он ведет себя, как в собственном доме, что же из этого? Разве было бы естественней, если б он вел себя как посторонний? Он искренен, не ломается, не рисуется, он порядочен. Да, пробыв тут час-другой, успел вверх дном весь дом перевернуть; перепачкать, раскидать, надымить, рассыпать. Но где сказано, что наш педантичный музейный порядок — идеал? Быть может, в своем чересчур уж замкнутом мирке мы с матерью кое в чем переборщили? Мать по-своему права, но и Янису Зариню не откажешь в логичности суждений, и у него своя правда. Он человек иного склада. Хорошими манерами и тактом Янис Заринь не блещет. Но что-то притягательное есть и в его словоизвержении, и в назойливой громогласности. Интересно, каким бы вылепился мой характер, не расстанься мать в свое время с Янисом Зариным. О том, что материнское воспитание располагало меня к известной односторонности, сомнений быть не могло. Стал бы я более мужественным? Не исключено. Но и более поверхностным. Во всяком случае — другим.

Мать не последовала за нами на кухню. Меня это не удивило. Я тогда еще подумал: ну да, от своих принципов она так просто не отступится. А мне и в самом деле хотелось есть. Да и у гостя в животе бурчало. Я рассудил: раз мать столь откровенно выражает свое отрицательное отношение, стало быть, Янис Заринь в какой-то мере потерпевший и, принимая его сторону, я поступаю правильно. Мне казалось, что на этот раз, будучи с ним заодно, я проявляю великодушие не только к Янису Зариню, но и к матери. Большой мне неустанно втемяшивал в голову: «Человек обязан быть великодушным. Будь великодушным! Понятие великодушия нынче не в моде. В школах тому не учат, в газетах об этом не пишут. Все хотят только бороться, побеждать, обгонять, сокрушать. Однако ничто так не облагораживает человека, не возвышает его самосознание, как великодушие».

Мы мыли посуду, когда появилась Зелма.

— Собирайся скорей, — объявила она мне, сама не проявляя ни малейшей спешки.

Зелма приехала на такси, машина дожидалась у ворот. Я знал, что Зелма должна была пойти на вечер бывших одноклассников. В последний момент выясни-

лось, что некоторые девушки придут с мужьями, и она решила, что «явиться туда одной будет убожеством».

— А я и не знал, что ты уже муж,— рассмеялся Янис Заринь.

Я что-то отпарировал, но довольно бесцветно.

А Зелма ничуть не смутилась.

— Неженатые мужья куда интереснее и перспективнее.

— Это в каком же смысле? — спросил Янис Заринь с преувеличенным любопытством.

— Неженатые могут стать женатыми, а женатые неженатыми — никогда.

— Женатые могут стать дважды женатыми, а дважды героям, к вашему сведению, памятники ставят.

— Дважды мужья меня тем более не интересуют. Они неудачники. Или сами с изъязом, или с женой не повезло. Это все равно как на экзамене: желаешь, тяни второй билет, но отметка автоматически снижается.

По непонятным мне причинам Зелма у нас в доме чувствовала себя не слишком уютно. Особенно в присутствии матери она теряла аппетит к общению. На сей раз все обстояло иначе. В лице Яниса Зариня Зелма нашла настроенного с ней на одну волну партнера. Созвучие между ними было поразительное.

— Ладно, раз решили ехать, едем,— сказал я, беспокойно крутясь перед зеркалом уже в своем наиболее презентабельном виде. Должен признаться в слабости: в зеркало смотрюсь охотно. Себялюбие? Я досконально изучил как плюсы, так и минусы своей наружности. Коль скоро интеллектуальное развитие всячески поощряется, допустимо ли заботу о внешности считать предосудительной?

— Да, да, сейчас.

Из комнаты вышла мать. Они с Зелмой обменялись кое-какими вежливыми фразами. Затем Зелма простилась с матерью и Янисом Заринем. Я тоже простился с Янисом Заринем.

— Извините, что на сей раз так получилось. Да не в последний же раз.

Янис Заринь хлопнул меня по одному, потом по другому плечу. Глянул на меня грустно и снова радостно. Конечно же он ломал комедию.

— Убирайтесь и поскорее,— сказал он,— нечего извиняться. По любому поводу станешь извиняться, язык сотрешь. А с запчастями нынче туго.

Так мы расстались. Был уверен, что с Янисом Зариным встречусь через неделю или месяц, никак не раньше. Но вышло иначе. Возвращаясь домой ночью, я еще издали заметил в квартире свет. Решил, мать убирает дом, проветривает прокуренные комнаты. Собирался даже позвонить: мне нравится, когда мать открывает дверь. Но все же открыл сам. И сразу бросилось в глаза зеленое пальто Яниса Зариня, пальто с потертым воротником из овчины. Сообразил, что он еще здесь и что случилось нечто невероятное. Меня это поразило, я остолбенел и стоял, как пригвожденный, глядя на дверь: если мать не спит, почему не вышла навстречу? Даже когда ей случалось лечь в постель, она что-то крикнет или зазовет к себе поговорить. Почему на этот раз делает вид, что не слышит моего возвращения? Пульс подскочил куда-то к горлу. Перед глазами промелькнула воображаемая сцена в приглушенном свете алого ночника. Картина, правда, довольно абстрактная. В этом отношении мать находилась за пределами моей фантазии. Чисто теоретически я, разумеется, сознавал, что такая возможность не исключается. Что касается Яниса Зариня, тут дело другое. Зариня — с его огромным в складках животом — я очень даже мог себе представить участником рубенсовских вакханалий. Чему в немалой степени способствовали его обстоятельные высказывания о половой жизни вообще и деторождении в частности. Однажды, например, он сказал: «Молодежь почему-то считает, что любовные утехы всецело относятся к ним. На деле же нет никакой разницы — двадцать тебе лет или сорок».

Ну хорошо, решил я про себя, обиженный и раздосадованный, раз так, значит, так. Я тоже притворюсь. Света в комнате матери не вижу. В конце концов, уже ночь. У меня есть своя комната.

Но панорама, открывшаяся мне в моей комнате, была поистине апокалипсическая. Янис Заринь лежал на кровати в рубашке, книга в одной руке, сигарета — в другой. Ступни своих ног в пестрых носках он вытянул в сторону и задрал над куполом торшера, будто это были вызревающие на свету мистические плоды. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Возможно, долго. А может, всего лишь мгновение. Затем он сел на кровати, отложил книгу, бросил окурок в вазу и обеими

руками как-то очень буднично принялся почесывать волосатую грудь.

— Ты удивлен, что дело приняло такой оборот? Должно быть, я пожал плечами.

— А знаешь, я и сам удивлен. Ну что ж, как-никак мы родичи.

Мои мысли о спорте

Годам к тринадцати или четырнадцати я, низкорослый, упитанный паренек, неожиданно превратился в худющего дылду. С неприязнью, удивлением разглядывал себя в зеркало. Плечики узкие, грудь цыплячья. И вот как-то холодным осенним днем мне пришлось участвовать в кроссе. Пробежал сотню-другую метров, чувствую, больше нет мочи — дыхание сбилось, колет в боку, глотка горит.

И тогда, потрясенный, пристыженный, я решил, что надо заняться спортом. По двум вполне конкретным причинам. Во-первых, вернуть утраченное к себе уважение. Во-вторых, обрести человеческую наружность. Спорт в моем понимании — это движение к цели, сокращение расстояния между желаемым и возможным. Когда человек знает, чего он хочет, почти всегда отыщется возможность приблизиться к цели.

Вилма Рудольф, знаменитая Черная Газель, трехкратная чемпионка Римской олимпиады на коротких дистанциях, в детстве обратилась к спорту после частичного паралича ноги. Ирина Роднина занялась фигурным катанием, чтобы излечить легкие. Не так давно на международных соревнованиях по горному слалому победительницей оказалась девушка-хромоножка. Ее намерение встать на лыжи многие восприняли как дикую фантазию, она же, заказав ортопедические башмаки, все же решила попробовать.

Спорт, по-моему, та же гигиена: укрепляет здоровье, улучшает самочувствие и внешность. Это все равно что умываться или чистить зубы. Пока я не умылся, не почистил зубы, чувствую себя прескверно. А пробежишь положенные километры, появляются бодрость, хорошее настроение.

Спорт — это средство самого себя переделать, стать сильнее, выносливей, настойчивей. Обрести запас прочности.

Рандольф поражал физическими данными, но был совершенно не способен на какие-либо усилия. Философия у него была такая: раз можно делать то, что нравится, зачем принуждать себя делать то, что не нравится. А нравилось ему то, что давалось без труда.

Трудности спорта — это трамплин, прыжок с него приносит удовлетворение. Переплыть Ла-Манш нелегко. На лыжах добраться до Северного полюса еще труднее. Пробежать десять тысяч метров — нужна тренировка и еще раз тренировка. Зато какое чувство — сознать: это я могу!

Честолюбия у меня, возможно, было больше, чем у Рандольфа. Но бегать я, пожалуй, стал бы, даже окажись единственным обитателем планеты. Непременно!

Понятия «физкультура» и «спорт» для меня нераздельны. Не нравится мне, что в наше время их все больше обособляют. По-моему, это даже неэтично.

Хоккей меня интересует в минимальной степени. Хоккеисты — современные гладиаторы. Если тем или иным видом спорта увлекается так много спортсменов, значит, тут что-то не так.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Зелма о своих родителях всегда отзывалась в духе дифирамба. Ее отец — мечтательный, божественный, чудесный; мать — сказочная, потрясающая, грандиозная. Поначалу, пока я не узнал Зелму достаточно хорошо, мне казалось, она иронизирует, ломает комедию. Ничего подобного. Она действительно так считала. Зелма исповедовала своеобразный культ предков, она обожествляла своих родителей.

На словах ли, на деле, едва речь заходила об отце или матери, в мозгу у Зелмы происходил какой-то сдвиг. Нажималась какая-то кнопка, включался какой-то стартер. Трик-трак! В мгновение ока менялись характер, образ мышления, речь. Зелма становилась совершенно иным человеком. Никаких сомнений, никакого разномыслия. Независимости как не бывало. Начисто исчезал критический запал. К тому же подобные превращения происходили с такой поспешностью, сопровождались столь неумеренной восторженностью, что казалось — эта ее поразительная детскость, эти приступы почитания, безусловное признание родительской непогрешимо-

сти были для Зелмы не просто приятны, но доставляли ей истинное наслаждение.

Зелма звонила матери из университета, подробнейшим образом пересказывая повестку комсомольского собрания, какие на сей счет имеются мнения и правильно ли она поступит, если по тому или иному вопросу займет такую-то позицию. Зелма звонила матери в перерывах семинара по истории партии и перед голосованием на отчетно-выборных профсоюзных собраниях, звонила с вечеров, из гостей, из парикмахерской и ателье. Звонила матери, едва расположившись в колхозном общежитии, с перрона вокзала в ожидании электрички. Она звонила матери, обнаружив в магазине симпатичный материал, звонила перед матчем, чтобы сообщить о приближении дождя. Исходя из продолжительности разговоров, кое-кто мог заключить, будто они годами не виделись.

Предрасположенность к общению по телефону у Зелмы, вне всяких сомнений, была врожденной. Ее мать в этом смысле, на мой взгляд, побивала все мировые рекорды. Когда бы я у них ни появился, мать всегда разговаривала по телефону. Увидев меня, на мгновение прикрывала ладонью трубку, торопливо улыбалась, торопливо здоровалась, затем возобновлялся прерванный поток слов. О новой роли Вии Артмане и перестановках штатных должностей в Комитете по ценам, о взглядах на искусство Раймонда Паулса и о новых веяниях в системе профтехобучения. Разговор казался праздным и в то же время был полон руководящих указаний. Ронялись отрывистые замечания, слышались многозначительные вздохи, а туманные намеки не оставляли ни малейших сомнений в том, что где-то исподволь, подспудно зреет нечто важное и решающее.

— Похоже, твоя мать по вечерам свой служебный кабинет переносит в квартиру.

— Фи, как не стыдно! — возмутилась Зелма, на глазах преображаясь. — Учителя — люди общительные. Что же делать, раз у нее столько друзей.

Отец Зелмы в противоположность матери был неразговорчив. И вообще был из тех, кого не замечают. Обычно он или сидел за столом и ел, или покуривал на диване. Читал газету, смотрел телевизор, что-то мастерил. Но впечатление было такое, будто в комнате его нет. Даже когда его видишь. Я бы и теперь не смог описать его внешность. Не высокий и не низкий. Не

блондин и не брюнет. Иногда мне казалось, он намного моложе Яниса Зариня, иногда — вдвое старше.

— Отец у меня необыкновенный, — говорила Зелма. — У него потрясающее чувство юмора.

— Он случайно не архитектор? Из нагрудного кармана всегда торчат карандаши.

— Отец любит точить карандаши. Это успокаивает нервы. Карандаши можно затачивать где угодно — сидя в президиуме, на заседаниях, на семинарах и в комиссиях.

— А какую профессию он представляет?

— Есть такое общество книголюбов.

— Он там работает?

— Как он сам выражается: борется за то, чтобы книгу читали с нужного конца. Ты обратил внимание на существование такого общества?

— Нет.

— Ну и прекрасно, — усмехнулась Зелма. — Ни тебе, ни им от этого не хуже.

Тут я должен немного вернуться назад, к моменту, когда у нас в доме появился Янис Заринь. Итак, он лежал на моей кровати — сигарета в одной руке, книжка — в другой. Но в комнату перетащили раскладное кресло. На нем аккуратно сложены простыни, одеяла. Сие означало, что мать все одобрила и даже приняла посильное участие. Почему? Исходя из своих или моих интересов? Я ничего не мог понять. И пожалуй, не сумел бы объяснить, почему я так разволновался — от радости или досады. Что за этим скрывалось? Каковы намерения Яниса Зариня? Каковы намерения матери? Осталось ли в силе хотя бы слово из того, что оба говорили прежде? Зайти спросить у матери? Если бы мать пожелала что-то объяснить, сама бы вышла из своей комнаты.

— Да ты не беспокойся, — сказал Янис Заринь, — я могу спать на раскладушке.

— Исключается, вы — гость.

— Ну, дело хозяйское. Могу быть и гостем.

Из его последних замечаний я понял: от персональных пенсионерок он ушел.

Мы лежали в темноте и говорили о чем угодно, только не о том, что более всего занимало меня, а возможно, и его. Мы думали об одном, а говорили о другом. И это вносило в разговор излишнюю напряженность. Немного погода меня на сон потянуло. Последнее, что помню, —

Янис Заринь рассказывал о бое быков. Как бы ни был силен бык, его неминуемо ждет поражение, говорил Янис Заринь. Потому что природа его создала таким легковверным: стоит помахать перед носом красной тряпкой, и бык уже больше ничего другого не замечает. При помощи этой уловки за многие века заколоты миллионы быков. Но каждый новый бык родится таким же глупым, как и предыдущий. Никакого прогресса. Стало быть, разум имеет свой потолок.

Его умозаключение было неверно хотя бы потому, что, согласно новейшим исследованиям, бык вообще не различает цвета. Но я не успел возразить. Всегда засыпаю мгновенно. Примерно так, как спринтер начинает бег.

На следующий день, как всегда, проснулся в шесть. Янис Заринь хотя и не храпел, но шумно дышал, обеими руками обхватив подушку.

Обычно бывало так: я надевал тренировочный костюм, ставил на конфорку чайник с сиреной и выходил на пробежку. Когда чайник начинал голосить, вставала мать и заваривала кофе. Потом я умывался, одевался, и мы вместе завтракали.

Но тут в доме был Янис Заринь. Собирался он подняться вместе с нами или предпочитал еще поспать? Похоже, я не мог себе позволить поставить на огонь свистящий чайник. Повертелся у плиты, но, так и не чиркнув спичкой, вышел во двор. Радостно скуля, подбежал Кристалл. По мнению Кристапа, пес обладал данными выдающегося бегуна, на первый спортивный разряд тянул, уж это точно.

Когда я вернулся, все было как обычно. На кухне аппетитный запах кофе. Мать, уже одетая, расставляла на столе чашки, раскладывала ножи и вилки.

— Ну, как спалось? — спросила.

— Спасибо, отлично.

— Как хороши деревья в инее.

— У большого вяза рядом с магазином надломилась ветка.

Она приглядывалась ко мне, я приглядывался к ней. Взгляд у матери был слегка озабоченный, движения несколько рассеянны. Но в общем и целом настроение как будто хорошее. Больше на ее лице при всем желании ничего нельзя было прочесть. И никакие другие перемены в глаза не бросились. Возможно, она выглядела чуточку красивее, чем обычно. Брови темнее,

губы краснее, кожа матово-бледная. Впрочем, это могло быть и моим домыслом. На голове еще держалась вчерашняя укладка.

— Поедешь со мной? — спросил я, стараясь придать голосу как можно больше безразличия.

— Как же иначе!

— А он?

— Это его дело.

Грязную посуду по утрам мы оставляли в раковине. На этот раз я помыл свою чашку и поставил обратно на стол. Для завтрака у нас имелось всего две чашки.

А вечером почему-то не хотелось ехать домой. Не хотелось, и все. Еще с обеда стал придумывать различные предлоги подольше задержаться в городе. Наиболее приемлемым вариантом было бы поехать к Зелме. К Зелме мне всегда хотелось. На сей раз, однако, помимо желания поехать к Зелме налицо было и явное нежелание ехать домой.

Позвонил. Хорошо, сказала Зелма, жду тебя. После чего, разумеется, нежелание ехать домой совершенно померкло перед желанием увидеть Зелму.

От моей работы до Зелминого дома не слишком далеко. Шел, про себя напевая. Кое-кому со стороны это могло показаться подозрительным. Но я люблю про себя напевать. И когда бреюсь, тоже напеваю.

Ранней весной бывают чудесные вечера. Прозрачная румяно-фиолетовая заря держится долго. Люди смотрят, запрокинув головы, и не могут понять, что происходит. Все не так, как обычно. Все стало хрупким, легким, хрустальным.

В районе Чиекуркалнса высокие трубы ТЭЦ тоже рождали какую-то фантаσμαгорию — нечто вроде извержения вулкана цвета небесной манны.

Дверь открыл Зелмин отец. Взгляд его, как всегда, светился благодушием, которое, однако, больше скрывало, чем обнаруживало действительное настроение. О настроении скорее можно было судить по его движениям — то спокойным и любезным, то вдруг резким и нервным. Подчас я ловил себя на мысли, что его круглые, серые, учтивые глаза на самом деле исполняли лишь декоративную функцию. А настоящий орган зрения у него с таким же успехом мог скрываться, скажем, в дырочках пуговиц или крупнокалиберных ноздрях.

Впустив меня в прихожую, Зелмин отец тотчас исчез. Мать разговаривала по телефону.

— Зелминь, ты где,— прикрыв ладонью трубку, окликнула она рассеянно,— к тебе пришел этот... мальчик.

Не думаю, чтобы в ее намерения входило меня как-то поддеть. Просто ей нравилось называть меня мальчиком.

Зелма высунула голову из своей комнаты. Оттуда доносилось приглушенное жужжание фена. То, что Зелма была в халате, меня ничуть не удивило.

В общении с Зелмой я обычно проходил несколько строго разграниченных стадий, и к ним я шел последовательно, минуя одну за другой. Зелму же ничто не сдерживало. Не успела за мной закрыться дверь, как она бросилась целоваться. Поэтому первые моменты встречи у нас всегда получались довольно дурашливыми. Над чем Зелма, разумеется, смеялась, зубоскалила. А я себя в душе поругивал. Но иначе я просто не мог.

— Подожди,— сказал я,— у меня руки холодные.

— Холодные руки куда интересней, чем теплые.

— Я принес тебе гиацинт. А знаешь, когда-то гиацинт имел один-единственный цветок. Свою теперешнюю наружность он приобрел всего четыре столетия назад.

— Дай понюхать. У некоторых гиацинтов запах и впрямь четырехсотлетний. Нет, этот пахнет вполне сносно.

Она стояла, обхватив меня как столб, прижавшись всем телом. В таком положении нас и застала мать, внезапно открывшая дверь.

— Зелминь, не забудь о нашем уговоре. Через четверть часа ты должна быть готова. Это очень важно.

Мать Зелмы говорила торопливо и громко. Рост у нее был выше среднего, в комплекции что-то мужское — крупная, крепко сбитая. В моих глазах она была воплощением здоровья — щеки румяные, кожа белая, зычный голос, статная фигура.

— Хорошо, мама, я буду.

Удивило не то, что слова матери Зелма приняла беспрекословно. Поразительным был тон. В голосе Зелмы и намек не было на то, что она огорчилась, ни малейшего призыва, что ей неприятно, что, подчиняясь давлению, она хотя бы чуточку себя принуждает. Между Зелмой и матерью в самом деле существовало необыкновенное созвучие, лишь им одним понятная близость.

— Ты куда-то уходишь? — едва за матерью закрылась дверь, спросил я с нескрываемым удивлением.

— Да, мама хочет, чтобы я поехала поздравить с днем рождения тетю Олгу.

Подергивая меня за уши, обдувая теплой воздушной струей из фена, — совсем как вредное насекомое из аэрозольного баллончика с дихлофосом, — она сообщила, что тетю Олгу, собственно, можно было бы не поздравлять (этот склеротический божий одуванчик в кармане передника постоянно носит записку: нашего песика зовут Джериком), однако на дне рождения у тети Олги будет ее сын, председатель колхоза, которого повидать непременно надо, потому что у них в колхозе выделяют овчину. Если с ним удастся договориться, то скорняк, жена которого работает в управлении вместе с матерью, берется сшить дубленку.

Я слушал ее и кончиком пальца покачивал синие колокольца гиацинта.

— Вот теперь у меня и цветок есть, чтобы преподнести имениннице. Как говорил премудрый Соломон: радостью нужно делиться, разделенная радость — радость вдвойне.

— Во сколько ты должна быть там?

— А ты торопишься?

— Мне все равно. Не обращай на меня внимания.

— Вообще она живет далековато. В районе Саркандаугавы, возле стекольной фабрики.

— Ну что ж, провожу тебя до Саркандаугавы.

— Нет, отпадает. Мама все предусмотрела. Тетя Клара с бульвара Люлина заедет за мной на машине.

Настроение упало до нулевой точки. Я понял, что Зелме некогда, что я отвлекаю, ей надо собираться. Но и уходить ужасно не хотелось, я был огорчен, несчастен. Больших усилий стоило проститься. Мне казалось, я сам себя выволакивал из комнаты, как лебедка выволакивает пятитонный адмиралтейский якорь.

В прихожей мать со мной немного пообщалась.

— У Зелмы с тетей Олгой хорошие отношения. Несправедливо, когда молодые люди сторонятся стариков. Все когда-нибудь будем старыми.

Отец Зелмы молча стоял у нее за спиной и, добродушно улыбаясь, время от времени кивал головой. Как правило, когда мать Зелмы вскидывала на него свои лучившиеся здоровьем глаза. Идеальное созвучие немислимо без дирижера, подумалось мне. Хотя отца тут

всячески ценили, почитали, но дирижером семьи, похоже, все-таки был не он.

Очутившись на улице, я призадумался: что дальше? Хотелось понаблюдать за церемонией отбытия Зелмы. В кинотеатре «Тейка» шел забавный итальянский фильм, один билет в кассе, думаю, нашелся бы. Еще можно было поспеть к началу спектаклей почти в любой театр. Тем более в филармонию.

Нет, все не то. Я понял, как нужно провести остаток вечера. Меня ждал Большой. Мы не виделись целую неделю. Дровяной мешок, должно быть, пуст. В последнее время я не так часто вспоминал деда.

Совсем разогнать мрачное настроение не удалось, однако мысль о деде уладила душевную смуту, и сразу отлегло от сердца.

Большого я встретил в парке Зиедоньдарзс. Он шел по дорожке пружинистым шагом, размахивая руками, как физкультурник на параде. Если хотите представить себе внешность деда, вспомните портрет Кнута Гамсуна. Продолговатое лицо, высокий лоб, седые, коротко стриженные волосы. Седые английские усы. Большой терпеть не мог темной, солидной одежды. Костюмы и пальто обычно покупал готовыми, из дешевого материала, но сшитые по моде. И тогда на нем было чешское полупальто в желто-коричневую клетку, ярко-зеленые брюки. На голове кепка с длинным козырьком, в каких стрелки обычно выходят к стенду.

— Усталость после прогулки должна быть не в ногах, а в руках, вот тогда все правильно, — объявил он мне. Вид у него был необычайно бодрый. Я заключил, что для этого должна быть и какая-то особая причина, что вскоре и подтвердилось: учебник латинского языка, над которым Большой не торопясь работал вот уже десять лет, наконец, включен в издательский план, рукопись предстояло сдать в августе.

— Когда я умру, ты эту книгу мне в гроб положи. Обещаешь, Свелис?

Он взял меня за плечо, и мы остановились на дорожке. Я пребывал в полной уверенности, что дед выше меня ростом. Но тут выяснилось, что я на полголовы его перерос.

— Хорошо, хорошо.

— Нет, об этом я прошу вполне серьезно. Хочу, чтобы эта книга была при мне. И чтобы положил ее именно ты.

Обычно я избегал подобных разговоров. Теоретически, конечно, понимал, что дед когда-нибудь умрет. Но думать об этом не хотелось. Меня раздражало, что именно сегодня Большой упрямо развивал эту тему.

— Зачем? — спросил я как можно веселее, отводя глаза.

— Просто так.

— Все же интересно было бы узнать.

— Достаточно я тебя просвещал. Сам сообрази.

Под пышными бровями лукаво блеснули глаза деда. Рука на моем плече отяжелела. Он тянул меня в одну, в другую сторону, но я старался держаться твердо.

— Помнишь, на берегу Огре мы с тобой ловили солнечных зайчиков? Кинул шапку, ну, думаешь — поймал. Не тут-то было. Вот и знания та же штука...

— Объективно говоря, знания любого индивида постоянно пополняются.

— В том-то, Свелис, все дело. Чем умнее человек, тем большего он не знает.

Я ждал продолжения, но дед взял меня за локоть и повел дальше. Прошло немало времени, — чего только я не передумал, — прежде чем он опять заговорил:

— Нас было два брата, Кришьянис и я. Кришьянис взбунтовался против старого мира. Я не бунтовал. Но вот что самое интересное: мы с ним по сей день все еще спорим. Хотя Кришьянис уже лет сорок как в сырой земле. Если ты положишь в мой гроб эту книгу, у меня будет лишний аргумент.

Фотография Кришьяниса стояла у него на книжной полке. Засунув руки в карманы галифе, брат позировал во дворе Кремля. Фуражка лихо сдвинута на затылок, прядь волос прикрыла один глаз. В выражении лица было что-то вызывающее. Я знал, что, защищая революцию, он подавил три мятежа: в Кронштадте, Москве, Екатеринбурге. Из Ташкента изредка писал внук Кришьяниса — Владимир, расторопный парень моих лет, успевший объездить целинные земли, нефтепромыслы, БАМ. В данный момент Владимира интересовали бытовые условия в городке рафовцев под Елгавой.

— Ты говоришь совсем как древний египтянин, ожидающий суда Осириса. Можно подумать, ты веришь, что у врат царства теней все добрые и дурные поступки лягут на чаши весов.

Большой усмехнулся, на этот раз как будто больше по инерции.

— Эти вопросы, по правде сказать, тебе еще не доступны,— заметил он, выдержав паузу.— И это в порядке вещей. У всякой поры жизни своя точка зрения.

Вблизи я видел одну-единственную смерть человека. Года два назад умер наш сосед, немощный, желчный старик. Незадолго до смерти у него сломался зубной протез, и он лежал в гробу, странно искривив губы,— будто запыхался. Я наблюдал в окно, как провожавшие уезжали на кладбище и как потом возвращались. Примерно с час все было тихо и чинно. Потом послышались песни, шутки. Под конец молодежь, взявшись за руки, водила хороводы и плясала.

Куда более ощутимо я пережил смерть собаки. Ее звали Пробкой, она утонула во время ледохода. Я долго не мог примириться с тем, что Пробки больше нет. При виде опустевшей конуры меня охватывала такая жалость,— впору самому превратиться в собаку. Опустевшая конура мне снилась по ночам, и я просыпался от крика. Но это было давно, в детстве.

— В твоем возрасте я тоже смеялся над весами Осириса. Теперь я думаю, египтяне, пожалуй, были поумнее нас. Во всяком случае, в этих вопросах. Не забывай, что пять тысячелетий они ломали головы над феноменом человеческой жизни и смерти. Мысль о весах не так уж примитивна. Упрощенно, примитивно эту мысль воспринимаем мы. Весы, Свелис, должны быть. Должны быть весы! Все идет к тому. Все на это указывает. Ну, сам посуди, разве что-нибудь в природе проходит бесследно? Не допускаю и мысли, чтобы природа, этот скрупулезнейший селекционер, тщательнейшим образом отсеивающий физиологические свойства своих творений с целью постоянного их улучшения, осталась бы равнодушной к оскудению критерия совести. Да и на что вообще дается человеку совесть? Вот посмотри на того торопливого джентльмена, который перешагнул через ограду и топчет насаждения. Сначала ведь огляделся, не видит ли кто. Наказание ему не грозит, так чего ж он боится? Человек прекрасно знает, когда поступает дурно. И через совесть перешагивать никому не доставляет удовольствия. Все мерзавцы, предатели, притеснители обычно собой недовольны, несчастны. Их преследуют тяжкие недуги, душевные и телесные. И те, кто профинтил свою жизнь, тоже редко бывают довольны. Вот это и есть предчувствие Больших весов. ...Неверно говорят о человеке: ему много

лет. Годы не копятяся, годы уходят. Их у нас высчитывают. Как перед запуском ракеты высчитывают остающиеся секунды. Можно было бы сказать и так: время — это опорные мосты, которые постепенно убираются. Вот одна опора отошла. И еще одна. А затем из прожитого времени должен взлететь результат. Тут уж ни прибавить, ни убавить. Вступают в действие весы.— От ходьбы Большой разгорячился, он достал платок, вытер губы, стал промокать лоб.— Вот так, милый Свелис, только так...

Не хотелось особенно пристально разглядывать его, но выражение лица деда мне показалось излишне сосредоточенным. Все говорило о том, что чувствует он себя хорошо, настроение прекрасное. Глаза почему-то были сужены, словно свет заката слепил его. На самом деле солнце уже скрылось за домами улицы Революции. Воздух в парке был прохвачен не то дымкой, не то голубым туманом. Особенно вокруг деревьев, еще не оперившихся листвой. Снежные сугробы по краям дорожки таяли, крошились, слезились, казалось, их ноздревато-серые скаты сверлят и точат невидимые жучки. Мощные дорожки парка были похожи на шоколад с ореховой начинкой. Повсюду журчали ручьи.

— Надо бы пройтись до центра,— сказал Большой, оглядев вначале свои, потом мои ботинки. По мнению деда, обувь всегда должна блестеть. Что он на сей раз снизошел до известного конформизма, опять меня немного удивило.

— Тебе что-нибудь нужно? Я схожу и куплю.

— Могли бы вместе прогуляться,— сказал Большой.— Если ты никуда не торопишься. Заглянем в универмаг, нет ли кровяной колбасы. Да и селедки давно не пробовал.

И Большой в привычной для него манере принялся рассказывать о том, что соление сельди в тринадцатом веке впервые ввели голландцы, а венецианцы в средние века разбогатели и прославились отнюдь не стеклодувным промыслом, не производством зеркал, как некоторые полагают, а благодаря соляной монополии.

Мы вышли из парка. Дойдя до этого места, я без конца черкаю бумагу и все не могу подобрать нужных слов для описания увиденной картины. Но, может, то, что открылось нашим глазам, было не главным. Пожалуй, то, что нас тогда с дедом настроило на определенный лад, явилось отнюдь не извне, а вошло в со-

знание с разительной переменой городского пейзажа — как два различных следствия одной и той же причины. Как городские тротуары собирались стать сухими, так и мы собирались порадоваться их сухости. Мы были настроены на перемены, и нас трогало все, что открывалось глазам. Мы слушали весну, как слушают новую песню. Потом эту песню станут распевать повсюду, и хотя слова и мелодия будут те же, прежних восторгов они не вызовут, а потом эта песня вообще надоест, примелькается. И мы будем тосковать по новой песне. Летней или осенней.

А тогда мы оба были настроены на весну. И вечер казался прекрасным. Улицы запружены народом, впрочем, люди вели себя необычно. Было такое впечатление, что никто никуда не торопится. Людские толпы, в другое время оголтелые, теперь текли спокойно и размеренно. Небо над городом было лучистое, синевато-румяное. Сумерки медлили. И только тишина как будто нарастала. Привычные городские шумы тишине этой нисколько не мешали, как не мешают тишине деревенских вечеров мычание коров, лай собак и далекие голоса. Чем тише, тем отчетливей вечерние шумы, чем дальше они разносятся, тем меньше их чувствуешь. А вообще, завершая виток своей мысли, я должен сказать, что разница между нашими деревенскими и городскими ощущениями куда меньше, чем принято думать. Внешнее — всего-навсего отзвук внутреннего. А не наоборот. Мы переживаем то, что нам дано переживать. Тишину помню точно. Тишину, в стеклянных трубочках которой вспыхивал неон, тишину, с которой городские шумы скатывались, точно капли воды с листьев желтой кувшинки.

Большой любил со мной гулять по городу. Это было одним из его развлечений. Насладиться каким-нибудь городским районом, досконально изучить ту или иную улицу, осмотреть какое-то здание — на него частенько находила такая страсть. Примерно так же, как, по его собственным словам, иных охватывает желание прослушать какую-то симфонию или отведать какое-то особое блюдо.

В таких случаях Большой на глазах расцветал, становился говорливым, настроение у него поднималось. Походка обретала неспешную чинность — руки за спиной, шея вытянута, голова запрокинута. Асфальт разглядывать нет смысла, говорил Большой, там ничего не увидишь, кроме использованных билетов и окурков.

Смотри поверх голов, поверх вывесок и троллейбусных проводов, тогда увидишь то, мимо чего сотни раз проходил, словно незрячий.

Город он знал превосходно. Знал его историю; кто что построил, кто где жил. В каких парадных интересные витражи, на каких крышах примечательные флюгарки. Особый раздел его энциклопедических познаний составляли дворы и подвалы Старой Риги, средневековые склады и пассажи прошлого столетия, ансамбли в стиле модерн, барочные акценты, дома старинных обществ и театры. О Данненштерне и Рейтерне рассказывал так, будто знал их лично. А Хаберланд и Бауманис, Морберг и Пекшен были его друзьями в прямом смысле слова. С Большим я поднимался на холм Дзегужкалнс, чтобы осмотреть Ильгуциемс — древнейшую латышскую слободу при немецкой Риге, на речных трамваях катался к островам Даугавы, посещал пригородные усадьбы и первые фабрики.

В противоположность Большому, особенно любившему в Риге места вроде Конвента Святого Духа и площади Гердера, обеих Гильдий и двора Домского собора, меня привлекали более динамичные панорамы. Например, классический рижский пейзаж, распахивающийся с Даугавы, когда подходишь к старому городу по мосту. Этот ракурс кажется настолько знакомым, привычным, что, пожалуй, чуточку отдает банальностью. Но в этом силуэте, на мой взгляд, душа и суть Риги. Близки мне и переменчивые пейзажи, последовательно открывающиеся с улицы Горького при впадении ее в площадь Пилс. Или — когда от вокзала идешь бульваром Райниса.

— Мы могли бы заглянуть в старое здание, — неожиданно предложил Большой, когда мы вышли на улицу Инженьеру. — Давненько не бывал в той стороне.

Сказал он это с какой-то странной интонацией. Боялся в глубине души, что я могу не согласиться? Я ждал, что он в очередной раз станет сокрушаться о разбитой и невозстановленной брусчатке перед главным входом в университет. Но Большой остановился на одной из лестничных площадок и довольно долго стоял, как будто не было сил подняться выше... Наконец-то опустились сумерки. Картина и в самом деле открылась фантастическая: фасад университета казался совсем черным, похожим на гамлетовский Эльсинор. Одни окна светились изнутри. Другие горели огнями заката. Приглушенно,

но властно в актовом зале звучал орган, временами волнами накатывал голос хора.

За массивной дверью голоса и музыка окрепли. Это сумеречное помещение с металлическими колоннами мне всегда представлялось передней какого-то пещерного храма. Но тут я обомлел. Хотя конечно же знал, что вечерами, когда в актовом зале проходят концерты, наше старинное здание становится как лес, таинственным и гулким.

Прошлись по коридорам второго этажа, поднялись на третий. Большой ничего не рассказывал, ни о чем не спрашивал. Случилось так, что в «пещерный храм» вернулись как раз в антракте. Среди колонн стояли хористы во фраках и хористки в длинных платьях. С братьями Кокарами беседовал коллега Яниса Зариня — Валдис Чукур. Кокары, с развевающимися бетховенскими шевелюрами, раскрасневшимися лицами, казалось, еще не успели вернуться в этот мир после каденций Баха и Вивальди. На хормейстера налетела стайка девушек с цветами и вербами. Одна из них показалась как будто знакомой.

Не Элина ли из рундальского автобуса? Мы прошли от нее совсем близко, но она меня не заметила. Я до сих пор не могу разобраться: нужно ли здороваться со знакомым человеком, если он на тебя не смотрит?

Из университета мы пошли в универмаг. Там была примерно такая же давка, как в Межапарке, когда по лотерее разыгрывают «Жигули». Одна очередь стояла за мороженым, вторая за тортами, третья за карамельками в жестяных коробочках.

Магазинная атмосфера мне явно не по нутру, и я, должно быть, скрыть этого не умею.

— Ничего, ничего, Свелис, потерпи, одним духом сыт не будешь. Плоть тоже требует своего. Первая наиважнейшая задача жизни, что ни говори, — поддержать существование.

Меня в этом почтенном торговом объекте всегда охватывали воспоминания. Еще когда в школу не ходил, любая поездка «в Ригу» становилась праздником. Просторный гастрономический отдел рисовался сказочной страной изобилия. В программу обычно входило и посещение кафе при универмаге. Буфетчица в накрахмаленном белом халате, посверкивая щипцами из нержавеющей стали, любезно вопрошала: «Серп или наполеон?» Маленькой ручонке было трудно удержать косо

отрезанный ломоть батона, кружочки колбасы норовили упасть и укатиться.

— Знаешь, о чем я всегда вспоминаю? Ты мне когда-то купил здесь шоколадного человечка.

— Все это мелочи жизни, Свелис, мелочи жизни. Подумай о том, сколько мне лет. Если бы мне вздумалось припомнить все, что я когда-то здесь купил...

Не без труда отыскивали конец очереди за колбасой.

— Ну хорошо, — сказал Большой, — теперь я здесь задержусь *sine ira et studio*¹. А ты погляди, как обстоят дела в рыбном отделе. Если нет селедки, может, окажется копченая треска. Говорят, треска нынче расплодилась. К сожалению, за счет бельдюги и салаки.

Рыбный отдел помещался в другом конце зала. Вернувшись, я застал Большого примерно на том же месте. А очередь разрослась. За ним стояла девушка, и он с ней разговаривал. Девушка, к величайшему моему удивлению, оказалась Элиной.

— Так как дела с селедкой? С треской? Говорят, хороша и пеламида. И серебристый хек.

Из этих слов я заключил, что Большой, всегда крайне сдержанно относившийся к соседям по очереди, перед Элиной капитулировал.

— Вы здесь? — мне не пришлось разыгрывать удивление. — Я вас только что видел в университете.

— Я вас тоже.

— Разве концерт не из двух отделений?

— Из двух. Но второе меня не интересует.

— Можете познакомиться, — сказал я Большому. — Элина, *studiosa medicinae*. Мы однажды вместе ехали из Рундале.

— Мы уже познакомились. — Большой переглянулся с Элиной.

— Селедки нет. Трески тоже. В бакалее дают длинные макароны. Метровые. Настоящие спагетти.

В глазах Элины, совсем как в калейдоскопе, беспрестанно что-то менялось; то светлела синева незабудок, то переливались желтовато-карие тона. После совместной поездки в автобусе я успел забыть подробности ее внешности. Но синеву незабудок запомнил. В пойменных лугах Старой Даугавы мои любимые весенние цветы как бы вбирают в себя цвет неба.

¹ Без гнева и пристрастия (слова Тацита).

— Непременно купить! — так Элина среагировала на макароны.

— С томатным соусом и тертым сыром — объединение.

Элина высокого роста. Я легко могу представить ее себе на баскетбольной площадке вместе с Ритыней и Гринбергой в команде ТТТ. Или бросающей копье в манере Леолиты Блэдниеце.

Вернулись в макаронную зону. Элина меня сопровождала. Я узнал, что делать покупки — ее слабость, любимое развлечение. Элина смеялась и подтрунивала сама над собой, и все же меня поразило, как она загорелась: продираясь сквозь толпу, от возбуждения буквально дрожала. Начатый разговор оборвался. Элина нервничала, это было очевидно. Под конец нам все же досталось по связке макарон, чем-то схожих с пучками прутьев римских ликторов.

Местоположение Большого относительно колбасного прилавка значительно улучшилось. Будучи джентльменом старой закваски, Большой стал настаивать, чтобы Элина первой сделала покупку, но тут она объявила, что от покупки колбасы на сей раз воздержится. Я еще подумал: чего ради в очереди тогда стояла?

Выяснилось, что нам идти примерно в одну сторону. Я положил Элинины макароны в свой «дипломат».

Обратная дорога за разговором для всех прошла незаметно. У Элины судьба оказалась необычной — отец и мать погибли в автокатастрофе, когда она была совсем маленькой. До девяти лет жила в лесу с дедом-лесничим. Потом город, чужие люди. Мне показалось, что Элина понравилась Большому.

По правде сказать, это они шли вместе. Я со своим японским чемоданчиком плелся сзади, пропуская встречаемых. Большой смеялся, шутил, рассказывал о детстве (его дед по отцовской линии тоже был лесничим, о чем я услышал впервые), расспрашивал Элину о вещах, которые прежде как будто бы не входили в круг его интересов: о поведении насекомых в различное время суток, о лечебных свойствах лекарственных растений в зависимости от периода вегетации, о возможностях скрещивания древесных пород и т. д. Голос Большого звучал уже без хрипотцы. Спина как будто стала еще прямее, голова запрокинута с нарочитой молодцеватостью.

Когда мы остановились у нашего дома, я прикинул в уме: пригласит Большой Элину в гости или нет? Нет, не пригласил. Распростились на улице.

Поднимаясь по лестнице, Большой казался веселым, впрочем, несколько иначе, чем обычно: такой весь из себя лукавый, ироничный. И объектом иронии, похоже, были и сам он, и я, и Элина.

— Ну, разве не узнали мы много нового?

— Да, но она забыла забрать свои макароны!

Я уже произнес эти слова, когда меня осенила догадка.

Большой, разыскивая в карманах ключи, повернулся и как-то странно поглядел на меня.

— Сдается мне, Свелис, ты все же дурак.

★

**Из выступления Иманта Журиня
в Рижском училище прикладного искусства**

(У Зелмы не было приглашения. Она проникла в зал, назвавшись корреспондентом журнала «Сельская жизнь».)

★

Художника средней руки огромный поток информации может захлестнуть. Для крупного художника — он хлеб насущный.

★

Всегда, во всем смотреть в будущее.

★

Не нарадуюсь способности молодых быть талантливыми.

★

Нужно иметь смелость до конца быть честным и правдивым, если собираешься творить для вечности.

★

Латышское искусство всегда чуждалось декоративности и всегда оставалось прикладным и содержательным.

★

Основа основ мира — человеческие отношения. Высочайшее мастерство, совершенная техника, превосходные материалы, эффективные научные достижения — это хорошо, но грош всему цена, если нет соответствующего уровня человеческих отношений.

★

Народу своему желать лучшей доли, чем самому себе.

Заметки

Избегать речи декоративной, стремиться к речи деловой и содержательной.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В день студента в старом Рижском замке строительные отряды устроили внушительный слет в университетском масштабе. Торжественную часть дополняли различные увеселения: самодеятельные выступления, показ мод и дискотека. Лично я был свободен от каких бы то ни было поручений по этой части, поскольку со стройотрядами никак не связан. Имелся даже весьма уважительный повод вообще уклониться: соседи по дому в Вецаки смолити гудроном крышу. Но Зелма больше ни о чем не способна была говорить, только о предстоящем вечере. Если не хочешь, не приходи, объявила она полушутя, но с обидой в голосе. И затем перечислила всех парней, с которыми она в таком случае будет и с которыми не будет танцевать. С этой же целью в Доме моделей она заказала себе туалет из демонстрируемой коллекции. Зелма полагала, что ей как инициатору программы следует участвовать и в показе мод.

За несколько дней до слета Зелма передала мне ноты и попросила сыграть посвященную стройотрядам песню с довольно остроумными словами — дружеский вклад студентов консерватории.

— И это тоже ты организовала?

— Разумеется.

— И сама собираешься спеть?

— Представь себе — да! Жаль только, ты не услышишь.

Но все это были только разговоры. Относительно моего участия сомнения быть не могло. Раз участвовала Зелма. И все-таки ненасытность, с которой она из одного омута интересов бросалась в другой, вызывала во мне недоумение. Строительные отряды были ее теперешним коньком. Очередное увлечение, при котором «все ставилось ва-банк». Зачем ей это нужно? Ведь она отнюдь не отличалась той энергичностью, силой и сметкой, как это могло показаться в первый момент. Я-то знал, как она волнуется, нервничает, переживает даже перед пустяковым выступлением в мало-мальски людной аудитории, всем телом дрожит, сжимается в комочек, на нее иной раз больно бывает глядеть. Потом начинались мигрени, периоды апатии, когда она, чуть живая, по нескольку дней кряду валялась в постели, с трудом приходя в себя. Я не раз пытался поговорить с Зелмой на эту тему, но безрезультатно. Мысли ее отклонялись, растекались.

— А почему бы нет? — обычно возражала она, удивленно вскидывая свои длинные ресницы. — В молодые годы надо развиваться по горизонтали.

— Все же исходя из определенного круга интересов.

— А если этот круг постоянно расширяется?

Когда я упрекнул ее в том, что она мало работает и много представляет, Зелма в ответ как обрубилась:

— У тебя взгляд типичного выходца из средней прослойки. Эти люди стеснительны до идиотизма. Настоящие провинциалы.

Выпяченный подбородок Зелмы выражал безграничную самонадеянность. Так и казалось, у нее на лбу написано: вера моя несокрушима. Во что именно она верила, оставалось загадкой. Да это и не столь важно. Важен факт наличия веры. Я допускаю, как раз это многих и приводит в восторг. Возможно, поэтому Зелма имела успех.

В Замок я приехал прямо из лаборатории. Зелме как устроительнице давно полагалось там быть.

Стройотряды собирались в сквере, возле памятника Стучке или у сада скульптур. С транспарантами и вездесущими гитарами. Мелькали пестрящие наклейками рабочие блузы. Линялые, заношенные, они были красочной деталью парада. Эти робы, надо думать, драились, стирались и гладились так старательно, как ни один выходной костюм; патина романтики не должна быть слишком натуральной и в то же время действовать как эстетический элемент.

У входа за порядком следил «административный патруль» во главе с боссом юрфака Гарокалном.

— Не обессудьте,— сказал я,— вместо приглашения у меня с собой лишь проездной билет.

— Ладно, ладно, лихие танцоры проходят вне конкурса.

В гардеробной плавно, словно лебеди по-над озером, выступали девушки. Не знаю почему, но прихорашивающиеся перед зеркалом девушки всегда вызывают во мне лебединые ассоциации. В молодых людях приподнятость была менее заметна. Парни были настроены более деловито; как те, что щеголяли в свитерах и джинсах, так и те, что блистали белизной сорочек, яркими галстуками. И тут я подумал: если бы, подобно тому, как избирают «мисс Гимнастику» или «мистера Баскетбола»,— если бы нам предложили избрать на этом вечере «Студента 80-х», на ком бы я остановил выбор? В самом деле, каков он, студент 80-х? Может, перевелся уже характерный студенческий тип, может, студент стал таким, «как все»? Один из великого братства современности: «Таков, каким желаю быть». Пожалуй, прав художник Калнрозе: у серого цвета тысяча тонов, а красочность подчас на редкость однообразна.

Электроника разносила песни революционного содержания в модерновых ритмах. Как обычно, когда собирается много людей приблизительной общности, вступала в силу локальная гравитация. Возникали интимные группки, кивали знакомым, искали своих, занимали места для друзей.

Никто из факультетских на глаза не попался. Сел среди будущих реформаторов экономики, с которыми познакомился год назад на конкурсе ораторов, а затем

в совместной экскурсии в Ленинград. У их комиссара Аусмини с собой оказалась сумка с яблоками.

— Раз попал к экономистам, используй время экономно, набирайся витаминов.

Мне было не по себе. Пропал аппетит, я вертелся из стороны в сторону, почему-то нервничал. Потом гляжу: кто-то энергично машет рукой, зовет меня к выходу. В чем дело? А что, если...

— Спускайся вниз,— крикнул парень из группы Гаракална,— там какой-то тип скандалит. Под градусами. Порывается пройти. Ссылается на твою персону.

— Калвис, дружок, сдвинься с места,— подала голос Аусминя.— Ты стоишь на ремне моей сумки.

— Извини, я не нарочно.

— Не расстраивайся, Калвис, похоже, это недоразумение. У тебя крупнотиражная фамилия...

— Нет, именно тебя он хочет видеть, тут никаких недоразумений,— настаивал парень.— Без хамства мир, пожалуй, был бы несовершенен.

Конечно же, это игра воображения, результат волнений, но когда я очутился в проходе, мне стало казаться, будто все только и делают, что смотрят на меня: как я продираюсь сквозь толпу навстречу потоку, как выхожу из зала перед самым началом. И еще казалось, независимо от того, что меня ожидает внизу, неловко и стыдно от самого факта подобного вызова: из пятисот или шестисот присутствующих скандалисту понадобился не кто-нибудь, а именно я.

У входа стоял Рандольф. По правде сказать, я каким-то образом это предчувствовал. Пахнуло винцом. Но, зная Рандольфа, я тотчас сообразил, что на сей раз не это главное. Он казался больше растерянным, чем пьяным. Бледный, глаза какие-то бешеные. Чтобы понять всю дикость такого состояния, следует учесть, что щеки Рандольфа обычно заливал румянец, словно ему надавали пощечин. А глаза у него чаще сонные.

Вообще тут самое подходящее место дать более или менее развернутый портрет Рандольфа. Он любил повторять: «Меня в жизни уже били по башке». Однажды, в минуту затмения, няня Рандольфа попыталась убить его спящего. Причем из жалости: ей померещилось, вот-вот начнется война, куда более страшная, чем мгновенная смерть. Рандольф тогда чудом уцелел: боковые стенки кровати помешали няне сделать хороший замах.

Подростковый возраст преобразил Рандольфа. В короткий срок маленький мальчик превратился в дылду (рост Рандольфа 187 см). У него у первого в классе пробились усы. Пошли слухи о загадочных проделках Рандольфа в мальчишеской уборной.

В известный период всех начинают волновать вопросы пола. Однако Рандольфа его новая ступень возмужания попросту изводила. Он постоянно собирал информацию, разрабатывал планы, как поскорее теорию проверить на практике. Тот факт, что, уже будучи мужчиной, он им еще не стал, угнетал Рандольфа невероятно. Я тоже задумывался над подобными вопросами, но без особых волнений. Не столько страдая от неопытности, сколько от излишней робости, нередко дававшей о себе знать в моих взаимоотношениях с девушками.

Затрудняюсь сказать почему — может, чтобы побороть стеснительность или придать себе смелости, Рандольф довольно скоро сжился с новой ролью: разыгрывал из себя нигилиста, прожженного циника. Результат не замедлил сказаться. Девочки к Рандольфу относились по-разному: одни сразу отшатнулись, другие, напротив, проявляли повышенный интерес. Рандольф открыто проповедовал свои взгляды в духе усвоенной им роли: милая Гретхен, ты мне не подходишь, я коллекционирую форсированных, у которых штанишки на молнии. Не исключаю, впрочем, кое-что из этого было в нем природой заложено. Или проявилось позднее, после достопамятного удара по башке. Рандольф, например, редко пользовался расческой. Он считал себя причесанным, пропустив сквозь волосы пятерню. Никак не мог согласовать движения рук и ног. Это выглядело в высшей степени комично. Рандольф мог испортить любой строй. Тем более, что благодаря своему росту он обычно шагал в первом ряду.

По натуре Рандольф был добродушен, отзывчив, но крайне обидчив и вспыльчив. Как-то осенью, когда мы были в колхозе на картошке, он столкнул в пруд щуплого парнишку за то, что тот назвал его дубиной стоеросовой.

— Oh, joder cojones, — увидев меня, прохрипел Рандольф. — Пол-Риги объездил, тебя разыскивая. У меня, понимаешь, серьезный разговор. Веская причина.

Не знаю почему, но мне ужасно не хотелось слышать об этой причине. Внешне я пытался сохранить

спокойствие, а в душе был на грани паники. Полон смутной неприязни к Рандольфу, будто уже в рукопожатии его таилась угроза.

— Хорошо,— сказал я,— пройдем в сквер.

Безусловно, я тем самым проявил малодушие. Настроение все больше портилось. Мне хотелось увести Рандольфа куда-нибудь подальше, в укромное место. Но тут вмешался Гарокалн. Вопреки моим желаниям.

— Чего уж там,— сказал он,— проходите в зал.

Взгляд его был красноречив: вот не думал, что у тебя такие друзья. Впрочем, мне-то что. Под твою ответственность...

— Хочешь потанцевать?

— Дай отдышаться... Какая мерзость. Что-то надо сообразить.

Пока мы шли, я разглядел на рукаве Рандольфа большое свежее пятно. Костюм на нем был мятый и влажный.

— У вас что, в программе водные экскурсии?

— Жуткая мерзость...

Выражение лица у него постоянно менялось, а рот выговаривал одно и то же. Может, потому что Рандольф не мог собраться с духом, а может, не мог собраться с мыслями. Но, возможно, в нем опять просыпался актер. Интригуя таким образом, он оставался хозяином положения. Не исключая, он намеренно истязал и меня, и себя, творчески соединив садизм с мазохизмом. Так мне тогда показалось.

Торжественная часть уже началась. Зелма сидела в президиуме рядом с красным стрелком. В своем новом платье выглядела она эффектно. Именно на том месте, где сидела: по контрасту с блеском боевых регалий ветерана. Более символичную композицию трудно придумать: жаждущая жизни цветущая юность и упокоенная славой почтенная старость. Операторы кинохроники, фоторепортеры, слепя вспышками и юпитерами, работали в поте лица.

Ректор говорил деловито и сдержанно, безупречно сплетая точно отмеренные фразы. Я делал вид, что слушаю, а сам пытался отгадать, что там стряслось у Рандольфа. Я действительно слушал. Еще как! Голос ректора звучал убежденно, напористо, смело. Каждое слово известно, каждая фраза понятна. Господи, до чего слова бывают просты, спокойны, привычны. С какой стати мне слушать Рандольфа? Пока звучит голос рек-

тора, я в безопасности. За каменной стеной. За крепостными воротами. Слова падают, как мешки с песком, как гранитные глыбы... мы являемся свидетелями радостного события, огромное признание, заслуженное нашим коллективом...

Посмотрел на Рандольфа. Тот сидел, понутив голову, словно позабыл обо мне. Выпятив нижнюю губу, сдувал спадавшие на глаза волосы.

Чего я психую, почему непременно жду чего-то дурного? Все в порядке. Сажу и слушаю. Рандольф тоже сидит и слушает, и нечего волноваться, все вполне солидно, оптимистично. Да и что может случиться дурного в атмосфере столь высокой сознательности, энтузиазма...

Должно быть, Рандольф превратно истолковал мой взгляд, прочитав в нем вопрос.

— Дело дрянь, от «Денатурата» остались рожки да ножки...

Бурные аплодисменты заглушили его слова. Оркестр грянул марш. На сцену вынесли знамя. Среди победителей была и Зелма.

Вдруг до меня дошло: я тоже хлопаю в ладоши. Весь в напряжении, и в то же время вроде бы с чувством облегчения. Ожидал-то я худшего.

— Рожки до ножки? — переспросил я.

— Смятая хлопушка. Металлолом по тридцатке за тонну.

— Кто-нибудь наехал?

— Нет, все проще.

— Не понимаю.

— Думаешь, я понимаю? Врезался в оградительные столбики. У какой-то речушки. Да так здорово кувырнулся, думал, уже в раю. Ан нет, прислушался — водичка плещется, будто в ванне купаюсь. А на зубах льдинки похрустывают. Соображаю, откуда же лед? Оказывается, стекло ветровое вдребезги. Затмение нашло. Если только это тебе что-то объясняет.

— Представляю.

— Сомневаюсь. У таких, как ты, затмений не бывает. Затмения бывают у таких, как я. Все шиворот-навыорот — не так посажен, плохо удобрен.

— Никто не пострадал?

— Что значит — «пострадать»? Думаешь, те, кого в гроб кладут, очень страдают? По крайней мере была бы нормальная трагедия. А в мокрых портках стоять

перед грудой железа — это даже не комедия. Жалкий фарс.

— Я бы на твоём месте радовался.

— Мерзость, старичок. Меня тошнит в буквальном смысле слова.

— Может, сотрясение мозга...

— Особенно когда думаю о предстоящем объяснении с родителем. В автоинспекцию сообщил? Нет. С места происшествия сбежал? Сбежал. Чудовищно, не правда ли?

— Раз не было столкновения и никто не пострадал...

— Видишь ли, старичок, есть еще такая вещь, как страхование. Везде требуются бумажки. А бросить машину в реке... Родителю завтра в лучшем случае достанется на память номерной знак.

С переднего ряда к ним повернулась ироническая физиономия:

— Послушайте, товарищ Озеров, нельзя ли закруглить репортаж? Или убавить звук. На трибуне хорошенькая девочка.

Когда это Зелма успела добраться до кафедры? Говорила она в своей обычной манере. Вроде бы интимно, в то же время официально. И конечно же интеллектуально. Голос чуточку дрожал от волнения. Уловить смысл ее слов было не просто, тем более что я не слышал начала. А вообще она говорила о том, что всякая честная работа — это самоутверждение и что честность — в то же время и красота. Самоутверждение всегда было одним из коньков Зелмы, я бы даже сказал, ее бзиком. А красота в ее философии означала совершенство.

В тот момент, к сожалению, мое влюбленное сердце язвила не одна стрела, как это обычно изображают на романтических эмблемах, а целых три. Мне хотелось слушать Зелму, но я не мог остановить Рандольфа. Соседей наши разговоры раздражали.

— Может, нам все-таки выйти?

— Основа основ мира — человеческие отношения, — говорила Зелма. — Высочайшее мастерство, совершенная техника, превосходные материалы, эффективные научные достижения, головокружительные экономические показатели — это хорошо, но грош всему цена, если нет соответствующего уровня человеческих отношений.

Рандольф, шаря по карманам, окинул зал рассеянным взглядом.

— Ладно, чего там, не бери в голову.

— Еще будет выступать красный стрелок, ветеран.

— Пускай выступает.

— Зелму дослушаем?

Рандольф бросил взгляд в сторону президиума. Думать о Зелме в данный момент он, очевидно, был не в состоянии.

Рандольф провел по лицу ладонью, словно у него от усиленного чтения устали глаза или голова разболелась. Это понятно, подумалось мне, никак в себя не придет. Но потом я заметил: он плачет. Не то чтобы плакал по-настоящему, всхлипов не было слышно, даже веки не дергались. Но глаза потихоньку слезились, как слезятся они на ветру и на холоде.

— Думаешь, она — Агрита, да?.. — фразу Рандольф подкрепил определением, которое позволю себе опустить. — Как бы не так. На самом деле ее зовут Анастасией.

Мне казалось, что было бы разумней нам уйти из зала, но я понимал, что Рандольфа сдвинуть с места навряд ли удастся. Уже который раз повторял он бранное слово. Будто надеялся, что станет легче. А легче не становилось.

— Старшую сестру звать Стефанией. Младшую — Вероникой. Та еще семейка. Из отца может получиться хороший церковный староста. Хоругвеносец.

— А-а-а...

— ...И вот представь себе: такая полумонашка вырывается из-под родительского надзора. Простота. Навняк. Дура безмозглая...

— Об этом расскажешь в перерыве...

— А пошли они все куда подальше...

— Послушай, Рандольф...

— Мерзость... Нелепица... В больницу я к ней не пошел. Злость разбирала. Думал, увижу, за себя не поручусь. И вдруг эта идиотка, эта чокнутая убегает из Риги. Бросила работу, выписалась и укатила к себе. Можешь представить? Пишу ей четыре письма. Ни гу-гу. Потом отвечает Стефания: Анастасия ни с кем не разговаривает, из комнаты не выходит. А сегодня я, как сумасшедший, сорвался, поехал туда...

Рандольф посмотрел мне в глаза, рассмеялся. И так громко, что и в президиуме наверняка услышали. У ме-

ня затылок онемел. Не оттого, что привлекали внимание. А оттого, как Рандольф посмотрел.

— Подрулил к дому, выключил зажигание. Улочка немощеная. Сижу час. Вокруг машины бродят утки. Лает собака. Хотя бы кто-нибудь в окно выглянул. Не выдержал, захожу. Агрита встречает меня посреди комнаты. Говорю: вот пришел к тебе свататься, или как там в наше время это называется! Таращится на меня, как на привидение. Если ты еще раз приедешь, я утоплюсь. И бьет по мордасам. Это меня, понимаешь... Можешь такое представить? Чудовищно, правда?..

Все как будто просто и понятно, в то же время бред полнейший. Я молча смотрел на Рандольфа, ждал продолжения. Жаль было его. Тут никаких сомнений. И не только жалость я чувствовал. Не только жалость ощутил бы любой из нас, если б у него перед глазами его друг обуглился или, скажем, превратился в сосульку. Об этом Рандольфе, сидевшем рядом со мной и во всем остальном похожем на известного прежде Рандольфа, я не знал решительно ничего. Не имел ни малейшего представления о причинах, заставивших его поступить именно так. Я тогда подумал: почему бы ему то, что он поведал мне, не выкрикнуть на весь зал? Почему бы ему не начать скандировать: браво, Анастасия! И вдобавок не выкрикнуть то прилипшее к языку бранное слово. Взгляд у Рандольфа был такой, будто он ладонью прикрывал разверстую рану в подбрюшье, прикидывая в уме, в какой из юпитеров киношников ему шарахнуть-ся лбом.

Объявили перерыв. И — слава богу. Все-таки передышка. Хотя никакой передышки не было. Я по-прежнему не знал, что делать. Но зал ожил, зашумел, мы очутились в людском водовороте.

— По-моему, надо съездить посмотреть, что там с машиной, — сказал я Рандольфу.

Рандольф не ответил, только поморщился.

— Пошли! — произнес я решительней, сам упиваясь своей активностью. — Пойду разыщу Зелму. Хорошо? Жди меня здесь. Договорились?

Предчувствие меня не обмануло: Зелму я отыскал за кулисами. На залитой огнями сцене ректор о чем-то спорил со старым стрелком. Похоже, и Зелма принимала участие в споре. Во всяком случае, с заинтересованным видом стояла рядом, ловя каждое слово.

Я крутился, вскидывал руки, чтобы Зелма поскорее на меня обратила внимание. Из кожи лез. Глупо, разумеется. Минутой раньше, минутой позже, дела не меняет. Зелма всегда на что-то нацелена, у нее нет привычки озираться по сторонам.

В причудливых «костюмах для работы» на сцене показались манекенщицы Дома моделей, ни дать ни взять туристки с другой планеты. Красная драпировка исчезла. Возник небесно-голубой проспект. Техник отлаживал микрофоны. Начальница манекенщиц, полная дама в летах, в противоположность своим подопечным имела вид вполне нормальной советской женщины. О чем-то переговорила с нашим секретарем, потом отошла в сторону Зелму. И тут наконец Зелма заметила меня.

В телеграфном' стиле пересказал услышанное от Рандольфа.

— Бросить его в таком состоянии было бы свинством,— добавил я от себя.

— Об этом не может быть и речи.

— Так что не сердись. Мне, конечно, неприятно, что тебе придется танцевать с Илдафоном и Гунтаром...

Она взглянула на меня с усмешкой, но без кокетства.

Известие не потрясло ее нисколько, даже не огорчило. Пожалуй, наоборот. Мне показалось, дурная весть привела ее в восторг. Брови Зелмы выгнулись, застыли, уголки губ покривила задумчивая складка, что было столь же характерной приметой, как шевеление хвоста у тигра перед броском. Так Зелма возгоралась, заряжалась энергией. Очевидно, у нее в голове вызревал какой-то план, настолько интересный и захватывающий, что все прочее отодвигалось, перечеркивалось.

— Грандиознейший конфликт современности,— сказала вслух Зелма.— Не понимаю, как я сама до сих пор не попала в аварию...

— Рандольф совершенно потерян.

— Еще бы!

— Завтра тебе позвоню.

— Подожди! Я еду с вами. Но после показа мод. Сейчас не могу.

Слова Зелмы, будто удар каратэ, поразили нежнейшие центры. Я даже как-то обмяк, ибо знал, что значит для нее пожертвовать танцами!

Сразу после демонстрации мод мы спустились вниз. Зелма присоединилась к нам в гардеробной. Пока Ран-

дольф разыскивал свою куртку, Зелма как бы невзначай прижалась ко мне и тихо спросила:

— Ну, как впечатление?

— Да ты всех манекенщиц за пояс заткнула.

— У меня, как назло, текст из головы вылетел. Наугад шпарила. Было заметно?

— Нисколько!

— Врешь, чертяка! — Зелма подергала меня за нос.

Вернулся Рандольф. Он плевался и нанизывал одно испанское ругательство на другое.

— Не плюй на пол,— сказала Зелма,— ты в общественном месте.

— Не на пол, сам на себя плюю.

— И себя побереги на крайний случай,— продолжала выговаривать ему Зелма.

— Состояньице, скажу вам, хоть вешайся. Ей-богу!

— Прекрати! Сейчас разработаем план действий. Ну-ка, дыхни! Нет, милый, к автоинспекции тебя на пушечный выстрел подпускать нельзя. Придется поступить иначе. Отправимся к тебе домой и постараемся убедить твоего папеньку, что ты у нас хороший. Мы ехали все вместе, как вдруг на дорогу выскочила кошка. С кем не бывает? Водки ты выпил потом, от простуды. Одежда мокрая, сам мокрый, к тому же нервный шок. Дальше пусть обо всем твой сеньор позаботится. Заявит о происшествии, получит на руки справку. Солидная внешность внушает доверие. Особенно седины. Надо полагать, он и без того будет взволнован, так что разыгрывать придется в минимальной степени. Согласен?

Рандольф смотрел на Зелму неверящим взглядом и в то же время как бы в экстазе. Как будто она была привидением, которое ему, почти утопленнику, в крошечной тьме бурного моря бросает спасательный пояс.

— Ты это серьезно?

— Моральную часть мы берем на себя. Это сущие пустяки,— продолжала Зелма.— Неужели ты думаешь, что папенька захочет представить тебя невесть каким чудовищем? Мы для родителей до гробовой доски остаемся горячо любимыми, невинными ангелочками.

Рандольф, обхватив голову, дико захохотал. Он подпрыгивал, кривлялся, раз-другой даже свистнул. Его выходки, разумеется, не прошли незамеченными. Вместе с нами в гардеробной находилось еще человек десять. В их числе преподаватель психологии доцент Витол, красавец и кумир студенток.

Неожиданно Рандольф упал перед Зелмой на колени. Я оцепенел: что будет?! Прижав к груди руки, Рандольф принял патетическую позу. Словом, нечто среднее между цирковым номером и сценой из трагедии Шиллера.

— Зелма, если я когда-нибудь с тобой был груб, прости великодушно. Ты лучший парень на всем континенте. Озолотить тебя мало. Памятник из нежнейшего мрамора тебе поставить...

— Спасибо, спасибо,— в тон ему отвечала Зелма,— к чему лишние расходы. Помести благодарность в приложении к «Вечерке», дешевле обойдется.

Меня поразило, что она не спешила прекратить эту банальщину. Пожалуй, даже потворствовала выходкам Рандольфа.

— Хочешь, в ногах у тебя буду валяться?

— Дело нехитрое. Лучше сальто сделай.

— Проще пареной репы.

Я не поверил, что он всерьез. Но Рандольф разбежался, оттолкнулся и — взлетел. Сальто, разумеется, не получилось, но колесом он прошелся. Все равно картина жутковатая. Я еще подумал: как бы шею себе не сломал.

— Можешь быть спокоен, мы с Калвисом разложим все по полочкам.

— Вам и раскладывать не придется,— Рандольф уже успел прийти в себя.— Достаточно будет вашего присутствия. В глазах родителя вы вне подозрений.

На остановке, дожидаясь трамвая, Зелма бросила на меня один из своих хирургических взглядов:

— Что с тобой?

— Со мной?

— Я же вижу.

— С чего ты решила...

— Калвис, лапонька, ты прозрачен, как градусник... Что тебе не нравится? Визит наш будет молниеносным. Поддержим репутацию Рандольфа, и дело с концом. Вернемся в замок, сможем наверстать упущенное.

— Эксцессы исключаются,— горячо заверил Рандольф.— За это ручаюсь. Характер у родителя скверный, но он не буян. Скорее ипохондрик с чувствительной нервной системой.

— Перестань молоть чепуху! — Зелма локотком ткнула Рандольфа в бок. — Чувствительная нервная система не только у твоего папеньки, но и кое у кого еще.

Хоть Зелма это сказала, как бы щадя меня, но от слов ее остался неприятный осадок. Ее манера выражаться иногда раздражала меня.

— К твоему сведению, Зелма, — сказал я, из последних сил бодрясь, — чувствительная нервная система сама по себе вещь неплохая.

— Ну да ладно, не будем спорить из-за пустяков.

— Зелма, душа благородная, — не унимался Рандольф, — буду помнить тебя до полного склероза. Хочешь, я твое имя распылю аэрозольной краской на самом длинном заборе!

Я тоже смеялся, притворялся веселым. Особых усилий не требовалось. Только смех получался нарочитым и громким. И еще: я все чего-то ждал. Знака или слова. Может, какого-то призвука в своем голосе или в их голосах. Я так и не понял, чего жду и зачем: лишь бы чего-то дождаться или страшась, что мои ожидания подтвердятся?

Безусловно, мне хотелось Рандольфу помочь, тут никаких сомнений. Так в чем же дело? Разговор предстоит не из легких. Встреча, объяснения, эмоции. И час уже поздний. «Мы были вместе с Рандольфом, уж так получилось». Конечно же гадко. Конечно же противно. Пытливые взгляды, путанные диалоги. Томительные паузы, лицо заливают краска... А что делать! Никуда от этого не денешься. Возврата нет. И быть не может. Рядом Рандольф и Зелма.

Что-то вроде этого брезжило в уме. Боялся, что Зелма сочтет меня трусом. Ведь это ее идея.

Дом Рандольфа стоял в глубине двора. Из парадного во двор вел узкий, кривой, кончавшийся ступеньками коридор. Лампочки перегорели, мы пробирались на ощупь. Рандольф шел впереди. Держа руку Зелмы, я чувствовал, как она дрожит.

— Тебе холодно?

— С чего ты взял? Осторожно, тут ступеньки.

— Сейчас на свет выйдем, — успокоил Рандольф.

— Потрясающе, — сказала Зелма, — как в картинах Феллини.

И вдруг мне подумалось: если б можно было остаться здесь, в темноте, в этом гадком коридоре. Лишь бы дальше не идти! Наутро, когда я снова и снова про-

кручивал в уме происшедшее, меня поразила не эта мысль сама по себе, а то, что одновременно с нею я впервые, вполне определенно и осознанно ощутил желание отпустить руку Зелмы: мне захотелось, чтобы ее не было со мной.

Но мы пошли дальше, и стало светлее. Мне почему-то казалось, мы стоим на месте, а на нас — одна за другой — сваливаются лестничные клетки с большими овальными дверьми в стиле модерн.

— А теперь, дорогие коллеги, — тут Рандольф осенил себя православным крестом, — с нами крестная сила!

Рандольф позвонил. Дрожь от Зелминой руки передалась и мне. Стиснул зубы. Ждали бесконечно долго.

— М-да, — наконец произнес Рандольф. И сам открыл дверь.

После сумрака лестницы прихожая показалась яркой витриной. Блестали зеркала, переливался хрусталь люстр.

— Аллоооооо! — крикнул Рандольф. — Есть кто-нибудь дома?

Никто не отозвался. Рандольф швырнул в угол куртку и громко свистнул.

— Опоздали, — сказал он. — Родитель, наверно, уже рванул на место происшествия. Должно быть, из милиции позвонили. По номеру найти владельца ничего не стоит.

Наступила неловкая тишина, и в этой тишине где-то в глубине квартиры медленно, с тягучим скрипом стала открываться дверь. В прихожую выскочила и жалобно замяукала кошка крошечной черноты с зелеными глазами. Когда тайна раскрытой двери, казалось, объяснилась, из соседней комнаты донеслось шарканье ног.

— Там кто-то есть? — перестав гладить кошку, Зелма настороженно подняла голову.

— Считаю, что никого, — отмахнулся Рандольф.

Из темноты как-то незаметно выступило престранное существо: сказочная бабуля в белом платочке и белом переднике. Она казалась совершенно бесплотной, и можно было подумать, она не шла, а, подобно влекомой ветром былинке, летела, лишь иногда касаясь пола.

И без того нереальная обстановка стала совсем фантастической. Который год я знал Рандольфа, сколько раз бывал у него, и вдруг такой сюрприз.

— Ужинать будете?

— Спасибо, нет... А где родитель?

Старуха оглядела нас пытливым и довольно грустным взглядом. И ничего не ответила.

— Родитель где, спрашиваю.

— Нет дома. Никогда никого дома не дождешься.

Мысль о том, что отец укатил на место происшествия, не подтвердилась. Справившись с каким-то расписанием, Рандольф сообщил, что отец сейчас на дежурстве.

— Pudrete саса, уж не взыщите! — И он выразительно развел руками. — Разговор откладывается до утра.

Не знаю, обрадовало меня это или огорчило. Вроде бы обрадовало. И огорчило. «До утра» — стало быть, неопределенность сохранялась.

Втроем мы вернулись в Замок. Дискотека работала на полную мощь. Белый зал ритмично пульсировал. Слепили въедливые вспышки разноцветных ламп.

Мы с Зелмой вклинились в плотную массу танцующих. Ритм заполнял собой пространство. Мощнейший звуковой поток, словно струя брандспойта, смывал и уносил лишние мысли, слова, все лишние движения и взгляды. Децибелы, как горох, вылущивали всех, даже самых толстокожих раскалывали, как орехи. Кто не успел еще по-настоящему отдаться звукам, были шероховаты, ершисты, корявы. Порывистый такт придавал эластичность и плавность, рождал созвучие, радость, пьянящее чувство свободы. Все становилось гладким, скользящим, крылатым. Равномерно ярким и равномерно прозрачным. Работали все группы мышц, изгибались все суставы. Потовые железы били, как гейзеры. Триумф движения. Движение сидит на движении и движением погоняет. Движение алчущих глаз. Движение ненасытных ушей. Движение без конца и без края.

Зелма танцевала с присущим ей вдохновением, но у меня создалось впечатление, что мы друг друга не слишком хорошо чувствуем.

После нескольких туров Зелма сказала, что хочет пить, и мы вышли из зала.

— Тебе сегодня не хватает остроты, — остановившись у балюстрады, деловито обронила она.

— Что-то никак не войду в колею.

— Не в этом дело. Сегодня ты меня не хочешь.

К манерам Зелмы я успел привыкнуть. Но тут покраснел. Молча смотрел в ее задумчиво-печальные глаза и не знал, что ответить.

— Думаешь, об этом можно судить с такой уверенностью?

— Ты только представь себе, как бы сейчас танцевал Рандольф со своей Анастасией.

— Их отношения мне непонятны.

— А я-то, дуручка, считала, что красивых любят больше. На красивых просто чаще заглядываются. Объясни мне, почему именно из-за Анастасии Рандольф кувырнулся в реку с моста?

— Думаешь, нарочно?

— Простачок...

— На мокрой дороге стоит на мгновенье зазеваться...

— Ты и в самом деле слеп. Из-за нее Рандольф разума лишился. Объясни: почему?

— Спроси об этом Рандольфа.

Вопреки желанию ответ мой прозвучал резковато. Рассуждения Зелмы меня раздражали. Быть может, оттого, что я чувствовал в чем-то ее правоту. Теперь мне совсем расхотелось танцевать. Очень сожалею о своих чисто человеческих недостатках — перепадах настроений, метаниях рассудка. Танцевальный зал не самое лучшее место врачевать душевные раны. Но я не мог себя заставить разыграть форсированную страсть, доказывая Зелме, что я «ее хочу».

Часам к одиннадцати у Рандольфа возникла идея продолжить вечер у какого-то Хария из третьего района Иманты. Он даже брался организовать транспорт. Когда Рандольф мне объявил об этом, Зелма танцевала с доцентом Витолом.

— А что там? — спросил я.

Рандольф назвал имена.

— Я не о том... Какая программа?

— Свободная импровизация. Неограниченные возможности.

Пропустил через мозг последствия такого варианта: я согласен, Зелма, разумеется, в восторге, не лишнее интереса начало и тоска зеленая под конец; а завтра все мы, мятые, смурные, зеваем и спим на ходу, глаза, как у рыб, красные, от нас несет сухим винцом, и мы являемся к отцу Рандольфа и говорим: вместе были в машине...

Ну и что? А почему бынет? К черту рассудительность, предосторожность! Излишнюю осмотрительность, излишнее благоразумие. Чтоб все по правилам, чтоб все как положено. Не слишком горячо, не слишком тихо. От сих до сих.

А где же беспечность? Где безрассудство? Увлеченность? Что, если за этой правильностью и предосторожностью и впрямь скрывается трусость и вялость, боязнь риска? Может, это как раз тот момент, когда стоит принять приглашение Рандольфа? Прокутить до утра безо всяких рассуждений. Рандольф напьется? Постылый визит к родителю сам собой отпадает. Ты ведь этого хочешь? Тебе не придется отказывать Рандольфу, а вместе с тем и не придется врать. Прекрасный выход.

— Так что? Понеслась?

Я не ответил.

— Тут скоро прикроют. Харий сейчас названивает. Минут через десять машина будет подана.

— Надо с Зелмой поговорить.

Она подошла, кокетливо держась за локоть доцента Витола. Зелма казалась веселой, но это была маска. Я видел, с каким рассеянным видом она выслушивала шутки Витола.

— Вы нас немножко извините.— Рандольф нахальнейшим образом втиснулся между ними и фактически оттер в сторону франтоватого доцента.— Нам предстоит решить один существенный вопрос.

Взяв Зелму за руку, глядя ей прямо в глаза, он торопливо повторил то, что уже сказал мне.

Зелма слегка прикрыла веки, ее глаза как бы закатились в глубь глазниц. Такое с ней бывало лишь в моменты высшего презрения и высшего восторга. Затрудняясь в данном случае объяснить условный рефлекс, я невольно вздрогнул.

— Ты, Калвис, поедешь?

Я молча и глупо улыбался.

— Он тебя послушается,— за меня ответил Рандольф.— Как скажешь, так и будет.

У Зелмы на шее пульсировала жилка.

— Все это блеф,— как бы проснувшись, вдруг объявила она,— Калвис никуда не поедет. Правильно, Калвис? Я тоже не еду. Вопрос исчерпан.

Она порывисто повернулась ко мне, всем своим видом показывая, что речи Рандольфа ее не интересу-

ют. Я истолковал это так: Зелме надоели разговоры, она хочет опять танцевать.

Вечер закончился незадолго до полуночи. Когда вышли из Замка, лил дождь. Не сказать чтобы сильный. Ливень был позади. Накрапывало понемногу.

Девушки, повизгивая, прыгали через лужи, ребята поднимали воротники костюмов. Выползавшая из подворотни на мокрую площадь толпа быстро растекалась по гулким улочкам Старой Риги. Звенели голоса, цокали каблуки.

Где-то возле здания Биржи нас нагнал организованный Рандольфом транспорт.

— Вы не передумали? — Голос Рандольфа был полон искушения.

— Спасибо, — ответила Зелма, — что-то не похоже. Рандольф вылез из машины, подошел к нам.

— Калвис, послушай, что тебе скажу... — Он взял меня за плечо и оттащил от Зелмы. — Войди в мое положение... Ты сейчас придешь домой и ляжешь. И все будет в ажуре... А я... Joder сојones... В таких случаях остаться одному... Поедем!

— Калвис, иди сюда! — Зелма в нетерпении переминалась с ноги на ногу. — Не слушай его. Я никуда не поеду. Слышишь, не поеду...

Мне показалось, в голосе Зелмы я уловил страх. Небольшую истерику — это точно. Что, между прочим, для нее не характерно.

— Зелма не хочет, — развел я руками, — я должен проводить ее до дома.

— Садитесь в машину, чего торгуетесь, — крикнул Рандольф, — и едем к Зелме.

— Нет, — сказал я, — спасибо!

Зелма ни с того ни с сего побежала.

Рандольф без труда догнал ее, схватил на руки, бросил в машину.

— Поехали! — еще раз крикнул мне Рандольф.

— Нет.

Но Зелма уехала.

В ту ночь я спал у Большого. Впервые спина «бегемота» показалась мне твердокаменной. В голове ерлаш. Ворочался с боку на бок, терзался, словно осужденный в ожидании последнего рассвета.

Зелма не хотела ехать и все же уехала. Ну да, Рандольф силком затащил ее. Однако он ее не связал. И рот не заткнул. Да Зелму и связанной против ее воли

не удержишь. Почему она уехала? Как я мог допустить такое? Как? Почему?

Потому что каждый имеет право решать сам за себя, таков мой главный принцип. Устраивать скандал из-за того лишь, что Рандольф в дождливую погоду решил Зелму подвезти до дома — это несерьезно. Все вроде бы логично. И все же... Почему я совершенно точно знаю, что завтра, когда встречу с Зелмой и Рандольфом, буду чувствовать себя прескверно?

Неужели и впрямь поступать мужественно и поступать логично — вещи разные? Логично по отношению к Зелме и трусливо по отношению к Рандольфу. Трусливо по отношению к Зелме и логично по отношению к Рандольфу. Что же я должен был сделать? Нокаутировать Рандольфа левым хуком? Воображение нарисовало и такую картину. Но это кадр из фильма, не из жизни. Опомнись, идиот, — драться с другом, попавшим в беду и ждущим твоей помощи! Принципы ясны, пока рассматриваешь их вне связи с действительностью, как препарированные музейные экспонаты в стеклянных банках. Завтра утром ты подтвердишь отцу Рандольфа, что... Ладно, чего там... Что бы ты ни сказал, все будет ложью. Подтвердишь или не подтвердишь? Лгать — против твоих принципов. Лгать ты не любишь. Ты честный человек. А главное — и впредь желаешь быть честным. Тогда к чему раздумья и сомнения? Скажи: нет. Скажи: это против моих принципов. А что в таком случае подумает Зелма? Рандольф решит, что я ему мшу. Ведь он надеется, ему обещано. Рандольфу твоя принципиальность покажется смешной. Он подумает: испугался, поджилки затряслись. Нет, Рандольф так не подумает... Да и вообще, можно ли обойтись без лжи? Врут родители и учителя, врачи и адвокаты, сознательно или бессознательно, из любви или по слабости характера, по доброте душевной или из страха. Избирая наиболее выгодный и удобный для себя ракурс правды.

Это не оправдание. Принципы, которые считаешь верными, нужно соблюдать.

Завтра прямо и ясно скажу Рандольфу: не в моих убеждениях лгать. Я передумал. Извини.

С утра позвонил Зелме. Она сняла трубку после седьмого звонка.

— Калвис, ты? Очень мило с твоей стороны...

Заранее решил: о ночном происшествии ни слова.

— Я тебя, должно быть, разбудил?
— Будильник вроде бы заклинило. Который час?
— Восемь.
— Ой, как трещит голова. Умираю, хочу кофе.
— Ты с Рандольфом договорилась?
— С Рандольфом? — последовала долгая пауза. — С чего ты взял?

— Он же сказал, разговор откладывается до утра.

— Погоди... Я еще как следует не проснулась. О чем ты?

— Если вы ни о чем не условились, тогда все в порядке.

— Ты говоришь о машине? Даже думать об этом не хочется. Глупость несусветная... — Немного погодя она сказала: — Калвис? А я уж решила, ты положил трубку. Так хочется повидать тебя. Давай сегодня убежим куда-нибудь, а? На остров Закю или на Большое кладбище. Идет?

— Идет.

О своем решении я ей ничего не сказал.

Довольно долго колебался, прежде чем позвонить Рандольфу.

— Привет!

— Ну?

— У меня к тебе серьезный разговор.

— Не будь идиотом...

— Я передумал. Сказать, что мы были вместе в машине, означало бы...

— А-а-а... Ну, ясно. Joder mierda...

— Это непорядочно. И вообще...

— Давай не будем об этом.

— Если я могу тебе помочь как-то иначе...

— Будь здоров и дальше хлопай ушами.

— Если тебе кажется, что мое присутствие при объяснении с отцом может...

— Спасибо. Мы с родителем уже наговорились.

— Он знает?

— Он ни о чем не желает знать.

— Как — не желает знать? Его не интересует, что произошло с машиной?

— Машину отремонтируют. Это вопрос финансовый. Он ничего не желает знать об Анастасии. Мои планы на будущее его позабавили...

— Ты хочешь жениться на Анастасии?

— Калвис, знаешь что? Поди ты куда подальше! Возможно, в порядочности ты кое-что и смыслишь. На том, однако, твое амплуа исчерпано.

Он бросил трубку.

Фрагмент из сочинения на тему «Что думают пришельцы из космоса о Земле и землянах»

Одиннадцатый класс средней школы

Земляне — двуногие существа. Подобно колониям кораллов, обитают на дне восьмидесятикилометрового воздушного океана в самодельных, похожих на соты постройках. В верхних слоях атмосферы задерживаются неохотно, в основном их жизнь сосредоточена на твердых пластах земной коры; в отдельных случаях роют норы.

Землянам нельзя отказать в известном интеллекте, их поведение подчас социально окрашено, вместе с тем они по непонятным причинам злонамеренны, с недоразвитым этическим сознанием. Агрессивнейшие представители фауны планеты. Наиболее разумные существа обитают в воде, например, киты и дельфины. Весьма разумны и вирусы, которые, к сожалению, относятся совсем к иной цивилизации и на Земле проводят лишь эксперимент, безуспешно пытаясь войти в контакт с враждебно настроенными землянами.

Но земляне не способны прийти к взаимопониманию не только с посланцами иных цивилизаций, но и друг с другом. Причина такой неспособности, как установлено, объясняется чисто физиологическим фактом. Во сне земляне видят сны. Поскольку одинаковые сны всем видеть невозможно, отсюда и нескончаемые разногласия.

Хотя на Земле происходят различные стихийные катастрофы, как-то: землетрясения, наводнения, извержения вулканов, столкновения с космическими телами и т. д., наиболее серьезную опасность для существования планеты представляют продукты с фирменным знаком «Сделано человеком».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

17 апреля день моего рождения. Сколько себя помню, день этот всегда был связан с какими-то перемена-ми. Раньше с приближением дня рождения я, на-

пример, ждал, когда на лужке у Старой Даугавы зазеленеет первая трава и откроется футбольный сезон. Обычно в день рождения мать убирала в шкаф мое пальто и в школу я ходил уже в куртке. А это в свою очередь означало, что учебный год на исходе, не за горами летние каникулы. Не знаю, как у других, но у меня даже мысли делятся на зимние и летние. Есть зимнее отношение к вещам, а есть летнее. С одного на другое переключаюсь где-то в районе дня рождения.

Проснувшись утром 17 апреля, почти физически ощутил, что я на пороге каких-то значительных перемен, что впереди меня ждет нечто совершенно новое, что оно уже близко, вот-вот наступит. Прощай, юность. Двадцатый день рождения переводил меня в довольно солидную возрастную категорию.

Однако события дня превзошли все мои ожидания. Теперь я отчетливо вижу: двадцатый день рождения в значительной степени перестроил мой мозг, как бы проведя черту между тем, что было, и всем последующим. К столь резкому повороту событий я, к сожалению, был не готов. Возможно, поэтому последствия были столь чувствительны.

В шесть утра, как всегда, меня разбудил будильник. Посмотрел в окно — кстати, тоже летняя привычка, зимой в окно не смотрю. Зато летом это правило: понежусь в постели, погляжу на небо. Особенно когда оно безоблачное, ясное. Это заряжает оптимизмом, повышает тонус.

Янис Заринь сладко спал, будильник его ничуть не потревожил: ярко выраженный тип совы. Тут мы с ним совершенно различны. Бывало, вечерами, когда меня уже в сон клонит, он только-только начинает расходиться. У него появляется желание побеседовать, послушать радио, он варит на кухне кофе, жарит яичницу. Когда же мне случалось выпасть из привычного распорядка или проболтать до поздней ночи, то я, хотя и подымался по звонку, был хуже сонной мухи, приходил в себя лишь где-то после второй лекции.

Потянул носом воздух и сквозь въедливый смрад пепельницы ощутил зыбкий, ласковый и теплый запах какао. Аромат какао также был принадлежностью дня рождения. Мать ждала меня на кухне.

— Ты уже встала! — разыграл я удивление.

— Не входи! Пока еще не входи! Иди умойся, — крикнула она из кухни, ласково, но в то же время вроде

бы испуганно. Как если б мы играли в прятки и я бы спросил, пора иль не пора искать, а она бы не успела спрятаться под кровать или в шкаф. Боюсь, не сумею этого объяснить, но момент игры в наших отношениях, по-моему, всегда присутствует. Иногда я со всей отчетливостью видел, что мать уже не молода: годы изменили ее лицо и довольно стройную, суховатую фигуру. Однако в таких случаях, как этот, к ней опять возвращались беспечность, легкомысленность. Даже во внешности появлялось что-то девическое. Неважно, накрывала она праздничный стол (как теперь) или свивала разноцветные клубочки пряжи, мастера из них зайчат и кошечек (как много лет назад). Этой игры ей ничто не могло заменить, как ничто не могло заменить ей меня. Время от времени поиграть ей было необходимо:

То, что я для матери так много значил, было и приятно и вместе с тем неловко. «Неловко» тут, может, не самое подходящее слово. Но лучшего не знаю. Всякий раз, когда привязанность матери ко мне проявлялась с такой наглядностью, я думал о Зелме. И почему-то мне становилось грустно.

В тот день, устраивая для меня «кресло почета», мать из весенних цветов сплела гирлянду, поистине филигранной работы, если учесть, что каждый голубенький цветик был не больше спичечной головки. На столе красовался крендель с зажженными свечками. И конечно же подарок — красивая картонка, в которой, по моим предположениям, могли быть чешские ботасы.

— Ну, мой взрослый сын... Отвечай, когда ты успел так вырасти?

— Согласно последним научным данным, люди растут главным образом во сне.

— Вот именно — как во сне!

— Относительно снов также имеются новые данные. В человеческом мозге обнаружены особые молекулы, эндорфины, производящие наркотик...

— Вообще-то грех жаловаться. Если б ты временами еще и не слишком мудрствовал.

— Кое-кто, к сожалению, о твоём сыне не столь лестного мнения.

— Не столь лестного? Это кто же?

— Некоторые называют меня хвастуном. Точно знаю, что одна лаборантка считает меня инфантильным, а преподаватель Силис и того хуже — пройдохой.

— Неправда!

— Матери имеют обыкновение захваливать своих детей.

Мы волновались и потому говорили, что в голову взбредет.

— Подойди к дверному косяку, сделаем отметку... Вырос ты вроде достаточно...

— Я еще хочу расти. У взрослых кругозор больше.

Мать подтянула меня за воротник рубашки и чмокнула в подбородок. А я свою руку положил ей на плечо. Потом, оба изрядно смущенные, мы сели за стол.

Волосы у матери пепельно-серые. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь восторгался таким цветом волос. Но ей идут пепельно-серые волосы. Ее обычная прическа — валик вокруг головы. Волосы матери — наглядный символ ее любви к порядку. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел ее растрепанной или непричесанной. Когда мать выходит из своей комнаты, каждый волосок на своем месте.

— Может, разбудить Зариня?

— Как странно ты его называешь: Заринем, — по-серьезнела мать.

— А что? Или ты хочешь, чтобы я называл его Янисом?

— Да хотя бы так...

— Заринь звучит ничуть не хуже. Все мы Зарини.

Мать отвела глаза, поправила гирлянду на спинке стула.

— Я все же думаю, тебе следует называть его отцом.

— По-моему, это звучало бы куда более странно.

Бросив на меня быстрый взгляд, мать отвернулась.

— Ну, неважно, — сказала она. — Не имеет значения. Надеюсь, он у нас долго не задержится. Конечно, огромная глупость... Но, видишь ли, как бы это сказать...

У меня в тот момент не было ни малейшего желания продолжать разговор. Почему-то казалось, что мать скажет нечто такое, о чем позднее пожалеет, а слов уже не вернешь. Я даже сжался от досады, а может, и от страха, как будто мать собиралась передо мною обнажиться. Нет, подумал я, не следует этого допускать. Она моя мать, и у нас с ней особые отношения. Вполне возможно, второпях я не успел как следует все продумать. Но досаду и страх ощутил, это я помню.

— Нет! Нет! Я разбуду его. Хорошо? — От волнения я даже слегка заикался.

Некоторые цветки в венке не понравились матери, и она стала вырывать их, раскладывая на столе. Вид у нее был несчастный.

— Ну, пожалуйста. Пусть он тоже... Почему бы нет?

— Сомневаюсь, захочет ли он.

— Непременно захочет.

— Он даже не помнит, когда твой день рождения.

— Каждый может забыть.

— Он и не знал никогда.

— Ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Я ему вчера сказала: потрудись хотя бы вспомнить день рождения Калвиса. А он ответил: это где-то осенью...

И утирая ладонью слезы, она вышла из кухни. Точнее сказать: выбежала.

Это происшествие, однако, не слишком испортило мое настроение. Хотя у меня явная аллергия по отношению к материнским слезам — не выношу их, независимо от причины. На этот раз она быстро взяла себя в руки и, вернувшись, повела себя так, будто бы ничего не случилось. В последнее время такие перепады настроения у нее участились. О Янисе Зарине, разумеется, больше не вспоминали.

По дороге на станцию меня нагнали Матис и Кристеп. Видимо, проспали, пришлось догонять на велосипедах. Они мне подарили линейку.

— Спасибо,— сказал я.— Отличная линейка. Мне она очень кстати.

— Уж какая есть,— сказал Матис.— Семнадцать копеек стоит.

— Цена не имеет значения.

— Ха! Ха! — не согласился Кристеп.— Одной копейки все равно не хватило.

— Как же вы купили?

— Кассирша в долг дала,— пояснил Матис,— в том же магазине.

— Может, следовало выбрать что-нибудь подешевле.

— Да что там выбирать,— сказал Кристеп,— шестнадцать копеек нам тоже пришлось занять.

В приподнятом настроении ехал я в лабораторию. Не терпелось поскорей добраться. Безусловно, день был особенный, и настроение ему под стать. Справедливости ради стоит отметить, что в лабораторию езжу с большей охотой, чем в университет. Может, оттого, что

некоторые дисциплины в университете для меня не столь привлекательны. В лаборатории не приходится распылять интересы.

Можно было бы задать и такой вопрос: где в то утро был мой Клосс? Волей-неволей придется признать, что и он пребывал в эйфории. Люди, опьяненные восторгом, не слишком дальновидны.

Не сомневаюсь, лаборатория профессора Крониса имеет шансы в недалеком будущем стать обособленным институтом. В данный момент, к сожалению, разгуляться особенно негде. Живем в тесноте. Семь комнат под чужой крышей — вот и все, чем мы пока располагаем. На положении приживальщиков, или, как язвит Линард, на правах бедных родственников. А наука в наше время расцветает на технической оснастке, аппаратуре, машинерии. Времена, когда Пьер и Мария Кюри делали науку в сарае с помощью лопаты, сита и старого котла, канули в прошлое. Канули навсегда.

Семь вышеупомянутых комнат связаны коридором. В нашей комнате — восемнадцать квадратных метров. Большую часть этой площади занимают агрегаты, шкафы, электронные измерители и прочие штуковины. Довольно просторное окно выводит на связь с природой. В обрамлении оконной рамы шелестят макушками березки, — это меня больше всего умилило при первой встрече. Все остальное казалось уже виденным.

Не успел я выйти из проходной, как столкнулся с Михельсоном-Микельсоном.

— Сегодня у вас такое благозвучие в портфеле, — Михельсон-Микельсон прищурил один глаз, — не потолковать ли нам о стойке фиксатора?

Феноменальная способность нюхом улавливать алкоголь! В портфеле у меня действительно лежала пара бутылок шампанского, хотя снаружи ничего не видно — разве что портфель более пухлый, чем обычно. Михельсон-Микельсон тот еще тип. Числился механиком, однако свои обязанности исполнял настолько халатно, что к нему никто не относился всерьез. Ребята сами налаживали и ремонтировали аппаратуру, понемногу овладевая слесарным и токарным делом. У меня так и чесался язык сказать ему, что стойка фиксатора нам требовалась месяц назад, однако грубость мне плохо дается, а потом, он все-таки старше.

— Вы правы, — ответил я с лукавой усмешкой, — в портфеле благозвучие.

— Значит, угадал...

— Только это настойка.

— Что за настойка?

— Косточки на спирту. Одна собачья, вторая от утопленника. (Что, между прочим, было не так уж далеко от истины.)

Он pokrивился и стушевался.

Легко и ритмично, совсем как олимпийский факелоносец, взбегал я вверх по ступенькам. И ни малейшего предчувствия несчастья, которое свалилось на меня в образе Лауры Н. В конце коридора она в буквальном смысле слова вцепилась в меня обеими руками. Знакомы с ней мы были отдаленно, в столовой раз-другой сидели за одним столом, готовили страницу юмора для молодежного вечера.

— Вот ты где попался мне,— хотя от голоса ее веяло холодом, я по наивности все сказанное относил к своему дню рождения. Ужасная вещь инерция. У меня и в мыслях не было, что в данный момент со мной можно говорить о чем-либо ином.— Еще вчера собиралась сказать тебе пару ласковых слов.

— Вчера меня не было.

— Вчера бы у меня лучше получилось. Сегодня страсти слегка улеглись.

Я улыбался. Признаться, уже в некотором смущении. Глаза ее пылали такой злобой, что стало не по себе.

— Какая ты сегодня эмоциональная.

— Что верно, то верно. А вам смешно, не правда ли? — Она вдруг перешла на «вы».

Звучало это столь враждебно, что я решился хранить дипломатическое молчание.

— Все вы тут жуткие остолопы, вот что я скажу. Из рояля сделали аквариум, да еще и смешно. А у Иветы три месяца работы загублено.

Я понял одно: за расплывчатыми фразами скрывается нечто серьезное и неприятное.

Само собой, слова Лауры меня всполошили. Но весь эффект был в неожиданности. Такое ощущение, будто мне вlepили пощечину. И растерялся я, смутился не от сути разговора, а от его неожиданности. Именно растерянность и стыд определили мое дальнейшее поведение. У меня вдруг зачесались пятки. Захотелось поскорее скрыться, слить, улизнуть. Отдаление от Лауры проходило сравнительно нормально, но сам я понимал, что это смахивает на бегство.

Линард был уже на месте. На мое появление никак не реагировал. Умение отключаться от мелочей он считал одним из главных условий успешной работы. Этот выпускник медицинского института образом условий для работы признавал режим операционной. В принципе подход Линарда мне казался приемлемым, хотя иной раз дело доходило до смешного. Особенно в отношениях с людьми, которым причуды Линарда были неизвестны. Как-то уборщица попробовала с ним разговориться и, не дождавшись ответа, стала как с глухонемым объясняться на пальцах.

Обвел придирчивым взглядом комнату. Кафель на стенах блистал непорочной белизной. Линард сидел за столом, вытянув длинные ноги (носки он признавал двух расцветок; ярко-желтые и ярко-красные; на сей раз были ярко-желтые), и листал последние записи.

Я сел рядом и с рассеянным видом принялся копать в ящике стола. Немного погодя Линард взглянул в настольный календарь, поднялся и протянул мне руку.

— Желаю повышенного тонуса!

В пробирочных блоках мерно журчала вода. Я поделился своими соображениями о полученных данных. Линард отвечал довольно пространно. Даже привел новейшие положения относительно ассимилиации молекул кальция. Это придало мне смелости.

— А что это за Ивета, у которой вся работа загублена? — спросил я с напускным равнодушием. Но голос предательски дрогнул.

— Салцевич. Из группы Бурмейстера, — не отрываясь от бумаг, Линард нехотя ткнул пальцем в нижний этаж.

— И велико несчастье?

— Как сказать.

— Конкретно — в чем?

— Нарушен режим влажности.

— Режим влажности? Но как такое могло случиться?

— Случиться может что угодно.

— Все же я не понимаю...

Впервые в продолжение разговора Линард посмотрел мне прямо в глаза. Его скуластое лицо с широко расставленными черными, как у южанина, глазами казалось абсолютно бесстрастным.

— Чего ты не понимаешь? Как можно затопить нижний этаж?

Столь простого и житейского объяснения я, должно быть, не ждал. А уж тем более от Линарда. Но теперь из разрозненных фактов составилось единое целое. Я понял, как могло произойти такое: шланг, подводящий воду к промывочному блоку, на месте соединения прохудился. Увеличился напор воды, соответственно подскочило давление, и шланг просто-напросто сорвался. Я сам однажды был свидетелем такого срыва. Правда, после этого на конце шланга приладили муфту. Но со временем шланг дальше прохудился, стал протекать...

Я еще раз оглядел пол и стены. Белая плитка все же ввела меня в заблуждение. Присмотревшись, обнаружил в нескольких местах следы потопы. Особенно у дверных косяков: на полосках, не прикрытых плиткой, шелушилась краска, темнели влажные пятна. Плинтус покосился, намокший линолеум вздулся.

— Когда это случилось?

— Позапрошлой ночью.

— Позапрошлой ночью?

— Да.

Я машинально сортировал перфокарты, а на самом деле прислушивался к журчанию воды в пробирочном блоке. Тишина усиливала журчание до такой степени, что в голове оно отдавалось пульсирующим звуком. Мне казалось, что я сам стою посреди невидимого, струящегося через комнату потока и что он с нарастающей силой давит на мои напряженные мускулы ног.

...Позапрошлой ночью... Позапрошлой ночью. Я ушел последним. Запер дверь, а ключ отдал вахтеру. Расписался в журнале шариковой ручкой с зелеными чернилами. Все было привычно. Все было в порядке. Помню, проверил окно. Посмотрел на столбик термометра. Пощупал землю в цветочном горшке и подивился, что перегной прилипает к пальцам. Промывочная система функционировала нормально, честное слово. Неужто я бы не заметил. Неужто проглядел!

...В том, что я остался последним, тоже ничего необычного. Предстояло обработать анализы, а днем «Эмма» перегружена. Откровенно говоря, и с Сильвией немного заболтался. Ее «житейские истории» меня очень забавляют. В каждом таком незатейливом рассказе есть что-то привлекательное.

...Линард совершенно точно знает, что позавчера я ушел последним. Почему же он ни о чем не спрашивает? Почему ведет себя так, будто это меня не касается? Ушедшего последним всегда подозревают первым. Возник ли в помещении пожар, взорвался ли газовый баллон или обнаружен труп. Последний всегда оказывается первым, по крайней мере теоретически.

...Лаура Н. подозревает меня не только теоретически, но и практически. Считает, что я виноват. Но виноват ли я? Хотя бы в чем-то? Причастен — да, это точно.

...Запер за собою дверь в полной уверенности, что все в порядке. Конечно же стыковку шланга с краном специально не проверил. Вернувшись из вычислительной, я огляделся, убедился, что все в порядке. При этом так про себя и подумал: все в порядке.

Моя совесть спокойна. То есть отнюдь не спокойна. Дело, конечно, темное, но мне от этого не легче. Быть может, потому, что чувство вины было для меня понятием смутным и малоизведанным. До сих пор мне приходилось испытывать чувство вины за сломанный мячом цветок, за чернильное пятно на выходных брюках, за разбитую чашку или выбитое стекло. Будучи в гостях у архитектора Краста, я сорвал пружину его старинного патефона. Однажды в Эргли неожиданно возник на пути спускавшегося с горы лыжника, тот не успел свернуть и при падении вывихнул ногу.

Можно ли такое сравнить с проступком, соединившим в себе небрежность, халатность, нерадивость, легкомыслие? Уж не говоря о материальных потерях, эмоциональных издержках. К тому же в коллективе, с которым я связывал большие надежды на будущее. И как раз в тот момент, когда дела мои пошли на лад: я себя тут чувствовал почти своим человеком.

До сих пор мне здорово везло. Рост налицо: детский сад, школа, университет. Высшие отметки, прекрасные характеристики. Испытывать страх — вещь для меня необычная. Не страх вообще, разумеется, но страх неизвестности относительно будущего. Например, когда идешь сдавать вступительные экзамены и боишься за исход: тянешься за билетом, а рука дрожит, ведь миг спустя может произойти все что угодно, в том числе и самое худшее: полный провал, крушение надежд и замыслов.

Этого и следовало ожидать. Возможно, именно так и должна была завершиться затянувшаяся серия моих удач.

Мне хотелось откровенного разговора, даже если бы при этом пришлось выслушивать упреки. Однако Линард уже отключился. И правильно сделал. Ничего существенно важного все равно бы я не смог сказать. Оправдываться? Душу облегчить? Но это не его беда, а моя.

Пришли Эйдис и Элдар. В их отношении ко мне я не заметил ничего необычного. Эйдис протянул мне ручищу, под стать своему двухметровому баскетбольному росту, Элдар, храня верность скептическому нраву, вместо поздравлений с кислой улыбкой выразил сочувствие. Они мне подарили купленную в букинистическом магазине книгу Гиннесса.

— В ней ты найдешь перечень всевозможных мировых рекордов,— сказал Эйдис,— за исключением одного. Ничего не сказано о величайшей в мире глупости.

— О величайшей мудрости?

— Также отсутствует.

— О ней могу сообщить тебе в качестве бесплатного приложения,— Элдару тоже захотелось высказаться о подарке.— Поскольку умными себя считают только дураки, стало быть, величайшую глупость ищи там, где толкуют о величайшей мудрости.

— Чистейшей воды софизм,— возразил Эйдис.— Я полагаю, необходимо приучить себя к мысли, что существуют величины, не поддающиеся измерению. Знаешь, что сказал Толстой о таланте? У таланта нет окружности, это не живот.

— Не о таланте речь. О мудрости и глупости.

— По аналогии.

— А ну тебя! Талант — всегда талант, а мудрость и глупость зависят от эпохи.

В таком вот духе они частенько спорили. К их диспутам я прислушивался с интересом, нередко и сам принимал в них участие. На этот раз мне показалось, что они нарочно препираются, лишь бы не касаться чего-то неприятного.

— Спасибо. Такой подарок даже неловко принимать.

— Да будет тебе! — Эйдис болтал ногами и раскачивался в своем кресле.

— В общем, книжица не без изъянов. Рекорды важнейших дисциплин в ней не отмечены.

Когда же они ударились в спор о безусловных рефлексх, у меня на душе стало совсем беспокойно. Теперь уж я не сомневался, что они намеренно решили пощадить меня. По крайней мере до обеденного перерыва, когда обычно проводились празднования в масштабах лаборатории. Им не хотелось раньше времени портить мне настроение. Элдар только внешне казался задиристым и резким. На самом деле добродушный малый. Подкармливал птичек, дрессировал собак. В более или менее острых ситуациях краснел, бледнел, говорил придушенным голосом. Однажды, поймав забежавшую в лабораторию мышь и не зная, что с нею делать, он сунул ее в банку и отнес домой. Эйдис тоже человек вполне мирного нрава — кто этого не знает. Надеяться на поворот их скорректированного разговора в данный момент не приходилось.

Выждав немного и собравшись с духом, я, как террорист, бросающий бомбу, выпалил давно вертевшиеся на языке слова:

— Говорят, мы залили нижних соседей...

Эйдис пожал своими очень прямыми плечами, на которых пиджак болтался, как на деревянной перекладине, потом не спеша высморкал свой отменный, над переносицей чуть проломанный нос; носовой платок в его руках казался не больше аптечного рецепта.

— Подобное происшествие, к сожалению, имело место.

Элдар бросил на Эйдиса скучающий взгляд.

— Но кто именно...— я хотел сказать «виноват», однако слово где-то на пути застряло.— Но что именно случилось?

— Э-э,— отмахнулся Элдар и, давая понять, что не желает говорить об этом, даже повернулся ко мне спиной.

— Сюжет банальный. Кто-то позвонил вахтеру: испорчен кран. Тот отключил воду. Потом кран починили, и вахтер опять включил воду.

Такое объяснение мне ничего не объяснило.

— Все же какое отношение это имеет к нашей комнате?

— Э-э,— Элдар во второй раз поморщился,— вот какое: затем вода потекла из нашей комнаты. Чего, однако, уже никто не заметил.

— Во сколько позвонили об испорченном кране?

— Вахтер говорит, незадолго до конца работы.

Когда я волнуюсь, у меня обычно туманится взор. Без особых эмоций прозвучавшие слова «незадолго до конца работы» затаили туманом довольно светлый интерес лаборатории.

— Из нашей комнаты?.. Откуда именно?

— Откуда-то.

— Отсоединился шланг?

— Возможно.

— А когда утром пришли...

— Когда пришли, все было в порядке.

Я подумал: не может быть, сказки он рассказывает.

— Чему удивляться. Кто-то зашел еще до нас и устранил неполадки. Не устраивать же потоп!

— А у Иветы работа загублена.— По правде сказать, даже в интонации я повторил то, что незадолго перед этим услышал от Лауры Н.

— Сама виновата. Ничего себе режимный стенд, в который вода протекает. Очередной блеф, и только.

Элдар протянул Эйдису микрофон:

— Может, эти гениальные мысли запишем на пленку? Сохраним для потомков эпохальный документ.

На сей раз Эйдис оставил без внимания иронию друга. Вопросы, волновавшие меня, похоже, и ему были не безразличны.

— Все в порядке,— добавил он, отстраняя микрофон.

— Вода — стихия, а за стихию никто не отвечает,— не унимался Элдар.

— Но разве так трудно выяснить? Не бывает, чтобы кто-то не был виноват.

— Спокойствие...

— В центре города сгорел архитектурно-исторический памятник. Но что-то, простите, не припомню, чтобы нашелся виновник. Плиты тротуаров рассыпаются, сам черт ногу сломит. Так что, и тут есть виновный?

— Что изменится, если найдут виновного? — в привычной для себя манере пожал плечами Эйдис.— Ремонт все равно за счет института. Одним словом, переливание из пустого в порожнее. А потом, ведь виновный — это в какой-то мере компрометация коллектива...

Все это говорилось с умыслом. Лишь бы меня утешить. Они толковали виновность исключительно как юридическое понятие. Явное притворство. На самом

деле они возмущены. Требовательные к себе люди не могут оставаться равнодушными к тем, кто с ними в одной упряжке. Хотел бы я посмотреть на футболиста, которому безразлично, как играют его товарищи. А может, все, что они говорят, нужно понимать иначе: вот до чего мы докатились...

И все же слова их произвели успокоительное действие. Во мне шевельнулся и облегченно вздохнул шельмец Маусоль, о существовании которого я знал еще со второго класса. Угодливый, тщеславный, малодушный, он, бывало, нашептывал мне, когда я садился за домашнее задание, что надо рисовать не те цветы, что нравятся мне, а те, что нравятся учительнице. Тертый и ушлый пройдоха, всегда смекавший, как следует писать сочинение, чтоб оно было не просто изложением моих мыслей, но именно со-чи-не-ни-ем, которое пошлют в роно, а то и куда повыше — на республиканский конкурс, например. Трусливый, осторожный плут, всегда находивший уважительные причины, чтобы по дороге из школы на вокзал избегать тех улиц, где больше шансов встретить пацанов из соседней, враждовавшей с нами школы; ловкач, однажды перед уроком химии разбивший колбу и потихоньку спрятавший ее в лабораторный шкаф.

Конечно же это свинство. Но в допустимых пределах. Низкое? Постыдное? Предосудительное? Безусловно. Когда судишь о житейских несовершенствах вообще. Когда обличаешь недостатки вообще. Но уж никак не применительно к себе. Сам-то я (шельмец Маусоль) без сучка без задоринки. У меня нет и быть не может ничего общего с дурным, предосудительным (а стало быть, и с этим конкретным свинством). Поймите меня правильно, в принципе, конечно, свинство всегда остается свинством и в качестве такового подлежит порицанию. (Да ведь у нас со всем мирятся, все прощают!) Тут важно, что мое (шельмца Маусоля) свинство под этот разряд не подходит. Я думаю, вы понимаете, это же так просто.

В самом деле — чего волноваться! Спокойствие и еще раз спокойствие, и никаких опрометчивых поступков. Зачем осложнять себе жизнь. Посмейся за компанию, верни что-нибудь этакое ироничное, повздыхай о разгильдяйстве, безответственности — и точка. Ты же слышал, что сказали: виновного нет. Виноваты все. Все вместе и никто в отдельности.

По сумрачным коридорам моей совести шельмец Маусоль шлепал босиком, посверкивая пухлыми стопами. Не знаю почему, но пухлые, румяные стопы Маусоля — в который раз! — вызвали во мне отвращение. Я, разумеется, знал, что Маусоль всего-навсего поролоновый тролль, в который можно просунуть три пальца, а потом эту куклу по-всякому вертеть и тискать...

Все равно, подумал я, будь что будет! Навряд ли это страшней, чем мой полночный поход в кладбищенскую часовню, — еще в ранней юности в Вецпибалге, — когда я заставил себя пойти, чтобы доказать бесстрашие. Не кому-нибудь, а самому себе. Помню, вскрикнула сова, и я намочил в штаны. И все же пошел дальше, ибо знал, это нужно, не то перестану себя уважать. Я должен спуститься в лабораторию Бурмейстера. Поговорить начистоту с Иветой.

Что ни говори, а это сродни походу в кладбищенскую часовню. На полпути остановился, перевязал шнурки на ботинках. Довольно долго охорашивался в туалете.

Вариант мне выпал прескверный. Это я понял, когда после нервного стука в дверь, излишне волнуясь и потому не дождавшись ответа, одеревенело ступил на подпорченный наводнением пол нижней лаборатории. Ивета сидела за столом. Мы не были знакомы, но это была она. Женщин весом в сто кило у нас в здании не так много. Была там и Лаура Н. Ее присутствие не облегчало моей миссии.

— Возможно, мои коллеги уже были у вас... Хотелось бы своими глазами... — затараторил я сугубо деловым тоном. В довершение ко всему еще и глупо улыбался. Улыбка у меня никак не соотносится с моим настроением. Нередко подмечаю в себе склонность улыбаться без особого к тому повода.

— К чему притворство, — без обиняков ответила Лаура, — ты же прекрасно знаешь, что никто у нас не был.

— Мне, право, жаль, что так случилось. Я готов взять на себя ответственность.

— Перестань паясничать.

— Если я каким-то образом могу быть полезен...

— В следующий раз, когда надумаете устроить нам Миссисипи, соблаговоли спуститься вниз и постоять с зонтом.

Ивета ничего не сказала. Скрестив руки на всхолмив груди, крутила в пальцах сигарету, в раздумье выпуская дым. В противоположность Лауре, вид она имела не столько негодующий, сколько заинтересованный. К тому же по выражению ее лица я понял, — это всегда чувствую безошибочно, — что вызванное моим приходом удивление имело скорее положительный заряд, чем отрицательный.

— Да, такова у нас картина, — наконец и она поддала голос, озирая потолок. Побеленные бетонные перекрытия пестрели желтоватыми пятнами.

— Протекло на стыках...

— Халтурная работа. Почти никакой изоляции.

— Не олимпийский плавательный бассейн. Послал нам бог соседей. Энтузиасты-затопители.

Язвительность Лауры была мне понятна.

— А правда, что это вам стоило трех месяцев работы?

— Разумеется!

Хотя я адресовал вопрос Ивете, ответить поспешила Лаура Н. Она надвигалась на меня с таким выражением, будто собиралась прикончить меня. Я инстинктивно отпрянул в сторону.

— Присядь, раз уж пришел, — проговорила она, убирая со стула какой-то блестящий ярко-фиолетовый материал.

— Что такое три месяца! — довольно приветливо сказала Ивета. — Диссертацию делают годами, и в конце концов все вроде утрясается. Подгонишь практику, замешкаешься с бумагами. Подгонишь бумаги, задержка с оппонентами.

— Может, я как-то могу отработать? Скажем, по несколько часов в неделю.

— Безусловно, — теперь они заговорили наперебой. — Осенью, когда на картошку пошлют в колхоз. Или, скажем, отсидишь за нас цикл лекций о развитии экономики — по понедельникам с девяти до одиннадцати.

Я продолжал стоять, сохраняя на лице серьезность, а в душе — раскаяние.

— Милый юноша, — заговорила Ивета почти задушевно, — с более современной аппаратурой те самые данные, которые мы месяцами тут выуживаем, можно было бы получить за двадцать четыре часа. Что значит терять время... Дня не проходит, чтобы мы друг друга,

так сказать, не заливали. Сегодня утром битый час простояла, сдавая в починку туфли. Еще час вечером простою, чтобы заплатить за квартиру. Не будем говорить о времени.

— Да присядь же, чего упрямишься! — Лаура Н. чуть ли не силой придавила меня к стулу.

— Все же время важный фактор. В сутках всего 1440 минут. Век нормального человека состоит примерно из 25 миллионов минут.

— Моя учительница так говорила, — рука Лауры Н. по-прежнему лежала на моем плече, — времени у каждого ровно столько, сколько он сам того заслуживает.

— Лаура, как обстоит дело с кофе? Не слишком мы гостеприимны.

— Кофе еще есть, — Лаура зажгла под колбой пламя. — Калвис, как предпочитаешь, с сахаром или без?

Хотел сказать, что кофе не хочу, что тороплюсь, однако доверился судьбе и выпил две чашки.

Хотя в моей вине они не сомневались, расстались мы довольные друг другом. К тому же если оправдательные доводы Элдара и Эйдиса могли диктоваться дружескими чувствами, то отношение обеих дам ко мне следовало считать вполне объективным. Они были искренни и правдивы. Более всего меня успокоило, как ни странно, ожесточение Лауры Н. Возможно, оно-то породило во мне своеобразный иммунитет, который, как известно, создается прививкой антител.

Во всяком случае неизбежная и неприятная встреча с Иветой и Лаурой Н. теперь была позади. Чувство виновности отошло на второй план. Я даже испытывал некоторое удовлетворение. Мера моей вины по-прежнему оставалась неясной. И моему положению в лаборатории как будто ничто не угрожало.

Незадолго до обеденного перерыва к нам в комнату зашел профессор Кронис. Он умел появляться просто и скромно. Менее всего это походило на визит начальства или, скажем, проверку. На сей раз Кронис зашел переговорить с Эйдисом относительно конференции в Минске. Вначале приоткрыл дверь и спросил:

— Эйдис, ты сейчас можешь?

А Эйдис ответил:

— Могу, Имант, почему бы нет.

Мимоходом Кронис пожал мне руку, как-то особенно взглянув мне в глаза. Я раз-другой вздохнул поглубже

и успокоился. Если б ему было что сказать, он бы сразу сказал. Нет, Крониса интересовал доклад Эйдиса. Они говорили пространно и долго. Беседуя, листали машинописные страницы, молчали, опять говорили, был момент, когда вроде бы даже заспорили.

Вдруг я почувствовал: Кронис опять посмотрел на меня. И не случайным, скользящим взглядом. Эйдис еще что-то сказал Кронису, Кронис ответил Эйдису, но в тот момент профессор думал обо мне — это точно. Даже повернулся в мою сторону.

Без особой нужды я обошел вокруг стола и стал копаться в адаптерах. Мысль о том, что Кронис намеренно смотрит в мою сторону, понятно, беспокоила.

Наконец Кронис направился к двери. Сейчас он остановится, обратится ко мне, сказал я себе, кожей спины чувствуя каждый его шаг. Сердце упало.

— Калвис, если ты не слишком занят...

— Да... Нет... Не занят.

— Тогда загляни ко мне, пожалуйста.

Возможно, я чересчур поспешно ринулся к двери. Правда, еще успел заметить, что стрелки на шкале кулометра сначала качнулись в одну, потом в другую сторону. Немного пришлось постоять у двери: Кронис разговаривал с Линардом. Затем мы вышли в коридор.

Впервые мы шли с ним молча. Мне показалось, Кронис опять посмотрел на меня. Похоже, что посмотрел. Было такое ощущение, будто я волоку на спине мешок с картошкой в центнер весом. Суставы размякли и в то же время как бы заклинились.

Кронис подсел к столу. Нагнулся и долго копался в выдвижном ящике. Я видел его левое плечо. Потом он поднялся, потихоньку про себя насвистывая.

— Вот чудеса! Я как-то обещал тебе теорию динамики Блейка. Вчера нашел, нарочно отложил, чтоб не затерялась. А-а-а, вот она!

Я довольно дурашливо хлопал глазами, стараясь изобразить на лице признательность.

— Тебе сегодня нездоровится?

— Нет, почему... Прекрасно себя чувствую.

— Ремарк писал о грусти дней рождения. К твоему возрасту это как будто не относится.

— День рождения — пустяки.

— Вот это неверно. Блейка я тебе дарю. По-моему, книга как раз для двадцатилетних.

— Вам она уже не кажется актуальной?

Ясные глаза Крониса как бы выдвинулись вперед, улыбка у него никогда не бывает статичной. Она проявляется в движении. На сей раз его улыбка застигла меня, словно неожиданно заработавший брандспойт.

— Она мне кажется уже чересчур радикальной. А впрочем, шапку долой. Прямота и смелость.

— Спасибо.

Теперь я мог преспокойно уйти. Однако не уходил.

— Так что, встретимся в обеденный перерыв?

— Да.

— В комнате Рудите?

— Да.

Кронис начал листать бумаги, а я стоял и смотрел. Немного погодя он поднял глаза. Я все еще стоял и смотрел.

— В чем дело?

— Это я виноват?

Кронис как-то очень по-мальчишески пригладил свой затылок, словно ветер растрепал ему прическу. Взгляд его не выражал ни озабоченности, ни оживления, а только — как тогда в телестудии, когда заговорил с ним впервые, — интерес.

— В каком смысле?

— Я ушел из комнаты последним. Возможно, уже тогда что-то было не так. Я не проверил.

— Не знаю, — ответил Кронис, — это ты должен решить сам.

— Сам ничего не могу придумать.

— Возможно, все зависит от той категории требовательности, с которой к себе подходишь. Когда Бернард сделал пересадку сердца Вещанскому и тот скончался восемнадцать дней спустя, думаю, Бернард чувствовал себя виновным. И потому провел энное число таких же операций.

— Как мне следует поступить?

— Это ты сам должен решить.

Выйдя из комнаты Крониса, взглянул на часы. До обеденного перерыва оставалось пять минут.

...Прошлым летом на праздник Лиго компанией отправились под Лигатне, на хутор «Калнены», по ту сторону Гауи. У полыхавшего костра за Зелмой стал приударять наездник конного завода Монвид. Зелма объявила, что ей хотелось бы научиться скакать верхом через препятствия. Монвид привел трех лошадей. Мне

с лошадьми не удалось установить контакт. Более приемлемым для них оказался Янис. Они уехали втроем и долго не возвращались. Я заскучал. Решил податься домой. Ночью паром не работал, ничего другого не оставалось, как переплыть Гаюю. В одежде, разумеется. На ногах кеды, на руках часы. Плыл я отчаянно. Наглотался воды. Руки отяжелели, будто их цементным раствором залили. От нехватки кислорода разрывало легкие, тело — сплошная болячка. Намокшая одежда тянула ко дну. Течение волокно, давило, толкало, сносило. Силы были на исходе. Уже не плыл, а просто барахтался. Понял, что добраться до берега мало надежды. Повернуть обратно? Звать на помощь? Расписаться в своей слабости? Никак не мог себя заставить принять решение и, как ненормальный, продолжал молотить воду. Пульс приближался к критической точке...

...В комнате был один Линард. Это в порядке вещей. Но у меня холодок прошел по спине. Безо всякой на то надобности опять взглянул на часы.

— Эйдис и Элдар уже ушли? Впрочем, до перерыва всего две минуты.

— По моим часам две с половиной. Запираем и пошли. Только проверь этот чертов шланг.

Не спеша направляясь к двери, я вибрировал, словно трезвонящий будильник.

...Течение сносило меня. Силы на исходе. Очередной раз хлебнув воды, перевернулся на спину. Река стала вязкой и скользкой. Вода плескалась уже надо мной. В ушах стоял звон. Почему-то казалось, больше не смогу выдохнуть. Не вдохнуть, а именно выдохнуть. Скопившийся воздух душил меня...

...В коридоре столкнулся с профессором Кронисом. Извинился и отступил, пропуская его, но он дал понять, чтобы я шел первым. Послушаться? Заупрямиться? Счастливый и вместе с тем несчастный, как в приятном сне, приправленном кошмарами, я позволил руке Линарда вывести себя из оцепенения.

«Комната Рудите», известная также и как «Дамский рай», была не больше других наших комнат. Только инвентаря там поменьше. То, что меня будут поздравлять, это я, конечно, знал. Как знал и то, что соберутся все наши. Осторожно пробираясь, следя за тем, чтобы ненароком не наступить кому-нибудь на ногу, бочком протискиваясь между платьями с вырезами, пиджачными лацканами и белыми халатами, я по-

нял, что явились все. Включая кандидата медицинских наук старика Парупа (ему сорок восемь лет), который обычно вел себя так, будто вместо меня в лаборатории работала бесплотная тень. И язвительная Дударе, обращавшаяся ко мне не иначе как «студент Заринь», была здесь. Даже аспирантка Мешонока сидела, забившись в уголок за шкафом, хотя в эти часы ей вообще не полагалось быть в институте.

В подсвечнике горели свечи. По сигналу Миллии Айгар включил свой уникальный неприкасаемый магнитофон. Фантастика! Айгар поддался уговорам Миллии (конечно же она все устроила) с единственной японской кассеты стереть музыку из кинофантазии Мийо «Путешествие с быком», а вместо нее записать бравурный марш из оперы «Аида». Велта поднесла мне розы. Похоже, она собиралась меня поцеловать, но застеснялась, и мы просто стукнулись носами. Общий подарок вручил Эйдис. Фундаментальный труд по нашей специальности — настоящая библиографическая редкость.

— Тут сделана надпись такого содержания, — в своей обычной манере бурчал Эйдис. — «Этой книгой пользуйся, покуда из печати не выйдет твоя собственная — лучше, короче, полнее». Скреплено двадцатью семью подписями. Обладательница двадцать восьмой в настоящее время находится в родильном доме, распишется позже.

...Это конец, подумал я. Возмездие за промедление. За то, что так долго откладывал решение. А нужно было себя заставить. Пока еще была возможность. Теперь уже поздно.

Но в тот момент, когда до моего сознания дошло, что силы на исходе, в последний раз я всплыл на поверхность и в зыбкой темноте увидел: на расстоянии вытянутой руки плывет бревно... Спасен!

...— Я сам себя нередко спрашиваю, каким должен быть коллектив, — говорил Кронис. — Должны ли все быть друзьями? Должно ли быть во всем единодушие? Должно ли согласие быть стопроцентным? Без разномыслия? Без противоречий? Мы трудовой коллектив. Наша ценность — в совместной трудоспособности. В способности выдвигать новые идеи. В определенном смысле — и в трудоупорстве. Не знаю, согласитесь ли вы со мной...

...На дороге меня подобрал грузовик, перевозивший экспортных телят. Добравшись до дома, сбросил одежду в ванной. Повесил сушить на веревку кеды и часы...

...— Каждый в отдельности, мы далеки от совершенства. Но в дружном коллективе хорошие черты умножаются, дурные сглаживаются. Калвис Заринь среди нас самый молодой. Он вошел в наш круг, по моему, вполне закономерно, я бы даже сказал, своевременно. Его приход освежил наши импульсы. Говорю это с долей зависти. Кое-кому может показаться, что мы и сами еще достаточно молоды, что наши мысли вполне свежи. Но это не так. Импульсы постоянно должны освежаться.

...Чего же я мешкаю? Отработанный воздух душил меня.

...— А еще, Калвис, я скажу так: хоть бегуны на длинные дистанции не придают особого значения старту, все же очень важно, кто бежит рядом с тобой. Вполне понятно, в жизни у тебя еще будет немало решающих и значимых событий. Позволь мне от имени бегущих рядом с тобой сегодня пожелать, чтоб свой приход в нашу лабораторию ты считал одним из приятнейших и счастливейших событий жизни и тогда, когда победителем выйдешь на финишную прямую.

Он подошел ко мне, пристально глянул в глаза, одновременно пожимая и ладонь и локоть моей правой руки.

Я повернул голову. На меня смотрел Эйдис. Дальше — Элар, Линард, Паруп, Дударе, Миллия, Айгар, Мешонока, Рудите, Велта, Александр, Вилнис, Марта, Сергей, Тедис, Бриежкалн, Вуцан, Бергсон. Все смотрели на меня.

...Почувствовал, что выбрался из воды. Не исключено, всего на миг. Нельзя упускать возможность.

— Не знаю, что говорят в подобных случаях, — тут я приостановился, откашлялся. — Этот день рождения мне навсегда запомнится. Не так, как хотелось бы, и все же... А вообще я должен сказать, вы и сами это знаете: я виноват...

...Невесомый, осклизлый, я пробкой покачивался на волнах в шелестящей осоке. Совершенно точно зная: стоит мне открыть глаза, и прекрасное настроение рассеется. И все же надо было просыпаться. Кто-то, казалось, твердил над ухом: ты должен подняться, ты должен подняться, ты должен подняться.

Не помню, как я поднялся. Словно в тумане, в дыму, ничего не чувствуя, не соображая, сделал шаг-другой, опрокинул стул и больно стукнулся о дверной косяк.

Пришел в себя в ванной. Глаза резанул отраженный от белоснежных плиток свет.

У ванны, в которой валялась моя мокрая одежда, стояла мать, двумя пальцами придерживая висевшие на веревке часы. Увидев меня, тихонько заплакала.

О тайне

Незнание похоже на муку. Если к незнанию добавить дрожжи фантазии, тесто начинает подниматься, и появляется тайна. Незнание превращается в тайну, и она кого-то волнует.

Когда мне исполнилось десять, мать повезла меня в первое далекое путешествие — в Ленинград. Четыре дня блужданий по мраморным ступеням, среди мраморных колонн и золоченых рам. Золото покрывало стены дворцов, как покрывает ржавчина борта старого судна. Столетия сгрудились и вздыбились, как торосы. Тот самый воздух, которым дышали мы, шевелил локоны Тициановой мадонны. Отшлифованный мизинец гранитной ступни Атланта превращал нас в лилипутов. Две букашки ползают по сеновалу; подкашиваются ноги, трещит голова, лучшее сено человечества собрано в одном сарае. Шапка Достоевского. Мумии кошек древних египтян. Копье Миклухо-Маклая. Роспись Микеланджело. Человеческие маски в застывшей лаве Помпеи. Посмотрите направо, здесь Распутина бросили в Неву. Чердак этого дома описан Гоголем. Небо «Пиковой дамы». Маятник Фуко Исаакиевского собора, фонтаны, камеры-одиночки Петропавловской крепости, царские гробы. Мороженое с шоколадом в кафе «Север».

И все же самое сильное впечатление осталось не от золота и патины, не от невских волн и подсвеченных струй фонтанов. Домой уезжали поздно вечером. С шумом задвинулись двери купе. Смолкли голоса. Погасли лампочки. И только стальные колеса вели беседу с рельсами. Я стоял в коридоре. За окном тянулся неоглядный черный простор. Лишь где-то вдали мерцал во тьме огонек, словно в море маяк, словно последний в мире костер, словно сигнальный знак инопланетян.

По сей день помню, каким слабым казался огонек в ночи и как хотелось приблизиться к нему. Пробудилось воображение, разыгралась фантазия. Тайна летит поверх вагона и курлычет журавлем. Черный занавес задернут, но волчий глаз поблескивал из тьмы. Там, вдали, было то, чего ждут, что предчувствуют. Там, вдали, у всех на виду Несси высиживала яйца, пытаюсь согреть озябшие бока в холодных водах озера Лох-Несс. Там предок Пушкина, Ибрагим, доподлинно знал, почему у чернокожих кожа черная, а у бледнолицых белая. Всякий мальчишка сумел бы объяснить, отчего над головами мадонн на полотнах древних мастеров сияющий нимб, хотя свечение биотоков вокруг человека открыто недавно с помощью технически сложной фотосъемки. И ни для кого не секрет, что металл современности алюминий, получаемый сегодня с помощью электролиза, в Средней Азии был известен еще несколько тысячелетий назад.

Гаснет огонек. Остается предощущение открытия. Представление о мире как о черной луковке. Со светящимся огоньком внутри, который курлычет журавлем.

Вспоминаю сказку о принцессе с хрустальной горы — спит зачарованным сном, ожидая своего избавителя. Попытался до нее доскакать добрый молодец на серебряном коне. Не вышло, не одолел горы конь. Не смог героя вынести на вершину и конь золотой. Только третий конь, конь алмазный, домчал молодца до вершины.

Пытаюсь разгадать потаенный смысл сказки. Серебро — древняя наивная пора первоначального накопительства. Другое дело — золото банковских сейфов. Это уже силища, но все еще недостаточная. Алмазный конь — вот двигатель современности. Монокристаллы, физика твердых тел, расщепление ядра... Добрый молодец 1980-х годов у подножия хрустальной горы запалил костер, способный шар земной обжечь, как обжигали глиняные горшки. А может, первый конь был не серебряный, а глиняный?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

У матери с Янисом Зариным сохранялись довольно странные отношения. По-моему, наиболее точным определением статуса Зариня в нашем доме было и оставалось — квартирант. Иной раз они вместе уезжали в го-

род, иной раз вместе возвращались. Временами относились друг к другу вполне терпимо, временами не ладили. Ничто не говорило о том, что Заринь из моей комнаты может перебраться в комнату матери. А вообще должен честно сказать: я многого не понимал. Подчас мне казалось, что мать довольна и только стесняется это признать открыто. Порой создавалось впечатление, будто она несчастна, печальна, даже подавлена. Случалось, Заринь в наплыве чувств резвился, как полинезиец: шалил, дурачился, ворошил матери прическу, дергал за воланы платья. Чаше всего за столом на кухне. А в речах своих Заринь был ироничен, так что все его шалости можно было принять за шутку.

Мать была на редкость терпима к фокусам Зариня, но по отдельным пунктам проявляла непоколебимую твердость. Например, наотрез отказалась стирать его белье. Столь же непреклонно настаивала на том, чтобы Заринь раз в неделю, поочередно со мной, убирал комнату.

Участие Зариня в финансировании хозяйства нельзя было назвать стабильным. Время от времени он оказывался на мели — сдавал пустые бутылки, выуживал из карманов последнюю мелочь. Потом опять жил на широкую ногу, дарил матери цветы, угощал нас дынями, датским пивом, дорогой колбасой из комиссионного магазина, тортами и грецкими орехами.

В общем и целом ладить с Зариным было нетрудно. За исключением моментов, когда у него в голове каким-то мистическим образом возникали короткие замыкания. Впервые на это я обратил внимание в один из дней нашей совместной уборки. Матери не было дома. Я сложил стулья на диван, принес ведро воды. Заринь, пытаясь, нечаянно опрокинул ведро. Шуму было много, лужа основательная.

— Черт бы тебя побрал вместе с твоим ведром! Чего суешь под ноги!

Он вперился в меня: лицо блее, чем у клоуна, рот искажен гримасой, брови — почти вертикали. А глаза такие, будто у него в руках нож. Настоящий Канио. Я пожал плечами и взялся за тряпку.

— Пошел вон! Не путайся под ногами! Водянка, что ли, в голове! Скачет тут, как воробей у коня под хвостом.

Полностью сорвался с тормозов. Однако длилось это недолго. Вскоре он опомнился и, чувствуя свою

вину, изо всех сил старался загладить резкость. Обычно «взрывы» происходили, когда предстояло что-то малоприятное, когда приходилось выкладываться физически или морально.

Однажды мы втроем в благодушнейшем настроении гуляли в лесу. Спустя некоторое время Заринь надумал вернуться домой смотреть хоккей, но мать предложила дойти до той дюны, где прошлым летом на праздник Лиго жгли костер. Заринь взглянул на часы, проворчал, что мать никогда не испытывает недостатка по части гениальных идей, после чего настроение у него заметно испортилось.

— Может, и правда на сей раз воздержимся? — не желая ссорой портить мир и лад, я дипломатично принял сторону Зариня.

— Вы преспокойно можете отправиться домой, — мать, как обычно, от своих замыслов не отступилась. — Сварите картошку, поджарьте котлеты. Будет замечательно, если к моему приходу на столе будет ужин.

Мать шутила и смеялась. Мы, разумеется, ее не покинули. Но вдруг хлынул дождь. Небо бороздили мелкие облака, но лило изрядно. Листья только распукалились, искать спасения под деревьями не имело смысла. Еще с мальчишеских лет я помнил тропинку, которая между полосой дюн и дачными участками прямой дорогой выводила к нашему дому. Склон был крутой, спуститься оказалось не просто. Мать чуть не сломала каблук. Заринь пыхтел от усталости, пинал подошвами песок. Неожиданно путь преградил забор. Раньше его там не было. Оставалось опять подниматься наверх или же, продираясь сквозь мокрый кустарник, спотыкаясь о выветренные корневища, попытаться вдоль забора добраться до ближайшего проулка.

Заринь, прикрыв галстук лацканом пиджака, втянув голову в плечи, первым двинулся в овраг. Намокшие волосы обнажили обычно старательно укрытую плешь. Но и на этом пути возникла непредвиденная преграда: между забором и дюной кто-то построил гараж. Дождь нахлестывал.

— Похоже, придется вернуться, — сказал я.

Этого оказалось достаточно, чтобы он детонировал.

— Так куда же идти! Куда мы залезли! Что мы тут ищем! У чужих нужников! На чужих помойках! Кто мы такие — бельевые воришки, помоечники?

Ладонью утирая мокрый лоб, с театральным омерзением, словно гадких насекомых, отряхая жирные капли, Заринь повернулся к нам и вопил во всю мощь голосовых связок, в основном адресуясь ко мне:

— Я говорил: пошли домой. Так нет! Мы должны еще нанюхаться дерьма собачьего! Не уверен в себе, нечего другим дорогу указывать!

— Не беда, не помрешь. Нос по земле не волочи, тогда и запахи будут более пригожими,— мать сохраняла спокойствие, но чувствовалось, что обращенное ко мне замечание Зариня она приняла болезненно.

— Свое остроумие можешь приберечь для воскресной педагогической радиобеседы,— раздражение Зариня теперь перекинулось на мать.— Что за болезнь такая — командовать! Все хотят быть командирами. Все хотят распоряжаться. На работе, в газете, на собраниях. И ты без этого не можешь.

Допустить оскорбление матери мне показалось невыносимым. К тому же я был уверен, что злобу Зариня вызывает главным образом мое присутствие. Поэтому вежливо, но строго, с дрожью в голосе я произнес:

— На меня можете кричать, если это вам доставляет удовольствие. А на нее (употребить слово «мать» в данной ситуации считал неподходящим) попрошу не повышать голоса. Она не привыкла...

— Я тоже не привык!

— Да уймись вы, перестаньте. Нашли из-за чего.

— Коль скоро яйцо отваживается критиковать инкубатор, стало быть, инкубатор имеет право кое-что сказать о яйце. Милый мальчик, это славно, что ты заступился за мать. Только не надо быть олухом. Выпусти мамину руку. Негоже парню в твоём возрасте держаться за мамину юбку.

— Янис, как тебе не стыдно!

— Мне? Стыдно? Интересно!

— С чего вы решили, что я держусь...

— Ну, это так, в широком смысле. В Ильгуциемсе в годы моей юности жил некто Рудис. Ему было тридцать или даже сорок, но где бы он ни появлялся, всегда за руку с матерью. Поговаривали, будто они спят в одной постели.

— Янис, прекрати!

— Что значит «прекрати»? Детей надо воспитывать.

Это был отвратительный вечер. Заринь, в одних трусах, распираемых толстым брюхом, утюжил на кух-

не промокший костюм и, безбожно перевирая мелодию, насвистывал четвертую симфонию Иманта Калныня. Мать сказала, у нее голова разболелась. Но у меня было подозрение, что она у себя в комнате плачет. Я сидел на скамейке перед домом и прутиком чертил на песке фигуры, совсем как Архимед в Сиракузах.

Когда стало темнеть, ко мне вышла мать.

— Вот, Калвис, какой он. Иллюзий строить не приходится,— сказала она.

— Жаль, что вы из-за меня ссоритесь.

— Он отходчив.

— Все равно. Поживу некоторое время у Большого. Оттуда на лекции ближе, да и вообще...

Довольно долго мать в молчании смотрела на меня. В ее глазах, как мне показалось, всплыли страх и недоумение. Может, просто удивление; не хочу утрировать. Во всяком случае такое выражение, будто я сказал что-то неприличное.

— Что за глупости...

— На время.

Она пыталась меня отговорить, но я твердо стоял на своем. И еще подумал: я в самом деле ее сын, весь в нее.

Мое решение переменить местожительство Большого не очень удивило. Он выслушал меня довольно рассеянно, не углубляясь в детали. О ссоре с Зариным я, разумеется, умолчал, заметил только, что совместное проживание в одной комнате мешает сосредоточиться.

— Хорошо,— сказал он.— Об этом потолкуем позже.

— У тебя нет возражений?

— Ты явился вовремя. Бери лопату, я возьму вилы. *Viribus unitis*¹ мы с этой работой управимся за два часа. Полюбуйся, какая великолепная садовая лопата! Вчера купил.

Большого захватила идея выращивать картофель, морковь, капусту, брюкву. Садовый участок он уже отвоевал. Теперь предстояло вскопать его.

— Думаешь, есть смысл? — неосторожно усомнился я.

— Милый Свелис, о чем ты говоришь! Основные продукты питания! Овощи должны быть высококачественными. Тут ты сам знаешь, что кладешь в землю.

¹ Общими силами (лат.).

Знаешь, что сеешь. Эта химия вскоре через уши из нас потечет. Яд, а не пища. В картошке процент крахмала понизился. Отсюда гниль и все прочее. С виду клубень как клубень, а внутри чернота. Как думаешь, зонт захватить?

Садовый участок, как я понял, находился в удобном месте, вблизи железной дороги. Но когда мы спустились вниз, оказалось, на противоположной стороне улицы нас ожидает старая модели «Волга». Солидной наружности бородач помахал нам шляпой.

— Знакомьтесь,— голос Большого звучал торжественно.— Мой внук Калвис, ближайший сосед по земельным угодьям инженер Биетаг.

— Бывший инженер.

— Инженер — это на всю жизнь. Как и папа римский.

Новая колония садовых участков — на запущенном лугу — пестрела людьми: строили, копали, сеяли, подвозили, сгружали, отвозили, удобряли. Если у пейзажа, как у людей, имеется свое излучение, то здесь излучались таинственная тяга к земле, отчаянная решимость, плескавшая через край энергия. Не знаю почему, но впечатление было такое, будто после какого-то катаклизма, с неистребимой тягой к труду, здесь заново жизнь начинают те, кто остался, кто уцелел, радуясь, что самое страшное позади, ни о чем не помышляя, кроме крыши над головой, с надеждой сея семена на вскопанные грядки.

— Никаких хибарок, никаких заборов! Только картофель, брюква, морковь и свекла,— объявил Большой.— Каротин, протеин, витамины. В чистом виде.— И, будучи в отличном настроении, он принялся декламировать длинные стихотворные строки по-французски, между делом объясняя, что прелесть земледельческого труда в свое время воспел еще Расин.

Работая вилами, Большой неожиданно заговорил о Зарине:

— Мы тоже не смогли понять друг друга. Еще тогда, в самом начале. Судья. Настройщик рояля. Тотальное отсутствие последовательности. Амбиции, в основе которых дилетантство.

Почему судья? Почему настройщик рояля?

— Разве он, как и мать, не учился на филологическом?

Мой вопрос Большой пропустил мимо ушей.

— Само по себе это еще ни о чем не говорит. Если допустить, что биологической жизнью управляют особые ритмы,— продолжал он толковать о своем.— Норма — это редкость. Норма — идеал. Понадобись природе обычные пешки, она бы их выточила. На сей счет нет ни малейших сомнений.

— И в чем, по-твоему, ему не хватило последовательности?

— Возможно, виной всему простая лень. Если утром не бриться, можно минут на пять дольше поваляться в постели.

— Он растил бороду?

Большой опять не услышал вопроса и продолжал свои рассуждения:

— Люди маленького роста, как правило, редко бывают ленивыми. У них иной крен: они задиристы, обидчивы, тщеславны.

— Роста он не маленького.

— Не имеет значения,— Большой, утомившись, расправил спину.— Я тебе уже сказал: мы не смогли друг друга понять.

Так я и не разобрался: то ли Большой смешивал весьма существенные факты, то ли умышленно меня разыгрывал.

Возраст в нем давал о себе знать довольно необычно: казалось, год от году Большой становится все более прилежным и подвижным, волевым и деятельным. Все увлекало и занимало его. При всем при том он абсолютно был неспособен понять простейшую вещь: то, что занимало его, других в данный момент могло не интересовать.

— Свелис, что ты делаешь?

— Читаю.

— Иди-ка посмотри, какое облако в штанах. Маяковский, оказывается, был чистейшей воды реалистом. Полчаса спустя.

— Свелис, ты все еще читаешь?

— Читаю.

— Надо бы снять со шкафа чемодан.

— Нельзя ли попозже?

— Это займет совсем не много времени. Там у меня заметки о Дидро. Хочу тебе показать, что он писал об экспериментах.

— Через полчаса, хорошо?

— Не отлынивай. Вот увидишь, это тебе пригодится.

Все, разумеется, должно было вершиться по его воле. Но угадать его волю было не просто. За завтраком, скажем, я привык пить кофе.

— Не годится, это никуда не годится.

— Что не годится?

— Баловать себя. Утробу ублажать. Кофейничанье — особый вид алкоголизма.

— Без кофе не могу проснуться.

— Вздор. Кофе пить — потакать своим слабостям. Сто граммов — два рубля. В высшей степени аморально. Отцы наши пили липовый чай. Или они из-за этого меньше сделали? Привычка превращает в норму исключительное. И все лишается смысла — действенное лекарство, прекрасная речь, да что угодно.

Примерно тогда же стало известно, что наконец решено приступить к строительству университетского общественного центра. Главное здание университета, возведенное более столетия назад, напоминает прекрасный старинный дворец, внутри превратившийся в коммунальную квартиру. Несоответствие между практическими нуждами и первоначальными замыслами не раз приводило к поверхностным перестройкам; гармонично уравновешенное пространство рассекали фанерные перегородки, по классическим аркам потянулись провода и трубы, актовый зал по большей части занимала филармония, а спортивный вообще отсутствовал.

Общественный центр был спасением и разрешением многих проблем. Он разгрузил бы старое здание, создал бы новую подобающую современному университету обстановку.

Мысленно я рисовал себе картину будущего: после ряда архитектурных неудач над Ригой наконец поднимется великолепная постройка, которая в городской панораме проставит важный акцент. Студенты получают залы для различных мероприятий, спортивный комплекс, увеселительный блок, корпус для самостоятельности, гостиницу. Неподалеку от университета, по ту сторону канала, за плакучими ивами и белыми березами, полным ходом идет реконструкция Оперы. Оба здания, можно сказать, близнецы, строились в одно время! Былое великолепие обретает зал, в котором некогда дирижировал Вагнер (впрочем, нет, тогда еще Оперы не было, Вагнер дирижировал в первом Рижском музыкальном театре), Лео Блех, Купер, Рейтер, Вигнер, Тон; там звучали голоса Шаляпина, Тито Скипы, Ру-

дольфа Берзиня. И старое университетское здание реконструируется: архитекторы возвращают первозданный облик аудиториям и кабинетам, в которых преподавали Оствальд, Вальден, Цандер, Эндзелин, Стучка, Страдынь, Калнынь.

Я разыскал Зелму и поделился с ней идеей: начало строительства общественного центра отметить студенческим субботником. Зелма подумала и согласилась:

— Это можно.

— Строительную площадку, конечно, и без нашей помощи приведут в порядок. Субботник — чистая символика.

— Разумеется.

— Может, обсудить на бюро комсомола... Чтобы предложение исходило от какого-нибудь факультета.

— А вот это совершенно напрасно.

— Надо все как следует обдумать.

— Чего тут думать! Воспользуемся прессой. Самое милое дело: письмо студентов. Напишем — и точка. По инициативе Зелмы Ренскумберги и Калвиса Зариня.

В ближайшие два дня заниматься этим не пришлось, подоспела срочная работа. И меня порадовало, что при следующей нашей встрече Зелма с первых же слов заговорила о субботнике. Как бы между прочим, но всем своим видом выдавая увлеченность.

— А знаешь, — сказала она, — к идее субботника уже проложена тропа. Комитет комсомола поддерживает, партбюро за, ректор тоже. С профсоюзным боссом пока только не говорила.

— А что наши?

— Какие «наши»?

— Ну, на курсе, в группе?

— А-а... — усмехнулась Зелма. — Есть отличный анекдот о том, как обезьяна собиралась полакомиться сливами. Сначала решила проверить, пройдут ли они.

— Завтра у нас собрание. Хорошо бы обсудить, посоветоваться, как сформулировать обращение.

— Ну что ж, поговори, — согласилась Зелма. — Почему бы нет.

— А у вас когда собрание?

— Не скоро. Да не будь ты формалистом!

Обращение, как оказалось, у Зелмы вчерне уже было готово. В меру восторженное, в меру деловитое. Как раз в нужном ключе. Начиная с заголовка «Помечтаем за работой» и кончая заключительным при-

зывом «Выходя на субботник, шагайте в ногу с за-втрашним университетом», Зелма, на мой взгляд, удачно развила мысль о том, что человек не желает быть только потребителем, что необходимо поддерживать равновесие между тем, что он получает и что отдает. Один абзац меня попросту умилил, тот, в котором Зелма говорила об энтузиазме как о стародавнем этическом факторе, ссылаясь на Райниса: «Обретают — отдавая, обретают — получая. Отдавая, что обрел, никогда не обеднеешь». Как пример она приводила Праздник песни, где труд превращается в радость, а также другие добровольные начинания, в которые люди вкладывают усилия, не ожидая материальных благ, не ожидая ничего, кроме радости и душевного удовлетворения.

В последующие две недели для пропаганды субботника Зелма организовала радиочас, и там прокручивались ее интервью с деканом, автором проекта архитектором Вайделотом Букой (как ей удалось! О нелюдимости и желчности Буки рассказывали чудеса); она же устроила межфакультетский конкурс на лучший плакат, подготовила передачу для молодежной редакции телевидения. Зелма ходила по инстанциям, давала разъяснения, подбадривала, увлекала, улаживала формальности, воевала с равнодушными, появлялась на собраниях, осаждала корреспондентов и подыскивала фотографов.

Нельзя было пожаловаться на отсутствие энтузиазма в университете. Инициативы следовали одна за другой. Доска объявлений пестрела призывами: выйдем! сделаем! выполним! построим! поддержим! Нередко такого рода подъем и оживление бывают формальными. Мероприятия «для галочки» подчас оказываются мертворожденными. И все же я бы не сказал, что равнодушные неустраимо. Отзывчивость студентов подчас просто поразительна. Идея субботника тоже многим пришлась по душе. На что я и рассчитывал. Во всяком случае не сомневался, что субботник удастся на славу (мой Клосс!). Говорю это не к тому, что хотел бы умалить блестящий вклад в это дело Зелмы. Как раз наоборот. Хотя в подготовку субботника многие внесли свою лепту, но участие Зелмы придало всему — как она сама бы выразилась — надлежащий уровень. За что бы Зелма ни бралась, все у нее выходило талантливо, к тому же ей невероятно везло. Она никогда не терялась, не оставалась на полпути, ни в чем себя не сдерживала.

— Ты в самом деле считаешь, что нам понадобятся и бульдозеры? Но где же их взять!

— Ну, это сущие пустяки!

И бульдозеры Зелма конечно же пробила. Отправилась на прием не к кому-нибудь, а прямо к министру, и все уладила. Зелме первой пришла в голову мысль начать субботник с марша на строительную площадку. Ей же принадлежала другая идея: с башни старого здания при помощи лазера зажечь на новой территории «академический костер». Сначала она все это нафантазировала в беседе с корреспондентом. А затем нажала, где следует, и дала делу ход.

В день субботника Ригу поразил очередной каприз погоды периода активного солнца — жару предыдущей недели сменило похолодание. Ночью меня разбудили раскаты грома. Жесть подоконника звенела от дробинки града. Утром на газонах с первой зеленью пестрели белые нашлепки снега. Воздух промозглый, холодный, из рта клубился пар. Полил дождь.

Улицы уже превратились в реки, а дождь не унимался. Циклон гонял по небу растрепанные облака. На берегу канала ветер отломил у старого дерева огромную ветку.

Сбор был назначен на другой стороне университетского здания, напротив парка. Несмотря на скверную погоду, настроение было праздничное. Психологам стоит поразмыслить над подобными явлениями. Не раз мне приходилось убеждаться, что трудности порой воодушевляют. Впервые я это заметил на берегу Аматы, на соревнованиях по водному слалому: чем свирепее были волны, чем чаще участникам приходилось падать, барахтаться в воде, лязгать зубами, тем веселее, увлеченней казались как те, кто боролся с течением, так и те, кто мерз и мок под проливным дождем на берегу.

Политехники в поддержку прислали духовой оркестр; Эглит, выпятив бороду, размахивал жезлом. Девочки с филологического импровизировали танец спин. То там, то здесь затягивали песню. Юристы играли в «лишнюю пару».

Девочки с Зелминого курса, как римские legionеры, построились «черепашей» и стояли плечом к плечу, держа над головами заслон из щитов для отражения града стрел с осажденной крепости. С той только разницей, что вместо щитов для ограждения своих причесок девочки держали прозрачную полиэтиленовую пленку.

— С праздником вас! Отличный грибной дождичек, не правда ли?

— Иди сюда, встань посередке. Нам как раз не хватает опорного столба для водостока.

— Где Зелма?

— В глаза не видели.

Должно быть, зашла в комитет комсомола, что-то улаживает, подумал я. Стоять и ждать не в ее характере.

Однако наверху ее не оказалось. Петерис Петерисович Валпетерис под грохотанье дискомузыки на листочках размером в ладонь второпях набрасывал тезисы своей речи. Женя просматривала сценарий субботника. Ария пришивала пуговицу к своему дождевику. Эдвин и Володя, как обычно, о чем-то спорили.

— Где Зелма?

— Зелма? Об этом я хотел бы спросить у тебя,— отрезал потревоженный Валпетерис. Если у него и была какая-то выдающаяся черта, так это способность поднестись над личными симпатиями и антипатиями в общественных вопросах. Посему ответ мне показался странным: в нем чувствовалось ничем не прикрытое раздражение против Зелмы.

— Понятия не имею,— ответила Ария, перекусив зубами нитку и взмахнув морковного цвета ресницами.— Возможно, в ректорате. Поближе к начальству.

И в ректорате Зелмы не было.

Началось построение для марша. Под дождем расплывалась краска плакатов. Оркестранты выливали воду из труб. Как из сапог. Зелмы не было.

Подошел к своим, поздоровался, старался казаться веселым, но голова вертелась из стороны в сторону. Конечно же она должна появиться, просто запоздала, вот и все. Но чтобы сегодня, в такой день!..

Позвонил из ближайшего автомата. Трубку сняла мать Зелмы.

— Ах, это вы, Калвис, да? Нет, нет, вы меня несколько не утруждаете. Сейчас ее позову. Одно мгновение.

Мгновение все тянулось и тянулось, достигая опасных пределов. Так воздушный шарик раздувается все больше и больше, пока... Потом в трубке опять слышался голос матери:

— А знаете, Зелмы нет дома. Ушла.

— Давно?

— Вполне возможно. Не сумею вам сказать.

Шествие началось. Дождь прямо-таки нахлестывал. Оркестр упрямо наяривал, грохот барабана сливался с прилетавшим издали собственным эхом. Подбежала Ария, сказала, что нужно перебраться в переднюю колонну, потому как в сценарии что-то меняется и, стало быть... Я слушал краем уха. Меня интересовало, куда девалась Зелма. Ее отсутствие катастрофически омрачало восприятие реальности.

Несколько часов спустя — уже на строительной площадке — стало ясно, что ее действительно нет. Предположение, что она опаздывает, отпадало. Как отпадали и всякого рода недоразумения, ошибки, транспортные пробки, чудачество часов. С тех пор как я позвонил, можно было уже раз десять добраться до центра. Пешком. Кувырком.

На главной городской магистрали время от времени происходили дорожные происшествия... В голове промелькнула и картина ночной Старой Риги, о чем меньше всего хотелось вспоминать: Рандольф силком затаскивает Зелму в машину... Какая глупость! Что еще? Острый аппендицит. Сердечный приступ. Отравление испорченными консервами. Бытовая травма: сорвалась облицовочная плитка...

Собирался еще раз позвонить Зелме домой. Но как уйти от товарищей? В разгар работы.

А сейчас вспоминаю и думаю: как странно все тогда воспринималось. То, что меня действительно потрясло и вывело из равновесия, имело лишь отдаленное отношение к навеянным фантазией страхам. Меня ошеломило метафизическое ощущение пустоты. Как-то уж очень наглядно и остро раскрывалась возможность такой ситуации: Зелмы нет. Вот в чем ужас. Что причины пока неизвестны, сути дела не меняло. Ее не было, и это «не было» рождало пустоту, тягостную, жуткую, мучительную.

Хотелось, чтобы все было, как прежде. Зелма, возникни, Зелма, явись. Зелма, пожалуйста, будь...

К полудню облака рассеялись. И как нельзя более кстати: уныние и сырость понемногу охлаждали пыл. Солнце явилось высшей наградой, золотой медалью за стойкость. Стали исчезать накидки, плащи, капюшоны. Девушки, освобождаясь от нейлоновых курток, были похожи на раскрывавшиеся бутоны цветов. Парни скидывали рубашки, стыдливо обнажая белые спины.

Зелма появилась примерно через час, когда утренняя сырость уже стала забываться. Как это произошло, я толком не заметил. Помню, в какой-то момент на другом конце площадки у бульдозеров возникло оживление. И там вдруг оказалась Зелма. В элегантном горчичного цвета платье сафари, похожем на то, что было на ней во время сеанса мод, но другом. Возможно, сшитом специально для субботника. Зелма стояла в проеме раскрытой двери кабины бульдозера. Не исключая, что она и вела бульдозер. Или пыталась вести. Во всяком случае, там бурлило веселье, и Зелма была в самом центре его.

Почему я не обрадовался, увидев ее? Что-то предчувствовал уже тогда? Отчетливо помню, замер в каком-то мрачном любопытстве: что она сейчас сделает, как выберется из кабины бульдозера? Почему-то захотелось отодвинуть неизбежный момент встречи. Руки дрожали, в опустевшей груди застревало дыхание. Пытался уверить себя, что все это результат землекопных работ. Хотя никогда еще помахивание лопатой не приводило к столь драматическим последствиям.

Возможно, и Зелма старалась отодвинуть момент встречи. Впрочем, навряд ли. Просто в той части площадки, где работал наш курс, не происходило ничего примечательного. Зелме там нечего было делать. Мы издали помахали друг другу, обменялись приветствиями. Разумеется, я мог к ней подойти. Почему же я этого не сделал? Во мне просыпалось упрямство.

Немного погодя Зелма все же подошла к нам. По правде сказать, подкатила на автокране, и это опять же был целый спектакль. На голове у Зелмы желтая пластмассовая каска, на руках — брезентовые рукавицы. Что говорить, вид впечатляющий. И естественно, он вызвал овации. Но под конец все это Зелме надоело, и она укрылась за штабелями материалов. Наконец мы остались вдвоем.

— Я так долго до тебя добиралась, — сказала она. — Все, что здесь происходит, просто ужасно.

Выглядела она превосходно, и настроение было отличное. Расспрашивать, что с ней приключилось утром, мне показалось глупым, неуместным. И все же я спросил, не удержался. Она взглянула на меня даже несколько удивленно:

— Ты же знаешь, с утра шел дождь.

— И ты сидела у окна, дожидаясь, когда циклон переместится?..

— Да перестань ты.

— Это я так, шучу.

— Не успела до троллейбуса добраться, как вся промокла. Ты, конечно, извини меня, но явиться на субботник с зонтиком, по-моему, смешно. К тому же оказалось, что мое французское пальто линяет.

— Господи, какое несчастье!

— Не понимаю, чего ты орешь. Чего злишься.

— Это у меня фамильное, от отца.

— Так что тебе не нравится? Что на мне выглаженное платье? Что я не похожа на чучело, которое только что из мешка вытряхнули?

— Ты прекрасно знаешь, что мне не нравится.

— Какое это имеет значение — в дождь или после дождя? Важно, что я здесь.

— А я уж стал подумывать, что можешь вообще не прийти. Скажем, если б дождь не перестал.

— Оставь свои фантазии.

— Почему же фантазии, я вполне серьезно.

— То, что действительно надо сделать, я всегда успею сделать.

— Сфотографироваться на бульдозере ты, разумеется, успела.

— Милый Калвис, ты был бы совсем милым мальчиком, если б иногда не говорил глупости.

— У тебя во всем расчет и выгода. Для тебя важна показуха, суть дела тебе безразлична.

Зелма взглянула на меня с холодком. Прикушенные губы побелели даже под слоем помады.

— Не то страшно, что ты глуп,— со скучающим видом сказала она, глядя мимо меня куда-то вдаль.— Ты беспросветно наивен. Даже инфантилен. И все твоё тщеславие в инфантилизме: вы только посмотрите на меня, полюбуйте, какой я пай-мальчик. А я так считаю: коль скоро человека волнует суть дела, ему безразлично, что удерживает пуговицу на его пальто — вера или узелок. Лишь бы держалась. Ты же каждую пуговицу норовишь пришить десятиметровой ниткой, да еще на десять узлов завязать. И воображаешь, что очень порядочный. А на самом деле ты трусоват.

— Спасибо за откровенность.

— На здоровье.

— Это все?

— Все.

— Очень жаль.

— Когда я лгу, я знаю, что лгу. А ты лжешь и хочешь самого себя уверить, что говоришь правду.

— Может, еще что-нибудь скажешь?

— Рандольф такой же дурень, как и ты. Но с ним-то хоть спокойно себя чувствуешь.

Об антивеществе

Антивещество зафиксировано. Доказывает ли это, что мир построен в зеркальной проекции: предмет и его отражение? Вульгарное восприятие: вот мир, а вот антипод мира со знаком минус, иначе говоря, антимир. К тому же антимир и мир фатально взаимосвязаны. Следовательно, где-то там существует и мое другое я, мое анти-я, мой дубликат.

Авторы подобных теорий ни на миг не усомнились, что именно наш мир настоящий, реальный и что мы сами тоже настоящие, со знаком плюс. А что, если наоборот? Что, если мы — эти анти?

Иногда я не могу разумно объяснить свои поступки (то есть прекрасно понимаю, как надо поступить, а поступаю наоборот). Почему временами хочу того, чего, по здравому рассуждению, не должен был бы хотеть, и принимаю решения, в которые сам не верю? Почему иногда я думаю одно, а говорю совсем другое? Как будто мой рот всего-навсего репродуктор.

Возможно ли такое — быть античеловеком и этого не знать?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Карман, вывернутый наизнанку, остается карманом. Небольшая вроде перемена по сравнению с его обычным состоянием. А смысла никакого.

Нечто подобное после того разговора произошло со мной. Было такое чувство, будто меня наизнанку вывернули. Занимался чем всегда: слушал лекции, ездил в лабораторию, сидел на собраниях, но казалось, все это не в настоящей, а в какой-то перевернутой проекции. Некогда приятное теперь раздражало, то, что прежде пролетало в мгновение ока, теперь тянулось черепашьям шагом, интересное казалось скучным.

Иногда с недоумением озирался: я еще в аудитории? Когда же закончится лекция? Почему нет звонка?

Жил в вечных ожиданиях: что-то должно произойти, что-то должно случиться. Но что должно произойти? Что — случиться?

Раза два или три встречал Зелму в университете. Она меня не замечала. Возможно, так было лучше: отпадали новые ссоры, притворство. Право, не знаю. Иной раз в душе просыпались обида, упрямство, но чаще брали верх тоска и горечь.

Ну, допустим, в той целости, которую раньше я (а Зелма?) считал чудом прочности, появилась трещина. Что ж, ничего страшного. Неужели из-за этого терять голову? Шок, должно быть, вызывало другое. Уж не дал ли трещину мой беспредельный оптимизм?

Что осталось незыблемым, а что утратило силу? Что в прошлом было истиной, а что лишь условностью, обманом? Проще всего, разумеется, было бы сделать вывод: в словах Зелмы нет ни крупицы правды. Опровергнуть каждое слово, отместить все упреки, глупости, враки, фантазии. Чего только иногда не наговоришь со злости, когда словами кусают, царапают, бьют.

И все же... Она ведь знала меня как облупленного. Зелма преспокойно расхаживала по самым сокровенным тайникам моей души. И, как в тире, была без промаха в цель — ни дать ни взять мастер спорта Байба Зариня-Берклава. После каждого выстрела во мне что-то, брэнча и громыхая, падало, опрокидывалось, начинало крутиться. При каждом попадании я вздрагивал, сжимался. Не оттого, конечно, что обнаружил, какие уязвимые мишени находятся в моем тире. Я-то об этом знал и раньше. Потрясло меня, что знала и Зелма. И стреляла хладнокровно, метко, безжалостно: бах-бах-бах. Без раздумий, без колебаний. Как будто давно к этому готовилась. «Вы только посмотрите на меня, полюбуйте, какой я пай-мальчик». Нетерпимость к не порядку сидела во мне глубоко. В первом классе школы галдящая, ревушая ребячья свора на меня наводила ужас. Я не мог понять, почему мальчишки друг дружку толкают, таскают за волосы, норовят сбить с ног. Уроки мне нравились, а перемены пугали. Я медлил выходить из класса, перевязывал шнурки и как бы невзначай вытряхивал под парту содержимое своего школьного ранца, шел на всякие хитрости, лишь бы подольше оставаться в безопасности. Но рано или поздно при-

ходилось выходить в коридор. И в этой кутерьме, в этом столпотворении, обмирая от страха, я брал за руку маленькую Илзите, и мы с ней смирно гуляли по коридору. При этом я то и дело вскидывал глаза на учительницу, которая в дальнем конце коридора, опершись на подоконник, что-то читала. Мне хотелось, чтобы она посмотрела на нас, обратила внимание, как прекрасно мы гуляем. Было ли тут тщеславие? И да, и нет. Я сознавал, что веду себя лучше других. Но мое поведение, как кажется, отчасти объяснялось страхом. Я считал, что взгляд учительницы для меня послужит охранной грамотой. С ним я буду в безопасности. Так славно мы гуляли с малышкой Илзите, что это не могло оставить равнодушной учительницу. Вот сейчас она хлопнет в ладоши и скажет: угомонитесь вы, озорники, посмотрите, как хорошо ведет себя Калвис Заринь, будьте и вы такими же примерными, смирными.

Я радовался, когда при раздаче табелей меня хвалили за успеваемость в присутствии всей школы. Гордился я и тем, что в девятом классе учитель математики Ионатан после моей победы на математической олимпиаде разрешил мне называть его на «ты».

В различных конфликтных ситуациях у меня сдают нервы. Мне положительно недостает хладнокровия. До сих пор в общем-то все кончалось благополучно. Но меня не покидало чувство, что за это рано или поздно придется поплатиться. Я не боялся опозорить себя трусливым отступлением. Пугало другое: в минуту волнения или отвращения, злости или возмущения я могу сделать что-то непоправимое. Если, скажем, под рукой окажется железный прут.

Как-то наш класс участвовал в телевизионной викторине. В программе был такой пункт: любимое стихотворение. Когда ведущий остановился возле меня, я неожиданно вместо своего любимого стихотворения назвал совсем другое, которое мне не нравилось, но которое написал Райнис. Даже не могу объяснить, как это случилось. В студии было очень светло, и когда объектив камеры нацелился на меня, я решил, что не имею права ошибаться, на карту поставлена честь школы. То стихотворение Райниса в учебнике называлось среди несомненных образцов революционной поэзии.

Я, разумеется, знал, что при желании могу произвести (особенно на людей пожилых) хорошее впечатление. Бывали случаи, когда я вел себя предельно обду-

манно, взвешивал каждое слово. Доля лицемерия тут неизбежна. А может, я зашел слишком далеко в погоне за ореолом преуспевающего человека. Мне-то самому казалось, я не перехожу границ приличия и хорошего тона. Но все ли так просто с этим несложным понятием «тщеславие»? Мне вспоминались и такие эпизоды, когда я вполне искренно старался, например, доставить радость матери. При известных обстоятельствах приходилось вести жестокую борьбу с различными комплексами переходного возраста. Даже по ночам мне снилось, какой я безобразно худой и неуклюжий, какой у меня длинный нос и до чего неказиста моя нижняя губа.

Короче говоря, я, словно парашютист, застрявший на дереве, беспокойно озирался, стараясь уяснить обстановку. К сожалению, точка обзора не слишком располагала к хорошему настроению.

Как-то вечером,— было уже поздно, я мылся под душем,— в коридоре раздался нетерпеливый звонок. Большой еще не вернулся с собрания энтузиастов-огородников. Наскоро прикрывшись, прошлепал по линолеуму к двери. Еще подумал про себя: вот свинство, должно быть, кто-то перепутал дверь.

И тут мою руку стиснул Рандольф.

— Ну? Из постели вытащил? Не понимаю, что за блажь в такую рань ложиться без дамы?

В ушах у меня зазвенело, кровь бросилась в лицо. Не мог понять, отчего появление Рандольфа так меня взволновало. Надо было сделать вид, что не слышу звонка... И эта конечно же раздражением подсказанная мысль вроде бы удивила. Почувствовать неприязнь к Рандольфу после двенадцати лет дружбы — это все равно что поскользнуться на паркете в собственной комнате.

Пока вытирался, одевался, немного пришел в себя. Он мой друг, говорил я себе, мой друг. Хотя мысль эта и казалась странной. С какой стати друг? У меня иные интересы, иные взгляды, иной угол восприятия. Как долго может связывать детская дружба?

Рандольф опять под градусом? Непохоже. Уселся в кресле в своей излюбленной позе: небрежно развалился, вытянув ноги.

— У тебя новая прическа.

Рандольф пожал плечами, а пальцем сплющил свой классический прямой нос. Это было похоже на то, как если б он прижался к оконному стеклу.

— Это все мелочи жизни, старичок.

— Ну что там у тебя...

Он не ответил, смотрел на меня так, словно ждал какого-то знака. Затем вскочил с кресла и встал передо мной — глаза в глаза. Я подумал: сейчас возьмет меня за лацканы халата и примется трясти.

— Который час?

— Половина одиннадцатого.

— Точка отсчета...

Рандольф продолжал сверлить меня взглядом. Выражение его лица постоянно менялось под напором обуревавших его чувств, разобраться в которых я был не в состоянии.

— О ней хочу с тобой поговорить.

Сказал — и с лица как бы спала маска. Такое выражение мне уже приходилось видеть. Однажды на большой перемене, когда мы с ним дежурили в классе, к нам пытался ворваться Ояр со своей ватагой. Рандольф старался дверь удержать, на время ему это удалось, но в конечном итоге неимоверные усилия оказались тщетными. И тогда на лице у Рандольфа появилось в точности такое же выражение: не в моих силах удержать.

Я подошел к дивану, зачем-то сел. А возможно, сел очень кстати. От последней фразы Рандольфа я почувствовал слабость в ногах. «О ней»... В ушах уже звучало произносимое Рандольфом имя Зелмы.

— О ком — о ней?

— Об Анастасии.

То, что разговор пойдет об Анастасии, я воспринял с облегчением. Ну да, конечно, Рандольф помещался на Анастасии. Впрочем, тема туманная. О личности, носившей это имя, я имел довольно расплывчатые представления. Ладная девичья фигурка, сохранившаяся в памяти со времен совместной поездки к Эмбрикису, жила в ней сама по себе и никак не сочеталась с последующими событиями, которые надлежало связывать уже с понятием «Агрита-Анастасия».

— Ты что, хочешь, чтобы я подтвердил или оспорил твои мысли о ней?

У меня это как-то само собой вырвалось, ничего другого второпях не пришло на ум. Но судя по реакции Рандольфа, я угодил в точку.

— Хочу, чтобы ты сказал, нормально ли я рассуждаю. Может, я в самом деле кретин с изрядным отклонением от нормы.

— В каком смысле?

Он смешался и без видимой причины стал поправлять воротничок сорочки. Его несчастный вид вызвал во мне теплые чувства: нелегко ему, оно и понятно. Что ни говори, а Рандольф славный малый. Не без недостатков, разумеется. А у кого их нет? Иногда меня захлестывал совершенно мерзкий эгоизм. Все «я» да «мне». Сейчас не время рассуждать — друг мне Рандольф или нет? Раз он пришел поговорить со мной по душам, стало быть, я ему нужен.

— Никак не пойму, отчего она такая дура, — сказал Рандольф придушенным голосом, будто воротничок был ему слишком тесен. — Нельзя так, куда это годится! В наше-то время! Думаешь, меня не потрясло? Думаешь, мне было приятно! Но всему есть предел. Раньше мне казалось, она просто умница, а на самом деле — дура набитая. Теперь-то вроде пора и помнеть, она же ведет себя — глупее не придумаешь...

— Со стороны о таких вещах судить трудно.

— Что значит «со стороны»? Кто тут в стороне, а кто — посередке? Думаешь, разница велика? Хотя на полчаса попробуй поменяться местами с Анастасией. Тебя ведь тоже вызывали? Как ты себя чувствовал? Я, например, тогда подумал: не может быть, ко мне это не относится.

Тот случай, должен признаться, задел меня глубоко. Я приказал себе начисто забыть все, связанное с визитом к доктору Гасцевичу. Хотел ответить, что женщины, должно быть, к таким вещам более чувствительны, но запнулся и тихо обронил:

— Все это жутко.

! — Что — жутко?

— Ну так, вообще, — я неопределенно пожал плечами, не находя в себе сил распространяться на эту тему.

— Ясно! — в голосе Рандольфа послышались язвительные нотки. — Какой может быть разговор с дистиллированным человеком. Ладно, живи себе и радуйся. Твое дело сторона. Тебе, когда милуешься с девицей, незачем думать о том, что дети могут родиться слепыми.

Слова Рандольфа заставили меня мысленно сжаться. Не знаю — почему. Скорее всего от разительного контраста, который дорисовало воображение, оттолкнувшись от последней фразы. Никогда не приходило в голову, что «милаясь» можно думать о чем-либо подобном. Невольно, сам того не желая, я представил их в постели и по охватившим меня чувствам понял, что обижаться на Рандольфа за его грубость нет смысла.

— Я думал, все это позади.

— До чего же ты наивен.

— Разве она не лечилась в больнице?

— Ну и что?

— Я считал, она здорова.

Рандольф отрывисто рассмеялся. Невеселым был этот смех.

— Здорова,— повторил он,— а как же, здорова... Как кукла, которую из сортира вытащили.

Рандольф опять резко повернулся ко мне. На сей раз с иным, очень странным, вроде бы даже просительным выражением, из чего я заключил, что в голове у него в самом деле полный ералаш.

— А ну к черту. Не слушай моей болтовни. Все это ее идиотские капризы. Ее слова.

Рандольф ритмично похлопывал ладонью по бедру, кивал головой и звучно втягивал воздух сквозь зубы.

— Хочешь, продекламирую куплетик? Из Яниса Зимельниека.

...Обман однажды станет былью,
Любовь сама собой пройдет.
И, обсыпая звездной пылью,
Нас молча время приберет...

Он крикнул и замолчал.

Я смотрел на Рандольфа и погружался в какую-то липкую меланхолию. Мне было жаль его, но я не знал, чем ему помочь.

— Будь хорошим, и все будет хорошо. К хорошему человеку ничто дурное не пристанет. Будешь плохим — жди наказания. Так нас учат, верно? А что на деле? Кто обычно попадается? Простаки. Легковерные. Да будь ты чистейшим из чистых и лучшим из лучших. Если по какому-то пункту ты дурак — изволь получить! И получить сполна! А люди что скажут? За что боролся, на то и напоролся. Со мной такого никогда бы не случилось. Но у каждого свой пунктик придури, так велика ли разница: я, ты, он или она? Чистая лоте-

рея. Выпала решка — на сей раз, значит, проскочил, выпал орел — изволь получить. И получить сполна!

— Ты сегодня не в духе.

— Все как у племени масаев: новорожденный кладется посреди загона — затопчут или не затопчут? Только у нас то же самое происходит позднее. После уютного семейного гнездышка и стерильной школы приходится идти по лезвию ножа. Шаг в сторону — малолетний преступник. В другую шаг — моральный разложенец.

— Ну это все довольно приблизительно, с немалой долей преувеличения.

— Все тютелька в тютельку. Страшно подумать! Риска не меньше, чем при рождении, когда из стерильной среды ребенок попадает в водоворот бактерий и вирусов.

— Существует же природный иммунитет.

— Существует природная глупость. Вот ты представь себе девчонку, которая вырвалась в Ригу из каких-то там Кикуланов. Много она смыслит? А тут все пути сняты — иди куда хочешь, делай что хочешь. Никому не обязан отчетом, ни у кого не надо разрешения спрашивать. Не жизнь, а рай, порхай себе на розовых крылышках от одной приятности к другой. И вдруг — бац! — тройка! Ба-бац! — вторая тройка! Мечта об институте — ту-ту! Возвращаться к любимому папеньке, к милой маменьке? Поросят, что ли, откармливать? Работать на фабрике даже интересней, чем учиться. В кошельке деньги звенят, можно красиво одеться. А у подружки по общежитию, у той вообще иные обороты. И так далее, и тому подобное. И еще раз — ба-бац! Больница с окнами в мелкую клетку. Соседки по палате санитаркам на голову выливают ночные горшки. Что об этом скажешь?

— Скажу, что твоя версия звучит чересчур фатально. Куда как просто — никто себе ни в чем не может отказать.

— Ты себе в чем-то отказывал?

Я пожал плечами:

— Ну, все-таки...

Рандольф опять усмехнулся. И так же печально, как прежде.

— Я понимаю. Ты это делаешь с Зелмой. Тогда, конечно, все в порядке. Зелма, как говорят американцы, свой риск соизмеряет.

В его голосе я расслышал насмешку, обращенную прежде всего против Зелмы. Это меня задело. Но чувствуя горечь, неловкость и даже нечто похожее на стыд, пренебрежительное отношение Рандольфа к Зелме меня, самому себе на удивление, в то же время порадовало. Для меня оно было искомым аргументом, бесспорным доказательством. Проявляя тем самым двуличие, что, пожалуй, было отнюдь не порядочно и объяснялось какими-то примитивными инстинктами, я тем не менее совершенно отчетливо ощутил, что пренебрежение Рандольфа меня успокоило, рассеяв навязчивые, смутные подозрения, в последнее время изводившие меня.

А вообще мне Рандольф нанес чувствительный удар. С какой стати свои отношения с Зелмой я выдаю за некий моральный образец? Дело житейское: мы себе это позволили потому, что так хотели. Ну, хорошо, допустим, у нас это серьезно. Да разве мы с самого начала были в том убеждены? Лучше с тобой, чем с кем-то другим, вырвалось тогда у Зелмы. Стало быть, все было рассчитано и взвешено. А если вспомнить, как быстро я сдал свои позиции, хотя твердо решил стоять...

— У нас с Зелмой... — я собирался сказать: «серьезные намерения», но вовремя осекся. Это уж было бы верхом банальности. Помявшись, я вымучил: — ...Никаких проблем.

Рандольф прикусил губу. Возможно, чтобы не рассмеяться.

Или чтобы не заплакать. А может, он просто валял дурака. Потом провел ладонью по лицу, как бы стирая прежнее выражение и, звучно щелкнув языком, покачал головой.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Ну, дай тебе...

Договорить он не успел, появился Большой. В последнее время он, как все люди, страдающие от недостатка общения, возымел охоту беседовать, излагать свои взгляды, обсуждать события. Для пробуждения его коммуникативных стремлений иной раз было достаточно визита почтальона или газовщика. Возможность разыграть из себя любезного хозяина, блеснуть хорошими манерами год от года привлекала его все больше. Быть может, подобные мгновенья обладали для него ностальгической самоценностью, а может, это было заложено в нем, только иногда Большому не терпе-

лось зажечь свет во всех комнатах, с элегантно-небрежностью достать из шкафа бутылку хорошего коньяка, ослепить ставшим нынче редкостью изысканным гостеприимством.

Я понадеялся, что на сей раз после церемонии приветствий и краткой беседы Большой оставит нас наедине хотя бы по причине усталости. Однако он, оживленный и бодрый, подсел к Рандольфу и принялся его расспрашивать о возможностях лазера в хирургии, припомнил какое-то историческое происшествие времен революции в Петрограде, пустился в пространные рассуждения о важности питания для здоровья.

На вопросы Большого Рандольф отвечал односложно и довольно бессвязно. Уткнувшись взглядом в одну точку, стоял неподвижно, и только пальцы его сжимались в кулаки и снова разжимались.

— Мне пора... Всего доброго.

Большой ответил какой-то изысканной галантностью, имевшей столь же мало общего с современностью, как классический балет Петипа с толпой на перроне, когда открываются двери электрички или Дворца спорта перед международным хоккейным матчем.

— Поедешь домой?

— Неважно.

— Я завтра позвоню тебе. Во второй половине. Хорошо? Или ты мне лучше позвони. В лабораторию.

— Как получится.

— А вообще, Рандольф...

— Будь здоров! — перебил он меня.

— Я хотел тебе...

— Ладно.

Он вздохнул. Очень тяжело вздохнул, плечами и затылком.

— Мы могли бы завтра встретиться.

— Там будет видно.

— Ну хорошо, выпущу тебя.

— Мне бы к ней съездить... Как думаешь? Что, если съездить?

Довольно долго мы глядели друг на друга.

— Не торопись. Завтра обсудим. Хорошо?

Я выпустил Рандольфа, и он ушел. Я слышал, как удалялись шаги на лестнице. Этажом ниже он остановился.

— Эй, послушай...

— Ну-ну?

— А, ничего... Ладно!

Я так и не понял, хотел ли он что-то еще добавить?

Большой меня встретил каким-то блуждающим и обращенным внутрь себя взглядом.

— Вот видишь, Свелис, что получается,— сказал он.— Все вроде бы шуточки, а потом хоть плачь.

В суматохе утренних сборов, в попытках разогнать сонливость в голове все время пульсировала мысль о Рандольфе. Ко второй лекции, как обычно, перейдя на привычные обороты, еще раз мысленно прокрутил вчерашний разговор. После чего нормальный утренний настрой был испорчен. Что-то мне не нравилось в этом деле. Только никак не мог понять: это относилось ко вчерашнему разговору или распространялось на все дальнейшее? Нет оснований полагать, что Клосс мой тотчас заподозрил беду. Просто какое-то неуютное чувство, как это бывает, когда застревает игла и пластинка прокручивает один и тот же такт. Мысль о Рандольфе повторялась навязчиво и не к месту. Возможно, это меня и тревожило больше всего. Припомнил несколько вариантов разговора, в которых Рандольф упрямо повторял одно и то же.

В 15.10 я позвонил из автомата. Никто не снял трубку. Позвонил через час. То же самое.

И еще через час никто не отозвался. В восемнадцать ноль-ноль услышал голос отца.

— Нет, Рандольфа нет,— сказал он.— Оно и понятно, прекрасный весенний денек, не так ли?

Я спросил, до какого часа можно звонить.

— Чем позже, тем лучше.

Позвонил в двадцать два с минутами.

— А знаете, его по-прежнему нет,— в любезном (мне подумалось — полированном) баритоне отца теперь можно было различить что-то вроде недоумения или досады.— Вы с ним условились?

— Нет,— сказал я,— просто решил позвонить.

— Не появлялся. Что передать?

— Спасибо. Извините за беспокойство.

— Еще рано, время детское.

— Рандольф на машине?

— Нет. Машина в ремонте. Потребуется новый кузов.

— Простите... А он ночевал дома?

Баритон немного замешкался.

— Это уже интересно! Один момент.

Трубка брякнулась о стол, прошлепали шаги, скрипнула дверь.

— Вы слушаете? Нет, похоже, его не было.

— Спасибо. Извините. Утром позвоню.

— Рандольф должен вернуться. Я оставлю записку, что вы звонили.

— Нет смысла. Мне нельзя позвонить.

— Ну, как угодно. Он должен вернуться с минуты на минуту.

На следующее утро я спозаранок позвонил Рандольфу. На этот раз к аппарату подошла мать. По голосу понял: ей уже известно о моих звонках. У меня даже создалось впечатление, что она приготовилась к разговору: накопившаяся горечь рвалась наружу в отточенных формулировках.

— Не будем повторять прописных истин, ведь вы уже не дети. Но элементарный порядок должен все же быть. По какому праву вы себе позволяете делать то, что вам взбредет в голову? Что за распушенность, как можно ни с кем не считаться?..

Ее голос дрожал от возмущения, словесный ураган грозил обернуться слезами и всхлипами. Прижав к уху трубку, я ждал, когда она успокоится.

— Алло? Вы слушаете?

— Да.

— Почему вы молчите? Куда вы исчезли?

— Вы не могли бы оказать любезность и передать Рандольфу...

— Ничего я не могу ему передать, раз он домой не является. С таким же успехом я вас могу попросить: передайте Рандольфу, что он ведет себя непорядочно. Разбил машину. И продолжает упорно...

Значит, все-таки уехал к Анастасии.

— Алло! Почему вы молчите? Что за манера набрать номер, а потом молчать! Скажите лучше, где он пропадает? Уж вы-то должны знать. Мафия дружков!

— Мы с ним договорились созвониться.

— Ну, ясно... Какое там дело до страданий близких.

— Он ничего вам не сказал?

— Так он и скажет! Вы о своих перемещениях дома много рассказываете? Все вы одинаковы. Я не спрашиваю у вас, что он вам говорил. Ваши разговоры меня не касаются. Я спрашиваю, где он сейчас может быть?

— Право, не знаю.

— Ну, так я и думала. Как о стену горох. Да что с вами? Откуда вы такие? Как собираетесь жизнь прожить?

В тот день работал в лаборатории. В университет завернул лишь для того, чтобы оформить документы на поездку в Венгрию. Поэтому меня могли и не найти. Точнее говоря, застали случайно. Но это неважно, факт остается фактом: у факультетской канцелярии ко мне подбежала Ингрида и сказала, что меня разыскивают. В голове промелькнуло: Рандольф. Ну да, еще подумал, история повторяется.

Но оказалось, меня разыскивал отец Рандольфа. Только ростом они были несколько схожи. В противоположность рыхловатому сыну родитель в своем песочного цвета вельветовом финском костюме казался жестким и твердым, как точильный брусок. На серовато-бледном лице все поджато, подтянуто, приглажено; худые щеки прорезали вертикальные складки, над носом лоб пересекала вертикальная морщина, крупный подбородок с ямочкой. Он изменился со времени нашей последней встречи.

— Ну вот видите... Что же делать. Так сложились обстоятельства...

Пока он говорил, его жесткие глаза за линией бровей беспокойно постреливали в разных направлениях, лишь изредка встречаясь с моими глазами. Но это были неприятные мгновенья. Приходилось напрягаться, чтобы сохранить спокойствие. Потом его взгляд опять уходил в потолок. Смотреть ему в глаза было мученьем. Но и не смотреть — ничуть не легче.

— Насколько я понимаю, вы говорите о Рандольфе.— Тут не было притворства с моей стороны. Честное слово, я терялся в догадках, что ему от меня нужно.—Так и не появлялся?

Взгляд родителя метнулся в дальний конец коридора.

— В данный момент не это главное,— он сунул руку в боковой карман пиджака и достал телеграмму. Его побуревшие от каких-то химикатов или морилки пальцы подрагивали. Наигранно-беспечный тон не только не скрадывал волнения, а напротив, делал его более заметным.— Вот прочтите. Чего уж тут.

Я прочитал: «Случилось несчастье приезжайте немедленно Доминик Абран».

В тексте меня заворожили три слова: несчастье и Доминик Абран. Точнее говоря, слово «несчастье» и тот факт, что подписался под ним Доминик Абран. С кем случилось несчастье? С Анастасией? И потому ее отец вызывает Рандольфа? Или с Рандольфом? Но почему тогда подписался Доминик Абран?

Я уже вернул телеграмму, когда пришла в голову мысль: да, но кому же в таком случае адресована телеграмма? Однако и эта подсказка Клосса не давала ясности. Адресована она Эмбу, а стало быть, в такой же мере Рандольфу, как и его отцу.

— Весь юмор в том, что я понятия не имею, кто этот Доминик Абран. И наконец, хотелось бы узнать, куда меня приглашают.

Легкомысленная интонация была явно вымученной. Под распрямыми бровями испуганно блеснули глаза.

Я понял, что должен сказать правду, но при виде его дрожащих бурых пальцев на меня оторопь нашла, и я никак не мог приступить к объяснению.

— Вы знаете?

— Догадываюсь.

— И адрес — тоже?

— Так... приблизительно.

И вдруг он, потешно вытянув шею, обеими ладонями поймал мою левую руку. Вцепился в нее с таким отчаянием, будто повис над карнизом третьей площадки колокольни св. Петра.

— Боюсь, как бы не случилось худшего... Боюсь...

Осекся на полуслове, но руку мою не отпустил.

— Почему же самое худшее? В телеграмме ничего такого нет. Возможно, она вообще не вам адресована, а Рандольфу. Может, его вызывают.

— А где он?

— Там. Уже уехал.

Родителя это нисколько не успокоило. Но сам я все больше утверждался в мысли, что телеграмма адресована Рандольфу. Вспомнил наш последний разговор. Все концы сходились. Несчастье случилось с Анастасией. Под колеса бросилась или что-то выпила. (Суть несчастья воспринимал метафизически и в мыслях на нем не задерживался.) Должно быть, теперь она в больнице. Банальный исход, но потому-то и реальный. Теперь ей понадобился Рандольф: хочу Рандольфа, папочка, дай знать Рандольфу...

— Что-то не верится...— из верхнего нагрудного кармана Эмбут-старший достал платок и вытер губы.

Я не возражал. Но про себя развивал начатую мысль. Несчастный случай произошел с Анастасией. То, что отец Анастасии (а кем еще мог быть Доминик Апан!) прислал телеграмму Рандольфу, вполне понятно и логично. Потому и адрес не указан. Смешно Рандольфу давать адрес, а вот если бы телеграмма предназначалась отцу...

Подгонка фактов в пользу Рандольфа так захватила меня, что, услышав просьбу поехать вместе с ним, я даже растерялся. Он это, должно быть, воспринял как отказ.

— Ну, понятно, поездка далеко не увеселительная. Просто я подумал, вам больше известно.

Он смотрел в окно и похрустывал костяшками стиснутых пальцев.

— Когда выезжать — прямо сейчас?

Он отошел на несколько шагов.

— Кикуланы — это где-то под Резекне,— добавил я.

— У меня машина.

— Хорошо. Через пять минут буду внизу.

Почти всю дорогу ехали молча. Мне показалось, что в Кикуланы добрались удивительно быстро. На заключительном отрезке пути, где-то за Вилянами, поглядывая, с какой быстротой пролетают километровые столбы, я запаниковал. Захотелось как-то растянуть поездку. Почувствовал, что не созрел еще для конечной цели путешествия. В душе полнейший сумбур: и то, во что хотелось верить, и то, что нашептывало предчувствие, и мрачная телеграмма, позвавшая нас в дорогу, и чудный майский день с цветущими яблонями, белыми аистами на алом послегрозовом небе.

Спросили у первой встречной, как проехать к дому Апрана. Старуха затараторила, объясняя что-то долго, длинно, но из-за латгальского диалекта ее невозможно было понять.

— Дом Апанов, Апанов,— повторял я. И опять она пошла сыпать словами, на этот раз до меня все-таки дошло, что Апанов в округе огромное множество: Поликарп, Мейкул, Онтон, Питер, Изидор.

— Доминик, Доминик,— сказал я.

Она тотчас переменялась в лице. Выражение, с которым выдохнула долгое «ойййй», сдавило мне горло.

Слова из нее посыпались еще быстрее, невнятнее, при этом она хваталась руками за голову, то и дело приговаривая: оййй, оййй, оййй.

Дом Доминика Апрана стоял на берегу озера. Обшит черным рубероидом. Белые оконные переплеты. Дом мне сразу показался жутковатым. Не знаю почему. Может, так себя настроил.

— Вы полагаете, это здесь? — несколько раз переспросил отец Рандольфа.

Видно, и он еще не созрел для конечного пункта поездки.

Из подворотни выскочила кудлатая собачонка; не лаяла, но грозно рыча, как-то ползком, приседая, примеривалась вцепиться в пятки.

Тут появился Доминик Апан. Хотя все рисуемые фантазией представления тотчас рассыпались карточным домиком, но тут я знал: ошибка исключается. Начать с того, что я его представлял себе пожилым. И уж конечно, при драматичности ситуации куда более декоративным, ближе к общепринятому шаблону фанатика. Отец Анастасии имел вид самый что ни на есть обычный. Должно быть, тракторист, а то и начальник отделения в колхозе. Круглолицый. Коротко стриженные волосы. Темно-синие брюки, красная водолазка. Это не значит, что своим видом он меня приятно удивил. Ничего особенно симпатичного в нем не было.

Он вышел навстречу. Немного сутулясь, с выражением лица мрачным, но спокойным. Слегка кренясь набок. Руки, угловатые и грубые, он неловко прижимал к туловищу. Его взгляд, походка, казалось, заговорили еще до того, как он сам раскрыл рот. Вид Апрана говорил примерно следующее: никаких изъятий чувств не ждите, и мне эта встреча неприятна, но коль скоро она неизбежна, надо смириться.

— Так, видите, судьба распорядилась...

— Рандольфом?

— Да.

Отец Рандольфа рванулся вперед, на ходу развернувшись на сто восемьдесят градусов. Я это видел с ошеломляющей отчетливостью, как в десятикратном увеличении — локоть отца Рандольфа дернулся в сторону, рука вскинулась вверх; он сдвинул брови, заморгал глазами, одна нога подкосилась в коленке, другая странно искривилась. Я наблюдал за ним в каком-то жутком оцепенении, вдруг осознав истину, от которой

так долго отрещивался. Подобно высокой трубе со взорванным основанием, она пока еще висела в воздухе, создавая иллюзию, что ничего не изменилось, однако то, что за этим должно последовать, было неотвратимо.

— Где он? Там? — кивнул он в сторону дома.

— Нет. Отвезли в Резекне.

— В больницу? — произнес он почти шепотом.

Доминик Апрап переступил с ноги на ногу и покачал головой.

По ту сторону озера с равными промежутками мычала корова. Отдаляясь, затихал лязг гусениц трактора. Где-то заколачивали в землю кол, туповатый звук в пустоте как бы переламывался пополам: то вверх подпрыгнет, то снова упадет.

— Что произошло?

Глаза Апрапа обожгли вдруг холодом. Не ненависть это была и не злость. Что-то другое.

— Не должен он был сюда приезжать.

— Почему? — в голосе родителя прорезались истерические нотки.

— Не знаю...

— Мой сын собирался на ней жениться.

— Не должен он был приезжать. С самым худшим Стасия сумела справиться.

— При чем тут Рандольф? Вы говорите так, будто он сюда примчался, чтобы завлечь вашу дочь в воровскую шайку. — Неожиданно он повернулся ко мне: — Калвис, вы что-нибудь понимаете? Рандольфа выставить злодеем! Не спорю, найдется в чем его упрекнуть, да только не в злонамеренности.

Говорил он горячо, словно от его способности переубедить зависела судьба Рандольфа.

Наступила тягостная пауза. Судя по подергиванию щек, отец Рандольфа боролся со слезами.

— Ну ладно, чего там... Рассказывайте, что случилось...

Толстые, обветренные губы Доминика Апрапа шевельнулись, но не издали ни звука.

— Не томите...

— Он утонул.

— Утонул? Рандольф?

Мне показалось, отец Рандольфа сейчас рассмеется. Вид у него был такой, будто ему не терпелось прекратить затянувшееся глупое шутовство. Рандольф с Анастасией просто-напросто куда-то убежали или спрятались.

Возможно, сейчас стоят за кустом или деревом, давятся от смеха, слушая эти несуразности, наблюдая за этими чудачествами...

Было бы неверно утверждать, будто слова Апрапа повергли меня в ступор, вовсе нет, голова была совершенно ясная, слух и зрение обрели особую остроту и пронзительность. В то же время казалось, на меня нашло частичное затмение: разум воспринимал то, что сердце отказывалось принимать. Рандольф утонул, про себя твердил я, упорно цепляясь за эту фразу, не отпуская ее от себя, можно подумать, я сам получил смертельную рану, и вот теперь бессмысленно стараюсь прикрыть ее ладонью, еще не чувствуя боли.

Но Доминик продолжал говорить, наполняя тишину странными словами:

...Что-то около одиннадцати Текла заметила Анастасию на той стороне озера. Вроде бы цветы собирала или искала что-то... А часом позже начальник пожарной части Щекотинский и хромой Олеханович услышали крики на озере. Выгребли из камыша, видят — тонут двое. Анастасию раньше нашли, потому что была в красном платье. А д р у г о г о чуть не полчаса проискали... В том месте в озеро речушка впадает.

...В Резекне обоих увезли. Анастасию в больницу, а д р у г о г о в морг.

Бессмыслица. Никаких резонов для подобного происшествия. Случись такое раньше, еще можно было бы понять. Но теперь, когда они...

Ладонью правой руки отец Рандольфа коснулся подбородка, дрожащие пальцы обежали щеки, нос, губы, проникли в рот, и там их, словно клешни, стиснули зубы.

— Ведь он умел плавать. Сам водил его в бассейн...

Слова захлебнулись. Глубоко и звучно родитель втянул в себя воздух. Может, сделалось плохо, промелькнуло в голове. Нет, просто на миг потерял самообладание. Когда Доминик Апрап суровым тоном пригласил пройти в дом, он пришел в себя и последовал за ним без возражений. Мне даже показалось, что возможность разрядить напряжение с помощью простейших механических действий его и спасла. Как звук гонга спасает оглушенного боксера.

Переход в дом и на меня заметно подействовал. В известной мере это было возвращением в мир, где царит здравый смысл и логика. Безо всякой надобности зажженный Домиником Апрапом свет опять отбро-

сил нас в абсурд. Я видел, как родитель съежился, наклонил голову, чтобы не задеть висевшую на цепи старинную бидермейеровскую люстру. Другая дверь была полупритворена. За ней находились люди, о чем свидетельствовали шорохи, негромкие шумы.

— Геля,— произнес Апан, концами пальцев стукнув по краю стола, как хормейстер по клавишам рояля. Сказать, что он позвал, было бы неточно. Просто произнес это имя.

Из соседней комнаты вышла женщина в темном шелковом платье. Вышла и, молча потупившись, встала рядом с Апаном. Очевидно, ей этот выход стоил немалых усилий. До последнего момента она, возможно, надеялась, что сможет остаться за дверью — в довершение ко всему непонятному, несуразному, что уже произошло, теперь еще ей пришлось выйти к каким-то чужим людям, с которыми о чем-то нужно говорить, а говорить не хочется, нужно что-то объяснять, хотя сама ничего не знает, быть с ними любезной, когда из глаз слезы льются.

— Нам нечем вас утешить,— заговорил Апан,— нет у нас такого права. Утешение каждый обязан найти сам.

Голос родителя опять сбивался на истерику:

— Что значит «утешить»? Он у нас единственный.

— Тем больше вина.

— Какая вина? Чья вина? Ваша? Этой девушки? Или моя?

— Родители должны детей воспитывать. А мы их распустили. Сами в рассуждениях своих запутались: неужто и впрямь то, что раньше дурным почиталось, теперь стало хорошим...

Отец Рандольфа закрыл лицо, будто загораживая от света глаза, на самом деле он утирал слезы. Не сумел подавить всхлипы, сбивчивое дыхание прорывалось вперемежку с кашлем и словами.

— Оставьте ваши проповеди... Замолчите... Вам легко говорить. Ваша дочь жива.

— Вина наша велика.

— Я своего сына никогда не учил дурному.

— Не отстояли мы своей правды.

— Что толку теперь говорить об этом.

— Они плоть от нашей плоти и кровь от нашей крови.

Женщина подняла голову и почти с ненавистью перебила говорившего:

— Послушай, пора ехать к Стасии. Нельзя так. Нельзя...

Доминик Абран помолчал, потом опять заговорил. Словно женщины вообще не было в комнате.

— Позволив детям предать нашу правду, мы в свою очередь правду отцов предаем. За что понесем наказание.

— А ну вас к черту! Раз вы такой умный... Что мне сказать жене? Она же во всем обвинит меня. Получится, это я его убил, я...

Меня поразило, что в такой момент он подумал об этом. Я так и не понял, он в самом деле так трусил или это вырывалось в минуту растерянности.

— Мне бы хотелось взглянуть на фотографию девушки. Как она выглядит.

Глаза Доминика Абрана опять блеснули холодком, причину которого я не берусь объяснить. Во второй раз ударил пальцами по краю стола и сказал:

— Стефа! Принеси альбом!

Можно было подумать, он это сказал в пустоту, но в соседней комнате прошелестели шаги, скрипнула дверца шкафа, задвигались ящики. Альбом искали долго — так мне показалось. Затем вышла Стефания, точно так же, как до нее вышла мать. Полнеющая, в уголках губ уже наметились морщины, и все же чем-то она была похожа на школьницу. Такое впечатление, вероятно, производили белый воротничок и светлая коса.

— У нас всего один снимок Стасии, из тех, что в институт сдавала. Остальные старые — на подтверждения, после восьмого класса. — Все это Стефания сказала, обращаясь к Доминику Абрану, демонстративно повернувшись к нам спиной.

— Ну, покажи!

Небольшая фотография перешла в руки отца Рандольфа. И тут раздался автомобильный сигнал, тягучий и долгий. Все с недоумением слушали летевший с улицы трубеж. Немного погодя напористый сигнал был дополнен собачьим воем, сначала тихим, прерывистым, потом протяжным и громким. В напряженную и без того атмосферу этот сумбур звуков внес жутковатую ноту. Отец Рандольфа побледнел. Лицо Стефании пошло красными пятнами.

Без видимой причины родитель подошел к столу. В полной растерянности оглядел всех по очереди, покручивая в руках ключи от машины.

— Надо ехать к Стасии. Надо ехать. Нельзя так! — Голос матери стал еще пронзительней.

Только Доминик Абран вел себя так, будто шум его совершенно не касался.

— Ну, ступайте поглядите,— сказал он своим жестким начальственным тоном, ни к кому в особенности не обращаясь.— Замкнуло там, что ли. Стефа, загони Муху в конуру.

Мы вышли втроем. Сигнал отсоединили. В чем было дело, выяснить не удалось.

Но после этого отец Рандольфа объявил, что намерен немедленно вернуться в Ригу, что, конечно, было неразумно. Надо было бы заехать в Резекне, но он настоял на своем.

— На сегодня довольно, понимаете, довольно. В Резекне поеду завтра. Завтра.

Всю обратную дорогу он говорил беспрерывно. Расспрашивал, знаком ли я с Анастасией и что она за человек. Был ли у них с Рандольфом «серьезный роман» и что, по моему мнению, случилось на озере. Даже когда отчаяние сжимало горло, он все-таки искал спасения в иронии, в шутках. Все это очень напоминало Рандольфа.

А в целом меня поразило, как мало он знал о Рандольфе, какие странные представления имел о нашей жизни.

Мои ответы были отрывисты и поверхностны, я был занят своими мыслями, искал ответы на свои вопросы.

Позиция отца Рандольфа, если ее освободить от повторов, сводилась к следующему.

— Ваша современная любовь сродни отравлению возбуждающим газом. Она вас делает обоюдоопасными. При первых же признаках ее следовало бы вызывать скорую помощь и упрятать несчастных в психбольницу, чтобы предотвратить злодеяния, творимые во имя любви. Какая к черту любовь, раз она ведет к гибели. Быть может, нервная система акселераторов попросту не выдерживает любви?..

И все в таком духе.

Сплошная чушь. Все невпопад. Он был ошеломлен и потому не способен судить здраво. Скорее он демонстрировал свое горе, полнейшую растерянность, а не

серьезные наблюдения ума. Мысль о том, что любовь испортила Рандольфа с Анастасией, мягко говоря, была необоснованной.

Сам не знаю почему, но слово «любовь» в моих представлениях иногда рисовалось отшлифованной до блеска поверхностью, настолько гладкой и ровной, что, подобно зеркалу, отражала лица, окружающие предметы и от легчайшего дыхания затягивалась дымкой, а на солнце сверкала. Две такие плоскости идеально совмещаются, образуя единое целое. Между ними ничего не должно быть. А между Рандольфом и Анастасией было. Меж двух сверкающих плоскостей у них нечаянно попала железная стружка, и, подобно остроуму шурупу, она кромсала и буравила прошлое. Вот в чем их трагедия.

О том, что было потом, нет смысла рассказывать долго. Похороны состоялись пятью днями позже. За два дня до этого позвонил Зелме.

— Кто говорит? — спросила она очень странным тоном.

— Уже не узнаешь?

— А, это ты... Тут жуткий шум, мама пылесос включила.

Но голос ее по-прежнему был странен, и потому, особенно не растекаясь, спросил, известны ли ей последние вести касательно похорон.

— Хорошо, — сказала она.

Я подумал, она не расслышала, и повторил вопрос.

— Хорошо, — во второй раз сказала она. — Об этом не хочется говорить.

— Как самочувствие?

— Лучше не спрашивай.

Я замолчал, не зная, как продолжать разговор.

— Да ты не волнуйся, — вдруг стала она меня успокаивать, — я знаю, во сколько и где надо быть.

— Ясно.

— Просто не хочется об этом говорить.

На похороны пришло много народу. Играл оркестр, пел хор.

В Большой часовне Лесного кладбища была такая теснота, что те, кому полагалось стоять в почетном карауле, с трудом умудрялись добраться до гроба. Катафалк, обложенный венками и букетами, был похож на языческий жертвенник. Аромат роз почти ощущался на ощупь.

Ничтожный промежуток времени, отделявший «живого» от «мертвого», не позволял мне все это связать с Рандольфом. Теоретически я вроде бы осознал, что хоронят его, но, глядя на гроб, ничего особенного не чувствовал. Этакая театральная условность: переживая смерть на сцене, прекрасно понимаешь, что после спектакля покойник оживет.

Церемония была долгой, я вышел из часовни, остановился у входа. Пытался себя убедить, что захотелось подышать свежим воздухом. На самом деле я искал Зелму. В часовне ее не заметил. Мне просто не терпелось увидеть Зелму. То, что ее не было в центре событий, у всех на виду, вызывало недоумение, озадачивало.

Наконец церемония обрела движение. В дверях показался белый гроб, он как бы плыл на людской волне, теперь катившейся из часовни вниз по каскадам широкой лестницы.

Перед гробом шла целая колонна с венками. Но и там Зелмы я не обнаружил. Ее нигде не было.

До могилы путь неблизкий. С асфальтированной дорожки свернули в сторону и долго месили песок. Гроб поставили на краю могилы. Начались речи. С моей ограниченной точки обзора Зелму и тут отыскать не удалось. И тогда я стал постепенно отдаляться от могилы, пробираясь сквозь шпалеры кустов, обходя намогильные памятники.

Наконец я увидел ее. И мне стало не по себе. Сначала показалось, будто я обознался. Должно быть, впервые Зелме было наплевать на свою внешность. Такое впечатление, будто она ничего вокруг себя не видит, ничего не чувствует. Волосы растрепаны, лицо в красных пятнах,— сидит на скамейке, тупо уставившись вдаль. Большие, всегда такие ясные глаза под набрякшими веками казались неживыми, остекленевшими. Рядом лежал растрепанный букет анемон. Только правая рука подавала признаки жизни. Ногтем указательного пальца чертила на скамейке какие-то знаки, отколупывала струпы краски.

Неужели напилась, промелькнуло у меня в голове. Нет, ничего подобного. Это я понял, едва она заговорила.

— Не надо было мне приходить,— сказала Зелма.— Знала ведь, все это совершенно напрасно.

Потом она как будто взяла себя в руки, привычным движением пригладила волосы. Но голос выдал затаенное волнение, превозмочь его было трудно.

— Терпеть не могу похорон. Вопиющий анахронизм. Примитивнейший человеческий ритуал. Публичный рев и скулеж. В цивилизованном обществе покойников следует оплакивать в одиночестве. Должно быть, я похожа на сбежавшую из дома умалишенных?

— Нисколько.

Мне и в самом деле казалось, что Зелма ведет себя куда более естественно, чем я. Почему она должна стыдиться своих чувств? Скорее я должен стыдиться своей бесчувственности. По правде сказать, я сам себе немного удивлялся: на один-единственный миг у меня сжалось сердце, когда лежавшему в гробу Рандольфу его мать потуже затянула узел галстука. Однако бесчувственность была только кажущейся. На самом деле смерть Рандольфа потрясла меня фундаментально.

— Вот видишь, я какая...

— До сих пор в голове не укладывается, что Рандольфа нет.

— Подвели черту и — точка. Проще пареной репы.

— Ну, зачем ты так!

— Ах, не обращай на меня внимания, распустила тут нюни. Тебе этого видеть совсем не обязательно. Дура я, тряпка. Привыкла себя жалеть.

— Я понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. Да и вообще понять другого человека невозможно. Просто присказка такая: я понимаю. Как «с Новым годом» или «приятного аппетита».

— Ты не дура и не тряпка.

Зелма глянула на меня ошарашенно и вдруг разительно, во всяком случае как-то особенно захохотала. Смотрела на меня и хохотала. Это было настолько неожиданно, неуместно, что я невольно стал озираться по сторонам. Не оттого, что боялся, — кто-то услышит. А просто так, машинально. От удивления.

— Как это мило, что ты меня жалеешь! — Она с жадностью вдыхала воздух. От смеха у нее двигалась спина. — Как это мило, что ты меня утешаешь. Да будет так! Нет смысла вешать нос. Прощай, Рандольф! На веки вечные! Как сказал при самой скверной из возможных ситуаций один мудрец, всходя на эшафот:

жизнь продолжается. Пойдем, Калвис. Здесь нам больше делать нечего. Все. Аминь и точка.

Это прозвучало деловито и бодро, что меня тогда порадовало. А теперь, когда пишу эти строки, перебирая в памяти события тех дней, я себя спрашиваю: неужели слова Зелмы в тот момент не вызвали во мне иного отклика? Неужто был я таким дураком, что ничего не понимал? Правильней будет на это ответить, пожалуй, так: иного отклика я слышать не желал. Ничего иного знать не желал. Я был полон противоречивых чувств, но больше всего на свете мне хотелось быть с Зелмой.

— Ты думаешь, так можно? — в душе я все еще упорствовал.

— Можно.

— А цветы?

— Не все ли равно, где оставим цветы. Пошли.

Звучал похоронный марш. Холодная рука Зелмы жгла мне ладонь. Сердце в груди вызванивало трепетно и глухо. Но я сказал себе: любовь оправдывает все.

...Ночью мне приснился сон: вот он идет, одну за другой открывая двери. Рандольф все ближе и ближе... Обливаясь холодным потом, открываю глаза. И ужас не в том, что Рандольф стоит у моего изголовья, а в осознании того, что больше уже никогда его не увижу. Все будет почти так же, как и раньше. Но место Рандольфа останется пусто.

Мои мысли о законах и об истине

Когда космический аппарат «Вояджер-1» пролетел мимо Сатурна, послав на Землю информацию, газеты писали: особенный интерес ученых вызывают кольца Сатурна, состоящие из сотен самостоятельных «колечек». В одном из шести основных колец обнаружены два совсем необычных «колечка». Одно такое «колечко» входит в другое, которое больше и ярче, а затем выходит из него. По мнению ученых, такое даже трудно себе представить, поскольку это противоречит законам небесной механики Ньютона.

На законах Ньютона держится современная наука. Я не считаю, что ньютоновские законы не верны. Но оказывается, границы истины гораздо шире, чем в свое время их сумел объять даже сверхгениальный мозг

Ньютона. Пока же человеку не удалось открыть всеобъемлющие законы, которые в конечном счете позволили бы составить представление об истине во всей полноте.

В механике человеческих отношений меня более всего интересуют те точки пересечения, где хорошее превращается в дурное и дурное в хорошее. Еще совсем недавно мне казалось, что конфликт существует между дурным и хорошим. А может, дурное нигде никогда не расстается с хорошим, просто выходит из него и в него же опять возвращается.

Еще совсем недавно мне казалось, что мать и Янис Заринь никогда не достигнут согласия. Теперь на этот счет держусь иного мнения. Во всяком случае, прежней уверенности у меня нет. Было бы наивно полагать, что после стольких лет они сошлись лишь для того, чтобы продолжить противоборство. Возможно, они осознали, что сами с собой только борются. И что в одиночку человеку даже самому с собой трудно сладить.

Иногда не без ужаса сознаю, что к Зелме меня влекут как раз ее не лучшие качества. Бывают моменты, я испытываю к ней чувство, близкое к ненависти, а все равно, она вошла в меня так глубоко, что без нее не мыслю своего существования.

Как было бы просто, если бы и в жизни, как на шахматной доске, белые боролись против черных. Добрая сила — любовь, злая — ненависть. Но то была бы не жизнь, а сказка. А потому и бесполезно задаваться вопросом, возможно ли такое вообще.

Зло в чистом виде не кажется мне слишком опасным. Разве коварные злодеи и растленные насильники отравляют океаны, спускают химикаты в реки, загрязняют атмосферу, доводят норму радиации до угрожающего здоровью уровня? Нет, все это делают обыкновенные люди без намека на душевную ущербность, к тому же и высокообразованные, отдающие себе отчет в своих поступках, в их логической перспективе. Были бы давно забыты войны, если б воевали только те, кто жаждет крови. Войны лишь потому до сих пор не изжиты, что в определенной ситуации наилучший, наипорядочнейший, наидобрейший человек способен стать убийцей.

Главная угроза миру сегодня, на мой взгляд, исходит не от тех, кто помышляет о массовом самоубийст-

ве, испепелив огнем планету, но от тех, кто любой ценой желает жить легко, красиво и корыстно.

Злонамеренность изувера, садиста, маньяка в общих чертах я могу объяснить, потому-то она и не слишком меня пугает. Пугает меня зло, которое я сам способен породить. Зло, которое неожиданно-негаданно исходит от близких людей. Зло, которое я не способен объяснить. Зло, от которого никто не застрахован.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Накатила экзаменационная сессия. С одной стороны вроде бы сплошная зубрежка, с другой — раздолье необычайное, никаких лекций, никакой общественной работы.

Наиболее трудные экзамены сдал заблаговременно, а потому предстояли всего две скорее формальные, чем действительные нервотрепки. Занимался с прежней нагрузкой, не выходя из привычного ритма. Сбереженное время собирался использовать для подготовки к экзаменам в медицинском институте по дополнительной программе.

Однако ничего из моих замыслов не вышло. В воскресенье утром отправился в Вецаки. Визит был вызван весьма прозаическим мотивом: понадобился старый конспект лекций и учебник Вулворта.

Матис и Кристеп на задворках рядом с кучей компоста копали яму. Мое появление их взволновало.

— Ура! — словно по команде завопили оба. — Долго же ты пропадал! Совсем от дома отбился!

— Что вы тут роете?

Матис, одетый по-летнему, тощий и желтый, будто из соломы сплетенный, Кристеп в последнее время стал округляться.

— Да та-ак, — Кристеп сопел и тяжело дышал от усталости.

— Может, удастся что-то откопать.

— Все-таки что?

— А все равно. Что откопаем, то и хорошо, — объяснил Матис. — Нам нужен подарок для дедушки. Он завтра выходит на пенсию.

— С бабушкой в прошлом году нам здорово повезло, — вспоминал Кристеп.

Тот случай мне был известен. Прошлым летом бабушка их сокрушалась, что яблоки не уродились. И тог-

да к Дню Военно-Морского Флота Кристап с Матисом к веткам бабушкиной яблони с помощью черных ниток привязали несколько превосходных плодов. Бабушка и впрямь поверила, что раньше не заметила, и долго радовалась, пока яблоки совсем не скукожились, не почернели. Я тогда еще полюбопытствовал, какое отношение к бабушке имеет День Военно-Морского Флота. Матис с достоинством ответил, что праздник всегда остается праздником, какой на неделю выпал, тот и надо отмечать.

О яме больше разговора не было. На станции я купил три мороженных. Свое хотел отдать им. Но мальчишки, скривив рожицы, отказались.

— Сегодня есть мороженое не будем,— сказал Матис.— Мороженные дни у нас бывают, когда в огороде норму прополки выполним.

— Понятно. А кто тебе, Кристап, шишку на лбу посадил?

— Кто? Ха! Твой братец Ундавит.

— Ерунда,— отмахнулся Матис.— Вообще-то мы его не боимся.

— Хоть он и жирный, а все равно дурак,— добавил Кристап.

— Он пытался нас уверить, будто наши оловянные солдатики слушают только его команды. Он врун, ведь правда?

— Не берусь судить. Я его не знаю.

— Как так?! — Матис и Кристап уставились на меня в неподдельном удивлении.— Брата — и не знать!

Странное чувство испытывал я, переступая знакомый порог. Все вокруг как прежде, все родное, близкое, только видится как бы сквозь светофильтр. Привычное казалось странным, обычное — необычным. В чем причина отчуждения, я с ходу не сумел разобраться, но ощущения дома не возникло.

Кое-что изменилось, и, по существу, я, разумеется, не мог того не заметить. Посреди прихожей валялась пара стоптанных коричневых башмаков на толстой подошве. Это в нашей-то чистой, сверхприбранной прихожей, где для обуви всегда имелось строго определенное место: полка под вешалкой.

Чуть дальше — к стене прислонен подростковый велосипед; на вошеном линолеуме отпечатки грязных колес. Свой велосипед я один-единственный раз в жизни вкатил в коридор, чем довел мать до слез, после

чего со мной была проведена беседа на тему, что такое квартира, каким должно быть отношение к вещам, к труду ближних и т. д.

По некоторым признакам догадался, что в доме обитает кошка. Это меня больше всего потрясло, ибо я знал мнение матери на этот счет: к чему держать кошку, тогда уж лучше завести хорька... В молодости она страдала астмой и потому боялась кошачьей шерсти. А может, не боялась, не знаю, во всяком случае присутствие животных в квартире в ней вызывало решительный протест.

Посреди кухни на перевернутом вверх ножками табурете громоздился подвесной лодочный мотор. Янис Заринь, в ковбойке и подвернутых джинсах, стоял на коленях перед этим идиолом механики, энергично работая отверткой. На полу чисто символически были расстелены листы газет. Смазка сочилась сквозь бумагу, вокруг разбросаны винты, прокладки, разные детали.

— Матери дома нет?

После взаимных приветствий Янис Заринь почти не изменил позиции (рукопожатием не обменялись).

— На базар поехала. Удел женщины — любить и делать покупки.

— Мне надо кое-что забрать из шкафа.

— Господи, бери, чего спрашиваешь. В своем доме.

На голоса из моей комнаты выскочил мальчик лет десяти и припечатался к дверному косяку, словно боксер к стойке ринга. Данная Кристапом характеристика оказалась явно пристрастной: мой «брат Ундавит» не был особенно жирным, просто в меру упитанный.

С нескрываемым интересом, пытливо и долго, мы изучали друг друга. Трудно сказать, какое впечатление произвел я. Мое же внимание привлекли глянцевито-черные волосы брата и довольно узкий разрез его глаз. Легенду о полноте скорее всего породили круглые румяные щеки. Прическа была откровенно детской, — прямая челочка на лбу, но волосы так отросли, что бровей почти не видно. Что касается его воинственности, эта часть характеристики, похоже, была верной. Грудь брата была завешана блестящими значками, за поясом кухонный нож, из кармана штанишек торчала рукоятка револьвера.

Наше обоюдное внимание и сдержанность, должно быть, позабавили Яниса Зариня.

— Да ну же, поздоровайтесь, пожмите друг другу лапы, чего уставились, как бараны. Оба вы Зарини. Так сказать, ветви единого ствола.

Тотчас, безо всякого перехода, даже не выждав, пока мы обменяемся рукопожатиями, как анекдот, как забавную шутку, он принялся рассказывать о том, что «сынрок этот достался ему по суду, поскольку матушка взяла себе меньшого». О том, что Ундавит обретаётся тут «до поры до времени», пока не отыщется «брешь в каком-нибудь интернате или детдоме». О том, что бабушка из Ростова шлет «слезные письма, просит отпустить внука хотя бы на лето в арбузный рай». Но не бывать тому, по крайней мере до тех пор, покуда у него мозги в голове, а не мякина, покуда он в состоянии произнести хотя бы одну трехэтажную фразу.

Зашел в комнату забрать свои вещи. Кресла-кровати рядом с диваном уже не было. Похоже, это означало, что Янис Заринь здесь больше не ночует. На моем столе лежала стопка картинок, вырезанных из годового комплекта «Огонька» в потрепанной обложке. Ундавит не спускал с меня глаз. Стоял посреди комнаты и наблюдал, как я роюсь на полках шкафа.

— Ну, Ундавит, как дела?

Он не ответил, только наморщил лоб.

— На каком языке ты разговариваешь?

— А мне все равно.

— Так как тебе тут живется?

— Скукотища.— В его взгляде и особенно низком голосе было что-то комически стариновское.— Нет коллектива.

— Море, дюны, речка, тут такое раздолье.

— Скукотища,— повторил он.

— Где ты жил раньше?

— На той стороне.

— А там скукотищи не было?

— Нет! — Темные глаза радостно заблестели.— Там стоит подразделение гусеничных транспортеров. Дом огромный. Только в нашем подъезде семеро мальчишек. Офицерские ребята. Никакого сравнения.—И он опять сник.

Я вернулся к Янису Зариню. Не потому, что жаждал его общества. Просто ничего другого не сумел придумать. Я должен был повидаться с матерью. К тому же не хотелось давать ему основания думать, будто я умышленно его избегаю и тем самым протестую против

перемен, демонстрирую свои права на комнату и прочее. Снял пиджак, повесил его в прихожей. Налил из-под крана воды, напился.

— Мать здорова?

— Здорова, здорова, можешь не волноваться.

— Жизнью довольна?

— Покажи мне хоть одну женщину в ее возрасте, которая была бы довольна жизнью!

У меня похолодел затылок. Только этого недоставало — дать волю откровениям Яниса Зариня на эту тему. Да еще в присутствии Ундавита.

— Я думаю... у нее на работе...

— Работа — единственное место, где наши замотанные женщины могут отдохнуть. — К счастью, в более детальные рассуждения о психологических особенностях стареющих женщин он углубляться не стал.

Не стану утверждать, что мой обращенный на Яниса Зариня взгляд отличался корректностью или, скажем, пониманием. Я старался как мог не выдавать своих эмоций, однако всему есть предел. С образом мышления и манерой выражаться Яниса Зариня я в общем-то свыкся, за исключением тех случаев, когда он потешался над матерью. Дополнительным обстоятельством было на сей раз и то, что сама ситуация обнажала натянутость наших отношений. Меня в буквальном смысле захлестывало желание понять, что же тут происходит. Задаваться вопросом, на что такой Янис Заринь нужен матери, было глупо, потому я и не задавался. Меня интересовало другое: отчего мать так переменилась, ее просто не узнать, до того стала податлива, терпима. Совершенно очевидно, кто теперь тут командовал, всем заправлял. На каком основании? По какому праву? Больше всего меня, разумеется, задевало то, что Янис Заринь, словно домкрат, медленно, но верно отрывал от меня мать, и разрыв этот между нами рос на глазах. А мне совсем недавно казалось, что отчуждение, даже самое незначительное, для нас обоих обернется несчастьем. Похоже, мать это не тревожило. Неужели я настолько плохо ее знал? Неужели мои представления вообще несостоятельны?

Занятый своими мыслями, я не заметил, как Янис Заринь поднялся. Опомился лишь тогда, когда он подошел вплотную. Его ладони тяжело легли на мои плечи. Свою неожиданную выходку он подкрепил горячим ут-

робным смехом. Что окончательно вывело меня из равновесия.

— Послушай, не будь идиотом,— сказал он.— Человек без чувства юмора попросту нуль.

Против этого мне возразить было нечего.

— Что тебе не нравится? Чего ты дуешься? Из-за того, что не все в жизни происходит по твоему хотению? Так это же нормально! Думаешь, у меня мало причин, чтобы надуть губы? Да пойми ты, свои записочки Деду Морозу с загаданными желаниями мы можем нацепить на гвоздик в одном месте. Что же тогда остается? Импровизация.

Говорил он с удовольствием, со вкусом, кривя свой грубый боксерский рот в саркастической, насмешливой или драматической усмешке. Его крупное лицо придвинулось ко мне совсем близко, я отчетливо видел жирные поры, рыжеватую щетину. Во мне все еще переливалась злость, но уже не та, прежняя, безоглядная, бездонная, необъятная, на краю которой я стоял, вытянувшись в струнку, как стоят на морском берегу, не дерзая отгадать, что там, за горизонтом.

Слушая речи Яниса Зариня, а главное, наблюдая за его бойкой,— это еще куда ни шло,— но подчас и довольно банальной мимикой, я не мог не почувствовать того несокрушимого жизнелюбия, неистребимого оптимизма, что излучала его в общем-то малосимпатичная персона. Не скрою, меня это открытие повергло в смятение. В первый момент я даже испытал сожаление, как это обычно бывает, когда осознаешь, что нечто интересное открыл для себя слишком поздно.

Нет, Янис Заринь не пытался мне заговаривать зубы. Он говорил с той убежденностью, которая уже сама по себе чего-то стоит, он весь вибрировал, рвался вперед, казалось, малейший толчок, и он сорвется с места; чем-то он напоминал заядлого охотника, всегда готового начать сначала: шагать без дорог и мостов, находить и вновь терять след, почти схватить и все же упустить; в дождь, в пургу, в слякоть, когда за шиворот льет и ветер до костей пронизывает.

Слушая Зариня, мне почему-то вспомнилось чье-то высказывание о народных песнях: нет в жизни столь ничтожного, столь низкого, недостойного, беспросветно тягостного события, которое воображение не сумело бы переплавить в увлекательный и благодатный материал.

Философия Яниса Зариня была не так уж примитивна. А невозмутимость, с которой он подходил к любому явлению, казалась несокрушимой, незыблемой.

— Никогда не следует бетонировать свои представления, — сказал он, — это величайшая глупость на свете. Если некоторое время было т а к, это не значит, что т а к должно быть всегда. Тебе вот кажется: твой старый добрый дом превращен в постоянный двор. Но такая жизнь. Ты что же, хотел, чтобы твоя мама воспоминаний ради о прекрасном вашем прошлом здесь устроила музей? Почему тебе кажется, что мать, решая свои проблемы, должна всегда считаться с тобой? Сколько тебе лет? Двадцать? Ну рассуди, через год или два ты женишься. Или в угоду матери в холостяках останешься? Черта с два, милочка! И ни малейших угрызений совести при этом не почувствуешь. Да и чего ради угрызаться? А с чем останется мать? С мужем. Дрянным, никудышным, но все-таки мужем. Скверные, они-то им подчас и больше по душе. О таких, видишь ли, надо заботиться...

Во дворе зазвучали голоса. Ундавит глянул в окно, и по тому, как вытянулись его черные брови, я понял, что возвращается мать. Мне захотелось выйти ей навстречу, но я не сдвинулся с места. Странная получилась встреча: Заринь, прервав свои разглагольствования, растянулся на полу перед мотором, Ундавит в напускном безразличии листал телепрограмму. А я закатывал рукава рубашки.

У матери в каждой руке было по тяжелой сумке. Вид она имела возбужденный, взвинченный и, возможно, как раз поэтому выглядела хорошо: румяные щеки, горящие глаза.

— Может, все-таки освободите меня от ноши...

Эту фразу мать, должно быть, приготовила заранее, — никак она не вязалась с выражением ее лица, — но мое присутствие несколько расстроило сценарий.

Превозмог оцепенение, бросился к ней, схватился за сумки.

Однако она не захотела выпустить их из рук.

— Погоди... Дай поглядеть на тебя.

Прозвучало это столь же сурово, как и предыдущая фраза, но в глазах — радость и удивление. Да, она растерялась. Теперь в ней боролись противоположные чувства: держать ли и дальше себя в узде или отпустить поводья? Никак не могла решить — разыгры-

вать все по сценарию, заковавшись в броню солидности, или махнуть рукой и предстать во всей незащитности.

Я стал отбирать сумки. Мои ладони легли на сжатые пальцы матери, стиснули их. И жест этот обрел какую-то особую значимость. От него мать как бы надломилась. Она искала во мне опору. Мы прижались друг к другу. Пальцы ее разжимались. Но тяжелые сумки она не просто отпускала (вполне возможно, она не замечала их), а как бы вглаживала их мне в руки.

Я уже не видел ни Яниса Зариня, ни Ундавита. По мне, они могли быть и не быть. Хотелось вот так стоять, плотно прижавшись к матери, это касалось только нас одних. И сквозь нас летели электрические заряды — по замкнутой, только нас соединяющей цепи.

Освободившиеся руки матери поднялись вверх, и у меня было такое чувство, будто взлетели голуби, — ветерком повеяло, концы крыльев чуть не коснулись лица, вот они опустились на спину, на плечи, легонько поскребывают коготками и, стремясь сохранить равновесие, всплескивают крыльями. Весь в напряжении и в то же время удивительно раскованный, я ждал продолжения, ждал, что будет дальше; пальцы матери скользнули по моей шее, пригладили волосы, дернули за мочку уха.

Честное слово, не знаю, как долго мы простояли. Когда я опомнился, очарование прошло. Пальцы матери деловито и буднично скользнули по отвороту моей белой сорочки.

— Воротничок не первой свежести.

— Вчера только стирал.

— Белая сорочка стирается ежедневно. Картошку поставь в стенной шкаф. Осторожно... Там молоко.

В ее взгляде читалась то ли неуверенность, то ли уклончивость. Словно у нее болела голова, а я светил лампой в двести ватт.

— Ты бы мог наконец убрать свои железки, — сказала она Янису Зариню. Тон был нетерпимый и резкий. Не знаю почему, но сказать Янису Зариню что-нибудь хлесткое, по-моему, ей было просто необходимо. — Тысячу раз тебе говорила, что кухня — не гараж. Скоро ты винты начнешь хранить в посудном шкафу, а смазочное масло держать в чайнике.

Янис Заринь отреагировал так, как и следовало ожидать: он не обиделся, не взорвался, не стал возражать, однако и намерения послушаться не высказал.

— Милая, о чем ты беспокоишься? — не повышая голоса, с несокрушимым спокойствием возразил он, воспринимая этот наскок как чисто формальную оппозицию. — Мы живем в век техники. А это означает, что технике отдается все большая площадь. Площадь же с неба не падает. И техника выживает нетехнику.

— Кухня есть кухня.

— И кухня в наше время немыслима без машин.

— Только не таких.

— Ну, более прозаичных, скажем, посудомоечная машина, электромясорубка. В таком случае лодочный мотор — попросту деликатес. Сама захотела покататься на лодке. Так в чем же дело! Ради тебя и вожусь с этой рухлядью.

— Уж если этим приходится заниматься на кухне...

— Может ли быть иначе? Твоя кухня, твой мотор, твой муж...

Я вышел во двор, сел на скамейку под кустом сирени и уткнулся носом в горьковато пахнущие грозди. Неподалеку вертелся Ундавит. Набив рот горохом, он удивительно ловко выстреливал горошины через металлическую трубку, пользуясь своим оружием не менее эффективно, чем тупи-гуарни на берегах Амазонки пускают стрелы из духовых трубок. Кристап с Матисом прятались за углом дома.

— Послушай, Ундавит, ты когда-нибудь видел лошадь цвета сирени?

— Нет.

— Ха! Ну что мы говорили, он же дурак! — завопил Кристап из-за угла дома. — Он никогда не видел белой лошади!

— Ну подойдите, подойдите.

— Некогда нам, — отозвался Матис.

— Лошади меня не волнуют, — объявил Ундавит, — кавалерия есть только в индейской армии.

На миг мне показалось, что враждующие стороны удастся примирить: Кристап с Матисом разглядывали трубку Ундавита. В свою очередь Ундавиту захотелось прыгнуть в яму, вырытую на краю двора. Но вскоре вражда разгорелась с новой силой, и противники поспешно разошлись по своим прежним позициям, пока, правда, воздерживаясь от каких-либо акций, зато щедро обмениваясь попреками и обвинениями.

Когда я про себя решил, что разумней будет не дожидаться обеда (каким будет этот обед, представить

было нетрудно: Заринь трещит без умолку. Ундавит поглядывает исподлобья, мать угощает, а сам я, набираясь калорий, с небольшими промежутками киваю головой, лишь бы не создать впечатления, что стал глухонемым), мать неожиданно вышла во двор и села со мной рядом. Взлеты и падения страстей для нее, похоже, стали делом будничным. Вид она имела спокойный, радушный. Если бы пришлось это радужие с чем-то сравнивать, я бы, наверное, сравнил его с портовым молом — сооружение массивное и нужное, с громадным запасом прочности, способное выдерживать практически любые волны.

— Ты бы мог заезжать почаще,— сказала она, с присущей ей любовью к порядку разглаживая на коленях тонкую материю домашнего платья.

— Мог бы. Да не получается.

— Как вы там поживаете? Дедушка здоров?

— Как будто здоров.

— Не жалуется?

— Не жалуется. Пьет лекарства.

— М-да-аа,— вздохнула она,— возраст.

— А как у вас?

— У нас... когда как,— ответ был уклончивый.

— Я забрал книги, кое-какие бумаги.

— Все нашел?

— Да.

Мать разглаживала на коленях платье.

— Пока там спит Ундавит. Ничего другого не смогли придумать. Тебя это не беспокоит?

Мне показалось, что, дожидаясь моего ответа, зрачки ее глаз на мгновение застыли.

— Меня? — переспросил я и будто бы даже усмехнулся.— Ни в коей мере.

— Ну и прекрасно,— она и в самом деле обрадовалась.

— Боялась, что это тебе не понравится.

— Почему...

— Янис тоже не хотел. Да что же делать... По крайней мере, пока не устроится...

— Пустяки. Не думай об этом.

— Спасибо...

— Сама-то ты как?

— Ничего.

Меня поразило, насколько просто она это сказала — безо всяких претензий, без жалости к себе.

Суть вселенной проясняется со временем: поначалу кажется, что прекрасная карусель представляет собой тончайшую модель в смысле надежности и слаженности. Понемногу выясняется, что все это вместе держится довольно условно — что-то трещит и гроыхает, соединительные скрепы слабеют, опорный столб качается, кренился. Что будет через миг?

Домой я воротился пополудни. Большой, как ни странно, уже вернулся из своей латифундии.

— В чем дело? Нездоровится?

— Нет, отчего же.

Большой безучастно сидел в громоздком каминном кресле, унаследованном им от своего отца, и, положив голову на спинку, глядел в потолок.

— Устал?

— Что за глупости! С чего ты взял!

— Обычно ты не расслаживаешь. И бываешь куда более разговорчивым.

— Вот до чего мы докатились. Если человек не болтает, как заводной, его подозревают в лени. Нет, Свелис, ты заблуждаешься. О здоровье справляйся у тех, кто трещит без умолку. Верные пропорции между мышлением и речью утеряны. Подчас мне кажется, у людей больше нет мозгов, остался только язык.

Я пригляделся к нему повнимательней. Не потому, что меня удивили его слова. Станным показался тон. Прежде самые горестные признания были пронизаны внутренним оптимизмом. На сей раз отчетливо слышалось: в нем говорят усталость и безнадежность.

В выражении лица как будто ничего особенного. Щеки даже румянее, чем обычно. Брови время от времени вздрагивали, что могло быть признаком боли.

— Сегодня ты рано домой заявился.

— Собираюсь в Союз, к писателям.

Это меня успокоило: возможно, я и сам сегодня странноват.

— А знаешь, Свелис, что самое забавное? Я усомнился в важности латинского языка.

— Это после шести десятков лет почитания и преданности?

— Да. Меня смущают японцы. Удивительно динамичный народ. А ведь без багажа латинской культуры. Что ты на это скажешь?

— По-моему, понятие «культура» становится чем дальше, тем запутаннее. По правде сказать, если бы мне

предоставили выбрать книгу писем Сенеки или японский магнитофон, я бы остановился на последнем.

Большой довольно мрачно усмехнулся.

— Не о магнитофонах речь. О духовной стойкости японцев. Их умении на основе традиций строить новое.

— А что, если культурные задатки те же производственные способности, умение создавать материальные и духовные ценности? В нужных пропорциях. Рим, если мне не изменяет память, пропорции эти утратил.

— Согласно моим сведениям, картина иная. Рим пал от лени. Все началось с того, что сельский люд хлынул в города и превратился в тунеядцев, жаждущих зрелищ.

— Сегодня ты намерен посоветовать писателям изучать японский язык?

Большой улыбнулся и прищурил глаз:

— А не попробовать ли самому, а?

Посидев еще немного, Большой поднялся, собрал нужную одежду и отправился в ванную. Одевание он считал процедурой сугубо интимной, требующей уединения. И мне с детских лет запрещал деэабилье расхаживать по квартире. Вскоре Большой предстал предо мной в светлых узких брюках и коричневой велюровой куртке. Взгляд по-прежнему усталый, но достаточно энергичный. В общем и целом — страница журнала мод.

— Это что на столе за редиска?

— С садового участка.

— Такую мелочь не стоило и дергать.

— Я и не дергал. Помощник нашелся.

— Вор?

— Да как сказать... По-моему, вор. Хотя сам назвался учеником средней школы и вообще — за преступление, мол, это не считает, потому что стоимость вырванной редиски не превышает пятидесяти рублей. И грехом-де назвать нельзя, поскольку никакого бога в небесах не обнаружили...

Нет, все-таки вид у него был неважный.

Я стоял у окна и смотрел, как он уходит. Спина прямая, голова высоко поднята — это так. Однако ноги двигались одеревенело и походка была странная. Словно он превозмогал встречный воздушный поток. Словно тротуар обледенел.

Большой вернулся поздно. Казалось, выход не причинил ему вреда. Во всяком случае, хуже не стало, о чем говорило многое: добрый шматок кровавой кол-

басы на сковородке, пространные речи и выпитый стакан пива.

— Послушай, Свелис, это было в высшей мере поучительно,— рассказывал он.— Скажу больше, я ошеломлен...

Он преувеличивал. В тех случаях, когда Большой действительно бывал ошеломлен, он этого не показывал. Как недавно, излагая толкование греховности.

— В каком смысле?

— Во всех смыслах. Подумай только, кандидат филологических наук, сотрудник Академии наук разъясняет другим проблемы литературы, а к самому себе не предъявляет элементарных требований: все время вместо «что» употребляют «чего». Или другой пример: молодой драматург, дипломированный философ, теребя бороду, четверть часа подряд долдонит об одном и том же: молодежь оказалась в совершенно новых условиях, перед молодежью встали совершенно новые задачи. Как будто когда-либо было иначе. Те же вопросы, над коими ломал голову еще Гамлет. Быть честным или нечестным. Быть борьбе или успокоенности. Какую дорогу избрать — столбовую или тернистую. И все. Ну, допустим, этот бородач не знает истории. Но ведь Ромена Роллана, Толстого или наших братьев Каудзит литератор вроде бы должен был прочесть.

— Относительно латинского языка пришли к согласию?

— Не думаю.

— Ну, не расстраивайся... Пусть вопрос остается открытым.

— Скажи, как может литератор рассуждать о «неясности назначения поэзии»!

— А почему бы и нет?

— Поэт, которому приходится разъяснять назначение поэзии, попросту не нужен. Пусть он вслух разговаривает с самим собой. Те, кто сложили народные песни, знали о ее назначении. Знал Райнис. Знали Вейденбаум и Юрис Алунан.

— Это прошлое.

— Имант Зиедонис знает. Янис Петерс знает. Да разве всех назовешь.

— Вряд ли их можно причислить к молодым.

— Молодые тоже знают. Будь спокоен. Кому надо знать, те знают.

— Сегодня ты чересчур категоричен. Назначение может меняться.

— Не думаю. Литература всегда была органом дыхания. Легкие, Свелис, нельзя подменить петушиным гребнем или, скажем, шпорами.

Глянув на меня искоса, Большой наклонился ближе, как будто разговор становился крайне интимным.

— А как дело обстоит с тобой?

— Так... Серединка наполовинку.

— Ну, да поможет тебе бог.

Переглянулись и оба рассмеялись.

— Какой бог! Бога нет,— сказал я.

— Вполне возможно. Так что ж из этого?..

Признаться, я тогда лишь приблизительно понял, что хотел мне сказать Большой.

Ночью я ни с того ни с сего проснулся. Случай чрезвычайный, ибо, добравшись до дивана, обыкновенно сплю как убитый. Взглянул на часы: начало третьего. В комнате деда горел свет. В общем, ничего необычного; с понятиями «день» и «ночь» Большой, как известно, не слишком считался. Но в нос ударил запах корвалола. Уж не звал ли он меня? Смутно мелькнуло в сознании: я проснулся оттого, что меня окликнули. Невнятно, с усилием, как бы сквозь сжатые губы.

Обеспокоенный, растерянный, я сел на кровати. Затянул дыхание, прислушался. За дверью шумы менялись — сдвинулся с места стул, шлепнулся на пол какой-то легкий предмет, вроде бы слышались хрипы.

Обмирая от страха, весь в недобрых предчувствиях ввалился в соседнюю комнату.

Большой, в пижаме, стоял у окна и тяжело дышал. Лицо было таким же белым, как его седины. Это был тот самый Большой, которого я знал, любил, которым восхищался, и все же как будто другой человек. Вроде бы незнакомый. Должно быть, я впервые осознал по-настоящему, что Большой действительно старик и что ему худо. Что он может умереть и что такое может случиться в любую минуту.

— Ты меня звал?

— Я? С какой стати!

— Тебе плохо?

— С чего ты взял?

— Я же вижу...

— И что ты предлагаешь? Заменить меня на новую модель?

— Надо вызвать «скорую».

Впалые, морщинистые щеки как-то странно дернулись, что, наверно, означало улыбку.

— Диагноз ясен, будь спокоен. Нечего волноваться из-за пустяков. Иди спать, иди.

Я упирался: спать не пойду, а «скорую помощь» все же надо вызвать. И еще я сказал, что впредь все будет иначе, не так, как раньше. Отныне я постараюсь проследить, чтоб он хоть чуточку заботился о своем здоровье. Мимоходом щедро расточал такие фразы, как «с сердцем шутки плохи» и «болезнь запускать нельзя». Словом, говорил долго и сердито, угрожая невесть чем, если только Большой вздумает «ослушаться нас с мамой», если станет «разыгрывать из себя здорового».

— Ну ладно, ладно, поговорил и будет. Иди спать. Я тоже лягу. Почитаю немного да попробую уснуть.

— Боль отпустила?

— Отпустит. Помаленьку, полегоньку. Иди спать.

— Посижу еще немного.

— Нет смысла, Свелис. Станет действительно худо, я позову.

— Честное слово?

— Честное слово. Но тогда уж ты приходи, не мешкай.

— На этот счет не беспокойся.

— Честное слово?

— Честное слово, — ответил я, и голос как-то глупо дрогнул.

Он почти с театральной торжественностью пожал мне руку. Как бы в знак того, что мы заключили пари или скрепили договор. А при желании все можно было истолковать как шутку.

Я был рад, что все закончилось благополучно. Ужасно хотелось спать.

— Ну а теперь исчезни, — строго сказал Большой.

— Спокойной ночи. Но если что... помни...

Я вернулся к себе, лег опять на «бегемота» и тотчас заснул. Думаю, остаток ночи и Большой провел спокойно.

В понедельник утром у меня была консультация. Еще в трамвае капитан Клосс шепнул мне, что встречу Зелму. И в самом деле, она стояла у доски объявлений физмата, будто не сомневалась, что вот-вот подойду.

— Ну как? — спросил, подходя, в душе весь ликуя. — Сдала эстетику?

— Нет.

Ответ ее пропустил мимо ушей. Она смотрела на меня такими странными глазами. Была в них радость, но вместе с тем неуверенность, а это нечто такое, что не укладывалось в мои представления о Зелме.

— В чем дело?

Она молча сверлила меня взглядом.

— Что-нибудь случилось?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Шаг за шагом она пятилась назад, а я шаг за шагом надвигался на нее. Внезапно она остановилась:

— Поедем в деревню. В леса у подножия Гайзиня. Прямо сейчас. Знаю, ты скажешь: сессия, институт, девушка, это невозможно, это безумие... Но именно потому. Пусть хоть раз будет безумие! Не могу я больше. Поедем.

Я сразу смекнул: то, чего хочет Зелма, сравнимо лишь с катастрофой. Она меня насквозь — словно над-раенный аквариум — видела и все же считала, что я могу поехать. Мысль о том, что Зелма ищет во мне опору, переполняла меня дурацкой гордостью. То, что отметал разум, находило отзвук в гордости и тщеславии. А может, под тонкой верхней корочкой разума залегал аван-тюрный пласт?

— Немыслимо прекрасная идея. Поехали.

Меня самого это поразило. Да и теперь, спустя некоторое время, я бы не взялся объяснить свое тогдашнее решение.

Как бы то ни было, факт сей — живое свидетельство сумасбродства юности. Недавно где-то прочитал, что некая телятница, вернувшись домой после грозы, обнаружила оставленного в холодильнике потрошеного петуха идеально зажаренным, что было воспринято как чудо. В данном случае в роли холодильника оказался я. А может, в роли жареного петуха, но это неважно.

Зелма доехала со мной до моей резиденции, однако наверх подняться не захотела.

Разговор с дедом, вне всяких сомнений, мог все изменить. Я нутром это чувствовал. Конечно же, меня терзали угрызения совести, и я считался с возможностью, что «чрезвычайные обстоятельства» мое решение могут аннулировать. Если бы Большому опять вдруг

сделалось плохо или он категорически воспротивился бы моему отъезду. Но вид у него был бодрый. Решению моему он даже не удивился. Чтобы избежать вранья, в детали я не вдавался. Надо ехать, и все тут. Постараюсь поскорей вернуться. Вот на всякий случай оставляю адрес. С автовокзала позвоню матери. Она придет тебя проводить. Хорошо?

Большой сидел за письменным столом и держался так, как будто мои слова его совершенно не касались. И только при упоминании о матери он пришел в движение.

— Нет, нет, не звони. Не то опять начнется спор из-за морально-нравственных плевел на страницах ее журнала.

— Ну, будь здоров,— скороговоркой сыпал я,— до свидания! Если кто-то вздумает меня разыскивать, скажи, отправился в инспекционную поездку на гору Гайзинькалн.

— Отставить! Отставить! — Большой вдруг повернулся в своем кресле. Я замер и сжался в комочек.— Подойди покажись.

Была у него такая привычка: когда я куда-нибудь уходил, он обычно говорил: «Подойди покажись».

Я сделал в его сторону несколько одеревенелых шагов.

— Да ведь ты же не поел. Может, кровяной колбасы поджарим? Много времени не займет.

Ответил, что тороплюсь и что есть не хочется.

— Тогда беги. Только ключи не забудь.

Это были его последние слова ко мне. Еще помню, сказав их, он закрыл глаза. И еще: его указательный палец был испачкан чернилами; шариковые ручки Большой считал несовершенным орудием письма. Он писал пером и чернилами, утверждая, что от этой роскоши его отучит только смерть.

Через час и двадцать минут мы с Зелмой уже были в автобусе. На смену недавней летней пригожести пришла промозглая хмарь. Лил дождь. Мир превратился в сырой, неуютный аварийный отсек — все вокруг текло и капало, сочилось и струилось; так и казалось, что над разбухшим потолочным перекрытием уже целую вечность извергает потоки лопнувшая труба и никто ее не собирается исправлять.

В переполненном автобусе конечно же было душно. Примитивное вентиляционное устройство — заслон-

ку в потолке старенького автобуса — никто не рискнул задействовать. Мы стояли, стиснутые между четырьмя испарявшими влагу дождевиками и одной просыхавшей колли. Пахло резиновыми сапогами, хлебом, водкой, копченой салакой и чем-то еще. И хотя все вышесказанное вроде бы рисует поездку в малопривлекательных красках, мы себя чувствовали великолепно.

Освобождаясь понемногу от волнения и смуты, я все больше убеждался, что неожиданно-негаданно свалившееся на меня приключение обещает быть увлекательным, бурным и приятным. Отрыв от привычной рутины и бремени обязанностей, упоение свободным полетом... Примерно так я себе представлял выход человека в открытый космос. Реальность и фантастика в одно и то же время. Как будто я не имел права здесь находиться и все же находился. С тем большей остротой и отрадой воспринимал все происходящее вокруг. Автобус мчался сквозь дождь и туман, чтобы мы с Зелмой могли быть вместе. Что бы нас ни ожидало через миг, через час или день, я знал, что буду вместе с Зелмой. Людей регламентированных и упорядоченных такая опрометчивость, наверно, поражает глубже, чем прожженных авантюристов и всяких там сорвиголов. Потому что они более чувствительны к этому сильнодействующему яду и менее от него защищены. Эти люди чем-то похожи на трезвенников, которые, поддавшись алкогольному соблазну, пьянеют с первой же рюмки. И уже не властны над дальнейшим.

Пытаясь разгадать мотивы хорошего настроения Зелмы, я могу и ошибиться. Но думаю, она ликовала от сознания, что добилась своего, что все идет так, как она хотела. Перемена обстановки под знаком ливневых дождей создавала уверенность, что и в жизни грядут перемены, все неприятное, постылое уплывает, а все желанное и приятное на подходе. Хотя, как я уже сказал, это только мои домыслы. О Зелме я знал немало, но каждый раз мне снова и снова приходилось убеждаться в неполноте своих представлений. Зелма никогда не позволяла узнать себя до конца.

Народ постепенно редел. На заднем сиденье никто нам не мешал. Ближайший общественный пост в лице дремлющих старушек находился за тремя рядами.

Как обычно, когда фон теряет интенсивность, центробежная внимания перешла в центростремительную. Мы опять друг для друга стали самым главным, самым

важным. Говорю это вполне серьезно и уверен, со мной согласится всякий, испытавший силу гравитации любви. В том, что рука Зелмы находилась у меня под рубашкой, а ее губы время от времени приникали к моим губам, не было решительно ничего предосудительного.

Как и присутствие моей ладони в нежнейших частях Зелминого тела лишь круглый дурак и ханжа мог объяснить моральной невоздержанностью, распушенностью и т. п. Просто в данной ситуации мы вели себя естественно. Так оно и должно было быть, это само собой разумеется. Никто ж не удивляется тому, что пчела заползает в цветок, а клубень независимо от того, посажен он в землю или нет, пускает ростки.

Конечно, это не та тема, которую хотелось бы развивать публично. И все же, умолчав об интимной стороне наших отношений, я бы покривил душой. Вышеупомянутая склонность играла немаловажную роль. Во всяком случае, если б я представил нас лишенными половых влечений, остались бы непонятными и те узы, что нас связывали, и те клинья, что нас разъединяли.

Когда мы бывали вдвоем и когда другие не слишком нам мешали, рано или поздно забывались все проблемы, программы, законы, теории и неизбежно начинались бессловесные диалоги. Наши руки и губы, наше дыхание, слух, кожа, наш пульс, приливы и отливы крови — все вступало в диалог. Она — моя Ева. Я — Адам. Друг для друга мы открывали друг друга. Сами себя для себя открывали. Продвигались вперед без спешки, обуздывая страсть, как археологи, расчищающие находку. А иногда с нетерпением дилетантов — на авось. Совместный опыт собирался в сюрпризах, неожиданностях, в творческих повторях. Интереснейшие диалоги, в которых без слов вопрошали и отвечали, разрешали и запрещали, утверждали и сомневались. Отдельные фразы диалога подчас наполнялись значением, выходящим за рамки контекста, становясь самоценными афоризмами.

Казался ли мне телесный эквивалент Зелмы столь прекрасным оттого, что я любил ее, или же я любил потому, что ее телесный эквивалент на самом деле был великолепен? Меня восхищало в ней все: и запах волос, и то, как она обтачивала ногти. Мне нравились мягкие подушечки ее пальцев и угловатая дуга лба. Живое чудо ее маленьких грудей в моих ладонях. Нравился ее трепетный смех и какое-то напевное, восторженное во-

ркование. Нравилась ее привычка легко одеваться, нравилось, что ее тело всегда было безукоризненно чисто. Ее умение быть пылкой и в то же время безучастной, не знать ни в чем удержу, оставаясь в рамках пристойности, увлекать податливостью и сдерживать безумствами. Ничего не принимать всерьез, не опускаясь до банальности, все обращая в шутку. Однажды она мне прислала поздравительную открытку за подписью — твоя Роза. Объяснить, чем была дорога мне Зелма, столь же трудно, как объяснить, в чем прелесть розы. Очарование в непостижимых частностях, воспринимаемых различными органами чувств. Быть может, так и следует сказать: женщина в Зелме раскрылась мне в образе розы в своей великолепной самости, в нежном увядании, в неспешном цветении, в пылком аромате, в ночной росной свежести.

Конечно же не столь я наивен, чтобы считать, будто другие лишены того, что было дано нам. В калейдоскопе жизни могли возникнуть и другие вариации. Однако на эту тему я даже не пытался размышлять. Благодарил судьбу, обстоятельства, случай или сам не знаю кого, за то, что мне досталась Зелма. И нередко удивлялся своему везению.

Тогда в автобусе Зелма дремала, склонив голову на мое плечо. Я поддерживал ее так осторожно, так бережно, словно она была мыльным пузырем, радужным, безмерно хрупким, полуреальным, полусказочным фантомом, занесенным ветром в раскрытое окно; ничто в этом роде не может быть долгим, к радости примешивались грусть и страх. Кажется, даже дышал я как-то особенно. Какое счастье! Зелма опять со мной, опять моя. Только на шее, возле мочки уха, в том месте, к которому время от времени прикасались губы Зелмы, я ощущал какой-то холодок или сырость, вроде той, что остается на коже после того, как мыльный пузырь лопнет.

Не знаю, быть может, то, что я сейчас рассказываю, отдает цинизмом или сентиментальностью. Но я пытаюсь быть искренним. Представления о том, что цинично и что сентиментально, безусловно, меняются. По правде сказать, я считаю себя скорее сентиментальным, чем циничным.

— Я заснула? — очнулась Зелма. — Мне пришлось к тебе пробиваться сквозь завалы времени.

— И пробились?

— Да. Но странное дело: были там еще и какие-то водные пласты. Раздвигать их руками так трудно. И уже когда я стала задыхаться, только тут добралась до тебя. Еще бы минут пять, и ни за что бы не пробиться...

Я прижал ее еще крепче. Моя ладонь, как бы желая убедиться в присутствии Зелмы, соскользнула с плеча к спине.

— Тебе не жарко?

— Еще как! Дурацкие колготы! Мне всегда казалось, что их придумал эскимос или педик.

В Мадоне нам предстояло пересечь на местный автобус, отходивший только под вечер. Дождь лил без остановки, но мы не горевали. Мадона показалась чудеснейшим городом. Не знаю, так ли это на самом деле, но чистота его и порядок удивляли и радовали глаз. Распускались листья на деревьях, цвели цветы, зеленели дворики, старые здания опрятны и ухожены, а новые удачно расставлены, на братской могиле пахло свежескошенной травой, в парке в искусственном озере играли фонтаны.

За Зелмой увязался лохматый песик. Чувство времени совсем исчезло, когда пес привел нас на лесистый пригорок. Там была эстрада, сооруженная для праздника песни. На танцплощадке тренькали капли дождя. Блестел намокший Зелмин плащ. Мокрые пряди падали ей на лицо, и она сквозь них смотрела на меня, как сквозь бахрому. Как сквозь струи водопада. Как сквозь водные пласты. У Зелмы было прекрасное настроение. Мы пели и танцевали по мокрому настилу, а пес путался под ногами и громко лаял. Вся прелесть была в том, что, кроме нас троих, в парке не было никого. Если не считать ворон,— съезжившись, они сидели на деревьях, урюмо взирая на нас.

— Даже не знаю, что бы случилось, если б ты не пробилась сквозь эти пласты,— сказал я.

— Мне удалось в самый последний момент.

— Правда, у меня такое чувство, будто я тебя только что нашел.

— Ты что, собрался меня задушить? Я сейчас потеряю сознание.

— Я не хочу, чтобы ты опять исчезала.

— Еще неизвестно, кто кого нашел... Думаешь, мои часы правильны? Будем надеяться, они водонепроницаемые.

Я не отпускал ее, и мы целовались, пока песик не стал беспокойно тереться о ноги.

— Он же голодный, — сказала Зелма. — Ничего, зайдем в кафе и купим гамбургский калач. Какая прелесть, что в Мадоне продают гамбургские калачи, они пахнут сказками Андерсена.

Когда мы сошли с автобуса, уже вечерело. По обе стороны дороги густо разросся ольшаник, над узким просветом дремало хмурое облако. Дождь перестал, но с листьев ветром срывало тяжелые капли. Оставшиеся от автобуса выхлопные газы в свежем и душистом воздухе расплывались, словно масляные пятна на чистой воде.

Немного погодя ольшаник по одну сторону дороги уступил место свежей вырубке, а дальше тянулся заросший луг.

И вдруг горизонт распахнулся — примерно так, как в театре распахивается занавес. Мы оказались на краю пологого склона. Хотя видимость была не особенно хорошей, вдали запестрели подернутые дымкой лоскуты полей, лугов, озер, перелесков.

Дедушка с бабушкой только сели ужинать. Сначала мы их увидели в окно: на кухне горело электричество. Дед наливал в тарелку суп, а старуха ему что-то рассказывала. Я ожидал, что дом будет старый, какой-нибудь бревенчатый сруб, что-то вроде хутора Рудольфа Блаумана. Такое представление у меня создалось по рассказам Зелмы. Но дом имел вид вполне современный: стены из белого кирпича, шиферная крыша, сад камней перед верандой.

Увидев нас на пороге, бабушка ужаснулась.

— Боже праведный! — воскликнула она, обеими руками хватаясь за сердце.

Зелма потянула носом воздух.

— Гороховый суп с копченым окороком. Неплохо.

— Боже праведный! — повторила бабушка, всплеснув ладонями. В голосе вроде бы растерянность, а на лице читалось: ну, все понятно...

Бабушка столь же мало похожа на Зелмину мать, как Зелмина мать на Зелму. Бабушка худощава, ходила слегка вперевалку — плохо слушались больные ревматизмом ноги. Коротко стриженные седые волосы заколоты черным гребнем. Рот в морщинках, и, даже когда улыбалась, бабушка имела не то обиженный, не то страдальческий вид.

Дед мне сразу понравился. Его круглые, лукавые глаза смотрели с благодушным пониманием. Взгляд этих глаз убеждал, что потрепанный годами, но вполне еще бодрый мужичок способен воспринимать жизнь с ее забавной стороны и по складу души чем-то сродни Кола Брюньону. Во всяком случае в его лексикон органически входила крылатая фраза: лучше сдобный грешок, чем костлявая добродетель.

— Это Калвис,— представила меня Зелма,— мы давно собирались приехать.

Словечко «давно» с ее стороны было единственным объяснением, хоть как-то приоткрывавшим наши отношения. Тут, правда, следует отметить, что никаких объяснений от нее и не требовали. Искренняя радость, вызванная появлением Зелмы, была так велика, что в избытке чувств до обыденного любопытства никто не опускался. В их представлении мы были детьми. Приехали вдвоем, стало быть, что-то вроде близнецов. Этого было достаточно, чтобы нас искупали в одной и той же ванночке благорасположения, а затем закутали в полотенце единой заботливости.

Первый вечер, суматошный и шумный, отложился в памяти довольно смутно. Дышащая теплынь коровника, затаившийся в сумерках яблоневый сад, посверкивание фар в лежащем в стороне колхозном центре... Зелме не терпелось поскорей все obeжать, осмотреть: старого конягу Ансиса на лугу за банькой и беседку под березой, ягнят и поросят. Мы косили траву, доставали воду из колодца. Зелма попробовала доить корову. И кое-какие другие дела у нас с ней находились в сарае и на чердаке, в погребе и клетях.

Кулинарная часть вечера, устроенного в нашу честь, началась с насилию умеряемого аппетита, а завершилась еще большим насилием над желудками. Обилие пищи, помноженное на постоянные попреки хозяев «да ведь вы же ничего не едите», как и всякое невыполнимое задание, под конец привело к гнетущему состоянию. К счастью, Зелмины бабушка и дедушка были охвачены не только желанием спасти нас от голодной смерти, еще им хотелось от души наговориться. Понемногу я подключался к этому до сих пор незнакомому, но душевно близкому миру с человеческими («Уж какие мы есть...») судьбами, радостями, печалью, удачами и тем, что «случилось потом». В этом микромире джарки, собираясь в Ригу на спектакли, заказывали себе

длинные платья из панбархата, а Йёсты Бёрлинги — не пасторы, правда, а трактористы — засыпали на своих кафедрах и, проснувшись, снова пили с такой жадностью, что под конец валились с ног прямо в поле, и вино изливалось из них кроваво-красной лужицей. В этом мире сыновья бывшего парторга женились на дочках бывших айзсаргов, и одинокие женщины записывались на торжественные проводы на пенсию, чтобы в торжественной обстановке услышать, как выкликают их имена, хотя завтра, послезавтра и послепослезавтра они снова выйдут на работу и все будет продолжаться, как и прежде. Люди в этом мире жили на широкую ногу и, как никогда, были шибко грамотные, они любили и ненавидели, работали и лоботрясничали, были страшно недовольны и на диво легкомысленны.

Зелмин дед, водрузив на стол локти, с добродушной неспешностью рассказывал байки, изображая в лицах, расцвечивая сюжетные ходы перченными присловьями. Бабушка, сложив руки на коленях, сыпала деловито и бойко, не то сокрушаясь, не то удивляясь и как бы сама не веря.

Постепенно круг разговора сужался, пошли воспоминания молодости; о том, как дед сватался к бабке и как проспал в день свадьбы и опоздал к венчанию; какой странной девочкой была в детстве Зелмина мать и какие штуки в свои первые пять лет на этом дворе откалывала Зелма, известная в ту пору под кличкой Берестинка.

Часы пробили одиннадцать. Зелма объявила, что ей надоело сидеть за столом и что «завтра тоже будет вечер». На это дед возразил, что за столом просиживают всюду, с той только разницей, что в Риге с форсом, а тут по-простецки.

Бабушка спросила Зелму, где стелить постели. Зелма ответила, что летом положено спать на сеновале под шуршащей от дождя крышей. Бабушка об этом слышать не хотела. Весь дом пустой. Веранда тоже. В одной комнате диван и пианино. В другой кровать и радиола. Было бы свежее сено, тогда другое дело. А теперь в сарае только пыль да сор.

Зелма возражать не стала. Дом наполнился запахом просушенных на ветру простынь.

Я вышел во двор. Следом за мной и Зелма. Остановилась рядом, запустила пятерню в мои волосы. Я взял ее за талию, но Зелма стала вырываться.

— Пошли погуляем,— сказала,— тут есть отличные места.

Мне хотелось, чтобы что-то случилось... сам не знаю что. Что-нибудь такое небывалое, дотоле неизведанное. И мы, взявшись за руки, бросились в темноту.

— Слышишь, как урчит земляной рак.

— И совсем это не земляной рак.

— А что же?

— Спроси чего полегче.

— А почему не кричит коростель?

— Не всегда же петь хочется.

— В такой-то вечер!

— Холодновато. И сыро. А не сыро, так ветрено. Столько разных причин...

Глаза привыкли к темноте. Мы брели вниз по луговому склону. У ног, расступаясь, шелестели густые травы.

— А вечер не так уж хорош, как кажется,— вдруг объявила Зелма.— Пожалуй, даже мерзок. Комарье кусается, и сыро, неудобно.

Отпустив мою руку, Зелма отломила ветку березы. Белый ствол, казалось, был подрисован мелом поверх тьмы. Резкими, нервными движениями Зелма срывала и комкала листья. Пахнуло березовым духом, вспомнились школьные вечера, праздник Лиго — там никогда не обходилось без увядающих березок.

— Меня пока еще ни один комар не укусил.

— Нашел чем хвастать! Они на нервы мне действуют, пищат над ухом. И вообще не люблю, когда вспоминают детство. Зачем вспоминать мое малокровие! Если хочешь знать, у меня и глисты были, а однажды в моей шевелюре обнаружили вшей.

Перепады в настроении Зелмы вроде бы всегда наступали внезапно. А с другой стороны, все это было в духе сюрпризов необычного дня.

Я исторг из себя смешок, короткий, веселый, звонкий.

— И ты еще смеешься! Слушать противно!

Она размахнулась и полоснула меня веткой по лицу. Я даже не успел зажмуриться.

— Противно! Противно! Противно!

Мне показалось, она еще раз ударит. Но, отбросив прутик, Зелма повернулась ко мне спиной.

— Ну, отвела душу? Успокоилась?

— Отвратительный вечер!

— Вечер тут ни при чем!

— А что же?

— Подойди ко мне.

Может, она ко мне приблизилась, а может, я к ней подошел, но мы больно стукнулись лбами. Из глаз ее брызнули слезы. Я обвинил рукой ее шею. Она схватила мою ладонь и прижалась к ней щекой.

— Скажи: вечер чудесный.

— Нет,— сказала она,— нет!

Слезы стекали мне на руку. Она кусала губы и всхлипывала. Потеряв равновесие, мы повалились на траву. Покатались по земле. Волосы Зелмы, еще мокрее, чем ее щеки, то накрывали нас, что оказывались под нами. Потом посветлело, и я понял: это луна вышла из-за облаков. Когда мы встали, от нас отделились тени и задвигались по траве. И только тут я увидел то, о чем Зелма конечно же не могла не знать, даже когда не светила луна. Мы стояли на обрыве. Сквозь кусты поблескивало озеро. Прибрежный тростник подрагивал от набегавших слабых волн.

— Это все,— пришла в себя Зелма,— больше ничего не будет.

Вид у нее был несчастный, и она держалась от меня на расстоянии. Знобило — от холода или, что более вероятно, от нервного напряжения. Зелма пыталась и никак не могла унять дрожь. Я снял пиджак, накинул ей на плечи. Она отступила, позволив пиджаку упасть.

— Вечер в самом деле неплохой. Не сердись на меня.

Я взглянул на Зелму и почувствовал, что ее дрожь передается мне.

— Вывихни я ногу, ты бы это понял, правда? Стоит раз потянуть лодыжку, в любой момент жди вывиха. А если вывих в душе... Душу, думаешь, нельзя вывихнуть? Можно. Еще как. И совсем сломать можно.

— Ладно, давай не будем об этом.

— Я, конечно, порю чушь. Но вообще не хочу тебя обманывать. Я ведь пугливая. Если вдруг перестанешь меня понимать, то вспомни: мне страшно.

— Я тоже не хочу обманывать.

— Тебе тоже страшно?

— Иногда ты на глазах у меня исчезаешь.

— А вот этого я не умею.— Немного погодя Зелма весело добавила: — Ну, вот видишь, истерика прошла. Нос красный, глаза как у наркоманки. Слава богу, цыганское солнце не слишком ярко светит.

Зелма закинула руки за спину. Чиркнула застежка-«молния». Зелма через голову сбросила платье, как это умела делать только она — с бесстрастной прямо-той и в то же время так соблазнительно-кокетливо. Тогда это не вызвало во мне никаких вожделений. Горло захлестнула нежность. На залитом лунным светом лугу она стояла как нечто тем местам издавна присущее и привычное.

— Что собираешься делать?

— Хочу искупаться. Вода, наверно, теплая.

Раздвинув кусты, высоко поднимая тонкие девичьи ноги, она побрела в озеро. От каждого ее шага тихо и ритмично чавкало топкое дно. Потом она окунулась в посеребренную зыбь и поплыла, совсем как мальчишка, высоко выбрасывая локти.

Я стоял на берегу и затаив дыхание ждал каждого очередного всплеска-такта. И вдруг до меня дошло, что Зелма вот так уплывет, уйдет от меня, навсегда исчезнет. Превратится в облако или в лист кувшинки. Я очнулся от холодного ужаса.

— Зелма! Зелма! Вернись!

Издали доносился мерный плеск воды.

Проворно скинув с себя одежду, как обезумевший, устремился за ней вдогонку.

Настиг ее не скоро и чуть ли не силой потянул обратно к берегу. Успокоился, когда под собою нащупал песчаное дно. От усталости едва на ногах держался, живот ходил, как у загнанной лошади, руки плетью обвисали.

— Ты как шальная!

Она встала на цыпочки и чмокнула меня в подбородок.

— Искупалась на славу.

— Ну, знаешь...

— Представь себе, я чувствую себя гораздо лучше. Ты гипс моей души. Купаться будем три раза в день! Идет?

На следующее утро я проснулся от приглушенных шумов: в котлы наливали воду, звенела посуда, лаяла собака. Небо хмурилось. Я натянул штаны и вышел на кухню. Топилась плита. Бабушка мыла молочный бидон.

Дедушка, не по-летнему тепло одетый (в просторном брезентовом плаще), возился с поленьями. Судя по его мокрому, облипшим травой сапогам, он уже побывал

в коровнике и на выгоне. Предложил мне поехать с ним за компанию к кузнецу. Пока Зелма из постели выберется, мы как раз и обернемся.

Гривастый коняга едва плелся, лениво переставляя одеревенелые ноги. Через каждые десять шагов поворачивал голову и, прядая ушами, косился на нас. Умные, с грустинкой глаза как бы говорили: нельзя ли потише? Увязнув в очередной колдобине, телега останавливалась; казалось, Ансису ни за что из нее не выбраться, но, оттолкнувшись, коняга выволакивал повозку, и колеса, разметая грязь, с нещадным скрипом катились дальше. От потных лошадиных пахов, от сбруи и телеги исходил густой, крепкий запах. Время от времени Ансис приподнимал тугой хвост и в лад шагам, словно из выхлопной трубы паровика, в упор по нас выстреливал излишки внутренней компрессии.

Общаться с Зелминым дедом было легко. Уж одно его присутствие поднимало настроение, разгоняло натянутость, принужденность. Чувствовалось, что вспоминать разные истории, да и сам процесс говорения доставляют ему радость. Сюжеты у него были обкатанные, суждения продуманные, взвешенные. Не мне первому он их рассказывал. И не последнему.

Пока добрались до колхозного центра, наговорились о лошадях и тракторах, о горшке с золотыми монетами, найденном в поле, где работали мелиораторы, и о том, как мальчишки искали армейскую казну Наполеона. О колхозной почтарке Берте и кузнеце Никитине.

О кузнеце, к примеру, рассказ был такой. Помер старый кузнец, и все колхозные лошади охромели. Послали председателя к районному начальству, чтобы дали им кузнеца. Агронома раздобыть еще сумеем, говорят ему, а насчет кузнеца и думать нечего. Снарядились в Ригу за кузнецом. Если бы вам нужен был министр, так сказали председателю в Риге, мы бы, может, и нашли, а кузнец в наше время все равно что бронтозавр.

А тут к доярке Гене из Белостока отец прикатил. Если по правде сказать, так он после двух операций да трех инфарктов помирать к дочери приехал. А ты раньше чем занимался, его спрашивают. Кузнецом работал. Ну, брат, тогда не спеши помирать, еще успеешь. Сам видишь, лошади босы, копыта отросли, прямо как лыжи, аж кверху загигаются.

И вот Никитин и по сей день лошадей подковывает. Одного человека специально приставили лошадь за ногу держать. Второй с молотком стоит наготове. А Никитин только командует. И вот теперь, когда в колхозе какой-нибудь старикан задумает жениться, бабы смеются: собирается, мол ковать на манер Никитина.

Кузница и впрямь одно название. Мало чем отличалась от механической мастерской.

Никитин действительно выглядел неважно: лицо почернело, а сквозь черноту проглядывала бледность. Кожа задубевшая, пористая, шероховатая, за десятки лет насквозь прокопtilась. И все же чересчур тонкая, чтобы скрыть неминуемое.

Насчет помощников, конечно, наплели. Во всяком случае в то утро никаких помощников не было. Дед стукнул раз-другой молотком по раскаленным подковам, я держал Ансиса за ногу. Никитин, хрипящей грудью втягивая воздух, орудовал главным образом ножницами для подрезания копыт да тюкал по гвоздям молоточком.

Зелма ждала нас в конце ведущего к дому проселка. Была задумчива, печальна.

— Зелма, ты сердисься?

— Нет.

— А в чем дело? Плохо себя чувствуешь?

— Нет. Просто задумалась.

— Интересно, о чем же?

— Я не знаю простейших вещей на свете. Как, скажем, выглядит цветущий можжевельник? Только что изменится, если даже узнаю? Например, я знаю, что земля вращается вокруг солнца. Ну и что? Глаза мои видят другое — солнце кружит вокруг земли. Истина, должно быть, всего-навсего условность. Единственная истина в том, что истины нет.

— Тебя это шокирует?

— Ты скоро уедешь в Ригу,— сказала она.

— Почему? Мы еще не поднимались на гору Гайзинькалн.

— Гайзинькалн, голубок, в голубом...

— Пойдем в лес. Может, сейчас и цветет можжевельник.

Она вложила свою руку мне в ладонь, пальцы у нее были холодные.

Дед уехал, а мы пошли через сад. В саду Зелма остановилась и обеими руками обхватила ствол яблони.

Я смотрел на нее, — строптивую и несчастную, с лепестками отцветающей яблони в волосах, с мечтательным взглядом, и в памяти промелькнула сцена. Да, тогда, в Риге... в Зелмином саду, в вечерний сумеречный час. Осыпается вишневый цвет, а Зелма рассказывает мне о своей магической грусти. Прямо наваждение какое-то! Меня сковала истома, я не мог отвести зачарованных глаз от ее вдохновенно-одержимого и как бы вопрошающего взгляда: отчего это все происходит?

После завтрака выглянуло солнце. Стало припекать. Зелма зашла в дом «сбросить лишние тряпки».

Дед пропахивал картошку. Не знаю, в чем было дело — может, руки у него не слушались, может, Ансис на старости лет стал дурить, но плуг в борозде не держался. Я взял Ансиса за повод и стал его водить.

— А ты хорошо смотришься с лошадей, — похвалила меня Зелма, — но теперь бросай все. Пошли в Буцишов бор!

Мне, конечно, хотелось пойти в Буцишов бор. Но было неловко повернуться и смыться, оставив деда с плугом.

— Мы скоро закончим. Много времени это не займет.

— Много или мало, какая разница. Думаешь, дедушка без тебя не справится. Помощник нашелся на полчаса...

— Ступайте по своим делам и ни о чем не думайте. Мы с Ансисом провернем это дело быстро и ладно. Много ли тут грядок. Идите, идите! К вечеру может собраться гроза.

Зелма была в настроении. Веселая, говорливая, улыбчивая, нежная. И день преотличный. Просыхавшая земля источала аромат. Сквозь зеленые своды леса лучезарными столпами пробивался солнечный свет. Обочины канав желтели от одуванчиков и калужниц.

Исходили множество проселков и просек, забредали в заброшенные дома. В створе разобранной стены белым привидением громоздилась печь. На чердаке что-то шуршало, попискивало. На стене висели поломанные часы с гириями и погнутом маятником. Я зачем-то натянул гири и раскачал маятник.

— Все заброшенные дома чем-то похожи, — сказал я.

— И всегда в них оторопь берет, — поежилась Зелма, — будто где-то поблизости спрятан труп.

Приведенный в движение маятник быстро затих, остановился. Атмосфера в самом деле жутковатая.

— Послушай, как странно высвистывает ветер.

— В таком доме действительно спрятаны трупы. Трупы любви. Пошли скорей отсюда.

Зелма была рассеянна и печальна. Начнет что-то рассказывать, умолкнет, повздыхает, примет отсутствующий вид. Как всегда в таком настроении, она поеживалась, как бы мельчала, становилась совсем хрупкой, движения ее замедлялись, блеск в глазах затухал. Даже кожа становилась другой — прозрачной и бледной, ладони покрывались росинками пота — будто в горячке.

То были моменты, когда моя любовь к Зелме выходила из берегов и разливалась широко, раздольно. Хотелось жалеть и опекать ее, беречь, спасать. Отвести от нее любую горечь, угрозу. То были моменты, когда мое влечение к Зелме начисто освобождалось от всего плотского и становилось — да, я намеренно употребляю именно это слово — святым.

Поцелуй усталых нежных губ превращался в некий ритуал, переводивший в иные измерения, переполнявший немислимым счастьем, порождавший иллюзию предела и полноты.

И в следующие дни погода держалась отличная. Мы подолгу бродили, купались, катались на лодке. Людей встречали редко. Иногда казалось, что, кроме нас, никого не осталось на свете. Не считая лосей, до смерти пугавших нас, когда они нежданно-негаданно просовывали сквозь кусты свои пучеглазые морды. Не считая косуль, грациозно пробежавших по лесным лугам и полянам. Не считая ястребов и аистов, паривших над нами на недвижных крыльях.

На четвертый день, когда мы в утренний, еще не жаркий час загорали в укромном уголке сада за густой стеной ельника, неподалеку от нас прогрехотал и смолк трактор. В саду появился мужчина в брезентовой робе, перехваченной ремнем безопасности, какие обычно носят верхолазы. Увидев Зелму в полном интиме, незнакомец вроде бы замешкался, но все же подошел и полушутя-полусерьезно объявил, что мы находимся в опасной зоне. Недавно проведенная линия электропередачи, как он сказал, не отвечает новому напряжению, а посему придется менять не только провода, но и столбы. Один столб по плану намечено поставить в саду,

как раз на месте клумбы с розами. Дома ли хозяин? Сказав это, незнакомец энергично зашагал обратно.

Меня заинтриговало его лицо: потное, бурое от загара, с широкими, жесткими скулами, заостренным подбородком. И для глаз самым подходящим определением было бы «жесткие». Даже брызжа весельем и смехом, они, казалось, полны агрессивной настороженности, которая иной раз так озадачивает во взгляде зверей.

— Интересно, что же будет? Не означает ли это, что мы должны обратиться отсюда?

— Никуда не надо убираться,— обронила Зелма.— Просто он хочет, чтобы мы с ним «договорились».

Дед еще не вернулся из магазина. Бабке от волнений сделалось дурно.

— Боже праведный, какое несчастье! Какое несчастье! Главная беда, что чужие. Свой бы человек как-никак вошел в положение. А чужому трын-трава... Пропади все пропадом...

— Успокойся,— Зелма трезво оценила ситуацию,— все уладится.

Трактор приволок столбы. Рабочих было трое, но говорил в основном тот первый: честил план, жаловался, что работать некому. Сам он из потомственных латгальских гончаров, но переехал к жене в Алуksне. Домой редко удается выбраться. (С места на место мотаемся. Еще хорошо, когда крыша над головой, а частенько без нее обходимся. Жизнь хуже, чем цыганская.)

Разговор главным образом поддерживала Зелма. Они даже пропели в два голоса латгальскую песню про жаворонка, который на макушке столба пиво варит. Оттаяло сердце мастера. Он продекламировал довольно длинное стихотворение Юрция, точно назвав, в каком номере журнала «Звайгзне» оно напечатано. О том, чтобы поставить столб на месте розария, уже не было и речи.

Я искренне подивился, как у них спорилась работа. Трактор-универсал пробурил яму, поднял столб. Оставалось привинтить крюки, приладить изоляторы, прикрыть макушку колпаком, и можно было двигаться дальше.

Через час мастер снова появился.

— Будь я солнцем, всех бы вас обогрел, честное слово. Однако есть вещи, которые делать можно, а ко-

торые нельзя... Провода тянуть надо трактором. Наши силенок на это не хватит.

— Ну и тяните трактором.

— Просеку придется прорубить в вашей зеленой изгороди.

Это было похуже, чем врыть столб на месте розария. Я предложил тянуть руками; разумеется, с нашей помощью.

Зелму это взбесило. Она щелкнула ногтем по карману мастера и язвительно улыбнулась:

— Значит, все-таки хотите на пол-литра?

Незнакомец смерил Зелму пренебрежительным взглядом.

— Заткнитесь, девочка. Не вам судить, что такое «тянуть провода» и что такое «хотеть на пол-литра».

Было ясно, что Зелмины слова задели мастера за живое. Но его замечание подлило масла в огонь. Это было равносильно тому, как если бы в ответ на безобидную шутку кому-то съездили по морде. К тому же с одной стороны была Зелма, а стало быть, женщина со своими особыми правами, с другой — мускулистый, волосатый мужлан, который, возможно, по-своему был прав, однако начисто лишен деликатности.

Зелма на это отреагировала так: повернулась и ушла. Я был зол на мастера. Но сделал вид, что ничего не слышал, и повторил свое предложение с небольшой вариацией: вас трое, нас с Зелмой двое, к тому же еще и Ансис...

— Ну, хорошо. Черт побери, попробуем! — как бы сдаваясь, мастер поднял кверху руки.

У меня все сжалось внутри. Поднятые надо мной пальцы были кривы, узловаты. Мозолистые, жесткие, лоснящиеся, продубленные графитно-черной окисью алюминия. Поперек ладоней глубокими желобками тянулись подсохшие кровавые раны, не раз заживавшие и снова лопающиеся.

Я кинулся в комнату за Зелмой. Она лежала на кровати.

— Я не пойду. По-моему, я заболела. Голова трещит, и мутит меня. Пусть тянут трактором. В конце концов, не все ли равно.

Когда толстый витой провод длиной в полкилометра общими силами был дважды протянут, бабушка не могла нахвалить дорогих гостей, так кстати явившихся. Дед, утирая пот и отдуваясь, радостно объявил, что

в самый последний момент он крепко-накрепко закрыл рот, не то бы дух из него промеж губ выскочил и затерялся в горохе.

Я слушал, как они с бабушкой, такие довольные, разговаривали, и думал, что образ мышления деревенского человека все же устроен иначе, чем у горожанина. Угрозу для своих зеленых насаждений они восприняли как угрозу для самих себя. То, чему «быть положено», что за десятилетия вошло в их уклад, они отстаивали упорно и стойко, прекрасно понимая, что стоит дать промашку в одном месте, глядишь, несчастье перекинулось в другое, а там вообще не жди спасения.

Зашел к Зелме. Она спала. Ее опущенные веки и длинные ресницы напоминали мне куклу, умевшую открывать и закрывать глаза. Под окном кудахтали курица, между рамой и занавеской жужжали мухи.

В гостевой комнате, как это нередко бывает в нежилых и прибранных помещениях, бросался в глаза какой-то застойный музейный порядок, лишенный будничной привычности. Лишь вокруг дивана Зелма успела создать островок со своим культурным слоем. На стуле среди косметических принадлежностей — недопитый стакан молока, поверх пожелтевших фотографий и мотков пряжи — старинная книга. Я зачем-то взял ее в руки и раскрыл там, где вместо закладки лежала телеграмма. Наклеенная полоса текста поразила знакомой комбинацией букв: Калвису Зариню.

Меня оторопь взяла. Как если бы Балдерис вдруг сошел с телеэкрана и уселся рядом. Все вдруг показалось таким нереальным. И то, что Зелма уснула и спит, а я стою в этой комнате со старинным роялем орехового дерева. И то, что тикают часы, жужжат мухи. А главное, что меня всего пронимает страх. От пальцев ног пополз он вверх, как керосин по фитилю. Помимо воли, вопреки рассудку я даже пожалел, что решился взять книгу. Но этого уже нельзя было поправить. И ничего иного не оставалось, как сделать следующий шаг, хотя я и знал, чем это чревато.

Текст телеграммы был краток. Вникать в смысл не пришлось, в одно мгновение все стало ясно: «Большой в больнице Заринь».

Зелма подняла веки. Она смотрела на меня, но просто так, номинально, без каких-либо эмоций. И опять припомнилась кукла, открывающая и закрывающая

глаза. Однажды я из любопытства распотрошил такую куклу. Механизм внутри оказался на удивление прост.

— Что за телеграмма?

— Ты же прочитал.

— Когда принесли?

Бесстрастный взгляд Зелмы постепенно мрачнел. Словно этот разговор докучал ей своей беспредметностью, глупостью. Словно я донимал ее вопросами, на которые смешно отвечать.

— Не все ли равно когда. Ну ладно, ладно, утолю твое любопытство: когда вы ездили к кузнецу. Могу заранее сказать, чем занят сейчас твой интеллект...

— Зелма, я не понимаю...

— Вот видишь. Слово в слово: почему не показала... почему не сказала... почему...

— Это же элементарно!

— Чересчур элементарно. Большой в больнице, подумать только, какое чрезвычайное событие... Чтобы все расстроить и испортить. Что изменится от того, что примчишься провести его на день раньше или позже... Мне тяжело, неужели ты не понимаешь. Я так надеялась на эту поездку. Мне казалось, если ты будешь рядом, все как-нибудь уладится.

— Я должен ехать.

— Знаю. Слишком хорошо тебя знаю.

— Без причины телеграммы не посылают.

— А я? Я — не причина? Я для тебя ничего не значу?

Она встала с дивана, обхватила руками мою шею и с какой-то отчаянной силой прижалась ко мне.

Я высвободился и сказал.

— Зелма, я должен ехать.

— Разумеется... Как же иначе. Ну и езжай.

И когда она опять повернулась ко мне, глаза ее смотрели так, будто меня не было.

Я повернулся и вышел. И самому показалось, будто меня уже не было. Была только дверь.

Послесловие

До Риги добрался удивительно быстро; до Мадоны меня подбросили мелиораторы, а там подобрали автогонщики из Пскова.

Никак не мог решиться, куда направиться сначала — в свою парковую резиденцию или в Вецаки. Под конец решил начать с ближайшего пункта.

Много раз возвращался домой, зная, что Большого не застану. Ничего особенного, дело житейское. На сей раз это «не застану» я еще с полпути ощущал как висевший на шее камень. Иначе взбежал по лестнице. Иначе вставил ключ в замочную скважину. Знал, что «не застану», и все-таки насторожился, будто там «что-то» должно быть. Будто там меня ожидало нечто бесформенно-жуткое, с чем встречи не миновать. А встретившись, надо будет пытаться что-то поправить.

С колотящимся сердцем, чуть дыша, отворил дверь. Примерно так в приключенческих фильмах разведчик, оказавшись во вражеском логове, крадется из одного помещения в другое. Или как человек, вернувшийся из театра и обнаруживший, что дверь его квартиры взломана.

Обошел комнаты и ничего такого не обнаружил. В квартире привычный порядок и привычный беспорядок. Знакомая мебель красного дерева, тесно заставленные книжные полки, размеренный ход напольных часов-шкафика, особый запах, исходивший от фолиантов в кожаных переплетах и от бумажных завалов. Да что могло приключиться с Большим, если на стене, как обычно, под стеклом отсвечивали гравюры восемнадцатого века, изображавшие берега Тибра, развалины Колизея и Аппиеву дорогу! Возможны ли какие-либо серьезные перемены в жизни, когда на письменном столе на своем месте лежат его очки и ножичек, заточенные карандаши и чернильница с бронзовой фигуркой Афродиты!

Предельно внимательно осмотрел и письменный стол. Может, оставил письмо или хотя бы записку? Большой имел обыкновение оставлять записки. Даже когда уходил ненадолго. Нет, ничего. Заглянул в корзину для бумаг — использованные ампулы врачи с собой обычно не берут. И корзина пуста.

Поймал себя на глупейшем занятии: сидя за письменным столом, ритмично покручивал ластик и при каждом новом обороте произносил латинские слова. Словно Большой был за дверью и повторял вместе со мной: *memineris... maximos... morte... fineri...* Ну хорошо, хорошо, на сегодня довольно, я иду к тебе...

Комнату освещал багровый свет заката. Поверхность стола пестрела тенями. Большой взирал на меня с фотографии: сухопарый, молодой, обнимающий за талию жизнерадостную, стройную студентку. Удивительно похож на меня. И совсем не потому, что у него тоже слегка топорщатся уши, а когда он смеется, выпячивается верхняя губа. Сходство было более существенным. Мы с ним представляли одну модель, различаясь лишь порядковым номером и очередностью выпуска в свет.

И вдруг мне подумалось, что очередность эта могла бы быть иной. Если бы, скажем, на этой фотографии я обнимал Зелму, то за этим столом, возможно, сейчас бы сидел Большой. И думал обо мне и Зелме примерно то же самое, что я теперь думал о них. Как крепко он ее держит и почему же все-таки не сумел удержать? И почему эта фотография до сих пор стоит на его столе? Одна-единственная...

Почему-то до сих пор я полагал, будто люди делятся на резко отличные и почти неизменные категории: дети, молодежь, взрослые и старики. Между тем как все перемешано. Старики продолжают жить своей молодостью, молодежь открывает новые пути, которые в действительности уже тысячи раз исхожены, дети рождаются для того, чтобы через несколько десятков лет не оставить мир без пенсионеров.

Почему-то еще вчера и даже сегодня утром я думал о Большом как о чем-то обособленном и думал о себе — как обособленном от обособленного?.. А ведь мы почти одно и то же, только с интервалом расставлены во времени, что позволяет немного отступить для лучшего обзора, подобно тому, как художник отступает от полотна, чтобы разглядеть его в единстве и целостности.

Сидеть не имело смысла. Встать и попытаться выяснить, что произошло, где сейчас Большой. Конечно же он ждет, теряется в догадках, почему меня до сих пор нет.

От грусти и угрызений совести разыгралась фантазия. За полуприкрытыми веками мелькали больничные сцены: Большой в фланелевой пижаме, яркая лампа операционной, кривая кардиограммы. И среди этих видений — детскими пальчиками перебираемые гаммы.

В соседней с нами квартире проживала Дама. Ее фамилии я не знал. Знал только, что она дает уроки музыки. На лестничной клетке нередко приходилось

видеть матерей с их чадами-первоклашками, мамыши высвобождали из бумаги цветы, взбивали прическу, поправляли дочкам банты. Иногда у Дамы устраивались детские праздники: дверь украшалась рисунками и забавными надписями из репертуара Винни Пуха, Карлсона и Пеппи Длинного Чулка. Там бывало очень весело, все пели, декламировали стихи, играли на рояле. В глубокой юности и меня раз-другой приглашали на такие праздники.

Если кто-то мог мне рассказать о происшедшем, то в первую очередь, конечно, Дама.

Она не удивилась моему появлению.

— Вы только подумайте, какой ужас, не правда ли,— заговорила она с места в карьер, любезно увлекая меня в глубь своей квартиры.— Солвита, пожалуйста, пройди на кухню, полакомись печеньем! Я так перепугалась, что давление подскочило. Мама Андрита вышла из квартиры, а минутой позже звонит: кто-то лежит на лестнице...

Ее нельзя было упрекнуть в равнодушии. Личико с заостренным носиком то краснело, то бледнело. Но, должно быть, привычка улыбаться засела в ней так глубоко, что иногда она забывалась, и уголки губ как бы сами собой взлетали вверх в кокетливой улыбке.

— Ах, как это ужасно, что до сих пор ванны приходится нагревать дровами. Который год обещают переделать, поговорят-поговорят, и все остается по-прежнему. Я вообще перестала топить ванну. Езжу к дочери. Какая благодать — повернул кран, и ни забот, ни хлопот.

Ей было за шестьдесят, но она даже дома расхаживала в туфлях на высоком каблуке.

Я не решался ее перебить. От волнения я становлюсь каким-то легковесным. Казалось, дотронушь до себя пальцем, и кожа захрустит, как у воздушного шарика.

— Что произошло?

— Как, вы разве не знаете? Я тотчас позвонила вашей маме. Пока не приехала «скорая», он лежал здесь, на этом диване. Нес мешок. Спустился в подвал за дровами. Хорошо, мама Андрита оказалась настолько бесстрашной, а то как знать, сколько бы он пролежал на лестнице.

— Нес мешок,— повторил я. Просто так, чтобы выиграть время, это для меня сейчас было важно. Теперь,

когда я узнал, приходилось напрягать силы, чтобы постичь истину: вот оно, продолжение единства и целостности,— он и я, мы оба, он во мне, я в нем. Я на его месте, он на моем... То, чего не сделал я, сделал он...

Еще один вопрос меня интересовал, самый важный, самый существенный. Точнее, даже не вопрос. Ответ. Однако задать вопрос просто не хватало духу. Я простился.

— Надеюсь, молодой человек, вы зайдете, расскажете о его самочувствии.

Стало быть, она больше ничего не знала. К счастью, не знала. И немного отлегло от сердца.

— Спасибо.

— А выглядел он великолепно. И всегда такой предупредительный...— Она почему-то вдруг зарделась, виновато улыбнулась.

Мы простились. Я немного задержался на лестничной площадке. За дверью возобновились гаммы.

Тусклый вагонный свет. За окнами плывут городские огни. Временами волны света подкатывали к электричке и опять отступали, оставляя сумрачные поля и черневшие лесные опушки. Репродукторы разносили названия станций. Хриловатый мужской голос с определенными интервалами призывал всех соблюдать осторожность при выходе из вагонов и переходе железнодорожных путей.

У меня было такое чувство, что до выхода дело вообще не дойдет — я ехал и ехал, а Вещаки по-прежнему далеко. Возможно, впечатление о бесконечности пути было своего рода защитой, самоуспокоением. Электричка мчалась даже слишком быстро. В дрожь бросало от такой быстроты. К горлу подступал комок. Пока вагон мотался в волнах тьмы и света, оставалось место для надежды. А впереди ждала определенность.

На станции вместе со мною вышли возвращавшиеся с экскурсии школьники, прощались шумно и весело, норовя перекричать друг друга. Были там и девочки из моего математического кружка. Я нарочно дождался, когда разбредется галдящая толпа.

И по освещенной улице не хотелось идти. Свернул к лесу. На фоне прозрачной синевы неба застыли вершины сосен. В одном из домов была вечеринка: ритмичная музыка в притихшем лесу звучала нереально.

Не знаю, как это случилось, но где-то на полдороге между станцией и калиткой я почувствовал, что созрел

для истины. Больше меня не терзали ни жалость, ни страх, ни печаль. Смахнул с себя оцепенение. Поднатужился и всплыл на поверхность, — так иногда на отмелях всплывают топляки. А может, не сами всплывают, а изменившееся течение их вымывает и выбрасывает на берег. Во всяком случае я был все тот же, что прежде, и все же другой. Теперь я должен узнать правду. Я почти бежал. Подгоняемый любопытством или трусливым желанием поскорее сбросить с себя бремя неизвестности? Невмоготу стало нести или я жаждал поскорей принять мучения? Отяжелевший, усталый, но преисполненный решимости, я прибавил шагу. Шел напрямик. Готовый ко всему, готовый на все. Что бы меня ни ожидало — страшный омут или мрак крошечный.

От калитки до двери всего двадцать три шага. Звонил долго, настойчиво, не так, как обычно. Открылась дверь. На пороге стояла мать. В выходном платье с гранатовой брошкой на воротнике. В темно-синей косынке. Свет из прихожей четко обозначил ее контуры, как бы очертив светлой линией. И лицо виделось отчетливо, освещаемое лампой над дверью.

Я не сказал ни слова, и она не сказала ни слова. Молчание удерживало нас в продолжение какого-то времени, может, недолгого, а может, долгого. Затем она кивнула, и это был ответ на немой вопрос моих глаз.

Большой умер рано утром в больничной палате на пять коек, никого не разбудив. По мнению доктора, умер во сне. Два дня, терзаясь от боли, он спрашивал: «Калвис не приехал? Есть у него ключ, он попадет в квартиру?» В последний вечер, когда мать от него уходила, он сказал: наверно, адрес перепутали.

С похоронами решили не торопиться. Мать настояла на том, чтобы сообщить бабушке в Австралию. Бабушка ответила телефонным звонком. Разговора, правда, не получилось, она все время плакала и повторяла, что скоро с Мартынем на том свете свидится. Слышимость была на редкость хорошая.

Большого похоронили в той же части кладбища, где и Рандольфа. Дождь лил без остановки. Провожających собралось неожиданно много, большинство лиц я видел впервые. Венки возлагали друзья, бывшие преподаватели, бывшие студенты, бывшие фехтовальщики, бывшие хористы, соседи по садово-огородному участку, рижские краеведы. Я видел своих товарищей по курсу, девочек из комитета комсомола, сотрудников института.

Дождь лил и лил, ораторы говорили и говорили. Мне все казалось взаимосвязанным — нескончаемый дождь и нескончаемые речи; проникавшая под одежду неуютная сырость и взволнованно-напыщенные фразы, как бы размеренно слетавшие на железную кровлю, чтобы тотчас от нее отскочить и скатиться. Над головами провожающих разноцветной каруселью покачивались зонты. У меня по лицу катились соленые капли.

Работая лопатой, я вспотел, потом быстро остыл. Понемногу дрожь стала проникать. Я не мог ни унять, ни скрыть ее. Лязгал зубами и дергался наподобие автомата-скоросшивателя. Но, возможно, не от холода. Точнее, не только от холода.

Заключительный опус квартета валторн. Знакомая печальная мелодия среди закутанных в серую дымку кладбищенских сосен звучала столь же нереально, как бодрые дискоритмы в тихом и темном лесу в тот вечер, когда я возвращался в Вецаки. Где-то подвывала пила-циркулярка. Где-то духовой оркестр исполнял военный марш. Палили залпами. С железнодорожных платформ сбрасывали древесные чурки. Когда одним и тем же кадром дважды снимают, на пленке получается призрачный коллаж. На фотопленке, именуемой жизнью, отдельно вообще ничего не фотографируется.

Провожавшие жали руку матери, Зариню и мне, говорили какие-то слова. Наконец у могилы осталась горстка друзей и близкие, те, кого мать пригласила на поминки.

Во время похорон мне казалось, что мать ничего не видит, не замечает, но это не в ее характере. Конечно, она была убита горем. Но как хороший пловец кролем и под водой отыщет возможность глотнуть воздуха, так и мать даже в такой ситуации ухитрялась следить за тем, что происходило со мной.

— Ты насквозь промок,— сказала она негромко,— беги скорей в машину дяди Криша, поедешь с ними.

— Ничего страшного. Вначале заеду переоденусь. Появлюсь немного позже.

Не хотелось мне ехать ни на машине дяди Криша, ни на какой другой. Переключиться на задушевный разговор я был сейчас не в состоянии.

Прошелся вдоль аллеи. Потом довольно долго искал скамью, на которой сидела Зелма, когда хоронили Рандольфа. В какой-то миг показалось, что и теперь она могла бы там сидеть. Иду, например, той же дорожкой,

глядь, она сидит с букетом анемон. Почему эта мысль напугала меня? Хотел я, чтобы она там сидела? Или, напротив, боялся химер, пытавшихся в мыслях моих сблизить Рандольфа и Зелму. За ветками туи и подрезанным кустарником блеснула мокрая пустая скамья. Желтый песок вокруг могилы был аккуратно расчесан граблями. Никого там не было.

В парковой резиденции после смерти Большого я почти физически ощущал тишину. Бывало, тут я чувствовал все, что угодно, кроме тишины. А теперь, стоило открыть дверь, и тишина наваливалась на меня. Все было заполнено тишиной, как иногда прохваченное солнцем пустое помещение заполняется роящимися пылинками.

На этот раз тишина меня не тревожила. Шум захлопнувшейся двери доставил облегчение, как будто мне удалось улизнуть от докучливых преследователей и получить желанную передышку. Как будто после блужданий по топкому кочкарнику я ступил на твердую почву. Я не мог отделаться от мысли: все то, что вот уже почти неделю проплывало мимо и кружилось вокруг, — мелькание людей, мельтешение событий, — все это лишь кратковременная заминка, непродолжительная взбаламученность. Важно было уяснить причины, установить взаимосвязи, найти суть и смысл всего. Но постоянно что-то мешало, задерживало, отдаляло, отвлекало, ослепляло, отгораживало.

В тишине, трубившей океанским лайнером, таким низким, утробным гудом, что звук был чуть слышен, и колеблемый воздух едва касался барабанных перепон, — в той тишине я понял, что момент наступил.

Я сел в дедовское кресло, затылок прислонил к высокой спинке, закрыл глаза.

Я думал, что увижу ступени лестницы, ведущей в подвал, рассыпавшиеся поленья, а может, лицо Зелмы в тот момент, когда обнаружил телеграмму. Или глаза Рандольфа во время последнего разговора.

Но вспыхнула гигантская люстра в зале Оперы — дремучий лес бронзовых рожков в сверкании и блеске хрусталя. Мне пять или шесть лет, и мы с Большим сидим посередке партера. Громадный бронзовый круг нависает над нами. На сцену я не гляжу, только на люстру, и весь трепещу от страха, что эта громадина вот-вот сорвется с потолка.

— Успокойся,— говорит Большой,— люстра держится на стальном бруссе.

— А если брус сломается?

— Это исключается.

— Ржавел-ржавел, а теперь возьмет и переломится.

— Нет,— говорит Большой,— за это кто-то отвечает.

Ежеминутно, ежечасно над нами нависают тысячи люстр. И за каждую кто-то из нас отвечает. Любой из нас отвечает за какую-то люстру. Страшен был бы мир, лишенный чувства безопасности. Лишенный веры в несокрушимую силу ответственности. Беспросветным, серым и голым стал бы мир без ярких люстр.

Со спокойным ли сердцем ты сидишь под люстрой, за которую отвечаю я?

Со спокойным сердцем сяду я под люстру, за которую отвечаешь ты?

В продолжение следующей недели все порывался позвонить Зелме. Тянулся к телефону, набирал номер и вешал трубку. Поехал в Вецак, спросил, не звонила ли Зелма. Нет, не звонила. Все ясно, с какой стати Зелма должна звонить! Но, заслышав призывный перезвон телефона, я от волнения сам начинал гудеть, как провод на ветру: она! Звонили матери. Звонили Зариню. Звонили Ундавиту.

Мне хотелось, чтобы меня наказали за неявку на экзамены, чтобы стыдили меня, занесли в должники, отправили к ректору на проработку. А ничего такого не произошло. Никто ни о чем не спросил. С доцентом Бримером получилось совсем странно: «Как, разве вы у меня не были? — Он очень удивился моей просьбе перенести экзамен на другое время.— А я вам уже поставил отметку».

С Зелмой встретился неожиданно, когда меньше всего этого ожидал. На сей раз Клосс, прямо скажем, оказался не на высоте. Душным июльским днем я шел по Старой Риге, и вдруг мы столкнулись лицом к лицу.

Я что-то сказал. Незначительное, необязательное. Помню, Зелма задиристо посмотрела на меня, затем ее внимание переключилось на старинный фасад «Кошкиного дома». Взгляд Зелмы был рассеян. Разумеется, она что-то ответила. Столь же незначительное, что у меня тотчас вылетело из головы: «Какая жара!» Или: «Сейчас бы в море искупаться». Что-то в этом роде.

Я ждал, когда вернется Зелмин взгляд. Я думал, мне удастся в глазах разгадать шифр тех незначительных слов. Не может быть, чтобы глаза ничего не сказали. Я хорошо умел читать душевные дисплеи Зелмы. Она посмотрит на меня, и я увижу радость или волнение, если даже не радость и не волнение, то хоть какие-то переживания. Но взгляд ее блуждал как бы на ощупь, бесцветной букашкой полз по стеклу и снова срывался.

И еще я что-то сказал. Она что-то ответила, чем дальше, тем больше принимая отсутствующий вид. Носок ее туфли беспокойно елозил, пальцы теребили ремешок сумки.

Мы стали прощаться. И только тут до меня стал доходить смысл ее слов.

— Философский уровень у нас слишком низок. Меня интересует индукция эстетического идеала. Поэтому перевожусь в Ленинград.

— А это так просто?

Ее взгляд наконец воротился ко мне, и я смог убедиться, что печаль ее искренняя.

— Милый Калвис, если бы ты порой не был так наивен... Жить надо глобально.

Мы стояли лицом к лицу. Не двигаясь. И ни малейшего намека на то, что ей не терпится уйти. Стоп-кадр из телерепортажа. Постоянно проецируется одно и то же изображение, безостановочно льются потоки светотеней, прорисовывая каждую ресницу, каждую черточку на Зелмином лице. Возможно, как раз неподвижность порождала иллюзию, будто неизбежное совсем не неизбежно. Зелма никуда не исчезнет, никуда не пропадет. Она остается. Решительно ничего не изменилось. Ничто не распалось. Ничто не исчезло. Ровным счетом ничего. Абсолютно ничего.

Неподвижность гипнотизирует: неподвижные глаза, неподвижные губы, неподвижное грозное облако, неподвижная змеиная голова.

Неподвижно проплывают люди на ступеньках эскалатора в метро. Неподвижно сближаются, неподвижно отдаляются.

И мы с Зелмой стояли рядом, но каждый на своей лестнице. И неподвижно уплывали друг от друга.

Когда это было? Я бы соврал, вздумай утверждать, что все произошло пять дней тому назад. Не менее ошибочным было бы сказать: пять лет тому назад.

Время протекало как бы в различных измерениях, с различным ускорением.

Насколько мне известно, Зелма замужем. Ее муж, художник Н., занимается реставрацией старинных картин. Они живут то в Риге, то в Ленинграде. Время от времени в журнале «Максла» появляются Зелмины статьи о направлениях в живописи, о единстве формы и содержания или что-то в этом роде. Она читает лекции в Доме работников искусств, ведет семинары для творческой молодежи, занимается различными организационными вопросами. Случалось видеть, как она проезжает на «Волге». Не знаю, сидевший за рулем мужчина был ее мужем или шофером.

Четыре раза мы встречались на улице и один раз — в театре. Обменялись расхожими фразами, потоптались, пошутили. Зелма кажется веселой, бодрой, только смех ее, по-моему, уже не взлетает так высоко, как прежде. Смех стал весомее, глуше. И возможно, потому создается впечатление, что Зелма смеется все громче, все настойчивей.

Внешне Зелма мало изменилась. Лицо осунулось. Появилась привычка, прежде мне не знакомая: вглядываясь, Зелма поджимает губы, и это придает ее профилю какое-то обостренное, даже пронзительное выражение.

Жизнь не стоит на месте. Я защитил диссертацию. В моих исследованиях наметился новый поворот.

Я женат на Элине. Пока у нас один ребенок. Если все пойдет на лад, к осени ожидаем второго. Чем больше я узнаю Элину, тем отчетливей чувствую: мне повезло. Элина — светлая жена. Ее цели не нарушают моих, мои же цели, надеюсь, не нарушают Элининых целей. Не так давно наедине с самим собой заполнил тест из польского журнала: из возможных ста баллов Элина набрала девяносто пять. У меня нет основания кривить душой — чувствую себя счастливым человеком. Моя любовь к ней, не уменьшаясь, со временем окрашивается в новые тона.

Разве только слепое счастье соединяет тех, кому суждено встретиться и полюбить друг друга? Разве только слепое несчастье разделяет тех, кого не наполняет и не венчает любовь?

Вчера в институте показывали фильм о происходящих на Солнце процессах. Не знаю, как других, но меня, когда я смотрел, охватило чувство почти физического присутствия чуда. Мы ничего не знаем о том, что

происходит на Солнце. Ничего! Вырываются гигантские фонтаны огненных протуберанцев, а затем опадают. Бурлит раскаленная материя, стекает в разверстые вздыбленные недра. Почему? На каком основании? В чем причины, каковы следствия? И тут я опять задумался о Зелме и немножко о себе. О нас с ней на таллиннском морозе. О нас с ней у нее в саду. И о той ночи на озере. И том утре. Почему в моей жизни ничего не способно уравновесить тех мгновений? Почему воспоминания о них пробуждают такую возвышенную боль?

Быть может, и любовь сродни протуберанцу, и она исторгается из сокровенных глубин, о которых мы ничего не знаем. Из тех глубин, где вскипают бесконтрольные начала и несуществующие концы. В одном я твердо убежден: в душе человеческой происходят не менее загадочные процессы, чем на Солнце. Я убежден, что любовь — как, впрочем, и ненависть — выполняет какую-то особую функцию, которой мы пока не понимаем, а может, никогда и не поймем, но она существенно важна для человечества. Как раз вспышки любви, возможно, и связывают человека со Вселенной, подключая нас к каким-то полям гравитации. Я убежден, нечто подобное должно существовать. Ведь человек — это не чайник, поддерживающий свой физиологический раствор при температуре плюс тридцать семь градусов. Человек — космическая модель, тайна в тайне, чудо в чуде.

Вот чем я живу. По временам, когда начинает казаться, что верх одерживают зло и бессердечность, я поворачиваюсь лицом к любви. По той же причине считаю нужным иногда оглядываться на опаленные молнией любви и вновь ожившие вершины. Подчас зло бывает огромно, но оно не в силах совсем уничтожить любовь. Любовь будет жить всегда. Как сказал бы Большой: *ad infinitum*. До бесконечности.

СОДЕРЖАНИЕ

МУЖЧИНА ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ

Роман

3

МЕМУАРЫ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Роман

287

ЗИГМУНД ЯНОВИЧ СКУИНЬ

МУЖЧИНА ВО ЦВЕТЕ ЛЕТ

МЕМУАРЫ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Редактор *Г. Г. Чапчахова*
Художественный редактор *А. Г. Чувасов*
Технический редактор *Е. Б. Спрукт*
Корректор *А. В. Муравьева*
ИБ № 7518

Сдано в набор 27.10.89. Подписано к печати 11.05.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 29,40.
Уч.-изд. л. 30,73. Тираж 100 000 экз. Заказ № 374. Цена 2 р. 20 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069,
Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор»
имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136,
Чкаловский пр., 15.